

В. Кукушкин • ИЗБРАННОЕ

В. Кукушкин



ИЗБРАННОЕ



В. Кукушкин

В. Кукушкин



ИЗБРАННОЕ

Лениздат · 1987

84.3(2)7
К90

Кукушкин В. Н.
К90 Избранное.— Л.: Лениздат, 1987.— 544 с., ил.

В одноименник известного ленинградского прозаика вошли повести
«Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».

К $\frac{4702010200-091}{M171(03)-87}$ 193-87

84.3(2)7

© Состав, оформление,
Лениздат, 1987

НА БОИ КРОВАВЫЙ...

Имя Василия Кукушкина не нужно представлять ленинградскому читателю. На протяжении нескольких десятилетий писатель не раз выступал со своими рассказами, повестями, романами, получившими заслуженное признание самых широких читательских кругов. Темы его произведений различны. Это и жизнь деревни (роман «Земляки»), и будни рабочих (роман «Хозяин»), и даже будни торговых работников (роман «Ленты-кружева»). Но неизменным остается для автора одно — пристальное внимание к молодежи, к людям, начинающим строить свою жизнь, а вместе с нею и жизнь всей страны.

Молодость для В. Кукушкина — не просто возрастное понятие. Это и особое состояние души, устремленность к лучшему будущему, к активному действию, бескомпромиссному решению. Именно такими качествами обладают любимые герои писателя, не теряя их на протяжении всей жизни. Своеобразный гимн молодости слагает он своим творчеством. А ведь в 1988 году писателю исполняется уже 80 лет.

В его книгах не встретишь острых коллизий, неожиданных сюжетных поворотов, роковых страстей. Действие их происходит чаще всего в будничной, повседневной обстановке, герои привычно исполняют свой долг, хотя сам этот долг может оказаться и оказывается проявлением высокого героизма личности. Готовность к решительному поступку — так можно определить внутренний настрой лучших героев писателя, стремящегося увидеть героическое в обыденном, показать, что нравственная зрелость и четкость позиции, если это понадобится в решающую минуту, ведут к подвигу.

Наиболее отчетливо эта ключевая для В. Кукушкина мысль нашла выражение в цикле исторических произведений писателя, вошедших в эту книгу. Действительно, повести «Питерская окраина», «Емельяновы» и «Он же Григорий Иванович» объединены между собой не только общей темой — изображением жизни рабочих и интеллигентов, связавших свою судьбу с революционной борьбой большевиков в конце прошлого — начале нынешнего столетия, — но и прежде всего единством авторского подхода к героям, единством социального и нравственного идеала.

Обращение к исторической теме для В. Кукушкина закономерно. Тесно связанный самой судьбой с рабочим классом, привыкший видеть мир его глазами, писатель не мог не заинтересоваться историей, обратить самое пристальное внимание на то, как формировался, креп, мужал авангард пролетариата — Коммунистическая партия, как в недрах капиталистического общества появлялись ростки нового сознания, нового отношения к жизни, ставшего после революции повсеместным.

Еще в 1950-х годах, почти одновременно с выходом в свет первого варианта повести «Питерская окраина», появляется и сугубо документальное произведение В. Кукушкина «Сестрорецкая

династия», посвященное истории Сестрорецкого инструментального завода. Впоследствии этот материал нашел свое художественное воплощение в повестях «Емельяновы» и «Он же Григорий Иванович».

Таким образом, документальное и художественное начала в исторической прозе писателя неразрывно переплетены, одно дополняет другое. Процесс этот характерен для нашей литературы последних десятилетий, когда документ, идущий из истории, становится своего рода публицистическим материалом, обращенным в современность. Явление это чрезвычайно своеобразно. Постараемся присмотреться к нему поближе.

Главные герои повести «Емельяновы» — династия оружейников Емельяновых, рабочих знаменитого Сестрорецкого оружейного завода. Разумеется, в центре внимания автора жизнь и судьба Николая Александровича Емельянова — человека, у которого в тревожное лето 1917 года скрывался в шалаше на озере Разлив В. И. Ленин.

Но судьба Николая Емельянова оказывается под пером автора органически сросшейся с судьбами других рабочих-оружейников, всего питерского пролетариата, шагнувшего в революцию. Индивидуальное предстает как закономерное проявление коллективной воли рабочего класса, партии большевиков.

В. Кукушкин внимательно исследует ту социальную и культурную среду, в которой рос и мужал Емельянов, с детства непримиримый к несправедливости и избравший впоследствии путь революционной борьбы. Высоко ценилось рабочее достоинство, отмечает автор.

Не удивляет поэтому, что рабочие были бескомпромиссны во всем, что касалось их чести, совести, не шли на сделки с начальством и презрительно относились ко всякого рода подачкам «с барского стола». Как раз в такой среде и могли зародиться прочные революционные убеждения, крепко спаянные рабочим товариществом, врожденным чувством социальной справедливости.

Оружейниками были отец Николая Емельянова, его дядя, братья — сложилась целая рабочая династия со своими традициями, отношением к людям и к делу, рабочей гордостью. Был уволен с завода за конфликт с начальством еще отец Николая — Александр Николаевич. Трудно пришлось семье, но спасла взаимовыручка, готовность рабочих протянуть руку помощи и упрямая вера в конечное торжество справедливости.

Именно эта вера подчас помогала рабочим сохранять присутствие духа в самые тяжелые минуты жизни. Автор смотрит на своих героев как бы их собственными глазами — отсюда достоверность изображаемого, психологическая правдивость повествования.

Непрост был путь рабочего к пролетарской сознательности. Почтой при чтении повести возникают невольные ассоциации с повестью М. Горького «Мать». И это не случайно. Речь идет вовсе не о сюжетных или образных переключках, а о воссоздании неповторимой атмосферы будней революционного пролетариата на рубеже столетий. Здесь В. Кукушкину удается подметить немало типичного и вместе с тем избежать кочующих из одного произведения в другое литературных штампов. Все это вызывает доверие к авторскому замыслу и его художественному воплощению.

Особое место в повествовании занимает революция 1905—1907 годов — это один из сюжетных центров произведения. Отношение к революции разных групп и слоев рабочих, постепенное преодоление дистанции между колеблющимися и сознательными револю-

ционерными — для автора средство глубже раскрыть социальную психологию пролетариата, его духовное развитие.

Важно и то, что герои «Емельяновых» — оружейники, люди, самым тесным образом связанные с боевыми революционными группами, обеспечивающие их винтовками и гранатами. А это вдвойне увеличивает ответственность, лежащую на плечах Николая Емельянова и его товарищей, неразрывно связавших свою жизнь с партией большевиков.

Были, конечно, и колеблющиеся. На страницах повести читатель встретит, например, и такую цитату из «Биржевых ведомостей» того времени: «В один час пополудни депутация в составе 34 человек прибыла в императорский павильон Царскосельской железной дороги и оттуда по царскому пути была доставлена в Царское Село». Это говорилось о приеме Николаем II «рабочей депутации»... В ее составе были, естественно, не только убежденные монархисты, но и люди, по традиции верящие в доброго царя.

В произведениях В. Кукушкина много действия. Его герои постоянно в работе, в борьбе, революционной деятельности — им некогда остановиться, неуемная жажда приложения своих сил постоянно влечет их вперед, кем бы они ни были — подпольщиками, мастерскими или передовыми интеллигентами. Такой угол зрения, избранный автором, помогает ему создать не просто произведения о рабочем классе, но и наметить штрихами своеобразный портрет времени, показать типичные приметы эпохи.

В повести «Он же Григорий Иванович» тема, поднятая в «Емельяновых», раскрывается автором с иной стороны, и этот поворот связан с выбором главного героя. Им стал Александр Михайлович Игнатьев — лицо реальное, профессиональный революционер, известный под партийной кличкой Григорий Иванович. Помещик, студент-естественник Петербургского университета, со студенческих лет ушедший в революцию, — фигура необычная и вместе с тем очень характерная для того времени. Вспомним, что таким или почти таким был путь многих руководителей революционного движения.

Избрав главным героем Григория Ивановича, человека высокой культуры, для которого революционные убеждения стали нравственным долгом, писатель встал перед сложной проблемой: как совместить строгий документализм и одновременно создать зримый, выпуклый образ героя, который бы запомнился надолго? Идти можно было разными путями — либо подчеркивая художественный, беллетристический момент, либо оставаясь пунктуально верным исторической документальности даже в ущерб полноте раскрытия образа.

В. Кукушкин избрал иной путь, сделав акцент в первую очередь на изображении революционной деятельности Игнатьева. Она и стала сюжетным центром повести, стягивая воедино разнообразные композиционные и психологические нити. Это позволило автору предельно сжать, сконцентрировать материал, избежать многословия и придать действию необходимый динамизм.

Любопытно отметить, что Григорий Иванович как один из второстепенных персонажей фигурирует и в повести «Емельяновы» — в годы первой русской революции он поддерживал связь с рабочими-оружейниками и восставшим питерским пролетариатом. Тернист путь профессионального революционера. Каждодневный риск быть арестованным, погони, переодевания, неожиданные секретные поручения — все это читатель найдет в повести, но не это главное.

Значение подпольной работы Григория Ивановича автор видит и в другом — в умении организовать людей, призвать их на борьбу за социальную справедливость. Ведь круг людей, избравших ареной своей профессиональной деятельности революционную борьбу, был невелик (не случайно в повести встретятся имена Камо, Л. Б. Красина, которых близко знал Григорий Иванович), а в революции приняли участие десятки миллионов людей. Значимость нравственного идеала, личности большевика-подпольщика здесь трудно переоценить. Безукоризненная честность, преданность делу партии, простота и скромность делали этих людей образцом для подражания. Такие люди и были тем ядром партии, вокруг которого объединились рабочие, видевшие в ней, перефразируя слова В. И. Ленина, ум, честь и совесть своей эпохи.

В повестях «Емельяновы» и «Он же Григорий Иванович» В. Кукушкину удалось воссоздать цельную картину жизни и борьбы рабочих питерских окраин, самых широких масс пролетариата, поднявшихся на уровень социального протеста поначалу бессознательно, но под руководством опытных революционеров-большевиков мало-помалу овладевших наукой классовой борьбы. Для этих произведений характерно главным образом стремление создать портрет большой социальной группы — эта задача привлекает автора больше, чем внимание к индивидуальной психологии рабочего.

Типическое охватывает черты индивидуального, в концепции писателя ведет к изображению главных примет времени, и в этом внимание к документальности оказывает В. Кукушкину немалую помощь, что в высшей степени характерно для исторической прозы 1950—1960-х годов с ее пристальным интересом и общим закономерностям, четким идейным решениям.

Проза В. Кукушкина позволяет найти немало деталей, без которых порой трудно понять логику развития документалистики в нашей литературе. Скажем, даже такие разные художники, как М. Шагинян, В. Пикуль или А. Адамович и Д. Гранин, прибегая к необходимости того, чтобы почерпнуть из «реки по имени Факт», стремятся в первую очередь выделить, индивидуализировать то или иное историческое явление, героя, коллизию. Для В. Кукушкина, так же как и для многих его современников, важнее иное — показать неумолимый ход истории, ведущий к социалистической революции. Черта, сформировавшаяся в исторической прозе еще в 1930-х годах.

Время становления и героического утверждения нового общества требовало от искусства горячего призыва, лозунга, обращенного к большинству трудящихся. Цвет и дух времени отчетливо ощутимы не только в документальной прозе писателя, сформировавшегося в годы энтузиазма первых пятилеток, героики трудового созидания. Трилогия «Питерская окраина», первая книга которой тоже вошла в сборник, впрочем, создана несколько в другом плане. Реально происходившие события, исторические детали — все это создает в произведении фон, не являясь основным предметом изображения. Главное в повести — интерес к психологии главных героев, их жизненному пути, обычным, но по-своему непростым житейским конфликтам.

Автор прослеживает на протяжении нескольких десятилетий судьбы главных героев — учительницы Варвары Дерябиной, большевика-подпольщика Тимофея Тюменева, других персонажей. По форме «Питерская окраина» — своего рода семейная хроника, но количество и качество охваченного автором исторического материала выводят ее далеко за эти рамки, заставляют думать о связях.

личности и истории, обращаться к серьезным психологическим, социальным и нравственным проблемам.

Первый вариант этой повести, как уже говорилось, появился еще в 1950-х годах. Впоследствии автор вернулся к ней, серьезно переработал текст, развил и углубил характеристики основных героев. И так же, как в других исторических произведениях, в ней В. Кукушкин видит и рисует основное, типичное в людях и во времени. Впрочем, большая психологическая свобода, отсутствие строгих документальных «привязок» обеспечили и большую сюжетную и композиционную раскованность, расширили, сделали разнообразнее психологическую палитру автора.

С ранней юности до старости проследживает писатель судьбу Варвары Дерябиной, ее просветительский подвиг, умение и готовность нести образование в самые широкие рабочие массы. Работа, тяжелый, а подчас и горький хлеб педагога определили ее жизнь, создали духовный потенциал на годы и десятилетия. Этот путь народного учителя, просветителя по призванию сердца, давал героине нравственные опоры существования, вел ее сквозь все жизненные невзгоды.

Образами отца и матери Варвары автор вводит в повесть стихию предреволюционной деревни. Небогаты были родители главной героини, но жажда наживы, успеха, богатства буквально одолевала ее отца, застила ему свет. Так оказался он после революции в рядах врагов Советской власти, противников коллективизации. «Что мне дала наша власть? — с раздражением говорит он дочери. — Имел бы я сейчас лавочку, и не одну, купил бы собственный дом в уезде. Земли прирезали? Землишкой твой комиссар меня попрекал. Прирезали три десятины, а цена-то ей не та. Не продашь, в аренду не сдашь».

Многоукладность деревни, противоречивость стремлений крестьян — эти черты выделяет писатель, во многом следуя традиции Горького, Чапыгина, других пролетарских писателей, связывая область духовности с жизнью города, также представляющего на страницах повести многоликим и не сводимым к одному знаменателю. Непросто дается героям повесть приобщение к образованности. Тяжелый, изнурительный физический труд, нищенский быт, а то и личная неустроенность стоят на пути рабочих к культуре. Поэтому так дорожат они не только книгой, уроком, но и словом образованного человека, жадно прислушиваются к тому, что говорит им Варвара Дерябина, другие учителя. А прежде всего — большевики.

Понятое трудом ума и души прочно оседает в памяти, навсегда закрепляется в сознании — не в этом ли сила влияния марксистской мысли в пролетарской среде? Просто и доступно раскрывала она рабочим классовую правду, и они не могли не ответить признанием и признательностью.

Варвара сблизилась с революционерами случайно. Но в этой случайности для автора — глубокая закономерность, неизбежность пути, на котором интеллигенция и пролетариат встречаются. Большевик Тюменев становится мужем героини, помогает ей ориентироваться в жизни. Типичское, объективно закономерное обретает под пером В. Кукушкина зримые контуры индивидуальности, интереса к психологическому содержанию образа.

Дело революции — тоже главный герой повести. Автор постепенно показывает, как зреет и формируется революционное сознание рабочих, как тиски беспросветной нужды, безграмотности, бескультурья все яснее и яснее формируют желание сбросить гнет, обрести долгожданную свободу. Отношение к революции, ее целям, путям

осуществления становится в «Питерской окраине», как, впрочем, и в других повестях В. Кукушкина, критерием при оценке нравственной состоятельности, человеческой ценности героев.

Относится это и к представителям правящего класса. Несколько лет работает Варвара в семье аристократов Терениных. Умная, образованная девушка скоро становится не просто воспитательницей младшего сына главы дома Бронислава Сергеевича — Бориса, который всей душой привязывается к своей наставнице, но и подругой сестры Бориса — Агнессы, ее поклонника, офицера лейб-гвардии Преображенского полка Валентина Ловягина.

Непросто складываются отношения этих людей — слишком велик был разрыв в их социальном положении. Не раз казалось Варваре, что она чужая в этой семье, не раз возникало в ее душе стихийное чувство протеста против атмосферы в доме Терениных, но искреннее радушие, доброта Агнессы, Бориса, Ловягина располагали в их пользу.

Жизнь без нравственных компромиссов — так можно определить кредо Варвары Дерябиной и людей, ставших ее друзьями. Бескомпромиссность, основанная на твердой вере в то, что добыто, завоевано своими силами, своими руками, — это черта, отличающая многих героев В. Кукушкина — и Николая Емельянова, и Григория Ивановича, тех, кто составил костяк революционного пролетариата, помог людям определить свою судьбу.

Наверное, еще и потому так цельны, внутренне собраны лучшие герои писателя, что убеждены в правоте своего дела, которое куплено ценой крови и жертв. Младший современник описываемых в его произведениях событий, В. Кукушкин всем строем творческой мысли, жаром души воспринял пафос революционных очистительных преобразований, ощутил негибаемую волю партии, ведущей народ по пути обновления. Сурова, аскетична, непреклонна была та эпоха, но величие произошедших событий определило на многие десятилетия, определяет и поныне ход событий не только в нашей стране, но и во всем мире.

Конечно, невозможно не только в одном произведении, но и в цикле всесторонне изобразить целую историческую — грозную — эпоху. Во многом она еще ждет своего историка и романиста. Но вклад, внесенный В. Кукушкиным в изображение революционного пролетариата, трудовой интеллигенции рабочего Питера, — серьезная заявка на приоритет в этой теме. И хочется думать, что его исторические повести — документы своего времени, своего восприятия мира — останутся и в памяти читателя.

Геннадий МУРИКОВ



ПИТЕРСКАЯ ОКРАИНА

ПОВЕСТЬ

Глава первая

Посредине заезжего двора меж крестьянских телег поблескивала свежим лаком господская коляска. К ее передку прислонились расписная дуга с колокольчиками и хомут, богато разделанный сусалом. Тут же, у навеса с замшелой крышей, гуляла молодая кобыла серой масти, меченная белым треугольником на лбу. Чья-то рука украсила ее гриву веселыми девичьими лентами.

На этой нарядной упряжке приехал не первой гильдии купец, а захудалый мужик Емелька Дерябин, известный на всю волость черной бородой и отчаянным пристрастием к монополюке. С прошлой масленой ему перевалило за пятьдесят. На его висках густо пробивалась седина, на макушке белела пролысина, но для земляков он так и остался безлошадным Емелькой.

Вчера Емелька бегал по пыльным улицам родного села Кутнова босой, в домотканых штанах и рубахе. Сегодня на нем тройка — не своя, чужая; но, наряжаясь, он сказал: «Диву даюсь, как влитая». Его не беспокоило, что сапоги с лакированными голенищами больше на три номера. Пусть на нем надето все, чуть ли не до исподних, козлодумовское, зато сейчас он всем богачам в уезде почти что ровня. Вон он, Емельян Фомич, важно, по-хозяйски развалился на стуле во втором этаже перворазрядного трактира «Дунай», куда мужиков без достатка и на порог не пускали. А он без опаски занял излюбленное место пристава и не торопясь прихлебывает чай с блюдечка. Емельян Фомич решил вдосталь насладиться чайком. Перед ним на столе блюдечко с ломтиками лимона, связка баранок и жестяная коробка ландринского монпансье. Сам хозяин трактира, Дормидонт Савельевич, бочонком выкатился из-за буфетной стойки, вытирая вышитым полотенцем потную шею, подсел к Дерябину:

— Встречаешь?

— Ага,— буркнул Емельян Фомич, по-детски, с причмокиванием, обсасывая леденец.

— Дочку?

— Ага.

— Выросла, а давно ли, помнишь, в Кутнове твоя игрывала с моей Сашенькой в классы.

Маленькие бесцветные глазки на лоснящемся от жира лице выражали жадное любопытство.

— Сказывает народ, твоя кровинка выбилась в люди...

— Ага,— продолжал куражиться Емельян Фомич.

— Барышня городская, сынки господские к ручке прикладываются,— не унимался Дормидонт Савельевич,— не ровен час, приглянется дворянину, разоденет ее в шелка и бархаты. Кутновские сказывают: душа у Вареньки добрая, глядишь, и порадует родителя «катынькой» на праздники, а может, и тыщу-другую отвалит. Питерские богачи счет потеряли деньгам.

Емельян Фомич промолчал. Так обычно поступал его сосед Игнатий Иванович Козлодумов, первый купец в губернии. Бывало, придут мужики к нему на поклон, нужда разная: у одного последнее лукошко муки, у второго в избе крыша прохудилась, у третьего баба простыла на болоте, собирая подснежную клюкву, хвороба приковала к постели, доктору бы городскому показать... Люди рассказывают про свои горести, а Игнатий Иванович молчит. Угадай, о чем он думает: осуждает их бедность или жалеет? Постояв, переглянувшись, мужики продолжают еще жалобнее про свои беды. А он молчит. Ждет, чтобы попрошайки душу вывернули. Почему бы и ему, Емельяну Фомичу, сейчас не покуражиться над трактирщиком? Змей подколодный, не упустит удобного случая кольнуть.

— Вашими бы устами, Дормидонт Савельевич, да мед пить,— наконец проговорил Емельян Фомич.— Какой родитель не пожелает дочке по всем статьям исправного муженька? Не от зависти— от уважения к фамилии вашей скажу, что моей Вареньке далеко до Сашеньки. На вашу-то сам земский начальник вид имеет. Авось смертушка скоро приберет его вечную хворобушку. Вот он и вдовец.

Дочь трактирщика года два назад с земским начальником прижила ребенка. Спасаясь от срама, Дормидонт Савельевич снес внучку Наташу в управу. Подкидыша отдали на воспитание в крестьянскую семью.

— Бог даст, глядишь, и породнитесь с дворянином.

В другое время Дормидонт Савельевич цыкнул бы на Емельку, а тут заставил себя улыбнуться. Позволил себе лишь самую безобидную колкость:

— Моя дочка хлеб дарма не ест, ей муж и из про-
стого звания гош; а твоя теперь, поди, корову не подо-
ит, ведра воды не поднимет из колодца. Питерка! Учи-
тельша! К господам вхожа.

Ненароком взглянув в окно, Емельян Фомич увидел
начальника станции.

— Пора и мне на вокзал.— Емельян Фомич кивнул
на окно, не торопясь сунул коробку монпансье в кар-
ман, перекинул через руку связку баранок и пробасил:

— Варвара Емельяповна учит грамоте сынка Санкт-
петербургского купца первой гильдии Гаврилова, до
крестьянства ли ей?

С прошлогодних летних каникул при людях и даже
в разговоре с женой Емельян Фомич называл дочь
только по имени-отчеству. Но в старании показать Ва-
рю избалованной городской барышней Емельян Фомич
иногда чернил дочь, а она по-прежнему была проста с
земляками и трудолюбива. Прожив несколько лет в Пи-
тере, Варя не разучилась донть коров, печь хлеб, па-
риться в русской печке. В любом крестьянском деле не
отставала она от своих сверстниц. Прошлым летом, вско-
ре после приезда Вари на отдых, кутновские мужики от-
правились делить покосы в Ручьях. А перед самым вы-
ходом за какую-то услугу по женской доброте сиделица
поднесла Варинуму отцу сороковку. Закусил он короч-
кой. Погода же выдалась солнечная, безветренная, его
разморило, ткнулся он в кусты и захрапел. А Варя тащи-
ла жребий за отца, по-мужски отмерила пять косовищ
на заливном лугу, повязала платочком голову и пошла
от изгороди, только сталь посвистывала, широкая ше-
роховатая дорожка будто гналась за нею. Уж на что жа-
ден к работе кривой бондарь, и то отрывался полюбо-
ваться на учительшу.

Если бы Емельян Фомич и видел, как дочь косила у
ручья, где травы что овсы, то все равно бы не похвалил.
Соседство с Козлодумовым испортило его, убило в нем
любовь к земле. Уже много лет убогое его хозяйство
ведет жена Надежда Петровна. А сам он угодничает
перед богатеями, живет надеждой открыть лавку и за-
писаться в купцы второй гильдии.

Дормидонт Савельевич проводил гостя до коляски.
Сегодня он готов был поддержать его за локоток, лишь
бы заполучить к себе приезжающую питерку. Ему важ-
но первому узнать столичные новости. Купец Гаврилов
живет с открытыми дверями, министры и те сижива-
ли у него за обеденным столом.

Емельян Фомич спрятал баранки под сиденье, скормил сахар кобыле и сел в коляску. От «Дуная» до станции нет и версты, а он заторопился, увидев, что начальник уже прохаживается по платформе.

На станции чувствовалось, что вот-вот прибудет пассажирский поезд. Весовщик и носильщик уже выкатили вагонетку с багажом. В раскрытое окно было видно, что дежурный не отходит от телеграфного аппарата. Не было на платформе только мужиков, обычно собирающихся здесь задолго до прихода поезда в надежде заполучить попутчика-пассажира — в бедняцком хозяйстве и рубль капитал. Но поезд из Петербурга обычно привозил двух-трех пассажиров, заработать — все равно что выиграть корову по лотерейному билету.

Мужики были тут, да их словно ветром сдуло с платформы. Осмотрщик вагонов предупредил: «Сам-то не в духе. Вечор перебрал на крестинах у телеграфного начальника». Крестьяне, поджидая поезд, жались к каменному нештукатуренному цейхгаузу, из стены которого торчали краны, начищенные до золотого блеска, а под ними — все равно, в мороз ли, в жаркий ли день, — темнела зеленоватая лужа. У кипятилки собралось десятка полтора мужиков, над головами клубился густой махорочный дым. Емельян Фомич принюхался было к дымку, но уберегся от соблазна, засунул кисет поглубже в карман и вытащил папиросы «Тары-бары».

— За дочкой?

Емельян Фомич оглянулся. Начальник станции любезно протягивал ему раскрытую голубую коробку.

— Подымите: «Зефир» — министерский сорт.

— Премного благодарны! — Емельян Фомич заскользящими пальцами взял папиросу и скосил глаза в сторону кипятилки: видят ли мужики? — Так точно, за дочкой. Намедни Варвара Емельяновна телеграфом известили.

— Встречай, встречай. Красавица! Будь я помоложе десятка на три, ей-богу, сватов заслал бы.

— Оно, конечно, самое время сыграть свадьбу. Девушки — товар скоропортящийся, — согласился Емельян Фомич. — Старуха-то моя обревелась — не доведется, мол, понянчить ей внука. Баба дело говорит, а задумаешься, за кого отдать, — в голове чистая карусель, стоящего парня нет на примете. Варвара Емельяновна у нас городская, образованная, за простого мужика не выдать, а богатые нынче сами заглядывают в невестинны сундуки.

— За такой красавицей, как ваша Варя, и воздух сойдет за приданое.— У начальника станции замаслились глаза.— Жених для нее есть завидный. Твой соседка перед великим постом откалывал в «Дунае» такое, что и сейчас городские не опомнятся. Полную масляную спашвал заезжих мужиков и бондарей. Под конец забахвалился: никто, мол, из купцов губернии не сыщет красивее и образованнее его снохи. Господин пристав мастак подшучивать: «Из заморских краев выпишешь?» Игнатий Иванович как грохнет по столу: «Женю Генку на землячке!» А пристав ему: «Чудно! Нашлась в Кутнове всем невестам невеста». Побились они на большой заклад. Не миновать свадьбы.

— Дай-то бог...

Вдали послышался гудок, затем загрохотало железо, словно мост рухнул, а минуты три спустя из леса выскочил в белом дыму паровоз.

Емельян Фомич пошел навстречу поезду. Тяжело вздыхая и замедляя бег, проскочил паровоз.

Варя стояла на площадке предпоследнего вагона. За минувший год она еще больше похорошела. Лицо, потерявшее округлость, стало миловиднее. Емельян Фомич глядел на дочь, будто видел ее впервые. Своя — и незнакомая в городской одежде! На Варе была надета длинная черная плиссированная юбка и голубой жакет. С широкополой соломенной шляпы спадала вуаль, на руках перчатки. Поклажа господская — кожаный саквояжик, круглая картонка. Оставив у вагона вещи, Варя бросилась к отцу, повисла на шею.

В Кутнове и соседних деревнях теперь завидовали Емельяну Фомичу, а раньше жалели. В семье бедняка дочка — несчастье и разорение. Ладно, если на лицо хороша, а не то ей без приданого в девках вековать или выскочит за голодранца. А то еще хуже — угождать господам, греть постель молодым баричам. Емельян Фомич был не рад рождению дочери. «Мальчишка — всё в дом, мокрохвостка — всё из дому», — жаловался он знакомым. Много в его упреках было несправедливого.

Случилось все иначе. Однажды инспектор по народному образованию (в молодости — политический ссыльный) и местный помещик приехали в кутновскую школу на экзамены.

Инспектор вызвал Варю к доске. Она без запинки решила сложную задачу. А помещик скучал на экзамене. Он поманил Варю и спросил: «Скажи, девочка, что

тяжелее: пуд пуха или железа?» Варя не растерялась: «Коли пуд — значит, одинаково».

Инспектор уже поставил ей в классном журнале высший балл. «Ну-с, красавица, — продолжал свои шутки помещик, — ответь: на моем дворе девятнадцать с половиной коров, шесть и одна треть лошадей, двадцать овец и двенадцать с четвертью баранов. Если все сложить и разделить на три, что получится?»

Варя покачала головой: «Щи можно наварить, раз полкоровы, а вот куда конину девать — ума не приложу. Татар в нашей местности вроде и нету».

Инспектор схватил Варю, подкинул и по-отцовски поцеловал. Помещик сообразил, что ему выгоднее присоединиться к похвалам инспектора, чем прослыть круглым идиотом.

Незаурядная память и сообразительность крестьянской девочки поразили инспектора. После экзаменов он разыскал Емельяна Фомича, крепко жал ему руку, говорил, что Варя — прирожденная учительница. Емельян Фомич давно решил: последний год Варька бегаёт в школу, но ему льстило, что дочь понравилась начальству, хотя и считал, что все господа щедры на посулы.

А осенью, под казанскую, в уездном городе разыграли благотворительную лотерею на стипендию одаренной девочке из бедной семьи. С первым листопадом инспектор приехал в Кутново и увез Варю в Петербург.

Емельян Фомич ни копейки не истратил на образование дочери, что не мешало ему считать Варю своим капиталом. Года три он вынашивал думку о выгодном замужестве, но его помыслы давно перестали быть тайной для баб. Намек железнодорожного начальника подзадорил Емельяна Фомича. Если уж такой уездный чиновочтитатель шапку ломает, то и впрямь свадебкой пахнет! Видно, и впрямь Емельяну Дерябину на роду написано быть своим человеком в торговом мире. Козлодумов не позволит жить в бедности отцу снохи, отвалит несколько тыщенок на обзаведение. Емельян Фомич уже видел свою лавку в уездном городе. На вывеску не покусится, за версту можно будет прочесть: «Хомуты, колеса, хозяйственная утварь». А на стекле маляры золотой вязью выпишут: «Емельян Фомич Дерябин».

Варя и не догадывалась о его думах, доверчиво посвящала в свои планы. С осени она постарается найти уроки еще в каком-нибудь богатом доме, зимой вышлет денег на корову, к весне скопит на лошадь, а там, глядишь, они с матерью поставят и новый сруб.

Изба-то их, если б не столбы, давно бы завалилась. Будь Варя чуточку повнимательнее, она заметила бы, что отец слушает краем уха. Он вышел из коляски степенно, чуть склонив голову набок,—точь-в-точь старик Козлодумов,—хитро поглядывая на широкое крыльцо «Дуная», где прохаживался Дормидонт Савельевич.

Трактирщик издали увидел Дерябиных:

— С приездом, свет Варвара Емельяновна! Чай, замаялись в дороге! Солнцепек, прямо скажу, азиатский, поди и в классном вагоне духота,—залебезил Дормидонт Савельевич.—Пожалуйте в наш шалаш. Не побрезгайте.

Непостижимо, как при своей тучности Дормидонт Савельевич легко сбежал с крыльца, взял у Вари картонку. Варе поскорее добраться бы до родной избы, обнять мать, раздать обновы родным. Но отец так просительно смотрел на нее, что Варя послушно отправилась за трактирщиком.

В зале второго этажа были настезь распахнуты окна, и все же стояла нестерпимая духота, не спасало и благовоние недавно сожженной ландышевой бумаги. Хотя с лампы и расписного буфета свисали клейкие бумажные ленты, мухи роились над столами. Варя выпила чашку чаю. По прошлогодней встрече она знала, что в тридцативерстном пути до Кутнова предстоит еще не одна остановка. И отец будет так же просительно глядеть на нее. Какая-то у него прямо болезнь останавливаться во всех богатых домах. Что поделаешь! Не ссориться же с родителем после года разлуки.

Дормидонт Савельевич завел граммофон, поставил пластинку с юмористическим рассказом о том, как бабушка сжевала в поезде проездной билет. Отец и Дормидонт Савельевич заливались смехом. Вдоволь похохотав, трактирщик подкрутил пружину, и снова сиплый голос ревизора будил старуху, заснувшую в поезде...

Варя с облегчением вздохнула, когда отец, шумно отодвинув стул, перекрестился на икону и пошел запрягать.

Провожала Варю вся семья трактирщика: сам хозяин, жена и дочь. Лето стояло жаркое, не дождливое. Проедет ли телега, подует ли ветерок, и по дороге пыль столбом. Дормидонт Савельевич что-то шепнул своей дочери, та исчезла на жилой половине трактира и вскоря выскочила с простыней, которой укутала Варю.

Коляска на резиновом ходу не гроыхала, как крестьянские телеги, но по плохой дороге и в ней ехать не

большое удовольствие. На колдобинах Варю мотало из стороны в сторону. Емельян Фомич бранил кобылу: «Ослепла, дура! Что бы обойти,— нет, тянет, словно там калачи положены». Варю хотелось побыстрее выехать из города, но отец петлял из улицы в улицу: пускай побольше именитых людей увидят его с дочкой.

Верстах в пяти от уездного города привольно раскинулись посадки села Малый полустанок. Лет пятьдесят назад в этих местах пролегал почтовый тракт. В селе меняли лошадей, с той поры странное название и осталось за селением.

Когда коляска поднялась на кособокий, в оползнях холм, где в зарослях крапивы и веселого иван-чая темнели развалины барского дома, перед Варей открылся вид на Малый полустанок. От добротных хозяйственных пристроек сбегали к реке низкорослые яблони, избы победнее таились в овраге за погостом.

Варя смирилась с мыслью, что и в Малом полустанке придется почаевичать. Прошлым летом местный богатей Грошкин так напотчевал ее отца, что от него за версту несло сивухой. Но нынче не к Грошкину тянуло Емельяна Фомича. У того дела пошатнулись: зять отсудил маслобойный завод, а мороз выхолодил яблони. На весенней ярмарке земский начальник не подал Грошкину руки.

Подъезжая к селу, Емельян Фомич раздумывал, как сподручнее объехать усадьбу разорившегося купца. В Малом полустанке есть люди и побогаче, вот хотя бы Опенкин. Старик с размахом. По весне десяток барашков подарил молодой цыганке. А за что? Хорошо погадала. Цыганка словно в воду глядела: Опенкин неожиданно получил наследство — триста десятин мачтового леса на Псковщине.

Дом Опенкина стоял у развилки дорог, мрачный, на позеленевшем фундаменте из дикого камня. Нежилой вид придавали ему окна в нижнем этаже, прикрытые тяжелыми ставнями. В цокольной части находился магазин; в нем можно было купить костюм, шнурки, банку гуталина, круг копченой колбасы, голову сахара и медицинскую пипетку. Лишь только коляска поравнялась с домом Опенкина, Емельян Фомич молодецково спрыгнул и принялся подтягивать хомут. Громкие жалобы на худую супонь, очевидно, услышали в доме. Во втором этаже распахнулось окно, как в расписной раме показался старик. По одутловатому лицу, редкой бородке, голове, подстриженной под скобку, Варя догада-

лась, что перед ней хозяин и благодетель Малого полустанка. Опенкин был в сатиновой синей рубашке, табачного цвета жилете, на животе, выгнутом коромыслом, повисла массивная золотая цепочка.

— Питерку везешь? — спросил Опенкин. — Насовсем или на побывку?

— Погостить, — отозвался Емельян Фомич, каблуком стягивая клешни хомута. — Всю зиму учительствовала, готовила сына петербургского первой гильдии купца Гаврилова. Они-с, уезжая на Рижское взморье, желали увести и Варвару Емельяновну. Едва отбилась. Шибко соскучилась по родным местам.

Намек, что Варя вхожа в дом Гаврилова, хорошо известного в купеческом мире, оказал магическое действие на негостеприимного Опенкина. Он как будто провалился в комнату, а спустя несколько секунд снова появился у окна, успев надеть пиджак:

— Фомич, зашел бы с дочкой. — И сразу же обратился к Варе: — Дом наш чистый, а чаек, скажу, у меня заваривают отменно. Заодно и расскажете нам, медведям, питерские новости.

Варя, не слезая с коляски, поклонилась:

— Чаевничали у Дормидонта Савельевича.

— Чашечка с вишневым вареньем не в тягость. Да и лошадку слепень измотал, о бессловесной животине и бог велел заботиться. — Опенкин высунулся в окно: — Никитка, где ты, дьявол?

Варя ожидала увидеть подростка, а из хлева испуганно выскочил высокий старик — босой, в холщовых штанах и рубахе без пояса. На седой лохматой копне молодецкато держалась выгоревшая солдатская фуражка.

— Напои кобылу. Скажи Семеновне, что я приказал насыпать торбу овсеца с хуторской земли.

— Слушаюсь, напоить кобылу, насыпать овсеца! — по-солдатски отчеканил Никитка.

Никитка оттеснил Емельяна Фомича от коляски, вмиг выпряг лошадь и, громко причмокивая, повел ее к реке. В это время из дома выбежала девушка с никелированным самоваром и юркнула в овраг, а на крыльце показался Опекин, добродушно оглаживая живот:

— Не обессудьте, милости прошу.

Емельян Фомич хозяйски осматривал, ощупывал коляску. Варя без отца не решалась войти в дом. Она привстала на носках, слегка притянула нависшую над

забором ветку акации. Опенкин пригнул чуть ли не до земли макушку дерева и с купеческой щедростью предложил:

— Коли пожелаете, прикажу вырыть и посадить перед вашим окном.

— Благодарю, зачем сад разорять?

За столом, потчуй гостей, Опенкин с нескрываемой завистью посматривал на Варю. Емелька Дерябин — голытьба, в порядочный дом на порог не пускают, а вот дочка — образованная барышня, и притом хороша.

В доме Опенкина водку пили стаканами. Варя натерпелась от пьяного отца. Нехороший он во хмелю, придирчив, заносчив. Все горечи, обиды, скрывавшиеся годами, в один момент выложит. Скандал мог произойти и здесь. На Варино счастье, в лавку привезли товар, а ключ от кладовых Опенкин никому не доверял. Удобный был повод распрощаться.

Верст семь проехали не разговаривая. Емельян Фомич несколько раз затягивал свою любимую песню про разбойника Чуркина; пропев первую строфу, сбивался и ругал кобылу, затем снова начинал: «Среди лесов дремучих разбойнички идут».

Остальную часть пути Емельян Фомич едва держался на ногах и все-таки по-прежнему охотно заезжал в богатые дома. Варя устала, ей было тошно от чаепитий, но как ни отговаривалась, а пришлось остановиться и в Пустошках. Вдова лесничего Дарья Дмитриевна, семипудовая старуха, зацеловала Варю на пороге и, как сваха, приговаривала:

— Невеста! Быть бы тебе в доме Константина Еврафовича, жаль, господь не дал благодетелю радости иметь наследника.

Вдова подарила Варе котенка. Емельян Фомич заискивающе поблагодарил ее, а выехали за околицу — разозлился, не унять, вожжи сердито запрыгали по бокам лошади.

— Жаднюга, одарила бы поросенком, а с этой тварью что? Одна морока, — шумел Емельян Фомич. — Нахлебница посадила, через неделю понаведается, как живется ее Котофенчу.

Емельян Фомич со злостью сжал шею котенку, тот испуганно мяукнул. Варя отобрала у отца котенка и придвинула корзинку к своим ногам.

В трех верстах от Кутнова коляску встретила мать, старуха в свои сорок лет. Варя кинулась к ней. Прижавшись друг к другу, они пешком дошли до кузницы, где

их поджидал обогнавший Емельян Фомич. Он приказал им сесть в коляску, привязал к дуге запасные бубенцы, чтобы въехать в село с трезвомом.

В Кутново въехали под вечер. Солнце золотило окна в домах, пастухи уже пригнали стадо. Из дворов доносилось равномерное похрустывание, приглушенное мычание коров. Дворняги залившимся лаем встречали и провожали коляску. Впереди, до самого дома Дерябиных, лежала пустынная улица, а Варя знала, что за каждой занавеской скрываются любопытные глаза.

Вот и семнадцатикомнатный, с лавками и кладовыми, дом Козлодумова, а на другой стороне проулка — изба Дерябиных. От такого соседства она выглядела еще беднее. За минувший год задняя стена больше выгорбилась, прибавилась еще одна подпорка из неокоренной осины. Половицы в красном углу избы приподнялись. Стол накренился. Того и гляди, что самовар и чашки скатятся на пол. Постарели картинки из «Нивы» на стенах. Мебель сохранилась: те же лавки, самодельные табуретки и хромоногий стол. Все бедное, нищее и все равно милое сердцу. Варя даже встречу с подружками отложила на завтра. Хотелось посидеть с матерью вечером.

Простое Варино желание не сбылось. Прибежала батрачка Козлодумовых, вызвала Емельяна Фомича в сени и зашептала:

— Сам наказывал, чтобы всем семейством... Геннадия гонял в Броды за музыкой, водки припас — залейся. Гусей, что откармливали орехами, прирезали...

И опять Варя в гостях ради отца.

Соседи Дерябиных — Козлодумовы лет двадцать назад были крестьянами без достатка. Из семьи всегда кто-нибудь батрачил на стороне. Игнатий родился девятым, непрощеным. Отец и мать заморыши, в чем только душа держалась, а он вымахал без малого в косую сажень, на лицо пригож, даже зимой загорелый. Глаза большие, карие. Какая из девок на него не заглядывалась! Парни боялись его силищи. В молодые годы он из кочерги банты вязал. Побьет — в могилу сгонит. После драки, когда ему ножом попортили шею, Игнатий отпустил бороду и с тех пор ее не снимал.

О том, как он разбогател, рассказывалось много историй. Одни говорили, будто купца ограбил, другие — что ему в Иванов день дался клад, третьи утверждали, что десятью тысячами одарила за любовные утехы молодая помещица. Какая из этих версий верна — никто

не знал, а Игнатий Иванович не любил, когда его деньги считали. Еще при жизни отца он взял хозяйство в свои руки. Выгодно выдал замуж сестер, женил и отделил братьев.

Огромная сила и деньги укрепили в Игнатии Ивановиче и без того резкий и самолюбивый характер. Никто не смел ему перечить. Геннадий боялся крутого нрава отца.

— Хватит по девкам бегать, нашел чудо-невесту,— объявил ему нынче утром Игнатий Иванович. — Питерская.

— Повременить бы,— робко заикнулся Геннадий.

Игнатий Иванович чуть повел головой, и Геннадий сник.

— Смотри, чтоб без хамства,— предупредил он сына,— не попорти мне обедню. Соседская дочь — не твои толстомясые. Те пищат, а сами в ладонь за лаской лезут. К этой до свадьбы ни-ни...

— Что я...

— Молчи. Молод учить, слава богу, еще свой хлеб ем, да и тебя кормлю,— сердито перебил Игнатий Иванович. — Ухаживай уважительно, поменьше рот разевай, пригласи кататься на тройке, в охотничий домик музыкантов прихвати. Оплачу расходы...

Игнатий Иванович велел сыну выпить рюмочки двести, не больше,— а тому только начать!..

Если для Емельяна Фомича удовольствием было посидеть за столом у богатого соседа, то для Вари это было пыткой. Хотя она и не пила, но ее столько раз заставляли пригубить рюмку, что мутило от одного прикосновения. А тут еще Геннадий начал выказывать свои чувства: ловил под столом ее руку, давил ногой на туфлю. Привык, что на вечеринках девушки сами льнут к нему, любую можно посадить на колени, целовать и тискать всласть. От назойливого ухаживания Варю избавили гармонисты. Геннадий притих. Он не умел танцевать вальс. Тряхнул стариной сам хозяин, не забыл он уроков молодой помещицы. Танцевать с ним было не легко, но Варю радовало, что теперь Геннадий не осмеливался подойти к ней.

На прошлом храмовом празднике, когда лучший плясун села Тимоха Погребняк в задорной «барыне» отступил от Вари, Игнатий Иванович окончательно решил ввести ее в свой дом. Его не остановило, что девушка не принесет денег. «У Козлодумовых,— говорил он себе,— капиталов хватит, а с такой снохой и в Пи-

тере не стыдно показаться». Желания Вари Игнатий Иванович не спрашивал: он привык, что ему никто не возражал в уезде.

После ухода Дерябиных старик долго сидел за небуканным столом, громко хохоча, представляя себе, какое сделает лицо дурак пристав, получив приглашение на свадьбу.

От умного и хитрого Игнатия Ивановича не ускользнуло, что Генка оскандалился. Утром, опохмелившись, он кликнул сына и принялся корить:

— Кухаркин кавалер. Кто ж так ухаживает за образованной барышней! Диву даюсь, как это ты еще не посадил Варвару Емельяновну к себе на колени...

В воскресенье Варя ушла с подругами в погореловский лес за ягодами. Едва пестрая стайка девиц скрылась за околицей, как в доме Козлодумовых открылась парадная дверь и из нее павой выплыла Авдотья Федоровна, неперемный человек на свадьбах и похоронах. Переступив порог дерябинской избы, перекрестившись на потемневшую икону, она привычно скомандовала:

— Князь, потчуй подобру, несу в твой дом великую радость. Не пройдет и недели, улетит твоя чайка белокрылая в терем из золота и жемчуга...

Вернувшись из леса, Варя застала мать в слезах. Отец сидел на полатах, свесив ноги, и прямо из кувшина жадно пил хлебный квас.

— За старое взялся, колотишь? — Варя кинулась к матери, обняла ее за голову.

— Лучше бы избил, — залилась слезами Надежда Петровна, — а то толкает мою касаточку, мою кровинку в волчий омут. Федоровна все уши прожужжала: свадьбу справляйте, такое счастье привалило! Невдомек, что гнусавый Генка не пара тебе. А что в деньгах купается, так будь они прокляты!

— Свадьба? Моя свадьба? — удивилась Варя. — Я еще не собираюсь замуж.

Емельян Фомич с грохотом поставил кувшин на полати:

— Баста, кто в доме хозяин? Быть тебе, Варвара, Козлодумовой. Ишь, ее в Питер тянет! У чужих господ мыкаться, когда счастье само лезет в руки. Окрутись с Генкой — и первой госпожой станешь в уезде. Пожелай — и на дому будет школа. Игнатий Иванович говорил, что для тебя никаких денег не пожалеет. Богач, в банке, почитай, тысяч четыреста, а недвижимости и того больше.

— Подавись ты, ирод, вместе с ихним богатством,— заступилась Надежда Петровна за дочь. — Тюрьма, а не дом! Что люди-то скажут: на деньги польстилась!..

Теперь и Варя поняла: сватают! Нет, торгуют ею, как вещью! Отец приказывает. А что хорошего Варя от него видела? Одни попреки. Образование получила живя впроголодь, на пожертвованные гроши. Слава богу, теперь она уже не та девчонка-трусиха, которая больше всего на свете боялась грозы да хмельного отца. Выпрямившись, чуть откинув голову, она сказала:

— Я не крепостная.

— Моя воля!

— Воротит меня от козлодумовского сынка. Так в глаза и скажу.

— Попробуй вякни! — зарычал Емельян Фомич, намереваясь прыгнуть с полатей.

Варя повернулась к нему, готовая постоять за себя. Емельян Фомич оторопел. Такую девку бранью и кулаками не проймешь. Злость его брала, что жена своим хныканьем отрезала ему путь к уговорам. Теперь вот попробуй Варьку ввести в оглобли! Емельян Фомич столкнулся с полатей кувшин, черепки разлетелись по избе.

Надежда Петровна кинулась было в сени за тряпкой, Варя ухватила мать за кофточку:

— Сам бил, сам и подотрет.

Емельян Фомич заскрежетал зубами, но в ссору больше не ввязывался. Опасаясь, как бы отец не сорвал злость на матери, Варя отвела ее в горенку, уложила на свою постель и вышла на улицу.

Вечер был тихий. Варя присела на скамейку под своей яблонькой. Однажды, возвращаясь с покоса, она подобрала на проселке упавший с воза, завянувший саженец. Отец на нее тогда прикрикнул, что и своего мусора не обобрать возле избы, а она еще чужой натаскивает. И так щелкнул кнутом, что Варя с перепугу швырнула саженец под забор, и тот случайно попал в пожарную кадку. За ночь саженец ожил, листики посвежели, выбрасывать его было жаль. Варя напротив горенки выкопала ямку и посадила саженец. Теперь с этой яблони каждую осень снимают урожай — наливную антоновку. Варя невольно сравнила свою жизнь с яблонькой. Не встретиться на пути Вари добряк инспектор, отец не дал бы ей учиться. И была бы у нее одна дороженька — в батрачки.

После ссоры Варя избегала встреч с отцом. Когда он возвращался домой, она уходила на речку или пере-

жидала на огороде, пока отец уgomонится и отправится спать на сеновал. Жалко было мать, иначе ничто не задержало бы ее отъезд в Петербург.

Несколько дней Емельян Фомич отлеживался на печке, ходил в лес за грибами, на речку проверять верши. Игнатий Иванович без него узнал, а может, и сам догадался об отказе Вари. Он отыскал незадачливую сваху, схоронившуюся у знакомых, изломал об нее трость, приговаривая:

— Быть учительше Козлодумовой! Иначе за тридцать верст обходи Кутново. Уважишь — одарю. Варьку в мой дом — и тебе с моего двора любую корову и пяток барашков на разведение.

Побей Авдотью Федоровну кто-нибудь даже из дворян, показала бы она коготки, а с Игнатием Ивановичем и ей немоготу тягаться. Всплакнув, поблагодарив за науку, она обещала благодетелю привести строптивую невесту в дом. Благо ее родитель дал согласие...

Вечером на проселке, как дым на пожарище, поднималась пыль — пастухи гнали стадо домой. Ненагулявшаяся скотина норовила сбежать в поле, то и дело шелкали пастушечьи кнуты.

Варя открыла ворота. Чернушка не признавала в ней хозяйку: недовольно промычав, затрусилa к речке. Мать рассказывала Вале, что весной, когда волки в молодом осиннике загрызли их Пеструшку, Козлодумов дал им на время дойную корову, только норовистую: чуть прозеваешь, уйдет бродяжить в огороды, а то и в лес.

Варя нарвала в огороде капустных листьев и побежала искать корову. Чернушка уже зашла в речку, жадно припала к воде. Подманивая ее капустой, Варя привела беглянку во двор и накрепко заложила ворота на засов.

Отец вышел на крыльцо и закурил трубку. Варя сидела в задумчивости под своей яблонькой. Платок, спадающий с ее плеч, как ему показалось, скрывал полноту. Где у него глаза были на станции? Жакетка-то у дочери была распахнута не от жары.

— Нынче в лесу, — сказал он, — обхаживая грибные места, слышал я частушку о том, что кутновская питерка принесет мальчонку.

Варя не расслышала слов отца и решила, что ей-то какое дело до новой озорной частушки. Молчание дочери Емельян Фомич принял за испуг:

— Не про тебя, часом, поют?

— Частушку? — переспросила Варя.

Емельян Фомич не видел, как дрогнули у Вари губы, как пальцы впились в платок. Он будто наяву слышал лебезящий голос Федоровны: «Разодетой приехала доченька. На учительское жалованье не накопишь столько обновок. С каких же это, интересно, шишей? Как родному брату советую — выдавай дочку поскорее от срама».

— Какой месяц? — Емельян Фомич схватил Варю за плечо. — Нагуляла с питерскими баричами!

Варя сбросила его руку. Произошло что-то чудовищное, невероятное, — она не ослышалась, нет. И это родной отец смел ей сказать...

Емельян Фомич огляделся по сторонам.

— Не будь душой, в твоих ногах непочатый клад, только подыми. Позавчера на меже встретил Игнатия Ивановича. Ровно не заметил меня, повернул назад. Чую, на сердце у него черно. Сгонит. Махнет мизинцем, и мы пропали. Земля-то у нас козлодумовская. Не даст и засеянное убрать. А на своем лоскуте в четверть души не больно хлебом разживешься. Дай-то бог, чтобы он стерпел обиду, отошел. На него нет управы. В запой Игнатия Ивановича пристав прикидывается хворым или уезжает из уезда. На сто верст в окружности никто твоему будущему свекру не перечит, а тут такой конфуз. Если стерпел, видно, крепко ты полюбила старика. Согласись, Варенька, потом поймешь, что я добра тебе желаю. Не чужой я тебе человек, а родитель. Прикинька свое положение, всяк перед Игнатием Ивановичем шапку ломает. Из мужиков он пробился в люди, сколько нажил недвижимости, — Емельян Фомич не спеша стал загибать пальцы: — кожевенный завод, маслоделка, мельница, шесть домов в уездном городе... Согласись. Сама припеваючи будешь жить, и нам со старухой кое-что перепадет из козлодумовских сундуков. — Емельян Фомич понизил голос: — Обещал подарить качаловский дом, слышишь, тот самый. Разве тебе не радость, что мать хозяйкой войдет в помещичий дом? Знаю, не люб тебе Генка, рожей не вышел, гнусав, в башке полно опилок, да в твоём ли положении выбирать, богач сватается, да еще какой! На свадьбе Генку опоим. Федоровна востра умом. Она и надумила, соглашайся. Бог даст, старик и сам скоро преставится. Два удара от запоя было, третьего не миновать. Сынок без характеру, приберешь к рукам. А барыне не обязательно любить только мужа, он в навозе пусть возится, а ты в Питер или еще куда... С деньгами-то все позволено.

В Варя боролись два желания: повернуться и убежать и второе, более настойчивое,— высказать все, что у нее накопело на душе. И это чувство взяло верх:

— Вот что, отец... Меня чужие и то так не обижали. Но я не о себе... Как это ужасно, что человек, который дал мне жизнь, растерял все человеческое, сам скатывается в грязь и дочь туда же толкает...

Прежде чем захлопнуть калитку, Варя оглянулась. Ей на секунду показалось, что у яблони стоит не отец, а Козлодумов, только ростом поменьше, в плечах поуже, но одежда и обувь козлодумовские: сапоги с лакированными голенищами, жилет, фальшивая золотая цепочка.

— Хорош отец, за купеческие обноски не прочь расчитаться родной дочерью...

Прижимая к лицу платок, чтобы заглушить рыдания, она выбралась задворками в поле.

Долго она бродила по проселку, по тропинкам, протоптаным в лугах. От росы намокли туфли и чулки... Только когда под ногами зачавкала вода, Варя остановилась. В сгустившихся сумерках она узнала болото верстах в четырех от села.

Домой она вернулась только часа через два, уже затемно. Когда подходила к калитке, от изгороди отделился человек. «Не отец ли?» — мелькнула мысль. Но, взглядевшись, она побежала навстречу:

— Мама, какая я нехорошая, согнала тебя с постели!

Надежда Петровна прижала дочь к себе, укутала концом шали. Варя почувствовала, что лицо матери мокро от слез.

— Полно, девонька. До сна ли, горе-то какое к нам стучится! Зверем ревет. Напился. Частушку все пел про тебя. Орал до хрипоты, насилу угомонился, дьявол. Наверно, ее Федоровна сложила. Помнишь, как она рогульских сестер-близнецов Катасовых ославила?

— И про меня так говорят? — вырвалось у Вари.

— У паскуды Федоровны не язык, а жернова, все перемелет. Не тревожься, уедешь, все обойдется. Питер не наше Кутново, там тебя не достанут. Пойдем домой, отдохнуть тебе надо. Небось спит ирод, твой отец.

— У меня, мама, нет больше отца, он...

— Все, доченька, знаю, стыдом стыдила — не проняла. Он за Козлодумовых в петлю полезет.

— Поедем, мама, в город. Я возьму уроки,— успокаивала Варя мать.

— Спасибо, доченька. Уехала бы, не оглянулась. Жизни с ним нет, спит и видит, как разбогатеть. Сбежала бы, да не выдаст вид на жительство. Я к нему в паспорт вписана. Решилась бы на самоволку, а он с жалобой к уряднику. По этапу пригонят. Сраму не оберешься.

Утром Варя на попутной подводе уехала на станцию. Надежда Петровна проводила дочь до кузницы и долго глядела вслед, как дыбится пыль. Когда телега в последний раз показалась на пригорке возле трех сосен, ноги у нее подкосились, она рухнула на дорогу...

Глава вторая

В Петербурге Варю ждали новые неприятности. Купец Гаврилов отказал ей от места. Он нанял в учителя француза. В довершение бед вдова, в квартире которой Варя снимала угол, повысила плату.

Сторожиха украдкой пустила Варю ночевать в школу. Спала она в классе на стульях, сделав изголовье из книг и полотенца. Потом весь день ломило тело, в голове стоял шум, с трудом она провела уроки.

Прямо из школы Варя отправилась к вдове — не скитаться же по ночлежкам. На Большой Колтовской улице Варино внимание привлекло объявление на заборе о сдаче комнаты за недорогую плату.

В этот же день Варя забрала свои пожитки у вдовы. В снятой комнате едва уместились железная кровать, столик и этажерка. Хозяйка квартиры — Анфиса Григорьевна — оказалась добросердечным человеком.

— Располагайтесь по-домашнему, — сказала она. — Питайтесь на кухне, там у нас чисто.

Утром, еще до ухода Вари в школу, Анфиса Григорьевна успевала сходить на рынок, купить для себя и своей жилички мяса, овощей, крупы.

Варя второй год преподавала в частной школе Софьи Андреевны Белоконовой, женщины лет сорока пяти, с лицом монастырской послушницы, одетой всегда в одно и то же строгое платье с закрытым воротом. Она носила черный платок, заколотый под подбородком, отчего ее продолговатое лицо с мясистым носом выглядело еще длиннее. Ребята не любили ее и прозвали монашкой. Жила Софья Андреевна в школе. Занимала большую комнату, похожую на молельню. Красный угол был завешан иконами в громоздких киотах. Софья Андре-

евна спала на жесткой кровати, не ела скоромного в постные дни.

Как-то Варя задержалась в классе, отбирая тетради для проверки. Портфель был переполнен, однако Софья Андреевна совала ей еще книгу в бархатном переплете с металлической застежкой:

— Почитай, душу облегчит. Я ее храню рядом с Евангелием. Потом побеседуем.

Пришлось принять книгу и поблагодарить.

Домой Варя возвращалась не в духе. Проклятая книга испортит вечер.

На лестнице вкусно пахло свежим борщом,— варить его Анфиса Григорьевна была мастерица.

— Пригляди-ка, Варенька, за ребятами,— попросила она, надевая мужнин пиджак.— Никак не вырваться в лавку, а какой же борщ без сметаны!

Малые спали в деревянных кроватках, накрытые марлей, старший играл в бабки на дворе. Наверно, из деревни занесли в Петербург эту игру крестьянских детей.

Варя раскрыла книжку, переплетенную в бархат. Листы и корешок кое-где были засижены клопами, замусолены чьими-то пальцами. Что же это за сочинение, которое Софья Андреевна хранит рядом с Евангелием?

«Учитель (ница) должен быть воплощением всех добродетелей, в понятие коих входит:

Быть верующим. Строго соблюдать посты, исповедоваться в положенный срок. Не пропускать ни одной церковной службы.

Не предаваться распутству. Не жениться (не выходить замуж) до 35—40 лет.

Не принимать участия в вольнодумных собраниях, противных императорской фамилии. Образумливать смутьянов словом, а неисправимых предоставлять полиции...»

Вот оно что! Настольная книга для народных учителей! Полицейско-церковный катехизис. Варя швырнула замусоленную книжку в угол. А после обеда достала ее, поправила застежку и села читать. Софья Андреевна завтра непременно заведет к себе в молельню, спросит, понравилась ли книга.

Потеря места у купца Гаврилова спутала все Вариньны расчеты. Теперь она не сможет посылать в деревню обещанных денег. Софья Андреевна помалкивала о прибавке жалованья, хотя с осени у Вари стало на один класс больше.

Варю не покидала надежда найти частные уроки. Приближались рождественские праздники. Витрины магазинов украсились россыпями золотого дождя, ватными дедами-морозами, китайскими фонариками. Будет ли у Вари праздник? Мать писала ей часто, и почти в каждом письме внизу было приписано отцовской рукой: «Пришли денег, если не хочешь сраму». Уже в октябре Варя сняла со сберегательной книжки остаток вклада.

В Вариной записной книжке было уже несколько десятков адресов, сбоку помеченных черточкой. Не одну улицу исходила она по объявлениям — в Адмиралтейской части, на Песках, в Коломне, и всякий раз кто-нибудь ее опережал. Случалось, что Варю не пускали даже в квартиру. Прислуга, держа дверь на цепочке, отвечала: «Опоздали, чуть бы пораньше». Встречали и оскорблениями: «Шляются тут всякие, неделю назад наняли». Варя давала себе слово бросить поиски места, но снова шла на угол за газетой. В «Петербургском листке» печатались объявления о найме горничных, кухарок и репетиторов.

Однажды подвел будильник. Хорошо, что спохватилась квартирная хозяйка. Наскоро умывшись, Варя выскочила из дому. По дороге в школу купила газету, но просмотреть ее перед уроком не успела. Софья Андреевна с запудренными отеками на лице ожидала Варю в учительской и сразу повела в свою молельню:

— Роднушка, я так тревожилась, вчера мне показалось, что вам нездоровится. Наверно, питаетесь плохо. Ох, если бы моя воля! Но я непременно попрошу господ попечителей.

Стеклянные глаза Софьи Андреевны подобтели. Она усадила Варю за свой стол, сама села напротив и, молитвенно вскинув руки, заговорила. Голос ее звучал непривычно ласково:

— Скоро Никола зимний.

Православные святцы богаты храмовыми праздниками. Чему же радуется начальница? Варя молчала.

— Ох, молодость! — сокрушалась Софья Андреевна. Ее взгляд скользил то по Вариному лицу, то по иконе чудотворца. — Святая простота! Никола зимний ей ни о чем не говорит.

Она снова вскинула руки, как бы призывая в свидетели небо.

— Голубушка, Варенька, а как зовут нашего благодетеля, императора? Имя-то царю-батюшке дали в честь

Николая Чудотворца. Я заготовила адрес и прошения на высочайшее имя. Вы, дорогая, покрасивее перепишите, чтоб чувствовалось наше уважение к монаршему престолу.

Варя чертежным пером старательно переписала прошение. Поздравляя императора, начальница выпрашивала на поддержание своей школы пять тысяч рублей.

Приподнятое настроение не сделало Софью Андреевну щедрой. Она велела Варе доехать до Большого проспекта на конке, а извозчика нанять лишь у Тучкова моста.

— Не садись в первые встречные сани, выбирай с полостью побогаче — медвежьей. К высочайшему подъезду нанимаешь. На совесть извозчицью не надейся, заранее поторгуйся, а то обдерут. Если им, дармоедам, верить, то овес дороже пшеницы; на чай дай пятак. За это пусть скажет спасибо.

Канцелярия по принятию прошений на высочайшее имя помещалась на Исаакиевской площади. Едва Варя перешагнула порог Марининского дворца, как очутилась в минувшем веке. Молчаливые лакеи в расшитых livреях и длинных белых чулках стояли у дверей, бесшумно сновали по коридорам, разнося на серебряных подносах чай и почту.

Разыскивая канцелярию, Варя очутилась на деревянной лестнице-подъеме без ступенек. Лакей осторожно катил вверх кресло, в котором полулежал дряхлый сенатор. На поворотах старик чуть приоткрывал глаза, чтобы сразу же опять впасть в забытье.

На лестнице Варю догнал лакей, провел ее к сенатору, очень похожему на того, что дремал в кресле-коляске.

Важный старик сидел под огромным портретом Николая II и чуть шевелил губами. Варя с трудом поняла: «Божий помазанник щедр и милостлив, но не грех ли обременять его мелкими, обывательскими просьбами?»

Уйти, не отдав прошения, Варя не могла: Софья Андреевна ее завтра же прогонит. Варя заставила себя улыбнуться. Ей пришла в голову спасительная мысль.

— Нашей начальнице благоволит государыня императрица. Без ведома ее величества вряд ли...

Недавно сенатор отказал просителю, который произвел на него впечатление сущего попрошайки и афериста. А тот оказался вхож в распутинский дом. На докладе императрица не позволила сенатору прикоснуться к руч-

ке и ледяным тоном посоветовала не обижать ее друзей. Боясь снова попасть впросак, старик жестом показал Варе, что уважил ее просьбу. Уходя из кабинета, она видела, как он почтительно положил прошение в папку для доклада императору.

Вручив прошение, Варя вдруг почувствовала усталость. Она не помнила, как очутилась на Исаакиевской площади.

В школу возвращаться было поздно. Варя заехала к портнихе, но не застала ее дома, решила подождать. Вспомнила про газету. От множества объявлений рябило в глазах. Если верить газетам, то в России нет безработных, каждый может стать капиталистом. Некий Саечкин из Одессы предлагал за пять рублей выслать рецепт вновь изобретенного им шампанского, газированного кваса, уверяя, что его клиенты из Киева, Ялты, Пятигорска за какой-нибудь год разбогатеют так, что купили по каменному дому.

Товарищество «Гермес» сулило хороший заработок. Оно призывало бога в свидетели, что любой человек, прочитав их руководство за два с полтиной, научится выделывать все сорта мыла, лампадное и прочие масла, а также мази и ваксы. Какой-то Южаков из Лодзи обещал щедрый заработок — десять рублей в день. За совет он требовал выслать ему всего один рубль.

И наконец, вот объявление:

«Требуется репетитор, хорошо знающий французский язык и математику, к мальчику десяти лет. Условия по соглашению...»

Поспешить бы по адресу, да вернулась портниха. Платье из голубого атласа с кружевной отделкой шло Варе, но она не испытывала радости. В хлопотах из-за чужого дела прошло полдня. Наверное, опять ей покажут от ворот поворот. Все же она поехала по адресу, указанному в объявлении.

На улице зажгли фонари, и от их мерцающего света Варе стало еще грустнее. В Петербурге сейчас сотни людей ищут уроков. Еще вчера в газете «Копейка» она прочитала страшное по своей безысходности объявление: «Умоляю дать уроки по русскому языку, арифметике и физике. Исправляю самые скверные почерки. Условия скромные: тарелка супу в обед и ужин».

Фонари напомнили Варе, что уже вечер. Она постояла немного против большого серого дома, печально взглянула на окна с задернутыми портьерами и побрела прочь. Поздно уже. Лучше встать завтра пораньше, у

первого газетчика купить газету, и если попадутся подходящие объявления, то можно успеть до занятий по одному или двум адресам забежать.

Позади себя Варя услышала частый топот. Она оглянулась. По панели бежала толстушка в полушубке и черных валенках с галошами. Девушка спешила, косынка сползла на затылок.

— Заморилась, дух перехватило, боялась — не догону, — сказала девушка. — Барышня вас зовут.

— Какая барышня? — Варя взглянула на девушку.

— Наша барышня, Агнесса. Ей-богу, интересный для вас разговор.

На Моховой никто из Вариных знакомых не жил, похоже было, что прислуга обозналась. Варя попыталась убедить девушку, что произошло какое-то недоразумение.

— Ничуть. В учительницы нанимаетесь, правда? — почему-то жалостливо проговорила девушка, ловко завязывая косынку. Отдышавшись, она затараторила:

— Еще никого не взяли к Бориске, а барышне вы понравились. Она стояла у окна, заметила, как вы пригорюнились, навела бинокль. Кликнула меня. Барышня наказала: если ищет уроков, то проси зайти.

Еще не веря в удачу, Варя поднималась по лестнице, застланной мягкой дорожкой. Не очередная ли это светская шутка, причуда богатой барыньки? А что терять? Она просит не милостыни, а работы. Все равно придется ходить по адресам, пока не найдет места.

Даша — так звали девушку — провела Варю в гостиную, уютно обставленную старинной мягкой мебелью. Из дверей соседней комнаты к Варе вышла красивая сверстница со слегка пухлыми губами.

— Не сердитесь за мою бесцеремонность. Я хочу вам добра. Вы по объявлению, чего же испугались?

— Угадали, — робко призналась Варя. — Побоялась напрасно беспокоить. День-то на исходе.

— О, да вы трусиха вроде меня. — Серые глаза Агнессы были полны сочувствия. Узнав, как зовут посетительницу, она усадила ее на диван. — Хотите кофе? С мороза хорошо согреться. Кстати, где вы шили такое миленькое платьице?

Варя от кофе отказалась. Хотелось знать поскорее, не тратя времени на болтовню, получит ли она здесь место.

— Наверное, много просителей? — промолвила она, надеясь перевести разговор на деловой тон.

Агнесса лениво отмахнулась рукой, что должно было обозначать: стоит ли говорить о таких пустяках, когда меня гораздо больше интересует ваше платье.

— У вас, Варя, есть вкус,— сказала она так просто, словно знала посетительницу со школьной скамьи.— А вот меня все упрекают, что я капризна и бестолкова. Будьте третейским судьей.

Странная девушка скрылась в соседней комнате и через несколько минут вышла опять. В платье кимоно из темного бархата она выглядела полнее и провинциальнее.

— Последний шедевр моей портнихи. Нравится?

— Нет.

— Я выгляжу в этом наряде молодой жиреющей лавочницей, а та свое: «К новому фасону нужно привыкнуть». Мама посоветовала взять платье и не спорить.

— Я бы заставила переделать,— решительно проговорила Варя,— обшивай эта портниха хоть саму императрицу.

— Конечно, да разве мою маму переспоришь...

В прихожей осторожно звякнул звонок. Слышно было, как открывают входную дверь. Даша торопливо пробежала через столовую и, тихонько постучав, доложила:

— По объявлению.

Агнесса резко сказала:

— Передайте: место занято.

Горничная мялась на пороге, бросая виноватые взгляды на Варю. По ее лицу было видно, что она должна сказать что-то неотложное.

— Идите, Даша.

— Рекомендация от Пуришкевичей...

— Место занято,— еще строже повторила Агнесса.

Горничная выскочила из комнаты. Настроение у Вари испортилось. И было от чего. Отказали репетитору с рекомендацией, и какой... Да, она не ослышалась, горничная так и сказала: «От Пуришкевичей». Неужели тот самый?.. Она сказала:

— Вы не поторопились с отказом? У меня рекомендаций нет.

— Вот как? — Агнесса нахмурилась.

Варя спокойно смотрела ей в лицо, и только пальцы выдавали скрытое волнение: теребили перчатку.

— Я, как мне и полагается, по легкомыслию, конечно, и не подумала об этом. Дурацкая система! Без рекомендации человек хоть умирай! Но боюсь, что отец...

Странная девушка вдруг порывисто сжала Варину руку, подбежала к телефонному аппарату, который стоял на круглом столике. Вызвав какой-то номер, она заговорила, щура глаза и оглядывая себя в зеркало:

— Валентин Алексеевич, предлагаю мир. Приезжайте... Нет, ошиблись. Сегодня мой противник не Бук-Затонский, а папа... Да, к сожалению, сам папа... Жду...

Спустя четверть часа в гостиной появился молодой офицер лейб-гвардии Преображенского полка. Валентину Алексеевичу Ловягину не было еще и двадцати пяти лет. Выше среднего роста, круглолицый, с приятным румянцем, с густыми, зачесанными на пробор каштановыми волосами, он заставил Варю поначалу внутренне как-то даже насторожиться. Портреты таких душеквардейцев с аккуратно подстриженными черными усиками, с тайной грустью в глазах фотографы охотно выставляли в своих витринах. Однако движения его были просты, лишены манерности, а глаза смотрели умно и приветливо. Отцепив саблю, Ловягин повесил ее на спинку кресла. Агнесса представила ему Варю как репетитора ее младшего брата, при этом что-то шепнув ему на ухо. Он широко улыбнулся, поймал руку Агнессы, поцеловал и непринужденно, весело заговорил:

— За мою рекомендацию Бронислав Сергеевич и гроша не даст, а вот если... — Ловягин от удовольствия хлопнул себя по коленям. — Сошлемся на мою *bonne grand'mère*¹. Кстати, старуха будет рада, что ее внук способен просить не только об уплате очередного карточного долга.

Агнесса опять взяла Варю за руку:

— У Валентина Алексеевича светлая голова, добрая душа, и он совсем не любит карты, хотя играет. Зачем — не знаю. Кстати, я забыла сказать: Валентин Алексеевич — мой жених номер один. А затем я вам представляю жениха под номером вторым.

Владелец серого дома на Моховой улице Бронислав Сергеевич Теренин приехал лишь к ужину. Он выразил удовольствие, что дочь занялась делом — нашла учительницу для младшего брата. Варя произвела и на него хорошее впечатление. Но после ужина он задержал ее в столовой, отвел к окну.

— Желание Агнессы — три четверти договоренности, — сказал он, оглаживая клинышек черной бородки. — Осталась последняя четверть. Что вы окончили?

¹ Добрую бабушку.

Варя ожидала такого вопроса. Образование у нее вполне достаточное для репетитора, но рекомендация... Язык не повернется сослаться на незнакомую ей бабушку Ловягина. От волнения у Вари ослаб голос.

— Гимназию с золотой медалью, курсы иностранных языков. Свободно читаю, говорю и пишу по-французски,— перечисляла Варя, протягивая документы.

Бронислав Сергеевич надел пенсне:

— О, да вы с моей дочерью одногодки! А кто ваш отец?

Варя успела только сказать, что родилась в селе Кутнове в семье бедных крестьян, как в столовую вернулась Агнесса.

— Папочка,— капризно, по-детски протянула она,— вы изволите портить нам вечер. Все оговорено. Валентин Алексеевич обиделся, говорит, что у Терениных не дом, а контора, всё дела и дела. Собирается уезжать. Варя, пойдемте в гостиную.

— Минутку, Ага, позволь об условиях...

— Надеюсь, папа, мы не беднее Осиповых, а они платят репетитору двадцать пять рублей. Как ты выражаешься — «гонорар»...

Хотя такой молодой учительнице за глаза хватило бы пятнадцати, Бронислав Сергеевич вынужден был согласиться. Не дай бог, чтоб Ловягин, который в выжидательной позе стоял в дверях, посчитал будущего тестя скрягой.

Так благодаря счастливому случаю Варя получила урок в богатой семье. Скоро она убедилась, что и на розах есть шипы. Сын Теренина был избалованный мальчик. Он часто притворялся больным, ловко лгал, зная, что его мать, Елена Степановна, все покроет — и лень его и ложь. Варя дорожила местом, однако на втором же занятии она поставила Бориса в угол.

Елена Степановна соглашалась с Агнессой, что новая учительница французский язык знает лучше прежнего репетитора, понятно объясняет и арифметику. Но девица не по летам строга; сует нос не в свое дело. Проверила у мальчика тетради по русскому языку, нашла ошибки и устроила диктант. «У Бориски от напряжения испарина выступила,— жаловалась Елена Степановна дочери. — Так можно ребенка довести до неврастения». Агнесса не разделяла страхов матери: «Великопечно, наконец-то Борька попал в верные руки».

К понедельнику Боря опять не приготовил уроков, жалуясь на головную боль. У Вари в сумке нашелся

пирамидон. Когда она налила воды, мальчик грубо оттолкнул чашку, а таблетку швырнул на пол.

— Я сказал: болит голова. Ступайте домой. Вы не теряете ни гроша, вам платят помесечно,— сказал он и завалился на диван с ногами.

— Встаньте, — потребовала Варя, — сейчас же встаньте!

Боря хмыкнул в подушку.

Бронислава Сергеевича и Агнессы не было дома. Варя пожаловалась Елене Степановне.

— Молодая вы и такая, Варвара Емельяновна, бессердечная,— защищала Елена Степановна сына. — Боренька не притворяется, головная боль — от бабушки, наследственная. У нас не будет к вам претензий, если вы пораньше сегодня освободитесь.

— Я привыкла деньги получать за труд. Борис — лентяй,— настаивала Варя.

У Елены Степановны глаза наполнились слезами:

— Прошу помнить, что я мать.

— Потакать лентяю я не стану.

— В таком случае...

Варя вернулась домой с горькой думой: откажут от места, опять ей придется читать газеты, выскидывать объявления. Она ругала себя за строптивость. Мирволят Борису — пусть, самим же хуже. Она-то, Варя, и в самом деле не останется внакладе. Вздор! Не с Елены Степановны спросят, если Борис провалится на экзаменах.

К утру Варя примирилась с потерей места. Елене Степановне нужен репетитор с гуттаперчевым характером. Трудно ли выгнать учительницу, если на ее место можно найти сотню и платить вдвое дешевле!

Незадолго до большой перемены Варю вызвали с урока. В учительской ее ждали Агнесса и Бронислав Сергеевич. Он сразу же подошел к ней:

— Ага рассказала мне про грубость сына. Жаль, что вы поспешили уйти. — Бронислав Сергеевич сделал жест, будто замахивается ремнем. — Я бы образумил лентяя.

Хотя Бронислав Сергеевич улыбался, часто мигающие глаза выдавали раздражение. За последний год по настоянию жены он сменил двух старых преподавателей гимназии. Слепым надо быть, чтобы не понять: дальнейшее потакание окончательно испортит сына. Вырастет Митрофанушка, мот.

— Ремень — плохой воспитатель,— возразила Варя. — Боря — способный мальчик. Елена же Степанов-

на раба своей любви к сыну. А я не имею права уступать материнской слабости. Не подхожу — откажите...

— Начали за здравие, — вмешалась Агнесса, обнимая Варю, — а кончили за упокой. Папа полностью на вашей стороне, Варенька. Нет, что у нас творилось! Я поколотила Борису. Мама в истерику, а папа... О, папа был великолепен: «За строгость прибавлю Варваре Емельяновне золотой».

...Варя много слышала о Бук-Затонском, женихе Агнессы «номер два». И, еще не видя его, прониклась к нему неприязнью.

Бук-Затонский был лет на пять старше Ловягина, высокий, по-юношески худощавый, с подбородком, выбритым до блеска; на тыквообразной голове его топорщился ежик темных волос. Он надеялся, что Теренин отдаст ему предпочтение. Хотя Ловягин происходил из старинного дворянского рода, но медленно продвигался по служебной лестнице. Агнесса рассказывала Варя, будто он резко высказался против bestолковой муштры.

Однажды после уроков, едва Варя собралась домой, как в прихожую выскочила Агнесса:

— Оставайтесь пить чай.

— Время позднее, а мне ведь на Петроградскую, — отказалась Варя.

— Пустяки. Бук-Затонский ваш попутчик.

— Ради бога, лучше без попутчика.

— Хорошо, я сама вас провожу. Валентин Алексеевич, надеюсь, не откажется составить нам компанию.

В гостиной сидели только Ловягин и Бук-Затонский. Бронислав Сергеевич еще не вернулся из клуба. Даша принесла чай, сдобные крендели, а перед Бук-Затонским поставила чашку турецкого кофе и серебряный ковш с водой. Бук-Затонский не бывал в Турции, что, однако, не мешало ему считать себя знатоком обычаев этой страны. Он не то чтобы пил кофе, а совершал какой-то языческий обряд: глоток кофе — глоток воды, причем сладостно закрывал глаза.

— Не смейтесь, — тоном проповедника говорил Бук-Затонский: — если не выпить воды, то следующий глоток кофе потеряет всю свою прелесть.

О турецком кофе, как об очередном скандале в Государственной думе, он мог говорить часами, нисколько не смущаясь, если слушатели откровенно зевали.

Так и в этот вечер. Ловягин, увидев на лицах девушек скуку, встал, шумно отодвинул стул и подсел к ролю:

— Отгадайте, чья песенка?

Он слегка коснулся клавиш, прося внимания, затем ударил по ним и вполголоса запел:

Фонарики, сударики,
Скажите-ка вы мне:
Что видели, что слышали
В ночной вы тишине?

— Чего, девоньки, голову ломаете,— проворчал Бук-Затонский,— кабацкая песенка. — Он любил юродствовать: то вдруг подделываться под простонародную речь, то цедить слова на английский манер.

Ловягин только искоса взглянул на него и продолжал напевать вполголоса.

— Мятлев,— ответила Варя,— а музыка чья, не помню.

Агнесса выбрала из вазы большой апельсин и протянула Варю, а Бук-Затонский только пожал плечами. Он скоро ушел в этот вечер, а Ловягин все сидел за роялем, наигрывая старинные романсы и песни.

Дружба и заступничество Агнессы ограждали Варю от явных и тайных нападков хозяйки дома. К тому же труд ее был не напрасен. Весной Боря успешно сдал экзамены. Больше Елена Степановна не вспоминала свою ссору с Варей и перед началом вакаций даже подарила ей креп на платье.

Теренины уехали в Келломьяки на свою дачу. Варя осталась в городе,— еще не утасла горечь от прошлогодней встречи с отцом. С утра она уезжала на Крестовский остров, купалась, каталась на лодке или бродила с книгой по парку. В первый день августа, вернувшись домой, она нашла на столе телеграмму: «Приезжайте на Моховую, Жду. Агнесса».

Квартира Терениных казалась покинутой — мебель в чехлах, шторы подняты лишь в гостиной, в остальных комнатах полумрак. В гостях у Агнессы был Ловягин. Он говорил мало и часто невпопад. Когда Варя сыграла несколько пьес Чайковского, он оживился, тоже подсел к роялю и, аккомпанируя себе, спел романс «Очи черные». На сцене Ловягин имел бы успех. Варя так ему и сказала. Он кивнул.

— Когда все полетит вверх тормашками,— серьезно сказал Ловягин,— я так и поступлю, Варенька. Пойду в пещы. А пока нельзя.

Варя смотрела на него с удивлением:

— Я не понимаю...

— Насчет «тормашек»? Я тоже не совсем представляю себе, как это может случиться. Ну; не буду; не буду,— сказал он, видя, что Агнесса хмурит брови. — Кстати, Ага, знаете, за что еще я вас люблю? Сами того не подозревая, вы тоже не прочь бы посмотреть, как все это произойдет. Легкомыслие, свойственное вашей натуре, может оказаться спасительным. Вы, может быть, и легко переживете, если... — Он вдруг замолчал, глядя в окно, потом тихо добавил: — А может быть, и ничего не будет? — И опять обернулся к Варе: — Вы Блока любите, Варенька?

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

— Я поищу в буфете, не осталось ли водки,— сказала Агнесса: — Напейтесь. Вам это пойдет сегодня.

— Мне завтра к утру возвращаться в лагерь, дорогая, вот я и хандрю,— сказал Ловягин.

У Терениных на даче ничего серьезного не произошло, Агнесса просто соскучилась по Петербургу, поэтому и телеграфировала Варе. Была еще и другая причина: почти месяц Ловягин не мог вырваться из лагерей, зато Бук-Затонский зачастил на дачу Терениных. Приезжал в пятницу и возвращался в город не раньше понедельника. С Варей же Агнессе хотелось посоветоваться о фасоне нового платья, а заодно передать от брата тетради и подарок — палочку с выжженным ободком. Варя проверила тетради и написала ответ: «Решено правильно. До сентября забудьте про уроки, ходите в лес, купайтесь».

Варя отказалась от проводов, чтобы Агнесса могла побыть с Ловягиным наедине. Уже темнело, когда она вышла из квартиры Терениных. На улице, где-то совсем рядом, заливались полицейские свистки, слышались крики. Вдруг хлопнула дверь парадной. Навстречу Варе бежал по лестнице человек в дождевике. В какую-то долю секунды Варя увидела его бледное лицо, живые, обращенные к ней умоляющие глаза:

— Окажите услугу народу. В воскресенье принесете к «Стерегущему».

В следующее мгновение Варя ощутила в руке круглый сверток бумаги. «Листовки»,— догадалась она. Снизу кто-то торопливо подымался, гремя подкованными сапогами по ступеням. Еще не отдавая себе отчета в

том, что делает, Варя быстро сунула сверток в зонтик и опустила вуаль. На площадке второго этажа мимо нее пробежал запыхавшийся городской, а за ним штатский в потертом пальто. Варя взглянула наверх. На площадке четвертого этажа человек в дождевике звонил в пятую квартиру. Неудачная попытка! Еще весной хозяин квартиры, знакомый Терениных, адвокат, уехал в свое имение под Чернигов...

Варя шла по улице не оглядываясь. Никогда раньше эта часть Моховой не казалась такой длинной. Скорее бы свернуть на Сергиевскую, тамлюднее. Вдруг она снова услышала топот подкованных сапог, на этот раз позади. Опять ее догоняют на том самом месте, что и зимой. Только тогда это было к счастью, а теперь... Неужели заметили, как человек в дождевике передал ей сверток? Собрав всю свою волю, Варя продолжала идти прежним спокойным шагом, плотно сжимая зонтик. Подковы загрели совсем близко, в следующую секунду кто-то грубо схватил Варю за локоть.

— Та самая! — крикнул городской штатскому, который тем временем усаживал задержанного на лестнице в извозчиью пролетку, стоявшую против подъезда в доме Терениных.

«Выкинуть листовки? — подумала Варя. — Нет, лучше разыграть возмущение. А если обыщут?..»

Неожиданно городской отпустил ее руку и вытянулся.

— Сено, солома, как стоишь?

Ловягин! Откуда он взялся?

— Болван! На посту нализался?..

— Трезв, ваше благородие. По долгу службы... Политичка...

— Я тебе покажу — по долгу службы! Нашел политичку!

Ловягина было не узнать. Он размахивал перчаткой под носом городского, потом стал медленно натягивать ее на правую руку, — сейчас будет бить.

— Не надо, — сказала Варя брезгливо. — Ну что вы делаете...

Он и в самом деле ударил наотмашь по красной, с прожилками щеке.

— Прохвост, не видишь, кого задержал? Распустил свои грязные лапы...

У городского пылала правая щека, а он стоял навтыжку, приложив руку к козырьку, ругая себя за то, что поверил какому-то третьеразрядному шпику. Ловягин

еще раз слева направо ударил его по лицу тыльной стороной ладони.

— Валентин Алексеевич, прекратите, прошу вас,— чуть слышно пробормотала Варя. Ей казалось, что она сейчас потеряет сознание.

— Прошу меня извинить, княжна,— сказал Ловягин, беря под козырек. Глаза у него были смеющиеся, озорные. — С ума посходили, негодяи, лишь бы хватать... Ну, пошел вон, ты!..

Городовой, оторопевший при обращении «княжна», только моргал глазами, потом козырнул и, насколько позволяли ему короткие ноги, побежал к Пантелеймоновской улице. Пощечину от офицера лейб-гвардейского полка он не считал оскорблением. У большого доходного дома городской пугливо оглянулся и юркнул во двор, чтобы переждать грозу у старшего дворника.

— Господи, если бы не вы... Как вас и отблагодарить, что заступились,— сказала Варя.

Коляска с арестованным катила мимо них, человек в потертом пальто оглядывал Варю, стоявшего рядом с ней офицера и нервно вертел головой, ища глазами городского и не понимая, что произошло. Ловягин задумчиво проводил его взглядом.

— Так,— сказал он. — Так-то вот... — Его экипаж стоял в ожидании возле тротуара. Ловягин взял Варю под локоть, она отстранилась. — Нет, нет,— сказал он настойчиво и мягко,— вы поедете до самого дома. Я хожу пешком. Сбежал, потому что пришел Бук-Затонский... — Не отвечая ему, она села в экипаж. Он расхохотался:

— Нет, вы заметили, какая физиономия была у этого болвана, когда я вас назвал княжной? Теперь он с перепугу запыет.

Он сделал знак кучеру, еще раз взял под козырек и ленивой походкой, не торопясь направился в сторону Летнего сада. Экипаж тронулся.

Глава третья

Уже три дня Варя хранила сверток. Вечерами, наглухо опустив холщовую штору, прислушиваясь к каждому шороху, она раскладывала листовки на кровати. В ее представлении революционер должен быть в полумаске, с револьвером в руке. Листовки же Петербургского комитета социал-демократов не призывали убивать Ро-

мановых, царских министров и помещиков. Они говорили о другом: о нищете и бесправии трудового люда. Были листовки с требованием восьмичасового рабочего дня. «Что же тут запретного? — удивлялась Варя. — Нельзя же человека четырнадцать часов мытарить в мастерской». Ее глубоко взволновала листовка в защиту прав «кухаркиных детей», так еще покойный царь Александр III пренебрежительно называл молодое поколение низшего сословия.

Варя чуть ли не наизусть знала содержание всех листовок. Удивляясь собственным мыслям, она не могла не признать, что подписалась бы под каждой. Листовки не призывали к восстанию, к бунту. Она не могла понять, за что же тогда молодого человека в дождевике схватили как жулика? Опасаясь, однако, хранить листовки дома, Варя брала их с собой в школу, а на ночь прятала в печку.

В воскресенье — еще не было и десяти часов утра — она уже подходила к Александровскому парку. Зачем спешить? Незнакомец назвал лишь день встречи. А когда он придет в парк за свокми листовками. Да и придет ли? Может быть, его выпустили за недостатком улик? Как бы то ни было, она готова была сидеть на скамейке возле «Стережущего» до сумерек. Только выпустили бы из участка, а она дождется.

Варя уселась на скамью, раскрыла «Три мушкетера» на французском языке. Она рассеянно перелистывала книгу, сразу же забывая прочитанное. Ее мысли были далеки от судьбы героев романа. Придет или не придет? Если он не придет? Как ей быть? Она не осмелится сжечь опасный сверток или бросить его в Ждановку.

Где-то недалеко прорвался ручеек и, звонко урча, побежал по каменистому дну. На памятнике из открытого кингстона выбивалась вода, бронзовые матросы потемнели, будто ожили, как бы повторяя свой бессмертный подвиг.

— Любуетесь? Прекрасный памятник мужеству, — сказал незнакомый молодой человек в сером костюме. Под мышкой он держал небольшой пакет, аккуратно перевязанный цветной лентой.

Варя не терпела, когда мужчины заговаривали с ней на улице. Сейчас это было совсем некстати. Незнакомец мог помешать ожидаемой встрече. Она отвернулась и снова раскрыла книгу. Однако это не смутило молодого человека, он сел на край скамьи.

Был момент, когда Варя готова была сорваться с ме-

ста, но ее удерживало странное поведение нежелательного соседа. Он явно старался привлечь ее внимание: Развязал узелок, не торопясь намотал тесемку на указательный палец. Варя украдкой взглянула на него. Может быть, молодой человек и есть тот самый, который сунул ей сверток на лестнице,— просто иначе сегодня одет и она не узнает его? Нет, тот был словно бы пониже, с огромными, полными тоски, ярости и просьбы глазами, а у этого глаза озорные и насмешливые. А может быть, все-таки он? Варя решила проверить — перевернуть, но молодой человек вдруг развернул газету и положил себе на колени клеенчатый дождевик. Дождевик был ей знаком, не пароль ли это? Однако она боялась попасть впросак, хотя теперь уже откровенно разглядывала соседа. Рядом сидел рабочий парень лет двадцати трех, круглолицый, загорелый. Над карими глазами почти сомкнулись густые черные брови. Широкий веснушчатый нос придавал его лицу мягкость и добродушие. Какое-то далекое сходство между этим человеком и тем, на лестнице, все же было, но Варя еще не смела окончательно решить. Подложить бы ему сбоку листовки и быстрехонько уйти. А если не тот? Она еще долго колебалась бы, но молодой человек положил конец сомнениям:

— Принесли?

Беззаботно водя тростью по песку, он более требовательно повторил:

— Принесли?

— Да.

Он взял листовки, спрятал в карман и, продолжая рисовать на песке домики, спросил:

— Скажите, барышня, как вас зовут? Я, конечно, не собираюсь заказывать молебен за ваше здравие, просто чертовски хочется знать имя человека, который так бескорыстно спас тебя от решетки или запрета на право жительства в крупнейших городах Российской империи: Санкт-Петербурге, Москве, Ревеле, Киеве и прочее, прочее,— продолжал он, подделываясь под тон, каким чиновники зачитывали царские манифесты.

Он говорил о тюрьме, высылке, как о чем-то обычном. В голосе его не было ни тени бахвальства, но все же Варя насторожилась. «Наверное, у меня глупое выражение лица, вот он и потешается»,— неожиданно подумала она и стала торопливо поправлять волосы;— сверток возвращен, можно встать и уйти. Вдруг книга соскользнула с ее колен. Молодой человек проворно

поднял ее, стряхнул песок, вежливо, но более настойчиво повторил свой вопрос:

— Если это не тайна, скажите все же свое имя.

— Варвара Дерябина.

— Тимофей Тюменев, — представился он, — а если добавить к моему имени отчество — Карпович, — получится церковный староста или купец первой гильдии. Звучит по-сенновски: Тимофей Карпыч.

Варя рассмеялась. На секунду она представила своего веселого собеседника в обличье сенновского купца — грузного, неповоротливого. Затем представила его церковным старостой, в шевиотовом костюме с салными пятнами, пропахшего лампадным маслом и свечами.

Тимофей Карпович с любопытством раскрыл книгу:

— Не по-русски, иностранная, чья ж такая?

— Французская, Тимофей Карпович.

— Ого, — восхищенно протянул он, — французская. — И, помолчав, добавил: — Хорошо читать на чужих языках.

— Захотите, научитесь, не так уж трудно, — сказала Варя.

Все-таки надо было уходить. Она поднялась со скамейки, наклонила голову, прощаясь, и не ушла.

В аллее, неподалеку от памятника, скапливался народ. Уличные актеры собирались показывать Петрушку. Однако представление не состоялось. Грузный сапог городского прорвал ширму, Петрушка обхватил мертвыми руками трубчатый поясok ограды, черная Каштанка валялась на траве. Чахоточный безбородый старик в клоунском костюме и девочка лет четырнадцати молча стояли перед разбушевавшимся городовым.

Что ждало этих бездомных скитальцев — штраф, тюрьма, высылка? Варя не успела удержать Тимофея Карповича. Минута, и он уже был там.

А дальше случилось вот что: Тимофей Карпович побежал к городовому, сунул листовку и громко сказал:

— Раздадут на пустыре, у Лангензиппена...

Городовой кивнул сторожу, чтобы тот от него не отставал, и побежал к выходу из парка. Тотчас Тимофей Карпович сложил порванную ширму, поднял с травы кукол. Девочка не понимала, что произошло, но, чувствуя в нем избавителя, пугливо жалась к нему.

— Эх, сестренка, сестренка! — Тимофей Карпович вынул платок и утер девочке слезы, а затем легонько оттолкнул от себя. — Живо собирай пожитки.

Кто-то из сердобольных зрителей нанял извозчика. Старика и девочку усадили в пролетку.

И вот Варя и Тимофей Карпович снова сидят на скамейке возле «Стерегающего». Тимофей Карпович перелистывает книгу, в которой ему понятны только рисунки. Варя рада, что он на нее не глядит. Ей трудно скрыть свое восхищение.

«Не побоялся человек — карман набит листовками, а вступился за бедных людей». Ей почему-то стало жаль, что она никогда не увидит этого человека. Точно со стороны она вдруг услышала свой голос, показавшийся ей чужим, каким-то робким, и сама изумилась — что это она говорит? Минутой раньше ничего похожего и не приходило ей в голову.

— Хотите, научу читать по-французски?

— Где уж мне, я и русский-то плохо знаю.

Он смотрел на нее добродушно и грустно.

— Соглашайтесь.— Варя почувствовала себя вновь учительницей. — Уверю, не так сложно.

...В этот день Варя вернулась домой поздно. Анфиса Григорьевна, обеспокоенная ее долгим отсутствием, поджидала у парадной:

— Пропали. Обед-то нетронутый стоит. Я уж думала, не случилось ли чего...

По усталому, но необыкновенно радостному лицу своей жилищки она поняла, что ничего плохого не произошло с ней.

Умышленно или случайно Варя оставила книгу у Тимофея Карповича. По иллюстрациям он догадался, что это роман Дюма «Три мушкетера». На другой день после смены Тимофей Карпович съездил на Сытный рынок и на книжном развале купил истрепанный томик «Трех мушкетеров» на русском языке...

Спустя неделю он встретился с Варей у «Стерегающего». Она даже не посмеялась над его попыткой изучать французский язык по переводному роману. Она принесла учебник, но им было не до занятий. Бродили до сумерек, катались на американских горах в саду Народного дома.

Французский язык Тимофею Карповичу давался с трудом. Когда в перерыве на обед рабочие выскакивали из мастерской на двор глотнуть свежего воздуха, подымить дешевыми папиросами или кременчугской махоркой, он отходил в сторонку, вынимал из кармана тетрадку со старательно выписанными латинскими бук-

вами. У забора на вытоптанной траве он и учился и обедал.

Встречались они по-прежнему в парке по четвергам и воскресеньям. Как-то раз Тимофей Карпович досадливо захлопнул учебник, буркнул, что легче барана научить петь в опере, чем его, Тюменева, говорить по-французски. Варю испугало не то, что ученик бросит занятия, испугала мысль, что прекратятся эти встречи, к которым она уже привыкла. С еще большим нетерпением ждал этих встреч Тимофей Карпович. Если у него случался свободный вечер, он уходил из дому, но куда бы ни шел, непременно оказывался у «Стережущего», хотя даже от самого себя скрывался возникшее чувство. Он не смел еще и думать, что Варя для него не только учительница французского языка...

Однажды Тимофей Карпович пришел к «Стережущему» с опозданием. В глазах — озорной блеск, на лице улыбка.

— Выпили или выиграли? — спросила Варя. Она еще не видела своего ученика таким возбужденным.

— Выиграли.— Тимофей Карпович крепко-накрепко пожал Варе руку. — Выиграли забастовку...

На медеплавильном заводе рабочие потушили печи. Шумная мастерская с продымленным потолком казалась покинутой навсегда. Опоки валялись, будто отпала в них надобность, медная стружка перемешалась с обгоревшей землей.

В медеплавилке много лет хозяйничал мастер, обедневший родственник какого-то влиятельного лица из общества фабрикантов и заводчиков. Он и сейчас вел себя так, словно остановка печей его не касалась. Каждое утро, прежде чем уйти на завод, он тщательно брился и ругал кухарку за плохо подогретый кофе, хотя к стакану нельзя было и притронуться.

Пошел уже четвертый день забастовки. Кухарка — это она сама потом рассказывала соседкам — принесла ему в спальню бритвенный прибор и горячую воду. Вдруг явился заводской посыльный. Мастер впервые вышел из дому небритый.

В конторе управляющий сказал ему:

— Хозяин не намерен дальше терпеть убытки. А я не желаю терять наградные. Поняли? Завтра пустите печи. Наймите поденщиков, сами встанете за старшего.

У заводских ворот выжидательно прохаживались су-

мрачные люди. Сюда их согнала нужда. Не сходя с крыльца, мастер окинул пытливым взглядом безработных, выискивая изголодавшихся, — те более податливы. Таким ему показался молодой великан в брезентовых портках, распахнутой синей блузе, под которой не оказалось нательной рубашки. Мастер поманил его.

— Ступай в контору, оформляйся. Жалованье плавильщика первой руки.

Великан тоскливо глянул на товарищей. Безработные молчаливо отступили. Секунду-две он стоял один, а затем решительно подался назад.

— Марш в контору, чурбан! — сердито повторил мастер.

— Покорнейше благодарен. С позапрошлой казанской на поденке, а какая это жизнь? День работаешь, неделю у заводских ворот или на пристанях околачиваешься — не кликнет ли кто. И все ж озолоти, а меня в литейку на канате не втащишь. Чужой хлеб вот тут колом встанет.

Великан показал рукой на горло.

— Смутьян бесштаный, с голодухи подохнешь под забором. — Мастер прыгнул с крыльца, замахнулся кулаком на рабочего.

— Но-но, не балуй, мастер, а то ненароком зашибу. Хозяину еще разор на похороны, — с тихим смешком сказал безработный великан.

— Смотри, лапотник, как бы с голодухи не окочился. Введешь казну в расход на гроб и телегу.

— Из твоей мошны не вытянешь и гроша на отпевание! — крикнул великан, вызвав одобрительный смешок в толпе.

Мастер понял: бранью безработных не проймешь. Он степенно откашлялся, заговорил сладенько:

— Вам-то какой интерес страдать за лодырей? Кто их гнал? Сами не пожелали работать, разбогатели: в одном кармане вошь на аркане, в другом — блоха на цепи. Ушли — скатертью дорога.

— Кто смотрит из подворотни, тот недалеко видит! — крикнул угрюмый старик.

— А ты не философствуй. А ну подходи, кто хочет три поденки за смену, — соблазнял мастер. — В субботу получка.

Последний козырь мастера — три поденки за смену — тоже оказался бит. Постояв в раздумье, мастер тихо, по-стариковски побрел по набережной — поискать безработных среди каталей.

На отмели ниже Металлического завода спали несколько мужиков, прикрытых рогожками. У воды потрескивал костер. Над огнем висел артельный котел. Мастер потянул носом — щами не пахло; стало быть, плохи артельные дела, коли нет в чугуне говядины. Он отыскал среди спящих мужика в более справной одежде, растолкал его и поманил в сторонку. У мастера глаз был наметанный: разбуженный им мужик оказался атаманом артели.

Вторую неделю катали отлеживались на берегу. Баржи словно сгнули в верховье Невы и в Ладоге. Мастер и атаман, вдоволь поторговавшись, договорились.

В ту же ночь были пущены печи. Артельщики, чуя хорошую поденку, работали по-мужицки жадно, как на своем поле. Незадолго до розлива металла в мастерскую проник представитель стачечного комитета. Он пытался уговорить артель поддержать бастующих плавильщиков. Атаман подмигнул землякам, те схватили стачечника, затащили за бочки с мазутом, избили его и выбросили на улицу.

Тимофей Карпович даже побледнел, когда рассказывал Варе об этом.

Мастер, дороживший производственными секретами, теперь ничего не утаивал, лишь бы поскорее подготовить из каталей плавильщиков средней руки, сорвать забастовку.

— Тогда... — Тут Тимофей Карпович замялся, потом стиснул Варину руку и продолжал...

Партийная подпольная ячейка послала его к артельщикам. Задача ему досталась нелегкая. Штрейкбрехерами выступали не хозяйские выкормыши, а несчастные, задавленные нуждой люди. Они, поди, еще и не знают, что штрейкбрехер — предатель.

Он рассудил так: идти в медеплавилку опасно и бесполезно. Катали и его избыют, а то плеснут металлом. Он решил действовать исподволь. Пришел на бережок, когда там находился один только артельный кашевар. Закурили, побалакали о том, о сем, а тут подоспело полдничать. Артельщики явились усталые, грязные, сели в кружок, подозрительно косясь на пришлого, однако погнать не посмели: берег ничейный, да и по ухваткам видно, что парень здешний. Выборгских лучше не тронь — наkostenяют по первое число.

Кашевар подал какое-то варево в большой деревянной чашке. Атаман вынес из-под брезентового навеса

противень с крупно нарезанными ломтями хлеба. Артельщики ели молча, слышалось только торопливое чавканье людей, никогда не наедавшихся досыта. Тимофей Карпович сидел в сторонке. Он хорошо знал, что голод сделал этих людей штрейкбрехерами. Артельщики не понимали сути своего поступка. Кашевар прямо так и сказал:

— На плохое не идем, крест есть на шее, а работать никому не заказано.

После обеда атаман залез под брезентовый полог, артельщики прилегли кто где. Тимофей Карпович прилег тоже. Кисет с махоркой развязал языки. Поговорили насчет германца, который, по слухам, собирается идти войной. Мужики отводили душу, жалуясь на городские заработки. «Едва на харч достанет, копейку скопить и не гадай». Тимофей Карпович как бы случайно спросил у соседа про земельный надел.

— Земелька-то есть,— протяжно ответил тот,— своя собственная. Корова ляжет, а хвост у соседа на поле.

— Гневишь бога. У тебя хозяйство справное, свой хлебец тянешь чуть ли не до великого поста,— перебил сухонький каталь, по годам ровесник Тимофею Карповичу. — У монах уж к Николе зимнему пусто.

— Всяк хозяйничает по разуму,— снова вступил в беседу Тимофей Карпович. Вынув из кармана лист курительной бумаги, он продолжал: — Дело, мужики, нужно вести с умом. Она, земля, щедрая, с ее дохода не то что хату — дворец строй, в сырах и маслах купайся.

Тимофей Карпович собрался прочитать, что было написано на курительной бумажке, да атаман налетел коршуном:

— Прокламация? По этапу не хаживал?

— Ты, дядь, не торопись. — Тимофей Карпович спокойно отвел кулак атамана. — Чего доброго, сам схлопочешь высылку из столицы за непочтение...

— Братки! — не унимался атаман. — Сбегайте на угол, кликните городского.

Артельщики не шелохнулись. Если бы атаман приказал наkostenять пришлому, выбить ему зубы, бросить в Неву — другой разговор. Наука, пусть не смутьянит. Но ни у кого не было охоты связываться с полицией. Если пришлый и верно смутьян, то потянут в свидетели, по допросам затаскают, а там, смотришь, околоточный или писаришка найдут непорядок в паспорте. Вышлют, взятку или штраф потребуют.

Тимофей Карпович ухмыльнулся:

— Прокламация, не отрицаю. А какая? Прокламации разные бывают. Вот почитаю, и тогда зови хоть пристава.

— Сами обучены! — Атаман выхватил листовку.

Читал он медленно, собирая по складам каждое слово. Видимо, грамоте обучался по магазинным вывескам.

— «Копия бланка № 1 Всероссийской переписи населения».

Артельщики разочарованно переглянулись. Они слышали о питерских прокламациях, в которых все сказано про крестьянскую нужду. Атаману прокламация понравилась, голос у него окреп, он поманил в кружок и кашевара, задремавшего у костра.

— «Фамилия — Романов, имя — Николай, отчество — Александрович, сословие — император всероссийский...»

Атаман читал благоговейно, то и дело откашливаясь в ладонь.

— «Главное занятие — хозяин земли русской. Побочное занятие — землевладелец».

Атаман протянул листок Тимофею Карповичу:

— Раз за государя нашего, то ничего, читай. — И полез под брезент.

Вот тогда-то и начался разговор. Тимофей Карпович сказал:

— У царской семьи земли больше ста миллионов десятин. Выходит, Николай Второй такой же крестьянин, как и ты. — Он указал пальцем на сухонького катая. — Выходит, оба вы землевладельцы.

— Нашел ровню! — Кашевар испуганно оглянулся. — У мужика одна-две десятины земли, а у царя, говоришь, сверх ста миллионов? В неделю не обскачешь! И на что ему столько?

— Рабочие давно твердят царю и помещикам: поделитесь земелькой с крестьянами. Так нет, чужую норовят прихватить. На вашей Новгородчине живет Таракашкин, слыхивали про такого?

— Слыхивали.

— Верстах в тридцати от наших мест.

— Родного брата по миру пустил.

— Малых дитят этим самым ведьмаком Таракашкиным пугают...

Только вчера Тимофей Карпович прочитал письмо в «Правде» про этого кулака. Пригодилось! Теперь можно было поговорить с артельщиками без опаски — не пойдут они против интересов своих земляков.

— Так вот Таракашкин этот отсудил у замошенских заливной луг в девяносто десятин.

— Сволочь!

— Да уж. Только поперек горла встанет у Таракашкина выкраденный луг. Никто из окрестных мужиков не идет к нему на покос, а деньги он сулит хорошие.

— Подавись он. Чтоб наши руки подняли на своего брата крестьянина? — Кашевар вскочил, рванул ворот рубашки. — Да никогда, ни в жисть.

— Правильно, — согласился Тимофей Карпович. — Сила не в деньгах, а в людях. Куда сунется Таракашкин, если в своем уезде ему всяк кажется кукиш на постном масле? В чужую волость, что ли, побежит нанимать батраков?

— Наши не допустят. Пронеси, господи! — Сухонький артельщик обернулся назад, к Смольному монастырю, трижды перекрестился. — Не допусти, мать пресвятая богородица, до кольев.

Теперь можно было поговорить и о главном.

— У вас Таракашкин к замошенским в суму влез, а у нас на меднолитейном такие же таракашкины норы обрат плавильщиков. Положенную одежку и обувь не дали. Жги, рабочий, у печей свои собственные последние портки и рубаху, да еще с поденки по пятаку скинули...

Артельщики хмурились, некоторые отводили глаза. Стало быть, кое у кого есть совесть, скребут кошки на сердце?

— Наши безработные с голоду мрут, а вот озолоти их — не пойдут к заводскому таракашкину. У рабочих есть обычай: кто во время забастовки позарится на чужое место, тому кличка «штрейкбрехер», по-русски — предатель.

Кашевар предупредительно толкнул Тимофея Карповича в бок: атаман!..

Разговор был продолжен вечером. Кашевар, сухонький каталь и еще двое артельщиков пришли в трактир «Белый ландыш», где их за столиком поджидал Тимофей Карпович. Половой принес кипяток и заварку.

— Плавильщиков-то живыми кладут в гроб. Проели все гроши, скопленные на черный день. Товарищи на «Фениксе» по листу собрали, а дальше жить на что? Ведь многие семейные. Управляющий лютует, вот какую бумагу разослал. Слыхали про черный список?

Тимофей Карпович вытащил из кармана письмо:

«Строго конфиденциально.»

Господам членам общества заводчиков и фабрикантов.

Милостивые государи!

При сем имеем препроводить вам список рабочих-забастовщиков, уволенных нами с завода. Видя нашу непреклонность, стачечный комитет объявил медеплавилку под бойкотом, требуя увольнения мастера, прибавки жалованья и прочая...

Мы надеемся, что из чувства солидарности вы не откажетесь со своей стороны воздержаться от приема на работу бунтовщиков...»

Мужики молчали. Вдруг кашевар вздохнул:

— Нескладно получилось. Хоть бы баржи пришли. Тогда бы и расчет взять.

— Бросить бы, братки, эту чертову литейку, и basta,— неуверенно предложил сухонький артельщик.— Совестно у голодного кусок хлеба вырывать.

— Атаман не позволит, забыл уговор? Ни копейки в расчет не выдаст...

Тимофей Карпович уже не вмешивался в беседу. Он приобрел верных помощников — своим в артели больше поверят.

В субботу артельщики получили деньги, потушили печи в медеплавильной и ушли. Мастер примчался на берег, где ужинала артель. Атаман валялся под навесом пьяный, орал:

— Это твой Таракашкин принес мне погибель, разорил артель.

— Какой Таракашкин?— удивлялся мастер.— Нет у нас никаких Таракашкиных. Нализался, сволота, до чертиков.

— Есть Таракашкин! — упрямо орал атаман. — И ты Таракашкин...

Мастер кинулся к артельщикам. Те сидели у костра трезвые и мрачные. Никто ему и бранного слова не сказал, но посмотрели так, что он побитым щенком выскочил на набережную.

Если бы не было встречи на лестнице в доме Терениных, Варя, пожалуй, не поверила бы такому рассказу. А сейчас она твердо знала: Тимофей Карпович не прибавил ни слова. Было ему поручено убрать штрейкбрехеров с завода — убрал, выполнил. Господи, как хорошо! И плавильщики вырвали у хозяина прибавку, и отходники, темные, несчастные люди, нашли в себе волю от-

казаться от хорошего заработка. С этого дня Варя стали ближе опасные дела Тимофея Карповича.

Подошел еще один четверг. Варя отгладила свой любимый голубой жакет и поспешила в Александровский парк.

Около памятника, где обычно поджидал ее Тимофей Карпович, стоял коренастый молодой человек в сатиновой рубашке, подпоясанной шнуром с кистями. Варя он показался знакомым. Не о нем ли рассказывал Тимофей Карпович, упоминая о приметах: прищуренный левый глаз, пухлые мальчишеские губы, светлые волосы, вьющиеся на висках? Молодой человек кого-то ждал. У Вари защемило сердце от предчувствия беды.

Так и есть. Не глядя на нее, он шепнул:

— Тимофей Карпович просил кланяться.

Насвистывая веселенький мотив, молодой человек направился по дорожке к Петропавловской крепости; он шел вперевалку, походкой человека, довольного всем на свете. Варя чуть не крикнула: «Постойте!», но ее испугала таинственность, с которой был передан поклон. Она нерешительно пошла за молодым человеком, ускорила шаг. На мостике, перекинутом через канавку, она догнала его, срывающимся голосом спросила:

— Говорите все. Тимофей болен?

Первый раз назвала вслух Варя Тюменева по имени.

— Я приехал с просьбой от Тимофея Карповича отложить уроки. К несчастью, один «знакомый» чуть не помешал нам встретиться. — Молодой человек понизил голос: — Накануне я крепко поколотил этого стукача и на Полюстровской набережной оставил его ни с чем. А нюх у него собачий, с Большой Охты приволочился к «Стережущему». Видать, подкараулил. В случайность трудно поверить.

Варя припомнила, что действительно неподалеку от памятника кружил человек — чистый скелет, костюм висел на нем мешком, локти были запачканы мелом. Опасаясь, что за ними следят, она настороженно оглянулась: «сторож» исчез. В аллее лишь старая няня катила детскую коляску. Варя и ее спутник быстро вышли на берег. За Кронверкским проливом мрачно краснела крепостная стена. По деревянному мосту, тяжело поскрипывая, проехала тюремная карета.

— Новенького на жительство повезли, — угрюмо сказал молодой человек.

Карета напомнила Варя об опасности, которая подстерегала Тимофея Карповича на каждом шагу.

— Что же все-таки с Тимофеем?

— Неприятный казус. Я успел уйти, а его задержали.

— Запрячут в крепость?

— Тимофей в «Крестах». Вы особенно не тревожьтесь, прямых улик нет. В участке он показания дал такие, что политическую статью не привяжешь. Помытарят и отпустят. Жаль, что не разрешают передачу, на тюремных харчах ему долго не продержаться, желудок у него больной. В мастерской мы на первое время собрали пятнадцать рублей. Через уголовника можно передать продукты. Только нам, мастеровым, нельзя и носа показывать туда. А хозяйка квартиры, где Тимофей живет, сама под надзором.

— А если... — Варя смутилась: удобно ли ей вмешаться?

— Вам-то, пожалуй, в аккурат. Одежда господская, и бог красотой не обидел. Вполне богатая благотворительница.

— Смогу? — Варя смотрела умоляюще.

— А что ж? Главное — не робеть и барства побольше.

Если Ловягин однажды так ловко выдал ее за неведомую княжну, то, коли нужно, и она сумеет разыграть роль богатой филантропки. Но тут же Варя подумала о другом. Неизвестно, сколько Тимофей просидит. Вдруг вышлют? Прежде всего надо узнать, как зовут человека, с которым она сейчас беседует. Он почему-то смутился, отвел глаза, назвался Дмитрием.

Варя попросила Дмитрия вернуть рабочим деньги.

— Сам не сделаю и вам не советую. Надо уметь и в пятаках видеть рабочую спайку.

Настаивать она не посмела. Дмитрий объяснил, как в толпе посетителей отыскать жену уголовника.

— Тетка жалостливая, чего не скажешь про ее муженька. Тот и в тюрьме ухитряется зашибить деньгу. Продувная bestия, но слово свое держит.

Продукты — масло, сахар, колбасу, сухари — Варя купила с вечера в лучших магазинах Петроградской стороны. Утром все уложила в корзинку, вышла, наняла извозчика.

У клиники Вилье она рассчиталась с кучером. День выдался теплый, на улице было много прохожих, но Варя стеснялась спросить, где находится тюрьма. «Кресты», конечно, не похожи на обычные жилые дома, и она найдет их без посторонней помощи.

Невдалеке от Финляндского вокзала начиналась

мрачная каменная ограда. Как Варя ни запрокидывала голову, она видела лишь кирпичный карниз да небо в лоскутных облачках. Тогда она перешла на противоположную сторону улицы и разглядела верхние этажи тюремных корпусов с мелкими зарешеченными окошками. За одним из них томился Тимофей Карпович. А вот за которым? Этого она не знала.

В ограде не было калитки, а ворота заперты. Варя постучала, никто не отозвался. Она вспомнила: Дмитрий предупреждал, что вход в тюрьму с набережной.

На Неве разгружали баржи. Берег был завален песком и тесаным камнем. У причалов на чахлой траве лежали грузчики, закрыв лица выгоревшими кепками и картузами. У каждого на подошвах сапог или опорок мелом была написана одна и та же цифра «60».

Проходящая старушка остановилась возле каталей, угрозила кому-то деревянной клюкой и осуждающе сказала:

— Дешев нонче рабочий человек. За шесть гривен и то не нанимают.

Порывшись в своем узелке, она вытащила булку и положила на вещевой мешок спавшего катая.

На вытоптанном скате набережной женщины ожидали, когда откроется тюремная контора. Варе предстояло по скупым приметам разыскать среди них жену уголовника. С первого взгляда никто не попадал под описание. Варя присела на чугунную причальную тумбу.

К толпе подошло еще несколько человек с передачами. Варя оглянулась: у женщин головы повязаны ситцевыми платками, и только у пышной, румяной молодухи прическа придерживалась цветным шарфом. «Она»,— догадалась Варя. Но ей не понравились и подчерненные брови, и неумело подмазанные губы.

— За какие грехи ваш-то? — неуверенно спросила Варя.

— За напраслину,— тихо ответила женщина, поправляя шарф.

Это был пароль. Иной, более человечной и несчастной, представляла Варя жену арестованного, который помогает политическим поддерживать связь с внешним миром. Подавив неприязнь, Варя негромко сказала:

— Передайте, пусть ваш муж помолится за святую Варвару Великомученицу. — Она поставила женщине на колени корзину и сунула в руку золотой.

Ожидание у тюрьмы было томительным, и она пошла к Охте.

Спустя час она снова встретилась на набережной с женой уголовника и поразилась перемене, которая с той произошла: помада стерта с губ, глаза глядят устало и печально. Женщина приветствовала Варю как старую знакомую:

— Повезло. С первого захода без промаха. Дежурил младший надзиратель. Он совесть еще не окончательно растерял, по-божески берет и не любопытствует. А это, родная, возьмите,— с какого достатка их золотыми одаривать? Им покажи палец, всю руку отхватят. — Женщина зло мотнула головой в сторону тюрьмы. — Людям слезы, а полицейским нажива...

Тимофей Карпович много слышал про «Кресты», а теперь сам убедился: метко прозвали тюрьму. Откуда ни взгляни — все крест. Камеру ему отвели сырую, мрачную. В окошко, забранное железными прутьями, был виден лишь угол соседнего флигеля и клочок неба.

В тюрьме Тимофей Карпович не чувствовал себя одиноким, он знал, что по ту сторону высокого забора есть друзья, которые постараются облегчить его участь. Беспокоили не допросы, а другое: встретил ли Дмитрий Варю? Как она отнеслась к аресту? До сих пор ни одна девушка не занимала в его думах столько места, сколько эта молоденькая учительница.

Поначалу Тимофей Карпович думал, что запрут его на неделю, самое большое — на две. Улик у полиции нет. Собирал деньги для семей арестованных выборжцев? Поди докажи. Городовой, арестовавший его, был туповат и действовал по букве инструкции: «У задержанного произвести беглый обыск, отобрать холодное и огнестрельное оружие, остановить извозчика. В пути следить, чтобы арестованный не выбросил каких-либо важных документов». А извозчик не имел желания везти бесплатного седока, тем более что, выезжая к ночи, еще не сделал почина, а он крепко верил в приметы. Всю ночь даром провозишь — утром хозяин набьет морду и в долговую книгу запишет. Боязнь остаться без заработка подавляла у извозчика страх перед полицейским. Он долго поправлял сбрую, крихтел, мялся. Городовой рассвирепел. Этой перебранкой и воспользовался Тимофей Карпович — зачихал ногой в крапиву пофамильные списки рабочих. А придумать причину, почему лез через забор,— пустяковое дело.

В доме, около которого его задержали, жил Лукьян

Николаевич, старый литейщик с завода «Феникс». Старик не сочувствовал ни кадетам, ни эсерам, ни социал-демократам, но рабочего человека уважал. У Лукьяна старшая дочь Глафира, красивая девушка, была на выданье. Небольшой грех, если он, Тюменев, намекнет на любовь с дочкой старого литейщика.

На допросе он не отрицал, что перелезал через забор.

— Так,— обрадовался околоточный. Послужив палец, он перевернул лист протокола.— Итак, запишем первое: «Чистосердечно даю показание, что лез через забор...»

— Было такое дело.

— Второе,— чуть ли не пел околоточный,— замышлял действия против высочайшей власти.

— Оговаривать себя не буду,— решительно запротестовал Тимофей Карпович.— Ничего политического не замышлял.

— Каким же ветром тебя занесло с Большой Охты на Полюстровскую? Почему лез через забор?

— По молодому делу. Я же не давал обета жить праведником.

Околоточный для острастки постучал кулаком по столу. Бить заводских он побаивался. С обыском на квартире Заморцева получился большой конфуз: конфисковали крамольную брошюру, а оказалось... издали ее кадеты.

Сейчас околоточный багровел от злости, проклиная свою судьбу. Самое время раскрыть в Выборгской части революционное дело. Об этом министру доложат.

Лукьяна Николаевича полиция считала благонадежным. Он соблюдал великий пост, каждый год говел и причащался, а по воскресеньям пел в церковном хоре. Не был он замечен ни в каких подстрекательствах против хозяина и царской фамилии. С него-то и решил околоточный начать допрос свидетелей.

Лукьян Николаевич явился в участок в рабочем костюме, замасленной куртке, на ногах у него были башмаки с деревянной подошвой, на голове — широкополая байковая шляпа с обгорелым козырьком.

— Узнаешь преступника? — подсказал околоточный, когда из камеры привели Тимофея Карповича.

— Как же не знать, Тюменев. Справный мастеровой. А насчет преступника — не хочу кривить душой: про что не знаю, про то рта не раскрываю.

— А не хаживал ли арестованный к Заморцеву?

— К Заморцеву? А что этому кобелю делать у серьезного человека? Поди, в седьмой заглядывал, там живет одна — ни замужняя, ни вдова. Таких она любит.

— А не к Глафире ли Лукьяновне? — услужливо вставил городской, не поняв хитрого хода начальника.

Околоточный ожег взглядом неудачливого подсказчика. Будь они один на один, городскому не миновать бы зуботычины. Лукьян Николаевич догадался, чего хочет околоточный, и спрятал усмешку под широкой ладонью.

— Мало ли кто подкатывается к Глафире. Мало ли кто думку таит с Лукьяном породниться! Прежде надо отца спросить. Я сам знаю. Девку не удержишь и на цепи, коли в невесты выключулась. Это правильно. А жених жениху рознь. Этот, — Лукьян Николаевич мотнул в сторону притихшего Тюменева, — сам живет за ситцевой перегородкой, исподних две пары — одна на себе, другая у прачки. А Глафиры моей добиваются люди с достатком. На той неделе сватался один с недвижимым... А что парни через забор порхают, то пусть, не мне же чинить их портки.

Городовые и околоточный раскатисто захохотали. Тимофей Карпович глазами поблагодарил старика. Околоточный сказал:

— Ввести следующего.

«Свой человек или из филеров?» — мучительно думал Тимофей Карпович, продолжая улыбаться.

В дверях показался Заморцев. Он поднял руку, оглаживая волосы, и Тимофей Карпович понял: «Держись, не дадим закопать».

— Знаете задержанного? Состоит он уполномоченным по сбору денег?

— Этот бабник-то? Да что вы! Случалось, встречал его на нашем дворе. Обхаживал Лукьянову дочку, заодно путался там и с другой.

Заморцеву нетрудно было уговорить жиличку из седьмой квартиры дать нужные показания. Молодая женщина побаивалась только очной ставки: вдруг полиция подставит другого. Но Дмитрий отыскал фотокарточку Тюменева.

Показания свидетелей и обвиняемого сходились. Тимофей Карпович надеялся, что его выпустят из участка. Так бы и случилось, но околоточному донесли, что на Шлиссельбургском тракте накрыли подпольную типографию. От зависти, что другим перепадут награды, он добился разрешения продолжать следствие.

Ночью с Невы доносились в камеру пароходные гудки, соленая брань матросов. Тимофей Карпович просыпался, представлял, как под Литейным мостом проходят лесовозы, баржи с домиками, большетрубные озерные пароходы...

Боясь впасть в тоску, он написал начальнику тюрьмы прошение — попросил разрешить ему клеить папиросные коробки. На девятый день ареста кипяток в камеру принес незнакомый уголовник, сунул под матрац сверток и шепнул:

— Спрячь в ящик с коробками. Тетя Дарья довольна и благодарит за яблоки.

Наверно, Дмитрий вспомнил! В прошлом году, когда шли повальные обыски в рабочих квартирах, он помог Тимофею Карповичу прятать под яблоней партийную литературу. Там сейчас были закопаны деньги.

В свертке Тимофей Карпович нашел сухари, масло, сахар, колбасу и записку из нескольких слов: «Мужайтесь, повторяйте прошлые уроки французского языка». Подписи не было, но он хорошо знал, чей это был почерк. Значит, и Варя помнит о нем! Чудная, милая девушка. Тимофей Карпович больше не боялся, что ему припишут дело. Трудно будет — с воли протянутся дружеские руки. Эта была первая ночь в тюрьме, когда он заснул спокойно.

Глава четвертая

Варе кажется, что еще совсем недавно ее ученики писали палочки, выводили каракули в тетрадях, а вот вчера они самостоятельно решили задачу про паровоз и мотор, вышедшие навстречу из разных городов.

Оправдывались пророческие слова либерала-инспектора: «Для Вареньки школа не будет временным полустанком». И верно, школа — это ее жизнь. Входя в класс, Варя не спешит раскрыть журнал. Она знает имена всех своих учеников. Забыты прогулы. У всех есть обувь, учебники, тетради. Все хорошо наладилось, и вдруг Степа Глушин перестал ходить в школу. Строгая Варина записка не подействовала. Беспокойство за судьбу мальчика заставило ее отложить поездку в Публичную библиотеку и отправиться к Степе на квартиру. В провожатые вызвался Тереша Синельников, сосед Степы по ларте. Переулками, проходными дворами он быстро провел Варю на Ямбургскую улицу.

Тереша остановился у трехэтажного обшарпанного дома. Забухшая от сырости дверь на лестницу открылась не сразу. Варя нажала плечом. Дверь подалась, чертя полукруг на плите. Тереша юркнул мимо учительницы, исчез под лестницей, и сразу из темноты послышался его голос.

— Сюды, Варвара Емельяновна, сюды. Считайте пять ступенек,— командовал он,— голову держите ниже, не то убьетесь о притолоку.

Варя спускалась ощупью по узенькой лестнице. Тереша опять куда-то пропал и снова незаметно очутился возле учительницы.

— Матки-то его дома нет,— быстро зашептал он,— снялась с бабушкой на богомолье. У них, чуриковцев, в Вырице есть община. Харчатся там бесплатно, а затем братцы апостолы гонят сестриц на огород копать картошку, и, конечно, за спасибо. — Тереша вздохнул и тоном взрослого человека повторил чьи-то слова: — А кто страдает? Степка страдает: его, беднягу, оставляют стечерь Машку.

Семья Глушиных занимала в подвале крохотную комнату, бедность и нищета выглядывали из каждого угла. Кровать заменял топчан, прикрытый ватным лоскутным одеялом. У изголовья виднелась люлька — прутяная корзина, подвешенная на ржавую пружину. Стол и табуретки — из горбылей. Жилье казалось еще более убогим из-за маленького оконца, фрамуга которого приходилась вровень с панелью.

Степа притушил лампу и кинулся к люльке — раскпризничалась сестренка. Тереша заботливо постелил что-то на табурет и пригласил учительницу присесть. Степа усердно качал надрывно скрипевшую люльку, ребенок не унимался. В отчаянии мальчик зашарил в складках сбившегося одеяльца:

— Перестань, вот твоя люля...

Ребенок, плача, давясь, выталкивал изо рта соску.

— Неугомонная у нас Машка, нисколько не похожа на других детей,— строго, по-взрослому оправдывался Степа, пытаясь усювестить сестренку. — Глянь, кто пришел, посмотри-ка получше. Это ж Варвара Емельяновна, моя учительница.

Девочка задыхалась от крика и плача, ее худенькое личико покрылось красными пятнами. Степа в сердцах макнул соску в кастрюлю и сунул в рот сестренке. Девочка жадно зачмокала.

— Голодная, мокрая! — Варя взяла ребенка на руки,

сняла с веревки пеленку и, забрав кастрюлю с манной кашей, принялась кормить девочку. После третьей ложки та загукала.

Отведя товарища к двери, Тереша тихонько укорял его:

— Где глаза были? Машка свой час понимает, а ты резинку суешь! Хороша нянька.

Степа не знал, куда уехали мать и бабушка, или ему было не велено говорить. А Тереша, не обращая внимания на его угрожающие знаки, разоткровенничался о невзгодах своего приятеля.

— Чуриковки они у него,— говорил он таким осуждающим тоном, словно по вине Степы бабушка и мать стали сектантками. — Да что с них возьмешь! Народ они темный. Хлебом не корми, позволь только друг дружку называть «братец», «сестрица»... А один «братец» бакалейный магазин держит, другой занимается извозом, третий — хозяин меблированных комнат. Этакие вот «сестрицы» работают на них, а дома одну тюрю едят.

Варя только диву давалась — до чего бойким на язык оказался этот мальчуган, от горшка два вершка ростом. Много позже она узнала: у Терешы Синельникова мать работала в конторе, отец служил садовником в гребном клубе. На дом они получали газету «Петербургский листок» с воскресным приложением. Его отец почитывал и социал-демократические газеты, пряча их под половицей в кухне. Иногда Тереша забирался в отцовский тайник, хватал газету, пихал ее за пазуху и бежал в сарай. Но однажды он попался. За обедом повздорил со старшим братом и назвал его меньшевиком. Отец ничего не сказал, но с того дня отыскал другое укромное хранилище для газет. По воскресеньям Синельниковы всей семьей ходили в кинематограф «Слон», а иногда и на Большой проспект в «Трокадеро». И Степа любил смотреть комические картины с участием Макса Линдера, но денег у него не было. Он проходил в кинематограф под шинелью какого-нибудь сердобольного солдата.

Варя сгоряча собралась было пойти на Петровский остров к Чурикову. Но о чем ей говорить с хитрым апостолом сектантов? Только время напрасно потеряет. Лучше самой пристыдить Глушину — Степа сказал, что мать завтра собирается выйти на работу, — объяснить ей, какой вред она приносит сыну, заставляя его пропускать уроки. И ради чего? Ради наживы богатых чуриковцев.

На следующий день Варя встала пораньше, гудок железопрокатного завода застал ее уже у Леонтьевской фабрики. Без разрешения сторож отказался вызвать Глушину, а мастер задержался на складе. Варя решила подождать его на улице.

С реки Ждановки доносились хриплые мужские голоса, треск сталкивающихся бревен. Несколько рабочих с баграми уныло ходили по плоту, проталкивая бревна на свободную водную дорожку.

Кустари, окрестная нищета приходили сюда за рейками, горбылями. Варя перешла через деревянный мост. К воротам лесопилки жались толпа бедно одетых людей с тележками, веревками, мешками. Тут были подростки и дети — маленькие старички. Усталые от ожидания, они не играли, не шумели, настороженно наблюдая за воротами, которые могли открыться сейчас, а могли и весь день оставаться на запоре, — какова будет хозяйская воля.

Мастер ткацкой фабрики вежливо встретил Варю: — И рад бы посодействовать, да не в моих силах. Глушина отпросилась на недельку. Слышал, помогает братчикам в хозяйстве, а разубеждать и не пытайтесь, — советовал он, — врага наживете. Огонь и воду пройдет для них, вот какая у Глушиной вера в братца Чурикова. А нам что христианин, что магометанин, лишь бы справно работал. Чуриковцы ни церкви, ни причта не признают. Что ж, их дело, раз душа такой веры просит.

— Веры душа у них просит, — разозлилась Варя, — а мальчишка, по-вашему, бросай школу?

У нее пропало желание просить мастера повлиять на мать Степы. Разве заинтересован такой, чтобы дети рабочих учились?

В школе Варя получила жалованье. Не заходя домой, она купила продукты и проехала на Выборгскую сторону. Но жена уголовника почему-то не пришла. Оставалось пять минут до закрытия тюремной конторы. Варя решительно вошла в дверь.

— Опоздали. Не похудеет ваш арестант. Харч у нас сытный, — издевательски выпроваживал надзиратель пожилую женщину с заплаканным лицом.

Варя не стала просить, спорить. От нее тем более не примут передачу, раз заключенный Тюменев еще находится под следствием.

А вечером прямо от Терениных Варя поехала на Ямбургскую улицу. При маленьком огоньке керосиновой

лампы Тереша и Степа готовили уроки. Мать Степы — высокая, еще молодая женщина — кормила грудью ребенка. Нежданный приход учительницы явно смутил ее. Догадываясь, что разговор предстоит не из приятных, она отправила ребят поиграть во дворе.

Тяжелая жизнь привела Глушину к чуриковцам. Ее муж, неохотно рассказывала она, страдает запоем, напивается иной раз до белой горячки, уж не впервой ему попадать к «Николаю Чудотворцу»¹. «Братья» сочувствуют Глушиной, научили ее верить, терпеливо ждать дня, когда муж перестанет пить водку.

Поначалу у Вари разговор с Глушиной о сыне никак не получался. Вариной собеседницей оказалась женщина, потерявшая волю, чуриковцы внушили ей: что выше двух классов — то грамота господская.

— Хватит Степке голову всякими науками забивать. Доучится на улице...

Варя пыталась вразумить ее:

— Мальчик способный, прилежный. Поймите, образованному легче жить.

Лицо Глушиной потемнело, глаза посуровели. Укачивая девочку, она сказала с горечью:

— По-вашему, я Степке не мать, а мачеха? Лучший кусок отдаю ребятам. Который год без мужика маюсь. Получку получаю — кресты вместо фамилии ставлю, а вот троих тяну. Своему раз в неделю собираю передачу. Непутевый, да жалко. В году по десять месяцев у «чудотворца» вылеживает.

Варе не раз приходилось слышать: «Мой ребенок, хочу учу, хочу нет». В первые месяцы своего учительства она только плакала, затем поняла, что надо драться за детей, не отдавать их из школы. Скандалы больше не пугали ее.

— Новое по арифметике проходим, деление многозначных чисел до миллиона.

— Научился Степка до ста и хватит, не мильены ему считать.

— Плохую участь сыну выбираете, — таким же спокойным, но требовательным голосом продолжала Варя.

— Выбирай не выбирай, учись не учись, а пойдет в мальчики на завод или к кустарю, все равно одни и те же подзатыльники и колотушки.

— На завод-то его не возьмут, мал, избалуется на дворе, пусть лучше учится, вам ведь это ничего не стоит.

¹ Психиатрическая больница на реке Пряжке.

Задачник, тетради, доска с грифелем попечительские. Вот ваш «братец» — лавочник с Корпусной улицы, за чьим огородом вы ухаживаете, своим сыновьям дорожку мостит. К третьему взял студента репетитором.

— Каждому шестку свое место, — с покорностью возразила Глушина. — Не в чиновниках Степке служить. На железопрокатном малограмотных-то охотнее принимают, — меньше смутянят. А еще скажу, напрасно жалелись мастеру. Что я худого сделала? «Братцам» помогла, разве это грех? Они мне душу спасли. А то, что в церковь не хожу, — так вон наша богомолка Федоровна не пропустит ни одну заутреню у Спаса Колтовского, а к своей Соньке барина пускает. Набожная, а на какие деньги живет...

— Кто это?

— Да тут у нас одна в доме.

— Родную дочь? — Голос у Вари сорвался. — Хороша мать! Что за негодяй к ним ходит?

— К чему вам-то встречать в чужое дело? Поднимете шум. Барина поминай как звали. Федоровне он сказывался; ой, трудно его величают — не то Ардалион, не то Арсен. Отчество помню: Полнарьевич. Комедь!

Боль звучала в голосе Глушиной. Малозначительным показалось Варе дело, которое привело ее в этот мрачный подвал. Степа в школу вернется. За мальчика она постоит, а вот найдет ли дорогу в жизни незнакомая ей девушка, может быть, еще девочка?

— Я бы с ним поговорила. — Варя собрала пальцы в кулак. Он был до смешного мал, она поняла это и сразу разжала руку.

— Не встречайте, вместо добра зло принесете. Федоровне сраму не обобратся. Да леший с ней, паскудой, — рассердилась Глушина. — Соньку жаль, личиком вышла себе на беду. У богатых в кошельке суд и пристав. Вот вы пожалуетесь от чистого сердца, а на кого? На воздух. Федоровну потащат в участок, а Софьюшку сгоните на панель. По врачам ее затаскают. Барин подыщет свеженькую. Для девки лучше один любовник, чем ходить по рукам.

Варя ушла от Глушиной расстроенная, хотя и верила, что в конце концов ей удастся убедить упрямую мать. Когда это случится: через день, неделю, месяц? Сколько мальчик пропустит уроков? Придется, пожалуй, через Терешу знакомить Степу с пройденным в школе.

На другой день, выйдя погулять, Варя снова очутилась на Ямбургской. Степа обрадовался приходу учи-

тельницы. Машка забавлялась самодельной погремушкой, не мешала заниматься. Глушины — мать и бабка — пропадали на огороде чуриковской общины. «Братцы» торопили «сестриц» с копкой картофеля. Долго ли испортиться погоде...

В четверг после урока Степа выскочил проводить Варю. На улице было по-осеннему мозгло, шел дождь.

Степа шмыгнул в подвал, чтобы вынести материн зонтик. Варя осталась ждать под навесом крыльца.

Было еще не поздно, а Ямбургская улица уже по-ночному обезлюдела. Вдруг из-за угла резко вывернул гнедой рысак, высекая копытами искры. Рысак лихо остановился у подъезда, где ожидала Варя.

— Ровно в девять,— раздался повелительный голос из коляски.

— Рази нам впервой? — залебезил извозчик. — Как наказали, так в аккурат и прибудем.

Приехавший молодецкато соскочил с коляски. Низко надвинутая фетровая шляпа и поднятый воротник пальто скрывали большую часть лица. Он бочком проскочил в подъезд мимо Вари, она даже не успела его разглядеть, но готова была дать клятву, что где-то слышала этот голос. «Арсен Полинарьевич?» Ну конечно, он; кто другой подкатит на рысаке к дому бедноты! Но Арсена не было среди Вариных знакомых. А если Глушина права и у барина чужое имя? «Кто же это?» — думалось Варе. Мелькнула смутная догадка: Бронислав Сергеевич? Теренин? Пустое, он такой семьянин...

Варя не заметила Степу, который стоял возле нее под раскрытым зонтом. «Нет, это не Теренин», — убеждала она себя, с острой жалостью думая об Агнессе. Степа, отдавая ей зонтик, сказал:

— В пятый, к Соньке ездит. — Он зашептал таинственно: — А я знаю, где он живет. Слышал, как велел раз кучеру: «На Моховую!» Шибко был пьяный и песни пел: «Фигура здесь, фигура там». Чудак.

Наблюдательность Степы, к огорчению Вари, укрепила ее подозрения. Не могло быть случайным такое совпадение: голос Теренина. А теперь адрес: Моховая.

Встреча на Ямбургской могла принести Варе лишь тревогу и неприятности. Зачем терзать свою совесть? Какое ей дело до любовной интрижки отца ее ученика? Варя твердо решила молчать. Но если Бронислав Сергеевич узнал ее и только сделал вид, что не заметил? Прогонит с места или, наоборот, побоятся?

Подошло пятнадцатое число. «Гонорар» всегда платил сам Теренин. Деньги Варя были очень нужны, но она решила переждать до следующего занятия. Варя уже надевала шляпу, когда ее окликнули:

— Что с вами? Почему такая немилость? — Бронислав Сергеевич стоял в дверях своего ярко освещенного кабинета. — Агнесса жалуется: «Ужинать не затащить».

Варя принудила себя улыбнуться. Бронислав Сергеевич пригласил ее в кабинет, вынул из бюро деньги и продолжал:

— Учитите, без вас сегодня не садимся ужинать.

«Не узнал», — успокоилась, наконец, Варя.

К этому времени у нее установились добрые отношения с Глушиной. Хотя мать и заставляла Степу нянчить сестренку, но не мешала учительнице заниматься с ним дома. Если ребенок не капризничал, то и Степина мать подсаживалась к столу. Хоть и хмурится, а по глазам видно — самой интересно. Недавно Варя узнала от Терешки, что Чуриков прикупил земли.

— Придется вам уйти с фабрики, — сказала она однажды после занятий, когда Глушина усадила ее пить чай. — У Чурикова прибавилось хозяйства. Успевайте, «сестрицы», поворачиваться.

Глушина смолчала. Ей и так было тошно. Вторую неделю ее мать не выходит из прачечной братчиков. И за все старания одна плата: спасибо. И самой Глушиной не уплатили ни гроша. А она себя не жалела, чуть ли не двести мешков картошки накопила. Из-за братчиков сдуру сорвала мальчишку из школы. Не ей ли учительница говорила, что к новым ремеслам малограмотный лучше не подступайся. Вот уже в аэропланские мастерские без пяти классов и не думай наниматься.

Варя догадывалась о думах Степиной матери, но, подавляя жалость к ней, не скупилась на упреки:

— Степа силен в арифметике. Другая мать радовалась бы.

Усталое лицо Глушиной осветилось улыбкой...

Степа снова начал ходить в школу, а Варю по-прежнему тянуло на Ямбургскую улицу. Глушина, наконец, уступила ее просьбам и пригласила дочку Федоровны. Ростом Соня была чуть пониже Вари, стройная, лицо белое, круглое, глаза большие, удивительно синие. У Вари косы хороши, а Сониной косой залюбуешься: русые волосы доходили чуть не до полу. Соня смущенно рассказала, что пришла наниматься курьером в ме-

няльную контору Толстопятова. По каким-то своим делам там находился и Арсен Полинарьевич. Он разговаривал с Соней. Обещал ей место с хорошей оплатой, не поспешил на задаток, она поверила, а вскоре попала к нему в содержанки.

— Теперь кому я нужна такая,— с грустью призналась Соня.

— Глупости! — Глушина локтем притянула люльку, осторожно положила ребенка, затем выпрямилась. — Встретится и на твоей дороженьке хороший человек, на руках будет носить.

Соня низко опустила голову, тяжелая коса перевалилась через плечо на грудь.

— Найдется, Соня,— Варя взглядом поблагодарила Глушину,— только жизнь перемены...

— Ой, не верю!

Синие задумчивые глаза Сони искали сочувствия. Варя мучительно думала, чем помочь молодой женщине, которую насильно сделали любовницей, насильно лишили семьи, насильно лишили работы.

— Не стесняйтесь, я несколько не обижусь,— поторопила Соня с ответом. — Мне ли ждать счастья...

Варя не призналась Соне, что знает ее покровителя, умолчала о том, что дает уроки его сыну. Но обещала устроить ее на службу. У одного ее знакомого (она имела в виду Бук-Затонского) есть связи в торговых кругах. Несомненно, он не откажется помочь молодой женщине в беде.

Вскоре встретив его у Терениных, Варя рассказала про обманутую девушку,— конечно, не называя виновников ее горя.

— Помогите. Она такая милая... Об одном прошу...

Бук-Затонский поднес ко рту указательный палец, затем показал на пол: «Буду нем, как могила»,— и попросил адрес Сони. Варя с благодарностью пожала ему руку. Не нравился он ей, но что поделать.

После этого разговора Варя нарочно задерживалась по вечерам у Терениных, но Бук-Затонский не показывался. Не забыл ли о ее просьбе? Она собиралась съездить к нему домой, но неожиданно встретила его в конке, когда ехала навестить заболевшего ученика.

— В одиночестве? — услышала она рядом с собой вкрадчивый, с причмокиванием голос Бук-Затонского.

Одет он был странно — в старомодное пальто с вытертым котиковым воротником, из-под старого котелка смешно выскакивал резиновый ободок с наушниками —

Бук-Затонский берег свои уши от непогоды. Под мышкой он сжимал папку «Общества почитателей».

Как бы извиняясь за свой вид и поездку в конке, Бук-Затонский поспешил рассказать о делах, которые ждут его на Крестовском острове, хотя Варя не проявляла ни малейшего любопытства. Ее больше интересовало, устроил ли он Сою на службу. Но она ждала, чтобы он сам заговорил об этом. А он без умолку нахваливал главную почитательницу:

— Графиня Валерия Алексеевна — светлейшей души человек, никого не оставляет в беде. По ее просьбе еду к сиротам. Не составите ли компанию? Учителю полезно побывать.

Варя согласилась поехать с ним. Ей хотелось узнать, что он успел сделать для Сони.

Не доезжая одной остановки до кольца, они сошли с конки. Бук-Затонский уверенно свернул на Константиновский проспект, где просторно стояли дачи питерских богачей.

Бук-Затонский взял Варю под руку и повел к особняку, огороженному чугунной решеткой.

— Сюда. — Он быстро зашагал по дорожке, которая вела на задний двор, мимо прачечной, дворницкой, выгребной и угольной ям, к деревянной конюшне.

Половину пристройки занимала плита с вмазанным котлом. Справа от нее — трехъярусные нары, у окна деревянный стол, а на стенах множество картинок из журнала «Нива».

— Есть кто живой? — спросил Бук-Затонский.

С верхней нары проворно слезла девочка лет девяти. Длинная юбка, видно материнская, волочилась по полу. Девочка с испугом смотрела на посетителей, принимая их за важных господ.

— Мне, милая, хозяйку бы, — сказал Бук-Затонский.

— Я тут, — серьезно ответила девочка. — Минька хоть и старше, да непутевый он у нас: вот пошел до ветру и подался к дружкам, а сапоги совсем прохудились, долго ли скарлатину схватить.

Из-под лоскутного одеяла выглянули две детские голубенки.

— Не бонтесь без взрослых? — спросила Варя.

— А чего бояться, вор к нам не придет, — так же серьезно ответила девочка. — Чего взять с нас, малых да старого.

Она проворно влезла на нары, растормошила деда, спавшего под лохмотьями.

— Присаживайтесь, господа хорошие,— натужно закрипел старик.— Анка, подай табуретки да обмахни.

Девочка обтерла полотенцем табуреты, Бук-Затонский сел, раскрыл папку, не торопясь очинил карандаш.

— Что с родителями деточек?

— Померли. На одной неделе сына и сноху господь прибрал. Все перепутал, наслал на взрослых детскую болезнь, а меня, немощного, оставил маяться,— глухо сказал старик. — Как жить!.. На наше счастье, молодой хозяин нынче в городе зимует, не позволяет управляющему согнать нас, бедноту, с квартиры. И кухарка господская сердечная, принесет то супу, то хлеба. Так вот и маемся второй месяц.

«Вызвать бы извозчика, посадить ребятишек да прямиком в сиротский дом, а старика — в богадельню»,— думала Варя. А Бук-Затонский все спрашивает, и нет вопросам конца. Его интересовала родословная умершего кучера и его жены — хозяйской прачки. Варя ужаснулась: Бук-Затонский выискивал родственников, которым можно было бы спихнуть осиротелую семью!

Исписав две страницы, Бук-Затонский спрятал их в папку, а затем высыпал на стол горсть дешевых леденцов. Варя он сказал по-французски, что ему нужно спешить к купчихе Семибратовой, на ее день рождения.

— Ребята голодные,— нарочно по-русски ответила Варя.

— Без призренья не оставим, рассмотрим на совете попечителей,— снова забормотал по-французски Бук-Затонский,— рассмотрим и поможем.

— А если сердобольная кухарка долго задержится на городской квартире? Тогда что? Прикажете ребятам еще подтянуть ремнем животы или умирать?

Бук-Затонский с улыбкой, но зло сказал:

— Ради бога, Варя, говорите по-французски, по-английски, я пойму вас даже по-турецки, только не толкайте эту голь на попрошайничество. Они и ко дворцу...

Старик проникся неприязнью к Бук-Затонскому:

— Скажи, барин хороший, честно: подышайте, и вся недолга. А то лопочешь по-чужому. Чего скрытничать!

— Слышите? — Варя уже не владела собой. Она наклонилась к Бук-Затонскому и прямо в лицо выпалила: — Старик прав, они не могут ждать.

Бук-Затонский порывся в бумажнике, нашел помятый рубль. Варя молча высыпала из кошелька все свои деньги на стол, не оставив себе даже на конку.

На обратном пути ей было тошно идти с Бук-Затонским, тошно выслушивать его славословия добрейшей из добрейших попечительниц.

— Скажите,— резко перебила Варя,— с Сони вы сняли такой же опрос?

Бук-Затонский смутился. Или это ей так показалось?

— Смею заверить, Соня будет благодарна.

Варя посмотрела на него внимательней. Не такой характер у этого человека, чтобы сделать что-либо и промолчать. «Врет»,— подумала она.

На углу они распрощались. Бук-Затонский опять сел в конку, а Варя пошла к пустынной стрелке Крестовского острова.

Через несколько дней Варя снова была на Ямбургской. В комнате Сони стоял крепкий запах духов. Сама она лежала на диване и даже не приподнялась, когда Варя вошла к ней. Лениво кивнула — садись, мол, если хочешь.

— Что же вы, Соня, не даете знать о себе. Надеюсь, Бук-Затонский устроил вас на работу?

— Устроил! — Соня загадочно повела бровями. — Я-то, дура, расчувствовалась от ваших посулов, своего выставила, а этот, как его, Бук ваш сердечный, посулил золотые места, переночевал — и Митькой звали. — Она вынула из-за лифчика смятый лотерейный билет. — Хотя бы четвертную оставил, а то — билет. На него-де тысяча рублей выпадет. Вот какой добрый барин!

Варя съезжилась. Если бы не лотерейный билет с его инициалами, она бы, пожалуй, не поверила, чтобы Бук-Затонский мог так мерзко поступить с молодой женщиной. А что же Соня? Почему она его не выгнала, уступила...

— Как же вы, Соня, сами-то...

Соня лениво открыла книгу.

— Пристал, не вызывать же было дворника... Думала, позабавится и на работу поставит. Поверила, глупая, в новую жизнь. В моем ли положении искать правды?

Домой Варя возвращалась усталая. Какая она беспомощная! Тимофей бы не растерялся, но с ним не посоветуешься, из тюрьмы на волю идет узкая тропинка. Она подняла голову и не поверила — ей навстречу шел Тимофей Карпович с узелком под мышкой. Она так и рванулась к нему:

— Вы?

Молча он притянул ее руки к своим губам...

Околоточному так и не удалось состряпать заговор на Выборгской стороне.

И вот настало утро, когда надзиратель велел Тимофею Карповичу явиться в контору за пожитками. Сборы были недолгие, все свое имущество он увязал в платок.

Выйдя из тюремных ворот, Тимофей Карпович жадно глотнул невский воздух. Вдруг ему стало не по себе. Поймет ли Варя, что не только французский — китайский язык выучил бы он, лишь бы с ней встречаться?

Раздумье, раздумье, раздумье. Вот что глушило радость освобождения из тюрьмы. «А если сказать Варваре Емельяновне не так официально, по имени-отчеству, а просто, душевно: Варюша...» Тимофей Карпович почувствовал, что дальше слов ему не найти.

Кто он такой? Рабочий парень, каких на одной только Выборгской стороне тысячи.

Домой к себе на Выборгскую после свидания Тимофей Карпович всегда возвращался пешком, чтобы снова пережить то, что оставила в его памяти последняя встреча. Нет, он был несправедлив к себе. Варя охотно расспрашивала его о заводских делах, просила познакомиться с товарищами. Или это лишь ради приличия? Может быть, просто от скуки она пытается заглянуть в тот мир, где живет ее ученик?

В раздумье, бесцельно блуждая по улицам, Тимофей Карпович неожиданно для себя вышел к «Стерегающему». Посидел у памятника, и так ему захотелось увидеть Варю, что он остановил первую извозчицью пролетку и велел везти себя на петроградскую окраину...

Учителя охотно согласились сыграть любительский спектакль в пользу сирот. Нанять подходящее помещение взялся учитель русского языка Яков Антонович.

От знакомых студентов Яков Антонович узнал, что на Среднем проспекте Васильевского острова сдается зал под увеселения. Хозяйка отдыхала на курорте. Переговоры пришлось вести с прижимистым старшим дворником. Он поставил такое условие: не высмеивать бога, царя и — с человека по гривеннику в пользу хозяйки.

Прочитав в пьесе, которую учителя собирались играть, что Кабаниха — набожная старуха, дворник угомонился. По второму пункту заспорили. Яков Антонович посулил по три копейки с места, потом дошел до пятака и уперся: сбор, мол, пойдет на еду и обувь сиротам.

— Всех обездоленных не пригреешь, всяк свой интерес блюдет,— не сдавался дворник. — В аккурате представим зало, потешайте сколько душеньке угодно, а уговоренные деньги сполна и вперед. Мы-то на своем веку повиदывали всякое. Иной афишу с избу намалюет, Шаляпин-де будет выступать. Народ на приман и валит. А на поверку заместо Шаляпина Сентюхеев вылазит — бывший дьякон, тут у нас есть такой. Тоже басом поет.

Старший дворник и Яков Антонович торговались, как на Александровском рынке. Сошлись на семи копейках.

— Сами хоть по полтине берите с носа, нас это не касается,— сказал старший дворник.

Частный зал зрители не любили. Там и в самом деле нередко обманывали публику. Варя, продавая билеты, слышалась упреков и насмешек. Обидно, если хорошую пьесу придется играть в полупустом зале...

Генеральную репетицию проводили в школьной гардеробной. Варя, игравшая Катерину, прощалась с мужем и вдруг увидела, что в дверях стоит Тимофей. Она знаком показала: «Подожди, нельзя прерывать репетицию», но он куда-то спешил, вынул из-под полы пальто маленький мешочек, положил его к подножию вешалки и кивнул на прощанье.

В перерыв Варя нашла у вешалки наволочку от думки с медными и серебряными монетами.

Незадачливых устроителей платного любительского спектакля выручил Тюменев. У него нашлись хорошие знакомые на трубочном и табачной фабрике Лаферма. Там продали больше половины билетов.

Выручки от любительского спектакля сиротам хватит до лета. Если попечительский совет не определит к этому времени ребят в сиротский дом, можно сыграть еще спектакль.

Но как помочь Соне? Варя не хотела беспокоить просьбами Тимофея. Хотя его выпустили из тюрьмы, но взяли под надзор полиции. Чтобы сбить с толку шпиков, Тюменев взял на заводе расчет. Товарищи устроили ему шумные проводы. Доехав до Любани, он пересел на обратный поезд и в Петербурге поступил по чужому паспорту на завод «Рено».

Нет, его нельзя было обременять чужими делами.

Но в городе был еще один человек, которому Варя могла открыть душу.

...Ловягин ожидал Варю на Зимней канавке. С трудом сдерживая слезы, она рассказала ему, как старалась сделать добро, а попала в сводницы.

— Какая вы, Варя, доверчивая,— сказал Ловягин. — У Бук-Затонского только фамилия настоящая, остальное все фальшивое. Характер у него подленький. В думе с левыми заигрывает, а подкинуть ему дворянское звание да Станислава на шею, и весь его радикализм растает как дым.

Варя до боли в пальцах сжала чугунную вязь решетки.

— А вы... — Из боязни обидеть Ловягина Варя, запинаясь, растерянно повторяла: — А вы...

— А я,— с грустью сказал Ловягин, дав понять, что несколько на нее не обижается,— а я, зная вольчью натуру Бук-Затонского, как и все, мило беседую с ним. В своей подлости он не одинок. Адрес на Ямбургской улице известен и другому лицу.

— Вы знаете? — испугалась Варя. — Ужасно, если это дойдет до Елены Степановны! Бедная Агнесса...

— Ну что вы! Ничего не произойдет. Теренин в молодости имел приятную внешность, дьявольскую предприимчивость, недвижимости никакой, капиталов никаких.

— Брак по расчету...

— В обществе изъясняются более благородно: деловой брак. Елена Степановна знает куда больше о своем супруге. Что Ямбургская! А вот Агнессу в самом деле было бы жаль... Давайте-ка лучше, Варенька, подумаем о вашей Соне. Только,— Ловягин взял Варю под руку,— молчите, ни слова в доме Терениных о встрече на Ямбургской! Лишиться места! Ради чего? Скажите, вы очень верите, что ваша Соня бросит свою профессию?

— Бросит. Только кто найдет ей спасательный круг?

— Давайте попытаемся.

Глава пятая

Пришла весна, а в жизни Сони ничего не переменилось. Варя решила, что лучше ей самой сделать первый шаг к примирению. Но что она может сейчас предложить Соне? Опять проекты, надежды, обещания?

Са стороны залива несколькими ярусами надвигались на город темные тучи. Ветер гнал пыль по мостовой. Варя ускорила шаг,— добраться бы домой до дождя, потом побежала, придерживая рукой юбку.

В комнате было по-вечернему темно. Она откинула занавеску, но света не прибавилось. Хозяйки торопливо

захлопывали окна. Ливень хлынул внезапно. Варя зажгла керосиновую лампу и села проверять домашние тетради. Дождь отвлекал, мешал ей сосредоточиться. Она захлопнула вторую раму, шум ливня больше не доносился в комнату, но крупные капли продолжали беззвучно катиться по стеклу.

Огонь в лампе зафыркал, померк, словно устал светить. Фитиль короткий, надо бы сменить, но не бежать же под дождем в керосинную. Пришлось оставить тетради.

Скучно пережидать дождь без дела. Белье, еще утором снятое с чердака, лежало в прутьяной корзине. В кухне Анфиса Григорьевна растапливала плиту. Варя поставила утюг на конфорку, и в эту минуту в прихожей простуженно звякнул колокольчик.

Варя открыла дверь — и онешила. На площадке стояла Соня. Шелковое ее платье намокло и просвечивало. По мокрому лицу с ресниц расплзлась краска. Пальцы судорожно сжимали газовый шарф, конец которого стелился по площадке лестницы.

— Не выгоняйте,— чуть слышно попросила Соня. — Я дура, круглая дура. Разъярилась, а вы...

Рыдания помешали ей договорить. Варя взяла Соню за руку и провела в комнату. Ни о чем не спрашивая, вынула из комода белье:

— Переодевайтесь. Плиту истопим пожарче, обсушитесь. И заночуете. Хозяйка даст матрас.

Пока Соня приводила себя в порядок, Варя согрела чайник, накрыла стол, но не в кухне, а в комнате,— даже сердечная Анфиса Григорьевна могла оказаться в тягость ее неожиданной гостье. Дождь перестал, посветлело, можно было распахнуть окно.

На дворе еще мчались ручейки к водосточным колодцам, а мальчишки уже затеяли веселую игру. Внезапно детский гомон стих, и по двору понеслись мелодичные звуки шарманки. Бродячие музыканты в два голоса — мужской и женский — тоскливо выводили:

Уж вечер вечерет,
Наборщики идут...

Варя завернула в обрывок газеты пятак и бросила в окно.

В комнату врывались плачущие голоса:

Маруся отравилась...

Соня переменялась в лице. Блюдце в ее руке заплясало.

— Вот так и я руки чуть на себя не наложила,— призналась Соня. — Купила отраву. В последнюю минуту отдумала. Скажете, струсил? Нет. В моей жизни ничегошеньки хорошего. Отраву жалость отвела. И к кому? Мать пожалела, затаскают старую. Плохая она, сама в молодости понатаскалась. Для нее девичья честь — товар. Вот какая она, моя родительница. Добром ее не вспомнишь, да одна у нас с ней кровь.

От такого признанья Варя стало не по себе. В соседнем доме две девушки ткачихи однажды сказали своей квартирной хозяйке: «Наложим на себя руки: некому нас оплакивать». Та подумала: «Пустое мелют». Известно, кто говорит про смерть, тот особенно дорожит жизнью. А утром хозяйка нашла обеих жиличек в петле.

Кто поручится, что рано или поздно и Соня не поступит так? Сегодня ее удержала от рокового шага жалость к матери, а завтра найдется другой любовник с деньгой, и набожная мамаша сама отведет к нему дочь. Варя закрыла обе рамы. Надрывные голоса певцов, заунывная мелодия шарманки все же назойливо врывались в комнату. Новая песня — новая печаль:

...Любила я, страдала я,
А он, подлец, забыл меня...

Варя вышла в кухню подогреть чай, подумать, справиться с мыслями. Чем-то она затронула Сонину душу. Так честно открывают свои потаенные думы только людям, которым доверяют. И надо ей, Варе, быть рассудительнее; осуждая Соню, приближать к себе, не давать ей катиться в яму.

— Так трусы уходят из жизни,— продолжала она уже более уверенно разговор, вернувшись из кухни.

--- Жизнь... — протянула Соня. — Моя жизнь — нарядный фантик. Хозяйский сын сгубил, потом Арсен замаял своей любовью. Теперь свалился этот. Жарко целует, а меня холодом обдает, руку жмет — мне тошно, ладони у него потные-потные...

Соня рассказала, что сегодня Бук-Затонский снова приехал к ней. Про место — ни звука. Навез всякой еды, вина. Она велела ему убираться из квартиры, а он вкрадчивым голосом пригрозил: у него есть друг в полиции.

— Я вцепилась ему в руку, обозвала так, что стыдно и сказать...

Соня уронила голову на стол, плечи ее затряслись, снова послышалось приглушенное рыдание.

— Обозвала — и ладно, что заслужил, то и получил. Зачем же себя изводить?

Соня подняла голову, ее большие глаза блестели от слез.

— Опрокинул в свое ненасытное горло стакан вина для разгона, облапил... Я в чем была, в том и выскочила из квартиры. На улице стало страшно. Хорошо, на память пришел ваш адресок. Жить хочу и боюсь срама. А Бук донесет в полицию — пропала я. Регистрироваться не пойду, я же не панельная. Лучше сразу конец...

— Давайте-ка ложитесь спать, — сказала Варя.

Когда девушка крепко уснула, Варя тихонько оделась и вышла на улицу. Во что бы то ни стало нужно было сегодня же увидеть Ловягина.

Ждать ей пришлось долго, пока солдат, посланный дежурным офицером, ходил за ним. Облокотившись о перила Зимней канавки, Варя нетерпеливо поглядывала в сторону Миллионной.

Ловягин шел от Невы. Пожав руку Варе, он пошутил:

— Удачный выдался денек — третий девичий вызов на канавку. Друзья желтеют от зависти...

Варе было не до шуток. Еле сдерживая слезы, она рассказала про отчаянное положение Сони.

— Бейте, виноват, все откладывал с утра на вечер... — бормотал Ловягин, искренне раскапываясь в своей беспечности. — Жаль, нельзя уйти из полка — ждем командира. Но мы уладим.

Ловягин облокотился на решетку канавки и написал записку мадам де Тирон, владелице шляпной мастерской. Вызвав из казармы связного, он велел отнести письмо. Проводив Варю до Троицкого моста, Ловягин обнадёживающе сказал:

— Спите спокойно. Все будет хорошо.

...Вдова Маргарита де Тирон держала на Невском магазин дамских шляп, который был маленькой копией парижского, принадлежавшего известной когда-то французской фирме. Стены ее магазина были так же обиты темно-вишневым бархатом, удобные диваны, мягкие кресла и столики были вывезены из Парижа. В глубине помещения слева и справа находились примерочные с зеркальными стенами и потолками. Продавщицы говорили на трех языках. У старого шляпочника, ее покойного мужа, было так сильно желание создать у Казанского собора уголок Парижа, что он и швейцара привез из Франции.

Для каждого фасона шляпы изготавливалась оригинальная картонка с фирменной маркой: пять золотых медалей, под ними белая голубка, несущая в клюве на ленточке коробку с надписью нанкосок: «С.-Петербург—Париж. Де Тирон». Никакого магазина в Париже у мужа мадам де Тирон не было. Но коммерция есть коммерция.

После смерти старого шляпочника дела фирмы не пошатнулись. Обворожительная улыбка мадам, ее искусство с первого взгляда угадывать вкус заказчиц покоряли самых капризных модниц. Магазин вскоре превратился в салон, куда приходили не только сделать заказ, но и полюбоваться новыми фасонами шляп, выпить чашку шоколада, съесть мороженое. В магазине всегда было вдоволь сплетен о знаменитых артистах, царских сановниках.

Хозяйке этого модного магазина Ловягин не только послал записку, но и позвонил по телефону.

Утро у Вари неожиданно оказалось свободным. Умерла старейшая попечительница школы, и Софья Андреевна объявила трехдневный траур — распустила учеников по домам.

Варя и Соня пришли к открытию магазина. Старшая приказчица встретила их холодно:

— Если есть время, ждите. Только вряд ли мадам зайдет в магазин.

Она недовольно скосила глаза, когда две девушки, непохожие на богатых заказчиц, уселись на диван с явным намерением ждать.

Вскоре раздался телефонный звонок. Старшая приказчица юркнула в дверь возле примерочной, затем снова появилась в магазине. Ее словно подменили: на перепудренном лице расплывалась заискивающая улыбка.

— Сто извинений. Сказали бы сразу, что вы от мсье Ловягина. Лучшей рекомендации для мадам не существует. Выпейте кофе, сегодня торт с миндалем. За вами придут не раньше, чем через четверть часа.

Ждать экипажа пришлось недолго. Выезд у де Тирон считался одним из лучших в городе. В ее конюшне стояли отборные лошади трех мастей: серые в крупных яблоках, черные как вороново крыло, гнедые с белыми метинками на голове. Сейчас подкатила пара вороных.

Горничная провела Варю и Соню в гостиную, где их встретила если не красавица, то довольно необычная женщина. Большой покрашенный рот, огромные черные

глаза,— в ней было что-то восточное. Маргарите де Тирон недавно исполнилось двадцать пять лет; год назад ее муж, семидесятипятилетний Франсуа де Тирон, оставил ее вдовой.

Маргарита сразу догадалась, что речь в записке идет о Соне.

— Вы знакомы с Валентином Алексеевичем? — с плохо скрываемой ревностью спросила она, бесцеремонно разглядывая девушку, очевидно сравнивая ее с собой. В душе она не могла не признать: если их поставить рядом, то выиграет ее будущая мастерица.

— Совсем их не знаю,— тихо отозвалась Соня. — Это Варвара Емельяновна все старается для меня...

Варя заметила, как оживилась мадам, упомянув имя Ловягина: глаза ее потеплели, хотя в них не исчезли недоверие и ревность. Бесхитростный ответ Сони успокоил мадам. Она постаралась в деловом разговоре загладить свою резкость.

— Вы ищете работы?

Не взгляни Варя строго, Соня попросилась бы в прислуги.

— Примите в мастерскую. Обузой буду недолго, научусь. В детстве на нашем дворе не было лучше меня рукодельницы.

— Считайте себя на службе. Вас интересуют условия? Жалованье как у всех мастериц, за исключением старшей. Довольны?

Соня растерялась. Хозяйка что-то перепутала, принимает ее за другого человека.

— Я не умею делать шляпы. В ученицы бы.

— О нет,— сказала мадам. — Валентин Алексеевич просит вас взять в мастерицы, я запомнила хорошо. Он даже подчеркнул. Завтра же приходите в магазин. Нет, лучше сюда. Мои мастерицы слишком завистливы. Я буду вашим шефом и учителем.

Разговор, казалось, подошел к концу, оставалось поблагодарить и распрощаться. Мадам вдруг переключила свое внимание на Варю:

— Вы бываете в доме Терениных? И часто встречаете там Валентина Алексеевича?

— К Терениным съезжаются по средам.

Нетрудно было догадаться о чувствах владелицы шляпного магазина. Теперь мадам готова была ревновать к ней. Но каков Ловягин! Любит Агнессу, а сам... Впрочем, Варя не считала себя вправе осуждать Ловягина.

Может быть, Варя и Соня понравились мадам или она хотела, чтобы Ловягин был доволен ее гостеприимством: их провели в столовую.

Мадам не отпустила их и после завтрака. Только хорошим знакомым показывала она коллекцию дамских шляп, собранную покойным мужем. В большой продолговатой комнате у стен стояли застекленные стеллажи.

— Здесь все фасоны,— с гордостью объяснила мадам,— выпущенные за последние сто лет лучшими фирмами мира.

У Сони разбежались глаза. Она с удовольствием примерила бы каждую шляпу. Когда, распрощавшись с хозяйкой, они вышли в прихожую, горничная протянула им две картонки. В одной лежала широкополая фетровая шляпа, в другой крохотная, похожая на феску.

— От подарка нельзя отказываться,— сказала горничная,— новыми фасонами шляп мадам одаривает только друзей.

Спустя два дня Соня встретила Варю у школы:

— Спасибо вам, мне так хорошо. Эта мадам такая добрая и, знаете, очень несчастная. Она сама мне сказала, что любит этого вашего знакомого, который ей написал обо мне. Только о нем и говорит. А он... Правда, что у него есть невеста?

Варя промолчала. Все-таки и Ловягин неискренний человек. Или в этой среде не бывают искренними?

Глава шестая

В хорошую минуту прошение поступило на доклад его величеству. Софье Андреевне перепала не одна сотня рублей, а сколько — в точности никто в школе не знал.

Подобревшая начальница велела столяру вделать царский портрет в тяжелую позолоченную раму, купленную по случаю в антикварном магазине. В ее собственной комнате богомаз обновил икону Николая Чудотворца и навесил серебряный подлампадник. 6 декабря во время торжественного молебна Софья Андреевна зажгла неугасимую лампаду. Священный огонь принес монах из Александро-Невской лавры. Сторожиха по секрету рассказывала учителям, что начальница втихомолку прикуривает от неугасимой лампы.

Получив царский чек, начальница вдруг начала проявлять интерес не к заказу новых парт и пополнению

школьной библиотеки, а к цветному стеклу и кровельному железу для своей новой дачи в Токсове. А спустя месяц она перестала говорить о прибавке жалованья и черном бархате, который приглядела для Вари в Гостином дворе.

Раздор у Вари с начальницей начался не из-за бархата и прибавки жалованья.

Отца Володи Рожкова, ученика из Варинного класса, упрятали в Литовский замок. Урок закона божьего в школе давал батюшка из церкви апостола Матвея, ханжа и монархист. По заведенному порядку ребята каждое утро перед началом занятий становились на молитву за дарование здоровья царствующему дому. Володя отказался молиться за царя и заявил, что не станет, покуда бог не вызволит отца из тюрьмы.

Батюшка пожаловался на маленького смутьяна Софье Андреевне. Та вытащила мальчишка за шиворот из класса и велела в школу не приходить.

Либерал-попечитель по Вариной просьбе вмешался, пригрозил лишить школу своего пая, если мальчишку выгонят. Когда вопрос касался денег, Софья Андреевна становилась очень покладистой. Но, отступив, она затаила против Вари злобу.

Варя сама удивлялась своей смелости. Еще полгода назад она боялась и взгляда начальницы и ее крадущихся шагов. И вот она, Варя, отважилась пожаловаться влиятельному попечителю. Эти мысли и дома не оставляли ее в покое. Она кипятила молоко, когда соседский мальчишка, забежав в квартиру, с порога крикнул:

— Ой, тетя Варя, ждут! Велено скорее!

Кто ждет? Где? Спросить бы у шустрого вестника, а его голос уже доносился снизу. Не Тимофей ли? Сдвинув кастрюлю с огня, Варя проворно сняла передник и сбежала вниз.

На улице стояла открытая коляска на резиновом ходу. Агнесса сидела, откинувшись на спинку сиденья, из-за головы Ловягина были видны только поля ее соломенной шляпы.

— Мы собрались на прогулку. Может быть, присоединитесь к нам? — Нагнувшись к Варе, Ловягин шепнул: — Выручайте. В Агнесе сегодня сидят сто фурий и в придачу Елена Степановна. Да еще Бук-Затонский вьется в компанию.

Варя однажды на себе испытала, каково остаться наедине с Агнессой, если та не в духе. Не хотелось

огорчать Ловягина отказом, он всегда к ней внимателен, добр, но вот беда — не отглажено платье.

— Во всех ты, душенька, нарядах хороша,— сказала Агнесса. Шутка не вязалась с ее хмурым лицом.

— Катайте неотглаженную,— уступила Варя.

Миновав несколько узких, малолюдных улиц, они выехали на Каменноостровский проспект. Недавно прошла гроза. Экипажи, извозничьи пролетки оставляли на намокших торцах четкие, светлые следы колес. На мосту через Карловку их обогнали легкие дрожки. Кучер играл кнутом, не касаясь крупа потемневшего от пота рысака. Над проспектом сливались в один звук пощелкивание кнута и зазорное причмокивание.

— Бук вкупе с Затонским торопятся к Фолькену,— съязвил Ловягин. — Не навесить ли нам «Виллу Родэ»? — предложил он спутникам. — Местечко уютное.

У Агнессы странный характер. Если без спора потрафлять ее капризам, то она становится сговорчивой. В это утро Ловягин во всем ей уступал. «Вилла Родэ»? Это хорошо. Поджидая их в ресторане на Каменном острове, Бук-Затонский позеленеет от скуки. «И от кого Бук пронюхал, что я собралась на Острова? — недоумевала Агнесса. — Наверно, выпытал у конюха».

За Строгановским мостом Ловягин и его спутницы сошли с коляски, велев кучеру ожидать их у Приморского вокзала.

В ранний час «Вилла Родэ» ничем не напоминала известный цыганами и купеческими скандалами ресторан. Сейчас это было тихое загородное кафе.

Официант накрыл стол в беседке. Агнесса надулась. Она радовалась, что проучила Бук-Затонского за навязчивость, но ее не устраивало безлюдье в «Вилле Родэ». Прогулка была нарочно придумана, чтобы показаться в новом платье.

Агнесса едва дотронулась до мороженого, а на землянику и не взглянула. В медной вазе плавал мелко набитый лед, точно в весенних разводьях покачивалась темная бутылка. Шампанское пил один Ловягин, да и то неохотно, устало постукивая пальцем по бокалу. Варя чувствовала себя прескверно.

Со Строгановского моста наперегонки спускалось несколько экипажей. Лошади остановились у «Виллы Родэ».

— Цыгане! — оживилась Агнесса.

На дорожку, ведущую к ресторану, уже высыпала пестрая, шумливая толпа цыган. Мужчины в ярких ко-

соворотках, бархатных штанах, заправленных в лакированные голенища сапог. Женщины в красочных костюмах, в ушах у них замысловатые серьги, на запястьях широкое браслеты.

— Цыгане, так рано? — задумчиво, как бы про себя, проговорил Ловягин. — Не купцы ли собираются кутнуть?

Официант любезно предупредил:

— Разрешите кофе подать, а то, знаете, загоняют.

— Важную особу ждете? — заинтересовался Ловягин. Он видел, как в сад опасно прошмыгнули горюдовые.

— Распутин жалует. — Официант понизил голос: — Метрдотель приказал поднять из погреба ящик мадеры. Специально держим для Григория Ефимовича. Другой раз полгода не заглядывает к нам, а мадеру держим. Нагрянет ночью аль спозаранку, — где хошь, а доставай мадеру. Полюбилось ему наше заведение, такне бсжий человек откалывает кренделя, что полиция приструнила хозяина. А попробуй запрети ему душу отвести, когда он с господами министрами за руку...

Осуждающе покачав головой, официант побежал на кухню за кофе.

— Однако он с вами запросто, — сказала Агнеса, хитро глядя на Ловягина. — Стало быть, частый гость.

— Бывал иногда, — сухо ответил Ловягин.

Спустя четверть часа у «Виллы Родэ» остановился автомобиль. Из него вышел среднего роста плечистый старик с нерасчесанной бородой беглого раскольника. Одет он был под мужика, но во все дорогое: малиновая атласная косоворотка, брюки из тонкого сукна, заправленные в голенища мягких сапог, голубой шелковый пояс. Распутина сопровождали двое: один — неопределенных лет, лысый, с брюшком, в легком пиджачке — обмахивался соломенной шляпой, другой — еще юнец, в смокинге, цилиндре и белых перчатках. Лысый у ворот подобострастно пытался взять под руку Распутина. Тот досадливо отмахнулся и крупно зашагал к ресторану. На площадке он вскинул жилистую руку, приветствуя не то красивую цыганку, не то метрдотеля, стоявшего у входа в ресторан.

Варя и Агнеса первый раз видели Распутина — мужика, вхожего в царский дом, назначающего и смещающего царских министров. Так вот кого фрейлина государыни Вырубова парила в баньке!

Распутин по-приятельски облапил метрдотеля, трижды расцеловался, то же проделал и с молодой цыганкой, затем, положив свою тяжелую руку с черными ногтями на ее плечо, вошел в ресторан. Никого не ожидая, сел за стол и налил себе и цыганке вина. Певуче зазвенели бокалы. Успел с ним чокнуться только юнец в смокинге, лысый подбежал, когда Распутин уже одним вдохом втянул в себя мадеру. Цыганка замяла возникшую неловкость: что-то сказала лысому и протянула свой бокал.

Цыгане собрались на невысоком помосте, но песню не начинали, ожидая запевалу и плясунью. Она задорно взмахнула юбкой, стрельнула темными глазами, припухшие, сочные губы чуть приоткрылись, как бы укоряя: «Не поцеловал, растяпа!» Распутин успел ухватиться за юбку, обнял красавицу, усадил ее на колени.

Хор не решался начать без запевалы, а Распутин уже вошел в раж. Ему недоставало теперь только песни. Он грубовато столкнул цыганку с колен:

— Пой, рвани за душу!

Цыганка, шелестя юбкой, взбежала на подмости. Из распахнутых настежь окон вырвалась в сад буйная песня и звонкий перебор гитар.

Агнесса наслаждалась пением цыган. Она требовала, чтобы и они перешли из беседки в ресторан, поближе к цыганам, сняла перстень с руки — подарить солистке.

Ловягин поймал ее руку, надел перстень на палец, по-отцовски выговаривая:

— Время не подходящее для одаривания цыган.

— А я говорю — подходящее! — Агнесса капризно стукнула каблуком и кинулась к выходу, Ловягин успел ее задержать на пороге беседки.

— Хотите, чтобы из «Виллы Родэ» я отправился на гауптвахту? — сказал он. — Тогда идите в ресторан.

— На гауптвахту?

Нервно постукивая сложенным веером по столу, Агнесса ждала объяснения, но Ловягин уже глядел в сторону набережной. У ворот остановилась карета, вслед за ней подъехала извозничья коляска с поднятым верхом. Агнесса и Варя проследили за его взглядом. Из кареты и коляски вышли странные пассажиры. Впереди шла высокая, худошавая дама в темном платье, ее голову прикрывал монашеский клобук, шею перехватывало сверкающее ожерелье. Странно было видеть в увеселительном заведении женщину в таком одеянии. Когда монахиня поравнялась с беседкой, Варя разгля-

дела, что ожерелье составлено из двенадцати крохотных евангелий. За монахиней, несколько отступя, важно вышагивали расфранченные дамы, а позади плелся мужчина неопределенных лет с иссушенным загорелым лицом. Одет он был нищенски: в холщовых штанах, такой же рубашке, босой. Поражала его неестественная походка. Он шел, дергаясь всем телом и чуть ли не опрокидываясь назад, будто искривленный каким-то недугом. За ним волочились по дорожке цепями привязанные к ногам два чугунных шара.

— Мошеник,— сказал Ловягин. — Пудовики к ногам привязал, бонтя оторваться от земли. Как бы живым на небо не взяли.

В «Вилле Родэ» будто объявили большой сбор. К воротам то и дело подъезжали экипажи, извозчицы пролетки. Подкатил мотор с дипломатическим флажком. В пеструю компанию затесался еще не старый генерал. Некоторые смело проходили в ресторан, другие робко жались в саду, ожидая выхода Распутина.

Цыгане устали петь. Распутин, по-купечески подбоченясь, показался на крыльце. Будто телохранители, с одного его бока стояла женщина в монашеском одеянии, с другого — еле державшийся на ногах юнец в смокинге. Генерал пытался оттеснить монашку. Распутина, видимо, начинала раздражать возня назойливых просителей.

— Желанные, родные,— певуче протянул Распутин, а глазами пронзительно ощупывал толпу.

Вот он кого-то отыскал и поманил пальцем. Хорошо одетая молодая женщина робко приблизилась к «старцу» и опустила на колени, прося благословения. Распутин, не стесняясь присутствующих, поднял, стиснул ее в своих железных объятиях, расцеловал, приговаривая:

— Светом любви порадую меня возлюбившую.

Припадочный, неистово крестившийся, рванулся вперед, как только увидел, что молодая женщина сняла с руки дорогое кольцо и отдала Распутину.

Кольцо с рубином лежало на распутинской ладони-лопате. Припадочный не сводил с него глаз. Знал, что в загуле старец охотно раздаривает чужое.

— Отдай! Снесу в Соловки. Отмолюсь от недуга.

— Сначала плоть, потом душу спасти хочешь? Бери.

Припадочный жадно схватил кольцо, заложил его за щеку и отступил в толпу.

Распутин продолжал обход. Женщины целовали подол его рубашки, припадали к сапогам, господу в шляпах, котелках и цилиндрах подобострастно лезли к «старцу», о чем-то ему шептали, совали какие-то бумажки. Он комкал эти прошения, распахивал по карманам, совал за голенища.

Агнессе показалось, что Распутин ее заметил. Неужели он и ее сочтет за одну из своих почитательниц? Она ощутила терпкий запах чеснока и спирта, испуганно прижалась к Варе. Теперь для нее потеряли загадочность слова Ловягина о гауптвахте. Он был прав, оберегая их от встречи со «старцем».

Хотелось встать и уйти. Но теперь незаметно уйти было не так просто. Распутин стоял почти у самой беседки. Чтобы заслонить девушек, Ловягин прислонился к перилам, небрежно дымя папирсией. С минуты на минуту мог разразиться скандал, Ловягин — Варя это знала — не даст их обидеть хотя бы словом.

Неизвестно, то ли Распутин принял Ловягина за человека из своей охраны, то ли ему надоели объятия, просьбы и раздача господней благодати. Он подал рукой знак, из ресторана тотчас же гурьбой выбрались в сад цыгане.

— Играй! — крикнул Распутин и сам хрипло запел:

По улице-мостовой...

Распутин прошелся по кругу, остановился перед девушкой, еще почти девчонкой. Ее мать, страдающая водяжкой, блаженно заулыбалась, сунула дочке цветной платочек и подтолкнула ее к Распутину. Девушка несмело прошла полкруга, круг, еще полкруга. Толпа была в ладоши. Пора бы закружиться, чтоб юбка поднялась зонтиком, но девочка была хилая, слабая. Дух захватило у незадачливой плясуньи, мать и еще какая-то женщина подхватили ее под руки и увели.

Распутин плясал долго. Цыгане веселили его впервые и научились петь любимую его хороводную без перерыва. От неистового пляса ему стало жарко. Он развязал пояс, скинул косоворотку. Из незастегнутого ворота рубашки выпирала мясистая, волосатая грудь.

Метрдотель подставил ему удобное кресло. Официант лихо сдернул салфетку с бутылки. Распутин выпил и рукавом обтер бороду. Воспользовавшись передышкой, из толпы угрем выскользнул прыщеватый молодой

человек — не то банковский служащий, не то приказчик? Крепко обхватив ноги «старца», он по-бабьи запричитал, худосочные плечи судорожно задергались. Распутин поднял парня с земли, обнял и поцеловал:

— Чего, милый, убиваешься? А бог-то, бог-то?

Прищеватый опять грохнулся на землю:

— Невинного сажают в тюрьму.

— Помолись! Не посадят. Судьям скажи, что верю в твою невинность.

— Напиши слово! — приставал прищеватый. — Без бумаги нет веры.

Распутин на клочке газеты карандашом нацарапал записку судье. И снова вокруг него возникла толпа просителей, каждый с бумажкой. Распутин не любил писать, но сегодня почему-то с упоением выводил свои каракули.

— И эти клочки помогают? — ужаснулась Варя.

— Еще как, — сквозь зубы сказал Ловягин.

Распутин, взяв сумочку у смуглой дамы, обходил цыган, надевая их чужими деньгами.

Появилась возможность незаметно выйти из беседки. В саду Варя оглянулась. Из куста жасмина подле самой беседки воровски выглядывал околоточный. У Вари мурашки побежали по коже — неужели слышал? С нее-то спрос небольшой, а для Ловягина дело может обернуться круто, сорвут погоны.

— Гадина. Ослиные уши вытянул...

— До подслушивания ли ему! — Ловягин махнул рукой. — Про Распутина в городе столько ходит правды и сплетен, что всех не пересажаешь. Подлец околоточный просто труса празднует, как бы Гришку не побили на его участке.

— Распутина побьют? — удивилась Агнесса. — Перед архиереем так не распластываются...

— Одни вделывают распутинский лик в позолоченный кнут и записывают в святцы, другие бьют. Гермоген, саратовский епископ, однажды нагрудным крестом избил «старца».

Домой возвращались молча.

На вечер у Вари была отложена проверка тетрадей. Приехав домой, очинив карандаш, она задумалась да так и просидела до полуночи над первой раскрытой тетрадью. Вот он каков, Распутин, малограмотный мужик из села Покровского, по чьей протекции назначаются министры, по чьему слову угрожает царская немилость.

Глава седьмая

Тимофея Карповича не было в Петербурге. Месяц назад его арестовали на тайной сходке и выслали по этапу с запрещением проживать в пятидесяти шести городах Российской империи.

К разлукам с ним Варя относилась по-разному. В начале она даже не очень скучала. Последнее же расставание переносила тяжело, часто плакала тайком. Теперь она знала, что дороже этого человека, случайно вошедшего в ее жизнь, у нее нет. Но хотя при встрече на улице после заключения в «Крестах» Тюменев бросился к ней и, не стесняясь прохожих, целовал ее руки, ни разу, как часто они ни встречались, не было между ними разговора о любви. В последнее время Варя даже недоумевала, то и дело ловя на себе то ласковые, нежные, то жаркие его взгляды, отзывавшиеся в ней смятением. Знала твердо, что и он любит. Любит и — странно! — молчит. А ведь он не из робких, натуре его свойственны стремительность, пылкость, уж раз полюбил, то не стал бы скрываться.

Много позже она узнала, как нелегко давалось Тюменеву его молчание. Неуверенный в своем завтрашнем дне, готовый к новым провалам и арестам, он просто жалел Варю, боялся обречь ее на трудную участь подруги профессионального революционера.

До осени от него не было никаких известий, а в октябре какой-то человек зашел в ее отсутствие к ней на квартиру, сам не назвался, оставил только коротенькую записку, что ее «ученик из Александровского парка» жив, здоров, надеется в непродолжительном времени продолжить занятия. И всё.

В рождественские праздники общество трезвости приглашало бедных детей на елку. Варя еще с гимназической поры невзлюбила деревянный флигель за церковью Спаса Колтовского. Ей на всю жизнь запомнился неуютный зал, скорее застекленный сарай, с убогими картинками. Ханжеством за версту несло от проповедей. На лубочных картинках, по-разному изображавших, как опускаются пьяницы, конец был одинаков — к пропойце приходит черт и уносит его в ад.

На рождественском утреннике показывали туманные картины. Варя привела свои классы. Главной распорядительницей праздника была Софья Андреевна. Она раздавала подарки — кулечек, в нем несколько конфет и печений, яблоко и красочный платок.

Ребятишки наперебой старались угостить Варю. Она шутиливо отбивалась, напоминая, что угощения ждут их маленькие сестренки и братишки.

— Машке во сколько! — кричал Степа, показывая свой кулек.

Уже получали подарки последние Варины ученики, когда появился репортер петербургской газеты «Речь».

Софья Андреевна, по привычке молитвенно сложив руки на груди, вкрадчивым голосом рассказывала. Репортер скучал, зевал и не записывал в блокнот про божью помощь и скупость миллионеров-попечителей. Редактор безжалостно перечеркнет примелькавшиеся новости, выругает и не заплатит ни гроша. Репортер поморщился:

— Нет ли чего поинтереснее?

— Сытный завтрак устраиваем для сирот.

— Писали, — меланхолично сказал репортер. — Подкрашенный кипяток, кусок черствой булки, посыпанной сахарной пылью. Благодарю. Нет ли чего поновее? Не бывал ли в вашей школе господин Пуришкевич, собирая материал для своей книги: «Школьная подготовка второй русской революции»?

— Моя школа всегда отличалась высокой религиозной нравственностью, — забеспокоилась Софья Андреевна.

— «Живой родник» читали ребятишкам? — допытывался репортер.

На лице начальницы появилась скорбь. В школьных шкафах были «Живой родник», «Мир в рассказах», «Новь» — книги, объявленные Пуришкевичем революционной пропагандой. Софья Андреевна при случае отказалась бы от родной матери:

— Спросите батюшку из церкви апостола Матвея.

Не удалось репортеру уколоть мракобеса Пуришкевича, который обнаружил крамолу в безобидных учебниках. А жаль. Статейка получилась бы хлесткой.

— Нельзя ли вашу частную школу сравнить по программе с гимназией? — фантазировал репортер.

Он ухватился за внезапно пришедшую идею: рабочая гимназия! Репортер представил себе заманчивую картину: на газетной полосе — корреспонденция о бесплатной гимназии для детей рабочих. От школьной начальницы требовалось немного — сказать два-три слова, остальное он сам напишет.

Варе были известны тайные мысли репортера, но свою начальницу она изучила хорошо. Рискнуть Софья

Андреевна побойтся, но не упустит возможности пожужжать о своем благородстве. Через год ей стукнет пятьдесят. Директор классической гимназии, третий раз отмечая свое семидесятипятилетие, отхватил Станислава на шею, у нее же запросы скромнее: удобный случай напомнить принцу Ольденбургскому, что живет на свете верноподданная Софья Андреевна Белоконева, усердный труженик на ниве просвещения. А там — что бог даст.

— Пишите, — доверительно зашептала Софья Андреевна: — в моей школе, где учатся дети бедных людей, я ввожу изучение французского языка.

Сонливости как и не было у репортера. Он весь преобразился, пропала сутулость. Он галантно взял под руку Софью Андреевну и отвел ее к окну...

Варя обрадовалась, что дети рабочих станут изучать французский язык.

Читатели газеты «Речь», уставшие от происшествий в зверинцах, в цирках, от заметок о самоубийствах, с удовольствием прочитали корреспонденцию о полезной инициативе в школе Белоконевой. Какая-то сердобольная помещица прислала сундук с французскими книгами. Редакция поторопилась известить уважаемых читателей, что поздравления, книги и прочие пожертвования следует посылать прямо в школу.

Софья Андреевна встречала почтальона, забирала денежные переводы. Она вскрыла первые посылки. Убедившись, что шлют бумажный хлам, поручила Варю отобрать книги для школьной библиотеки, а ненужное — на продажу букинистам и лабазнику на кульки.

Вскоре состоялось первое занятие по французскому языку. Хотя в классе собрались ученики из трех групп, последние парты были свободны.

— Не загонишь! Где им, шаромыжникам, понять человеческую доброту, — жаловалась Софья Андреевна.

Полуголодным людям, конечно, французский язык кажется наукой для богатых. Но Варя убедит несговорчивых родителей, докажет, что знание иностранного языка пригодится их детям в жизни.

Софье Андреевне снова перепал солидный куш. Почти три недели она пропадала: уезжая, сказала, что едет на богомолье в Белозерский монастырь, а дворник слышал, как она торговала извозчика до Финляндского вокзала.

Вернулась в Петербург Софья Андреевна злая, подозрительно осмотрела все кладовки. Она не верила лю-

дям. Если ее нет в школе, значит, ребята ходят на голове, учительницы точат лясы, а уборщица втихомолку отсыпает из кульков сахар и пробует варенье из всех банок. В комнате кухарки она обнаружила водочную бутылку и картуз. «Ну нет, голубушка, водить любовников я тебе не дам!»

Варя объясняла ученикам важность правильного произношения во французском языке, когда в класс неслышно вошла Софья Андреевна и села у окна. Чтобы дети лучше уловили фонетические особенности языка, Варя прочитала небольшой отрывок из Гюго. Вторая половина урока — практика. Тереша получил задание написать по-французски: «Я учусь в школе». Мел крошился у мальчика в руке, буквы получались неровные. Не торчи над душой «монашка», он, конечно, чувствовал бы себя увереннее.

Весь класс волновался из-за Тереша: «Принесла легкая начальницу!» Тишину вдруг оборвал истеричный крик:

— Безобразие! Варвара Емельяновна, что вы смотрите?

Возле последней парты стояла раскрасневшаяся Софья Андреевна, выворачивая ухо Степе Глушину.

— Вор, вор! — задыхаясь, повторяла она.

Варе было непонятно, как очутился в классе Степа и почему начальница называет его вором. Она не терпела рукоприкладства и до того растерялась, что молчала. А Софья Андреевна вытолкала ученика из класса и потащила на свою половину.

— Как появился Степа? — спросила Варя. — Его не было в классе.

— Был, — тихо отозвался Тереша: — и в понедельник был, и в среду был, и в пятницу был.

Степа не занимался французским языком и не значился в списке.

— Он не вас боялся, — угрюмо пояснил Тереша и замолчал. Товарищи перешептывались, подавали ему какие-то знаки.

— Дальше рассказывай, — решительно потребовала Варя.

— Он на уроках под парту прятался. Мы списывали потихоньку с доски и передавали ему. Что ж ему делать? Вы ж знаете, он совсем бедный.

Так Варя узнала, что Софья Андреевна берет плату за обучение французскому языку. И это происходит в школе, где ученики содержатся на средства богатых

попечителей! Может, пойти к начальнице и пристыдить ее?

В приемной отдыхала уборщица — старая тетя Поля. Она сидела на краешке кожаного дивана, положив на колени тряпку и ежик для чистки ламповых стекол. Увидя Варю, тетя Поля поднялась ей навстречу:

— Ой, милая, не попадайся начальнице! Честит тебя на чем свет!..

Сквозь двери, обитые войлоком, было слышно, как в молельне навзрыд плачет Степа. Варя, не постучав, открыла дверь. Софья Андреевна стояла посреди комнаты, Степа прижался к печке, всхлипывал и рукавом рубахи утирал глаза.

— Скажи матери, чтобы тебя за воровство выпорол. Иначе выгоню из школы.

Варя притянула к себе Степу и провела рукой по его мягким волосам. Софья Андреевна процедила:

— Пожаловали? Очень хорошо. Потакаете воровству?

Теперь Варя окончательно разгадала эту женщину, подленькую ее душу. Пусть Варя останется без работы, но все-все выскажет начистоту!

— Иди домой делать уроки,— сказала она мальчику.— Я скоро зайду и объясню все маме.

Степа ушел. Софья Андреевна всплеснула руками:

— О боже, какая я несчастная! В моей школе мальчишка крадет, а учительница покрывает!

— Вы окончательно залгались,— сказала Варя, удивляясь своему спокойствию.— С ваших слов газета написала о бесплатных уроках французского языка. Оказывается, вы вымогаете плату!

— Попрекать? Меня? Я вас... тебя от панели спасла!

Кашель помешал Софье Андреевне, лицо ее покрылось пятнами. Когда же она заговорила, голос ее был уже спокоен:

— Какая плата? В месяц рубль, разве о себе радею? На свечку скорбящей божьей матери. А жалованье тебе? От святого духа взялась твоя прибавка?

— Глушины бедны,— не уступала Варя.— Мальчик способный, а вы его из класса вышвырнули. В школе для бедных дети прячутся под партой!.. Ведь если это рассказать...

Софья Андреевна сощурилась:

— Разорить хочешь, по миру пустить? Сегодня Глушину поблажка, завтра Егорову.

— Я отказываюсь от прибавки и согласна бесплатно вести уроки французского языка, только прекратите поборы с родителей учеников.

По лицу Софьи Андреевны скользнула недобрая усмешка:

— Голубушка, помните, когда я принимала вас в школу, в моей приемной этого места ожидало одиннадцать учительниц, вы были двенадцатая. Я взяла вас из жалости. И, насколько мне подсказывает память, я не просила вас вмешиваться в мои финансовые дела.

Да, это так, одиннадцать учительниц ожидало тогда в приемной. Смятение охватило Варю. И все-таки она сказала:

— Вымогаете рубли, а ребята в прохудившихся валенках дырки войлоком затыкают!

Молитвенно сложены всегда на груди пальцы Софьи Андреевны, а Варя вдруг увидела перед своим лицом сжатые кулаки:

— Убирайся сейчас же! За тарелку вчерашней похлебки будешь давать уроки и благодарить. Вон!

Сборы были короткие.

Варя схватила портфель, связку книг и по черному ходу выбралась из школы. В переулке ее поджидали ученики. Ребята часто провожали Варю, но сегодняшние проводы несколько не были похожи на прежние. Ученики шли молча, ни о чем не спрашивая. Вот и ее дом.

— Спасибо, ребятки. Будет трудно, заходите ко мне домой — третий этаж, номер девятый.

Варя не решилась сказать, что прощается с ними надолго, может быть навсегда. Пусть узнают о том от Софьи Андреевны или новой учительницы. Только сейчас она почувствовала всю горечь утраты. За порогом школы осталась часть ее жизни — ученики. Она хорошо помнит первые палочки и кляксы в их тетрадях. Помнит буквы, написанные неуверенной рукой... А теперь кто-то другой поведет ее учеников дальше. Чтобы не разрыдаться, она помахала рукой ребятам и шагнула в парадную. Подымаясь по лестнице, не удержалась, выглянула в окно. Ученики всё стояли посреди мостовой. Варя бросила портфель, книги, сбегала вниз, обняла кого-то из ребят, остальные сами прильнули к ней.

— Родные, золотые мои, ухожу я из школы. Но мы будем часто встречаться.

Варя сосчитала глазами — ее окружало больше тридцати мальчишек.

— Все у меня не поместится, разобьемся на три группы.

— А может, у нас? — сказал Леша.

Варя попрощалась, на лестнице снова не утерпела и выглянула в окно. Ребята расходились. Она долго смотрела им вслед и, только почувствовав на губах соленый привкус, догадалась, что плачет. Жестоко поступила Софья Андреевна. В середине учебного года получить место в школе можно только в двух случаях — из-за смерти или болезни какого-нибудь учителя.

Несправедливо с Варей поступили, а где молоденькая учительница из бедной крестьянской семьи найдет защиту? Газета? Сенсация об изучении детьми рабочих французского языка продержалась в газете недолго. Репортер, когда Варя пришла к нему в редакцию, выглядел добреньким-предобреньким, а стоило ей заикнуться о конфликте, происшедшем в школе, как его лицо приняло желчное выражение. Где она найдет еще защиту своих прав? Господа попечители ее выслушают, посочувствуют. А Софья Андреевна прикинется кроткой послушницей и елейным голосом скажет: «Дерябина не учительница, а бездарь, давно ее следовало выгнать, да мешала жалость. Каюсь, виновата. — Понизив голос, еще добавит: — Ухажер с Выборгской стороны, все петербургские тюрьмы обошел, и сама хороша — бегаёт на лекции к Лесгафту». И наверняка господа попечители поверят начальнице. Вместе с Варей из школы ушел и Яков Антонович.

На жалованье, которое Варя получала у Терениных, она могла бы прожить, если б отец не вымогал у нее деньги. Теперь она была рада любой поденной работе. В воскресной школе за Невской заставой она привела в порядок библиотеку, у мадам де Тирон составила каталог книг, неделю заменяла кассиршу в цирке «Модерн». Занималась охотно и нелюбимым делом, лишь бы послать деньги в деревню.

Скучная выдалась для Вари и масленая неделя. Безрезультатные поиски места делали ее безучастной к веселью. В эти дни почему-то вспоминалась ее последняя масленица в Кутнове. С высокого холма спускалась ледяная дорога к реке. Катится Варя на санях — дух захватывает. Девушки и парни, накатавшись, запрягли лошадей в розвальни, дуги разукрасили лентами, повесили колокольчиков. На переднюю подводу посадили

гармониста и помчались в соседнее село. А вечером на берегу жгли костер и плясали.

В Петербурге масляная отмечалась блинами, ярмарками и катаньем на вейках, но на городских улицах не было простора деревенского, тут не разгонишь лошадей.

Варе доставляли радость встречи с учениками. Мать Леши Егорова, добрая, сердечная, отдавала для занятий свою комнату — в подвале, но все же просторную. На прошлой неделе внезапно наступила оттепель, развезло, и ребята скинули валенки и сапоги у входа. Лешиной матери не было дома, вернувшись, она разворчалась:

— Пошто разулись? Пол 'холодный! Вымыть-то легче, чем смотреть на вас хворых.

Ребята охотно шли на занятия. Но как быть с учениками? Предприимчивый Тереша собрал артель по добыче олова на заводских свалках, посылал ребят на улицы подбирать кирпичи, упавшие с воза. Терешины артельщики шныряли и на конных стоянках, собирали овес, просыпавшийся из дырявых торб.

Оловянные крошки переплавили в прутки и продали в лудильную мастерскую, кирпичи купил у них какой-то скряга домовладелец, а овес для кур знакомые хозяйки покупали не в магазине, а в Терешинной кладовой.

На выручку артельщики приобрели несколько книг. А пять рублей Тереша предложил отдать учительнице. Варя отказалась от денег, посоветовала купить ботинки самым неимущим.

На занятиях в этой подпольной школе Варя отдыхала душой. Потому ли, что ребята занимались по добром желанию или не хотели огорчать учительницу, но им давался французский язык. Что в школе рассчитано на год, они усвоили за два с половиной месяца.

В пятницу Варя задержалась у Терениных. После занятий с Борей она больше часа просидела у постели Агнессы. Та серьезно простудилась. С опозданием Варя приехала в свою «школу». Еще по пути в конке она представляла себе, как за столом сидит Тереша и с грехом пополам читает вслух маленькое стихотворение Беранже, но сам читает, по-французски!

На лестнице она распахнула пальто, сняла шарф, шляпку и осторожно открыла дверь. В комнате было тихо. Варя в нерешительности остановилась у порога, подумала: «Не перепутала ли я день?» Нет, сегодня пят-

ница. За столом сидели пригорюнившиеся Леша и Тереша.

— Разошлись ребята?— нетерпеливо спросила Варя.

— Дождались бы, матки не пускают. «Монашка» проноухала.— Тереша кивнул товарищу:— Говори...

— Пришла к нам, бахнула: моя школа или...

Леша смутился. Он не осмелился повторить брань Софьи Андреевны и в свой черед поглядел на Терешу. Тот потупился.

— Накрыла «монашка». Лешина мама ей сказала, что вы нас учите не озорству, а хорошему и что комнаты ей не жалко. Ну, она расфырчалась, погрозила выгнать из школы, кто ходит к вам... Ну и пусть, буду ходить, и Леша не побойтся, а за нами весь класс.

Спустя несколько дней Варя узнала, что произошло в школе Белсконевой. Случайно мать одного мальчика выдала Варину тайну. Зная, что ее сын изучает французский язык, она принесла Софье Андреевне плату за обучение. Так и было раскрыто существование тайной школы в подвале.

В пятницу Тереша прибежал к Варе:

— Опасались за водовозовского Миньку, а он прикатил первым.

Тревожно и радостно было на сердце у Вари. Ребята не побоялись начальницы, перехитрили домашних. Вправе ли она приносить неприятности своим маленьким друзьям?

Комната Егоровых напоминала класс. На столе лежали раскрытые тетради, учебники; в руках у ребят — новые ручки. При входе учительницы все дружно встали, поздоровались. Ей стоило больших усилий, чтобы не сказать: «На чем мы остановились...»

Но Варины руки сами протянулись к стриженным головкам.

— Спасибо, ребята, что вы хотите у меня учиться,— сказала она.— Но поймите, у Софьи Андреевны школа частная, и ссориться с ней вам нельзя — возьмет и прогонит. Французский язык, конечно, неплохо знать, но прежде всего надо знать математику, русский язык, химию, физику. Придется нам временно прекратить занятия.

Варя надеялась, что у Софьи Андреевны перегорит злоба и осенью можно будет снова собрать ребят и продолжить с ними изучение французского языка.

Глава восьмая

Наступил апрель 1914 года. От Тимофея Карповича пришло письмо в несколько строк: «...Врачи не советуют менять климат, а я бы рискнул. Чертовски соскучился по родным местам у „Стережущего“...» Варя догадывалась, почему ему «вреден» петербургский климат. На конверте не было обратного адреса.

С потерей места в школе жизнь ее как-то сузилась. Иногда Варя старалась уверить себя, что она не одинока. К ней хорошо относятся Агнесса и Ловягин. Да разве они ей друзья? Так, добрые знакомые. Поссорившись между собой, они тащили ее на прогулку. Один раз Агнесса пригласила Варю послушать Шаляпина,— Теренины на весь сезон абонировали ложу в Марининском театре.

Варя ждала встречи с Тимофеем Карповичем, а когда недели за три до пасхи он, неожиданно вернувшись в Петербург, прислал ей записку, что завтра будет ждать ее у «Стережущего», она вдруг оробела.

В Александровском парке снег почти сошел, по дорожкам бежала талая вода. Ноги промокли, озябли. Тимофей Карпович предлагал ей выйти на проспект, посидеть в кондитерской, а она вела его в сторону от проспекта, дальше от людей, от уличного шума, в самые дальние уголки парка, в заросли, еще не одетые листвою. Только одного хотелось ей — чтобы он сказал, наконец, те слова, которые сотни раз она слышала от него, мысленно представляя эту встречу.

И он сказал их... Нет, не их, а совсем другие слова. Внезапно положив ей руки на плечи, повернул ее лицом к себе и сказал: «Как ты выросла, Варя!..» И нашел ее губы.

Ночью Варя проснулась от шемящей боли в горле. Кашель ее разбудил Анфису Григорьевну. Вскипятив молоко с винными ягодами и пряными стручками, она насильно поила Варю и бранила ее:

— Выгвоздалась, чулки хоть отжмай, мать родная! Новые туфли-то как растоптала, хоть за гроши сдавай тряпичнику. Добро бы летом потащилась в парк, а то в такую слякоть. Угла, что ли, своего нет? Пригласила бы к себе кавалера. Не отобью.

А Варя стеснялась пригласить Тимофея Карповича к себе. Ненужный стыд. Особенно сейчас, когда опасность подстерегает его на каждом углу.

Она не ошиблась: Тюменев приехал в Петербург не на побывку. Участились аресты на Сампсониевской мануфактуре, «Старом Леснере» и Арсенале. Социал-демократы Выборгской стороны подозревали, что провалы происходят из-за излишней доверчивости малосознательных рабочих, которых провокаторы-ряженые вызывали на откровенность.

Излюбленным местом ряженных был трактир общества трезвости недалеко от Сампсониевского проспекта, прозванный «Утюгом» за вход с острого угла. Там осуждали любителей спиртного, но за хорошие чаевые полные безотказно таскали в чайниках водку.

На заводе Нобеля рабочие готовились к стачке. Хозяйские соглядатаи сеяли сомнения в успехе забастовки. Партийный организатор района предложил Тимофею Карповичу провести вечерок в «Утюге». Купив в булочной калачей и прихватив дружка с Металлического завода, Тюменев отправился в трактир.

Сизые облака махорочного дыма уже густо плавали над столами. Буфетчик успевал отпускать половым заварку, сахар, лимоны и крутить ручку музыкального ящика. «Варяга» сменяли залихватские волжские припевки, грустные «Златые горы», и снова звучал «Варяг».

И вот появился еще один гость. Мастеровой как мастеровой, в косоворотке, опоясанной шелковым шнурком, в брюках из чертовой кожи с напуском над голенищами. Тимофей Карпович нюхом почуял, что перед ним ряженный под рабочего.

Мастеровой положил на поднос новенький рубль, обошел столы и тут же отдал деньги погорельцу из-под Ямбурга. Участие к чужой беде расположило к нему людей. Слушали его с интересом. Не на плохое он звал. Кто возразит, что долг каждого труженика быть порядочным человеком? А между прочим, хорошие люди бывают и среди богатых, как бы нехотя признавался он. Вот Нобель — капиталист, а какие тысячи отваливает сиротам! Не дом — загляденье отстроил для просветительных целей. Взять теперь забастовку. Что принесет она трудовому человеку? Неприятности с полицией — раз, нужду — два. Долго ли проесть припасенное на черный день, а там залезай в долги, распродавай праздничную одежду, обувь. Зачем, спрашивается? Когда с Нобелем можно договориться по-хорошему... Человек в косоворотке говорил о заинтересованности капиталиста и рабочего в успехе предприятия.

Половые скучали без дела, посетители не требовали кипятка, чай стыл в чашках, гуляки и те присмирели. Мастеровым казалось, что они видят перед собой не ряженого, а своего человека. Погорельцу помог и про нужду рабочего правду говорит. Боязно бастовать, того и гляди без хлеба останешься, а то и в черный список угодишь. Тогда хоть в петлю.

Нобелевский прихвостень умело сеял сомнения в целесообразности назревающей забастовки. Если не дать отпора, то завтра слова о добром капиталисте повторят сотни мастеровых. Лес неровный растет, а люди и по-давно. У одного за стол садится целая артель, ему ли до забастовки! Другой знает цену хозяйским благодеяниям, а колеблется, как маятник. Такие нетвердые рабочие для ряженных прямая находка.

Тимофей Карпович направился к буфетной стойке, возле которой разглагольствовал гость. Потоптался, будто бы выбирая закуску, а сам искоса с головы до пят оглядел краснобая.

И вдруг рявкнул:

— А ну, нобелевский соловушка, покажи руки!..

От неожиданности тот вытянул руки — на пухлых пальцах отчетливо виднелись отпечатки снятых колец. Ряженный спохватился, спрятал руки, да поздно.

— Не прячь, голубок, — весело сказал Тюменев. — Выдали ручки тебя с головой. Бархатные! Оно и понятно: считая нобелевские подачки, мозолей не натрешь.

Доверие к краснобаю было подорвано. Послышались смешки. За столиком у окна мастеровой поднял покаленную левую руку:

— Моя под вальцами побывала...

В трактире скандалы гасили по-своему, без полиции. Буфетчик взялся было заводить музыкальный ящик, но, встретив взгляд Тимофея Карповича, засуетился у стойки, бесцельно переставляя чайную посуду.

— Удивляюсь, — сказал Тюменев, — как мы не догадались, что Нобель днем и ночью печется о том, чтобы его рабочий превратился в капиталиста. Одно благодетеля удерживает: если все будут хозяевами, то кто же захочет тянуть лямку рабочего?..

Ряженный и не пытался спорить. Он понял, что дальше небезопасно оставаться здесь, и ушел.

После закрытия трактира Тимофей Карпович распрощался с товарищем и отправился пешком в Старую Деревню. Недалеко от Строгановского моста его удари-

ли из-за угла чем-то тяжелым по голове. Очнулся он в одиночной камере Литовского замка...

Болезнь Вари затянулась. Врач подозревал воспаленные легкие, да, к счастью, ошибся в диагнозе. В понедельник Варя встала с постели. Анфиса Григорьевна своей властью три дня держала ее дома, а в четверг Варя была у «Стережущего».

Напрасно она прождала. Тимофей не пришел...

На следующий день Варя поехала на Выборгскую сторону. У проходной Механического завода дождалась Дмитрия и узнала о том, что Тимофей арестован...

Нравы в Литовском замке были проще, чем в «Крестах». Надзиратели открыто брали взятки. Когда Варя пришла в тюремную контору, надзиратель, нащупав в конверте деньги, небрежно сунул его в карман, а передачу вернул:

— Увезли.

Сколько Варя ни допытывалась, она так и не выяснила, куда отправили Тимофея Карповича.

Свободного времени у Вари было много. Она знала адреса петербургских тюрем. Но Тимофея Карповича след пропал. Возникло подозрение — не увезли ли его в Шлиссельбург.

Вскоре Варя поступила в переписчицы к артистке балета, ушедшей на пенсию.

Артистка торопилась закончить мемуары. Варя так уставала, что потеряла счет дням. В первый день пасхи нагрянули Агнесса и Ловягин.

— Сегодня сам бог разрешил целовать хорошеньких барышень! — загремел Ловягин на весь коридор, обнимая Варю.

— По христианскому обычаю полагается целовать три раза, — смеялась Агнесса, — а ты успел пять...

— Сейчас исправлю ошибку...

Забрав крашенные яйца, Ловягин ушел христосоваться с Анфисой Григорьевной и ребятами.

— Хороший он, — шепнула Агнесса.

— С Валентином Алексеевичем всегда просто, — добавила Варя.

Она подошла к двери и поманила Агнессу. В комнате хозяйки Ловягин плясал с малышами.

Ушли гости, и снова Варя загрустила. В «Петербургском листке» Невское пароходство извещало господ

пассажиров, что сразу после ладожского ледохода откроется пароходное сообщение от моста Петра Великого до Шлиссельбурга.

«Не пустят, посмотрю хоть издали на стены»,— решила Варя. Она уверила себя, что Тимофей находится в этой секретной тюрьме.

Ладожский ледоход начался неожиданно. Утром, переезжая через Троицкий мост, Варя видела Неву чистой. Вверх буксир тащил пустую баржу, у Выборгского берега спускался с парохода водолаз.

В этот день заниматься с Борей Варе не пришлось. Бронислав Сергеевич попросил ее перевести несколько деловых писем из Франции. Потом под его диктовку она писала ответы. В кабинете было не по-весеннему натоплено. Варя почувствовала, что у нее болит голова,— не от усталости, а от угара. Домой она решила пройти пешком.

За несколько часов Нева неузнаваемо изменилась. От берега до берега она была забита льдом. Казалось, что лед неподвижен, что льдины уперлись в быки мостов и Стрелку Васильевского острова и будут стоять так, пока их не растопит весеннее солнце. Хрустальный перезвон, доносившийся с реки, манил прохожих. Варя поднялась на мост, заглянула через перила, и голова у нее закружилась. Лед стоял лишь у берегов, а широкая полоса узорчатого серебра стремительно уходила под большой пролет моста.

Через четыре дня отправился первый пароход на Шлиссельбург. Однако Варина поездка не состоялась, Дмитрий отговорил ее от неразумного поступка, уверяя, что найдет след Тюменева.

И снова дни томительного ожидания... Уже зацвела черемуха — сбылись предсказания старожилков, что ее цветение принесет похолодание. В субботу Варя долго валялась в постели, дочитывая французский роман. Куда спешить? До осени работы все равно не найти: в школах заканчиваются занятия, а тюрьмы все обойдены. Но полуденный выстрел с верков Петропавловской крепости поднял ее. Она еще наводила порядок в комнате, когда человек в добротном кучерском армяке принес записку и сказал, что велено ждать ответа.

«Уважаемая Варвара Емельяновна!

Мадам де Тирон, с которой я много лет знакома, горячо рекомендовала вас. У меня есть для вас интерес-

ное предложение. Надеюсь, вы будете столь любезны встретиться со мной. Жду в экипаже.

С. Китаева».

Варя собралась быстро, спустилась вниз. Экипаж Китаевой стоял на Корпусной улице, возле забора, в тени прогуливалась дама — вся в черном.

— На Острова, — приказала она кучеру.

Варина спутница была женщина еще не старая, но болезненная. Месяц назад у нее умер муж, владелец двух десятков жилых домов в Петербурге и пяти магазинов в Гостином дворе. Китаев много лет страдал запоем и умер от белой горячки. В завещании он оставил жене все имущество с условием, чтобы после его смерти она совершила богоугодное дело. В это время в Петербурге ходило много легенд о чудесах Иоанна Кронштадтского. Церковь готовила канонизацию мощей нового святого. Шамкающие старухи, кликуши, монахи разносили из дома в дом рассказы о его святости, подвижничестве. Это, видимо, и навело вдову на мысль выстроить часовню с неугасимой лампадой на набережной Карповки, по дороге к монастырю Иоанна Кронштадтского. Хлопоты ее пугали, и она хотела переложить их на верного человека.

Потеряв место в школе, Варя не отказывалась ни от какой случайной работы, а тут вдова предлагала ей дело выгодное и простое. От Вари требовалось немного: найти десятника, подготовить договор, проверять счета и выдавать деньги. И все-таки она не решилась. Ее останавливали не трудности, а предчувствие, что Тимофей неодобрительно отнесется к ее новой службе.

Коляска катила мимо еще не застроенных пустырей, на которых копошились дети бедноты. Одни собирали букетики мать-и-мачехи на продажу, другие ковырялись в мусоре.

— Простите меня, — осторожно начала Варя, — но я не стала бы строить часовню. Богоугодное дело? Вот оно: собрать таких вот ребятишек, одеть, обуть и все лето кормить их досыта.

Варя ожидала, что ее собеседница пожмет плечами и скажет: «Швырять деньги на босяков?» Однако случилось иначе.

— Может быть, вы и правы, — серьезно сказала Китаева. — Об этом стоит подумать.

Коляска выехала на Колтовскую набережную. В это время из нового корпуса завода «Вулкан» рабочие вы-

везли на берег вагонетку мусора. Дымящуюся грудú обступили мальчишки. Железными крючками они жадно ворошили мусор. Каждый норовил схватить добычу — оловянную крошку, гайку, обрезок стального прута, но никто не толкал соседа, никто не ругался.

Китаева велела кучеру остановить коляску и вместе с Варей спустилась на берег.

Ребята с недоверчивым интересом поглядывали на незнакомую барыню, но не грубили. Кто-то признал в Варе учительницу и этого было достаточно.

Китаева вдруг заплакала.

— Записывайте,— сказала она.— Только пойдут ли?

За каких-нибудь десять минут записалось тридцать мальчишек. Варя велела ребятам построиться, подсчитала — двадцать три. Устроила переключку — тридцать. Все было ясно: мальчишки записали своих товарищей и подадут за них голос на проверке.

— Не беда, завтра придут все,— успокоила Варя вдову.

Наутро вдова несколько умерила свой порыв. Когда она поехала с Варей по магазинам, то вместо суконных штанов купила из чертовой кожи, а вместо ботинок — сандалии. Купили и блузы с матросскими воротниками.

Варя свела ребят в Петрозаводскую баню. Там парикмахеры наголо обстригли их. После мытья возвращались строем. На Барочной улице им повстречалась коляска вдовы. Если бы не Варя, шедшая впереди ребят, Китаева проехала бы мимо этих чистеньких, скромно одетых детей.

Вдова и на еду скостила по гривеннику с головы. Варя нашла приличную чайную на Большой Зелениной, где кормили вкусно и недорого. Утром ребята собирались на набережной, затем шли завтракать, потом степенно, школьным строем, переходили Крестовский мост. На лужайке возле гребного клуба играли в лапту, городки, пятнашки. Был и тихий час, когда все садились в кружок и не шелохнувшись слушали чтение Вари. Обедали в той же чайной, а на ужин им выдавали бутерброды.

Хлопот в лагере было много, чему Варя радовалась: дома всего надумаешься, а с мальчишками не заскучаешь, растормошат: то одно им расскажи, то другое объясни. От Тимофея Карповича все еще не было весточки.

Девять мальчиков ушли из третьего класса, пятерых осенью ждала переэкзаменовка. Хорошо было бы их

подучить. Когда дело касалось интересов учеников, Варя говорила с жаром. Вдове нравилась ее горячность, тем более что на новую затею учительница не требовала денег. Для классных занятий вдова отвела пустовавшую квартиру в своем доме на Ропшинской улице.

Подготовка у ребят была разная. Варя рассадила их по комнатам. В ее «школе» получилось четыре класса.

Как-то раз Варя выписала на доске задачу и, пока ребята решали, подошла к окну. Человек в соломенной шляпе и дымчатых очках сидел на скамейке у дворницкой, украдкой поглядывая на окна Вариной школы. Он, видимо, страдал зубной болью, бо́льшая часть его лица была скрыта под черной повязкой. Этот человек сегодня шел за Варей от самой Корпусной улицы. Шпик?.. Но почему за ней следят? А может быть...

Может быть, полиция знает о ее отношениях с Тимофеем? Может быть, Тимофей опять бежал, и вот за ней следят, да, именно за ней, потому что знают — он придет к ней, не может не прийти, и тогда...

Варя пряталась за портьерой, а человек будто почувствовал, что за ним наблюдают. На какую-то секунду он снял очки, повязку и осторожно погладил щеку. И этого было достаточно.

Тимофей!..

Забыв про учеников, она выскочила на улицу...

Давно они не виделись. Тимофей Карпович не то что постарел, но осунулся, резче выделялись скулы. Варе показалось, будто и ростом он стал меньше в чужом широком пальто.

В соседнем сквере нашли тихий уголок. Варя откинулась на спинку скамейки, ждала, чтобы он рассказал обо всем, что с ним было.

— Из Литовского замка,— тихо начал Тимофей Карпович,— меня перевезли на Шпалерную, опять в одиночку. Примеряли статью сто вторую. Туго бы мне пришлось за разговор в трактире, да тот барин ряженный не явился на допрос. Наши заводские отсоветовали ему... Но меня не выпустили. Начали подыскивать новую статью. А пока суд да дело, связался я с солдатами Московского полка. Посадили их за отказ воевать.

— С кем? Россия не воюет,— удивилась Варя.

— Не воюет, но порохом попахивает, Варенька. У арестованных солдат связь со своими. Я им адреса кой-какие дал, назвал людей, которые могут честно рассказать о том, кому такая война на пользу. Пронюхало начальство о моих беседах. И выхлопотало срочный этап

в Читинскую тюрьму. На мое счастье, в теплушке одна доска была некрепко прибита, ну я и выпрыгнул на ходу...

Только сейчас Варя вспомнила о ребятах. Сговорились встретиться через полчаса, когда она поведет их на прогулку.

Шли по тихим улицам, чуть отстав от строя. Тимофей вполголоса забавно рассказывал, как изучал арестантскую азбуку.

Со двора аэроплановых мастерских еще ночью вывезли на улицу несколько ящиков, похожих на товарные вагоны, только без колес. Один из них сейчас плотно окружила толпа.

— К войне приближаемся.— Тимофей, понизив голос, добавил:— В аэроплановых ввели еще смену.

На заборе железопрокатного завода висел огромный матерчатый плакат. На полотне в отсветах пламени аршинные буквы: «Взятие Азова». Нижняя часть рисунка изображала гибель турецких кораблей, на правой русской солдаты водружали трехцветный флаг на башне, и тут же — крепостной ров, заваленный вражескими трупами. По низу плаката было крупно написано: «Батальное представление смотрите в воскресенье на прудах Петровского парка».

Вечером, распустив ребят по домам, Варя опять встретилась с Тимофеем. На Крестовском мосту незнакомая женщина сунула им по маленькой афишке.

— «Взятие Азова»,— прочитала Варя.

На мосту загрохотала конка. Неожиданно из-за вагона конки вынырнули одна за другой три пролетки. Господин, сидевший в первой пролетке, вскочил и, потрясая котелком, что-то крикнул, обращаясь к людям, сидящим на импернале конки:

— Царьград — русский город! Ура!

Следом за ним ехали офицер с дамой и раздетая старуха с собачкой. Офицер промолчал, а дама и старуха истерично взвизгнули:

— Дарданеллы и Босфор — русские проливы!

Кучер конки устал сдерживать лошадей. Казалось, что вагон налетит на пролетку, но все обошлось.

Тимофей задумчиво смотрел вслед скрывшимся пролеткам.

— Так вот оно и начинается, Варенька,— сказал он.

Варя любила гулянья на Петровском острове, куда по воскресеньям стекались тысячи людей. Толпы ребятшек часами простаивали у кроличьих клеток, под-

кармливая суматошных, вечно голодных зверьков капустой и булками. В глубине острова давали представления на пруду и на открытой эстраде. Тут же бойко торговали с лотков восточными сладостями. Только здесь можно было вдоволь полакомиться сахарной ватой, опустив медную монету в щель ящика, причем торговцы божились, что вату они приготавливают из тех же медяков. Варя любила гигантские шаги и водяные горы. У других дух захватывало, девушки вскрикивали, а она, сняв шляпу, подставляла ветру лицо, лихо летела, ожидая, когда лодка с разгона врежется в Ждановку и качается на волне.

Водяная пантомима «Взятие Азова» с фейерверками и стрельбой? Что ж тут плохого! Обязательно надо сходить. Варя не понимала мрачности Тимофея Карповича. «Так вот оно и начинается, Варенька». И не догадывалась о том, как скоро придется вспомнить его слова...

В день приезда в Петербург французского президента Пуанкаре, когда Варя уже рассадила ребят в чайной на завтрак, появилась Китаева. Ей захотелось устроить праздник в своем детском лагере в честь высокого гостя. После завтрака она увела ребят кататься на пароходе, а Варю отослала в город за покупками.

Варя была рада, что сможет навестить Соню, — не видела ее целую вечность, — как-то у той дела?

У Владимирского проспекта Варю окликнули. Под навесом ресторана Палкина стоял Бук-Затонский:

— Тысячу лет, а встретились весьма кстати: вы украсите палубу «Франции».

Бук-Затонский был навеселе и не заметил Вариной холодности.

— Превосходнейшая прогулка по заливу, соглашайтесь. Вы близко, как из первого ряда Маринки, увидите Раймона Пуанкаре. Завтра все петербургские газеты захлебнутся... Каково придумано: «Франция» встречала Францию.

Из бессвязных его восклицаний Варя все же поняла, что известный повеса и кутила Гастон Яковлев, сын богача-ювелира, приказал ночью на своей яхте «Офелия» закрасить старое название и написать новое: «Франция».

Бук-Затонский еще долго и шумно восхищался бы предстоящей прогулкой по заливу. На Варино счастье из парадной вышел сам Гастон Яковлев, лысеющий молодой человек. Когда Бук-Затонский обернулся к нему, Варя юркнула в толпу.

Варя не застала Сою в мастерской, однако тревожиться не было основания. Мадам иногда сама выезжала к своим заказчицам, если те были больны, и брала с собой мастерицу.

В этот день в Петербурге с утра поговаривали о том, что в Дворянском собрании бал откроет Пуанкаре. Теренины не усидели на даче. В их квартире стоял хаос. Почти одновременно два дамских парикмахера приехали завивать Агнессу. В столовой шепотом спорили: Бронислав Сергеевич нахваливал своего парикмахера, а Елена Степановна своего.

Неожиданный приход Вари принес мир.

— Идея! — воскликнул Бронислав Сергеевич. — Мой займется Варенькой.

Елена Степановна с видом победительницы вышла из столовой.

Вскоре приехал Бук-Затонский.

— Как жаль, Агнесса, что вы поздно вернулись с дачи! Вам было оставлено место на яхте. Какая незабываемая встреча! Буквально весь Петербург ринулся в Финский залив. Наша «Франция» шла наперегонки с яхтой «Нарцисс», на которой выехали англичане под своим флагом. Погода начала было портиться. Я уже думал: не дай бог дождь, вдруг из-за туч выглянуло солнце и вдали — о боже мой! — показались дымки, мачты, трубы... Верите, когда раздался салют, мы с Гастоном встали на колени. — Бук-Затонский облизал губы и выпалил: — Императора вот так видел! — Он показал на дальний угол комнаты. — На «Александрии», и знаете, в какой форме? — Не вызвав интереса ни у Вари, ни у Агнессы, он продолжал: — Царь встречал друга России в адмиральском мундире. А что было дальше...

На борту яхты «Франция» было раскупорено много бутылок шампанского. Обычно после попойки Бук-Затонский испытывал жажду, Агнессе это было хорошо известно. Видя, как он облизывает сухие губы, она шепнула горничной, что если попросит минеральной воды, сказать, что нет, рассыльный почему-то не принес. Пусть мучается...

Но Бук-Затонский попросил не воды, а коньяку и, заметно приободрившись, продолжал рассказ:

— Каким мощным залпом встретили президента кронштадтские форты! «Марсельеза»! — Он запел вполголоса, отбивая такт носком лакированного полуботинка:

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé!

— От «Измаила» — вы знаете эти наши новые броненосцы? — мы стояли вот так. Когда из трех его двенадцатидюймовых башен вырвался огонь...

Варя, оглушенная этим рассказом о флагах и броненосцах, о пушечных залпах и бутылках шампанского, почувствовала, что у нее кружится голова. «Так вот оно и начинается, Варенька», — припомнилось ей.

Когда она через час вернулась домой, встревоженная Анфиса Григорьевна сказала ей, что на Сампсониевском проспекте рабочие разобрали мостовую, повалили несколько вагонов и перегородили проспект баррикадой.

К вечеру в столице было уже свыше ста тысяч бастующих. Рабочий Петербург по-своему встречал Пуанкаре — гонца войны.

Глава девятая

Никогда еще Петербург не разделялся так резко на два лагеря: в центре был праздник, а на рабочих окраинах — баррикады.

Английская набережная и Николаевский мост расцвелись флагами. На них золотом отливали начальные буквы названий двух стран: Франции и России. В ожидании прихода яхты из Петергофа публика распевала «Марсельезу», дамы выбирали поудобнее места, чтобы забросать трап цветами, когда Пуанкаре будет сходить на набережную. В пестрой толпе сновали предприимчивые торговцы. Вот пачка открыток «Пуанкаре — друг русского народа», вот фотография матери будущего президента Франции с Раймоном на руках.

Казалось, высокий гость из Франции привел армаду броненосцев только для того, чтобы повидать русского императора, прокатиться по Петергофу в карете, запряженной четверкой цугом, в сопровождении блистательного казачьего эскорта да возложить венок на гробницу Александра Третьего.

Нет, не с визитом дружбы приехал Пуанкаре в Россию. Еще семь месяцев назад возник военный союз Тройственного согласия. Если Англии нужны были Месопотамия и Палестина, то Франции — Эльзас-Лотарингия и Саарский бассейн, России — проливы, Константинополь и Галиция. Германия и Австро-Венгрия ждали

удобного случая отнять у Англии и Франции колонии, а у России Украину, Прибалтику и Польшу. Пуанкаре приехал договориться с русским царем о войне.

В июльские дни 1914 года был и другой Петербург, который не осыпал цветами коляску царского гостя, не покупал его портретов, не верил рассказам, будто французский президент привез дружбу. Этот Петербург валил фонарные столбы, опрокидывал вагоны и ломовые подводы, разбирал мостовые с криками: «Пуанкаре привез войну!», «Пуанкаре, вон из России!»

Последние дни в доме Терениных много говорили об убийстве в Сараеве принца Фердинанда, об австро-венгерском ультиматуме Сербии. Симпатии Терениных, конечно, были на стороне сербов.

Варя смутно, но все же улавливала связь между этими разговорами и визитом в Петербург французской эскадры. Не случайно Бук-Затонский и Бронислав Сергеевич так азартно говорили о проливах — Босфоре и Дарданеллах. Не случайно они восторгались блестящим парадом войск в Красном Селе в честь Пуанкаре. Не случайно на окраинах, как и девять лет назад, возникли баррикады. Какая-то нить связывала эти события с убийством наследника австро-венгерского престола.

Три дня пропадал Тимофей Карпович, на четвертый день приехал. Варя увидела, как он на ходу соскочил с конки и направился на лужок, где расположились её ребяташки. Еще несколько минут назад она решила его наказать. Подумать только, договорился о встрече, а сам не пришел. Но сейчас, увидев усталость в его глазах, она отказалась от своего намерения.

Тимофей Карпович тоже встречал французского президента: строил баррикады на Сампсониевском проспекте. Когда валили фонарный столб, он ушиб руку, пальцы распухли и не сгибались.

— Ворота в тюрьму широкие, — укоряла Варя, а самой хотелось взять его распухшую руку и перевязать своей косынкой. — Переждал бы месяц-другой...

— Разве усидишь, когда порохом пахнет.

Тимофей Карпович опустил на траву, поглаживая большую руку. Варя подсела к нему:

— В газетах пишут, что Германия к войне не готова.

— Пишут, — с иронией повторил он, — пишут, что Пуанкаре обожает цветы, любит собак.

— Все-таки я не пойму, при чем здесь война?

— Многие не понимают. — Тимофей Карпович вздохнул. — В том-то и беда. А история учит: когда импера-

торы и короли затевают войну, они охотно говорят про цветы и позируют со своими любимыми собачками. А с глазу на глаз ведут разговор о переделе мира.

И все же Варя не верила, что война близко. Еще недавно на теренинской «среде» генерал из Главного штаба называл годом начала войны Германии с Россией 1916 год.

Время было вести ребят на обед, да и Тимофей Карпович спешил. Простились до завтра.

К вечеру Варя встретила на Каменноостровском проспекте теренинский экипаж. Агнесса окликнула ее и увезла к своей новой портнихе. На обратном пути коляску остановил конный городской:

— У Гостиного двора беспокойно, следуйте в объезд.

— Вот как?— сказала Агнесса.— Беспорядки в центре города...

— Какие, барышня, беспорядки! Слыхали, австрияки руку занесли над православной Сербией. Вот народ и страдает за своих братьев и сестер.

— Пойдемте пешком,— Агнесса прыгнула с коляски.

Толпа запрудила весь перекресток у Публичной библиотеки. Трамвайные вагоны стояли гуськом, вожатые даже и не пытались провести их через толпу. Городовые вежливо просили господ разойтись по домам, а им в ответ неслись крики: «Да живет братская Сербия!», «Долой Австрию!»

Варя узнала, что люди ждут экстренного выпуска газет.

В одиннадцатом часу толпа хлынула на Малую Садовую, а оттуда по Караванной и к Литейному. В поздний час тихая Фурштатская разногласо зашумела. В сербском посольстве на окнах были задернуты шторы, а на одном белел большой лист картона с надписью порусски: «Объявлена война, с нами бог».

Какой-то воинственный студент по-кошачьи взобрался на фонарный столб.

— Вон австрийцев из Петербурга!— хрипло выкрикнул он.— За мной, на Сергиевскую!

Агнесса не отставала от студента, поневоле пришлось и Варе идти с ними.

С трех сторон — с Литейного, Гагаринской и Моховой — казацки отряды закупорили начало Сергиевской улицы. Мрачное здание австро-венгерского посольства сияло огнями. Это был не вызов, а скорее тревога.

Спустя несколько дней в городе появились приказы о частичной мобилизации. Официально война не была объявлена, но она уже стучалась в каждый дом.

В богатые петербургские квартиры вернулись с дач хозяева.

Тимофей Карпович снова исчез. Варя понимала, что ему теперь не до нее.

Когда она позвонила в квартиру Терениных, дверь ей открыла Даша. Но это была уже не беззаботная хохотушка, всегда приветливо встречавшая Варю. Всхлипывая, она шепнула:

— Наши-то всё про войну.

За дверями гостиной слышались голоса: мягкий — Бронислава Сергеевича и крикливый — Бук-Затонского. Там собралась вся семья Терениных. Бук-Затонский вырядился в военный китель без погон. Когда Варя открыла дверь в гостиную, он стоял у карты Европы, которая всегда висела в Бориной комнате, и, водя тростью, как указкой, объяснял:

— Наступление начнется...

Конец трости прочертил на карте кривую линию.

Агнесса кивнула Варе, чтобы та села к ней поближе.

— Ударим сразу на всех направлениях. Французы сделают такой маневр,— встав в полуоборот к карте, Бук-Затонский свел вместе два кулака.— А мы вторгнемся...

Он широко развел руки. Варя без карты и пояснений поняла замысел доморощенного стратега: лишить Германию выхода в Балтийское море, маршем выйти в провинцию Бранденбург.

— Вильке (так назвал он Вильгельма) останется кричать караул и поднести русским на подносе ключи от Берлина.

— В потешные солдатики играете?— проговорил Бронислав Сергеевич. Он более трезво оценивал военную силу Германии.— Изображать врага слабее, чем он есть, значит сознательно обманывать себя...

Домой Варя возвращалась пешком. У Петропавловской крепости дорогу преградила молчаливая, мрачная колонна мобилизованных запасников. «Началось,— подумала она.— Прав Тимофей».

Через день в Петербурге было введено военное положение. Близость войны пугала Варю. В ту ночь она почти не спала, находилась в каком-то тяжелом забытьи. Ее разбудили рыдания, доносившиеся из кухни.

Анфиса Григорьевна, положив голову на стол, плакала в голос.

Варя обняла хозяйку, пыталась успокоить ее.

— Варенька!— еще громче зарыдала Анфиса Григорьевна.— Моего-то на рассвете вызвали. Авдотьиха по звездам прочитала: всех мужчин заберут. Верь не верь, а сбылось. Белобилетников — и тех гонят на пункт.

Случилось то, о чем вполголоса с весны говорили в Петербурге. Говорили по-разному: объятые коммерческой мечтой грезили о барышах на константинопольских рынках, салонные стратеги за стаканом вина разыгрывали такие молниеносные баталлии, что барышням, только что выпорхнувшим из гимназий, казалось, что будущим летом они уже будут купаться в Мраморном море. На окраинах города, на улице Счастливой, что за Нарвской заставой, на Пряжке и Песках тоже говорили о войне. И тогда гнетущая тоска вползала в полуподвальные артельные комнатухи, за ситцевыми перегородками слышались громкие вздохи и обрывки молитв.

Третью пятницу июля Петербург встретил тревожно. Ночью дворники и городовые оклеили заборы объявлениями. Крупные черные буквы останавливали внимание ранних прохожих:

**«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛЕТЬ
СОИЗВОЛИЛ
ПРИВЕСТИ АРМИЮ И ФЛОТ НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРВЫМ ДНЕМ МОБИЛИЗАЦИИ НАЗНАЧЕНО
18 ИЮЛЯ 1914 ГОДА»**

День выдался солнечный, а люди не замечали радостной игры теней на тротуарах. Шумливые мальчишки-газетчики и те притихли. Война не сенсация. Война — это не очередной скандал в какой-нибудь великосветской семье. Война — это миллионы смертей, тиф, голод. На российских равнинах появятся новые кладбища, погибнут люди, которым жить бы да жить.

На заборах рядом с манифестом были расклеены позорные объявления:

*«О ценах за приносимые в период мобилизации
нижними чинами запаса и ополчения вещи.»*

В период мобилизации от нижних чинов запаса сухопутных войск — ратников государственного ополчения первого разряда, призываемых в действующие войска.

приобретаются нижепоименованные, принесенные ими, вполне годные к употреблению вещи: от каждого не более одной пары сапог — по цене 7 руб., одной носильной рубахи — 53 коп., одних исподних брюк — 46 коп., одного утиральника — 19 коп., одного носового платка — 8 коп., одной пары портянок — 14 коп.»

Россия — разутая, раздетая, безоружная — вступала в большую войну.

Анфиса Григорьевна собралась к мужу, чтобы проститься с ним, передать кое-что из еды. Варя понимала, что хозяйку нельзя оставить одну.

На сборный пункт Варя и Анфиса Григорьевна шли по знакомым улицам, но сейчас они казались чужими. На пункт тянулись опоздавшие. Из ворот углового дома на Средней Колтовской улице вывалила маленькая, но шумная компания. Впереди шел рослый курчавый парень, растягивая мехи старой гармони. Справа, чуть на отлете — две молодые женщины, сзади шагал пожилой рабочий. Он был угрюм, нес пузатый фанерный чемодан и держал за руку мальчика лет пяти.

У женщин были певучие голоса.

Милый мой — моя отрада!
Я гоняюсь за тобой;
Но сдадут тебя в солдаты,
Не вернусь и я домой.

Гармонист потрянул черными кудрями, свел мехи, чтобы снова их развернуть, и запел:

Неужели в самом деле
На войну меня возьмут?
Неужели в самом деле
Шинель серую дадут?

— Веселье сквозь слезы, — вырвалось у Вари.

Двор сборного пункта был заполнен мобилизованными запасниками. У ворот дежурный городской козырнул Варе и посторонился. За Варей прошмыгнула и Анфиса Григорьевна. Ее муж получил назначение и ждал отправки в полк.

Никогда, даже на семейных праздниках, муж Анфисы Григорьевны не баловал ее лаской. А сейчас на сборном пункте он молча, с неуклюжей нежностью перебирал ее вьющиеся на висках черные волосы. Да и о чем им было говорить? Все было сказано утром, когда он, подпоров матрац, отдал жене пятьдесят рублей, припрятанных на черный день. На случай нужды велел не бе-

речь костюм-тройку, двух меньших ребят советовал отправить к своему отцу, в деревню под Ярославль. Старика не мобилизуют, ему под семьдесят.

Всюду было горе и слезы. Заплакала и Варя, хотя никто из ее родных и друзей не подлежал мобилизации. Тимофей Карпович жил по чужому паспорту, под фамилией Орлов, работал на Механическом и состоял на бронь. Писарь полицейского участка, выправляя ему вид на жительство, за подходящую мзду записал происхождение не «из рабочих», а «из крестьян», что и дало ему возможность устроиться на военный завод.

Мобилизованных построили на переключку. Горластый унтер-офицер подал команду, как на параде, и сам смутился. Угрюмость, уныние на лицах запасников не вязались с его торжественным голосом, да и равнения не получилось: выперли фланги, запала середина.

После переключки роты были построены. Капельмейстер вывел духовой оркестр за ворота, грянул марш, и колонна тронулась.

Женщины и ребята начали отставать.

Анфиса Григорьевна все еще всхлипывала, но без слез. Цепко ухватив Варю за рукав жакета, она старалась не отстать от головной роты, чтобы хоть издали видеть мужа. Спустя час показались железные фермы моста Петра Великого.

Как только во двор Охтинских казарм прошла последняя рота, часовой торопливо закрыл ворота и спрятался в будке, чтобы родственники мобилизованных не надоедали просьбами. Мальчишки устроились на заборе, сидели смирно, но чувствовалось: стоит одному из них спрыгнуть во двор, остальные как горох посыпятся за ним и понесутся к казармам.

Из штаба вовремя выскочил молоденький офицер. Он цыкнул на ребяташек, а с женщинами держался почтительно, сочувствуя их горю:

— Попрошу разойтись. Карантин продолжается не вечно. Вот вымоем ваших в бане, переоденем и разрешим свидание, да и не одно, самим надоест ходить. Солдаты простоят здесь полгода, необученных разве пошлют на фронт? А к тому времени и война кончится. И выйдет, что слезы напрасно лили.

— Пошто тогда берут, аль у казны харчей больно много?— послышался осуждающий голос.

Женщины не верили офицеру, однако отошли от ворот. Анфиса Григорьевна от горя и усталости валилась с ног. Томиться дальше у казармы было бессмысленно,

и она попросила Варю проводить ее в Дегтярный переулок, где жила ее старшая сестра.

Когда Варя вышла на Старо-Невский проспект, от Лавры к Николаевскому вокзалу двигалась толпа. «Крестный ход»,— решила она, глядя, как ветер шевелит хоругви. Почему же тогда бегут по переулку городовые, придерживая на ходу кобуры? Неужели опять демонстрация? Варя невольно подалась вперед. Странно, городовые и околоточные выстроились на тротуаре. Явственно доносилось пение:

...Сильный, державный...

Царский гимн! Понятно, почему выстроилась полиция. В нестройных рядах манифестантов шагали ремесленники, лавочники, купцы, конторщики, кое-где мелькал и картуз мастерового. Отставной солдат-инвалид цокал деревянной подкованной култышкой, плакал и пьяно кричал:

— За матушку Россию и батюшку царя! Ура!

В ответ по рядам проносилось нестройное «ура».

Тучный лавочник с напомаженной головой, размахивая железной тростью, орал:

— Все на колени.

В избытке верноподданнических чувств черносотенцы отводили душу. На противоположной стороне улицы под полотняным навесом магазина стоял гимназист, с любопытством разглядывая манифестантов. Мужчина, подстриженный под скобку, в купеческой поддевке, испуганно певший гимн, вдруг вскочил на тротуар, сорвал с гимназиста фуражку, бросил на землю.

— В господа бога веруешь? На колени!

Черносотенец опустил грязную руку в кольца на голову гимназисту и пригнул его к земле под одобрительные возгласы своих дружков.

Мимо дома прошли последние манифестанты, за ними не спеша двигались городовые. Трамваи стояли; по Невскому движение было закрыто. Оставалось одно — тащиться следом за манифестантами.

На углу Суворовского и Старо-Невского проспектов Варя очутилась позади конных жандармов и за ними легко добралась до Николаевской гостиницы. На площади человек в светлом пальто, держась одной рукой за ногу коня, на котором грузно сидел чугунный Александр Третий, о чем-то кричал. В человеке, повисшем на памятнике, Варя узнала Бук-Затонского. Голос его звучал необычайно торжественно:

— Отечество в опасности! Все сбережения и жизнь — на алтарь священной войны!..

С Первой Рождественской в манифестацию влились обитатели Песков. Варя неожиданно очутилась в центре толпы. Рядом с ней шагала раздурманенная молодая старуха с девичьей талией. Она прижимала к плечу древнофанерного щита с надписью: «Мы скоро будем в Берлине!»

Патриотическое буйство продолжалось на Невском проспекте. Обыватели выскакивали из домов, становились на колени, пели гимн, кричали «ура». Недалеко от городской думы из окна спустили карикатуру на Вильгельма Второго. Германский император был изображен в изодранных штанах, с забинтованной головой и на костылях.

У Главного штаба Варя пыталась проскользнуть на мост, но толпы, идущие с Васильевского острова, затянули ее в свой поток. Оглушенная криками, стиснутая со всех сторон, она смутно разглядела на балконе Зимнего дворца невзрачную фигурку в полковничьем мундире и рядом с ней разноцветную стайку дам — царь и его семейство приветствовали своих верноподданных. Толпа неистовствовала. Орала натужно, до красноты, до пота, иные всхлипывали. Только на Миллионной Варе удалось пробиться к набережной и вздохнуть свободно.

В столице наскоро устраивались лазареты. Императрица и великие княгини открыли склады по приему теплых вещей и прочих пожертвований.

В газете «Новое время» появилось первое траурное объявление. Жена, отец и мать извещали родных и знакомых, что корнет Никита Георгиевич Зиновьев убит в бою. Панихида состоится в Благовещенском соборе.

На войне наживались не только фабриканты оружия. Фирма «Парижские моды» придумала для себя новое название: «Дамский траур». За одну короткую июльскую ночь были перекрашены вывески магазинов на Литейном и на Среднем проспекте Васильевского острова. Фирма предлагала матерям, женам, сестрам погибших большой выбор траурного готового платья.

Тревога в Петербурге, вызванная мобилизацией и началом военных действий, понемногу улеглась. В одно из воскресений Тимофей Карпович пришел к «Стерегущему» прямо с завода, даже переодеться не успел.

Тимофей Карпович, как мастеровой первой руки, не подлежал мобилизации. В окопы, правда, он не рвался,

но и на заводе было нелегко: четырнадцатичасовой рабочий день, за малейший проступок — отправка в штрафную роту. В мастерские поналезли сынки зажиточных крестьян, лавочники, они-то и выслуживались, выдавая начальству недовольных.

Дома Варю ждало письмо от матери. Кроме родственников, на этот раз ей низко кланялся Козлодумов. Ничего хорошего не сулило упоминание о нем. Варя насторожилась: откуда ждать подвоха, ведь старик отказался от желанья ввести ее в свой дом? Геннадия еще зимой женили на дочери богатого хуторянина из соседней волости.

Варя читала письмо бегло, пропуская все, что касалось несчастий с коровами, злого глаза бабы Аграфены. Предчувствие ее не обмануло. В конце мать писала: «Варенька, в Питер выезжает соседский сынок, Геннадий Игнатьевич. Дело у него там есть первой важности. Так ты, доченька, за прошлое не серчай, между соседями всяко бывает, то идут с топором, а то и попотчуют сдобным пирогом. Наказываю, Варенька, поводи Игнатьевича по нужным местам. Для него большой город — глухой лес. Знаю, у тебя и Козлодумовых дороги разминулись, а только ты помни: мы, твои родители, и посейчас из их колодца воду пьем...»

На следующий день, придя домой, она застала там деревенского гостя. Геннадий пил чай в комнате хозяйки. В хлебнице горкой высилась деревенская сдоба — колобки, в глубоких тарелках — баранина, маринованные белые грибы. Бутылка водки была чуть начата.

— Я потчевала чаем, а Геннадий Игнатьевич свое угощение выставил, — оправдывалась Анфиса Григорьевна.

— Будет сплетничать-то, — блаженно ухмыляясь, сказал Геннадий и, поманив сыновей хозяйки, щедро насыпал орехов в подолаы их рубах.

Варя была рада, что приветливая Анфиса Григорьевна избавила ее от хлопот. Но и поддерживать разговор с непрощеным гостем было трудно. Геннадий только и знал, сколько стоит овчина и в какой волости больше забивают скота. Беседа у Вари с земляком не получилась. На ее счастье хозяйка завела граммофон, чтобы как-то занять гостя.

С утра начались разъезды по городу. Неприятно было Варе сопровождать человека, которого она презирала, но отказать — из-за матерей — не решилась. Один из адресатов жил на Крестовском острове. Но дача ока-

залась покинутой, окна закрыты ставнями, калитка крест-накрест забита досками. Дворник соседнего дома рассказал, что господа Виролайнен в первый день войны выехали в Финляндию. Второе письмо было адресовано самому Пуришкевичу. Козлодумов встречался с ним в Петербурге по делам «Союза Михаила-архангела».

Жил Пуришкевич на Шпалерной улице, недалеко от Воскресенского проспекта. Варя ни разу не видела этого махрового черносотенца, но наслышалась о нем немало. Минувшей зимой «Союз Михаила-архангела» издал книгу Пуришкевича, разоблачающую «подготовку школьников к революции». Пуришкевич причислил к «бунтовщикам» известного педагога Василия Порфирьевича Вахтерова, по букварю которого учились в России чуть ли не все дети. Крамола была в книге Вахтерова «Мир в рассказах»: столько-де сведений по истории, географии, природоведению — и ни слова о церкви, о христианской морали. За книгу Вахтерова вступился учитель охтинской школы. Члены «Союза Михаила-архангела» избili его. Варя не имела ни малейшего желания знакомиться с самым страшным из черносотенцев. Она показала младшему Козлодумову парадную, а сама решила остаться на улице. Геннадий потянул ее наверх, угваривая:

— Я косноязычный, замолвите слово. Козлодумовы понимают государственный интерес, ничего не пожалеют, возьмут на свое полное обеспечение койку в походном лазарете господина Пуришкевича.

Геннадий успел уже позвонить в квартиру. Сестра милосердия открыла двери, пригласила войти.

Пуришкевичу было за сорок. Варя сразу узнала его: он был похож на свои фотографии в журналах: колючие, сверлящие глаза, лохматые брови. Пуришкевич небрежно вскрыл конверт, прочитал письмо и уставился на гостя.

— Не будь здесь дамы, — Пуришкевич чуть наклонил голову в сторону Вари, — я приказал бы спустить тебя с лестницы! Нет, высокая честь! По этим ступеням поднимались русские люди, приносившие свои пожертвования на организацию лазарета.

Пуришкевич вдруг вскочил, забегал по комнате.

— Фронт, отечество, Россия! — кричал он, будто в припадке, топая ногами. — А ты? Есть ли у тебя хоть капля совести! Да как рука поднялась написать такое?!

Пуришкевич упал в глубокое кресло, закрыл лицо руками.

— В моем доме дезертир! Вон! Сию же минуту вон!— Он опять вскочил с кресла.

Дверь приоткрылась, в щель заглянула испуганная сестра милосердия.

Геннадий растерянно попятился к двери. Пуришкевич, сдвинув кресло, загородил Варю дорогу:

— Оставайтесь! Вы кто: сестра, невеста, жена?

— Никто!— холодно ответила Варя.— Мы с ним из одного села.

— Зачем же вы здесь?

— Ваш проситель совершенно не знает города.

— И вы к нему...— Пуришкевич брезгливо швырнул письмо на рояль,— не имеете отношения? И не знали о бесстыдной просьбе?— Он трагическим жестом показал на рояль.— Читайте.

Варя взяла письмо:

«...Будь благодетелем, малец-то у меня одинешенек. Пристрой Генку на военный завод, чай их расплодилось. А того лучше, коль определишь его в свой госпиталь. Богом клянусь: койку на себя беру. Приказывай, наличными отвалю, подброшу маслишка, мяса. Я памятливым, добра век не забуду...»

Варя согласилась, что письмо подлое. Пуришкевич истерически потряс ей руку и заговорил громко о долге и родине.

Геннадий подждал Варю на Воскресенском проспекте. Он успел оправиться от испуга:

— Горяч больно. Коротка у сквалыги память. Как долги за него платить, так это мой папаша, а тут...

Брань Пуришкевича, изгнание из квартиры не обескуражили младшего Козлодумова. Он подкараулил мотор и, чтобы привлечь внимание шофера, щелкнул себя по подбородку и показал на оттопыренный карман. Шофер лихо подрулил. К Вариному изумлению, Геннадий велел ехать к Бук-Затонскому, на Большую Дворянскую. Всю дорогу Варя молчала, а спутник отводил душу, ругая Пуришкевича. Когда шофер затормозил, Варя, распахнув дверцу, показала на парадную:

— Четвертый этаж, направо, а я вам не попутчица...

Она побрела по набережной, не торопясь возвращаться домой. Пообедала в кухмистерской, посидела сеанс в кинематографе «Трокадеро» и только к вечеру пришла домой. Анфиса Григорьевна штопала в кухне чулки.

— Земляк-то просил кланяться и не сердиться.— Анфиса Григорьевна скосила глаза на записку, лежащую на табурете.— Шибко хвалил этого Бука-Затонского: душевный, говорит, человек.

Добрая женщина радовалась, что земляк ее жилищки удачно устроил свои дела. Варя решила не рассказывать хозяйке о том, какого рода услугу оказал ее земляку патриот Бук-Затонский. Анфиса Григорьевна никогда бы не простила себе, что приняла в своем доме купеческого сынка, которого от немецкой пули теперь оберегают стены завода на Выборгской стороне.

Глава десятая

Осенью 1914 года столица уже познала опьяняющий запах первых побед в Восточной Пруссии, горечь поражения и слезы вдов, сирот, солдаток. Столица пережила предательство генерала Ренненкампа, протест против немецкого засилия — выстрел генерала Самсонова.

Война спутала все, в том числе и железнодорожное расписание. С классных платформ столичных вокзалов отходили странные составы — пассажирские вагоны перемежку с товарными теплушками. На Невском в отделении касс спальных вагонов вывесили объявление: «По случаю военного положения в стране администрация железной дороги снимает с себя ответственность за опоздание скорых поездов».

За одну ночь мужскую гимназию на Петроградской стороне превратили в лазарет. Дверные стекла в двухсветном спортивном зале наскоро забелили. В нем разместилась операционная. Место спортивных снарядов заняли продолговатые столы и шкафы с хирургическими инструментами. Первые раненые принесли в классы устойчивый запах крови, прелых бинтов, лекарств.

Анфиса Григорьевна совсем потеряла душевное равновесие. Кто-то ей сказал, что раненых привозят по местожительству. Чуть ли не каждый день она бегала к гимназии, превращенной в лазарет, какими-то неизвестными путями узнавала о прибытии санитарных поездов. Возчики сперва гнали ее от повозок с ранеными. Но их тронуло горе этой простой женщины. Прижавшись к стене, она вглядывалась в носилки. В ворохе ваты и бинтов трудно было разглядеть лицо раненого, но Анфисе Григорьевне казалось, что вот сейчас она увидит родные черты.

Варя пробовала убеждать квартирную хозяйку: неизвестно, участвовал ли ее муж в восточно-прусском наступлении. От него пришла лишь одна открытка с приветом. Если случилась с ним беда, то почему непременно привезут его в лазарет на Петроградскую сторону? В Петербурге столько их пооткрывалось.

К осени много учителей ушло на фронт, открылись вакансии. Якова Антоновича назначили директором школы. Варя в это время нашла себе место в Гавани, но ездить туда было далеко, и после рождества она перешла к нему в школу. Это ее несколько успокоило. Варя ожидала со дня на день отказа от места у Терениных: до репетитора ли, когда идет война.

Между тем в доме на Моховой жизнь текла без изменений, если не считать того, что на «средах» стало бывать больше военных и зачастил Бук-Затонский. О событиях на фронте он был осведомлен подробнейшим образом,— очевидно, кто-то из близких ему людей служил на военном телеграфе.

Несмотря на старания черносотенцев, война, как и раньше, находила мало сторонников за Нарвской и Невской заставами, на Выборгской стороне. Попробовали и там организовать патриотические манифестации по случаю побед русских армий в Галиции. Но ряды манифестантов были до того жидки и немощны, что сами организаторы стыдливо прятали головы.

Тимофей Карпович был против войны, а желал какой-то гражданской. Варя недоумевала. Где же логика? Не все ли равно, откуда идет смерть и разор? Легче понять квартирную хозяйку. Анфиса Григорьевна против всякой войны. «И за что люди несут такой тяжелый крест?» — жаловалась она иной раз Варе. А недавно Анфиса Григорьевна вернулась из лазарета в слезах и горько попрекнула Варю:

— Варенька, сестры милосердия на ходу засыпают. Ты образованная, помогла бы...

Варя покраснела. Как она сама не догадалась!

В первые дни, перебинтовывая тяжелораненых, меняя промокшие от гноя и крови повязки, она чувствовала себя беспомощной. Слезы выступали на глазах. Варе казалось, что ее неумелые руки причиняют раненым нестерпимые страдания. А потом привыкла, поняла, что солдаты не терпят слез, стараются избавиться от горьких дум. Что их ждет после выписки из лазарета? Одних отправят в батальон выздоравливающих, а оттуда в маршевую роту и снова на фронт. Дру-

гие, те, что остались без руки или ноги, вернутся домой.

Жить становилось все трудней. Деньги подешевели, пропала серебряная и медная монета. Появились новые разменные деньги — марки с портретом Николая Второго. На Выборгской стороне посмеивались: глядите, мол, люди добрые, вот кто виноват, что денежки пропали.

Бук-Затонский настойчиво теснил своего соперника. Он приезжал к Терениным уже запросто, всегда с коробом новостей и свежим анекдотом про немцев или австрийцев. Бронислав Сергеевич теперь не прочь был породниться с ним, да выжидал удобной поры. Другие члены семьи открыто симпатизировали Ловягину, заслужившему Георгия в первые же дни войны.

Однажды Варя допоздна засиделась на уроке с Борисом, Бронислав Сергеевич ни за что не хотел отпустить ее без ужина. Зашел разговор о выигрыше Бронислава Сергеевича. В воскресенье он поставил крупную ставку на вороного рысака Султана, еще ни разу не приходившего к финишу первым.

— Когда Султан обошел Мечту и Ракету, — с удовольствием рассказывал Бронислав Сергеевич, — трибуны замерли. Такого давно не бывало на Семеновском плацу. И вдруг шум, крики, я даже не разобрал, чего было больше — радостных возгласов или проклятий.

— Вот бы тысяч десять таких Султанов в кавалерию, — с укором протянула Агнесса.

— Чего, дорогая, захотели! — грубовато ответил Бук-Затонский. — Мужики доставляют на сборные пункты одних кляч, а стоящих коней припрятывают. Германские агенты — я это знаю точно — работают и в деревнях.

— На каторгу их! — Агнесса нагнулась к Бук-Затонскому, раскаленный уголь в камине осветил ее красивое лицо.

— Главных заводил поймали. Скоро их всех за ушко да на солнышко.

По просьбе Агнессы Бук-Затонский достал ей два билета на заседание особого присутствия судебной палаты. Варя ни разу не была даже в камере мирового судьи, а тут представился случай послушать громкий процесс. Последние дни в Петрограде усилились слухи о немецком засилье и измене отечеству депутатов Государственной думы от рабочей курии.

Накануне суда, боясь проспать, Агнесса оставила Варю ночевать. Собираться она начала с семи утра, хотя открытие судебного заседания было назначено на одиннадцать. Елена Степановна, портниха и парикмахер наряжали ее словно на дворцовый бал. Варин темносиний костюм был единодушно забракован. Пришлось выбрать одно из платьев Агнессы.

В это утро в окружном суде был съезд именитых посетителей. Полуказарменный зал ожидания напоминал фойе перед началом театральной премьеры. Франтоватый полковник подхватил под руки Агнессу и Варю. Кругом слышалась французская и английская речь. Варя умышленно отвечала полковнику по-русски. Бук-Затонский прогуливался с генералом.

Сегодня заседал состав особого присутствия судебной палаты с участием сословных представителей. Иными Варя рисовала себе изменников: лощеные, тучные бюргеры, злобный взгляд исподлобья. В зал жандармы ввели обыкновенных, простых людей. У Петровского волевое лицо, спокойные, умные глаза. Он держался на скамье подсудимых более достойно, чем председатель суда сенатор Крашениннов.

Началось заседание. Крашениннов, поблескивая стеклами очков, каркал как ворон:

- Петровский...
- Муранов...
- Бадаев...
- Шагов...
- Самойлов...

Подсудимые вставали, отвечали с достоинством.

Крашениннов объявил, что главные обвиняемые привлекаются по первой части сто второй статьи уголовного уложения.

— Ускользнули от петли,— прошипел Бук-Затонский.— Жаль! Весьма жаль!

Варе казалось, что прокурор Ненарокомов сочетает в себе три качества — желчь, ханжество и подхалимство. Она видела, что, ставя провокационные вопросы подсудимым, он косил глаза на публику, выискивая там важных особ, как бы ища у них одобрения. Если бы от него зависело, то он судил бы каждого депутата в отдельности. Вместо одного — пять громких процессов.

Обвинительная речь прокурора изобиловала стенаниями, призывами к совести подсудимых, возгласами о верности императору. Логики в прокурорской речи не было, так же как и законности.

— В час великих испытаний социалисты Франции забыли о партийных раздорах и верноподданно встали под знамена своей родины. Господин Вандервельде, глава социал-демократов Бельгии, вошел в кабинет его величества; только русские социал-демократы,— Ненарокомов задохнулся в наигранном волнении,— предали свое отечество в тяжкую для него годину.

Лорнеты, театральные бинокли снова наведены на подсудимых, а те сидят спокойно. Но не все подсудимые выдерживают этот поток обвинений. Гаврилова, молодая женщина, хозяйка дома в Озерках, где были арестованы депутаты, опускает голову, нервно выдергивает нитку из носового платка. Прокурор доволен. Публика явно на его стороне. Он отрывает глаза от написанной речи, вскидывает руку:

— После войны герои вернутся и спросят нас с вами: «А что вы сделали с теми, которые готовили нам предательский удар в спину?» Я хочу, чтобы у всех истинно русских людей была чиста совесть, чтобы они могли ответить победителям: «Тех, кому не дорого было отечество, нет среди нас...»

С судебных заседаний Варя возвращалась с оупляющей головной болью. Она поняла, что судят за измену не изменников. В чем суд и прокурор видят предательство? Подсудимые отказались голосовать в Государственной думе за военный бюджет.

Агнесса приходила на заседания из тщеславия. Сколько знакомых простаивают в коридорах окружного суда, а у нее билет, и не на хоры. А у Вари сжималось сердце от нехорошего предчувствия, что не миновать тяжелого наказания обвиняемым.

Вчера на трибуну вышел присяжный поверенный, такой невидный, бородатый, глаза закрыты темными очками, но с первых же его слов Варя почувствовала в нем союзника.

— Кого судите? Изменников?— гневно спрашивал он.— А я что-то не вижу изменников. На скамье подсудимых — члены Государственной думы. Здесь, по-моему, совершается судебная ошибка.

Агнесса шепнула:

— Какой бесстрашный.

— Справедливый,— добавила Варя.

— На скамье подсудимых,— продолжал защитник,— сидят не изменники отечеству, а честные люди, как и мы.

В партере зашипели. Лысеющий человек демонстративно вскочил:

— Я не позволю хамить, господин защитник, потрудитесь выбрать поудачнее сравнения.

Крашениннов осторожно постучал карандашом по столу. Лысый господин ворча опустил на свое место. Варя задумалась: где она его встречала? Вспомнила — сад «Виллы Родэ», лысый тогда увивался возле Распутина.

В день вынесения приговора петроградское небо со всех сторон было обложено тучами. Ветер гнал порошу по Литейному проспекту. К зданию окружного суда подкатывали экипажи и автомобили. По Шпалерной, пересекая проспект, двигалась колонна мобилизованных с сундучками. Солдаты шли понуро, глядя на укатанную дорогу. «И они ведь против войны», — подумала Варя.

Агнесса не хотела прозевать выступление Керенского. Она решительно потянула Варю в подъезд окружного суда.

Судебное разбирательство близилось к концу. Суд играл в демократию. Крашениннов будто спрашивал совета у публики:

— Виновен ли крестьянин Екатеринославской губернии Петровский, тридцати семи лет?

— Виновен ли мещанин Муранов?..

И каждый раз, когда Крашениннов спрашивал: «Виновен ли?», Варя хотелось крикнуть: «Нет, не виновен!» Она не знала, что в зале разыгрывалась комедия. Приговор депутатам социал-демократической рабочей фракции Государственной думы был предрешен. Прокурор не предъявил им статью 108 или 118, предусматривавшие смертную казнь. Николая Романова пугала забастовка, которой, несомненно, ответил бы рабочий Петроград на вынесение смертного приговора. Председатель думы Родзянко, согласившийся лишить неприкосновенности депутатов, умолял царя быть осторожным.

Смеркалось, когда Варя вышла из здания суда. Ей надо было свернуть на набережную, а она пошла через мост, к Финляндскому вокзалу. Только перейдя мост, она поняла, что ищет встречи с Тимофеем Карповичем.

В проходной завода тускло горела высоко подвешенная лампочка. Варя подошла к старику сторожу, греющемуся у батареи:

— Вызовите Орлова, будьте добры...

— А ты кем, красавица, ему приходишься: жена, сродственница или так?

— Сестра.

— Ах, сестра! — с ухмылкой проговорил старик. — Сестра и подождать может. Погуляй, не обморозишься. Понимать надо, человек при деле.

На Варينو счастье старика вызвали в дежурку. На смену ему вышел подросток, выряженный в шинель и огромную папаху. Он расспросил Варю и позвонил в мастерскую.

— Пошлите-ка в проходную Орлова, — начальническим баском велел он. — Брат хочет попрощаться, отправляется в действующую.

Тимофей Карпович вбежал в проходную как был, в парусиновой робе. Увидев Варю, он оторопел, потом весь так и потянулся к ней.

— Я была в окружном суде, — тихо сказала Варя. — Все это ужасно...

Тимофей Карпович быстро оглянулся на мальчишку, но сообразительный паренек, мурлыча что-то под нос, поднял скребок и принялся сбивать ледяной нарост на пороге.

— Как Петровский, Бадаев держались?

— Господи! Да за ними и вины-то нет...

В проходную вернулся сторож. Он еще с порога кивнул Варя: дескать, чего темнила? Дело молодое.

— Мы встретимся сегодня, — сказал Тимофей Карпович.

Варя смотрела на него каким-то странным взглядом, в котором было смятение.

— Непременно, — ответила она, — я почему-то совсем растерялась...

Тимофей Карпович пристально посмотрел на нее:

— Соберитесь с мыслями, Варенька. И вот что: надо сделать хорошее дело. Кадетская «Речь» прямо-таки молебен отслужила суду. Трубят всюду, что, мол, депутаты социал-демократы за войну до победного конца! Не так ведь дело было. Рабочие просят объяснить. Расскажите им, что вы слышали и видели там, в суде.

— Но... — Варя запнулась. — Я умею говорить только с подростками.

Тимофей Карпович улыбнулся:

— Рабочие, Варенька, самые лучшие слушатели. Они только не любят лжи.

— Но где же?..

— Где? Русский человек говорит громко и свободно в трактире.

— Хорошо, — торопливо согласилась она.

Боясь передумать — затея Тимофея Карповича была похожа на сходку, — она вышла из проходной.

Дома Варя оделась попроще, повязала голову косынкой Анфисы Григорьевны и снова поехала на Выборгскую сторону. На остановке ее встретил Тимофей Карпович. Чайная «Фонарики», куда он привел Варю, ничем не отличалась от других. У входа стоял бак кипяченой воды с жестяной кружкой на цепочке. В большом зале возле буфета красовался расписной музыкальный ящик. Бегали с чайниками половые.

Слева за буфетом находился зал поменьше. Здесь было так же многолюдно, но не шумно: люди пили чай, разговаривали вполголоса. Никто не курил.

Тимофея Карповича задержал буфетчик. Варя растерялась, не зная, что делать: подождать или найти свободный стол? Вдруг она увидела Дмитрия с гармонью, он кивнул головой: «Смелее!» Варя обрадовалась — все же свой человек. Дмитрий предложил ей стул, придвинул чашку чаю.

Подошел Тимофей Карпович и тихо спросил:

— Начнем?

— Боюсь, — призналась Варя. Но уже было поздно, все в чайной смотрели на нее.

— Наша знакомая, — негромко сказал Тимофей Карпович. — Видела, как судили наших товарищей.

Странно! Варя поначалу даже немножко обиделась. У нее есть имя и фамилия, но, услышав второй и третий раз эти слова — «наша знакомая», она поняла, что Тимофей Карпович умышленно называет ее так.

— Нас интересует, — продолжал Тимофей Карпович, — как депутаты вели себя на суде. Буржуазные газеты пишут, что они отказались от своих убеждений. Так ли это?

К Вале вернулась уверенность. В памяти ожили показания обвиняемых, речи прокурора и адвокатов.

— Обвиняемым, — тихо начала Варя, — угрожала каторга. Прокурор Ненарокомов пытался их унижить, толкнуть на путь предательства, говорил, что они безвольные люди, манекены, которые жили чужим умом, проносили чужие речи, выполняли чужие распоряжения. Не только каторга, но и виселица не испугала бы Петровского и его товарищей. Достоинно вели они себя и выступали не обвиняемыми, а обвинителями. Прокурор потребовал лишить слова Петровского, когда тот сказал, что социал-демократическая рабочая партия — это дыхание рабочего класса.

Она говорила все громче, все свободнее. Варя чувствовала, что каждое произнесенное ею слово — это ее слово, сказанное от самой души, и видела по лицам окружающих ее людей, что ей верят...

Когда началась полоса поражений и слухи опережали официальные телеграммы, свирепая военная цензура не в состоянии была вытравить правду о том, что Россия вступила в войну неподготовленной. В очередях у булочных и бакалейных лавок передавали слова, долетевшие из действующей армии: «Сидим без патронов. Райское житье артиллеристам, им выдают по шесть снарядов в сутки... на батарее»; «Ждали 76-миллиметровых снарядов, а получили вагон с иконками. За что премного благодарны Сухомлинову и его супругнице. Германцы нас угощают шрапнелью, а мы им кажем пресвятую богородицу. Они бьют нас гранатами, а мы на окоп Георгия Победоносца выставляем. Вот так и воюем...»

Раненые всё прибывали. В лазареты превратились и казармы и думские дома. В мужской гимназии на Петроградской стороне койки уже стояли в коридорах, в утепленной гардеробной. Прибавилось заботы и Варе. Она сдружилась со старшей медицинской сестрой и нередко оставалась дежурить за нее; если в палатах было спокойно, она сама находила работу — пополняла медикаментами аптечку, меняла воду в бачках, писала под диктовку солдат письма. Если ей не надо было заниматься с младшим Терениным, она прямо из школы бежала в лазарет, чтобы хоть немного облегчить страдания раненых. Здесь она научилась ненавидеть войну. Здесь она увидела первую смерть.

В палате умирал доброволец. Он лежал на койке у окна, форточку все время оставляли открытой, а ему не хватало воздуха. Когда налетевший ветер шумел в сучьях старых кленов, раненый приподнимался и посинелыми губами жадно ловил морозный воздух.

Прошлой весной этому добровольцу, сыну владелицы молочной лавки в Твери, исполнилось восемнадцать лет. Парень умер на руках у Вари, промучившись месяца два в госпитале.

Раздумье охватило Варю. Разве мать восемнадцать лет растила сына для того, чтобы незнакомый немец, может быть отец большого семейства, проколол его штыком? А могло случиться, что немец упал бы мертвым. Чего они не поделили — юноша из Твери и пожилой немец из какого-нибудь прирейнского селения?..

Справедливо говорит Тимофей Карпович: «Война — несчастье народа». Но нельзя же кончать войну, воткнув штык в землю. Нельзя же открыть ворота врагу!

Иногда Варя казалось, что Тимофей Карпович — тяжелый человек. Все непременно должны жить по его евангелию. В воскресенье утром Варя даже решила не встречаться с Тюменевым, но прошел час, и она вдруг сорвалась с места и выбежала на улицу. Неужели не дождался, ушел? Нет, он не ушел, еще издали она увидела его возле памятника.

Тимофей Карпович радостно кинулся ей навстречу.

— Я начал беспокоиться, не случилось ли чего, — ласково сказал он.

Варя призналась, что боится его упреков. Тимофей Карпович против войны и ее пособников, а как же она? Выходит, и она пособник, раз все свободное время проводит в лазарете.

— За доброе не осуждают, — мягко говорил он. — Облегчить страдания раненым — долг человека...

На аллее появилась необычная процессия: впереди гарцевали на длинных рейках мальчишки, за ними шла молодая женщина со щитком, утыканным трехцветными флажками, и Бук-Затонский с кружкой для сбора пожертвований. Женщина останавливала прохожих, прикалывала к груди флажок, а он протягивал кружку.

Варя все больше и больше ненавидела этого человека, предельно вежливого и предельно подлого. Она решительно потянула за собой Тимофея Карповича в боковую аллею.

Тимофей Карпович не проявил любопытства. Мало ли встречается в жизни людей, которых противно видеть на своей дороге. Но Варя сама ему все рассказала. Недавно «Петроградский листок» на первой странице напечатал речь Бук-Затонского в «Обществе помощи христоролюбивому русскому воинству». Он призывал всех, кто может держать винтовку, идти защищать отечество. Думалось, что после такого выступления он и сам отправится на фронт. Варя представляла себе, как вольноопределяющийся Бук-Затонский трясется в теплушке, подложив под голову солдатскую скатку. А вечером, как и прежде, он сидел у Терениных, пил с хозяином портер и говорил, говорил, говорил...

— Все они таковы, — Тимофей Карпович показал рукой на аллею, где Бук-Затонский и его спутница торговали флажками, — эти спасители отечества. Различие у них лишь в одежке, капитале, недвижимости, чи-

нах, а что касается души, то она у всех у них одинаковая, в одной оплохе отлитая. Если спасать отечество, то чужими руками, если жертвовать жизнью, то чужой.

Варя внимательно слушала, а Тимофей Карпович задумчивость на ее лице принял за скуку.

— Что, Варя, скучно со мной? — спросил он с грустью. — Как встретимся, так непременно про политику, как царевы министры.

Не надеялся Тимофей Карпович на свое искусство занимать Варю разговорами, поэтому иногда припасал билеты. В апреле он неожиданно пригласил ее в скейтинг-ринк. Хотя Варя не раз обгоняла на катке Агнессу и Ловягина, она все же с опаской надела роликовые коньки. Круга четыре Тимофей Карпович провел ее, держа под руку, потом она осмелела, пошла сама, и оба весь вечер носились по кругу, забыв про «политику». Молодость брала свое.

Сегодня Тимофей Карпович пригласил Варю в кинематограф, там показывали фильм «У камина». По залу волнами перекачивался шепот, зрители ругали механика — шибко гонит картину, а Варю утомляло медленное движение надписей, и она с горечью думала: «Сколько в столице еще малограмотных, а в деревне...»

Неожиданно Бук-Затонский перестал бывать у Терениных. Варя собиралась узнать у Агнессы, чем прощтрафился жених номер два, да все не было повода. Как-то Агнесса приехала к Варе на рассвете. Этот ранний визит неженки, любившей поспать, не предвещал ничего хорошего. Зная своенравный характер гостьи, Варя ни о чем ее не расспрашивала. Готовя завтрак и накрывая на стол, она рассказала, как два подростка из ее класса решили бежать в действующую армию. Они спрятались в теплушке с подарками. Дня два вагон гоняли по окружной дороге, на третий день отцепили и загнали в тупик. Мальчишки вылезли голодные, злые... Агнесса сидела мрачная и вдруг откровенно заговорила:

— Открыл своим ключом стол, выкрал письма Валентина Алексеевича. Я пропала. Он мне не поверит.

Варя недоумевала: зачем Бук-Затонскому понадобились чужие письма? Для него не могла быть открытием давняя дружба Ловягина и Агнессы.

— Допустим, он взял письма не из любопытства или ревности, а с целью провокации...

От испуга у Агнессы глаза стали еще больше.

— От Бук-Затонского можно ожидать любой гадо-сти,— твердо сказала Варя.— Похвалится знакомым офицерам, что вы даете ему читать письма Ловягина, те передадут Валентину Алексеевичу...

Слова эти окончательно расстроили Агнессу. Варя предложила ей вместе проехать к Бук-Затонскому и потребовать письма.

Когда Варя и Агнесса пришли к нему на квартиру, двери им открыл лакей.

— Зайдите попозже,— учтиво предложил он.— Барин вернется не раньше обеда.

— Бук-Затонский — наш друг, слышали про Терениных? — отрекомендовалась Агнесса.— Мы его подождем.

Лакей выслушал покорно, тронул шею, будто накрахмаленный воротничок мешал ему говорить.

— Понимаете, барышня, ключ у меня только от столовой, а там, простите-с, хозяйственный беспорядок...

— Не доверяет своему слуге? — возмутилась Агнесса.

— Я в этом доме не свой человек,— лакей замялся.— Я из проката. Моя профессия — обслуживать гостей. Так сказать, сегодня здесь, а завтра там.

— О, да у вас веселая жизнь! — засмеялась Агнесса.

— К сожалению, барышня, праздники не каждый день. Чаще поминки. По тем, кому бы только свадьбы играть. Пуля и штык неразборчивы. Смех лучше слез, да наша служба такая. Разрешите, на всякий случай...

Лакей протянул им белую глянцевитую карточку. «Модест Аркадьевич Всесвятлов», — прочитала Варя. Первая строчка набрана крупно, а ниже мелким шрифтом: «Бывший лакей графа Иванова-Крохальского, великосветски обслуживает небольшие банкеты, поминки. Полная гарантия за сохранение хрусталя. Условия по соглашению. Наем на неделю и больше дешевле. Предложения адресовать: Пески, Третья Рождественская, 15, квартира 6».

Оказывается, сдается напрокат и человек...

Старик обрадовался, что Агнесса раздумала ждать хозяина.

— Если гора не идет к Магомету,— начала было Варя,— то...

— Вот именно,— одобрительно воскликнула Агнесса.— Едем!

Мастерская Бук-Затонского находилась на заднем дворе грязного доходного дома, принадлежавшего его тетке. В нижнем этаже флигеля помещались отделения

гальванопластики и штамповки. На втором этаже производилась сборка жетонов, брошек и пряжек. За фанерной перегородкой стояли наборные кассы и печатный станок. Работали у Бук-Затонского женщины и подростки. Не требовалось особого умения, чтобы припаять заостренную проволоку или зажим, набрать и отпечатать бутылочную этикетку, визитную карточку.

Варю и Агнессу поразил хаос на заднем дворе. К выброшенному штамповочному прессу притулился печатный станок, на нем проступала сухая зеленоватая осыпь, рядом валялся раскрытый куль цемента. Грузчики втащивали на канатах продолговатый ящик в открытое окно. Бук-Затонский стоял на крылечке и подавал команду. Он пригласил нежданных-негаданных посетительниц в конторку. Поговорить они не успели. Снизу крикнули:

— Хозяин! Пришел околоточный!

Бук-Затонский попросил прощения и сбежал вниз. Агнессу снова охватила тревога: удастся ли вызволить письма? Ей было неприятно втягивать в скандальную историю отца. Только вчера он упрекал, что из-за ее несносного характера нужный человек перестал бывать в их доме.

Конторка была тесная, и Варя пришлось сесть за хозяйский стол. Под стеклом лежало письмо из военного министерства: «Господину Бук-Затонскому. Считаю честью засвидетельствовать свое глубокое уважение и сообщить, что Его Императорское Величество соизволили доброжелательно начертать на поданном Вами прошении: „Да не забудет господь бог забот о судьбах отечества в тяжелую годину”». Сбоку от руки была наложена резолюция: «Первый заказ на изготовление шрапнелей — один миллион рублей».

— Жетоны, брошки и флажки — побоку, — усмехнулась Варя.

Агнесса не видела греха в том, что Бук-Затонский решил выпускать шрапнель. Она вспомнила, что в новое дело он пригласил компаньоном ее отца. Коммерческие дела ее не интересовали. Она думала только о письмах Ловягина.

Прошло полчаса, а Бук-Затонский не показывался. Варя сердилась. Оставив Агнессу в конторке, она отправилась искать его. Дворник сказал, что он повел околоточного к хозяйке на квартиру. Варя поднялась с парадного во второй этаж, запуганная прислуга впустила ее в квартиру. В столовой Бук-Затонский угощал околоточного французским вином.

— Я по поручению Агнессы,— холодно сказала Варя.

— Тысячу извинений. Я сейчас...

— Нет,— отрезала Варя.— Прошу уделить мне минуту внимания. Агнесса требует вернуть письма Ловягина.

— Письма Ловягина?— Лицо Бук-Затонского выразило совершеннейшее изумление:— Позвольте, я-то тут при чем?

— Да, письма,— повторила Варя хладнокровно.— Если не вернете, я напишу Ловягину. А кроме того, посоветую Соне послать свой лотерейный билет в «Копейку» и сообщить некоторые подробности из жизни одного владельца типографии. Знакома вам такая девушка?

Упоминание о Соне и о газете «Копейка» попало в цель. Бук-Затонский еще недели три назад жаловался Теренину на нападки этой газетки, а то обстоятельство, что Варя знала про лотерейный билет, подаренный им Соне, его окончательно смутило.

— Отказываетесь?— допытывалась Варя.— Так и передать Агнессе?

Бук-Затонский ослабил галстук, ему явно было не по себе. И отчего Теренины благоволят к этой девчонке? Язык у нее колючий, брякнет Агнессе про Ямбургскую. Бук-Затонский умел наступать и обороняться, но сейчас он был связан по рукам и ногам. Да, трюк с письмами у него проваливался. Написав несколько строк конторщику, он, не скрывая злости, сказал Варя:

— В шкафу, на второй полке слева...

Домой Варя возвращалась с желанием броситься в постель, крепко-крепко уснуть, чтобы хоть во сне забыть о новой подлости Бук-Затонского.

Дома ее ждало письмо из деревни. Мать писала, что Геннадия Игнатьевича ценят на заводе. По ходатайству важного начальника дали ему от действующей армии полную отставку.

Мать исписала три страницы, и не было в них ни одной светлой новости. «Видать, силен германец, коли хворых мужиков позабирали». Письмо заканчивалось просьбой: «Родитель твой наказывает, в деньгах у него нужда. А соседи окаянные замучили расспросами. Раз матери посылки не шлет, значит у самой к обеду сухая корочка, вот и образованная. Нюрка из Гнилушек, что две зимы в школу бегала, в деревню всё обнови шлет. Она теперь тоже в Питере, устроилась в пекарне. Нашим-то невдомек — пропадет Нюрка. Я за тебя горой,

но и ты, Варенька, подсоби языки унять, собери махонькую посылочку. Купи осьмушки три чайку Высоцкого, крупчатки на пирог, ситцу на платье».

Давно Варя не посылала посылок в деревню. Как послать? В Петрограде очереди за сахаром, за хлебом. Витрины бакалейных лавок пусты, продукты не залеживаются.

Глава одиннадцатая

На запасной ветке Царскосельского вокзала стоял воинский эшелон. В одной из теплушек уезжал Тимофей Карпович.

На Механическом заводе действовал провокатор. Многие рабочие-партийцы попали в маршевые роты. Среди них был и Тюменев.

Не впервые Варя провожала знакомых на фронт. Третий год уже продолжалась война, и конца ей не было видно.

Горнист заиграл «по вагонам». У Вари сжалось сердце, она не находила слов, а у Тимофея Карповича все получилось просто. В последнюю минуту он бросил папаху на снег, обнял Варю. Глядя ей прямо в глаза, сказал:

— Дождешься?..

Унтер-офицер недовольно окликнул Тюменева, а он стоял перед Варей, отряхивая снег с папачи.

Вагоны дрогнули, заскрипели. Варя обхватила Тимофея Карповича, прижалась к нему, и ее слова «береги себя» прозвучали для него признанием.

Ушел поезд. Устало прошагал комендантский духовой оркестр. Расходились немногие провожающие, а Варя все еще стояла одна на пустой платформе.

Недавно приезжал в короткую командировку Ловягин. В первый же вечер, после долгих рассказов о фронте, он попросил Агнессу спеть. Агнесса, ласковая с ним, как никогда, согласилась. Ловягин сел за рояль — аккомпанировать ей, взял несколько аккордов и печально усмехнулся.

— Хочется хоть на час забыть о войне, — сказал он, — только не очень-то получается...

Агнесса пела, перебирая его волосы и близко наклоняясь к нему, хотя отец сидел тут же в кресле.казалось, все же забыта война, фронт, тот страшный мир, из которого пришел Ловягин.

И вдруг ворвался Бук-Затонский. Сбросив шубу в передней, он в кашне и боярской шапке влетел в гостиную.

— Дуэль! Марков-второй стреляется с Михаилом Владимировичем!— тоном мальчишки-газетчика объявил Бук-Затонский.

Новость была ошеломляющая. Бронислав Сергеевич зажег люстру.

— Не поделили любовницу,— сказал он.— В такое тревожное время! А еще государственные деятели.

— До любовниц ли? Марков поругался с кадетами. «Ваша партия,— кричал он, грозя Милокову кулаком,— утверждает, что она паровоз России! А позвольте спросить, а кто у вас кочегары? Молчите? Так я скажу: кочегарами на вашем паровозе большевики и везут они народ к бунтарству...» Родзянко попросил буяна выбрать выражения повежливее, уважать господ депутатов, а Марков ему в ответ: «Болван! Мерзавец!»

Скандал в Государственной думе заинтересовал и Агнессу. Она усадила Бук-Затонского в кресло, а сама встала сзади, что не понравилось Ловягину.

— Да-с, дорогие,— продолжал Бук-Затонский,— Марков-второй заподозрил газету «Русская воля» в немецко-еврейской ориентации. Громя противников, оскорбил председателя. Генерал Дашков и Панчулидзево согласились быть секундатами...

Утром Ловягин уехал на фронт. Варя тоже его провожала.

— Не радуется все это меня, Варенька,— сказал он ей на прощанье.— Много развелось в столице гнили...

Предстоящая дуэль Родзянки и Маркова-второго с неделю была главной темой салонных разговоров. Бук-Затонский каждый день привозил подробности думского скандала. Вчера он появился на Моховой в сопровождении подполковника с обвисшими щеками и какого-то штатского, на редкость вялого и неинтересного собеседника. Однако Теренин и подполковник буквально смотрели ему в рот. Один раз подполковник даже назвал штатского «ваше превосходительство», отчего тот недовольно поморщился. Бук-Затонский поспешил на помощь подполковнику:

— Думские дуэлянты всё еще шумят?

— Оружие не могут выбрать,— вставил Бронислав Сергеевич.— Дрались бы на шпагах, если бояться стреляться.

— Нет, решили стреляться, но... после окончания войны.

Генерал в штатском зевнул. Его интересовала не думская сенсация, а шрапнель. Война кое-кому приносила прибыль, и в том числе фабрикантам шрапнели Бук-Затонскому и Теренину.

Много утекло воды со дня приезда Ловягина.

Осенью Варя получила письмо от него из лазарета, переданное с оказией, помимо цензуры. Он писал, что участвовал в июньском прорыве австро-германского фронта. Русские армии вышли к реке Стоход и заняли почти всю Буковину. Немцы и австрийцы потеряли почти полтора миллиона человек... «Неужели и эта наша победа,— с горечью писал Ловягин,— пойдет прахом? Гвардия недовольна, что-то нехорошее происходит в Царском Селе. До нас многое не доходит, но и то, что знаем, страшит своей безысходностью. В соседнем полку кто-то нарисовал «старца» на мишени, солдаты стреляли с большим удовольствием».

Воюющая армия смертельно ненавидела Распутина и немку-царицу.

С продуктами и топливом в Петрограде становилось все хуже. Классы в школах и гимназиях протапливались два раза в неделю. Ученики мерзли. Варя тяжело было смотреть на своих ребятишек. Ученики сидели за партами бледные, истощенные, украдкой пощипывали хлеб. К полудню у ребят оставались лишь крошки.

Перед началом урока Варя теперь отбирала мешочки с завтраками и запирала в шкаф до большой перемены. Она сокращала минут на семь-восемь урок, почти перестала задавать на дом — долго ли подорвать здоровье голодных детей.

Солдатки не в состоянии были досыта накормить своих ребятишек. На Крестовском, Круглом, Мальцевском и Сытном рынках пустели овощные, крупяные, мясные, рыбные ряды. У хлебных лавок с ночи стояли очереди. Дежурили семьями. На перекрестках горели костры. Существовала неофициальная пошлина: с каждого проезжающего воза подростки снимали полено, кусок угля. При тревожном свете костров голодные очереди выглядели зловеще.

В школе Якову Антоновичу пророчили жизнь старого холостяка, а он, словно всем назло, взял да женился на преподавательнице музыки, старой деве. После же-

нитьбы он изменился. Яков Антонович сейчас проявлял редкую хозяйственную изворотливость. Недели две назад у станции Графской поездом зарезало корову, отставшую от воинского гурта. Неведомо почему, в дележе принял участие и Яков Антонович. По полтора фунта мяса он роздал учителям. Потом выпросил на заводе «Бавария» бочку пива и ящик вываренного ячменя.

С каждым днем становилось все труднее поддерживать в порядке хозяйство школы. Якову Антоновичу было одному не управиться. То требовалось кровельное железо, то кусок водопроводной трубы, то надо было ехать к черту на кулички за чернилами.

Варю он долгое время оберегал от хлопот по хозяйству. Она потребовала поручения. Если что-либо нужно для школы, то и она сумеет добиться. Яков Антонович уступил:

— Уголь на исходе. Добавить бы дровишек — глядишь, месяц и прожили бы.

Он написал заявку на антрацит и напутствовал Варю:

— Антрацит есть чем заменить, а попроси дров — непременно дадут торф или опилки.

У дверей топливного отдела Варю встретил человек в ватнике и в дорогой шапке. Он молча взял заявку, тут же приложил ее к косяку, вывел красным карандашом резолюцию: «Отпустить триста пудов дров».

Варя обрадовалась и вдруг усомнилась. Насколько она помнила, на Гдовской улице не было дровяного склада. Смущало и то, что написано: «Отпустить триста пудов», — дрова ведь измеряются на сажени.

— Мало ли, барышня, чего раньше не было, — хриплым голосом успокаивал ее сторож в солдатской шинели с обгоревшей полой. — Не надоедайте, а то начальство вместо дров торф выдаст. С богом!

Варя все-таки не решилась позвонить по телефону в школу, чтобы выслали сани, и отправилась на разведку. На Гдовской улице не оказалось дровяного склада. Значит, над ней просто посмеялись?

В это время возле двухэтажного деревянного домика остановилась грузовая машина. Рабочие выгрузили на мостовую десятичные весы, двухпудовые гири и моток троса. Это, оказывается, и есть «склад»!

Вскоре во втором этаже распахнулось окно, рабочий поздравил десятника.

— Домишко-то на ладан дышит, тут и дела-то на полдня. Заведем стропы, грузовик малость подмогнет.

Варя отдала бумажку десятнику, он сказал:

— Отбирайте триста пудов. Зря только поторопились. Завтра начнем ломать приют для проходящих детей на Средней Зелениной. Все поближе бы возить.

Помня наставления Якова Антоновича, Варя отказалась ждать.

Неизвестно откуда, набралась толпа получателей дров. Некоторые приволокли сани, принесли пилы, топоры и веревки.

Рабочие ловко сбили тесовую обшивку. Захватив тросом простенок, старик кинул концы шоферу.

Рухнула стена, осыпав снег желтой трухой. Еще не осела едкая пыль, как все, кто тут был,— мужчины, женщины, подростки — бросились растаскивать бревна. Варя успела ухватить лишь полусгнивший карниз. От второго простенка ей досталось междуоконное бревнышко. На ее счастье десятник вспомнил про бумагу с надписью: «Первая очередь».

— А ну отходи!— крикнул он.— Сперва получает дрова школа...

Подростки начали помогать Варе подтаскивать бревна. Шофер прикрикнул на людей, греющихся у костра:

— Портки прожжете! Нет чтобы учительнице помочь!

От костра отделился человек в солдатской шинели, за ним другие. Бревна клали на весы сразу по четыре, по пять штук, а десятник называл одну и ту же цифру:

— Десять пудов.

Варя попросила положить на весы восемь бревен. И снова десятник произнес: «Десять пудов»...

К вечеру дрова были перевезены. Варя, уставшая, но довольная, понесла накладную в канцелярию. Из кабинета заведующего учебной частью доносился громкий разговор. Слышались голоса учительниц русского языка и пения, третий голос ей тоже был знаком. Где она слышала эти ханжеские интонации?

Неприятная догадка заставила Варю войти в кабинет. За столом сидела Софья Андреевна. Бывшая Варина начальница постарела, синеватые мешки под глазами были густо запудрены. Платье она носила по-прежнему темное, строгое, на груди был приколот какой-то жетон.

Глава двенадцатая

В тот же вечер в школе Яков Антонович сказал Варя, пряча глаза:

— Софья Андреевна раскаивается в своей ошибке. Она не может простить себе, что отказала вам от места... Отчасти виновата ваша молодость. Софья Андреевна будет заведовать у нас учебной частью. Вы огорчены? Напрасно, уверяю вас.

Слушая сейчас Якова Антоновича, Варя думала: «Жалкий у него характер — душа протестует, а на лице улыбка, и рука сама тянется обменяться рукопожатием».

Так и случилось с ним, когда на пороге кабинета он увидел Софью Андреевну. Господам попечителям теперь было выгоднее посылать грошовые подарки солдатам, чем содержать частную школу Белоконовой.

Софья Андреевна на педагогическом совете похвалила Варю за собранность. Война, тяжелая зима, голодные очереди морально надломили некоторых учителей. Кое-кто являлся в школу небрежно одетым, небритым. Варя же приходила всегда в хорошо отутюженном платье с белым воротничком.

Варя не верила в искренность этих похвал бывшей начальницы. Но постепенно она смирилась с тем, что снова пришлось работать с ней под одной крышей. Да и появились другие невзгоды.

Варю обижали скупые письма Тимофея Карповича. Писал он редко. Не было в его письмах ни жалоб на тяготы солдатской окопной жизни, ни просьб. Исключением было лишь его последнее письмо. Заканчивалось оно довольно странной просьбой: «Сходи на Механический завод, вызови из мастерской Дмитрия или токаря Андреева и передай, что мы, солдаты маршевой роты, — я, Федоренко, Корочкин, — век будем помнить кладовщика Геннадия Игнатьевича Козлодумова. Золотой человек! Иначе его не любило бы заводское начальство».

На конверте стоял штамп: «Просмотрено военной цензурой». Варя не сомневалась: за просьбой скрывается что-то важное. Не таков Козлодумов, чтобы делать людям добро. У Вари возникло подозрение: не он ли тайком выдавал большевистски настроенных рабочих?

Откладывать было нельзя. За четверть часа до гудка на обеденный перерыв Варя подошла к проходной. Дмитрий вышел со старым рабочим — это был Андреев.

Прочитав письмо, Андреев сильно сжал шершавой

рукой гладко выбритый подбородок и, помолчав немного, глухо сказал:

— За такие художества — на тачку и за ворота, а то подстеречь вечерком... — Спыхватившись, он быстро поправился: — Напишите: Андреев, мол, кланяется и просит передать спасибо. Мы и не примечали стараний кладовщика. Если встретит Сидорова и Зайцева, им тоже поклон. Они недавно взяты в маршевую роту. Об остальном Тимофей Карпович пусть не беспокоится...

Варя проснулась от шороха. В темноте смутно выступал синеватый прямоугольник окна. За дверями кто-то тихонько постукивал нога об ногу.

— Кто там?

— Я, Варенька.

Откинув крючок, Варя юркнула в теплую постель. От Анфисы Григорьевны несло морозом. Она была в полушубке и валенках. Развязав шаль, Анфиса Григорьевна зажгла лампу и зашептала:

— Страхи-то какие! Полиции видимо-невидимо на Петровском острове. Сыщики баграми шарят в прорубях на Ждановке. Дворник из соседнего дома заночевал у кума на лесопилке, а утром обоих в участок повели. Замучили их допросами, всё спрашивали про какой-то мотор. А потом в участок принесли калошу, нашли ее у полыньи, против дома князей Белосельских. Говорят, водолазов затребовали из Кронштадта.

Из бессвязного рассказа квартирной хозяйки Варя поняла, что убили какого-то известного человека. Сон пропал. Варя оделась и вышла на улицу. У кинематографа «Слон» собралась толпа.

— Божий человек, жил, никому не мешал, — всхлипывая, говорила дама.

— Гришка-то божий человек? Конокрад! — Мужчина в солдатском ватнике расхохотался. — Чудно, право: человек пьянствовал, молоденькие фрейлинки в баньке спину терли — и пожалуйста, попал в великомученики. — Он плюнул на панель и под одобрительный гул зашагал в сторону Ждановки.

Продавцу газет не дали дойти до угла, его окружила толпа. Деньги совали ему в руки, карманы. Отойдя на два-три шага, люди развертывали газеты.

Редакции будто сговорились. Довольно подробно рассказывали про «поиски трупа важного лица». В некоторых корреспонденциях встречались белые полоски — цензурные изъятия, что еще большей загадочностью окружало поиски на Ждановке и Малой Невке. Кто же

убит? Об этом газеты умалчивали. Но в городе называли одну фамилию: Распутин.

К полудню к дому № 64 по Гороховой улице съехало столько автомобилей и колясок, что городской отсылал извозчиков на «пяточок» возле казарм.

Почитатели и кликуши приезжали выразить соболезнование распутинским дочерям. У одной из них на днях застрелился жених-офицер, у другой на волоске висела уже назначенная свадьба: жениху, князю Микеладзе, была нужна только близость Распутина к царствующему дому.

В столице пережевывали слухи об убийстве Распутина, о неудавшемся замужестве распутинских дочерей. Что правда? Что ложь? Невозможно разобраться.

Спустя несколько дней к Терениным приехал Бук-Затонский. Агнесса и Варя уже отужинали и рассматривали в гостиной новый журнал мод. Неожиданно Бронислав Сергеевич пригласил их опять в столовую. Бук-Затонский разливал шампанское.

— Выпьем за истинно русского человека, великого князя Дмитрия,— торжественно провозгласил Бук-Затонский.

Агнесса и Варя переглянулись.

— Пейте до дна,— потребовал Бук-Затонский.

— Великий князь Дмитрий по велению царя находится под домашним арестом.— Бук-Затонский понизил голос:— Пало подозрение, что князь принимал участие в убийстве Распутина. Военные круги боятся, что полиция убьет Дмитрия. Генерал Хабалов поставил во дворце великого князя рядом с полицейским караулом свой гарнизонный караул.

— Спаси его бог!— Елена Степановна набожно перекрестилась.

— Благодарная Россия не забудет подвиг великого князя.— Бронислав Сергеевич налил шампанского себе и Бук-Затонскому.

Имена убийц — великого князя Дмитрия, Юсупова и черносотенца Пуришкевича — вскоре узнала вся Россия. Обыватели все еще верили в доброго царя. В убийстве Распутина они увидели светлое предзнаменование и мчались в церковь ставить рублевые свечи перед иконой святого Дмитрия.

А на Выборгской шла своя жизнь. В один из этих дней приятель Тюменева пришел в школу и увез Варю на завод — по делу, касавшемуся ее земляка. Варе не очень-то хотелось ехать.

— Нужно,— настаивал Дмитрий.— Вдруг отопрется, скажет, что письмо фальшивое. А народ доказательства потребует.

По дороге Дмитрий рассказал Варю о жизни младшего Козлодумова на заводе. Он очень быстро попал в милость к заводскому начальству. В мастерской каждый уголок был занят, а к кладовой неожиданно прибавили еще комнатенку — неказистую, треугольную, с крохотным оконцем под потолком. Но у комнатки были и свои удобства: по узкой винтовой лестнице можно незаметно выйти прямо во двор.

В мастерской поговаривали, что расширили кладовую для дела, из Англии должны поступить специальные контрольные приборы. Но скоро об этом забыли, а комнатенку Геннадий приспособил для встреч с нужными людьми. Из деревни ему слали бутылки с самогоном. Немало и заводского спирта было распито в комнатенке, прозванной рабочими «Заходи, угощайся».

Сюда приходили постоянные посетители — мастер, писарь из канцелярии воинского начальника. Захаживал сюда кое-кто из начальства.

Никогда еще Варя не была на заводе. Дмитрий оставил Варю в нише, откуда была хорошо видна разметочная плита. Ничто в мастерской не напоминало о предстоящем суде. По сигналу сирены мостового крана внезапно прекратилось чмоканье трансмиссионных ремней. Рабочие начали стекаться к разметочной плите.

Дальше события развернулись так. Оставив Варю в мастерской, Дмитрий присоединился к группе молодых рабочих, которым было поручено вытащить Козлодумова из кладовой.

«Заходи, угощайся» и сегодня была готова к приему гостей. В круглой печке грелся чугунок с картофелем, были припасены и огурчики и грибы. Геннадий вывесил на дверях записку: «Ушел на склад».

Хозяина выволокли в мастерскую.

— Подсобите-ка, ребята,— обратился Андреев к рабочим.— Ишь, боров, отъелся...

Трое парней схватили Козлодумова. В следующую секунду он уже стоял на разметочной плите, испуганный, раскисший.

Подожли рабочие из соседних мастерских. Те, кто опоздал, забирались на поковки и верстаки. Разметочная плита была своего рода трибуной. Здесь сутки стоял гроб рабочего, убитого во время июльской забастовки, отсюда Тимофей Карпович зачитывал резолюцию с

требованиями прибавить жалованье и отменить штрафы.

Толпа молчала. Дмитрий потом говорил Варе, что была минута, когда он даже растерялся,— вдруг расплаются, прибьют мерзавца до смерти. Этого только и нужно охране — заберет лучших товарищей с завода. Но старый токарь Андреев не хуже его оценил обстановку и действовал решительно, но умно, расчетливо. Он сказал кладовщику:

— Расскажи, о чем перешептывался с начальниками!

— Шапку долой!— крикнули в конце мастерской.

Геннадий покорно сдернул солдатскую папаху.

— Расскажи о прейскуранте «Заходи, угощайся»!

— Ответ держать — это тебе не батькину самогонку распивать!

Гневные голоса неслись по мастерской. Андреев вскочил на табуретку, поднял руку. Толпа притихла. Геннадий понял, что если он и дальше будет молчать, ему несдобровать.

— Братцы! За что?

Рабочие еще громче зашумели. Тогда Андреев вынул письмо, потряс над головой. Сразу стало тихо.

— Вот о чем пишет Орлов. Слушайте: «Мы, солдаты маршевой роты,— я, Федоренко, Корочкин,— век будем помнить кладовщика Геннадия Игнатьевича Козлодумова. Золотой человек! Иначе его не любило бы заводское начальство...»

Сложив письмо и спрятав его в конверт, Андреев спросил:

— Ну что, народ, поблагодарим?

— Давай, кладовщик, начистую. Кому помог попасть на фронт по первой категории?— требовал чей-то бас.

Во всем Геннадий мог признаться рабочим: в том, что за хорошие деньги отец откупил его от солдатчины, в том, что у него в кладовке находился потайной погреб. Одного он не мог признать — что по его доносам заводское начальство лишало рабочих брони, а воинский начальник немедленно отправлял их в маршевые роты.

Толпа расступилась, из задних рядов вытолкали поручика с напояженной до блеска головой. Одергивая китель, пугливо озираясь, он жался к плите, ошеломленный тем, что происходит в мастерской.

— Не отрицаю, кладовщик Козлодумов ходил к воинскому начальнику. Как патриот земли русской он не мог молчать. Бунтовщики-шпионы...

Кто-то крикнул:

— На тачку!

И вся мастерская подхватила:

— На тачку!

Поручик отстегнул кнопку на кобуре, но вовремя спохватился: прежде чем он успеет вытащить револьвер, его самого схватят.

— Называй фамилии!— приказал Андреев.

— Сидоров, Орлов, Захарчук,— нехотя перечислял поручик.

— Громче! Чем-чем, а голосом тебя, ваше благородие, бог не обидел!— крикнул Дмитрий.

Двадцать фамилий назвал помощник воинского начальника, двадцать человек, выданных Козлодумовым. Многие уже погибли на фронте. Двое были арестованы месяц назад и находились в пересыльной тюрьме, ожидая отправки в действующую армию или в Сибирь.

Геннадий готов был броситься рабочим в ноги. Только бы жить, жить! Но и на это решиться ему мешала трусость. Он стоял понуро, вобрав голову в плечи, и бормотал «Отче наш».

Рабочие расступились, рослый парень подкатил тачку к разметочной плите и рукой так рубанул Козлодумова под колени, что тот ничком грохнулся в тачку.

Он лежал, уткнувшись лицом в вонючее днище, но тачка не трогалась. Все чего-то ждали. У пресса, напоминающего балдахин, кто-то поднял бумажный куль. Куль поплыл над головами к разметочной плите. Несколько человек разом рванулись вперед, разорвали бумагу, и густая красно-оранжевая завеса на миг скрыла доносчика и тачку.

— Встань,— приказал Дмитрий.

Медленно, с опаской поднимался Козлодумов — жалкая фигура, обсыпанная суриком.

— Дегтю!

— Перьев!

Рабочие могли простить человеку многое, но только не предательство. Дело могло дойти до убийства. Андреев подал знак. Здоровенный парень лихо покатил тачку по главному проходу. Козлодумова вывезли на Арсенальную набережную и вывалили в кучу мусора...

Расправа с Распутиным сильно напугала Романовых. Пехотный полк, в котором служил Тимофей Карпович, неожиданно сняли с фронта и в классных ваго-

нах привезли в Царское Село. А через сутки был отдан новый приказ — двум батальонам расположиться в Петропавловской крепости, третьему — в казармах гренадерского полка.

Варя ждала Тимофея Карповича возле полковой часовенки у Гренадерского моста. Увольнительную он получил только на полчаса. Можно бы постоять у часовенки, но из казармы часто выходили офицеры, Тимофей Карпович то и дело обрывал разговор, отдавая честь.

— Отойдем в сторонку, — предложила Варя.

Они спустились к реке. Смеркалось.

Тимофей Карпович молчал. «Какой-то он стал странный, — думала Варя. — Столько не виделась, и молчит». Если бы он взял ее под руку, и она бы прижалась к нему, обняла... Но он молчал, и тогда она сама притянула его за рукав, повернула его лицо к себе:

— Что с тобой? Ты точно не рад, что вернулся.

— Вернулся, — угрюмо сказал Тимофей Карпович. — Разве это возвращение, Варенька? У солдат на уме одна думка: «Штык в землю — и по домам». Вот это будет возвращение. Тяжкий у солдата жребий... И самое тяжелое здесь, — сказал он, помолчав, и Варе показало, что даже скрипнул зубами.

— Да что с тобой? — крикнула она в отчаянии. — Как бы ни было, ты здесь. Это лучше, чем жить в окопах и каждую минуту ждать смерти.

Он усмехнулся так, что у нее сжалось сердце.

— Бывает, что и в окопах лучше жить. Не маленькие, знаем, зачем нас сняли с фронта. По своим стрелять, вот зачем.

Она ничего не ответила, только в ужасе смотрела на него и вдруг обеими руками обхватила его голову и прижала к себе. Он закрыл глаза. Только сейчас она поняла, до чего Тимофей измучен, как тревожно у него на сердце.

— Солдату пора, Варенька.

Это свидание на многое открыло Варе глаза.

...Царская семья и после гибели «старца» не пожелала расстаться с ним. Распутину похоронили в часовенке, недалеко от Александровского дворца в Царском Селе.

Царь рыдал над трупом проходимца, воздавая ему почести, а в это время тысячи солдат хоронили без гробов в братских могилах.

Положение на фронте все более осложнялось. Немцы, захватив Польшу, успешно наступали в Прибалти-

ке. Солдаты смертельно устали. На Двинском фронте батальон 17-го пехотного полка отказался пойти в атаку. Да разве только этот батальон не хотел воевать!

Положением на фронте и дворцовыми интригами были недовольны и многие верные монархии генералы.

К Терениным как-то заехал генерал Крымов. Вспомнив рассказы Елены Степановны, которой он приходился дальним родственником, Варя ожидала увидеть еще не старого, обаятельного офицера, а за столом сидел тучный человек, седеющие волосы очерчивали лысину на большой голове. Потягивая маленькими глотками коньяк, пряча под припухшими веками снисходительную усмешку, он слушал, как Бук-Затонский поносил порядки на Двинском фронте:

— Где это слыхано? Роты отказались идти в атаку. О чем думает военно-полевой суд?

— Вынес приговор.— Крымов легонько щелкнул черным перстнем по рюмке и, прислушиваясь к мелодичному звуку, сказал:— А вот расстрелять некому.

— Дожили!— трагически воскликнул Бук-Затонский. Казалось, что он сейчас отправится на Двинский фронт и сам расстреляет взбунтовавшихся солдат.

Агнесса и Варя не принимали участия в разговоре. Они пришли в гостиную лишь по настоянию Крымова. Он пожаловался Теренину, что его глаза устали от цвета шинелей, защитных кителей и гимнастерок.

Шрапнельная мастерская приносила Теренину неслыханный доход, но он видел ненадежность этой прибыли. Ему были понятны усталость и насмешливо-покровительственный тон Крымова в споре с Бук-Затонским.

— Да, к сожалению, не нашлось людей, чтоб поставить к стенке двести мерзавцев. Я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день солдаты воткнут винтовки в землю и разойдутся по домам.

Варя не поверила. Известный генерал, будто под диктовку, повторил слова Тимофея Карповича. Нет, она не ослышалась.

— Винтовки в землю?— угрожающе зашипел Бук-Затонский.— Это же предательство!

— А еще хуже будет для нас с вами,— усмешка исчезла с лица Крымова,— если солдаты, расходясь по домам, прихватят винтовки...

С этого дня, встречая солдат-фронтовиков на улице, Варя невольно вспоминала слова Крымова. Но она не подозревала, что гроза уже близко.

Февраль завьюжил метелями над столицей. Лишь немногие дворники по старой привычке обходили свои участки, счищали снег, посыпали панели золой.

Запустение на улицах столицы... Очереди и очереди... В закоулках хозяйничали мешочники. Появились спекулянты дровами. За несколько поленьев или два-три куска угля они брали полфунта сахара или буханку хлеба. Люди жгли столы, шкафы, табуретки, корыта, сундуки.

О поражениях на фронте говорили в очередях. В донесениях осведомителей приводились такие высказывания: «Война нужна Путилову и компании резинового общества», «Ей-то (читай: императрице Александре Федоровне) нет дела, почему фунт хлеба; плачет по своим германцам и блудодею Гришке».

Офицеры не требовали от солдат лихой отдачи чести. Городовые отсиживались у знакомых дворников, по улицам ходили по двое.

Тимофей Карпович прислал записку, просил Варю прийти к казармам. Почти два часа простояла она у ворот, а он так и не вышел. Часовой, жалея ее, сказал:

— И не жди, милая, никого не выпускают. Разве для забавы по две сотни патронов выдали? Непокойно в городе, как бы сегодня не началось. Да их и бомбами не одолеешь!

Часовой качнул головой: мол, там, на Выборгской. С опаской оглядевшись, он продолжал, окая по-вологодски:

— Хабалову не отчитываться перед царем в патронах, поди, за чаркой обо всем договорились. Вон обклеили заборы. А кому грозит? Немцу? Своим грозит.

За воротами послышался цокот копыт, нетерпеливое ржание. Часовой подтянулся. Варя тихонько пошла прочь от ворот. Ее внимание привлек забор, залепленный обращениями начальника Петроградского военного округа генерала Хабалова. Генерал уговаривал рабочих не бастовать, не устраивать манифестаций. В противном случае, писал Хабалов, он оружием наведет порядок в городе. Тон обращения был ультимативный. Если в батальоне Тюменева выдали боевые патроны, кто поручится, что не будет повторен приказ Трепова «холостых залпов не давать, патронов не жалеть»?

Угроза не испугала рабочих. В столице уже бастовало около двухсот тысяч человек.

«Началось»,— думала Варя, опечаленная тем, что не состоялось свидание. Наверное, Тимофей Карпович

позвал ее по какому-то важному делу. «Ладно, приду завтра в тот же час», — решила она.

Увидеться с Тимофеем Карповичем нужно было и по другой причине. В вестибюле школы Варю поджидал гость. Дмитрий сидел на лавочке и о чем-то мирно беседовал со сторожихой. На коленях у него лежала посылка, зашитая в холст, с почтовыми штемпелями, — гостинец из деревни.

Варя с полуслова поняла, что за «гостинец» в посылке:

— Снесу... Я завтра снова собираюсь, но боюсь, вдруг опять не выйдет.

— Не завтра, а сегодня, — настойчиво сказал Дмитрий. — Подкупите какого-нибудь солдата.

— Дать деньги?

Дмитрий передал Варю несколько пачек папирос.

— Деньги — взятка, а папиросы — подарок. Только не все сразу отдавайте. Сначала одну пачку, потом остальные.

Когда они вышли из школы, у парадной прогуливался городской. Варя понялась назад. Дмитрий решительно взял ее под руку:

— Спокойнее. Фараону не до нас. Он наблюдает, чтобы прохожие не помешали устанавливать пулеметы. Башенка удобная, что и говорить. Три улицы под огнем.

В трамвай Варя села вместе с Дмитрием, а сошла одна у Большой Вульфовой. Он проехал еще остановку. Там его должны были ждать два товарища, — втроем легче в случае чего выручить Варю.

Запасные ворота в казарме оказались открытыми. Солдаты вывозили снег со двора. Варя смело подошла к повозочному:

— Будьте любезны, это не Гренадерские казармы?

— Они самые, а вам кого?

— Новенького, недавно прибыл в батальон.

— Много их, новеньких, — солдат отвернулся.

— Я в долгу не останусь, — сказала Варя.

Повозочный взял пачку папирос, опустил в карман шинели:

— Фамилия ему как?

Варя назвала фамилию:

— Орлов.

— Клади под сено посылку, доставлю. Харч, наверно?

— Из деревни гостинец.

Повозочный наклонился к Варе:

— Угости и ребят подымить.

— Хорошо, передайте.

Повозка со снегом въехала во двор.

На углу Дмитрий догнал Варю.

— Извините, проводить не могу, спешу,— просто сказал он.— На днях увидимся.

— Хорошо,— кивнула Варя. Она и не подозревала, что видит Дмитрия в последний раз.

Под видом посылки из деревни Варя передала пачку листовок.

«Ждать и молчать больше нельзя,— говорилось в листовке Петроградского комитета РСДРП.— Рабочий класс и крестьяне, одетые в серую шинель и синюю блузу, подав друг другу руку, должны повести борьбу со всей царской кликой, чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором.

Прятать голову и закрывать глаза подло... Настало время открытой борьбы».

Трамваи не ходили. Варя возвращалась домой пешком. У Петропавловской больницы солдат с красной повязкой на рукаве рассказывал в толпе, как его товарищи из 4-й роты Павловского полка вступились за рабочих, открыли огонь по отряду конных городских.

Ночью на окраинах Петрограда горели костры, у которых грелись рабочие патрули. На подступах к заставам, к Выборгской стороне дымились жаровни, к ним жались спешившиеся жандармы. Город открыто разделен на два непримиримых лагеря. Уже ходили слухи, что из ставки Хабалов получил телеграмму: «Повеlevаю завтра же прекратить в столице беспорядки. Николай».

Рассвет следующего дня входил в столицу под грохот винтовочной и пулеметной стрельбы. Варя пожалела, что не послушалась Анфисы Григорьевны и велела ученикам приходить на занятия. Она взяла портфель и, прихватив полено, поспешила в школу: последние недели ученики и учителя протапливали класс в складчину.

Собралось меньше половины класса. Последним прибежал запыхавшийся Аркаша, сын рабочего с «Баварии». Он принес кусок угля, обойму патронов и кучу новостей:

— Вулкановцы городских ловят. Пошли палить участок, бочонки керосину перед собой катят. Ух и костер разведут!

Занятия, конечно, не состоялись. Варя отобрала у Аркаши патроны, развела ребят по домам.

Сменялись короткие зимние дни, а событий произошло за эти дни больше, чем за столетие. Николай Второй отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Варя видела, как на Сергиевской улице рабочие оружейного завода снимали городских с крыши какого-то особняка.

На Литейном проспекте горел окружной суд. Посреди Захарьевской улицы был разложен огромный костер. Люди бросали в огонь охапки судебных дел. Ветер гнал по улицам опаленные листки, снег почернел на Неве у Литейного моста.

По Шпалерной к Таврическому дворцу шли воинские части и отряды рабочих. В городе носились слухи, что перепуганные члены Государственной думы ждали ареста. Выручил всех депутат думы Керенский. Он выскочил на улицу приветствовать революционный народ.

Стрельба на улицах, пожар окружного суда напугали Варю. Она не осмелилась идти домой и решила переночевать на Моховой. Двери, как всегда, открыла приветливая Даша. Теренины отдыхали в столовой, у камина. На латунном листе рядом с кочергой валялась пустая позолоченная рамка, еще вчера из нее выглядывал хозяин земли русской, король польский, князь финляндский и прочая и прочая...

Глава тринадцатая

Февраль выдался снежный. На окраинах города мостовые сузились так, что напоминали прорытые в снегу траншеи. Трамвайные пути, даже в центре, угадывались лишь по столбам и заиндевшим проводам.

Ветер шевелил на заборах обрывки приказов военного губернатора, вздувал листки воззвания Временного правительства. Отречение Николая Второго мало кого удивило. Еще меньше разговоров вызвал в Петрограде отказ Михаила принять корону. Романовы отказались от трона, который им уже не принадлежал.

В день отречения с утра в Екатерининском зале Таврического дворца паркет еще светился зеркальным блеском, а к ночи посерел под солдатскими сапогами и валенками. Зал, в котором когда-то происходили балы петербургской знати, был скорее похож на временную казарму. К люстрам подымался сизоватый махорочный

дым. Стояли винтовки в козлах. На узких диванах возле стен и на полу спали солдаты — под боком сено, под головой вещевой мешок.

А рядом со спавшими жизнь была ключом. Входные двери дворца не успевали закрываться. Приходили делегации, патрули и добровольцы конвоиры. В зале у входа расположился какой-то воинский штаб. Немолодой усатый писарь довольно быстро печатал на стареньком «ремингтоне». У ломберного стола солдат в казачьих шароварах старательно чистил пулемет. Сестры милосердия раздавали хлеб, сахар, наливали в солдатские кружки и дворцовые стаканы чай, темный как деготь.

Очереди у булочных, лабазов и лавок не убавились, а люди верили, что мир и спокойная, сытая жизнь наступят завтра-послезавтра. В петлицах у людей красные бантики — цвет революции.

Варя купила на улице алый бумажный цветок. Продавец поздравил ее с победой. А Тимофей Карпович, забежав к ней на минутку, зло швырнул на стол смятую газету:

— Народ сражается, а львовы, милюковы, тучковы и керенские захватывают власть...

Он спешил на митинг в цирк «Модерн», оставив Варю в полном недоумении. С каким восторгом в учительской Вариней школы встретили телеграмму Керенского военному губернатору Сибири! И Варя хлопала от души в ладоши. А Тимофей Карпович недоволен. Чем плоха телеграмма Керенского?.. «Подтверждаю предписание товарища министра Чебышева о немедленном и полном освобождении членов Государственной думы Петровского, Муранова, Бадаева, Шагова и Самойлова. И возлагаю на вас обязанность под личной ответственностью обеспечить им почетное возвращение в Петроград».

Непонятно, чем недоволен Тимофей Карпович.

Вызвала оживленное обсуждение в учительской и необычная подпись под этой телеграммой: «Член Государственной думы, министр юстиции гражданин А. Керенский».

Не о свежем ли ветре в России говорила эта подпись? С монархией покончено, ненавистный всем Николай Кровавый отставлен от царских дел, не миновать ему скамьи подсудимых. Варя не знала, что министры Временного правительства уже гадали: куда отправить из Царского Села смещенного императора. Голоса разделялись: одни предлагали в Тобольск, другие в Анг-

лию. Керенский изъявлял согласие сопровождать пленника революции до берегов Темзы.

Занятия в школе были отменены, но кое-кто из преподавателей все же пришел. Не сиделось дома и Варя. Сторожиха согрела самовар и принесла в учительскую.

Учитель физики разливал чай, Варя щипчиками колола сахар, когда во двор школы, громыхая, въехал грузовик. Учителя кинулись к окнам. С шоферского сиденья спрыгнул Яков Антонович, но в каком воинственном виде! В коричневой кожанке, грудь перекрещена пулеметными лентами, за плечом — винтовка с красной ленточкой на штыке, на матросском ремне — граната. Когда он шел по двору, по ноге била деревянная кобура маузера.

От чая Яков Антонович не отказался, раздеваться, однако, не стал, расстегнул только кожанку и снял паху.

— Вы откуда?— Учитель пеня легко повел головой, имея, должно быть, в виду Зимний дворец.

— Позвольте, позвольте,— вмешался в разговор учитель физики,— не в анархисты ли вы записались?

Яков Антонович молчал и улыбался, поглаживая кобуру. Варя видела, что его самого распирает желание рассказать новости.

Случайно Яков Антонович попал в Таврический дворец, случайно оказался начальником какого-то отдела в министерстве финансов. Не веря в крепость и долговечность своего высокого назначения, он оставил за собой и школу. Обязанности у него были довольно странные. Якову Антоновичу выдали оружие, мандат и дали в его ведение команду солдат. Он разъезжал по особнякам монархистов, которые сбежали от революции, грузил ценности и свозил в кладовую банка.

Солдаты выгружали во дворе школы уголь, где-то прихваченный вместе с ценностями, а Яков Антонович восторженно перечислял вывезенные им уникальные сервизы, золотую и серебряную посуду, дарственные табакерки.

— Плясунья-то жила на царских харчах,— вдруг загадочно проговорил Яков Антонович и вытащил из левой сумки узкую записную книжку, вслед за которой появилась фотография.— У министров и то куш был поменьше.

Любопытство овладело всеми.

— Под Новый год плясунья получила,— продолжал он,— восемнадцать тысяч рублей, в январе — пят-

надцать, в феврале — двадцать. И всё от неизвестного «С».

Давно говорили, что прима-балерина Кшесинская — любовница царя. Но многие сомневались: так ли это? Не сплетня ли? Вот ведь и деньги на содержание выплачивал Кшесинской некто «С». Яков Антонович взял фотографию Николая Второго и прочитал дарственную надпись: «На дружбу. Николай».

Фотография пошла по рукам.

— Сбежала, и довольно хитро. Двадцать седьмого числа ушла с сыном прогуляться, ни мотор, ни коляску не взяла. Прислуга решила, что госпожа задержалась у знакомых.

Когда Яков Антонович сегодня приехал в особняк Кшесинской, горничная провела его наверх, в личные комнаты хозяйки. Ни малейшего следа бегства! На ночном столике раскрытый роман, на спинке кресла — халат, приготовленный к ночи. Но более всего свидетельствовал о временном отсутствии хозяйки полторафунтовый золотой веночек, подарок почитателей, который лежал на письменном столе под стеклянным колпаком...

Солдаты разгрузили уголь. Варя позвала их пить чай. Они поблагодарили и отказались. Сторожиха вынесла из швейцарской тарелку капусты и два стакана, шепнула Варе:

— До чаю ли им, коньячку прихватили из погреба Кшесинской...

Временами казалось, что свержение самодержавия произошло давным-давно. Столько свершилось событий! В Таврическом дворце заседает Петроградский Совет, из Сибири возвращаются политические ссыльные.

Между тем жертвы революции всё еще лежали в покойничьих. Не похоронили своих героев Нарвская, Московская и Невская заставы. Городская комиссия отказывала родственникам в выдаче тел. Рабочие и солдаты, погибшие в боях за революцию, принадлежали народу. Предполагалось, что в траурной процессии примет участие около миллиона людей. Ожидаемое скопление пугало организаторов похорон.

Во Временном правительстве, в Петроградском Совете и в самой комиссии возникли разногласия — где хоронить. Одни считали, что лучшее место для братской могилы — Дворцовая площадь. Другие решительно возражали. Нельзя на парадной площади устраивать кладбище. Надо хоронить на Преображенском, рядом с братской могилой жертв революции 1905 года. В разгаре

споров Максим Горький нашел третье, примиряющее решение — Марсово поле.

Хотя и удачно было выбрано место для братской могилы, день похорон все откладывали. Известить о нем должны были газеты. В марте очереди у газетных лотков не уступали хлебным.

Репортеры «Петербургского листка», «Нового времени» напали на золотиносную жилу. В их рассказах о жизни пленника Временного правительства — бывшего царя — слышались сочувствие и плохо скрытые слезы монархистов. Между тем, хотя царские министры сидели в камерах Трубецкого бастиона, сам развенчанный венценосец по-прежнему занимал дворец в Царском Селе, да и прислуги у него оставалось около трехсот человек. Репортеры с чувством описывали, как Николай Второй расчищал от снега дорожки в парке, умилялись поведению начальника караула, который во время прогулки бывшего царя держался от него на почтительном расстоянии. Газеты наперебой сообщали, почему у дочерей Романова Ольги и Татьяны после кори — запоздалой для них болезни — держится высокая температура. Черносотенцы требовали выдать Романову «цивильный лист», а фронтовики предлагали назначить бывшему царю солдатский паек. Не был забыт и Распутин. Солдаты сожгли труп ненавистного «старца» на костре.

Варе надоели эти сенсации. Она искала в газетах извещения похоронной комиссии. Первого марта в схватке с жандармами погиб Дмитрий.

Во вторник по городу разнесся слух, что Временное правительство высылает бывшую царскую семью и царя в Англию. На следующее утро снова вытянулись очереди обывателей у газетных киосков.

За день до того, как в школе были прерваны занятия, старшая группа неожиданно устроила Варю обструкцию. Ученики не встали при ее входе, на классной доске мелом четко были выведены слова: «Долой новую орфографию! Да здравствуют „ять“, „фита“, „и десятиричное“ и „твердый знак“».

Новую орфографию еще только собирались вводить. Странно было и то, что бунт начался на уроке математики, а не русского языка и литературы. Но у Вари не было времени на раздумье: тридцать пять пар глаз следили за ней.

— Артюхин, — назвала Варя первого попавшегося ей на глаза ученика, — вытрите доску.

Белобрысый увалень тяжело поднялся со скамьи.

— Вы больны?

Артюхин, одобряемый взглядами товарищей, вдруг выпалил:

— Мы все любим ять, фиту и десятиричное. Разве можно слово «Россия» написать без десятиричного и?

— Ах вот оно что! Молодые сторонники старой орфографии? — усмехнулась Варя. — Пусть будет по-вашему.

Ученики были огорошены таким заявлением. Трусливый Артюхин, помедлив, все же вылез из-за парты и вытер доску. Варя извлекла из шкафа таблицу слов на «ять» и повесила на гвоздь рядом с доской:

— Пользуйтесь сколько угодно, а сейчас займемся делом.

Конечно, мальчишки не сами решились на выступление в защиту старой орфографии. За ними стояли их отцы и матери. Но что это за отцы? Артюхин — Варя вспомнила это — не раз хвастал отцовской лавкой. А остальные? Мелкие чиновники, мастера. Это очень ее огорчало. Но Яков Антонович все свел к чудачеству ребят.

Варя вернулась домой поздно. Анфиса Григорьевна стирала на кухне. У ее ног лежал ворох солдатского белья.

Иногда Варя помогала хозяйке стирать, но сегодня усталость валила ее с ног.

Анфиса Григорьевна, подбросив стружек в плиту, подвинула на конфорку солдатский котелок со щами и сказала:

— В лазарете дали... Мои все отужинали, а это тебе. Поешь. Завтра, значит, собираешься на Марсово? Умаеться и без стирки. С «Вулкана» все идут хоронить. Не проспишь? Или разбудить?

— Лучше одолжите будильник, мой стал ненадежен.

— Разбужу, мне хорошо б к заутрене управиться.

В третий четверг марта 1917 года весь Петроград вышел на улицы отдать последний долг героям революции. В это утро город проснулся в трауре. Далеко не все домовладельцы успели приобрести флаги, поэтому нередко можно было видеть на древке кусок неподрубленной материи и на ней две-три черные ленты.

На Большой Монетной Варю окликнула параличная старуха в кресле-коляске:

— Туда, доченька, идешь?

Варя утвердительно кивнула.

Старуха поманила Варю, молча вынула из-под ватного одеяла красную ленту с черными краями и повязала ей на руку.

Поблагодарив старушку, Варя взглянула на часы и прибавила шаг.

В это сумрачное мартовское утро Варе показалось, что вся Выборгская сторона пришла к стенам Военно-медицинской академии. Тысячи людей — и ни одной шутки, тысячи людей — и ни одной улыбки. Озябшие, желая согреться, не толкали, как бывает, друг друга в плечо, а переминались с ноги на ногу. Лица женщин были скорбны. Мужчины старались курить незаметно, пряча сигарку в рукав.

Варя так и не поняла, случайно встретилась она с Тимофеем Карповичем или он дожидался ее и, пользуясь правами начальника колонны, отвел к знаменосцам. Его сразу отозвали, но Варя больше не чувствовала себя затерянной среди тысяч незнакомых людей.

Знаменосцев отделяла от колонны участников похоронного шествия свободная часть улицы, куда пропускали делегации с венками и родных погибших. Со стороны Петропавловской крепости донесся первый выстрел. Это василеостровцы опустили на Марсовом поле в землю первый гроб. На какую-то минуту наступила тишина на Выборгской стороне. И вдруг люди на Нижегородской улице, в переулках, прилегающих к Финляндскому вокзалу, запели:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу...
Вы отдали всё, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу...

Словно сдуло шапки и папахи с голов. Знамена поникли.

На улицу из часовни начали выносить венки — почти все самодельные, сплетенные руками товарищей из хвои, из железных и латунных вырубков.

Скорбь в мелодиях оркестра, скорбь на лицах людей.
— Несут! — негромко вскрикнул кто-то.

Варя прикрыла глаза, стараясь сдержать подступившие слезы.

Ее сосед — коренастый старик с рыжими отвислыми усами подтолкнул плечом всхлипнувшего знаменосца:

— Крепись, парень. Это еще не последняя кровь. Ровно держи стяг.

Парень неловко провел ладонью по лицу и, не поднимая головы, вскинул знамя выше. Варя догадалась,

почему старик ободрял паренька. С полотнища гордо глядели рабочий, крестьянин и солдат. Союз людей, свершивших революцию.

Во время выноса останков погибших Тимофей Карпович так и не выбрал минутки подойти к Варе, а ей больше не у кого было узнать, в каком гробу Дмитрий. Она жалела, что не сможет ни попрощаться, ни проводить его до могилы.

Лишь только ступили знаменосцы на Литейный мост, как снова одиночный орудийный выстрел на секунду заглушил оркестр. Колонны Выборгской стороны еще не перешли через мост, а в братскую могилу на Марсовом поле уже опустили несколько гробов.

На Садовой недалеко от Инженерного замка Тимофей Карпович догнал колонну и шепнул Варе:

— Дмитрий — пятый по счету, проводим до могилы.

— Разрешат ли?

— Пойдем к старшему.

На Марсовом поле Варя сменила у гроба Дмитрия молодую работницу. Варя шла третьей, не ощущая ни тяжести, ни того, что металлическая ручка режет ладонь.

Идущие в первой паре солдаты свернули на дорожку. Перед глазами Вари открылось четырехугольное кладбище. Между могил — невысокий дощатый помост. Орудийный выстрел с Петропавловской крепости вызывал здесь, у открытых могил, еще большую скорбь. Варю сменил солдат. Она огляделась по сторонам. Где же Тимофей Карпович? В эту минуту рабочие и солдаты подняли на красных жгутах гроб Дмитрия. Раздался орудийный выстрел, и гроб опустили в могилу. Варе показалось, что колонна Выборгской стороны замерла. Издали доносилось тихое пение:

Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный.

У помоста кто-то в военной форме опустился на колени. И больше Варя ничего не видела, земля заколебалась под ее ногами...

Очнулась она на санитарных носилках в комнате, пахнувшей аптекой. Настольная лампа, загороженная простыней, бросала свет на походную аптечку, тумбочку с горящей спиртовкой. «Не в больнице ли я?» — подумала Варя. Нет, не похоже, на ней свое платье, рядом нет кроватей. Луч прожектора робко скользнул по фрамуге и пропал. Свет настольной лампы и пламя спиртовки еще более потускнели.

Что же такое с ней? Чуть приподнявшись на носилках, Варя невольно зажмурилась. Теперь лучи прожектора залили комнату. Ее глаза скоро привыкли к яркому свету. Оглядевшись, Варя догадалась, что находится в какой-то военной канцелярии. Простые столы, шкафы, а на стене учебные плакаты для солдат.

Ей захотелось встать, подойти к окну, но неожиданно она ощутила острую боль, потрогала шею и вместо шарфа нащупала марлю. И тут Варя вспомнила чей-то испуганный крик у могилы: «Боже мой, лопата!» Видимо, теряя сознание, она ударилась о лопату.

Варя позвала: «Есть кто-нибудь здесь?» Никто не ответил. Превозмогая слабость, она добралась до окна. Ей хорошо были видны Марсово поле, деревянный помост, могилы, строгая нескончаемая процессия. И вдруг погасли прожектора. Но Марсово поле не погрузилось в темноту. Колеблющееся пламя факелов озарило путь шествию. От этого неверного света и раздуваемого ветром дыма у Вари заняло сердце.

Она приоткрыла форточку. В комнату ворвался гул орудийного выстрела, траурные мелодии, пение тысяч людей:

Вы отдали всё, что могли...

Похороны подходили к концу, над тремя братскими могилами высились продолговатые холмы.

— Надо полежать, голубушка.

Варя оглянулась. В дверях смежной комнаты стоял и смотрел на нее человек с окладистой бородой, в белом халате.

Прошло два месяца, и Варя понемногу начала разбираться в том, кто выиграл от февральского переворота. По-прежнему простые люди голодали. По-прежнему Россия продолжала войну. Росло в народе недовольство Временным правительством. Появился лозунг: «Долой десять министров-капиталистов!»

Варин класс в школе уменьшился почти вдвое. Часть ребят родители отправили в деревню к родственникам, три ученика заболели цингой. Попытки Вари открыть на лето детскую площадку оказались безуспешными. Разрешение выдали, а в продуктах отказали. Была возможность поехать на каникулы в деревню, но Варю не радовала встреча с отцом, да и голодно бедноте в Кутнове. Недавно мать сообщала в письме: «...Вернулся со-

седский сынок. Недели три хоронился в баньке, а нынче подался в милицию, ловить дезертиров. Батяка евонный молебствия устраивает за победу над германцем. Новые поборы пошли. Все наши земляки супротив смертоубийства, а глядишь, одна тащит лукошко муки, другая яиц, третья шерстку, что на валенки сберегала. Кто же для солдат откажет? О тебе Генка худо отзывается: большевичкой обзывает. Благодарим бога, что нам, твоим родителям, сам-то Козлодумов не отказывает в хлебе».

В воскресенье Варя повела сына квартирной хозяйки смотреть туманные картины. В полковой церкви на Спасской улице в это время кончилась служба. Народ хлынул на улицу. Варя взяла за руку мальчика и сошла с панели, но что-то ее заставило оглянуться. У входа стояла нарядно разодетая Соня и раздавала прихожанам какие-то цветные книжечки.

Варя обратила внимание на то, что Соня старается, чтобы книжечки попадали солдатам. Поговорить бы с ней, но мальчик хныкал, боясь опоздать на живые картины.

После сеанса, отведя сына хозяйки домой, Варя пошла на Ямбургскую. Соня была дома. В ее комнате уже не было запаха дешевых духов, на столе лежала стопка соломки, кружок металлической узкой ленты, перья, заколки, а с плеча спадал мягкий портновский аршин.

— Мастерю шляпку, примешь в подарок?

— С удовольствием, только потрафите ли?— пошутила Варя.— Я ведь капризная.

Но Варю сейчас интересовала не шляпка, а как Соня очутилась на церковной паперти.

Проворно убрав со стола, Соня поставила чашки. Варя поймала ее за руку и усадила рядом:

— Я сегодня проходила мимо военной церкви.

— И не призналась?

Варе показалось, что Соня не только не смутилась, но даже была этому рада.

— А я там книжечки раздавала,— показала она одну Варе. Внутри корочек была листовка, похожая на те, что она видела у Тимофея Карповича. Варя придвинула лампу. «Товарищи солдаты, рабочие и крестьяне, матери, невесты, сестры,— читала она шепотом.— Каждый день война уносит тысячи людей, с каждым днем все больше сирот и вдов...»

— Откуда?

— Одной работнице с «Керстена» поручили, а она струсила, пришла ко мне, обревелась.— Соня кивнула на печку,— чуть со страху не сожгла. Я отняла и разда-
ла. Люди ведь правду пишут.

Варя обняла Соню.

— Такую литературу не берут на память, мало ли, нагрянут с обыском. Пойдешь по 102-й статье...

Варя осталась на лето в городе. В лазарете ее охотно зачислили сестрой милосердия.

Произошли перемены и у Тимофея Карповича. Его вернули на Механический завод, но оставили на военной службе. Жил он в казарме. Встречалась с ним Варя редко, и встречи эти были короткие, возле заводской проходной.

Варя еще дремала, отдыхая после дежурства, когда Анфиса Григорьевна впустила к ней в комнату босоногого мальчишку-газетчика.

— Читай, тетенька, очень спешное...

Мальчишка протянул ей вчетверо сложенный листок. От денег маленький нарочный отказался, а перед куском хлеба не устоял.

Записка была довольно странная. На последнем свидании Тимофей Карпович просил Варю не приходить раньше пятницы, и вдруг — перемена. Да и зачем ему понадобилась провизионная сумка?

Прочитав записку, Варя взглянула на будильник. Одиннадцать, через час ей надо быть на Арсенальной набережной. Она быстро собралась и на улицу.

Тимофей Карпович ждал Варю на берегу. С ним был еще какой-то рабочий в синей блузе и брезентовых брюках. Варе он показался старым, но, подойдя ближе, она увидела, что ему нет и двадцати лет. Он плохо отмыл лоснившуюся копоть, на лице остались старившие его грязные борозды.

— Нам до воскресенья не выбраться в город, спать приказано в мастерской. Нужна твоя помощь. Прочитай, все узнаешь.— Тимофей Карпович протянул Варе газету.

Первое, что ей бросилось в глаза, была заметка, обведенная чернилами:

2

Нашим друзьям!

Мы обратились к вам за поддержкой и просили вас собрать 75 тысяч рублей на покупку партийной типографии. За несколько дней вы собрали 75 334 р. 45 коп.

Предполагалось приобрести типографию за 150 000 рублей, но она не могла быть куплена, так как в последний момент нам ее отказались продать. Другой типографии «по деньгам» не находилось. Нашлась типография, за которую просили дороже.

Остаться без типографии в настоящее время немислимо. У нас должна быть необходимая техника для издания нашей литературы, и мы решились.

Вчера типография куплена. Она стоит 235 тысяч рублей, а вместе с ротационной машиной, приобретенной в Гельсингфорсе у товарищей финнов, — около 250 000. Вместе с собранными нами мы смогли мобилизовать только 180 000 рублей. Ко дню уплаты не хватит 70 000 рублей. Необходимо достать их. Иначе мы должны будем заплатить неустойки большую сумму денег и останемся без типографии.

Но мы твердо уверены, что этого не будет.

Мы решились купить типографию, общими усилиями мы соберем и остальную необходимую сумму. Купить дешевле оказалось невозможным.

Срок уплаты денег за типографию — 15 мая. Времени остается около 3 недель. За это время необходимо во что бы то ни стало собрать указанную сумму.

Так вот зачем Тимофею понадобилась сумка для провизии! Сбор! У Вари оказалось при себе немного денег, и она опустила в сумку и свой вклад — ленточку неразрезанных керенок.

В эти дни «Правда» была единственной в столице газетой, выступавшей против войны. Остальные еще настойчивее призывали «добить германца».

Позавчера, когда Варя уходила от Терениных, с ней вышла и Даша. На улице она взяла Варю под руку и торопливо заговорила:

— Никогда не случалось, а тут зашел в кухню. Нужда у него по вас. «Варвару Емельяновну мне бы повидать», — так и сказал, жалостливо-жалостливо.

— Кому я понадобилась? — удивилась Варя. — Случайно не Бук ли Затонскому?

Даша сердито мотнула головой:

— Валентину Алексеевичу.

— Ловягин в Петрограде?

— За солдатами приехал.

Эта новость ошеломила Варю. Агнесса, обычно повеявшая ей свои маленькие тайны, умолчала о приезде Ловягина. Странно. Даша будто догадалась, о чем задумалась Варя. Заговорщицки оглянувшись, зашептала:

— Нехорошо встретились, поругались. И не Бук сердешный тут виноват. Агнесса вышла в форме. Валентин Алексеевич какую-то дерзость ей сказал. Не пойму, чего ее тянет в этот бабий батальон. А хозяину в коридо-

ре он такое выпалил, что у меня ум за разум.— Даша сжала Варин локоть.— Прямо страхи.

— Раз замахнулись, говорите, я не сахарная.

— Срамотно, Валентин Алексеевич назвал батальон не ударным и не смерти, а сборищем шлюх.

— Бронислав Сергеевич возразил?

— Хозяин отмолчался.

Варя и сама не понимала, откуда у Агнессы появился интерес к «батальону смерти». Наверно, мать толкнула ее на этот необдуманный шаг. Подруга Елены Степановны вошла в штаб формирования женских батальонов в России, их разговоры о спасении родины подействовали на Агнессу.

Поначалу Варя подумала, что Агнесса чудит от скуки, но однажды застала в гостях у Терениных прыщеватого прапорщика, а когда в портновской Преображенского полка Агнессе сшили военную форму из тонкого сукна, юбку и гимнастерку, то поверила в серьезность ее намерения.

Теренины по-разному встретили решение Агнессы поступить в ударный батальон. Глаза Елены Степановны туманились счастливой слезой, она умиленно улыбалась, глядя, как дочь лихо шелкала каблуками и становилась «во фронт». Борису по душе пришлось новое увлечение сестры. Бронислав Сергеевич обычно потрафлял дочери, но новая затея ему не нравилась. Он все время был хмур, раздражен.

Даша проводила Варю до Фонтанки. Пора было ей возвращаться домой, а она все шла и шла.

— Смотри, Дашенька, долго ли до греха, спохватятся...

— Сейчас, вот только отдам записку Валентина Алексеевича.

— Чего ж ты ее столько времени таишь?

— Она спрятана в чулке.— Даша виновато потянула Варю в парадную.

Ловягин писал, что пробудет в Петрограде до пятницы и просил зайти в запасной батальон. Записка не была похожа на ловягинскую, деловая, без шуток, а конец даже грустный: «...Мне не вырваться из казармы. Солдатам надоела бессмысленная война. Не только полк, но и взвод не сформируешь из добровольцев. Зайдите, нужно поговорить. Агнесса совершает непростительную глупость...»

Запасной батальон стоял в старинных казармах. Приземистые здания-близнецы окружили плац.

Дежурный, опасаясь, что Варя долго пробуждает, дал ей связного. Однажды на каком-то полковом празднике Ловягин провел Агнессу и Варю в казармы. Варе тогда показалось, что она находится в большой девичьей спальне. Сейчас же связной вел ее по какой-то ночлежке. По обе стороны прохода тянулись трехъярусные нары, застеленные трухлявой соломой.

Варе было не по себе под любопытными взглядами солдат.

— Скоро ли седьмая рота?— раздраженно спросила она.

— Здесь,— связной кивнул на нары и пояснил:— Кроме основной, восемь седьмых литерных, столько же первых, вторых...

Помолчав, связной продолжал:

— Понимать надо: запасной батальон военного времени — чуть ли не дивизия!

Когда Варя вошла в комнату Ловягина, он негромко отчитывал фельдфебеля. Ловягин еще не оправился от ранения. На спинке стула висели сабля и трость из можжевельника. В первую минуту Варя растерялась, не зная, что лучше — уйти или дать как-нибудь знать о себе. Но Ловягин увидел ее отражение в окне и прогнал фельдфебеля.

— Простите, Варенька. Из-за таких вот болванов полетим вверх тормашками, упадем и костей не соберем.— Ловягин кивнул на дверь, за которой скрылся фельдфебель.— Едва спас от самосуда.

— В казарме самосуд?— удивилась Варя.— Это ведь преступление.

— Я не стал бы судить солдат. И после революции это люди без права. В седьмой роте «Д» русские, поляки, эстонцы, латыши, татары, евреи, карелы, а фельдфебель построил их и повел в православную церковь. Солдаты возмутились, а он на них ястребом: «Я вам покажу, как морду воротить от русского бога. Под винтовку на два часа».

— И наказал?

— Трое отстояли, а четвертого замучил. Солдат чуть руку опустит, а фельдфебель уже тут, снова время засекает. Не выдержал человек, отправили в лазарет.— Ловягин взглянул на часы и потянулся к сабле:

— Обождите, Варенька, высокое начальство к нам жалует.

На улице духовой оркестр заиграл «Камаринскую». Варя подошла к окну. Огромный плац был заполнен

солдатами, равнение сохранялось в первых рядах, а дальше толпа.

Неожиданно веселая танцевальная музыка оборвалась и над плацем понеслись торжественные звуки военного марша. От ворот к штабу на тихом ходу шли четыре открытые машины. В первой сидел генерал. Смуглый, с раскосыми глазами, отвислыми усами и худосочной бородкой, он был похож на калмыка-кочевника, надевшего чужой мундир. Во второй — старуха в клетчатом жакете и в соломенной шляпе с веткой сирени. Она сидела между двумя молоденькими сестрами милосердия. В третьей — Керенский, а последнюю занимали адъютанты.

Варе у окна было хорошо видно. Как только автомобили въехали с мостовой на плац, из-за оркестра выскочил на белом коне грузный полковник. Скомандовав «смирно», он поскакал к машинам и отдал рапорт, из которого Варя поняла, что, кроме Керенского, в запасной батальон приехали главнокомандующий Корнилов и Брешко-Брешковская — бабушка русской революции.

Керенский выступал с машины:

— Я, мы,— Керенский эффектно заложил левую руку за спину, а правую за борт френча и, кивнув на соседние автомобили, продолжал: — Временное правительство, не хотим верить, что вы отказываетесь идти на фронт.

В ком бьется русское сердце, тот, услыша, что враг у ворот Риги, не выпустит из своих рук винтовку. Я убежден: мы вместе пойдем до полной победы. Ура!

В ответ по плацу прокатилось не «ура», а гул недовольства. Несмотря на угрожающие знаки командира батальона, от толпы отделился невысокий солдат. До этого он был неприметным, такой же как и все, серый и безликий, но теперь Варя его хорошо разглядела: это был пожилой татарин, на скулах кожа лоснилась от загара и пота.

— Ты, мыныстр, хочышь, чтоб солдат воевал до побед...

Керенский не сменил позы, только пальцы, засунутые за борт френча, нервно подрагивали.

— А кому от твой война барыш? Мне, им?— Винтовка служила солдату-татарину указкой. Тыча ею в грудь товарищей, он повторял,— мне, им...

— Скажи им, Карим, о чем матка жалится в письме!— крикнул кто-то из толпы.

Солдат-татарин подошел вплотную к машинам:

— Так вот, мыныстр хороший, мыня гонишь с винтовкой, а у батьки забрал последнюю кобылу.— Солдат взял винтовку на ремень, растопырил заскорузлую пятерню и, загибая пальцы, громко перечислял обиды:— Шкуру овца брал, жинку гонял на дорожну повинность...

— Про земельку не забудь, заждались!— крикнули из толпы.— Спроси министра, когда делить.

— Земли просышь, ай-ай, зачем она тебе, сам помещык,— серьезно, без улыбки сказал солдат-татарин.— У каждого вон сколько чернозема.

Он с любопытством взглянул на свои руки с грязными ногтями.

Простодушная хитрость солдата-татарина была понятна всем солдатам. Плац гневно зашумел, а солнце невпопад настроению людей радостными бликами расцветило штыки. Керенский испуганно выпрямился (казалось, что он гневно крикнет: «Генерал, это же бунт!»). Но он сказал спокойно, показывая при этом, что ему трудно сдерживать волнение:

— Пришло ли время раздела земли? Нет, не пришло. Другие священные дела нас ожидают. Революция, родина, свобода в опасности. Мы потеряли всю Галицию, всю Буковину. Сейчас ни шагу назад, только вперед.

Солдат-татарин был недоволен тем, что Керенский помешал ему высказать свои обиды. Сняв винтовку с плеча, постукивая прикладом о борт автомобиля, он под одобрение товарищей громко заговорил:

— Хватыт баюкать, мой не мал детка, свой внучка в люльке. Скажи лучше — отпустишь до дома? Соскучился по жинка...

— Всех нас ждут дома.— Керенский вскинул руки.— Кто же без победы кончает войну? Хотел бы я увидеть такого человека.

Ораторское искусство на этот раз подвело Керенского. Солдат-татарин злобно поднял винтовку и со всего размаха воткнул ее штыком в землю:

— Погляди. Я кончил войну.

— Молодец, Карим, держись.

— Клади на обе лопатки министра...

На плацу поднялся такой шум, что совершенно не было слышно голоса Керенского. Корнилов подозвал к машине полковника, тот с офицерами кое-как успокоил солдат.

Варя искала Ловягина среди офицеров, кинувшихся

наводить порядок, а увидела его у коновязи. Он стоял, опираясь на трость, равнодушный к тому, что происходило на плацу.

— Товарищ главнокомандующий,— кричал Керенский,— я требую, немедленно демобилизуйте этого не-сознательного солдата!

Керенский совершил новую ошибку. В «пяточке» между машинами теперь очутилось десятка два солдат, и перед ними вырос частокол из винтовок, воткнутых в землю.

Корнилов почувствовал себя в ловушке. Театральный жест Керенского мог принести много бед. Демобилизовать одного зачинщика эффектно, но опасно: этого же хотят тысячи.

Незадачливого министра и главнокомандующего попыталась выручить Брешко-Брешковская. Поднималась она с сиденья по-старчески, осторожно; был момент, когда казалось, что ее дряхлая фигура так и останется в полусогнутом положении, но сестры милосердия вовремя подхватили ее под руки.

Надоело ли солдатам шуметь, уважение ли к старости или любопытство тут было, но многотысячная толпа на плацу вдруг затихла, будто перед молитвой. Офицеры воспользовались этим, оттеснили солдат от машин.

— Граждане солдаты, к вам обращаюсь я — бабушка русской революции,— довольно громко начала Брешко-Брешковская.— Да, я бабушка, человек, много проживший, много пострадавший от царского произвола. Я вам говорю: свобода в опасности. Верьте мне, мои сыны. Истинно русский человек не трус, он никогда не воткнет штык в землю, коли враг топчет дороги его родины.

Солдаты разногласо зашумели. Теперь им трибуной служил не «пяточок» у автомобилей, а деревянная «кобыла». Варя не видела, когда на «кобылу» забрался солдат, его голос привлек ее внимание. Вид у этого солдата был жалкий. Застыренные брюки и гимнастерка, на ногах ботинки и обмотки — тип забитого обозника военного времени, а говорил он рассудительно.

— Мы, солдаты, не такие уж противники войны. Если война за народные интересы, то мы за такую войну, а получать «деревянного Георгия», чтобы наживались господа помещики и фабриканты...

Корнилову явно не нравился самостийный солдатский митинг. Он приехал сюда, чтобы привести солдат

к присяге Временному правительству. Командир батальона догадывался о плохом настроении главнокомандующего. Он шепнул капельмейстеру. Оркестр заиграл вальс. Новый оратор постоял на «кобыле», ничего не сказав, прыгнул.

Автомобили выехали на дорогу. Командир батальона скакал возле машины главнокомандующего, в чем-то оправдываясь. Корнилов теревил ус и молчал.

Едва закрылись ворота за машинами, как Ловягин вошел в комнату, подсел к Варе:

— Ну и дела!

— Слышала,— Варя кивнула на раскрытое окно,— старушке мешали говорить. Можно не соглашаться...

— У нас, слава богу, обошлось без скандальных происшествий, а от саперов эсеровская «богородица» едва унесла ноги.

— Хорош Корнилов, женщину обижают, а он хмурится и ус теревит. Хорош генерал!

— Эх, Варя, мы живем в непонятное время. Корнилов — главнокомандующий без армии, армия почти вся у большевиков! В соседнем полку солдаты потребовали, чтобы Корнилов первым принял присягу.

— Подчинился?

— Вылез из машины, преклонил одно колено, перекрестился на купол полкового собора и прочел слова присяги. Присягал и я, а кому, зачем...

Ловягин сжал руками голову. Варя постаралась отвлечь его мысли от неудачной встречи высокого начальства.

— Даша мне рассказала про ваш неожиданный приезд. Обещали не раньше зимы.

— Не моя воля. Приехал за пополнением, а тут узнал про чудачество Агнессы. У меня серьезные намерения. Но она еще мне не жена, не прикажешь. Раскройте ей глаза, как в народе смотрят на «батальон смерти»...

У Вари до вечера было свободное время, но Ловягина вызвали в штаб. Среди пятнадцати тысяч солдат запасного батальона нашлось только триста добровольцев.

— А остальные пойдут по приказу,— объяснил Варю Ловягин,— увезу тысячу.

У ворот Ловягин обнял Варю, ей показалось, что глаза у него затуманились слезой.

Варя не скрыла от Агнессы, что была у Ловягина в казарме. Агнесса старалась себя оправдать:

— Убивается, а причина?! Я вступаю в батальон не флиртовать. Другой бы гордился такой невестой.

Агнесса решила склонить Варю если не к вступлению в батальон ударниц, то хотя бы к одобрению своего поступка. Она уговорила Варю сходить с ней в штаб. «Батальон смерти» размещался в казармах жандармского дивизиона на Кирочной улице, недалеко от Литейного проспекта. Парадная оказалась на замке. В полукружье двора пахло перепрелым навозом. Агнесса зажала нос платком и проскочила на черную лестницу. «Ну и вояка», — усмехнулась Варя.

С горьким чувством Варя рассталась с Агнессой.

На пятые сутки Агнесса сбежала из «батальона смерти». Варя решила ни о чем ее не расспрашивать. Но едва она успела продиктовать Боре задачу, как пришла Агнесса и увела ее к себе.

— Что там, Варенька, творится, какая я была дура, что не послушалась Валентина. Отказалась пойти на офицерский кутеж, так меня навоз поставили возить. Хорошо, папин знакомый генерал был в это время в Петрограде...

Вторую неделю в пригороде горели леса и торфяные поля. Никто не тушил пожаров. В городе было душно, дымно, пахло гарью. Копоть оседала на окнах. Выходя на улицу, Варя оглядывала небо — оно не предвещало дождя, а нужен был хороший дождь — ливень.

Петроград жил в предчувствии каких-то новых, грозных событий. Еще не забылся расстрел войсками Временного правительства манифестантов у Публичной библиотеки, а город уже снова наполнили слухи о предстоящем выводе из столицы революционно настроенных полков, о предстоящем падении Риги. Вывести полки не удалось, а Рига пала. Изменник Корнилов открыл немцам дорогу на Петроград. Давно ли Керенский называл его «первым солдатом республики»?

В конце августа Теренины на несколько дней выехали в Келломяки за грибами. Они увезли с собой и Варю. Вслед за ними приехал на дачу Бук-Затонский. Он не дождался экипажа, пришел со станции пешком и сразу увел Бронислава Сергеевича к заливу.

Поход за грибами был отменен. «Что-то случилось в городе серьезное, — решила Варя. — Но что?»

Первым вечерним поездом Бук-Затонский и Бронислав Сергеевич уехали в Петроград. С ними собралась было и Агнесса.

— Сиди на даче, — сердито сказал ей отец.

Все-таки Агнесса узнала от Бук-Затонского, что Петроград объявлен на военном положении.

— Бук так переживает за Керенского! Корнилов оказался большой свиньей. Отдал немцам Ригу и в довершение всего идет с казаками и конницей на Петроград. Это правда. Бук привез папе манифест.

Она показала Варя листовку:

— Смотри, начинается, как у царя.

Листовка была отпечатана в хорошей типографии на плотной бумаге с водяными знаками. Агнесса была права — Корнилов подражал манифестам Романова:

«Я, генерал Корнилов, верховный главнокомандующий, заявляю, что беру власть в свои руки, чтобы спасти Россию от гибели...»

Следующим поездом Варя уехала в Петроград. Ей хотелось быть в эти опасные дни рядом с Тимофеем.

В вагоне пассажиров было немного. Все говорили вполголоса, из обрывков фраз Варя поняла серьезность положения. Корнилов двинул на столицу третий конный корпус генерала Крымова и «Дикую дивизию». Одно ее название приводило в страх Вариных соседей.

На Финляндском вокзале Варя купила экстренный выпуск большевистской газеты «Рабочий». Бои шли уже в районе Гатчины и Царского Села.

По Литейному мосту шел большой отряд красногвардейцев и солдат. Варя добралась с ними до Невского, надеясь увидеть в рядах выборжцев и Тимофея Карповича. Напрасно. Его не было.

Прошли три тревожных дня. В лазарет, в котором работала Варя, прибывали раненые. От них она узнала о разгроме третьего конного корпуса, о том, что «Дикая дивизия» отказалась выступить против петроградских рабочих. Генерал Крымов застрелился, а Корнилов, Деникин и Лукомский арестованы.

В витрине книжного магазина на Невском проспекте вывесили портрет нового спасителя России — Керенского.

Верховный главнокомандующий и глава директории имел успех у светских дам. Они называли его «душка Керенский», «душка фельдмаршал».

В Варином лазарете служила операционной сестрой молодая женщина — дальняя родственница князя Львова. Она надумала пригласить «душку» в лазарет. Варя отказалась войти в делегацию. Но вскоре ей все же пришлось встретиться с Керенским.

Теренины на лето остались в городе и только изредка выезжали на дачу. Из каких-то соображений Бронислав Сергеевич не давал сыну передышки.

В середине урока зашла в комнату Агнесса, чмокнула Варю в голову, прилегла на диван. После занятий она отослала брата с поручением на почту, а Варю попросила посидеть с ней.

— Выручай, мои дела отвратительны. Буку мало быть компаньоном моего отца — спешит породниться.

— А Ловягин?

— Валентин далеко! Папа и мама уверяют, что он сложит голову, а если и вернется, то на протезах.

— А любовь?

— Любовь? — задумчиво повторила Агнесса. — А при виде культяпки и костыля не пройдет ли моя любовь?

— Выйдешь за Бук-Затонского?

— Девушки, Варенька, тоже старятся, это папа хорошо знает. До войны старинное дворянство ценилось высоко — карту ставили на Ловягина. Теперь в цене шрапнель.

Покорность Агнессы возмущала Варю. Теренин с такой же холодной расчетливостью устраивал личную жизнь дочери, как когда-то покупал конный завод под Мелитополем, винные погреба в Алуште или вступал в пай предприятия по выделке шрапнели. У коммерсанта на уме деньги и деньги, но он не посмел бы торговать дочерью, будь она стойким человеком.

Агнесса и не скрывала от Вари, что плывет по течению:

— Отец не позволит мне больше быть в разладе с Бук-Затонским.

Приглашение Бук-Затонского на ужин Бронислав Сергеевич принял без согласия дочери, ей удалось лишь добиться маленькой уступки — чтобы пригласили также и Варю.

В тот вечер квартиру Бук-Затонского было не узнать. Огни люстр отражались в зеркалах. Официанты в новеньких фраках, сами похожие на званных гостей, бесшумно пробегали из кухни в столовую и обратно. Стол был накрыт так, будто у булочных и бакалейных лавок не стояли очереди голодных людей.

Гостей было немного, среди них — тенор из Марининского театра, два генерала, бородатый гостинодворец с золотой цепочкой на животе. Редактор военного отдела эсеровской газеты спорил с артистом о стратегиче-

ских ошибках, допущенных при наступлении французских войск. Гостинодворец шепотком жаловался дряхлеющему генералу:

— Дожил до благодати, и на тебе...

Он извлек из пухлого бумажника хрустящую бумагу. Варя в это время стояла в стороне и, хотя гостинодворец наклонился к самому уху генерала, ясно слышала, как он читал:

«Мануфактур-советника Митрофана Ивановича Воробина с нисходящим его потомством всемилостивейше возводим в потомственное дворянское Российской империи достоинство. Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежащее распоряжение».

— Нам с вами есть о чем вспомнить,— сочувствовал генерал.

Его самого потянуло к воспоминаниям. Генерал начал хвастать, как двадцать лет назад отбил у графа Клода Бурдэ любовницу-певицу, приехавшую в Петербург на гастроли.

— В ту ночь Виктория в кабачке пять раз спела на бис «Очи черные». За кулисы нанесли цветов, а я по русскому обычаю — на подносике калач и соль. В калачике-то был браслет с шестью камнями...

В этой компании не только Варя, но и Агнесса чувствовала себя неловко. Бук-Затонскому было явно не до них. Он часто выбегал в прихожую, на минуту-две подсаживался к генералам, потом вскакивал, подбегал к окну и, заслонившись портьерой от яркого света, всматривался в улицу. Когда он наконец сам кинулся в прихожую на звонок, лицо его сияло.

— Александр Федорович!— торжественно представил Бук-Затонский сухопарого человека с гладко бритым лицом.

За ужином больше всех говорил Керенский. В его жестах было много позерства, то и дело он закладывал правую руку за борт френча, выпячивал грудь, высоко поднимал брови.

— Милюков чистой воды монархист,— рассказывал Керенский о недавнем ночном совещании Временного правительства в Марининском дворце.— Осмелился назвать революционное выступление бунтом. Войдите в мое положение, я единственный демократ в правительстве. Нужна железная выдержка, а стерпеть нельзя. Явная провокация. Мне пришлось, друзья, пригрозить. Я сказал: «После того как господин Милюков решил

оклеветать святое дело революции, я ни одной минуты больше не останусь в коалиции».

— И что же?— Журналист потянулся через стол с рюмкой.

Керенский недовольно чокнулся, однако пить не стал. Он не любил, когда его перебивали, но смягчился, увидев, что журналист проворно записывает на манжете.

— Согласиться на мой уход — уход представителя демократии — это значит разоблачить себя перед народом...

Керенский долго ругал своих коллег по кабинету министров, а Варя видела: в прищуренных глазах этого человека, рядившегося под Наполеона, не было искренности. Разговаривая, он болезненно оттягивал верхнюю губу, отчего некрасивые зубы его казались искусственными. Неприятное впечатление Керенский произвел и на Агнессу.

— Точно его вырядили в чужую одежду, — сказала она Варе, когда мужчины двинулись к карте.

Керенский величественно показывал на карте, где он нанесет сокрушающие удары немцам.

В костюме военного покроя, огненных крагах, рыжеватый Керенский выглядел действительно ненатурально. Что в нем нашла операционная сестра, молодая красивая женщина? А ведь она могла часами выстаивать у Мариинского дворца и Главного штаба, чтобы взглянуть на Керенского. Этот господин захватил большие посты: он был главой директории, верховным главнокомандующим. Но вот он сидит за столом, вызывая стыд своими высокомерными, наполеоновскими повадками, и все у него чужое — и френч и жесты. Варе невольно вспомнилась немецкая пословица: «Лилипут остается всегда лилипутом, даже если он стоит на самой высокой горе».

Керенского ненавидели в стране. Если в февральские дни солдаты выставляли над окопами чучела, изображавшие Николая Второго, то теперь они с не меньшей издевкой проделывали это с портретами «верховного главнокомандующего». Удивительно было, что ненавистный всем пигмей все еще держится у власти.

В Мариинском дворце заседала директория. Если с докладами являлись старшие офицеры, Керенский подбегал к карте Европы, хватал указку и нервно водил ею по изломанным линиям фронтов.

Слушая фантастические разглагольствования «главоверха», штабные генералы умели вовремя сделать

серьезное лицо. Генералы-фронтовики отводили глаза, тайком ухмылялись. Они лучше тыловых штабистов знали, что планы новоявленного главнокомандующего — это игра в потешную войну. А Керенский продолжал позировать фотографам, и указка в его руках молниеносно перебрасывала крупные воинские соединения, рвала немецкие укрепления...

В столице и окопах давно ждали, что вот-вот подует свежий ветер с рабочих застав...

Глава четырнадцатая

Рано утром Варю разбудила радостно взволнованная Анфиса Григорьевна:

— Началось, Варенька, началось.

Варя вскочила, накинула на плечи халат.

— Что началось?

— Революция! Бабы с леонтьевской мануфактуры говорят, что войне конец. Дай-то бог!

Анфиса Григорьевна убежала к себе, растормошила ребят:

— Скоро папка вернется!

Закрывая дверь квартиры, Варя все еще слышала, как из хозяйской комнаты неслись веселые возгласы.

По Большой Колтовской двигался военный патруль, но куда делась юнкерская выправка? Как штрафники, владимирцы держались кучкой, трусливо прижимаясь к стенам домов. Полчаса назад на завод «Вулкан» привезли из крепости винтовки. Юнкера не посмели обновить машину.

Варя вышла на Спасскую улицу. По мостовой, не торопясь, шагал солдат, за плечом у него была винтовка на ремне, в левой руке он держал ведро с клейстером, в правой — пачку бумаги. Солдат остановился возле проходной конторы фабрики, наклеил на стену плакат, заботливо расправил складки на нем и, довольный своей работой, направился к Большому проспекту.

Когда Варя подошла к проходной, у воззвания собрались работницы. «Контрреволюция подняла свою преступную голову», — читали они. Военно-революционный комитет призывал трудящихся к защите революции.

Как бы напоминая об опасности, у Народного дома и у Петропавловской крепости потрескивали короткие пулеметные очереди. На пути солдата, как вехи в гря-

дущее, загорались пламенные слова большевистского воззвания. Совершались великие события. А как ей, Варе, быть? Она позавидовала Соне, которую случайно встретила неделю назад на улице. Девушку было не узнать. Куда девались ее робость и приниженность? Соня шла в ватнике, перетянутом солдатским ремнем, волосы ее были спрятаны под косынкой. Она записалась в рабочий отряд.

— Мадам-то меня прогнала напоследки,— сказала она и упрямо сдвинула брови.— Ненавижу их всех.

Она ушла, пообещав скоро навестить Варю...

Стрельба шла в районе крепости. Схватки с приверженцами Керенского каждую минуту могли возникнуть и на тихой Спасской улице,— перевернутая телега уже перегородила здесь мостовую.

У Большого проспекта Варя встретила смешанный взвод рабочих и военных. Впереди шагал солдат, катя перед собой детскую коляску с клеенчатым верхом, из которой настороженно выглядывал пулемет. Потом промчалась артиллерийская упряжка. На ухабах орудие подпрыгивало, солдат, сидевший на передке, придерживал одной рукой фуражку, а другой прижимал к ноге офицерскую саблю.

В эти тревожные дни Варе так хотелось быть рядом с Тимофеем. Где его найти? В казарме вряд ли. Не усидит он и на заводе. Скорее всего Тюменев был в Полюстровской рабочей сотне.

Столица уже в открытую разделилась на два лагеря. У Смольного горели костры. Сюда шли отряды с Выборгской стороны, с Невской, Нарвской, Московской застав, с Коломны и из Кронштадта. Другой лагерь, перепуганный до смерти, жался к Зимнему дворцу, под защиту таких же обреченных мертвецов. Юнкера и ударницы из женского «батальона смерти» устраивали в поленницах удобные огневые точки. Но через Дворцовый мост в это время безмятежно переваливали вагоны трамвая.

Варя без труда доехала до Большой Невки. У ворот казармы под «грибом» не было часового. Она поднялась по лестнице с изношенными ступенями и стойким запахом махорки. В коридорах гулял холодный осенний ветер, надувая парусом большое полотнище: «Вся власть Учредительному собранию». Варя закрыла окно. Бессмысленно сейчас искать Тимофея, да и обрадуется ли он ее приходу, не станет ли она для него обузой?

Что же делать? В школу идти незачем. Великовозрастные гимназисты пытались подбить всех школьников на забастовку в знак сочувствия директории. Варя выгнала молодых провокаторов из класса, но они все же сорвали занятия, разбросав в классах и коридорах множество каких-то металлических коробочек,— едкий дым заполнил все здание. Когда паника улеглась, Яков Антонович отпустил учеников на неделю.

Варя отправилась к Терениным. Там царил отчаянный переполох. Даша вытаскивала в прихожую чемоданы, картонки, корзинки. Тут же полулежала в кресле-качалке Елена Степановна с пузырем льда на голове, что, однако, не мешало ей покрикивать на Агнессу и Борю,— те отказывались сидеть в прихожей при пугающем свете церковной свечи.

— Господи, да не подходите вы к окнам! Слышите, стреляют!

Даша только что втащила в прихожую кованый сундук и, отдышавшись, успокаивала барыню:

— Полно пугать-то, и ничего не стреляют — на парадной дверь хлопнула. На нашей Моховой нет революции. Вот за Литейным мостом народу — страсть! У всех винтовки, есть и с пулеметами. Вот там революция! Матросы ходят сплошь обвязанные лентами из патронов — и на груди патроны и на плечах патроны.

Обстановка у Терениных не располагала к веселью, но Варя не смогла подавить улыбку, услышав, как успокаивает прислуга перепуганную барыню.

В комнате Агнессы тоже были следы торопливых сборов. С окон и дверей сняли тяжелые бархатные портьеры. Их, видимо, пытались втиснуть в чемоданы, это не удалось, и теперь они валялись на подоконнике.

— Папа велел укладываться, уезжаем.— Агнесса растерянно развела руками.— А похоже, бежим. Куда — не знаю. Сначала, наверное, в Гельсингфорс...

Из прихожей снова послышался испуганный голос Елены Степановны. Агнесса плотно сжала губы, погрозила кому-то кулаком.

— Хрупкие мы. Ей, старой женщине, простительно. А вот так же воют и генералы — наши защитники. Испугались красных. Скажи, Варя, ты видела большевиков? Что это за люди? Я не верю в то, что это сплошь предатели, насильники, варвары, как о них говорят.

— Кто это говорит? — тихо сказала Варя.

— Ну, у нас говорят, конечно, наши... А я... — Агнесса бросилась в кресло и стиснула руками голову.— Не

знаю. Ничего не знаю. Только я никуда не хочу ехать... Господи, хоть бы Валентин был здесь!

— Ты думаешь, что Ловягин посоветовал бы тебе не уезжать?— сказала Варя.

— Не знаю, ничего не знаю.— Агнесса вдруг улыбнулась.— Помнишь, он как-то сказал, что если все полетит к черту, то я переживу? Характер, мол, у меня такой. Может быть, он и прав. Я не хочу никуда уезжать. Пусть все идет к черту. В конце концов, чего мне надо? Выйду замуж.

— Так оставайся,— предложила Варя.

Лицо Агнессы исказилось болезненной гримасой. Она махнула рукой.

Варя грустно попрощалась с Агнессой: она привязалась к этой девушке, чужой ей, взбалмошной и все же как-то вошедшей в ее душу. Но уйти Варя не успела — ввалился запыхавшийся Бук-Затонский. Он за последние дни не то чтобы постарел, а как-то потускнел. На нем было старое пальто с потертыми рукавами. На голове вместо шляпы — кепка.

Агнесса и Варя переглянулись, когда он подчеркнуто вежливо назвал горничную «товарищ Даша». Этот человек уже начал приспосабливаться к новым порядкам.

Бронислав Сергеевич вернулся домой усталый и злой. Он нанял в Старой Деревне три подводы, рассчитывая к утру быть с семьей на даче в Келломьяках и уж оттуда перебираться в Гельсингфорс. Но у Петропавловской крепости патруль реквизирует подводы.

Агнесса упростила Варю остаться.

— Не скоро увидимся. И увидимся ли?— Глаза ее были печальны. Варя не нашла в себе силы отказать ей. К тому же и спешить было некуда.

Бук-Затонский потерял дар красноречия. Он ожил только, когда речь зашла о Керенском:

— Каков главнокомандующий! Оставил в заклад господ министров и отбыл восвояси.

Он проклинал Керенского, а у самого зависть выпирала наружу. Керенский трусливо сбежал, но у неудачника-адвоката, премьер-министра и главнокомандующего еще кое-какая перспектива оставалась. На худой конец он безбедно проживет за границей в качестве «исторической личности». А он, Бук-Затонский? Не хватит у него воли бросить доходную мастерскую. Он не скрывал, что еще надеется договориться с большевиками.

— Им-то, большевикам, разве не потребуется шрапнель?— втолковывал Бук-Затонский компаньону.— Не хлопущками же они собираются пугать противника...

У Бронислава Сергеевича был другой план. Он забирает ценности, семью. Отойдет в сторонку, притаится. Если все уладится — вернуться в собственный дом никогда не поздно. На днях уехала в Финляндию его тетька, вслед за ней — дальний родственник, генерал. Минувшей ночью и Теренины уехали бы, да негодяй кучер угнал последнюю лошадь из конюшни. Возит винтовки из Петропавловской крепости.

Только сейчас Варя поняла, какая пропасть отделяет ее от этих людей, хотя они искренне расположены к ней, даже, можно сказать, любят ее. Бронислав Сергеевич предложил Варе ехать с ними. В Финляндии он найдет ей дело — уроки русского языка, счетную работу; словом, с ними она не пропадет. Варя, сдерживая себя, промолчала.

Прощание было тяжелое. Агнесса крепко обняла Варю и долго не отпускала. Елена Степановна перекрестила ее, а Бронислав Сергеевич горестно качал головой. Бук-Затонский стоял у окна, как бы говоря: «Я остаюсь, еще увидимся». Боря проводил свою учительницу до двери и по-мужски пожал руку.

И вот Варя снова на улице, одна со своими думами...

А в это время из Смольного вышел Тимофей Карпович. И пяти минут не продолжалась у него беседа с Дзержинским. Тюменев обратился с просьбой назначить к ним в сотню офицера. Феликс Эдмундович, хитро щурия глаза, сказал будто утвердительно:

— Не ниже штабс-капитана.

— Да нет, хотя бы и прапорщика, но обстрелянно-го,— всерьез ответил Тимофей Карпович.

— Так значит, прапорщика? А вы кто — рабочий, конторщик?

— С Механического, рабочий.

— Большевик?

— С 1911 года.

— На фронте были?

— Был.

— Вам бы, друг мой, не сотней командовать, а полком. Торопитесь,— Дзержинский протянул руку Тимофею Карповичу,— а то в Зимний без вас войдут.

Тимофей Карпович как держал в руке шапку с красной лентой, так и выскочил на улицу, где за штабелями дров грелась у костра его сотня:

— Посылают нас на подмогу.

Тимофей Карпович развернул газету и прочитал записанные на ее полях напутственные слова Ленина:

«Самозванному Временному правительству жить осталось меньше суток. Пора кончать с министрами-капиталистами».

Сотня Тимофея Карповича, получив добавочно несколько ящиков патронов, направилась к Зимнему. Шли строем, многие с непривычки сбивались с ноги.

Выйди Варя от Терениных на несколько минут раньше, она, пожалуй, увидела бы Тимофея Карповича, шагавшего в наступивших сумерках впереди сотни по Французской набережной.

Через подъем, делящий набережные Воскресенскую и Французскую, разметывая грязь, шумно перевалил броневик.

Красногвардейцы шли издалека, молча, без песни. Позади шагала девушка, еще подросток. Плечо давили две матерчатые сумки с красным крестом. Варя догнала девушку, взяла у нее одну сумку. На Миллионной к ним присоединилась пожилая женщина. Так в отряде стало три сестры милосердия.

Отряд наступал со стороны Певческого моста. Восставшие укрывались и под аркой Главного штаба, за деревьями Александровского сада и на Миллионной улице.

Безлюдная Дворцовая площадь, освещаемая прожекторами, выглядела торжественно и грозно. Юнкера и «смертницы» из женского батальона, укрывшись за баррикадами из поленьев и мешков с песком, простреливали всю площадь из пулеметов и винтовок.

Повязка сестры милосердия на рукаве открывала Варе дорогу к площади, хотя красногвардейцы и не хвалили за риск. «Барышня, напрасно голову подставляете. Юнкеру все равно, в кого стрелять,— в женщину или ребенка». Усатый солдат предупредил: «Девонька, к стенке подайся, там мертвое пространство».

Погода стояла хмурая. Падал мокрый снег вперемешку с дождем. У штаба гвардейских войск лежали первые цепочки красногвардейцев. Варя догадывалась, что к перебежкам готовятся также рабочие и солдаты под аркой Главного штаба, на Миллионной, матросы — со стороны Александровского сада и Невы.

У стены молодой парень, оторвав подол рубашки, перевязывал руку. Варя отобрала у него грязный кусок ситца, залила рану йодом, наложила бинт и посовето-

вала уйти в какую-нибудь больницу. Раненый негромко рассмеялся:

— Полно, сестрица. Пуля чистая, не ржавый гвоздь. Да и нельзя мне уйти. У моего батьки земли полдуши, а сам девятый. Я за земелькой иду. Тульская губерния не подведет!

Парень любовно погладил винтовку. Ударила пулеметная очередь, пули зацокали по зданию штаба, штукатурка обсыпала Варю.

— А ну-ка, дочка,— услышала Варя хриплый голос командира отряда,— айда на свое место!

Было около девяти часов вечера. Дождик все еще накрапывал, жакет у Вари совсем промок. Но она этого не чувствовала. Ей передалось нетерпение красногвардейцев и солдат. Из отряда в отряд передавали приказ: готовиться к штурму. Министры отказались сдать. Каким-то чудом в Зимнем один телефон оказался невыключенным. Из городской думы подбодряли министра призрения Кишкина, взявшего на себя охрану города. Сообщение, что Керенский идет на Петроград с верными казаками, обнадежило его.

— Дождутся своего бегляка на том свете,— сказал кто-то из рабочих.

Передали новый приказ Военно-революционного комитета: пушечный выстрел с «Авроры» — начало атаки.

Когда это произойдет — через пять минут, ночью или завтра утром? Наконец над Невой, с левой стороны прогремел выстрел, за ним другой, ближе, будто с верков Петропавловки. Из укрытий вышли красногвардейцы. Они не шли во весь рост, как представляла себе атаку Варя, а бежали согнувшись, припадая к земле. Зато на площади Варя увидела другое: здесь могучим прибоем перекатывались человеческие лавины. И хотя преддворцовые баррикады — поленницы и мешки с песком — ощетинились зловещими вспышками, Варя почувствовала: эти лавины ничто не сможет остановить.

От раненых Варя узнала о ходе штурма. Первым сдался женский батальон. Потом, когда восставшие ворвались во дворец, сложили оружие юнкера.

Варя видела, как выводили из Зимнего министров. Они неловко перелезали через рассыпанную поленницу, прижимаясь к своим конвоирам. Рассвет министры встретили в Петропавловской крепости.

К утру Варя вернулась домой. С радостью встретила ее перепуганная Анфиса Григорьевна. Видимо, она ночью не сомкнула глаз.

— Жива! А я-то на Архиреевскую в больницу бежала: дворничиха сказывала, что туда убитых и раненых свозят.

Анфиса Григорьевна затащила Варю к себе в комнату. Для нее с вечера был приготовлен ужин. На столе стояла глубокая тарелка, возле нее лежала любимая Варина деревянная ложка-лодочка. Материнское участие этой женщины тронуло Варю до слез. Ей хотелось успокоить Анфису Григорьевну, но та забросала вопросами:

— Коли большевики возьмут верх, то войне конец, правда?

— Правда,— повторила Варя.— Конец войне. Большевики уже взяли верх.

— Помоги им господи! Глядишь, и мой вернется.

Варя с аппетитом съела тарелку похлебки. Анфиса Григорьевна ушла в кухню подкинуть щепок в самовар, а вернувшись, увидела, что жиличка спит на ее кровати. Осторожно сняв с нее туфли, она накрыла ее одеялом, а сама прилегла с младшим сыном.

Проснулась Варя оттого, что кто-то тянул ее за рукав. Она с трудом открыла глаза. К ней наклонилась Анфиса Григорьевна:

— В городе другая власть. Мир обещают! Солдаты и прохожие обнимаются, кричат: «Долой войну!»

Варя помчалась на улицу. На рекламном щите кинематографа белело воззвание: «К гражданам России». Возле щита разноголосо шумела толпа.

Варя с трудом пробилась вперед.

— Барышня, о чем там сказано?

Варя отступила в сторону, чтобы пожилой человек в заплатанном полушубке мог прочитать воззвание.

— Неграмотный я. Прочитай, сделай милость.

— Читай, читай,— поддержали его несколько голосов,— всем читай!

«Временное правительство низложено,— громко начала Варя.— Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

*Военно-революционный комитет
при Петроградском Совете
рабочих и солдатских депутатов.*

25 октября 1917 года. 10 часов утра».

Как в этот день Варе не хватало Тимофея Карповича! А он пропал. Она ничего о нем не знала. Варе становилось тревожно. Своими глазами она видела, как падали атакующие на площади перед Зимним дворцом. В том, что Тюменев был там, в их рядах, она не сомневалась.

Тимофей Карпович был целехонек, ничего с ним не случилось, почти сутки напролет, без сна, без отдыха метался он по городу на грузовике со своими красногвардейцами. За полночь вернулся в Смольный и только присел в кресло в комнате с дощечкой «Классная дама», как сразу же провалился в сон.

Новый день принес новые тревоги. Части Керенского шли на Петроград. Пали Гатчина, Царское Село. «Комитет спасения родины» готовил предательский удар в самой столице. С рабочих окраин снова потянулись к Смольному отряды.

Тимофей Карпович просился на фронт, а ему сказали: «Люди нужны и в Смольном». В темном углу караульного помещения стояло кресло с графским гербом: медведь на валуне. Если кресло повернуть к стене, то можно подремать минут десять — пятнадцать. Тимофей Карпович устроил себе это удобное спальное место, но в ту же минуту послышался голос помощника начальника караула:

— Кто не получал паек? Становись.

Только теперь Тимофей Карпович почувствовал, как он голоден. В каптерке красногвардеец выдавал подходящим по ломтю хлеба, по два куска сахара, а его помощник — безусый юнец — вилкой доставал из бочки селедку. Тут же на столике стоял медный чайник.

Банки из-под консервов заменяли кружки. Тимофей Карпович хлебнул и поморщился: от заварки пахло жженой морковью, — куда приятнее чистый кипяток. Сыроватый же, с примесью картофеля, хлеб пахнул удивительно вкусно.

Тимофей Карпович поел и раздумал спать. Он решил почитать свежую газету и тут услышал, как помощник

караульного начальника, собирая новый наряд, назвал его фамилию.

Посты стояли снаружи и внутри Смольного. Тимофею Карповичу предстояло заступать с подчаском на пост у кабинета Ленина.

— В оба гляди, товарищ Тюменев,— предупредил помощник караульного начальника.— Если подозрительного заметишь, не пускай, за оплошку строго спросим. Слыхал, поди, сколько керенские и родзянки положили за голову Ильича? Двести тысяч рублей. Обещали расплатиться валютой.

В этот вечер разные люди приходили к Ленину. Одни задерживались подолгу, другие — три-пять минут, но все, выходя, одинаково спешили. Тимофей Карпович завидовал посетителям. Хоть бы одним глазком взглянуть на Владимира Ильича! Такая досада взяла его, что, будь в Смольном только одни часы, он перевел бы стрелки. Придет смена, и он так и не увидит Ленина.

Приближалась смена караула. Вдруг неслышно отворилась дверь кабинета, и вышел Ленин. Тимофей Карпович подтянулся и замер. Он стоял не шелохнувшись.

— Устали, товарищ?— спросил Ленин.— Покормили вас? В таком водовороте немудрено и забыть об этом.

По уставу часовому не положено разговаривать. Но спрашивал Ленин, и Тимофей Карпович колебался недолго:

— Сыт, Владимир Ильич, в каптерке выдали паек.

Тимофей Карпович много слышал о чуткости и сердечности Ленина. Теперь он испытал их на себе. В трудный час, когда революционный Питер собирает силы для отпора рвущимся в город войскам Керенского и Краснова, Ленин спрашивает его, Тюменева, сыт ли он!

Узнав у Тюменева, откуда он, Ленин поинтересовался, как на рабочих окраинах встретили весть о том, что контрреволюция вновь подняла голову?

Спокойные, слегка прищуренные глаза и располагающая улыбка Ленина ободрили Тимофея Карповича.

— Что касается Выборгской стороны, то у нас временная власть списана в расход окончательно. Мы за свою власть, и постоянную.

Ленин засмеялся. Засунув пальцы правой руки в кармашек жилетки, а левой теребя пуговицы на ней, он с одобрением сказал:

— Дружная Выборгская сторона! Что нового на Металлическом? По-прежнему ли берут верх эсеры на «Старом Лесснере»? Как дела на «Айвазе»?

Тимофей Карпович рассказал, что, узнав о телеграмме Керенского, большевики на заводах тревожными гудками собирали рабочих. Ленин теперь слушал без улыбки, о чем-то думая.

— Правда, что желающих воевать больше, чем оружия?

Ленин еще хотел о чем-то спросить, но из угловой комнаты выскочил усатый солдат в папахе с красной полосой. Подбежав к Ленину, он щелкнул каблуками и передал ему какую-то карту. Владимир Ильич вежливо кивнул Тюменеву и скрылся в своем кабинете. В конце коридора посылались гулкие шаги новой смены караула. Когда пришли сменить Тимофея Карповича, он, молча оглядывая товарищей, улыбался.

— Ты что?— хмуро сказал помощник начальника караула.

— Беседовал с Владимиром Ильичем.

Усталое, с воспаленными от бессонницы глазами, лицо помощника подобрело.

— Да, посчастливилось тебе...— Он помолчал и добавил:— Товарищ Тюменев, ты ведь хотел на фронт? В одной сотне захворал старший. Пойдешь? Слышал, казаки Краснова взяли Гатчину.

Спустя полчаса за штабелями дров у Смольного при неверном свете костра Тимофей Карпович принимал сводный отряд рабочих. На рассвете его отряд вошел в полк, который окапывался под Пулковом...

Контрреволюция отступала по-волчьи. Керенский бросил на Петроград верный ему 3-й казачий корпус. Восставшие в городе юнкера захватили Царскосельский вокзал, чтобы дать возможность казакам Краснова высадиться в городе.

В центре и на Петроградской стороне развернулись бои.

Варя пожалела, что после штурма рассталась со своим отрядом. Теперь ее страшило одиночество. «А что если заглянуть к Соне?»

На лестничной площадке ей встретился человек в шинели, из-под полы которой выглядывал белый халат. «Доктор»,— подумала она. В прихожей, уткнувшись лицом в угол, плакал младший брат Сони — Андрейка.

— Умирает, умирает моя доченька,— донеслось до Вари. Причитала, заливаясь слезами, мать Сони.

Соня полулежала на кровати, обложенная подушками. Она грустно улыбнулась Варе, глазами попросила присесть к изголовью.

О том, что произошло с Соней, нетрудно было догадаться. Она, конечно, была там, на Большой Гребецкой, среди рабочих и солдат, штурмовавших юнкерские училища.

— Наши выбивали юнкеров... Меня кликнули бабоньки... Сперва перевязывали раненых, а потом...

Соня прижала руку к груди, боль мешала ей говорить. Ее красивое лицо было бледно, на лбу блестели капельки пота.

— А потом... подобрала винтовку, и сама... Ненавижу их всех,— сказала она чуть слышно и закрыла глаза.

Варя подала ей стакан с водой. Она решила сейчас же бежать в свой лазарет и просить положить Соню туда. Сделать это ей не пришлось. В квартиру вошли санитары и врач, которого она встретила на лестнице. Струха обхватила ноги дочери.

Варя, обняв плачущую женщину за плечи, отвела ее к окну. Но долго оставаться с нею она не могла.

Санитары пересекли уже рыночную площадь, когда Варя их догнала. Часовой не пропустил ее во двор военного лазарета. Варя нагнулась над носилками, прижалась губами к горячей щеке Сони:

— Я приду к тебе. Держись!

Соня попробовала улыбнуться:

— Жить хочется... Теперь ведь все иначе будет.

Прошло еще два дня. К Соне Варю пускали на десять минут. От Тимофея Карповича все не было и не было весточки. Родители еще держали детей по домам. Варя с утра бродила по улицам. В три часа она пошла на свидание с Соней.

У ворот лазарета дежурил знакомый солдат. Он то скливно посмотрел на Варю:

— Не приказано пускать... Завтра прощаться с телом.

— Прощаться с телом?— глухо переспросила Варя.

Словно ища защиты, она с силой уцепилась пальцами за рукав часового. Солдат тихонько разжал ее руку и сказал:

— Храбрая была барышня...

Глава пятнадцатая

В первую минуту Варя опешила. Что это значит? В прихожей висели бушлат и пулеметные ленты. Решив, что Анфису Григорьевну навестил кто-то из лазаретных

знакомых, Варя пошла к себе, но открылась дверь хозяйкиной комнаты и оттуда выскочил мальчишка в бескозырке и с наганом.

— Тоша, отдай сейчас же!— потребовала Варя.

Мальчишка не захотел расстаться с всамделишным оружием и попятился назад.

В прихожую, улыбаясь, вышел коренастый матрос.

— Нашли игрушку!— вспылила Варя.

— Не бойтесь, игрушка не опаснее волчка,— матрос разжал кулак, на ладони блеснули патроны.— Я от Тимофея Карповича. Чернышев, будем знакомы...

Ушел Чернышев в двенадцатом часу. Чайник выкипел, пустые чашки стояли на столе, Варя так и не напоила гостя чаем — забыла.

Отыскался след Тимофея Карповича, чтобы снова застрять.

Что же случилось с Тюменевым?

Штаб сводного полка находился в избе на скате Пулковской высоты. Связной провел Тимофея Карповича за дощатую перегородку, где, несмотря на вечернее время, топилась русская печь. У огонька грелись матрос с миноносца «Забияка» и молодой солдат в новой шинели, вздувшейся на спине горбом.

Человек в кожанке раскладывал листовки на широкой лавке. Он приветствовал Тимофея Карповича и сказал, обращаясь к матросу и солдату:

— Хлопцы, вот ваш старшой, фамилия его Тюменев, рабочий с Выборгской стороны.

Дрова в печке разгорелись, отсветы упали на лицо человека, раскладывавшего листовки. Но Тимофей Карпович и по голосу узнал кашевара из артели грузчиков. «Крестнику», видимо, по душе пришлось дорожка «крестного».

Тимофей Карпович и матрос Чернышев получили задание пробраться в Царское Село, распространить среди казаков и юнкеров воззвание Военно-революционного комитета и рассказать им о положении в Петрограде. Связным назначили солдата со странной фамилией Сороковка.

Рассовав по карманам листовки, они спустились с Пулковской высоты и по свежеврытой траншее вышли в поле. Справа за деревней шел бой.

Проскочить в расположение противника всегда не просто, но, к счастью, казаки еще не успели сомкнуть линию.

Осенние дожди превратили капустное поле в тря-

сину. Идти было тяжело. Сапоги вязли в грядках. Так прошли версты две.

Неожиданно со стороны деревни, расположенной правее Пулкова, послышались глухие звуки, похожие на топот лошади.

— Почуяли!— Тимофей Карпович приказал своим спутникам залечь: нельзя было входить в столкновение с разведкой противника.

Топот приближался.

— Может быть, казак заблудился?

За деревней пучком взлетали ракеты. В колеблющемся свете Тимофей Карпович и его товарищи увидели скачущую прямо на них лошадь. Седок свалился с седла, зацепился ногой за стремя.

Казак, похоже, хитрил. Тимофей Карпович приказал не стрелять без команды. Как назло, догорели ракеты. Темнота скрыла лошадь и всадника.

— Что бы еще несколько секунд почадить!— прошептал Тимофей Карпович.

Снова взлетела ракета. Теперь коня и группу Тюмеева разделяло каких-нибудь двадцать саженей.

— Черт! Мертвый, а держится за коня!— У Чернышева были зоркие глаза.— Сгорел бедняга за чужие интересы,— добавил матрос.

— Казак-то! Нашел бедняка,— проговорил Сорочковка.

— Раскудахтались!— оборвал их Тимофей Карпович.— Нарвемся на засаду.

Послышался перестук колес — где-то близко был проселок. Еще не зная, кто едет, свои или чужие, Тимофей Карпович и его спутники приободрились: наконец-то одолели чертово поле.

В темноте вспыхивали огненные точки. Военные на фронтовой дороге ночью не закурят. Теперь из темноты доносились не только перестуки колес, но и мерный скрип крестьянских телег. Голосисто запел петух.

— Гражданские,— догадался Тимофей Карпович.— Айда на дорогу!

Из-за поворота выехали одна за другой пять крестьянских повозок. Между ними понуро плелись коровы. На возах сидели детишки, лежали узлы. Впереди, грузно опираясь на суковатую палку, шагал старик в полушубке. Слева и справа шли подростки с охотничьими ружьями.

— Далеко ли путь держите?— подойдя к ним вплотную, спросил Тимофей Карпович.

Старик рассказал, что, опасаясь набега юнкеров и казаков, пять семей ушли из деревни Верхние Мхи.

— У муратовских чуть ли не всю скотину позабырали, надавали бумажек. Рассчитается, мол, казначейство Керенского. А с того какой спрос? Теперь Россия — что барка в половодье...

С подвод слезли женщины и человек в шинели. Пустой рукав был заткнут в карман. Беженцы предупредили, что на шоссе они видели казачьи разъезды.

Безрукий хорошо знал местность и согласился показать безопасную дорогу. Пройдя полверсты по проселку, он вывел Тюменева и его спутников на тропу.

— Коли не потеряете тропку, выйдете прямо к казармам.

Вскоре в темноте показались высокие каменные здания. Оставив Сороковку в овраге, Тимофей Карпович и Чернышев направились к ним. Часовой открыл калитку, но спросил не пароль, а табачку. Тимофей Карпович отдал начатую пачку «Трезвона».

— Дисциплина! — возмущался Чернышев.

— Потому и послали, что в частях у них полный развал, — тихо ответил Тимофей Карпович. — Иначе нечего было бы соваться. Прихлопнули бы с первого слова.

Казаки не спали. На рассвете им было приказано сменить в районе Александровской потрепанную часть. Некоторые пили водку, закусывая консервами, другие играли в очко. Чернышев подсел к одной веселой компании, а Тимофей Карпович направился к картежникам:

— Здравствуйте, земляки.

Банкомет, казак с бабьим лицом, оглядел штатского, — видимо, принял его за одного из «уговаривающих», — и, тасуя колоду, ответил:

— Землячок, на одном солнце портянки сушим. Что ж, почеломкаемся.

— Чего захотел! Добро бы девка.

Банкомет насупился и хотя почувствовал, что казакам нравится штатский, сказал с иронией:

— Сыгранем? Керенки идут за полцены.

— Прогоришь: в Питере за тысячу керенок пять рублей дают.

— Врешь?

— Чего врешь? В Керенского-то кто верит? Все стали умные.

Кто-то сказал:

— Да уж, фрукт...

Настроение казаков не вызывало сомнений, медлить было нельзя.

— Желаете знать, что делается в Питере?

— Так вот ты из каких земляков!— У банкомета побавровела мясистая шея.— А я тебя в штаб!

Тимофей Карпович повернулся к нему спиной и обратился к казакам:

— Я только что из Петрограда. Хотите слушать — заткните глотку адвокату «главноуговаривающего».

Черный, как цыган, казак встал между Тимофеем Карповичем и банкометом и спокойно сказал:

— Общество хочет человека послушать. Нишкни, здесь не батькина мельница, тут все равны.

Банкомет буркнул:

— Мне что, пусть рассказывает. Только без агитации. Своим умом разберемся.

— Что верно, то верно,— на всю казарму загудел черный казак,— разберемся.

— И про Ленина всё знаем, как он приехал в запломбированном вагоне!— крикнул кто-то сзади.

— Большевики немцу Питер сулят, так, что ли?

Эти выкрики не могли удивить Тимофея Карповича: он знал, куда шел. Наконец, улучив момент, он начал рассказывать:

— По всему вижу, коли идете на Петроград, значит, не навоевались. Разве вам неизвестно, что Советское правительство объявило конец войне? А ваш Керенский?— Тимофей Карпович выпрямился, театральным жестом сунул руку за борт ватника, откинул голову назад:— Господа, отечество в опасности! Наш исконный враг Германия лютует! С нами бог! Да здравствует война до победного конца!

Казаки захохотали.

— Здрóрово, в самую точку!

— Френч бы ему да желтые краги — аккурат «главноуговаривающий».

Вдруг раздался окрик:

— Смирно!

И тут же, вслед за ним,— второй:

— Разойдись!

Казаки рассыпались по казарме. Прямо на Тимофея Карповича бежали детина, который метал банк, и казачий офицер.

— Вот он! Тут где-то и его дружок, матрос.

Тимофей Карпович заметил, как черный казак успел накинуть шинель на Чернышева. Если казаки прячут

матроса, значит, они всерьез заколебались. Жаль, что не успел раздать воззвание, но, пожалуй, еще не поздно.

Тимофей Карпович вскочил на койку, взмахнул рукой, и листовки разлетелись по казарме. Казачий офицер даже опешил в первую минуту. Банкомет зашел сзади, крепко схватил Тимофея Карповича за руки. Другой услужливый казак подал сырмятный ремень.

Штаб помещался этажом ниже. Полковник угрюмо выслушал рапорт офицера о задержании в казарме подстрекателя. У полковника было усталое лицо и недобрые глаза.

— Откуда? Кто подослал?

Тимофей Карпович выпрямился. Узкий ремень резал запястья.

— Из Петрограда. Штаб обороны предупреждает, что офицеры, выступившие против Советского правительства, будут объявлены изменниками.

Полковник только рукой махнул, — ладно, мол, поговоришь утром в контрразведке.

Из штаба Тимофея Карповича вывели два казака. Один из них был тот высокий черный, что заступился за него в казарме. Выйдя на крыльцо, он не спеша вложил саблю в ножны, беззлобно спросил:

— Не будешь тикать?

— Ты лучше о себе подумай. Завтра тут будут наши. Всем вам придется уतिकать, если уцелеете.

— Бедовый ты!

— Бедовый, да не предатель.

— Но, но! — без злобы погрозил черный казак. — Пойдем, надо тебя на квартиру поставить.

Через лаз в заборе военного городка они вышли на окраину какого-то барского сада. Миновав сторожку садовника, казак остановился у старой баньки, открыл навесной замок.

— Вот тебе и квартира. Передать дружку адресок?

— Не шути, казак, — сказал Тимофей Карпович. — Хочешь жить, подумай лучше о том, что я всем говорил. Крепко подумай.

Когда глаза немного привыкли к темноте, Тимофей Карпович разглядел на полке разваленный сноп соломы. Он лег на солому. Медленно тянулось время. Чем все это кончится? Вдруг послышался негромкий стук. Кто-то смотрел снаружи в крохотное окошко. Неужели матрос? Или часовой? К стеклу прильнуло чье-то лицо.

Тимофей Карпович услышал знакомый голос:

— Фельдшер наказывает, чтоб на соломе не спал: там до тебя с сыпняком отлеживались.

Тимофей Карпович вздрогнул. Сразу же показалось, что за пазухой зудит, что по щеке что-то ползет. Он сел на пол, засовывал руку под рубаху, шарил...

Прошло с полчаса. У баньки послышались торопливые шаги, затем голоса, но слов невозможно было разобрать. Наступила тишина. Потом снова раздался осторожный стук. Черный казак опять прильнул к стеклу:

— Не спишь? Тикают наши от Александровской. Если бы не офицеры, мы разве пошли бы на Питер? В казарме кутерьма. Полковник на моторе выехал в Гатчину. Телефонисты болтают — сбежал Керенский.

Часовой временами отходил от баньки и, видимо, переговаривался с черным казаком. Но на просьбы Тимофея Карповича отомкнуть замок и выпустить его не поддавался. Все же перед сменой он шепнул, что матрос с «Забияки» подбивает казаков выволить Тимофея Карповича.

Однако новый часовой был зол и неразговорчив.

Когда забрезжило, в замке щелкнул ключ. Дверь распахнулась. Нет, это был не Чернышев. На пороге стоял мясистый, грузный казак. Тимофей Карпович сразу узнал банкомета...

...Убедившись, что казаки хотят освободить подстрекателя, банкомет опять поспешил в штаб. Но ни одного офицера не оказалось на месте. Банкомет вышел во двор и заметил матроса Чернышева и полкового фельдшера, по жестам которого можно было догадаться, что он объясняет большевику дорогу к баньке. Казак бросился туда и на несколько минут опередил матроса.

Увидев отомкнутый замок, Чернышев подумал, что Тюменева кто-то освободил. Не часовой ли? Часового у баньки не было. Но, открыв дверь, Чернышев отшатнулся. Тимофей Карпович лежал у стены, схватившись за край бочки; видимо, он пытался встать. Чернышев бережно вынес его из баньки, положил на траву, перевязал грудь. Рана, к счастью, была колотая. Тимофей Карпович на секунду пришел в себя и прошептал:

— Чернышев, в кармане у меня адрес...

Это был адрес Вари.

Сороковка мигом раздобыл санитарные носилки. С Чернышевым они отнесли Тимофея Карповича в сторожку садовника, упросили хозяйку присмотреть за раненым несколько минут, а сами ушли искать какую-нибудь повозку.

Революционный Петроград пришелся не по зубам казакам и юнкерам. Не поднимали боевого духа слухи, что из Луги от Савинкова идут в Гатчину двенадцать эшелонов ударников. Среди войск Краснова не так уже много было желающих заслужить «деревянного Георгия».

После падения Александровской через Царское Село на Гатчину и Красное Село потянулись обозы, артиллерия. Теперь даже дорога к дворцам превратилась в обычную фронтовую дорогу отступления. У Египетских ворот пала лошадь. Тут же валялась опрокинутая походная кухня. Из ее топки выпали головешки. Кто-то бросил на бульваре исправную патронную двуколку. Казаки отступали хмурые, злые. Пропала выправка и кичливость у юнкеров. Грязные, обросшие, они шли теперь не в ногу, напоминая солдат-окопников.

В сутолоке отступления никто не обращал внимания на двух солдат, обходивших в городе конюшни. Кавалерийская шинель спасла Чернышева от подозрений. Потом Сороковка куда-то пропал, а Чернышев дошел почти до самого вокзала, по которому била со стороны Пулкова артиллерия красных. Лошадей не было, отступавшие увели всех. Чернышев вернулся назад.

Еще с порога сторожки он заметил неладное: носилки исчезли, Тимофея Карповича не было и на кровати. — Увезли,— сказала хозяйка.

Чернышев опустил голову.

— Да не тревожьтесь,— успокаивала хозяйка,— худо стало вашему дружку. Я кликнула санитаров...

Чернышев вышел из сторожки. Вот и гадай, кто увез Тюменева? Если казаки, то это еще полбеды: по-видимому, они все-таки решили сдать без боя. А если Тюменев попал в лазарет юнкеров? Тогда беда — могут расстрелять.

Вдруг раздался цокот копыт. Две серые лошади бойко несли к сторожке нарядную карету. Сороковка с кучерской сноровкой остановил лошадей и доложил:

— Рессорная, не растрясет.

— Не растрясет,— грустно повторил Чернышев.

Глава шестнадцатая

Варя опоздала на урок: Анфиса Григорьевна стояла в очереди за хлебом и попросила Варю посидеть с сыном.

Уроки должны были начаться уже четверть часа назад, но в школе почему-то было шумно, как на перемене. По лестнице сбегали ученики младшего класса. Возле кладовой шумела толпа ребят. Сторожиха раздавала тетради, бутылки с чернилами.

— Берите, родные, большевики все равно разграбят,— причитала сторожиха, разрезая шпагат на пачке тетрадей.

— Пойдите! Кто разрешил? — Варя растолкала учеников.

— Софья Андреевна велела. Пускай, говорит, дома пишут и вычисляют. Неизвестно, мол, когда закончится забастовка.

Совершенно сбитая с толку, Варя прошла к директору. Якова Антоновича не оказалось на месте. В приемной Софья Андреевна с кем-то разговаривала по телефону.

— Распущены, да, да, и младшие. Учителя все бастуют...

Закончив разговор по телефону, Софья Андреевна увела Варю к себе:

— Надеюсь, Варя, вы не будете штрейкбрехером в учительской корпорации?

— Я ничего не понимаю. Кто забастовал?

— Мы все, учителя. Дальше молчать нельзя! Большевики втягивают школу в политику, нам отказали в автономии. Да, да, отказали...

Потом Софья Андреевна говорила о прибавке жалованья, о каких-то квартирных деньгах, полагающихся учителям. Варя знала лучше ее, что жить тяжело, что рубль равен шести-семи довоенным копейкам. Но бастовать? Этого она не могла понять.

— Вы,— продолжала Софья Андреевна,— надеюсь, не против того, чтобы во всех трех ступенях — начальной, средней и высшей — обучение было бесплатное? Учащимся бесплатно учебники, тетради, завтраки, нуждающимся — обувь и теплое платье?

— Все это хорошо, но Советская власть еще молода, где ей взять средства? — сказала Варя.

— Чем же тогда Советы лучше Керенского?

Пылкие слова Софьи Андреевны никогда и ни в чем не убеждали Варю. Насторожилась она и теперь. И все же как учительница она не могла возражать против бесплатного обучения, учебников, против бесплатной обуви и теплого платья для учащихся.

Расстроенная, Варя вскоре ушла домой. Но на следующий день она пошла в школу. Ночью выпал снег, однако к школьной парадной не тянулась тропка. На дверях висело заснеженное объявление:

«Родители!

Мы, учителя, бастуем. Наши требования: автономия школе, бесплатное обучение, бесплатные учебники, завтраки, обувь, теплое платье учащимся.

Если Советская власть — власть народа, пусть выполнит наши требования.

Родители! Бойкотируйте учителей-штрейкбрехеров.

Стачечный комитет».

В нетопленной школе было пусто. Варя посидела у сторожухи и не выдержала, ушла.

Уже две недели бастуют учителя, две недели Варя не может избавиться от чувства, что она участвует в чем-то постыдном. Да и деньги на исходе. Как дальше жить?

Днем, когда в квартире никого не было, кто-то сунул в дверь письмо. У нее екнуло сердце — не от Тимофея ли? Почерк на конверте был незнакомый.

«Уважаемая Варвара Емельяновна, сегодня на пять часов дня в школе назначена выплата жалованья бастующим учителям.

Стачечный комитет».

Все было непонятно. Забастовка и — жалованье. Кто же будет платить? За что?

В школе было сумрачно, только в учебной части горела люстра. Никто не оглянулся на Варю, когда она вошла. Здесь кроме Софьи Андреевны был Яков Антонович и незнакомая дама, подстриженная по-мужски. Она сидела в кресле, обняв руками колени. У окна стоял высокий мужчина с хрящеватым носом и копной густых волос. Худобу его не могла скрыть широкая бархатная толстовка.

— Прочту последнее.

Незнакомец вскинул руки, будто благословляя кого-то:

Звезда
Упала из гнезда
Небес...
И лес

Приял ее. Он засиял?
Нет! Она
Без сна,
Не спит;
Погухла, не горит.
Зла! беда!
Звезда,
Воспрянь —
Тебе высь неба — грань..

Варя поморщилась. На литературных вечерах, куда ее когда-то водил Яков Антонович, она слышала не раз таких юродствующих поэтов. Захотелось сразу же уйти, но как же с жалованьем? Без жалованья нельзя возвращаться домой.

Поэт замолчал.

— Добрый вечер,— сказала Варя.

— Нашлась пропавшая! — Яков Антонович представил ее: — Учительница математики, Варвара Емельяновна Дерябина.

Мужчина, читавший стихи, оказался развязным малым. Дирижируя воображаемым оркестром, он спел туш и первым протянул Варе руку:

— Врежьте в память — Африкан Каштанов. По профессии — репортер самой свободной в Петербурге газеты «Буревестник», по призванию — поэт, по убеждениям — анархист.

Дама, сидевшая в кресле, не назвала себя, только буркнула: «Из банка». В следующую секунду на ее коленях оказался портфель, захрустели новые керенки.

— Получайте.

Варя взяла со стола вставочку, чтобы расписаться в ведомости, обернулась — дама сидела в прежней позе, обнимая колено.

— Где же ведомость?

— Кончилось время ведомостей,— забасил Африкан.— Скоро и деньгам капут.

Варя не понимала, шутят над ней или говорят всерьез. Теренин и тот, выдавая ей деньги, брал расписку.

— Стаечный комитет,— поспешил объяснить Яков Антонович;— доверяет людям.

— Да спрячьте бумажки в ридикюль; подымите голову,— крикнул Африкан,— чувствуйте себя человеком!

Варя промолчала, сбитая с толку всем происходящим в учительской. А поэт-анархист шумел:

— Рубль под гильотину! Проживем без денег. За единицу берем рабочий день, которой делится на шесть

рабочих часов. Каждая рабочая минута равнозначна золотой копейке...

Дама из банка зевнула:

— Прочитай, Африкаша, из последней тетради.

— Право, доставьте удовольствие.— Софья Андреевна просительно сложила руки на груди.

Варя оказалась в затруднительном положении: слушать глупые вирши было тошно, а уйти неловко. Яков Антонович придвинул ей стул.

Африкан выпрямился, широко расставил ноги и, рассекая воздух кулаком, стал читать:

Ты гром
И молния,
Народный стон и «я».
Ты меч
И злоб завет.
Восстаньем ты воспет!
Ты звон
Сердец,
Переворотов фон
И в пульсе мира — кровь...

Возвращаясь домой, Варя и не думала, что скоро ей снова придется встретить этого юродивого.

Без школы и учеников жизнь казалась пустой, бессмысленной. Смущало Варю и другое: жалованье. Откуда эти деньги? Почему Африкан что-то мямлил о большом единовременном пособии, которое скоро будет выдано учителям?

Однажды к ней постучала Анфиса Григорьевна:

— Тебя спрашивают.

В дверях стоял Африкан:

— От стачечного комитета, обследование.

— Раздевайтесь,— сухо сказала Варя.

Африкан швырнул пальто на кровать, туда же бросил шарф.

— У нас в квартире,— еще суше сказала Варя,— есть прихожая, есть вешалка. Понятно?

Казалось, незваный гость выругается и хлопнет дверью. Однако он только пожал плечами и отнес пальто в прихожую.

Не больше получаса пробыл у нее этот человек, но, как только за ним закрылась дверь, Варя от усталости повалилась на постель. С сумасшедшим легче разговаривать. Он ей предлагал переехать к нему на квартиру, выступить в клубе анархистов на диспутах «Государство — насилие над личностью» и «Да здравствует сво-

бодная любви!» К счастью, у него не было настроения читать стихи, но, уходя, он кинул на стол воззвание стачечного комитета и ученическую тетрадь.

Тетрадь была мятая, замызганная, в сальных пятнах. Варя брезгливо откинула обложку. Нет, это были не стихи, а проза. Эпиграфом к своим разглагольствовани-ям Африкан взял слова Фихте: «Всякий имеет право выйти из государства и образовать государство в государстве».

Африкан отстаивал «свободу личности». Он писал: «Никто не имеет права никому ничего приказывать и предписывать. Всякий только сам может решать, что он должен делать согласно своему разуму, совести и воле».

И этакий человек оказался чуть ли не центральной фигурой в учительской забастовке! Но что делать с напечатанным на машинке возванием стачечного комитета к учителям страны? С ужасом она увидела под ним и свою фамилию. Африкан, уходя от нее, велел подписать воззвание и переслать на Коломенскую или передать Софье Андреевне. В воскресенье «Буревестник» напечатает воззвание учителей. А почему под возванием не стоит фамилия старейшего математика Владимира Владимировича? Когда Варя спросила об этом, Африкан рассмеялся: «Нашли революционера!» Ей казалось, что этот человек затягивает ее в пропасть. Куда пойти, с кем посоветоваться? О Тимофее все нет и нет никаких известий, и лучше об этом не думать, иначе с ума можно сойти. Никогда еще Варя не чувствовала себя такой одинокой.

Единственный человек, который мог бы помочь ей разобраться в мучительных сомнениях, был Владимир Владимирович. Она пошла к нему.

Старый математик встретил ее приветливо. Варя рассказала о стычке с Яковом Антоновичем, который был против забастовки, но не хотел портить отношений со стачечным комитетом, о своем желании, что бы там ни было, учить ребят.

Старик сказал:

— Я тоже думаю, что забастовка — нелепость. Больше того — преступление. Это вы, слава богу, уже поняли. А вот с деньгами, Варвара Емельяновна, у вас нехорошо получилось.

— А вы... вы разве не взяли? — испугалась Варя.

— Я беру только заработанные.

— Мне же сказали, что все получили жалованье.

— В том-то и загвоздка, что взяли вы не учительское жалованье, а чью-то подачку. Я не очень хорошо понимаю большевиков, многое меня настораживает, но ставить им палки в колеса не считаю нужным. Деньги на подносе прямо из банка! Весьма подозрительно! Странная забастовка, странная...

Он ласково смотрел на нее, а она не знала, куда глаза девать.

— Характерец у вас, сударыня, дамский. Забастовали, не задумываясь, совести своей не спросили. Идею то у вас какая? Смею вас уверить: лозунг «Школе — автономия» подброшен хитрыми людьми.

По-новому раскрылся ей Владимир Владимирович. Как она ошибалась, считая его человеком, у которого нет никаких интересов, кроме математики. Он, может быть, и был таким, пока не почувствовал покушения на то, что ему дорого. Запретили учить ребят! Требовали, чтобы он бастовал! Такого произвола школа не переживала даже в черные дни столыпинщины. Владимир Владимирович глядел дальше, чем Варя.

— Дай им только, этим «свободолюбцам», дорваться до власти, они школьную автономию сошлют туда, куда и Макар телят не гонял. Ну, а деньги надо возвратить. Не пятняйте звания учителя. И совесть будет чиста.

Удивительно прост и верен был совет. Как она сама до этого не додумалась? Владимир Владимирович не сразу ответил Варя, когда она сказала о своем решении вернуть учеников в школу:

— Если искать опору, то у родителей. Хорошему в тысячу раз труднее научить, чем дурному. Многие наши ученики уже вкусили прелесть безделья. Забастовка для них праздник...

Час спустя Варя была в школе. Софья Андреевна встретила ее холодно:

— Сколько ждать! Принесли?

— Что?

— Звонили из «Буревестника», Каштанов нервничает. Он вам оставил оригинал, а в редакции нет ни одной копии.

— Воззвание,— сказала Варя,— я не подпишу. Я больше не хочу развращать бездельем детей.

— Вы изменяете учительской корпорации,— сказала Софья Андреевна.— Штрейкбрехер!

Неожиданно для самой себя Варя вдруг расхохоталась. Только сейчас открылась ей вся нелепость происходящего: ханжа, лакейская душа, обивавшая пороги

высокопоставленных лиц, и вдруг этакий гражданский пафос — «учительская корпорация», «штрейкбрехер»!

Наслаждаясь тем, как Софья Андреевна, сбита с толку ее смехом, пытается сохранить независимый вид, она вытащила деньги из сумочки:

— Что касается полученного мною жалованья, то вот, примите!

— Сдайте в банк. Ищите Каштанова. У него узнаете, где живет кассирша стачечного комитета.

Африкан Каштанов оставил Варю свой адрес. Вот и Коломенская, 15. Варя спросила у дворника, как пройти в квартиру № 5. Тот почему-то покосился на нее и ответил не сразу:

— Не ошиблись ли, барышня? Домовладелка еще летом выехала.

— Мне нужно пятую квартиру,— повторила Варя, досадуя на дворника за навязчивость.

К дверям квартиры № 5, сбитым обшарпанной кленкой, был припилен пером от дамской шляпы лист бумаги: «Звонок снят, входите без стука».

В прихожей стояло пианино, чехол лежал на полу вместо половика. Детская коляска служила стулом молодому матросу. Он залихватски барабанил по клавишам. На Варю матрос только посмотрел, но так, что ее бросило в краску.

В следующей комнате — по-видимому, еще недавно она была гостиной — угрюмый старик начинял взрывчаткой самодельные гранаты, два солдата прибивали к стене портрет Бакунина. На Варин вопрос, где ей найти Каштанова, старик молча показал на дверь.

Рядом была столовая, но какая необычайная столовая! На каминном зеркале висели приклеенные облатками мишени. У окна стояли три подростка и старательно целились в зеркало из револьвера. Африкан Каштанов стоял сбоку и командовал:

— Руку не напрягать. Не дергать спуск, тяните плавно... Отставить!

Подростки послушно опустили наганы.

— Простите,— скрывая растерянность, сказала Варя,— мне необходимо...

Надменная суровость исчезла с лица Африкана.

— Вы?! Какой счастливый ветер занес вас в нашу обитель? Одну минуту терпения.— И он тут же выскочил за дверь. Подростки вышли за ним.

Минута превратилась в верные десять. Варя присела

на диван. Через неплотно прикрытую дверь послышалось пение. Это пел в прихожей клёшник:

Равноправье тверже стали
Меж людьми,
Нас в правах всех уравнили
С лошадьми!
Наложу овса без плача
Полный рот,
Заживу себе, как кляча,
Без забот.
Брюк не стану покупать я, —
Для чего?
Лошадь может бегать, братья,
Без всего!

Песенку, очевидно, любили в этой квартире; в соседней комнате подхватил хор:

И платить за обувь до ста —
Не расчет!
Пусть кузнец мне ноги просто
Поддует...

Вернулся Африкан. Он не спеша выложил банку кетовой икры, копченую селедку, пряники и бутылку шутовского коньяка. Варя была голодна, но от угощения отказалась наотрез. Африкан выпил залпом стакан коньяка и стал закусывать пряником, макая его в икру.

Адреса кассирши стачечного комитета Африкан не знал, но обещал узнать. Он ни о чем не расспрашивал Варю, а деньги, которые она вернула, просто сунул в карман, сказав, что передаст, как только увидит кассиршу.

У парадной Варю встретил дворник. Вид у нее, наверное, был такой, что он сразу догадался о ее душевном состоянии.

— Говорил, барышня, не туда идете, так нет! Еще легко отделались. Большевики бога не признают, богатых не признают, всякие там реквизиции устраивают, так ведь все-таки люди. А эти!.. Видел я их флаг, черный, аршина три бархату и надпись: «Долой! Долой! Долой!» Все долой! — Дворник плюнул. — А газетку их не довелось читать? «Буревестник» называется. Полюбопытствуйте. Требуют отменить — как это у них сказано? — право частного владения женщинами в возрасте от семнадцати до тридцати двух лет. Тьфу!

Штаб анархистов оставил у Вари тягостное впечатление, но она была довольна: избавилась от бесчестных денег. Теперь у нее развязаны руки. Сегодня же она

обойдет родителей своих учеников, назначит занятия на завтра. Владимир Владимирович тоже придет в школу. Он сказал: «Важно, Варвара Емельяновна, начать. Помните: настоящий учитель всегда остается учителем».

Вечером к Варе зашел Чернышев и помрачнел, узнав, что от Тюменева по-прежнему нет известий.

На Варю Чернышев с первой беседы произвел впечатление сердечного человека. Ей захотелось рассказать ему о своих заботах.

— Это вы молодец, это правильно,— одобрил Чернышев, когда Варя сказала, что завтра начнет занятия в своих классах.

Уходя, он зачем-то спросил, в какой школе она учительствует.

В эту ночь Варя часто просыпалась. Ученики придут, пусть не все, но придут. Как-то их встретит Софья Андреевна? Как будет держаться Яков Антонович?

...Еще издали Варя увидела освещенный второй этаж школы. Свет есть, но истоплены ли печи? Ну, не беда, сами протопят.

В коридоре мальчишки играли в пятнашки. Учеников было мало, и все-таки Варю радовала возможность начать занятия.

Вдруг шумно распахнулась дверь учебной части. Оттуда вышли Софья Андреевна, Африкан, за ними Чернышев в бушлате, опоясанном пулеметными лентами...

В учительской находились Владимир Владимирович и учительница русского языка. Издалека донесся школьный звонок. Владимир Владимирович протянул Варе руку:

— Важно начать сегодня, нас уже трое. Откуда взялся этот матрос? Надо отдать ему справедливость, он умеет приводить довольно сильные доводы в защиту просвещения.

Звонок заливался. Нужно было спешить в класс.

Глава семнадцатая

Когда Тимофей Карпович вновь пришел в себя, он не мог понять, где он. Память, рассказывал он после, сохранила только клочки воспоминаний о том, что с ним происходило за это время. Он помнил себя на носилках, окруженного казаками, которые что-то говорили ему. Потом было опять забытие. Очнулся он уже на госпитальной койке, спросил у соседей, где он, ему ответи-

ли — в Петрограде, в Обуховской больнице. Первой мыслью было написать Варю, попросить прийти, но он не мог шевельнуть рукой: грудь, плечи — все было стянуто бинтами. Он продиктовал соседу, пожилому рабочему с Лесснеровского, легко раненному под Пулковом, несколько строк, полных любви и тоски, диктовал шепотом, чтобы на других койках не услышали его признаний. И раздумал отправлять. Лучше выждать, увериться в том, что врачи его не обманывают. И вдруг какое-то странное безразличие ко всему, и нестерпимая головная боль, озноб, и недоумевающие, встревоженные лица врачей. Отчетливо запомнился голос одного из них: «По-видимому, начинается сепсис». И опять забытье, и какие-то люди несут его на носилках...

Когда он снова пришел в себя, солнце золотило деревянные побеленные стены. Он лежал на койке в низенькой палате, оглядывал ее и вдруг увидел в дверях медицинскую сестру, похожую на Варю. «Опять бред», — подумал он. Так с ним уже было однажды. Варя тогда поднесла к его губам стакан. Он ощутил во рту кисло-сладкий вкус морса, хотел ей сказать: «Ты все-таки пришла? Я не хотел писать — зачем? Видишь, умираю», а Варя расплылась в белое пятно. Наверно, и сегодня то же самое случится. Тимофей Карпович закрыл глаза, но кто-то мягко взял его руку — проверить пульс. Он вздрогнул: у кровати стояла Варя. Глаза их встретились. Нет, это был уже не бред. Тимофей Карпович молча поднес ее руку к запекшимся губам.

Теперь уже она ему рассказала о том, что произошло с ним, когда он лежал в госпитале.

Врачи подозревали у него начало общего заражения крови. Но у него начинался тиф, сыпной тиф. Тимофея Карповича немедленно эвакуировали из госпиталя в Боткинские бараки.

А как же Варя попала сюда? Об этом она не хотела рассказывать, он был еще очень слаб.

Несколько позже, когда Тимофей Карпович сталправляться, лечащий врач как-то сказал ему:

— Не сразу разглядишь вашу невесту. По виду — барышня, институтка, а характер...

Тимофей Карпович рассмеялся:

— Какая же она барышня! Она в детстве гусей пасла.

И вот о чем узнал он от врача. В бараки его привезли в бессознательном состоянии. Дежурная сестра нашла в его бумагах неотправленное письмо в конверте и

с адресом, прочла, растрогалась и решила отправить со своей припиской — так, мол, и так, положение тяжелое, и ранение и тиф, за справками обращаться туда-то.

На третий день, как только письмо дошло, Варя была в бараках.

В проходной едва можно было протолкаться. Еще с порога Варя увидела на стене списки раненых и больных. Часть фамилий была зачеркнута зеленым карандашом, — это те, кто выписался. Желтые пометки говорили о тех, кто умер.

Покойников почему-то было больше в начале списка. Объяснялось это просто: в больнице не хватало людей, списки не переписывали, а добавляли к старым все новые и новые листы. Сухонький санитар, стоя на скамеечке, деловито колдовал над списками разноцветными карандашами.

Фамилии больных и раненых на букву «Т» начинались чуть ли не у потолка. Читать было трудно. Глаза остановились на третьей строчке: «Тюменев Т. К.» Жив! Значит, все-таки жив! Она не опоздала!

Варя кинулась к окошку, где принимали передачи. Там ее и слушать не захотели. Даже те, кто стоял в очереди, обрушились на нее — с ума сошла, знает же, что к заразным нельзя, никто не разрешит! Ее оттеснили от окошка.

Какое-то оцепенение охватило Варю. Неизвестно, долго ли это продолжалось, но в это время в проходную вошел человек в кожаном пальто и громко спросил:

— Кто поступает в пятый барак временной медицинской сестрой?

Никто не отозвался. Человек в кожаном пальто повторил вопрос.

Варя услышала шепот:

— Была тут молоденькая, испугалась заразы, убежала.

Тимофей Карпович лежал в пятом бараке. Варя так и рванулась вперед:

— Я.

— Пойдемте.

А вечером Варя стояла перед Софьей Андреевной. В кабинете заведующей учебной частью держался густой солдатский дух: с неделю назад Софья Андреевна — хочешь не хочешь — перешла на махорку. От сильной затяжки «козья ножка» вспыхнула — Софья Андреевна, сбив огонек, продолжала курить и отчитывать Варю:

— По крайней мере вы последовательны: сначала помешать нам в наших справедливых требованиях, а затем бросить на произвол два класса, это похоже на вас...

Варя не оправдывалась. Но иначе она не могла поступить. Она попросила одну из учительниц временно взять ее классы. Ее же место сейчас там, в палате сыпнотифозных.

Два месяца спустя окружная военно-врачебная комиссия признала Тимофея Карповича негодным к службе и зачислила в запас. В день выписки он еще с утра сдал книги в библиотеку, разорвал письма — из больницы нельзя выносить. Уже доктор закончил обход больных, уже принесли в палату обед, а Вари все еще не было.

С нового года она вернулась в школу и теперь приходила в барак только для того, чтобы передать ему письмо, постоять под окном в больничном саду. Сегодня с десяти утра — так было условлено — она должна была ждать его в проходной, и вот уже два часа дня, а ее нет.

Тимофей Карпович простился с соседями по палате. В солдатской шинели, с узелком он вышел на улицу. Ноги слушались плохо. От свежего ветра, от нестерпимой белизны снега на улице слезились глаза. Тимофею Карповичу стало грустно. Друзья, товарищи, где они сейчас? Раскидало всех! Кого в такое страдное время застанешь на Выборгской стороне? Тимофей Карпович медленно шагал по тихой улице. Почему Варя не пришла? Что помешало ей? Да мало ли какие случились дела, время трудное. Ему и в голову не приходило упрекать ее. Он уже свернул на Старо-Невский проспект, как кто-то схватил его за рукав шинели. Это была Варя, раскрасневшаяся, счастливая.

— Господи! Куда ты ушел? Неужели ты думал, что я не приду? Два раза пришлось ходить в райсовет, все утро искала...

Он не понимал — искала? Что искала? Морозный ветер, снег, солнце, ее лицо, прижимавшееся к его щеке, когда она тянулась к нему, — все сливалось в одно ощущение огромного счастья. Его шатнуло. Точно издалека он слышал ее сбивчивую речь о какой-то квартире окна-ми на Большую Невку, об ордерах на дрова...

— Зачем? — пробормотал он. — О чем ты?

Она взяла его под руку:

— Ничего не понимает, глупый какой. Жить-то нам надо где-нибудь? Втроем в моей комнате тесно...



ЕМЕЛЬЯНОВЫ

ПОВЕСТЬ

ПРОЛОГ

Стоял жаркий день. На Дубковском шоссе было оживленно, как в троицу. К увеселительному заведению купца Евлампия Михайлова подкатывали кареты, извозчицы пролетки.

Белобрысый Колька, сын оружейника Емельянова, спрятавшись за вертящейся рекламной тумбой, высматривал театрала потучнее, за которым можно было бы незаметно проскользнуть в сад. Там, в Летнем театре, выступали карлики.

Как только на заборах расклеили афиши, Колька начал копить. В стареньком кошельке были три монеты по копейке и четыре гроша. Этих денег и на вход в сад не хватит, а билет в театр стоит полтинник.

Наконец Кольке повезло. Кучер, разодетый барином, лихо осадил серого рысака. С открытой коляски сошла дебелая барыня средних лет. Она боялась яркого солнца, сразу открыла бело-голубой зонтик. Колька ловко пристроился за ней. Только он обрадовался — обманул билетера, как вдруг волосатая ручища схватила его за шиворот и потащила назад по дорожке. Взлетев в воздух, Колька шлепнулся в крапиву, обжег локоть и шею.

Однако это не умерило желания посмотреть представление. Он отважился на новую хитрость: выбрав дуб, ветви которого свисали по ту сторону забора, Колька проворно забрался на дерево, спрыгнул и спрятался в кустах. Отдышавшись, он выглянул и обомлел: у входа в театр — два маленьких негрятенка. «Будто ваксой вымазаны», — изумился Колька и пожалел их: больно они черные, а если их в горячей воде искупать, не пожадничать на мыло, поскрести мочалкой кожу, то посветлеют. И тут он задумался — будет ли им хорошо, когда они превратятся в обыкновенных мальчишек, таких, как его приятели Володька Шатрин, Ванька Анисимов и Тимоха Поваляев. Из Петербурга привозят барчуков поглазеть на черномазых, денежки за показ платят.

Пронзительный звонок известил о начале представления. Но как проникнуть в театр? У раскрытых дверей

торчал глыбой билетер. Беспрепятственно проходили расфранченные барчуки, окажись среди них Колька — признали бы за чучело в огороде. Был он в длинных штанах, залатанных сандалиях, ситцевая рубашка вылезла из штанов и горбилась на спине, а волосы, черт их подери, топорщились, и нос некстати облупился. Колька совсем пал духом: видно, проскочить без билета не удастся. Но не в его характере было долго унывать. В сад он пробрался, а представление в Летнем театре можно смотреть и через щелочку в стене.

Удобно устроившись на плакучей березе, Колька выковырял сук в доске, прильнул к глазку. Под мелодию струнного оркестра на сцену выкатилась тройка словно пряничных коней. С розвальней сошли лилипут и лилипутка, ростом чуть больше куклы. Одеты они были, как господа: на нем черный фрак, цилиндр, на ней белоснежное платье.

Лилипут снял цилиндр, отвесил низкий поклон и пригласил даму на танец.

Внезапно в листьях Колькиной березы зашумел дождь.

Посмотрев вниз, Колька ахнул, — ну уж теперь ему несдобровать. Сам Евлампий Михайлов стоял на лужке, подбоченившись, хохотал, а дворник из пожарного рукава поливал березу. Ледяная струя больно стегала Кольку, укрыться было негде, он упал, вернее, скатился на землю, — густые ветви затормаживали его падение.

Опомнился продрогший Колька в яме.

В кустах Колька отжал штаны и рубаху, и сразу же к нему вернулось хорошее настроение: дешево он отделался, могли и за уши отодрать, в участок отправить. Насвистывая, шел Колька к себе на Никольскую. У розовой дачи его окликнули. За чугунной оградой на высоких ходулях прохаживался Поль, внук акцизного чиновника.

— Хочешь, походить дам? — соблазнял Поль.

— Свои получше твоих смастерил, — отказался Колька. У самого и простеньких ходуль не было, но он недолюбливал зазнайку Поля.

— Мои на резиновом ходу, ручки откопал на развалинах Дубковского дворца, — хвастал Поль.

Ходули у Поля, и верно, подбиты толстой резиной, ручки деревянные, выкрашенные бронзовой краской.

— Подразнишь и обманешь, — сказал равнодушно Колька, а самого так и подмывало перемахнуть через ограду.

— Божусь, гляди,— Поль трижды перекрестился.— Ходи, пока не устанешь.

Колька перелез в сад, с маху забрался на ходули. Поль позавидовал: сам он встает на них с крыльца.

Прошелся Колька по большой дорожке. Устойчивые ходули, на них можно даже бегать. Свернул он на малую дорожку, клумбу obeжал. Что случилось с Полем? Подобрел, не гонит с ходулей и выгоды себе никакой не цыганит.

— Зря вчера сбежал, а я на месте дворца еще кое-что нашел,— интриговал Поль.

— Удивил!— Колька прыгнул с ходулей.— Вот у нас на Никольской саблю фельдмаршала из колодца вытащили. Столько лет в воде пролежала, и ржавого пятнышка не найти.

Поль поверил. Он слышал, что Суворов гостил у оружейников, память о себе оставил. В колодец, из которого водой его угощали, саблю опустил.

— А знаешь, что там?— Поль кивнул на сарай, понизив голос.— Карлик-фокусник. Сбежал от хозяина, у нас на усадьбе скрывается.

Колька подозревал, что Поль в ловушку его заманивает. В минувшее воскресенье Колька разбил Полю нос. Потеху тот устроил: слепому нищему вместо хлеба положил в суму навоз. Не прячутся ли в сарае братья Петруха и Мишка Слободские, сыновья лавочника, давние его неприятели? А если Поль не врет? Дал же попробовать ходули.

Забыв про опасность, Колька шагнул через порог и чуть не свалился,— Петруха подкараулил его у двери, Мишка выскочил из-за поленницы со стареньким монтекристо. Ружье у Мишки было без затвора. Колька сообразил: не выстрелит. Он швырнул в Мишку пустой фанерный ящик, Петруха кинулся на вырубку, но наскочил на Колькину ногу и схватился за живот. Поля, трусливо сбежавшего из сарая, Колька догнал в саду, смазал раз-другой по роже, а отлупить не дали. Откуда ни возьмись налетел дворник с генеральской дачи, из флигеля выскочил дед Поля, худощавый старик. Они повалили Кольку на землю, связали ему руки. Братья Слободские мгновенно исчезли.

— В участок!— орал старик, брызжа слюной.

— Побойтесь бога, зачем в участок, мальчишки подрались,— большая ли беда? К родителям отвести,— угваривал дворник,— это еще туда-сюда.

— Чей будешь?— спросил уже спокойнее старик.

Колька, набывшись, молчал.

— Емельянова с оружейного парень,— ответил дворник.

— Это у него дед каторжник?— спросил старик.

Колька исподлобья зло взглянул на него.

Поликсенья Ивановна была дома одна. Она резала лук на крошку, когда Кольку втокнули в кухню. Руки заведены за спину и связаны шарфом, лицо грязное, под левым глазом кровоподтек, штанина разорвана. Сзади возвышался старик в чесучовом пиджаке, голову прикрывала казенная фуражка. Близорукие глаза старика из-за стекол пенсне смотрели строго.

— Ваш, сударыня, разбойник?

— Мой,— прошептала Поликсенья Ивановна.

— Вынужден огорчить. Учинил он в моем саду драку,— продолжал старик.— Придется составить протокол и в тюрьму.

— Коль за драки мальчишек сажать, тюрем и крепостей не настроишь,— заступился за Кольку дворник.— Трое на одного напали. Слободских тоже бы не мешало приструнить, озорники отпетые.

Старик затряс головой.

— Вы приставлены блюсти порядок, а сами потакаете бесчинству.

Дворник опешил. Пожалуется акцизный, а генерал крут, с места сгонит.

— В чем потакаю? Я за порядок,— оправдывался дворник.— Кто кинулся на крик, кто шарфом вязал, кто зачинщика сюда доставил? У Емельяновых свой суд. Портки снимут и недоуздом пройдутся, на табуретку с неделю разбойник не сядет.

— Выпорют?.. — строго спросил старик. И обратился к Поликсенье Ивановне: — Выпорете?

— За штаны голову ему оторвать мало.— Поликсенья Ивановна вцепилась в Колькины волосы.— И куда запропастилась плетка?

Старик попятился к двери.

— Экзекуцию, сударыня, пожалуйте, без нас.

Он гордо вышел. Дворник задержался, вздохнул:

— Не особенно, баба, плеткой усердствуй. Внук акцизного первый задира.

— А шарф-то господский? — Поликсенья Ивановна развязала сыну руки, оттолкнула топтавшегося на месте дворника, выскочила на улицу.

Когда она вернулась, дворник уже ушел. Колька был в комнате, прикладывал пятак к синяку.

— Сколько наказывала — не водись с господскими. Чего не поделили?

— Задается француз. Смазал ему по роже, теперь Никольскую за версту будет обходить.

— Отлупил француза? — удивилась Поликсенья Ивановна. — Откуда он в Сестрорецке?

— Затесался один, по-французски изъясняется, — ответил Колька, потер синяк, добавил запальчиво: — Мало еще поддал...

Из путаного Колькиного рассказа Поликсенья Ивановна узнала, что произошло на усадьбе акцизного чиновника. Растерялась она: барчуки затеяли драку. За что же наказывать сына? В это время хлопнула калитка. Поликсенья Ивановна выглянула в окно и увидела, что к дому бежит Петька Бык, сын соседа Федорова. Что случилось?

Петька повис на подоконнике, заговорил сдавленным шепотом:

— Беда, тетка Поликсенья. Батька послал. Велел тебе что есть духу бежать в контору и в ноги падать генералу. — Отдышавшись, Петька продолжал: — Дядя Саша твой с ума сошел, взял за грудки начальника мастерской... Вымаливай прощение, не то дядю Сашу по этапу в Сибирь.

Мальчишки скоры на ногу, но и то отстали от Поликсеньи Ивановны. Прибежала она, грохнулась в вестибюле конторы, еле в себя пришла. А к генералу ее не пустили, правитель канцелярии вышел на лестницу, сказал:

— Не велено, отправляйся домой, слезами не поможешь, достукался-таки твой Емельянов. На поденщину и то не возьмут.

Дождалась Поликсенья Ивановна мужа, вышел он с парадного подъезда, а не из проходной, подавленный, сам на себя не похож, не подымая глаз, признался:

— Подступило, в ту минуту не подумал о тебе, ребятишках... очень уж накипело. Как крепостных неволят.

— Покалечил? — беспокойно спросила Поликсенья Ивановна, заглядывая в глубоко запавшие, печальные глаза мужа.

— Больше перенолоху, встряхнул начальника, пуговицы полетели. Сказали в канцелярии: в суд не переда-

дут, семью, мол, жалеют... Боятся... Выгнали, как и бабу, по тому же пункту.

По дороге домой Поликсенья Ивановна сдерживалась, а поплакала вволю на кухне — знала, муж не терпит бабьих слез. Да и чего ему досаждать, он и сам себе не рад — характер горячий. Без провинности мастер штраф наложил, другой бы смолчал, а у Александра не такой нрав — не смолчит, что ж, видно, жизнь так устроена: у кого кошелек толст и чин имеется — тот и прав.

У кого правду искал? Вот и доискался. Расчет дали и еще записали: «Без права поступления на оружейный». В Сестрорецке не разбежишься с работой — казенный завод, мастерская по ремонту металлической утвари — вот и все. В Питер не больно наездишься, хоть и третьим классом, а все равно с конкой около рубля расход, и не трехжильный мужик, с лица и тела крепок, а ночью в поту просыпается, суставы болят. Молодым застудился, в паводок заводскую плотину укреплял, с той поры и мается.

Выплакав все слезы, Поликсенья Ивановна задумалась: как же жить дальше? И так до полочки жалования мужа не хватало, должна за провизию, в лавке Короткова была у них заборная книжка. Пристроить бы старшего на оружейный, да вот горе — двух лет не хватает до поступления, а на вид Кольке все больше дают, костью в деда и силой не обижен.

Выгладив праздничную рубашку, штаны, Поликсенья Ивановна велела Кольке вымыть шею мочалкой с мылом. Когда он оделся, она придиричиво осмотрела его, сама повязала ему шелковый пояс и повела к своему брату.

После несчастья — покалечило правую руку на токарном станке — Абрамову от казны положили за увечье пенсию восемнадцать рублей с копейками. С голоду не умрешь и досыта не поешь. Судиться с казной он не стал, попросился сторожем в ложевые сарай.

Жил Абрамов недалеко от озера. Дом, как и у соседей мастеровых: деревенская изба, горницы — теплая и холодная. Удачно пришла Поликсенья Ивановна, брата застала дома, час назад вернулся из Питера.

— Далече живешь, за семью морями, долгонько к брату родному не навевывалась, — не подымая головы, выговаривал Абрамов, но видно было — рад сестре. — Почаевничать останешься? У Филиппова сдобных бара-

нок купил, твоим озорникам привез угощение — корзинку крошек пирожных.

Поликсенья Ивановна присела на табуретку, хотела поблагодарить брата за гостинцы, не с беды же начинать, с месяца, почитай, не виделась, но слезы выдали, обронила:

— Хоть с голоду подыхай, рассчитали моего..!

— Перестань реветь,— прикрикнул на сестру Абрамов. — На погост бы мужика свезла — горюй, кормилица лишилась — горюй. У тебя он жив, не покалечен, чего уж так оплакивать. Ну... рассчитали...

— Креста на них нет. Штраф ни за что взяли и с места согнали. Без куска оставили семью,— жаловалась сквозь слезы Поликсенья Ивановна. — Бога ради, пристрой старшего, ремеслу научится и домой на хлеб-соль принесет. Кое-как и перебьемся. Рыба в озере, в лесу ягоды, грибы непокупные, картошка своя, может, к осени злость у генерала уляжется, возьмет моего обратно. Рукам-то его цены нету.

— Горе мне с твоими Емельяновыми,— разворчался Абрамов. — Свекор твой за правду бился, так его помещик на двадцать пять лет в солдаты сдал. На оружейном за бунтарство едва на каторжные работы не угодил. Теперь твой мужик по той же дорожке пошел.

— Саша мухи не обидит,— заступилась за мужа Поликсенья Ивановна. — Приветливый!

— Удар, поди, хватил начальника от емельяновской приветливости,— сказал Абрамов, но, взглянув на изможденное лицо и дрожащие руки сестры, пожалел ее. — Не убивайся, ради тебя, горемычной, поклонюсь кому следует, пристрою парня к делу.

Поликсенья Ивановна позвала сына, робко выглядывавшего из сеней:

— Кланяйся дяде, благодари.

— Мне поклоны не больно-то в радость,— перебил ее Абрамов и сказал племяннику: — Устрою, к золотому мастеровому приставлю, но уговор: веди себя прилежно, не пачкай мою репутацию. Руку бы не покалечило, так медаль бы дали, или, на худой конец, мастерский кафтан в тезоименитство пожаловали бы.

Поворчав, что ему не повезло с родственниками, Абрамов подровнял ножницами бородку, надел воскресный костюм, уложил в левый карман жилетки часы, серебряную цепочку пропустил по животу, а брелок заделал в петельку правого кармашка.

По парадному ходу провел он Кольку в контору. — Мотай на ус, видишь, уважают твоего дядю, — шептал он, подымаясь по лестнице, — идем не по черному ходу, тут офицеры и генералы ходят.

Перед тем как скрыться за тяжелыми дверями кабинета первого помощника начальника завода, Абрамов наказал племяннику сидеть смирно, не баловаться. Вечностью показалось Кольке ожидание в приемной. Наконец позвали и его в кабинет.

Раздобревший полковник снял пенсне, оценивающе окинул взглядом мальчишку — крупный, рослый, глаза смышленные. Хорошие мастеровые Емельяновы, одна заковыка: непокорные, ершистые, ни каторги, ни солдатчины не боятся.

Абрамов понял сомнения полковника.

— На Емельяновых он только с виду похож, — проговорил он, — а характер Поликсеньи, моей сестрицы, — может, слышали от вашей супруги — она белье вам стирает, крахмалит рубашки, премного довольны ею были.

Полковник иногда встречал у жены прачку, ему запомнились ее живые глаза и тугая коса, положенная дважды вокруг головы.

— Взял бы мальчиком в инструментальную... да по годам мал, — полковник уставился на Абрамова: — Угости писаря, метрическую постарше выправит. До одури развелось всяких попечительниц, двенадцатилетний шалопай у них еще дитя.

— Все пятнадцать Кольке можно дать, как сами изволили заметить, рослый, крепкий парень, — посмелел Абрамов. Племянник произвел благоприятное впечатление на полковника.

— Беру мальчиком из уважения за твою службу, только чур: строго-настрога предупреди Емельяновых, деда и отца, — пора им образумиться. Если они этого сами не хотят, то пусть дурному не учат мальчишку. До чего бунтовство довело его отца!

— Послежу за племянником, чуть что замечу — за вихры оттаскаю, — пообещал Абрамов. — А вас не придумаю, как и благодарить.

«Заискивает перед фон-бароном», — сердился на дядю Колька. Полковник не заметил ни сжатых кулаков, ни злого взгляда мальчишки. Где-то в душе, может быть, он жалел семью изгнанного мастерового, парнишка хоть на хлеб-соль принесет в получку.

Гордо, независимо прошел мимо вахтера Абрамов, а как миновали мостик через заводскую речку, сгорбил-

ся, зачастил ногами. Кольке вдруг до слез стало его жалко,— столько человек перенес унижения.

До самого дома Абрамов молчал, а отворив калитку, мгновенно преобразился, пиджак распахнул, пусть жена и сестра видят, какой он есть.

— Уладил, берут твоего обормота, и не куда-нибудь, а в инструментальную, к настоящему ремеслу приставят,— сказал Абрамов, едва переступив порог.

Поликсенья Ивановна кинулась ему в ноги. Да, несладко ей живется.

— Брось дурить! — Абрамов прикрикнул на сестру. — Эко я благородство сделал! Сходил в контору, ноги не отвалились, ну попросил, ну поклонился, я не из заносчивых. И зятю любезному желал помочь, ругаю, смертно ругаю, а гордость у твоего мужика хорошая, рабочая, за правду ведь он пострадал, другие-то мастера в сортире храбры, а он напрямик начальству режет. Слушай, Колюха, теперь ты главный кормилец,— обратился Абрамов к племяннику. — По этому случаю придется мне тебя снарядить честь честью на завод, у батьки дыр-то и без того в доме много. Куплю инструмент, не нищенствовать же Емельянову в мастерской.

Переулками дядя и племянник выбрались на Выборгскую улицу, как раз напротив лавки со всякой всячиной. Под натянутым холщовым тентом вперевалку прохаживался Слободской, ее владелец. Духота, жара, а он в тройке, пиджак застегнут на все пуговицы. Завидя Абрамова, лавочник громко, на всю улицу, принялся хвалить смолу.

— Осталось три бочонка,— заговорил он вполголоса. — Коль денег нет, бери в долг, обожду — отдашь.

Абрамова не проведешь: раз лавочник кредит навязывает,— значит, всучит залежалую смолу.

— Смолы не сахар,— отказался Абрамов,— мою лодку зять смолил, хоть в океан плыви.

— Именинник у тебя молодой человек? — Слободской перенес внимание на Кольку, по-воскресному разодетого,— купи бокал с портретом императрицы Марии Федоровны. Оська, приказчик, золотом напишет. Художественно, дьявол, кистью водит. «В день ангела». Утром заходил Леонтьев, не торгуясь купил бокал и сам себе подарил с надписью.

Удивлялся Колька — шли к Слободскому инструмент покупать, а дядя старается ускользнуть от прилипчивого лавочника. «Денег жалеет,— загрустил Колька,— разду-

мал покупать, наберет в чулане пользованных». А как Кольке хотелось прийти в мастерскую и разложить на верстаке новые напильники!

Позже он понял — дядя комедию ломал перед лавочником, чтобы тот уступчивее был, не запрашивал лишку. Абрамов нехотя обходил прилавки, без интереса перебирал плоски, бочонки, ведра.

— Напильников давно не покупал, — навязывал неотступно следовавший за ним Слободской.

— Божескую цену назначишь, пожалуй, взял бы.

— Себе в убыток торгую. — Слободской ухитрился задержать Абрамова у прилавка.

Абрамов отложил брусковку — напильник прямоугольного сечения. Слободской оттеснил приказчика, сам стал за прилавок. Абрамов покупатель серьезный, в долг не любит залезать.

— Из Шеффилда и Ланкашира выписываю напильники, лучшие фирмы в мире английские.

Лавочник не привирает. Напильник привозной, Абрамов определил это по насечке и закалке. У Слободского и то в год раза два-три такой хороший инструмент бывает.

— Давай сторгуем, — вроде и поддался на уговоры Абрамов, — коль запрос скинешь, возьму инструмента полный набор.

— Из уважения. — Слободской по-хозяйски выкладывал на прилавок бруски квадратного сечения, покрытые с четырех сторон двойной насечкой, напильники плоские с тупым краем, остроносые, полукруглые, треугольные. Отобрав дюжину напильников, Абрамов попросил показать надфили и непременно швейцарские.

— В ювелиры записываешься, — пошутил Слободской. Но велел приказчику снять с верхней полки коробку с надфилями.

— На глаза ныне слаб и рука покалечена, — ответил грустно Абрамов, — а вот племяннику надфили пригодятся, в серьезное учение определил, не на побегушки.

У Слободского прорвалась прижимистость.

— Мальчишке покупаешь инструмент из Ланкашира и Шеффилда, — сказал он и осуждающе покачал головой. — Бери подешевле, недели не пройдет, все напильники загубит.

— Мой племянник не из сиротского приюта, — оборвал Абрамов, — и деньги, Слободской, не твои.

Нравы оружейников знакомы Слободскому: что взбредет в голову — не отговорить, тем более Абрамо-

ва. У этого мастерового глаз верный, перекаленные напильники и с мягким зубом за четверть цены не возьмет.

Рассчитавшись, Абрамов отдал сверток Кольке, сказал:

— Покупку полагается обмыть, не то зубцы в напильниках затупятся. Тебе рано по трактирам шлындать, без тебя обмоет. Батьку подошли к Леонтьеву и беги ко мне домой, забирай новый ящик, в горнице под кроватью. В мастерской ахнут от зависти.

— Это тот, что под орех разделан? — уточнил Колька, не веря тому, что услышал.

— Тот, что под орех, — подтвердил Абрамов. — Постой, — задержал он Кольку, — а запирать ящик молитвой будешь?

Приказчик с дюжину замков выложил на прилавок. Абрамов купил квадратный с хитрым секретом.

— Дорог ныне инструмент, — оправдывал он покупку замка, — без запоров утащат, напильники привозные редко у кого есть и денег стоят.

В понедельник, задолго до первого гудка, Поликсенья Ивановна сварила котелок молодой картошки, выстала на стол подсолнечное масло, блюдце крупной соли. Александр Николаевич тоже рано поднялся, сходил на колодец, налил воды в рукомойник, разбудил Кольку.

— Рабочий теперь ты человек, значит, самостоятельный, — наставлял он, — сам привыкай вставать, будильник я не держал, баловство. У Емельяновых заведено — с первым гудком из дома. Иди на завод с охотой, не из-под палки. Без настроения какая уж работа, поденщина. Делай простую скобу и кружало с одинаковым прилежанием, чтобы самому нравилось и душа радовалась.

Проводил сына Александр Николаевич. На горушке они расстались.

— Ступай, смотри не волюнь, без пота и старания настоящим мастеровым не станешь, — сказал грустно Александр Николаевич и легонько толкнул сына.

Прижимая ящик с инструментом к ноге, Колька по-мальчишески сбежал с горушки, вспомнил, как дед вчера говорил: «На земле, Колюха, главный человек — рабочий». В проходную Колька вошел степенно.

Долго еще стоял на горушке Александр Николаевич, глядя на приземистые здания мастерских. Туда он, уволенный без права поступления, никогда не вернется.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В траве у старого тополя навзничь лежал человек. Остро торчали скулы, впалые землистые щеки — в желтых пятнах. Он отрешенно глядел в синее небо, не замечая склонившихся над ним мастерового в поношенной блузе и парнишку из заводских.

— Подыши, Фирфаров, подыши свежим воздухом, вони наглотался, она у нас злая, ей что — человек, быка свалит с копыт, — участливо говорил мастеровой, а у самого — запекшиеся губы и лилово-зеленоватые дуги под глазами.

— Горит. Христа ради, льду бы... — шевелил губами больной, уронив руку на грудь.

Мастеровой снял с себя нательную рубаху, сунул парнишке.

— Намочи и бегом сюда.

Положив на грудь Фирфарову мокрую рубашку, мастеровой сказал:

— Без мудрости, Егорыч, стащим тебя в больницу, доктор поглядит, постукает, лекарство пропишет, повалешься денька три и оживешь.

— Отлежусь дома, до гудка бы простоять, больных-то у нас не жалуют, стонят с места. — Фирфаров застонал. — Иди, не канителься со мной, под штраф угодишь, а ироду набреши поскладнее: вызвали-де в контору.

— Так я пойду, — сказал мастеровой. — Прислать кого?

— Оставь мальчишку, — попросил Фирфаров. — Отпустит, с ним доберусь.

Сердобольный солдат вынес из караулки медный чайник и кружку.

— Выпей, чай своей заварки, не казенный. — Солдат, опустившись на корточки, налил полную кружку душистого чаю.

— Маленько полегчало. — Фирфаров вернул кружку. — Хорош чаек.

— Не уйдешь от лазарета. Без здоровья оружейному ты не нужен, — уговаривал солдат. — Отведу.

— Справку освободительную дадут, а на что она, — шептал Фирфаров, — бумажка докторская деньги и боны не заменит. Лавочник Колесников на что терпелив,

и то погрозил: не погашу долг — лишит заборной книжки. Шутка сказать — рассчитаться за все, что наели. Прошлый месяц я десять ден прохворал, вдобавок мастер штрафанул. А за что?.. И самому сатане неизвестно... В получку выдали две трешницы и серебряной мелочи. Жена отвезла в ломбард самовар. Из чугуна чай пьем. Ох, жжет.— Фирфаров застонал и перевалился на живот.— Нанюхался окаянных зелий. Они не то что легкие — золото растворяют.

Николай Емельянов возвращался со стрельбища, носил котелок шей батьке. Из милости взяли старого на поденку — протирать винтовки после стрельбы, положили сорок копеек в день, как мальчишке.

Старший сын у Емельяновых крупнее отца, бороду не отпускал, носил усы, а вот пронизательный взгляд глубоко посаженных глаз был емельяновский.

Николай прибавил шагу, еще издали по зеленой ковсоротке узнал Фирфарова.

— Свалила все-таки отрава. Пока не поздно,— перебирайся к нам в инструментальную,— предложил Николай.— Тебе жить и жить. Дочки еще не на выданье.

— Жалованье в инструментальном пожиге,— обронил Фирфаров.— Рано семью завел. Достучу в травилке. Пенсию честь честью положат.

— Здоровьем не дорожишь, стой у чана,— рассердился Николай.— Жди, положат пенсию и деревянный мундир.

— Месяц до конца не дотянул, а пятый раз вытаскивают,— невольно пожаловался Фирфаров и усмехнулся: — Повезло, в рубашке родился, мастер не заметил, как свалился, а то бы отвел душу. Пособите, братцы,— Фирфаров, держась за солдата и парнишку, поднялся с земли,— поплетусь.

И пяти шагов он не сделал: подкосились ноги, солдат успел придержать за локоть.

— Прижало, не миновать доктора, а он уложит в постель,— с болью вырвалось у Фирфарова.— Эх, не жизнь, каторга без кандалов.

Он высвободил руку, словно проверял себя, сделал шаг, еще шаг — и повалился. Не поддержи опять солдат — упал бы.

— К морю и теплому солнцу сердешного отправить,— сказал солдат,— еще молод, осилит хворь, а с годами она глубже запрячется, на лопатки положит.

Под руки увели Фирфарова к врачу. А Николай остался у старого тополя. Незаметно подошел Анисимов.

Из окна мастерской увидел, как отхаживали Фирфарова.

— В чем душа держится... Помню, я в один день с Егорычем поступал сюда, на казенный,— заговорил Анисимов.

— Он, пожалуй, недели на две позже,— сказал Николай.— Припоминаю, в образцовую и механическую мальчигов набрали, место было лишь в красилке-травилке. В метрике прибавили ему лет, а жизнь-то укоротили.

— Жалость у нас бабья,— Анисимов сжал кулак,— погоревали, повздыхали — и разошлись. Недавно Землегляда мастеровых прутиками назвал. По очереди нас ломают, Фирфаров не первый. А кто следующий? И все безропотно.

Николай слушал рассеянно, оживился, когда Анисимов невзначай упомянул Землегляда.

— Что за человек?

— Познакомлю,— пообещал Анисимов,— вот у кого нашему брату ума набираться.

Анисимов случайно взглянул на чайник, мокрую рубашку в траве и заговорил о Фирфарове.

— Человек на оружейном — прутик, ломают, выбросят, а мы только по углам ропщем, вот чахотка и сгубит человека.

— Солдат тут до тебя умно судил-рядил,— сказал Николай,— на теплое солнце, горный воздух Егорыча отправить, лечить серьезно.

— Не по нашим деньгам тот край, где чахотку лечат,— трезво рассудил Анисимов.— Лучше миром просить генерала перевести Егорыча винтовки принимать в комиссии. И жалованье выше, и воздух не отравленный. А зимой там совсем благодать — дворники дров не жалеют, у офицеров не побалуешь.

— Фирфаров упрямый, звал в инструментальную — не идет,— возразил Николай.

— У солдата, пожалуй, правильная голова,— подумав, согласился Анисимов.— Богачи ездят в Крым, на кислые воды, и там с болезнями расстаются. Вот бы в Крым и отправить беднягу полечиться.

— Кто его отправит? Начальник в травилке — камень, а мастер — редкая сволочь,— сказал Николай.— Чуть что — за ворота...

— Выше постучимся,— предложил Анисимов и свернул на дорожку к заводской конторе.— Не поможет полковник, до генерала дойдем.

Эта решительность до того была не в характере медлительного Анисимова, что Николай растерялся, поостал.

— Куда торопишься, дров сгоряча бы не наломать,— Николай заговорил с беспокойством.— Боюсь, навредим Фирфарову, он скрывает от начальства болезнь, и еще... Вдруг полковник спросит, кто нас уполномочил?

— Уполномочил кто? — спросил Анисимов. — Я отвечаю... совесть нас уполномочила!

Николай повторил за Анисимовым:

— Совесть уполномочила! Правильно рассуждаешь. Пошли к полковнику.

Правитель канцелярии решительно заслонил дверь кабинета.

— Неприсутственный день.

— Ждать присутственного, а мастерового ногами вперед вынесут?

У чиновника сползли на кончик носа очки, он испуганно дернулся в сторону.

Полковника мастеровые застали врасплох. Вид у него был не барственный, китель с регалиями висел на спинке стула, а он сам, в вельветовой куртке, похожий на заштатного приемщика, рассматривал новое кружало. Инспектор артиллерийского ведомства дал ему высокую оценку, начальник образцовой — резко отрицательную. Кто же прав? Генерал просил не медлить с ответом. И вот, когда нужно сосредоточиться, посмели ему мешать. Подняв голову, полковник нахмурился.

— Фирфарова без чувств вынесли из красилки,— заговорил Николай. — Кислоты и лаки человеку здоровье сгубили — чахотка его поедает, требуем отправить в Крым лечиться.

— За счет казны,— вставил Анисимов.

Полковника сейчас раздражало все: и мастеровые, что ворвались в кабинет, и трусливый правитель канцелярии, виновато заглядывающий сюда, и докучливый генерал. На языке вертелось: «В Крым? А почему не в Герберсдорф? Признанный мировой курорт». Но он сдержался,— наверно, депутация. Хочешь не хочешь, а терпеливо выслушай весь этот бред.

— Казна не обеднеет,— настаивал Анисимов.

— Фирфаров не крепостной, знал, на что шел. Если чахоточных и слабых здоровьем мастеровых возить в Крым за счет казны, то завод выгоднее закрыть,— резко ответил полковник. Опомился, заговорил мягче: —

Лечите больного обществом, пустите лист, как делаем иногда мы в офицерском собрании.

Вынув из кителя бумажник, полковник протянул мастеровым пятирублевую бумажку.

— Открою лист, генерал, господа начальники мастеровских не откажут, пожертвуют, кто сколько может.

— На бедность?— Николай навалился на стол, Анисимов предупредительно наступил ему на ногу — не горячись.

— Мы не на паперть шли...

— Нищим подают медяки,— сухо ответил полковник,— жертвую кредитный, сожалею, но собственного монетного двора у меня нет.

«Дешево ценят на оружейном человеческую жизнь»,— подумал Николай, не удержался, сказал:

— С листом ли, с шапкой на паперти — одно и то же.

— Не желаете пускать лист жертвователей, дело ваше,— полковник убрал деньги в бумажник. — Не навязываю. Можно Фирфарова с красилки и на пенсию вывести. Поблагодарит ли он ходатаев?

Выбравшись из кабинета, Николай с досады плюнул. Ругал себя за горячность и Анисимов.

— Не получилось, а хуже бы бедняге от наших хлопот не стало. Хитер полковник, под корень срезал.

— На казенном правда и не ночевала,— поддакнул Николай.

— Пока всяк только при своей обиде будет брать лиходея за грудки, любой городской зачинщику голову отвернет. А попробуй задень какое-нибудь благородие... сомнут, в земле сгноят. Сподручно им нас в одиночку бить. Деда твоего турнули без права поступления, отца — по той же статье. А если бы... — Анисимов распрямил плечи. — Нас, рабочих и мужиков, тьма-тьмушая, их сиятельств благородий — горстка. А вот они правят, сундуки набивают, тех, кто ропщет, сажают в острог, гонят по этапу.

— Кто же нам подскажет, как прутики воедино собрать? — живо спросил Николай.

— Землегляд. Он народник,— сказал Анисимов. — Побольше бы таких было, не посмели бы мастерового и мужика притеснять.

— Народник,— повторил Николай, и ожили смутные воспоминания детства, когда в Петербурге на Екатерининском канале убили царя. Жена начальника завода все траурное на себя напялила, а дед Емельянов разо-

рил копилку, рублевые свечи поставил своему святому — Николаю Чудотворцу, святым Петру и Павлу за то, что бог прибрал царя.

— Послезавтра собираемся в леску за Гагаркой, зайти? — спросил Анисимов.

— За мной-то зачем? — вяло спросил Николай и вдруг оживился: — Ах да, с Землеглядом познакомишь...

2

Алексей Алексеевич, новый правитель канцелярии, надворный советник, слыл в Сестрорецке либералом. Полковник, видимо, поручил ему «что-то сделать для частного». Спустя неделю, когда Фирфаров еще отлеживался в больнице, Николая неожиданно вызвали в канцелярию.

— Радуйтесь, штраф с Фирфарова снят. — Алексей Алексеевич, постукивая очками по кулаку, продолжал: — Здесь вот деньги на лечение.

— Тридцать рублей смогли выделить.

Вызов в канцелярию, отмена штрафа с Фирфарова и свалившиеся вдруг деньги были для Николая такой неожиданностью, что он растерялся, переминаясь с ноги на ногу, не знал, как поступить. На лечение тридцать рублей мало, а для Фирфарова это деньги большие. Месяц с семьей прокормится.

— Ведь вы ходатайствовали за Фирфарова? — Алексея Алексеевича сбила с толку нерешительность Емельянова.

Николай не успел ответить, генерал, приоткрыв дверь, позвал чиновника.

Полчаса прождал Николай, а уйти нельзя — тридцать рублей лежат в конверте. Заскучав, он взял со стола книгу: незнакомые буквы на обложке, но с любопытством полистал. Увлечшись, не заметил, как вернулся от генерала правитель канцелярии.

— На чужом языке, наверно, интересно читать? — сказал Николай и спросил: — Роман из какой жизни?

— «Лелня». — это роман о судьбе женщины, а написала его французская писательница Жорж Санд, — добродетельно объяснял Алексей Алексеевич. — Любите читать?

— Редко приходится. В обществе трезвости дают книжки все больше о спасении души, про козны дьявола и белую горячку.

Алексей Алексеевич засмеялся: позабавила откровенность мастерового.

— В ваши годы еще рано думать о спасении души,— сказал он. — А что любите читать — о приключениях, похождениях сыщиков?

— Тянет к серьезному,— признался Николай. — Пролетным летом студент дал почитать «Муму». До сих пор, как закрою глаза, вижу Герасима в лодке с собачкой и кирпичи.

То ли подкупила любовь мастерового к серьезной книге, то ли чиновнику хотелось поближе познакомиться с Емельяновым. Так или не так, но он пригласил его во вторник к себе.

— Есть в моей библиотеке Толстой, Короленко, Тургенев, Лесков.

Во вторник, словно назло, мастер оставил Николая на сверхурочные. Прямо с завода он поспешил в Ермоловку. Когда в конце улицы показался темно-зеленый особняк с квадратной башенкой, Николай оробел, сбавил шаг: опоздал безбожно, удобно ли? Но себя успокоил — не в гости идет, за книгами.

Дорожка, густо посыпанная песком, вела не к парадному крыльцу, а к застекленной веранде, откуда доносились удары бильярдных шаров. И когда до веранды осталось несколько шагов, из ягодника выкатился черный лохматый шарик с белым бантом и весело затанцевал у ног Николая, тыча холодный нос в руку.

— Попрошайка,— Николай погладил собачонку, кинул пряник.

На веранде, возле старого бильярдного стола без луз, вразвалку прохаживался мужчина с заметным брюшком, лысиной, стыдливо прикрытой поперечными тощими прядями. Он был в батистовой рубашке с длинными рукавами, голубой пиджак и галстук висели на шпингалете окна. Высокий, как всегда подтянутый, Алексей Алексеевич стоял у противоположного борта и посмеивался: шары расположились в позиции, невыгодной противнику. Приход мастерового был некстати. Однако свое недовольство Алексей Алексеевич хитро скрыл за деланной улыбкой.

— Часы, любезный, у вас без стрелок. Не обессудьте, пока партию не кончим, придется поскучать.

— После смены мастер оставил, винтовку отлаживал; подарок великому князю,— объяснил опоздание Николай.

Алексей Алексеевич перевел взгляд с мастерского снова на бильярд и обнаружил, что в этой сложной ситуации, оказывается, шар-то выигрышный. Теперь он напряженно следил, как партнер натирал мелком кий и прицеливался. Удар получился вялый, шар, скользнув вхолостую, ткнулся в борт.

Черкнув мелком что-то на графильной доске, повеселевший Алексей Алексеевич сказал Николаю:

— Это не простой бильярд. Карамболь — тонкая игра.

Где-то Николай встречал его гостя? Где?

И вдруг в памяти Николая ожило стрельбище. Тогда он подрядился в команду, обслуживающую состязание на лучшую винтовку для русской армии. Офицерская комната и сторожка были набиты до отказа, слышалась немецкая, французская, английская речь.

Ружейные короли Наган, Маузер и Смит-Вессон не скупилась на богатые подарки. В кругах, близких к императорскому двору, и военном ведомстве еще до состязаний победу отдавали Нагану, Маузеру, любому иностранцу, только не русскому офицеру Мосину.

В последний день стрельб стояла ветреная погода. Винтовки иностранных фирм, к удивлению всех, были плотно зачехлены. Мосин велел старшему стрелку свою трехлинейную держать у бойницы, обдуваемой ветром и песком.

Николай заметил, как от группы русских офицеров отделился полковник, направился к Мосину и что-то ему тихо сказал. Стоя навытяжку, Мосин почтительно, но громко, чтобы слышали военные, штатские и уполномоченные ружейных королей Нагана, Маузера и Смит-Вессона, ответил:

— Ваше высокоблагородие, по статуту полевой службы винтовке не положен чехол. Она должна стрелять без отказа.

— Похвально, капитан, вы верны себе,— сказал уважительно полковник. Он-то знал, что лет пять назад этот безвестный офицер отказался от шестисот тысяч франков, которые ему предложила французская фирма за изобретенную винтовку.

На состязании лучшей была признана русская винтовка капитана Мосина. После короткого замешательства в Главном штабе и придворных кругах винтовку-победительницу стали называть «системы Мосина — Нагана». Это вызвало возмущение среди рабочих-оружейников и ропот части офицеров-очевидцев. Чтобы приту-

шить скандал, Александр III повелел русскую армию вооружить мосинской винтовкой, а именовать ее «трехлинейная образца 1891 года».

Бельгийский фабрикант Наган за поражение был хорошо вознагражден. Военное министерство ему выплатило двести тысяч рублей, а Мосину в виде поощрения... тридцать тысяч.

Вот там-то, на стрельбище, Николай и видел нынешнего гостя правителя канцелярии, кажется, представлявшего интересы какой-то фирмы...

— За духовным хлебом явился мастеровой,— перехватив настороженный взгляд гостя, сказал Алексей Алексеевич. — «Войну и мир» хочу дать. После «Муму» не рановато?

— За вами удар,— уклончиво, с плохо скрытым недовольством ответил гость и, прищурив глаза, проверил кий.

Партия в карамболь грозила затянуться. Открыв дверь в столовую, Алексей Алексеевич похлопал в ладоши.

Из внутренних покоев появилась хозяйка, в модном голубом платье, в нарядном передничке, размахивая щипцами для колки орехов. Она была некрасивая, близорукая, на верхней губе вытянутого мужеподобного лица пробивались черные усики. В Ермоловке за властный характер ее называли Министр.

— Готовлю для пирога начинку, мог бы и не мешать,— сказала она и осеклась, заметив в углу веранды мастерового. Ее бесило, что к мужу нет-нет да и заходят оружейники.

— Запоздал Емельянов, оставили после смены, дай, малютка, ему почитать что-нибудь. Толстого, Лажечникова,— на твое усмотрение, а мы пока партию доиграем.

Переведя взгляд с юфтовых сапог мастерового на паркет в столовой, натертый до блеска, она сказала:

— Надеюсь, твоего протезе не затруднит зайти в дом с другого хода. Между прочим, мы ходим с переулком, там ворота, калитка.

Алексею Алексеевичу стало неловко. Сбив замах, он отставил кий и робко постыдил жену:

— Бог знает, малютка, Емельянов подумает, что твоя столовая — королевский тронный зал.

Встретившись с ее колючим взглядом, он сник.

— В семейном доме жена — властелин-повелитель,— улынувшись сказал он. — Сейчас все уладим, принеси, малютка, туфли...

— По черному ходу нам привычнее,— колко заметил Николай. Он и сам в подкованных сапожищах не ступил бы на паркет. Оскорбил его снисходительный тон хозяйна.

В этом доме был необычайный вход: с просторной передней начинались две лестницы. Широкая деревянная вела во второй этаж, а винтовая железная — в мансарду. По этой лесенке Министр провела Николая в комнату с темным дощатым потолком. Узкое окно загораживала высокая конторка. У стен от пола до потолка — стеллажи. Книги расставлены бессистемно, неопрятно, между томами словаря Брокгауза и Ефрона втиснуты журналы и брошюры. Министр удивительно легко разыскала «Ледяной дом» и «Севастопольские рассказы». Но ей хотелось досадить мастеровому — таскается в порядочный дом, как в общедоступную читальню. Она оскорбительно предупредила:

— Книги дорогие, из собраний сочинений. Прошу, не ставьте кастрюли и не капайте щи на страницы.

Николай зажал книги под мышкой.

— Возвращу в сохранности. Не в постели читаю и не на кухне, так что не беспокойтесь,— заверил он. — Книга гость в доме рабочего, увы, пока еще редкий.

С веранды доносился перестук шаров. Николай понимал — некрасиво уйти не попрощавшись, и тошно быть навязчивым. Как зазывал Алексей Алексеевич к себе, а встретил... Две души у человека.

Откуда-то опять появился на дорожке черный шарик с бантом, благодарно лизнул руку Николаю. Постояв, он раздумал идти прощаться с хозяином. Закрывая калитку, Николай с улыбкой взглянул на фанерку с оскаленной пастью: собака — самое радушное существо в этом холодном доме.

3

Александра Николаевича давно из заводской книги вычеркнули, а он так и остался оружейником, тянулись в домик Емельяновых на Никольской мастеровые. Приходили просто посидеть, и за советом, и лодку взять — дрова перевезти из-за озера. По воскресеньям бывало особенно людно. Толковали о том, о сем, а больше — про казарменные порядки на заводе, штрафы, сбавку расценок.

В это воскресенье после полудня всем семейством явились Быки — три брата и две сестры. Лет семьдесят

настоящая их фамилия — Федоровы — упоминается лишь в официальных бумагах. Подошли Ленков и Шатрин, молодые оружейники, товарищи Николая. На широкой скамье под рябиной сразу стало тесно. Параскева, дочь Емельяновых, вынесла из дома табуретки и венский стул.

Николай говорил вполголоса — по ту сторону забора, под густыми, свисающими на улицу ветвями рябины стояла такая же скамья. На ней отдыхали прохожие, присаживался и младший городской.

— Вольная каторга у нас на заводе. Отстукаешь четырнадцать часов, приплетешься, поужинаешь, соснешь, глаза протрешь — и опять заступать в смену. Зимой в воскресенье только белый день и увидишь. А человеку природой положено восемь часов на работу и по столько же на отдых и сон.

— А как унижают рабочего? — продолжал Николай. — В проходной дворники выворачивают карманы, скоро в рот станут заглядывать. — Николай остановил взгляд на Шатрине, как бы спрашивая: «Правильно я говорю?»

Оглаживая козырек фуражки, Шатрин неожиданно резко отозвался:

— Притомился бунтарский дух. На реке Сестре раньше жили свободолюбивые мастеровые. Под батоги ложились, а честь рабочую берегли. Понаехали пришлые, обмельчали и оружейники, покорны, перед чиновником четырнадцатого класса шапку ломаем.

— Обмельчали, ты это серьезно? — спросил Ленков, стройный, всегда подобранный. На завод он и то надевал свежую рубашку и галстук.

— Еще как! — с вызовом бросил Шатрин. — Старики помнят солдата караульной команды, его деда, — он кивнул в сторону Николая. — Вот был человек — с характером, не терпел насилия. Помещик боялся, сдал его в солдаты. В роте на словесности он непочтительно хмыкнул, когда фельдфебель вдалбливал в башку солдатам именование и титулование особ императорской фамилии. Сослали строптивного солдата на Сестрорецкий оружейный. В крепостную пору это был полузавод-полутюрма.

— Деда своего помню, он-то уж не дал бы себя обыскивать, — крикнул Николай, — а мы за место держимся, вот и глумятся над нами даже дворники.

Всех это задело. Петр Бык, самый старший, сказал Николаю:

— Глубже, в самый корень смотри. Покорность и забитость наша идет от нищеты. В ушах звенит от трезвона про обыски, а о тяжком ярме — ни гу-гу, разве что в сортире, и то шепотом. А что разоряет мастерового? Инструмент! Метчик сломал на казенной работе — покупай у Слободского. Напильник затупился, треснуло сверло — опять спешь к лавочнику на поклон. Иной раз в получку рассчитаешься за инструмент, домой принесешь в кошельке слезы с мелочью.

— Про штрафы помалкиваешь? Чихнешь не так — плати,— вставил Александр Николаевич. Он в холодке чинил мережу.

— Все разом не отменят, а обыски — шут с ними,— защищался Петр.

На что Шатрин горячий, и то отступился от него, лишь в сердцах бросил:

— Попроси начальника, чтобы тебя и при входе на завод дворник обыскивал.

Поликсенья Ивановна вынесла из дома угощение — жбан хлебного кваса мужчинам, а бабам — полный противень жареных подсолнухов. Казалось, что и в это воскресенье все разойдутся, ничего не решив, но поднялся со скамьи Николай.

— Получается: постоять за себя и семью боимся. Здесь на беседе несколько фамилий оружейников — не из последних на заводе, потребуем у администрации: восьмичасовой рабочий день, казенный инструмент, и чтобы по части обысков не унижать...

Затрясло калитку, кто-то за ней злился. Николай замолчал.

— Чужого сатана несет,— буркнул Александр Николаевич. Незаметно вытащив секретный гвоздь, он открыл калитку и накинулся на Сеньку Соцкого, полицейского: — Шкалик опрокинул лишний? Дрянную щеколду не может отомкнуть, любезных моих гостей перепугал. Чего ломишься?

Соцкий был в штатском, брюки навывпуск, голубую сатиновую рубашку перехватил шелковым нарядным пояском. В Сестрорецке мало кто знал, что его настоящая фамилия Прохоров. Прозвище хорошо приклеилось — с год как и в казенных бумагах помощник пристава Косачев писал: «Соцкому. Исполнить», «Соцкому. Доложить...»

— Сборище? — Соцкий хмуро обвел глазами скамью; место Николая, который отошел к сестре Параскеве, в сторонке вышивавшей полотенце, уже занял

Леньков. Он, делая вид, что не замечает полицейского, читал вслух стихотворение.

Александр Николаевич не подпускал Соцкого к скамье, нарочно петушился.

«Леньков под негласным надзором, ишь прокламацию под стихи вырядил», — думает Соцкий. Только странно, почему Леньков не прячется, разливается соловьем:

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.

От такой дерзости поднадзорного у Соцкого побагровел затылок.

— С чувством читает, у Ленькова октава приятнее нашего соборного попа, — похвалил Александр Николаевич. — А как ты думаешь, Соцкий?

— Ок-та-ва, — передразнил, заикаясь, Соцкий. — Поликсеню жалею, а то рассчитал бы твои «посиделки» на первый-второй — и в участок, а зачинщика в край, где птицы на лету мерзнут.

— По этапу — смутьяны, а у меня кто на посиделках? — спросил Александр Николаевич у Соцкого. — Пospрошай в конторе, Быки — воды не замутят, берут дни на говение. Ленькова взять: самостоятельный, заведется лишний рубль — тащит не в казенку, а тратит на книжки.

Леньков про себя посмеивается над темным полицейским, читает нарочно громко:

Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден...

— Засужу, по Владимирке заскучали. — Соцкий оттолкнул Александра Николаевича, но тот успел удержать его за локоть.

— И барышню, племянницу Авенариуса, строителя Приморской чугулки, тоже в участок. На лужайке у качелей она читала то же самое про царя. Господа офицеры кричали «браво, бис», генерал розы подарил.

— Ошалел! Девицу из благородных в полицию! — Соцкий погрозил кулаком. — Упеку!

— А закон? Упекают тех, кто запретные прокламации почитывает, а моих любезных гостей и нас, хозяев, за какую провинку? — спрашивал строго Александр Николаевич.

— Прокламация про царя, запретная,— Соцкий рванулся к Ленькову. — Тряхну, дурь разом изойдет.

Александр Николаевич загородил Ленькова.

— Книжица-то взята из Александро-Невского общества трезвости. И знай, Соцкий, царь беспощадный — не император Николай Второй.

— Так то читали не про нашего самодержца? — смягчился Соцкий и сразу заговорил растерянно: — А про чужих царей какая нужда злословить, от бога царя.

Приятности от Соцкого в компании никто не ждал. Первыми ушли Быки. Поднялись Шатрин и Леньков.

С пустыми руками как Соцкому возвращаться в участок? Похвалился приставу накрыть на Никольской смутьяново сборище. Злой Соцкий кинулся в дом.

Сделав знак Николаю, чтобы оставался во дворе, Александр Николаевич прошел за полицейским. В большой комнате Соцкий сгреб в охапку книги с этажерки, швырнул на стол.

— Сыскал запретные книги? Только болван на свету такие держит,— неторопливо вразумлял полицейского Александр Николаевич. Открыв обложку, он показал портрет: — Граф, понял, их сиятельство граф Толстой.

— Не слепой, читал и графа,— огрызнулся Соцкий. Он был серым, малограмотным мужиком, но каждое утро на вокзале покупал «Биржевые ведомости».

— Тратишь время, а на что... пригубил бы водочки, приятная, холодненькая.

От угощения Соцкий отказался. Недоверчиво полистав книгу, ушел.

Заговорила Поликсенья Ивановна:

— Неспроста водку не выжрал, озлобился Сенька, жди беды.

Предчувствие не подвело Поликсенью Ивановну. Она проснулась ночью, в четвертом часу. Разбудили ее подозрительные шорохи на улице.

— Бродяги шныряют, до нас черед дошел, позавчера у Ахропотковых погреб очистили. Пугани из ружья,— Поликсенья Ивановна растолкала крепко спавшего мужа.

Александр Николаевич натянул холщовые штаны, сорвал со стены берданку — и к окну.

— Бродяги рангом выше лезут через забор,— сказал он. — Эка, и Соцкий перемахнул. Норовят врасплох застать.

Повесив ружье, Александр Николаевич скинул шта-

ны и юркнул с головой под одеяло, оставив щелочку. Над занавеской сперва показалась заломленная фуражка, затем — усатая физиономия Соцкого. Он прильнул к стеклу и подал знак рукой, городовые усердно забарабанили в дверь.

Откинув одеяло, Александр Николаевич сделал вид, что не узнал Соцкого, погрозил кулаком, заругался.

— Перепили, прохвосты, баламутите, ни днем, ни ночью нет покоя людям.

— По предписанию петербургского губернатора! — кричал Соцкий, тыкая в стекло бумагу.

Александр Николаевич открыл форточку, сказал:

— Днем не натешился, гостей разогнал. До пристава дойду, пожалуюсь.

— С обыском, предписание из Петербурга, — кричал Соцкий.

— Вот те на́, из Санкт-Петербурга, — простодушно заговорил Александр Николаевич, — за что же честь такая!

— Пошевеливайся, старый притворщик, открывай, не то побежишь плотника нанимать, — пригрозил Соцкий.

— Валяй, бревном сподручнее, у баньки лежит, — советовал серьезно Александр Николаевич.

Мастеровой, отлученный от казенного завода, глухился, но младшие городовые, верно, переусердствовали. Соцкий прикрикнул на них и, отмахнув шпингалет, влез в окно.

— В доме все глухари? Полиции не открывают! Поворачивайся, живо, — приказал Соцкий.

— На любовницу покрикивай, — рассердился Александр Николаевич. — Бумагу под сургучной печатью от земского имею, летучим ревматизмом страдаю, вот обуюсь и отопру.

Он нарочно громко пререкался с полицейским. У старшего сына могло оказаться оружие и брошюры. Совсем недавно принес листовку — знаменитую речь на суде Петра Алексеева о тяжелом и бесправном положении рабочих в России. Николай давал читать листовку товарищам, а вот успел ли спрятать ее? За такую листовку и на каторгу сошлют.

Сунув ноги в женины валенки, Александр Николаевич открыл дверь. В сени ввалились городовые и понятой, еще не протрезвившийся слесарь из штыковой мастерской.

Понятой приютился на кухне: совестно пособлять полиции. Городовые отправились на вторую половину до-

ма. Соцкий остался в большой комнате. Он начал обыск с комода, резко сдвинул вышитую скатерку, на пол посыпались слон с качающимся хоботом, матрешка, шка-тулка, мраморное яйцо, клубок шерсти.

Увидев на полу разбитую шкатулку, Поликсенья Ивановна кинулась с кулаками на Соцкого.

— Бьешь, злодей, сам наживал? — крикнула она, всегда тихая, ровная.

— Камень не проймешь ни слезой, ни руганью, — оттащил мать от полицейского подоспевший Николай.

Соцкий побаивался старшего сына Емельянова, вызвал на подмогу городского. Перетрясли они постель.

Из комнаты младших детей городской принес Соцкому самодельную тетрадь и тоненькую брошюру.

— Крамола, в сундуке всяким тряпьем заложены, — с придыханием в голосе докладывал городской.

У Соцкого был редкий нюх на нелегальную литературу — на ощупь определял запрещенную. Полистав тетрадь, он взялся за брошюру, затем насмешливо сощурил глаза, сказал:

— Бумага благородного сорта, бунтовщики печатают свои подстрекательства на курительной и дешевой. ~~.....~~ закончился обыск, разорены постели, выброшено на пол белье, под ногами хрустят стекляшки бус. Но крамольной литературы и револьверов полиция не нашла.

4

С мороза в доме показалось Николаю жарко, снял фуфайку.

Отца он застал за необычным занятием. Александр Николаевич, благостный, сидел в красном углу, часто макал перо в пузырек с чернилами, что-то писал. Напротив, подперев кулаком подбородок, наблюдал за ним Лапотков, глубокий старик с патриаршей бородой. На столе лежала медаль золотая на анненской ленте.

— Спервоначалу был пожалован мастерский кафтан, затем медаль. Награды и пенсии от казны даны за усердие и прилежание. Давно ли самого отставили от завода — все забылось, все поросло. Лешке, моему внуку, ходу не дают, — тяжело вздыхая, медленно говорил Лапотков.

— Непочтительно — Лешке, пишу Лексею, — поправил Александр Николаевич.

— Никак прошение сочиняете, — удивился Николай. — У стряпчего, отец, хлеб отбираешь.

— Без выкрутасов-то оно и лучше,— сказал Александр Николаевич. — Чем зубоскалить, присел бы рядом, что не так, посоветовал бы, коли к месту — поправим.

Николая разобрало любопытство: что за прошение старые пишут, кому? Он принес из кухни табуретку.

— Прочти заново,— попросил Лапотков. — Колюха послушает.

— «Имею смелость почтительнейше просить ваше превосходительство о восстановлении справедливости,— вода пальцем по строчкам, читал Александр Николаевич. — Учитывая мою многолетнюю и усердную службу на Сестрорецком оружейном заводе, награды, помощник ваш милостиво разрешил моему внуку Лексею, той же фамилии, находиться под рукой германца, с тем чтобы по окончании сборки нового молота управлять им.

Германец этот, сущий прохвост, ничему моего парня не учит, все хитрит, мало что чертежи прячет, еще дразнится, обзывает лаптем. Обнаглел, не скрывает, что выпшет из неметчины своего шурина на выгодный контракт. Это место сулили моему внуку, он весь в Лапотковых, к любому делу поставь — не оробеет... Умоляю, ваше превосходительство, призовите сукина сына к порядку, велите ему неукоснительно соблюдать контракт, пусть покажет Лексею самую малость по электричеству, а до остального он своим умом дойдет...»

Прочитав прошение, Александр Николаевич скосил глаза на сына, задавая немой вопрос: «Какова бумага? Присяжный поверенный такую не сочинит».

— По-моему, лучше и не надо, вся суть понятно изложена,— опередил Николая Лапотков.

— Немец, действительно, сукин сын, а вот в бумаге это писать нельзя, в остальном же все складно,— сказал Николай. — Проучить его следует. Но как на это посмотрит генерал?

— Каркаешь под руку,— перебил Александр Николаевич. — В прошении перца хватает аль прибавить?

— Вроде все на месте,— Николай задумался. — Конец бы приделать посереднее.

— Правильная у парня голова,— согласился Лапотков. — Допиши, Николаевич, посереднее.

От генерала прошение попало к помощнику, а тот, не прочитав, переслал правителю канцелярии. Немцу даже не сказали про жалобу, не верили в Лешкин талант. Молот стоит значительно дороже всей замочной мастер-

ской. Чем рисковать — лучше выписать шурина этого немца.

По-прежнему немец приходил на работу в длинной, до пят, медвежьей шубе, раздевался в конторке у начальника, не спеша, наслаждаясь, выкуривал ровно половину папиросы, потушив, бережливо клал окурочек в коробку и надевал темный отглаженный комбинезон с накладными карманами.

Когда заливали фундамент, устанавливали наковальню, немец охотно брал мастеровых к себе в помощники, навязчиво бубнил, что от русских у него нет секретов, а начиная монтаж привода, отгородил площадку канатом.

— Провода чуть тоньше волоска, ваши напутают, я неустойку плати,— заспорил он однажды с мастером.

За канат имели доступ начальник мастерской и Лешка. Немец внешне с ним был дружелюбен, но к секретам не допускал. Лешка парень исполнительный. Промыть в керосине детали, разогреть паяльную лампу — все делал охотно. Случалось, у немца не клеилось с пригонкой деталей, провод плохо укладывался. Он тогда выкуривал папиросу без остатка и жаловался: «Год назад с завязанными глазами делал». И тут незаметно подключался Лешка. От природы любознательный, он все схватывал на лету и к концу монтажа знал молот не хуже немца. Однажды, застав Лешку в раздумье над схемой привода, посмеиваясь, он изрек: «Шарики здесь не той пробы»,— и постучал пальцем по Лешкиной голове.

На заводе собрались опробовать молот. Из штаба приехал генерал с офицерами. Пустили посмотреть чудо техники по два-три рабочих из остальных мастерских, был среди них и Николай. Дед Лапотков накануне слег и попросил его передать прошение генералу из главного штаба.

— Лешка обхитрил немца,— уверял он,— по ночам пробовал машину, слушается она его.

Немец явился в черном костюме, накрахмаленной белой рубашке. Как чудодей, он повелевал: то со страшной силой боек обрушивался на раскаленную болванку, то наказывал ее родительскими шлепками, то отглаживал и прихорашивал. Цирковой номер немец приберег под конец. Он поставил на наковальню свечку и остановил падающий боек над самым пламенем.

— Чудесная машина,— похвалил генерал.

— Умным рукам она послушна, ваше превосходи-

тельство, а у полужнайки и забунтует,— хитрил немец. — Осмелюсь советовать к молоту поставить механика Шульца из Магдебурга.

«Чужестранца выписывать?» — Генерал нахмурился, спросил начальника мастерской: — Не найдется у вас толкового оружейника?

— Осмелюсь,— заговорил немец, хотя его и не спрашивали,— электричество — наука, для ваших рабочих китайская грамота. — Он презрительно окинул взглядом мастеровых, стоящих поодаль от офицеров.

Генералу не по себе, немец ловко всех обставил, хочешь не хочешь, а придется выписывать механика. Откуда знать мастеровым, едва одолевшим азбуку, законы электричества.

— Выписывайте магдебургского механика,— приказал он. — С наших спрос мал, с лучины на керосин едва перебрались.

Мастеровых возмутила уступчивость генерала.

— Как германец, так семи пядей во лбу,— громко сказал Николай. — Можно подумать, что они землю, небо и человека сотворили.

Генерал услышал. Задело.

— Найдется среди оружейников умелец? — обратился он к офицерам, стоящим почтительно шагах в двух.

— Талантами не обижены. Есть слесарь в образцовой, сделает винтовку-диковинку, со штыком в спичечную коробку поместится,— заговорил уверенно начальник завода. Но вдруг заколебался: — Поставить умелого с обычного молота можно, но, не дай бог, оконфузится, электричество не у всех еще в квартирах и на Невском.

— Не из сахара молот, попробуем,— все же решился генерал. — Кто из мастеровых не побоится?

— Кто смелый? — спросил генерал и, обождав, помрачнел: — Нет смелых?

Немец фыркнул.

Дальше терпеть было нельзя, Николай вытолкнул Лешку в круг. У немца физиономия вытянулась: парень кое-чему у него научился, но соперничать?

— Сможешь? Приступай,— сказал генерал.

Балагура Лешку было не узнать: бледен, хмур.

— Докажи, Лешка, что у русского мастерового в голове не мякина,— громко сказал Николай.

Лешка встретился с ним глазами, мотнул головой и решительно шагнул к молоту.

Раскаленная поковка уже лежала на наковальне. Отрубив от нее кружок, Лешка отковал игрушечную винтовку. Охладив ее в бочке с водой, поднес генералу.

— Топорная работа,— немец поморщил лоб. — Шульц брошку вынет из-под молота.

— Не ювелирная,— согласился генерал, но спохватился, сказал резко: — Не украшения — броши и серьги барышням — на молоте собираемся ковать.

— Откую и брошку,— неожиданно принял вызов немца Лешка.

Немец молча поставил на наковальню фарфоровую чашку и тоже с вызовом посмотрел на Лешку.

— У нас не цирк! — крикнул Николай. Он понимал — у немца это отработанный трюк.

Лешка переставил чашку с наковальни на тумбочку, у генерала сердито сошлись брови: подкачал мастерской, струсил.

— Кто даст часы? — спросил Лешка.

— Кому не дороги часы, несите, этот мастер ватрушку сделает,— предложил немец.

Генерал отстегнул от цепочки золотые часы.

В мастерской было так тихо, что выстрелом прозвучала щелкнувшая крышка часов в руках Лешки. Он положил их циферблатом кверху. В следующий момент в грохоте будто слились боек, наковальня, и стало тихо-тихо — было слышно чье-то сопение в свите генерала.

У Лешки пылали щеки, а в глазах — радость: на наковальне лежали часы целехонькие. Генерал прицепил часы к цепочке и подмигнул немцу.

Лешка уже не нуждался в протекции деда.

5

Помощник пристава Косачев вернулся домой около двух часов ночи. Разделся в прихожей, затаив дыхание открыл дверь в спальню и в темноте наступил на Трифона, сибирского кота. Жена проснулась, зажгла свечу.

— Не ври и не отпирайся, с поминок порядочные за светом вернулись. У полюбовницы назюзюкался.

— Задержался по долгу службы,— спьяна гаркнул Косачев.

— Прознает про художества исправник, определит ваше благородие сторожем на кладбище,— негодуя, она вылезла из-под одеяла, направила свет свечи на мужа и ахнула. Косачев был пьян-пьяным. Черт угораздил его

вместе с кителем снять с себя и нижнюю рубаху, смех и грех — на голое тело прицепил кобуру.

— Ну и хорош, ваше благородие,— со смехом сказала жена.— Иди-ка, ложись...

— Ваше благородие...

Косачев приоткрыл левый глаз, увидел сросшиеся брови дворника Будаева.

— Прокламации обнаружены на Никольской площади, Песках, Крещенской,— перечислял запыхавшийся Будаев.

Свет от лампы слепил Косачева. Разъяренный, вскочил он с постели и, тыча кулаком в морду дворнику, кричал:

— Прокараулили, вороны! Где глаза были?

Выхватив листовку у Будаева, он притих, велел лучше светить.

— «Оружейникам Сестрорецкого завода от Союза рабочих в Петербурге»,— вполголоса прочитал Косачев и, глянув на дворника, строго спросил:

— Кто обнаружил? Фамилия, чин?

— Служу царю, вере и отечеству,— громко сказал дворник и подтянулся.— Дворник с оружейного Будаев.

— Молодец! — похвалил Косачев.— Где какую подобрали?

— Эта найдена на Никольской у тополя с дуплом, а с оборванным уголком лично мной изъята у сельского обывателя Федора Евтюхова,— докладывал торжественным голосом Будаев.— Прошу представить к высочайшей награде за усердие.

Отобрав у дворника лампу, Косачев велел принести из прихожей одежду, сапоги и обождать на кухне. Никогда еще так тревожно не начинался у него служебный день. Что принесет ему преступная крамола на улице? Могут наказать за плохое несение службы, могут повысить в чине и наградить за ревностное усердие. Все могут! Важно суметь доложить исправнику, но прежде надо отвязаться от дворника: мерзавец почуял жареное.

По дороге в участок Косачев встретил городского из заводской полиции — тот нес пакет с прокламациями, отобранными в мастерских.

— Давай сюда пакет — и бегом назад,— сказал Косачев.— Передай старшему, чтобы докладывать нарочным каждый час, у кого взяты прокламации, кто читал, слушал. Знаю, в клозетах собираются на казенном, подрапустились.

Вызвав по телефону уездного исправника, Косачев срывающимся голосом докладывал:

— В начале шестого утра в Сестрорецке обнаружены бунтовского характера прокламации. Лично мною приняты меры к изъятию и пресечению.

— Выезжаю к вам,— сказал исправник и ободрил: — Быстро найдете преступников, представлю к награде.

— Рад стараться,— сдавленным голосом произнес Косачев и тут обнаружил, что в кабинет пробрался дворник.

— От меня лично за усердную службу.— Косачев вынул из кошелька серебряный рубль.

Будаев нехотя взял целковый и, подкидывая его на ладони и сверля хитрыми глазами Косачева, сказал:

— Не забудьте в список внести, кто первый добыл листовки.

«Началось,— сердился про себя Косачев. — Зазеваешься, и самому не останется места у наградного пирога». Вслух же он припугнул дворника:

— Милость царская кнутом не обернулась бы, нашли чем хвастаться: государевы преступники безнаказанно прокламации на улицах разбрасывают.

Зажав рубль в кулаке, Будаев попятился к двери.

6

В эту ночь полиции удалось перехватить далеко не все прокламации...

...Поликсенья Ивановна прихворнула. Поздно вечером Абрамов выбрался проведать сестру. Александр Николаевич; тихо насвистывая, развешивал на заборе сети. Он только что вернулся с залива.

— Ишь рассвистелся, жена из постели не вылазит, а он концерты задает,— едва открыв калитку, заговорил Абрамов.

— От моих рулад Поликсенья на поправку идет.

Посидели они возле больной, затем перешли на кухню, сороковку раздавили, и Абрамов остался ночевать.

Раньше гостя проснулся Александр Николаевич, отправился за водой на самовар. Открыв колодец, обнаружил на сохнувшем ведре зеленоватый конверт. Ребячья забава? Повертев конверт, он серьезнее отнесся к письму; не было почтового штампа, кто-то ночью подложил. Почерк — не ребячьи каракули. «Старшему Емельянову». «Кто же старший?» Николай еще действительную

отбывает. Александр Николаевич решил, что письмо послано ему.

Потягиваясь, сбрасывая остатки сна, выбрался на крыльцо Абрамов.

— На баловство не смахивает,— Александр Николаевич показал шурина письмо.

— Образованный писал, есть у него причина почте не доверять,— сказал Абрамов, со всех сторон оглядев конверт. — От чужого глаза и нам следует уберечься.

Войдя в сарай, Александр Николаевич опустил мешковину, заменяющую занавеску, и, выкрутив фитиль, зажег фонарь. Вскрыв конверт, он сказал:

— Листовка, на множителе отпечатана.

— Царя и богачей, наверно, пощипывают. Время тяжкое настало. Жизнь — хуже и нельзя, мастерового все, кому не лень, притесняют,— сказал Абрамов.

— «Оружейникам Сестрорецкого завода от Союза рабочих в Петербурге,— негромко начал Александр Николаевич. — Товарищи! Хотя на вашем заводе идет спешная работа, однако, как слышно, зарабатываете вы мало. Причина, конечно, та, что расценки слишком низки и неправильны. Особенно скверно в ложевой и приборной мастерской, на минных станках. В инструментальной, например, за что недавно платили 5 рублей 60 копеек теперь дают 2 рубля 20 копеек.

...Начальство ваше зазналось и не желает даже слушать справедливые жалобы рабочих. Особенным нахальством отличается помощник начальника, а негодяй Хартулари получил к пасхе награду (около 500 руб.) за то, что сделал новые сбавки и завел при заводе целый штаб дармоедов. Начальство не входит в нужды рабочих, оно старается только о том, как бы самому получить побольше. Когда же увидит, что рабочий хорошо заработал, сейчас сбавка. Всяк, мол, сверчок знай свой шесток.

Видно, что начальство обращается с вами, как с рабочим скотом, и думает, что Сестрорецк — это такая деревня, где из рабочих можно хоть веревки вить...»

Еще не кончил Александр Николаевич читать листовку, а шурин попросил повторить то место, где говорилось, что рабочие фабрики Торнтон и папиросницы «Лаферма» забастовали и не дали снизить расценки.

— Не перебивай, а то про себя начну читать,— погрозил Александр Николаевич и продолжал:

— «Оружейники! Смело подымайтесь за свои права!

Во-первых, не соглашайтесь на новые сбавки в расценках, и без того они слишком низки, если же будете уступать, то настанет время, когда вам придется работать даром. Необходимо дать отпор, и вы увидите, что начальство волей-неволей умерит свою жадность.

Во-вторых, потребуйте, чтобы начальство дало вам время на обед. Если оно не согласится на ваши требования, то бросайте работу: только стачка может побавить спеси у ваших притеснителей и сделать их сговорчивее. До свидания, товарищи! Помните, что ваша сила в вас самих, и действуйте дружно. Присоединяйтесь к нашему союзу, и будем сообща выбиваться из горькой нужды.

5 апреля 1896 г.

Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

— И откуда в Петербурге все так дотошно вызнали,— удивлялся Абрамов,— прямо в подзорную трубу глядели. В магазинной едва до бунта не дошло, солдат из караульной команды вызывали, страху нагоняли, в штыковой начальник издевается: «Нынче не крепостное право, недовольны — берите расчет, на ваше место возьмем от ворот, на полтинник меньше заплатим, и будут люди рады-радешеньки, что кусок постоянный имеют».

— Чего-чего, а произвола на ружейном всегда с избытком,— заговорил Александр Николаевич; листовка разбередила затухшую обиду. — И раньше обирали и притесняли, а кто доискивался справедливости — выставляли за ворота. — Отнеси на завод, не солить же мне ее,— сказал Александр Николаевич.

— Непокойно в мастерских, шарят по инструментальным ящикам. Землегляд и то велел своим народникам быть осторожнее, начались аресты,— заколебался Абрамов.

— Прихвостень этот проповедник, политикан. Мне Николай еще перед солдатчиной говорил. Боятся эти народники рабочих.

Отодвинув на фонаре стекло, Александр Николаевич сжег конверт.

— Так отнесешь листовку, аль кого побойчее искать? — спросил он.

— Не отказываюсь, но сегодня боязно, не одному тебе прокламации подкинули, городовые, поди, весь завод вверх тормашками поставят, отыщут, а так чего бы не отнести,— говорил Абрамов.

— В пекло дурак лезет. А кто тебе мешает спря-
тать листовку? — настанвал Александр Николаевич.

Пока шурин завтракал, он взял с комода Евангелие; можом разрезал в переплете нитки, отделил от блока корешок — образовалось отверстие, засунул туда листовку, сказал:

— Ленькова попросить?

— Была не была! Сам отнесу.

— С Евангелием можешь идти пить чай к господину исправнику...

Обстановка в поселке была тревожная. Повсюду сновали городовые и дворники.

Абрамова остановил вахтер.

— Чья? — он пальцем ткнул в Евангелие.

— Богова, — ответил Абрамов.

— Баклуши идешь бить, — отчитал вахтер, Евангелие же не посмел тронуть.

На дворе Абрамова догнал Леньков.

— Вахтеры будто с цепи сорвались, с чего бы?

— Не угодные царю прокламации вылавливают, — ответил Абрамов и загадочно усмехнулся.

— То-то густо городовых в Новых местах, а на пустыре возле перепада конные спешились, видно, их по тревоге подняли.

— На огонь потянуло... Прискачут из столицы. — Абрамов понизил голос: — Союз рабочих Петербурга расписал художества Хартулари.

— Пропесочили и поделом. Хартулари прохвост из прохвостов. — Леньков оживился. — Все начальники хапают, да не так безбожно.

— В листовке Хартулари крепче обозвали: негодяем, прозвище как раз по мерке, в могилу с собой унесет.

— Эх, — сожалея, сказал Леньков, — почитать бы листовку про грабителя! Добудешь, считай, я на очереди первый.

— Листовка имеется у Абрамова, брата Полкксенья Ивановны, знаешь такого?

— У тебя? — удивился Леньков. — Кто же тебе, коль не секрет, ее доставил?

— Емельяновым и мне, — с гордостью сказал Абрамов и отдал книгу Ленькову. — Набирайся ума.

— Евангелие. — Леньков вяло полистал страницы. — Разыгрываешь.

Не отвел глаза Абрамов, сказал строго:

— Зять мой большой выдумщик по части тайников, в укромном месте пальцем нажмешь переплет, в корешке листовка спрятана, считаешь, затем подкажешь, кому передать Евангелие...

Отслужив действительную, Николай гулял недолго, привел в родительский дом Надю, дочь оружейника Леонова.

Отыграли свадьбу, отвели молодым комнату за ситцевой перегородкой. Тесно было в доме. Однажды Александр Николаевич сказал Николаю:

— Отделяйся, пора своим хозяйством обзаводиться. От кума слышал — нарезают семейным мастеровым землю в Новых местах.

Емельяновых не жаловало начальство. Николаю отвели положенные сто восемь сажен, но в трясины, по соседству с гнилой бочагой, хотя в Разливе и Сестроречке вдоволь было удобной казенной земли.

Помогая забивать колышки на границе участка, землемер сказал Николаю:

— Старание приложишь, усадьба будет всем на зависть, не у каждого хозяина своя протока к озеру.

— Чему завидовать: болото,— Николай показал на свои сапоги — головки уже засосало в трясины.

— Перенеси — и болото сгинет,— землемер не договорил и перевел взгляд на высокие дюны, заросшие низким кустарником.

— Дюны? — спросил Николай, проследив за взглядом землемера, и неожиданно согласился: — А ведь и впрямь можно перенести их в топкую низину.

Год спустя на высушенном участке стоял сарай с оконцем, у причала ветер качал на мелкой воде лодку. Слева от усадьбы Емельянова не было ни мелкого кустарника, ни дюн.

Строиться было тяжело: дорожал лес, каждый рубль в семье считанный. Лошадь нанимали редко. В прошлую субботу отец помог Николаю перевезти с лесопилки телегу леса. От усталости тут же у колес повалились на траву. Надежда Кондратьевна вынесла им на улицу ковш кваса, обошла телегу и накинулась на мужа.

— Нагрузил, битюгу без пристяжной не взять.

Наравне с мужчинами она сгружала доски. Александр Николаевич нет-нет и кинет взгляд на сноху,— работающая, за что ни возьмется, все у нее в руках горит. Экую песчаную гору с мужем свалила в трясины. Восторг сменила тревога — молода, скоро на мужицком деле сработается, раньше времени увянет. Пожалел Надю, а на сына прикрикнул:

— Жена у тебя аль батрачка?

— Разве неволю, сама!

— Любит, вот и хочет быстрее отстроиться,— согласилась Поликсенья Ивановна, но посоветовала: — Батяка тоже прав, не дай Наде раньше времени состариться, дом женой красен.

— Жаден до работы, забываю, что молод,— признался Николай и пообещал матери: — Отдыхать будем, как все люди.

В первое же воскресенье после этого разговора молодые собрались на представление в Летний театр, маленького Саньку привезли на Никольскую к бабушке.

— На часы не поглядывайте, за вашим мужиком присмотрю,— провожала Поликсенья Ивановна с крыльца невестку. Невольно залюбовалась: хороша Надя в темно-зеленом платье и бежевых сапожках, прямо бабышня с картинки.

Александр Николаевич тем временем увел сына к сараю. Ночью в заливе он выловил бревна и не преминул похвастать:

— Корабельные.

— Красавцы,— похвалил Николай и поставил ногу на бревно. — На баню жалко, хороши на нижние венцы, сто лет простоят.

— Тебе виднее,— сказал Александр Николаевич,— так и распорядись, на венцы нижние.

Поликсенья Ивановна сбежала с крыльца, оттащила сына. Надежда Кондратьевна взяла мужа под руку.

— Давно бы так. — У Поликсеньи Ивановны потептели глаза. До калитки она проводила молодых, не переставая ворчать на неугомонный характер своего старика.

Билеты на представление Надежда Кондратьевна купила сама, случайно. У входа на рынок собралась толпа, из любопытства подошла и она. Клоун в черной полумаске бойко торговал билетами.

— За двадцать копеек увидите живого человека с железными ногами,— выкрикивал он визгливым голосом. — Господин Парнасов феноменальное чудо века. Он прыгает с высоты полтора аршина на острые сабли и кинжалы.

Дешевые билеты хотела купить Надежда Кондратьевна, но ее рубль мгновенно исчез в глубине кармана клоуна. Не глядя, он вытащил из пачки два билета и сказал:

— Царские места. Считайте, повезло вам, сударыня. По полтиннику, это же даром. — Клоун отвернулся от

Надежды Кондратьевны и, зазывая публику, отрывисто кричал: — Действие происходит без обмана и жульничества, кинжалы и сабли будут представлены уважаемым зрителям для осмотра.

В бродячей труппе действительно собрались хорошие фокусники и артисты. Певицу выкатили из-за кулис на большом барабане, она исполнила цыганский романс, а потом оказалось, что пел мужчина. Надежда Кондратьевна шумно хлопала и фокуснику. Положив под шляпу три яйца, он вынул живых цыплят. А Николай поразил человек, прыгающий на кинжалы и сабли.

— А кинжалы и сабли вправду стальные и заточены без обмана,— шепнул Николай жене, проверив кинжал по просьбе ассистента фокусника.

Клоун, что продавал билеты, выехал на колесных ходулях. Делая сальто, он весело распевал:

Ты у меня бонна,
Прачка и кухарка...

...После представления Николай отправился за сыном, а Надежда Кондратьевна поспешила домой приготовить еду на утро.

Она раскатывала скалкой тесто, когда на пороге показался Саша Леонов, ее брат. Такой же круглолицый, и глаза с доброй усмешкой, а характер дедов — тот слова поперек не молвил, до того был уступчив.

Саша был встревожен: зять попал под негласный надзор полиции. Городовой выболтал это любовнице, та подруге...

— Сердись, ругайся, что впутываюсь, но ты мне не чужая. Упекут твоего на каторгу. С народниками еще до конца не порвал, остепениться бы, так нет, связался с высланным из Петербурга социал-демократом. В заводской полиции особую папку на него завели: устраивает беспорядки, власть, церковь и царя не почитает.

— А за что царя почитать? По чьему повелению ночью привозят на барже виселицу в Лисий Нос, тайно казнят и бросают в яму негашеной извести? Жил человек — и ни могилки, ни креста.

— По суду казнят,— возразил Саша,— не хватают же первого встречного.

— Дед Емельянов чудом от петли ушел. Что он, преступник? По чьему повелению и для чего создана заводская полиция? Восемь младших,— наступала на брата Надежда Кондратьевна,— два старших городских и начальник в чине какого-то советника. Каждому нахлеб-

нику, кроме жалованья, обмундирования, положена казенная квартира с дровами и керосином. Заводская полиция узнала от поповского кляузника, кто не говел, не исповедовался. Начали с моего, а он что, хуже тех, кто попу грехи каждый пост таскает? Сам генерал Мосин не однажды давал моему работу. А городовые без стыда мажут — скандалист.

— Ходит ее мужик по краю пропасти, а она довольна,— рассердился Саша. Он был в отчаянии. — Сошлют твоего на каторгу, намытаришься, с сумой пойдешь. Околдовали тебя Емельяновы.

— Желаешь дальше быть мне братом,— перебила Надежда Кондратьевна. — тогда не мешай мне жить. Я ведь тоже Емельянова. За справедливость они стоят, честь человеческую не роняют.

Леонов далек от политики, ему просто жаль сестру.

— Пойми, я не чужой. Страшно, на черный день у вас гроша не отложено. Мой совет — пока один малец за юбку держится, хозяйство покрепче скототите. Как дом поставите, второй начинайте. Чугунка Авенариуса поднимет цену на дачи. Припрет нужда — сдашь петербуржцам на лето оба дома, сами в сарай переберетесь.

— За совет спасибо,— сказала Надежда Кондратьевна,— усадьба большая, есть где второй дом поставить, но пока не на что. А дальше прошу — не каркай беду и не учи плохому. По совести мы живем. Не буду я мужа отговаривать, не буду разлучать с товарищами.

Попрощавшись с сестрой, он долго еще стоял на крыльце, надеялся — зять подойдет. Николай задержался на Никольской, там родителей застал в тревоге: городской увел Василия в участок. Оказывается, по мастерским ходит нелегальная газета.

Погрозив подержать недельку в холодной, Косачев после допроса отпустил Василия.

— Откуда полиция пронюхала? — удивился Николай.

— Догадаться не могу. Передал листовку Клопову с хлебом и обрезками колбасы,— говорил Василий. — В участке начисто отрекся: мол, бегал в лавку.

8

У кирки Николай почувствовал инстинктивно — догоняют. Оглянулся — Анисимов. Хороший товарищ, не остался на пикнике, затеянном супругой Землеглядя.

— Сбежал ты с интересного представления,— заговорил Анисимов, посмеиваясь. — Профессорша в истерике, требует от супруга начисто исключить тебя из кружка.

— Умная баба,— похвалил Николай, но его разбило любопытство: — С чего бы ей? Грубости не позволил, правду ведь сказал, что рабочему лучше подальше от таких друзей.

— И меня отрешат. Заступился за тебя, все, что накипело, выложил: носитесь со своей деревенской общиной, а крестьяне не все одинаковы. У одного земли на полдуши: корова ляжет, хвост — на меже, у другого — десятин сто и поболее, на него гнут спину батраки. И началось... Мадам обозвала: «Недобитый марксист». За словом в карман я не люблю лазать... Короче, называл ее служанкой мелкой буржуазии.

Не сговариваясь, они свернули на Крещенскую. В трактире Ферапонтыча проще, не как в «Ростове». Еще у Николая и Анисимова не успели принять заказ, как в дверях показался рыжеватый парень из штыковой.

Оглядевшись, он направился к их столику.

— Следом шел, ходок — не жалуюсь, а не угнаться было,— сказал он и понизил голос: — Поручение имею.

— От профессора? — спросил без интереса Николай.

— От питерских рабочих,— сказал парень.

Половой принял заказ, ушел на кухню.

— Зовите меня Андрей,— продолжал парень. — На Никольской я незванным бывал, у твоего отца письмецо оставил.

— К оружейникам? — вырвалось у Николая. — Сказывал батька, получил.

— То самое, от Петербургского союза рабочих. Хартулари скандальной известностью мне премного обязан.

Посолив густо ломоть хлеба, Андрей крутил в руке стакан, то ли обдумывая, что сказать, то ли ждал, когда мастеровые приготовят закуску.

— Кончайте с профессором, не пристало рабочим сидеть с ним в одном возке, это еще те «друзья», на кучерской должности они состоят у мелкой буржуазии,— сказал Андрей и добавил: — Сжигайте мосты. Ваши друзья — социал-демократы.

Наскоро съев щи, Николай встал из-за стола, сказал, что ему нужно навестить своих стариков. Поднялся и Андрей, Анисимов занял очередь на бильярд.

У трактира приезжий грек торговал семечками, са-

харной ватой и халвой. Андрей купил стакан семечек; бумаги не нашлось, тогда он вытащил из кармана брошюру.

— Семечки сестренкам отдай, а книжечку почитай и береги, чтобы в чужие руки не попала. За ней полиция охотится. От Ордына получил — скоро познакомлю, смелый человек, социал-демократ.

На Никольской Андрей откланялся. Опустив щеколду на калитке, Николай пересыпал семечки в карман, прошел к скамье, читая на ходу: «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах».

Удобно устроившись на скамье, Николай полистал брошюру и опять открыл на титульном листе: «Херсон. Типография К. Н. Субботина. Продается во всех книжных магазинах Москвы и Петербурга...»

Легальная! Почему же Андрей передал ее с такими предосторожностями?

«Крепостные крестьяне работали на помещиков, и помещики их наказывали. — Рабочие работают на капиталистов, и капиталисты их наказывают. — Разница вся только в том, что прежде подневольного человека били дубьем, а теперь его бьют рублем...»

Свободно такое в России не напечатают. Прав Андрей.

Поликсенья Ивановна вышла на двор вытрясти самовар, увидела сына, склонившегося над книжкой:

— О чем книжка-то?

— Про то, мама, как с рабочих незаконно штраф берут.

— Заждались, давно пора всю правду описать, может быть, твоего батьку и не выгнали бы с оружейного. — Поликсенья Ивановна взяла у Николая книжку. — Показать бы самому генералу: пусть знает. — справедливость не убить.

— Запретная, — Николай мягко отобрал у матери брошюру, — а писал ее очень умный человек, такой и на каторгу пойдет за бедных и обездоленных.

Недели через три Андрей привел на протоку молодого человека, загорелого, с живыми глазами. Хотя он был в поношенной блузе, юфтовых сапогах, фуражке с засаленным козырьком, Николай догадался, что это человек образованный.

— Тот самый Ордын, — представил его Николаю Андрей. — Он-то уж знает народников, их болото...

Николай предложил Ордыну поехать на озеро.

— Чудесно,— обрадовался Ордын. — Просьба великая: погрести дайте, давно весла не держал...

Эта прогулка по озеру с Ордыном многое помогла уяснить Николаю. Он до конца понял, что либеральные народники заодно с мелкой буржуазией, они смертельно боятся, что рабочий класс создаст свою, революционную партию. Ордын подарил ему книгу, напечатанную на гектографе.

— Здесь найдете ответы на все свои вопросы. Еще в 1894 году Ульянов в пух и прах разгромил либеральных народников.

— Ульянов,— задумчиво сказал Николай и спросил: — Это он написал и книгу о штрафах?..

— Он,— ответил Ордын.

Николай открыл обложку, прочитал: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

— Почитайте сами, дайте товарищам, что неясно — запишите. Из Петербурга пришлем знающего человека,— сказал Ордын и дал знак, что пора поворачивать лодку к берегу.

9

Новый век, а все осталось по-старому: те же притеснения, прибавились и еще беды — дороговизна, безработица.

В тот год не у всех оружейников рождественские праздники были веселыми. Опять сбавлены расценки. Из артиллерийского управления предписали еще сократить рабочую неделю. Итак, три дня с гудком на обед кончали смену. Это продолжалось до того дня, когда мастера согнали рабочих к зданию конторы и на балкон вышел начальник завода генерал Дмитриев-Байцуров.

— Господа офицеры и оружейники! — сказал он. — На нашу страну без объявления войны напала Япония. С божьей помощью Россия поставит вероломного врага на колени. Война продолжится не более полугода. От нас с вами русская армия ждет винтовки.

— Составлено расписание... воевать не более полугода,— усмехнулся Николай и локтем задел Поваляева, своего приятеля. — Не помяли бы япошки нам бока.

— На турецкой сколько поубивало, еще не все калек перемерли,— Поваляев тяжело вздохнул,— и опять застучат в дома похоронки.

Официальные сводки с фронта не могли скрыть тяжелые потери на суше и море. Погибли крейсер «Варяг», броненосец «Петропавловск». Пала крепость Порт-Артур.

Дорожали продукты на рынке, с ночи выстраивались очереди у керосиновых лавок.

Приятель из Райвола пригласил Николая на охоту. Пороху был дома нетронутый пакет, а дробь забрал на той неделе Повалев.

В Петербург ехать за одной дробью накладно — билеты в оба конца и чуть не день клади на дорогу. Разжился Николай дробью у тряпичника на рынке. Высыпая дробь в банку, обнаружил, что тряпичник пустил на кулек штабной циркуляр. Оказывается, на погребение нижних воинских чинов правительство отпускает на душу 4 рубля 32½ копейки и на постановку могильного креста — 2 рубля.

— Дешево, в шесть целковых с копейками обходится русскому царю солдатская жизнь,— сказал Николай. Он собрался бросить циркуляр в печку, но раздумал: отдаст братьям Ивану и Василию, те бывают на батарее в Дюнах, покажут солдатам.

В сумерки на улицы вышли ряженные, они шутили, пели песни, поймали Соцкого на пешеходном мосту, прятали в куль рогожный и пустили с крутой горы за перепадом.

Надежда Кондратьевна водила сыновей Саньку и Кондратика на детский праздник в Общество трезвости, звала Николая в Дубки на веселье. Он отказался: не до того. Непокойно в столице. Во время водосвятия на Неве помост царской семьи обстреляла пушка от Биржи.

Еще в конце декабря приехал рабочий из-за Нарвской заставы с письмом от самого Гапона к оружейникам. Привел его в инструментальную токарь Михеев.

— С Путиловского,— представлял Михеев приезжего,— прислали договориться, в воскресенье идут к царю, приглашают оружейников.

Отказался Николай своих товарищей подбивать.

— Прикидывали с Клоповым, Ноговицыным, Повалевым и еще кое с кем,— говорил он гапоновцу,— считаем, что зряшная затея с шествием и петицией. Царю известно, как живут и бедствуют рабочие и мужики. У самой царской фамилии земли столько — за день на резвой кобыле не обскачешь.

В образцовой гайками закидали гапоновца и Михеева. Поповский посланец ни с чем отбыл в Петербург. В субботу под вечер у бани Николай встретил Клопова с узелком, веником, поздоровались, постояли.

— Все-таки завтра в Петербурге поп поведет людей к царю. Под влиянием большевиков на рабочих собраниях подправили верноподданническую петицию, внесли требование о восьмичасовом рабочем дне, о передаче земли крестьянам, о свободе печати. Но до конца не удалось разбить веру людей в царя,— как бы продолжая прерванную беседу, заговорил Клопов. — Своих-то мы удержали от хождения к царю, а душа все равно места не находит, в полках увольнения в город отменены.

— Не японцы — свои,— возразил Николай,— идут мирно с петицией.

Из конторы вышел Мишка Слободской, хозяин бани. Он раздался в плечах, появилось брюшко, стал на отца смахивать.

— Ухо медведь банщику не придавил,— шепнул Николаю Клопов и громко сказал — для Слободского: — Попарюсь, простуду выгоню.

— Пар сегодня на славу, дух перехватывает,— бросил как бы невзначай Слободской. Он явно хотел заговорить с мастеровыми, а те будто его и не заметили. Клопов ушел в баню, а Николай сбегал по тропинке на озеро, ругая в душе банщика — помешал расспросить Клопова, что еще предпринимают в столице социал-демократы.

В воскресенье утром Николай срубил лед у колодца, собрался поправить дверь на крыльце — скособочилась,— принес из чулана инструмент и передумал.

— Поправлю в другой раз,— сказал он жене,— схожу на вокзал: скоро поезд из столицы, может, кого и встречу. Как-то там шествие к царю...

На станции не знали, когда прибудет поезд. Николай, хотя и был в полушубке, замерз, в окно увидел, что дежурный топит печку, зашел погреться.

У огонька разговорились, дежурный пожаловался:

— Суматошный день, с утра кувырком расписание, в столице не все ладно, а что? Допытывал, молчат.

Смеркалось, когда пришел поезд из Петербурга, на ходу соскочил красильщик Храмов и кинулся к мастеровым, стоявшим особняком от встречающей публики.

— Солдаты... Боже мой!.. Солдаты стреляли боевыми... в безоружных,— сбивчиво, потрясенный виденным,

рассказывал Храмов. — Дети в Александровском саду забрались на деревья царя посмотреть... не пожалели и малых.

Плачущего Храмова увели домой. Опустела платформа, больше нечего ждать, а Николаю кажется, что ноги у него налиты свинцом, дико жарко, сбросить бы полушубок на снег. Вот он какой, русский царь...

Кто-то положил руку на плечо Николаю. Он тяжело повел головой — сзади стоял Клопов, среди встречающих его не было, видимо, только подошел.

— Отвечеряешь, приходи в Церковный переулок. Невинная кровь пролилась в Петербурге, стреляли на Дворцовой площади, за Нарвскими воротами, на Васильевском острове, — говорил он зло. — Нельзя дальше терпеть. И в нас, оружейников, царь-убийца стрелял.

Идти домой — за час-полтора не обернуться. Николай взглянул к родителям, там уже все знали — сосед повстречал кухарку генерала. Поликсенья Ивановна, всхлипывая, с табуретки зажигала лампы.

— По убиенным скорбит. Пусть одна поплачет, — шепнул Александр Николаевич, пропуская Николая в маленькую комнату. Сам он сел на кровать, а сыну показал на табуретку. Помолчав, спросил:

— Собираетесь потолковать? Анисимов был, ищут тебя и Тимоху Поваляева.

— Клопова на вокзале встретил. Все отпишем, что наболело у оружейников. Темно у царя в глазах станет.

Александр Николаевич осуждающе покачал седеющей головой:

— Палачи без суда расправу чинят, а мастеровые садятся в кружок еще одну петицию строчить.

— Молчать? Отсиживаться? — с вызовом спросил Николай.

— К петиции присовокупить трехлинейку. — Александр Николаевич приподнял с колен руки и будто подержал винтовку. — Вот тогда, верно, у царя-батюшки помутилось бы в глазах.

— У арсенала часовые, — сказал Николай.

— Вам что, непременно из приемной комиссии винтовки представить и сопроводилку: пристреляны-де?..

10

В эту ночь в Сестрорецке и в Разливе долго светились окна в домах. В особняке начальника завода были опущены шторы. Тонкие полоски света робко пробива-

лись из спальни и кабинета. Дмитриев-Байцуров разговаривал по телефону с комендантом Кронштадта, под утро побеспокоил великого князя Сергея Михайловича, просил прислать батальон солдат из надежного полка.

На рассвете правитель канцелярии разбудил настоятеля церкви Петра и Павла, передал просьбу генерала: коль рабочие потребуют, отслужить панихиду по расстрелянным в Петербурге. Узнав, что пехотному батальону приказано выступить в Сестрорецк, Клопов поручил Николаю, Матвееву, Анисимову и Поваляеву обойти своих людей и предупредить: забастовка начинается, как условились, по неурочному гудку.

В девять утра, когда генерал пил кофе и слушал доклад помощника, уверявшего, что, благодарение богу, тяжелый понедельник начался без эксцессов,— над крышей кочегарки клубами забился пар.

По генеральскому ходу в особняк пробрался правитель канцелярии, обмякший и полинявший. Тяжело дыша, он положил перед генералом листок с торопливой записью: «Оставили работу механическая, образцовая, замочная, инструментальная...»

— Взгляните, господин генерал, бунт. — Правитель канцелярии показал на окно. — Оружейники слушаются социал-демократов, а не господ офицеров.

Расстегнув ворот кителя, Дмитриев-Байцуров приблизился к окну: из распахнутых настежь ворот выходили рабочие, на горушке взметнулся красный флаг.

— Пишите, и сейчас же вывесите на двери проходной,— приказал Дмитриев-Байцуров.

Правитель канцелярии присел у края стола, раскрыл записную книжку.

— «Строгое предупреждение»,— продиктовал Дмитриев-Байцуров и задумался; хотелось приказать немедленно вернуться на завод, но вряд ли бунтовщики послушаются. «В случае, если рабочие не явятся на работу в течение трех дней, то есть в четверг, 13 января, они будут считаться уволенными...»

Пока Дмитриев-Байцуров докладывал начальнику артиллерии о прекращении работы на заводе, в народной читальне составили петицию.

Холодно встретил генерал выборных, но петицию взял.

Оружейники гневно осуждали расстрел рабочих у Зимнего дворца, на площадях и улицах Петербурга 9 января 1905 года, требовали немедленного расследования; предания суду виновных. Предупреждали, что забастов-

ка на заводе будет прекращена, если администрация установит восьмичасовой рабочий день, не уменьшая поденной платы, отменит позорный обыск в проходных, будет выдавать мастерам казенный инструмент и деньги за него не вычитать.

— Не мастера, а писаря. Двадцать одно требование накатали, а почему не пятьдесят? — обрушился генерал на выборных. — Вернитесь в мастерские, а мы постараемся милостиво отнестись к изложенному в петиции.

— Нам не даны такие полномочия, — сказал от выборных Владимир Ахропотков. — Выполните требование, и мы вернемся на завод.

Генерал, обычно нетерпимый к чужим замечаниям, вдруг вроде и уступил.

— Обещаю доложить великому князю.

Так ни о чем и не договорились генерал и выборные. И оружейный забастовал. На дверях проходной висело грозное предупреждение о расчете.

Ночью из Кронштадта по льду перешла в Сестрорецк еще рота солдат.

Николая не было в числе выборных, — Клопов отправил его за Нарвскую заставу передать путиловцам, что Сестрорецкий оружейный бастует.

Из Петербурга Николай возвращался дневным поездом. На станции Раздельная в вагон третьего класса вошел правитель канцелярии. Подсев к Николаю, заговорил:

— Вам-то, Емельянов, совестно быть со смутьянами: до трех рублей в день зарабатываете, а вместе с мастеровщиной и поденщиками бунтуете.

— Вместе бунтую, — согласился Николай, — а с кем же мне еще быть?

— Хуже людям, Емельянов, не сделайте, вам верят мастера. Не доводите людей до нищеты. Если в четверг по гудку они не выйдут, генерал прикажет всех расчитать.

Было о чем задуматься Николаю: обвиняют в подстрекательстве. На заводе верят Емельянову. Он и его товарищи по социал-демократической партии Ноговицын, Клопов, Ахропотков за все в ответе. В Сестрорецке безработица особенно страшна, здесь казенный — единственный завод. Но отступать, когда поземка еще не замела кровь на снегу и невском льду, когда дымятся проруби против Адмиралтейства и Медного всадника, — это же предательство!

Николая насторожили глаза чиновника — хитрые, выжидающие.

— Бастует не один оружейный, — сказал он, — бастует весь трудовой Петербург... Жаль людей, но они не напрасно погибли, в России началась революция.

От неожиданности правитель канцелярии привстал.

— Революция в России? — недоверчиво переспросил он.

— Началась, — подтвердил Николай.

Буркнув: «Кончите в известковой яме, без отпевания», — чиновник перешел на Горской в вагон первого класса.

Приближался четверг, артиллерийское ведомство пошло на уступки забастовщикам. Были введены сносные расценки, отменены унижительные обыски.

Прошло недели полторы. Николая разбудил отец, он вошел в комнату, как был, в пальто, шапке, плохо обив с валенок снег.

— Читай, ну и нравы!

Николай опустил глаза на заметку в газете, обведенную чернилами:

«Их Императорские величества Государь Император и Государыня Императрица, движимые чувством сердечного сострадания к семьям убитых и раненых во время беспорядков 9 сего января в г. Петербурге, все милостивейше соизволили назначить из Собственных средств 50 000 рублей для оказания помощи нуждающимся членам этих семей!».

— Фарисей! — крикнул Николай и зло скомкал газету.

11

Ворота и калитка в генеральской усадьбе были заперты, звонок сорван. Стук привлек бы внимание прохожих, кривотолки опасны в тревожно настроенном городке.

Полковник Залюбовский с пакетом вернулся на завод и прошел в особняк по генеральскому ходу.

— Из канцелярии барона Фредерикса прислали депешу, опять выразили недовольство за медлительность, — заговорил Дмитриев-Байцуров.

— Перебрали вторично личный состав по алфавиту и... — Залюбовский горестно развел руками. — Подходящий кандидат Васильев, участвовал в изготовлении пер-

вой трехлинейной винтовки, трезвости похвальной, берет дни на говение — отказался.

— По глупости, наверное, обалдел от счастья, шутка ли, царь приглашает.— Дмитриев-Байцуров велел ему подать кофе.

Залюбовский показал генералу длинный список с перечеркнутыми фамилиями оружейников.

— И эти бойкотируют. Насилу откопали в образцовой одного.

— Фамилия,— потребовал Дмитриев-Байцуров.

— Леонтьев, по запросу канцелярии барона подходит, мастеровой, с двенадцати лет на заводе. Правда, есть минус: авторитета нет и еще,— Залюбовский запнулся,— зашибает... в канаве находили.

— Посылайте, отвяжемся от Фредерикса и его канцелярии, а то замучают: денно и ночью идут депеши из Петербурга в Царское Село. Приставьте к пьянчуге правителя канцелярии.

— Социал-демократы узнают про конвой — сраму не оберешься,— позволил себе не согласиться с генералом Залюбовский.

— Живем на лобном месте,— поддакнул Дмитриев-Байцуров.— Пошлем в депутацию пьяницу — снимут голову, не пошлем — еще пуще разгневаются. Неужели ни один порядочный оружейник не согласится поехать к царю?

— К сожалению...

Утром Леонтьев не вышел на работу. Посыльному жена сказала: «Запил».

Соцкий нашел Леонтьева в трактире. Половые вели его на улицу, посадили на извозчика.

Два дня заняли сборы депутата. Наконец после бани и стрижки у модного парикмахера, привезенного из Курорта, Леонтьев принял вполне благообразный вид. Залюбовский остался доволен.

Смотрины депутации Трепов проводил в Зимнем дворце. Присутствовали товарищ министра внутренних дел Рыздзевский и помощник полицмейстера. Последний подчеркнуто держался поодаль, снимая тем самым с полиции ответственность за срам и неприятности, которые могли произойти с этой сомнительной депутацией на приеме у царя.

На депутатах сюртучные пары будто с чужого плеча, неразношенные штиблеты скрипят на паркете. Как Рыздзевский ни вглядывался, не нашел ни одной мало-мальски приятной физиономии. «Какая, к черту, это депута-

ция: наскоро вымытые и приодетые обитатели ночлежки», — злился Рыдзевский. А Трепов учтиво улыбается: неужели повезет всю шатию в Царское Село? Рыдзевский шмыгнул в соседнюю комнату: пока еще не поздно, надо отложить позорнейший спектакль. По телефону он связался с князем Святополком-Мирским, министром внутренних дел.

— Умоляю, Петр Данилович, отговорите его величество, не депутация — сброд, — говорил в телефонную трубку, тяжело дыша, Рыдзевский. — Опозоримся на весь свет.

— Выпейте, милейший, сельтерской и придите в себя. Насколько мне известно, подставных в депутации нет. Церемониал приема одобрен его величеством и состоится сегодня в три часа пополудни, — холодно отчитывал своего заместителя Святополк-Мирский. — Поймите, спектакли бывают хорошие и плохие.

Рыдзевскому стало ясно: князь — один из режиссеров затейного водевиля: единения царя-батюшки с верноподданными.

Задолго до прихода в Царское Село поезда с рабочей депутацией у царского павильона выстроились дворцовые экипажи и линейки. Городовые и тайные агенты притаились в близлежащих дачах, у царского павильона важно прохаживался только пристав. Он не отпугивал обывателей, наоборот, был разговорчив, и скоро почти все Царское Село знало, что приезжает из Петербурга депутация рабочих к царю. Но зевак немного собралось: отставной солдат, подвыпивший купчишка, тучная барыня с собачкой и десятка четыре обывателей.

В отдельных каретах уехали во дворец Рыдзевский и важный чиновник из министерства иностранных дел. Депутатов рассаживали на линейки.

— Петербургские бунтовщики — к царю, — громко, неодобрительно сказала тучная барыня.

— Депутация рабочих с верноподданными чувствами едет к его величеству, — поправил штабс-капитан. — В гости к царю приглашены.

— Ца-ре-вы гос-ти, — нараспев протянула барыня, недоверчиво покачала головой и повторила: — «В гости». А почему их на линейки усадили? Так балерин на представление возят.

— Кому на чем положено, — заметил штабс-капитан и поскакал следом за линейками.

— Рабочие. Не все, значит, они бунтовщики. — Барыня перекрестила удалявшиеся линейки.

На Никольской, у своего дома, Александр Николаевич широкой лопатой сгребал снег. Заметив разодетого Леонтьева, окликнул:

— Все празднуешь, царев крестник. Докатилось и до Сестры-реки: знатно пировал,— Александр Николаевич воткнул лопату в сугроб.

— Оружейников у императора представлял.— Леонтьев приложил два пальца к шапке.— Верить просил, печется о нас и денно и ночью.

— Уполномочили оружейники, выходит, очень упрашивали,— перебил Александр Николаевич и хитро подмигнул: — Хвастай, что русский император, царь польский, князь финляндский пожаловал за особые услуги: медаль аль произвел в столбовые дворяне?

Леонтьев уловил в голосе старого Емельянова издевку.

— Не за медалями ехали к царю, а выслушать милостивое слово,— ершился он.

— Оно и заметно, у царя милостивое слово, читал в «Биржевке».— Александр Николаевич отогнул полу старенького зипуна, похлопал по валенку, из которого торчала газета, и хмыкнул: — Отныне ты не мастерской оружейник, а сельский обыватель.

— Издеваешься,— вспыхнул Леонтьев.

— Оповестили, как государь обласкал депутацию.— Александр Николаевич вытащил из-за голенища газету.— Пропечатано: сельский обыватель, это чуточку ниже почетного гражданина, но все впереди, усердствуй, господин рабочий депутат, до титулованного выслушайся.

Леонтьев погрозил кулаком и, подняв каракулевый воротник, быстрым шагом пересек площадь. Купив «Биржевку», он забежал к портному, у которого кухаркой служила знакомая девица.

В комнатке за мастерской, не сняв пальто и шапку, Леонтьев развернул газету. И первое, что бросилось в глаза, был список депутации, себя он нашел в середине колонки: «от Сестрорецкого оружейного завода — сельский обыватель Николай Леонтьев».

Запершило в горле от обиды: оружейника обозвали сельским обывателем. А кому пожалуешься? Успокоившись, он снова развернул газету. Любопытно, что же пишут про прием у царя.

«В один час пополудни депутация в составе 34 человек прибыла в императорский павильон Царскосельской железной дороги и оттуда по царскому пути была доставлена в Царское Село.

Депутацию сопровождал С.-Петербургский генерал-губернатор свиты его величества генерал-майор Д. Ф. Трепов. У императорского павильона в Царском Селе ожидали придворные экипажи, а для рабочих — линейки, на которых они были доставлены в Александровский дворец и помещены в Портретном зале».

...С Нового года Дмитриева-Байцурова не покидает тревога. Служил он в глухой провинции, жил там припеваючи. Сестрорецк — под боком у столицы, а радости никакой. Только-только утихомирил забастовщиков. Вздохнуть бы! И вот затея двора — прием верноподданнической депутации.

Настроение Дмитриеву-Байцурову с утра испортил Залюбовский. Он вчера встретил в Главном штабе великого князя Сергея Михайловича. Тот посоветовал отслужить в заводской часовне молебен по случаю приема в Александровском дворце рабочей депутации. Притихнуть бы, а двор сам раздувает смугу.

Потому-то и хмуро встретил генерал правителя канцелярии. Тот просил безотлагательно принять Леонтьева.

— Проведите к моему помощнику.

— У царя человек обедал. Обласкан.

Генерал уступил.

— Прошу, предупредите от себя — без подробностей, сразу со встречи у государя, — настаивал Дмитриев-Байцуров.

Леонтьев пропустил мимо ушей наставление чиновника. Генерал кусал губы, но слушал рассказ про смотрины в Зимнем и как император в Царском Селе, обходя строй депутатов, остановился и милостиво с ним разговаривал.

— Знаю, царь простил бунтовщиков, — перебил Дмитриев-Байцуров и попросил показать листки с речью его величества.

Упершись локтями в стол, Дмитриев-Байцуров неторопливо читал:

«Я вызвал вас для того, чтобы вы могли лично от меня услышать слово мое и непосредственно передать его вашим товарищам.

Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли оттого, что вы дали

себя вовлечь в заблуждение изменникам и врагам нашей родины.

Приглашая вас идти подавать мне прошение о нуждах ваших, они поднимали вас на бунт против меня и моего правительства, насильственно отрывая вас от честного труда в такое время, когда все истинно русские люди должны дружно и не покладая рук работать на одоление нашего упорного внешнего врага.

Стачки и мятежные сборища только возбуждают безработную толпу к таким беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы.

Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Много надо улучшить и упорядочить, но имейте терпение. Вы сами по совести понимаете, что следует быть справедливым и к вашим хозяевам и считаться с условиями нашей промышленности. Но мятежною толпою заявлять мне о своих нуждах — преступно.

В попечениях моих о рабочих людях озабочусь, чтобы все возможное к улучшению быта их было сделано и чтобы обеспечить им впредь законные пути для выяснения назревших их нужд.

Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их.

Теперь возвращайтесь к мирному труду вашему, благословясь принимайтесь за дело вместе с вашими товарищами, и да будет бог вам в помощь».

Перечитав всю речь, Дмитриев-Байцуров задумался. Милостивые слова государя вызовут новую смуту. Царь цинично признал, что с его ведома стреляли в людей 9 января. Много ли леонтьевых среди оружейников?

— В мастерских не советую показывать, мало ли, — Дмитриев-Байцуров осекся: нельзя быть откровенным с болваном, обласканным царем. — Залапают семейную реликвию.

— Государь император повелел, — возразил Леонтьев и неожиданно заговорил торжественным голосом, — без промедления довести его милостивые слова до рабочих.

В ответ Дмитриев-Байцуров улыбался, а про себя злился: редкого кретина Залюбовский выкопал. Воображает, что в бунтовских мастерских будут слушать его бред.

Наступил март. Из Петербурга через Ноговицына предупредили социал-демократов: «Охранка засылает агентов на Оружейный завод, в Сестрорецк и окрестности. В Разливе едва ушла от ареста Наташа, связанная Петербургского комитета партии. Взят под надзор дом Емельяновых в Новых местах».

Сведения в Петербургском комитете были достоверны. По соседству с усадьбой Емельяновых снял комнату адвокат. Так он назвал себя хозяйке. Судя по одежде, это был человек с достатком. Водилась за ним странность — ездил в столицу и возвращался в Разлив в вагоне третьего класса.

В последнюю пятницу февраля адвокат утром получил телеграмму: «У Клавдии инфлуэнца тяжелой форме. Приезжай. Серафима».

Наскоро позавтракав, сложив бумаги в секретное отделение портфеля, он выбрался на улицу и торопливо зашагал на станцию, представляя себе, как любопытная хозяйка перечитывает телеграмму, нарочно оставленную на комод.

После изгнания из духовной семинарии приходилось этому «адвокату» чистить печные трубы, служить половым в трактире Сенного рынка, петь в хоре домашней церкви княгини Оболенской. Одно время он состоял при известном петербургском шулере. В этом доме его встретил полковник из жандармского корпуса и предложил перейти в осведомители. Была сочинена ему добropорядочная биография и выписаны документы. Так появились деньги, квартира и содержанка.

Адъютант, молодой офицер с желчным лицом, молча показал «адвокату» на высокую дверь. Полковник встретил его официально и холодно, руки не подал, едва голову наклонил. Недели две назад в этом же кабинете они пили коньяк, курили сигары.

— При всем своем расположении, — сухо выговаривал сейчас полковник, — вынужден огорчить, представление задержано. Награду получите. Но ставлю условие: не позже масленицы представьте списки социал-демократов на Сестрорецком оружейном от «А» до «Я». Замечу — ваши коллеги на «Лесснере» и «Айвазе» куда расторопнее.

— Сложно... как сложно... Затащил Фирфарова с Граничной в один трактир. Обрушился доверительно на полицию, поругал Куропаткина и Стесселя за

Порт-Артур, сказал, что хочу записаться в социал-демократы. Договорились, что он сведет меня к их главному, поплутали здорово в дюнах, привел мерзавец к березе со скворешней...— Тяжкий вздох вырвался у агента. — Чертовская конспирация, в университете и у художников райская жизнь была.

— Оклад платим не за райскую жизнь,— поправил полковник,— вполне приличные деньги выдаем на рестораны и подарки. Можно жить преуспевая. Кто виноват, что безумно тратитесь на Фелицату, смазливую, но пустенькую, у нее нет таланта ни завязать знакомство с Емельяновыми, ни навязаться в любовницы загадочному Григорию Ивановичу.

— Существует ли на самом деле этот Григорий Иванович,— ершился агент. — Оружейники мастаки на выдумку.

— Живет себе и над вами насмехается, оружие и нелегальную литературу через финляндскую границу переправляет, а вы не можете выйти на след. Прислали десять — вдумайтесь,— десять фотографий таинственного Григория Ивановича. А что показала проверка?..

Полковник хмуро посмотрел поверх его головы на заснеженное окно и замолчал.

У агента подкашивались ноги, но он не посмел сесть, а только оперся руками на спинку кресла.

— По их рекомендации,— тихо обронил он и уставил глаза в стену, за которой находился кабинет помощника полковника,— на Оружейный прошлой осенью поступил Шаков. Позвольте установить связь.

— Кретина просите в упряжку,— удивился полковник. — Трус, имею сведения, позорно бежал с озера — и в каком виде!

— Стреляли не холостыми.

— Попугали,— полковник озорно усмехнулся,— пали бумажными пулями. Зачем социал-демократам из-за дурака вызывать на себя репрессии?

— Шаков не трус, лезет в самое пекло. Недавно в трактире на Крещенской подсел к Емельянову, притворился выпившим, жаловался, что в мастерской недоверие ему выразили, а он из пострадавших, на прежнем месте угодил в черный список.

— Шаковых вывозят на тачке, меченый, а туда же... в революционеры, фискалил бы потихоньку. — Полковник невесело усмехнулся. — Организация социал-демократов в Сестрорецке существует. Кажется, Николай Емельянов — не последняя в ней спица. Нам известно,

что в случае восстания в Петербурге они хотят захватить арсенал. Мы точно не знаем — кто настоящие руководители организации.

Полковник был лучше информирован о положении в Сестрорецке, агент сделал вид, что это все ему известно.

— Пока у нас нет пофамильных списков, мы ничего не можем предпринять,— резко сказал полковник. — Не хватать же каждого пятого на заводе.

— Попытаюсь через Соцкого.

Физиономию полковника исказила болезненная гримаса.

— Лучше пошлите официальный запрос в боевую техническую группу социал-демократической партии,— ядовито посоветовал он и, посерьезнев, сказал:— В трактир с крепкими напитками почаще заходите, шары в бильярдной погоняйте, поволочитесь за какой-нибудь вдовушкой, вхожей в дом Ноговицына, Рябова, Поваляева, мало ли там подозрительной мастеровщины.

Агент, согнувшись, торопливо записывал указания.

— Не пророк, но боюсь,— говорил, прощаясь, полковник,— придется вам скоро наниматься в приказчики, шулер к себе не возьмет.

14

Почти час слушал Ордына Николай, а затем закрыл тетрадь с пометками, сказал:

— Увольте, трудновато складно пересказать, вопросы непременно будут, и товарищам лучше прослушать не Емельянова, а представителя Петербургского комитета.

Ордын не настаивал. Поручение, и верно, сложно для Емельянова. Третий съезд социал-демократической партии работал 15 дней, много принято важных решений. Подумав, Ордын сказал:

— В Сестрорецке и даже в Разливе на дому собрать десять — двенадцать человек опасно, можно провалить дружину. «Именины» разве справить?

— Безопаснее собраться на заводе,— ответил, не задумываясь, Николай. — У нас в мастерской кладовщик сочувствует социал-демократам.

— Придуманно хитро, дошлому полицейскому в голову не придет искать нас на заводе,— похвалил Ордын. — Остановка за небольшим: нет у меня шапки-невидимки и волшебного кресала.

— Это уж моя забота,— сказал Николай.

Ордын остался ночевать. Надежда Кондратьевна постелила ему в маленькой комнате.

Утром, разбудив Ордына, Николай принес ему косоворотку, штаны, блузу, юфтовые сапоги и фуражку с помятым козырьком.

На пешеходном мосту Николая и Ордына поджидали Паншин, Василий и Иван Емельяновы. Им было поручено провести Ордына через проходную.

К девяти часам кладовщик вывесил на двери записку: «Ушел на склад». В кладовке собралось одиннадцать человек. Последними пришли Ноговицын и Матвеев.

Ордын рассказал о работе недавно закончившегося в Лондоне Третьего съезда РСДРП.

Резолюцию не было времени принять, мастеру подзрительным показалось, что так долго закрыта кладовая. Оружейники попросили Ордына передать Петербургскому комитету партии, что теперь им ясна цель — революция продолжается. Надо объединить всех бойцов в дружину. Каждому — винтовку.

Из завода Николай вывел Ордына через ворота на стрельбище. Прощаясь, сказал:

— Потребуется партия, добудем винтовки для боевых дружин Невской и Нарвской застав, Выборгской стороны, пошлем и в провинцию.

...Между тем на заводе без объявления опять ввели смены продолжительностью 11—12 часов. Охранка предупредила генерала, что в дружинах Петербурга появились винтовки Сестрорецкого завода. В проходной стало строже, на обыск ставили дворников, те старались выслужиться.

Перестроились и дружинники: в карманах — табак, папиросы, спички, в узелках — пустые чугушки и куски хлеба, оставшиеся от обеда. Разобранные винтовочные затворы проносили за подкладкой фуражки. Сложнее добывать стволы. Штаб поручил это дело рослым оружейникам, Василий Емельянов вшил в штанину брезент, прятал ствол, знакомый сторож выпускал его через запасные ворота.

Сборка винтовок шла в тайных мастерских. На Никольской у Емельянова, у деда Ахрпоткова, в доме Матвеева. До десятка винтовок в неделю собирали в Новых местах в сарае Николая, приходили ему помогать Рябов, Шатрин. Но вскоре сборку пришлось приостановить — иссяк запас прикладов.

Шатрин подбивал Емельяновых и Анисимова выбрать ночь потемнее, напасть на сторожа ложевых сараев и вывезти сразу воза четыре болванок. Николай тоже был склонен к ночному налету — сдерживало, что сторож там Абрамов, его родной дядя.

Про затею с налетом узнал Рябов, зазвал Шатрина к себе, отругал:

— Устроить нападение на склад — ума не надо, а потом начнутся аресты. Так дружину можно погубить, не выполнить до конца поручение Центрального Комитета партии; ведь только наладили отправку винтовок в дружину Петербурга.

И он рассказал Шатрину, что старый Емельянов посоветовал ему — привязать приклад к горбылю и сбросить в реку Сестру. С таким же предложением приходили в штаб рабочие Васильев и Комаров.

...В условленный день Александр Николаевич привел лодку в устье реки, закинул удочку. Все горбыли с прикладами он без заминки выловил. Зацепить их багром не составило ему большого труда.

Выезжали на лодке в устье сыновья Емельянова Василий, Иван, дед Ахропотков. По два-три приклада сдавали они в подпольные мастерские.

Пропажа была все же замечена. Деревянное ложе — не прицельная рамка и не затвор. На обыски ставили самых свирепых дворников — и ни одного задержания. Никто из «рыболовов» не попался, но генерал велел перегородить реку на выходе ее с территории завода.

Помощь дружине пришла, откуда ее совсем не ждали. В тот день низкие тучи обложили Разлив: рано стемнело. Емельяновы ужинали со светом, когда Абрамов постучал в окно у крыльца.

— Заходи, на сковороде господин судак, — приглашал дядю в дом Николай.

— Наперед — дело. Щепы и сухой стружки на растопку хозяйке привез, — громко сказал Абрамов.

По тропинке следом за дядей Николай выбрался к протоке. У мостков стояла лодка, на дне — два мешка, Николай взялся сразу за оба — тяжело, не щепы и стружки, огладил мешки, себе не поверил — ложевые болванки. Ай да дядька!

— Годных с десятков, может и побольше, не считал, — говорил Абрамов, — остальные бракованные по прихоти приемщиков: то по глубокой царапине, то сучок товарный вид портит. Вам-то ведь винтовки не на всемирной выставке показывать.

Зарыв мешки в сухой мох, Николай бросил поверх несколько старых мереж и закрыл сарай на секретный запор.

Мальчишки, отужинав, исчезли, Надежда Кондратьевна отнесла грязную посуду на плиту, накрыла стол парадной клеенкой. Николай усадил дядю в красный угол, сказал:

— Пребольшущее спасибо от дружины, как хлеб нужны приклады.

— Батьке своему поклоны отбивай. Он надоумил. Встретил твоего родителя в бане, уселись дух перевести, пивка попить. Благостно так, ну и зацепились языками про всякие строгости на ружейном. Так сидим на полке, балакаем, батька твой без обиняков возьми и скажи: «Подсобил бы дружинникам, частей винтовочных они повыносили, затерло с прикладами. Сотню-две болванок унеси у тебя из сарая — сам не хватишься». — «Что правда, то правда,— подумал я. — И сестру опять жалко. Попадешься ты, Васька, Иван, а Поликсенье сердце за вас, неугомонных, рвать».

Будто невзначай Абрамов сказал, что в комиссии накопились лишки винтовок.

— Взять не хитро эти винтовки, а как вынести? Дворникам награда обещана,— растерянно говорил Николай.

— Штук двадцать смело можете выкрасть,— убеждал Абрамов. — Попрячьте, скоро троица, пристанете к крестному ходу и вынесете винтовки с завода. С иконами обыскивать не станут.

Винтовки на стрельбище из приемной комиссии возил Петров. Было ему за тридцать, а за придурковатость звали Володькой. Водился за ним грех — любил выкурить дорогую папиросу и порассуждать о том, как бы всем хорошо жилось, если бы был в России добрый царь. Эти Володькины слабости и задумали использовать, решив выкрасть скопившиеся в комиссии лишние винтовки. Абрамов только слово взял с Николая сработать чисто, чтобы возчик не потерял места.

В день большой пристрелки винтовок Володькину вагонетку встречал в тихом углу то Василий Емельянов, а то Паншин. Угощали Володьку дорогими папиросами, отвлекали разговорами, другие молодые дружинники сбрасывали с вагонетки винтовки.

В троицу Сестрорецк проснулся поздно. Разодетые выходили на улицы мастеровые с женами, ребятами.

Когда наступила торжественная минута начала крестного хода, то у икон и хоругвей раньше братьев Слободских и Кучумова оказались мастеровые. Рябов захватил хоругвь Христа, Василий Емельянов — святого Петра, Повалаяев — святого Павла...

Выбравшись из церкви, крестный ход направился на завод — в часовню. За воротами хоругвеносцев неожиданно сменили, а после молебна у них снова оказались хоругви. С завода возвращались через генеральский ход.

На улице Повалаяев уступил хоругвь Петру Слободскому, банщик сменил Василия, а у Рябова хоругвь взял Кучумов...

Полиция в троицын день благодушествовала: во время крестного хода не произойдет беспорядков.

Мастеровые, избавившись от хоругвей, икон, отстав от крестного хода, по одному пробирались в дом на Никольской. Вынесенные с завода винтовки Александр Николаевич прятал в тайниках.

15

Рано сготовила обед Надежда Кондратьевна. Выдался просвет, можно мало-мальски привести в порядок тройку мужа. Срезав бахрому с рукавов, она занялась штопкой и не слышала, как в комнату вошел свекор.

— Никак праздничный чинишь, — удивился Александр Николаевич, года сын не проносил дорогой костюм, — шерсть, поди, попала залежалая.

Посмотрел он брюки на свет — решето.

— И на каждый день не пустишь, — завздохал Александр Николаевич, — развалятся. Экая напасть.

— Починю, поносит. К покрову, бог даст, новую тройку справим.

Туговато в семье с деньгами. Заработками Николай не обижен, но платит большие долги. В тяжелой кабале мужик — на двух биржах брал бревна и доски. Лишь недавно рассчитался за кровельное железо.

Помрачнел Александр Николаевич. Полную неделю сын не разгибает спины в мастерской, не отказывается от сверхурочных, только и отдушина, что в воскресенье посидит в трактире, погоняет шары на бильярде. Теперь и этого удовольствия лишился. Срам показываться мастеровому в заштопанных штанах, как какому-то поденщику.

— Справим до казанской летней,— успокаивала свекра Надежда Кондратьевна. — Двадцать пять рублей моей сестре отложено, она при деньгах, подождет.

— За четвертную костюм на Александровском рынке купишь, а Николаю по положению нужно справить рублей за шестьдесят,— возразил Александр Николаевич.

Он очень гордился старшим сыном. Всем он вышел в свою фамилию. Полиция и начальник завода косо поглядывают на Николая, а оружейники уважают. В дружине он воинский порядок ввел, офицеру не каждому по плечу.

Со следующей полочки, ясно, не отложить недостающую сумму, а Надежда Кондратьевна поддакивает, жаль ей огорчать свекра, но старого разве проведешь.

— В будний можно ходить в штопаных-перештопанных штанах, а в воскресенье срамота.

Александр Николаевич вытащил бумажник, отсчитал пятнадцать рублей.

— В Финляндии за сорок костюм можно купить богаче, чем в Петербурге за шестьдесят. Прошлой весной Ноговицын сшил тройку в Куоккале у портного, и по сей день, как новая. Адресок тогда записал.

Положив адрес портновской мастерской на деньги, Александр Николаевич не остался обедать, как ни уговаривала Надежда Кондратьевна. Хитер старый: от старшего сына всего можно ждать, забунтует, не возьмет деньги, а ему, и впрямь, не в чем выйти в город.

Николай привел с озера лодку с дровами.

Выгружая доски, Надежда Кондратьевна перепачкалась. Замывая подол юбки, она не заметила, как на мостки вышел Николай, спросил:

— Отец заходил?

— Навестил, я пиджак чинила, вволю поворчал, что фамилию позоришь. С ним не поспоришь, он прав, негоже так вырядаться. Надумала, сестра обождет долг, отец добавил из своих, велел ехать в Финляндию, адрес оставил хорошего портного.

— Дите я ему малое,— сердился Николай,— мало ему младших вырядать, девке бы какое платье справил, невесты в доме.

По всей вероятности, Николай отложил до полочки поездку в Финляндию, да выпало срочное поручение. В Терюки прибыл тюк нелегальной литературы и ящик револьверов, нужно перевезти опасный груз в Питер.

У подпольщиков две тайные дороги через границу: по Финскому заливу на рыбацкой лодке и по тропинкам

контрабандистов. Но недавно был провал при переправе через реку Сестру.

В этот раз Николай надумал переправить литературу и оружие... через пропускной пограничный пункт в Дюнах.

На вторник Николай отпросился у мастера. Рано утром был в Дюнах. На пропускном пункте угостил солдат куревом, разговорился, выяснил, что на этом участке границы несет службу взвод унтер-офицера Смирнова. Неожиданно повезло Николаю — взводный сочувствовал оружейникам-подпольщикам.

На подводе финского крестьянина Николай перешел через границу.

В Куоккале у портного были и готовые костюмы на продажу. Всем хороша тройка английского тонкого сукна, да в плечах пиджак чуть великоват Николаю. Портной спросил недорого — сорок пять рублей.

Сторговал Николай костюм, договорился о подгонке пиджака, отсчитал задаток, обещал приехать в следующий вторник.

— Лишних два конца, терять мастеровому день, — портной мелком наметил на пиджаке, где убавить, сказал, что отпустит покупателя домой с обновой.

Хозяйка провела Николая в комнату за мастерской, принесла чашечку кофе, рюмку коньяку, не поленилась, сходила в соседний дом за «Петербургским листком».

Часа через полтора Николая позвали на примерку. Теперь костюм был сшит как по заказу. Сверх договоренного Николай прибавил рубль, портной не взял, сказал, коль костюм понравится и будет хорош в носке, то пусть новый клиент даст своим знакомым его адрес в Куоккале.

Вечером, когда на пропускном пункте в Дюнах дежурил унтер-офицер Смирнов, Николай перешел границу и договорился о переправе териокского груза.

Спустя два дня на рассвете у контрольного пункта остановилась подвода с дровами. На вопрос унтер-офицера Смирнова: «Чьи дрова?», возчик — финский крестьянин ответил: «Везу дрова полковнику Юзикову».

Это был пароль.

16

В плохом настроении пришел к отцу Николай. Он насколько не причастен к тому, что произошло по ту сторону границы, но надо было что-то предпринять.

— Наш оружейник заболел, остался у знакомых в Райволе,— рассказывал Николай. — Он просил на день-два задержаться и товарища с Нарвской заставы. Тот ни в какую: «Дорогу знаю, границу не раз переходил, груз нетяжелый». В пути он сбился с дороги, оказался в болоте, утопил патроны, самого едва вытащил финский крестьянин, обсушил, обмыл и минувшей ночью переправил через границу.

— Спешить можно, но с умом,— вставил Александр Николаевич и спросил: — Отправили в Петербург сумасброда?

— Ко мне Клопов привел,— ответил Николай. — Попади в его шкуру: тошно ему налегке возвращаться в Петербург.

— Выручите, скиньтесь,— предложил Александр Николаевич.

— Правильно,— согласился Николай,— наш долг — выручить... Прикидывал, сотню патронов соберем, но это же слезы. Матвееву солдаты принесли тысячу штук и через час обратно забрали: ревизия приехала.

Александр Николаевич сокрушенно покряхтел, прошел в соседнюю комнату, разбудил одного из сыновей, скоро вернулся.

— Справлялся у Ваньки: завтра на стрельбище большой день. На промывку винтовок дворник Будаев напросился.

— Жаль, что не тебя наняли.

— Жизнь — не расписание на чугунке,— заметил Александр Николаевич. — Не горюй, выкрутимся. Юзикова, начальника стрельбища, возьму на себя, потолкую и со старшим стрелком Чудовым. На мишени он поставит сына и нашего Ваньку. Питерца обнадежь.

Рано утром, отекий, в помятой пижаме, Юзиков пробирался вдоль забора к ягоднику. Возле куста смородины он встал на карачки, торопливо разгреб увядшие подорожники. Из потайной ямки исчезла сороковка. Опять кухарка выследила. У жены такса: платит ей целковый за обнаруженный тайник.

Домашнего шпиона Юзиков на этот раз ругал напрасно: в траве валялась пустая сороковка и посоленая корочка. Наступив на бутылку, он вспомнил: поздно вечером, не найдя ключей от буфета, прокрался в сад.

В голове у Юзикова стоял шум, во рту — дикая горечь. Он уже примирился, что сорвалась похмелька, му-

чился: собьют ли горячий компресс и крепкий чай мурторное состояние. День жаркий — назначена пристрелка винтовок.

Юзиков заметил степенно прохаживающегося напротив дачи Емельянова компаньона по рыбалке.

— В поход за царь-рыбой лососем? — сострил Юзиков. — Дел невпроворот, не соблазнишь.

— Лосось верстах в семидесяти. Путь держу ближе, на Сестру-реку, а нет — махнем на Финский залив, там окуньки сами напрашиваются. Писарчук из участка полное ведро натаскал, — подзадорил Александр Николаевич и, расправив лямки заплечного мешка, показал на удочки, приставленные к забору. — Прошу в компанию. Лодка на плаву, поудите с утречка — как в раю побываете, уху поперчим, да еще кое-что припасено, — он похлопал по фляге, обшитой шинельным сукном.

Юзиков вышел за ворота, потрогал крученую нить удочки, сказал:

— Золотой дам.

— Не продается, берите, как принято у господ, в презент, — говорил располагающе Александр Николаевич, — на выбор: слева — ореховая, справа — из молодого клена.

Удочки прямо из сказки, длина удилица — аршин пять. Юзиков попробовал на руке удочку из орешины: гибкая, прочная, такая не сломается, коль доведется вываживать и суматошную рыбину. Еще больше ему приглянулась кленовая, как по заказу литая. На удочке диковинка — самодельный крохотный бубенчик.

— На ночной рыбалке вздремнется — окунь налитой позвонит: «Ваше высокоблагородие, окажите милость, надоело висеть», — без улыбки говорил Александр Николаевич.

— Конфетка. — Юзиков колебался, какой удочке отдать предпочтение.

— А кто мешает в деле их опробовать? Какая себя лучше покажет — ту и забирайте.

Юзиков потер ладонями виски, сказал:

— Разламывается окаянная башка, у генерала перебрал.

— Лучшее лекарство при переборе — лодка, удочка и речка, — советовал Александр Николаевич.

— Пристрелка проклятая, черт бы ее побрал, — выдохнул Юзиков. — Эх, растравил, едем, побаламутим часика два, к десяти доставишь на берег...

Клев был хороший. Юзиков чаще останавливал гла-

за не на поплавке, а на фляге. Наконец не выдержал пытки, попросил:

— Старче, глотка три.

Александр Николаевич будто с неохотой отдал флягу. Юзиков выпил, и его потянуло ко сну...

А на стрельбище начался большой день. Эхо выстрелов проносилось над Никольской площадью, куполами церкви, старым кладбищем и затихало на озере.

Пристреляв винтовку, Чудов брал следующую. Иван бежал через все поле к земляному валу, снимал мишень и скрывался в кустах. Парнишка обломком штыка старательно наносил на мишенях пробоины. Не израсходованные на пристрелке патроны поступят в дружину.

Под вечер увезли на вагонетке последнюю партию винтовок. Начальник караула снял охрану. На стрельбище остался только сын Чудова. Выждав еще минут пятнадцать, он пробрался кустами к забору, покаркал, подражая вороне. В зарослях акации раздался веселый свист малиновки. Через лаз в заборе парнишка передал несколько свертков. Похвалив мальчишку, Николай пригласил его в воскресенье кататься на лодке. Уложив патроны на дно корзины, он накрыл их листьями папоротника. Сверху лежало несколько грибов — белых и подберезовиков.

На кладбище Николай выбрался на среднюю дорожку, ведущую к часовне. За поворотом его окликнули. Под кронами берез прятался склеп-часовенка. Двое мужчин, заросших, в залатанных блузах и опорках, наждачной шкуркой очищали ржавчину с дверей склепа. Тот, что повыше, был Фирфаров — Николай едва его узнал, второй — спившийся босяк.

— Из леса? Хорошо там, сухо, легко дышать, — сказал Фирфаров, не скрывая зависти. — Видно, белых набрал. А мы вот подрядились: гостинодворская купчиха причастилась, переезжать собирается.

Босяк взглянул в корзину, намереваясь потрогать грибы, Николай закрыл их локтем.

— Не лапай, червь поест, — бросил он хмуро и направился к воротам кладбища. Сделав шагов двадцать, опомнился, крикнул Фирфарову: — Приходи в воскресенье на пироги.

Возле перепада Николай прибавил шаг: заждался, поди, питерец. Вечерело. К станции Разлив подошел поезд, идущий в Петербург. В вагон третьего класса вошел уставший парень. Он облюбовал место в темном углу, зажал между ногами корзину с грибами.

Из переулка за перроном наблюдала Надежда Кондратьевна. Проводив взглядом поезд, она тихо побрела к дому.

17

По просьбе петербургского губернатора командиры Енисейского и Омского полков получили предписание быть готовыми в любой час ввести солдат в Сестрорецк «ввиду тревожного времени и замечаемого брожения среди местных рабочих».

7 июля на оружейном мастеровые обнаружили в инструментальных ящиках прокламации Петербургского комитета партии «Ко всем рабочим». Спустя день местная организация социал-демократов распространила свою листовку «К сестрорецким оружейникам».

Обе листовки призывали 9 июля объявить днем памяти рабочих, расстрелянных 9 января на площадях и улицах Петербурга.

Ночью в Сестрорецк вошли солдаты. На казарменное положение перевели городских, утренним поездом приехал исправник.

9 июля...

Как и в январе, над колоннами бастующих оружейников плыли победные флаги. Анисимов нес на древке самодельный стяг в виде хоругви: «Долой самодержавие». Чуть подальше ветерок надувал траурное полотнище «Отомстим за невинно убиенных рабочих».

Шествие возобновилось после панихиды в церкви Петра и Павла. Над рядами опять появились флаги и траурное полотнище. Николай, Василий Емельяновы и Ноговицын шли рядом. Не сговариваясь, они затащили «Марсельезу». И песня-гимн прокатилась по рядам, все нарастая.

На Выборгской улице цепочка городских пыталась остановить демонстрацию, но их отшвырнули. Тогда исправник Колобнев кинулся в колонну, чтобы вырвать красный флаг, который нес мастеровой Сафронов. В давке кто-то подставил исправнику ножку, образовалась куча мала. Колобневу намяли бока, вывалили в дорожной пыли, отобрали шашку и бросили в реку. Городовые разбежались, только один бросился на выручку своему начальнику, но парень из приборной отвесил службе хорошую затрещину.

Как и зимой, в январе, демонстранты прошли по улицам и собрались в читальне, послали за начальником

завода. И получаса не прошло, дежуривший на улице мальчишка закричал:

— Генерал жалуется, один, без стражников.

На хорах было нестерпимо душно. Дмитриев-Байцуров расстегнул китель и навалился грудью на перила.

— Бунтуете! Я разве не исполнил просьбу старост? — Дмитриев-Байцуров говорил повелительно. — Была заказана панихида. Отстояли службу и разошлись бы, так нет: устроили незаконное шествие по городу, напали на исправника и городских при исполнении служебных обязанностей.

— Бунтовщики, как вы нас называете, уже полгода ждут ответа на свои требования, — сказал Клопов, появившись у перил, — мы устали ждать, сталь, и то знает усталость.

«Вот кто главный зачинщик! Как фамилия, мастерская?» — не терпелось спросить Дмитриеву-Байцурову, но на привычном месте, справа, он не нашел ни помощника, ни правителя канцелярии. Сам виноват: явился один, желая показать, что не боится бунтовщиков.

Внизу запели: «Вы жертвою пали». В зале не пел только один генерал. Он молча кусал губы, ему казалось, что не в церкви, а здесь служили панихиду.

Тишина наступила неожиданно. И от этой тишины Дмитриеву-Байцурову стало не по себе.

— В январе часть ваших требований выполнили. Чем сейчас недовольны? — заговорил он снова, но голос дрогнул. — Составьте прошение через старост. Что законно — пойду навстречу. Поверьте, мне близки ваши интересы.

Из толпы Шатрин бросил фуражку в генерала, стукнувшись о балкон, она упала. Упершись в плечи товарищей, Шатрин крикнул:

— Оно и видно, как близки наши интересы, поп и причт только что панихиду справили, а петербургские буржуи веселятся и пьянствуют с девицами в курзале.

Дмитриев-Байцуров чуть не переламывался на перилах. Подняв руку, он призывал к спокойствию, но никто его больше не слушал, в шуме тонул голос, казалось, генерал только шевелит губами. Тогда Клопов резко хлопнул в ладоши, оружейники замерли. Дмитриев-Байцуров подумал: «Все-таки это главный зачинщик, ему слепо повинуется толпа».

Заговорил Клопов теперь спокойно, словно в небольшом кругу знакомых:

— Курзал — заведение для веселья, но плясать мазурку и распевать шансонетки, когда рядом люди плачут, простите, генерал, это то же самое, что наплевать в наши души.

Голос у Клопова негромкий, а слышно в дальних углах читальни.

— Танцы в день траура — оскорбление памяти погибших у Зимнего дворца и на улицах Петербурга.— У Клопова перехватило дыхание, он глотнул воздуха и замолчал. В читальне снова наступила тревожная тишина.

— Это не петиция,— Клопов потряс листком,— когда администрация вольна жаловать или не жаловать. Мы требуем раз и навсегда установить восьмичасовой рабочий день, приказом отменить унижительные обыски, штрафы.

Клопов передал лист начальнику завода. Опять тишина, особая. Согни глаз следили за руками генерала: «Разорвет!» Так бывало на казенном с жалобами и петициями рабочих, но Дмитриев-Байцуров сложил лист вчетверо и убрал в карман.

— Великому князю доложу. Требование — выше моих полномочий.

Медленно оружейники расходились по домам, парни держались особняком, о чем-то сговариваясь. «Громить курзал собираются — догадался Клопов. — Это может печально кончиться: в парке скрыта рота Енисейского полка, солдатам выданы боевые патроны». Понимая, что отговорить молодых мастеровых от похода в курзал ему не удастся, он отозвал в сторону Василия Емельянова.

— Поучите богачей, только без крови. Курзал не громите, там и хорошие представления показывают, сколько наших по вечерам к ограде стекается музыку слушать. И еще помните: набуяните — пострадают серьезные люди, семейные,— наставлял Клопов. — Полиция в отместку вышлет по этапу в Сибирь.

— Не одни вечером идем в курзал, к нам присоединятся многие, уже вызвались Поваляев, Рябов, Анисимов и наш Николай,— сказал Василий. — Лишнего нам не позволят...

Все улицы, ведущие к Курорту, даже Пески, закрыли городовые, стражники и солдаты. И все-таки оружейники просочились в парк.

В курзале, распахнув дверь, парень из замочной мастерской гневно крикнул:

— Гуляете, господа? Просим чество не забывать, что у нас траур, день памяти расстрелянных девятого января...

Умолк оркестр, завсегда так кинулись к выходу. Так спешили покинуть курзал, что у дверей началась давка.

Разогнав господ в курзале, рабочие мирно разошлись. Колобнев не поверил Косачеву и с младшим городовым съехал на извозчике парк. В этот день в Курорте пострадал только неизвестный фотограф, видимо, из тайной полиции. Он выискивал главных бунтовщиков и фотографировал. Недалеко от вокзала фотографа поймали мастера, отобрали и разбили о булыжник фотоаппарат, растоптали пластинки.

К отъезду исправника в Петербург были составлены списки зачинщиков траурного шествия и беспорядков в курзале.

Ноговицын и Николай предупредили товарищей, чтобы получше перепрятали оружие, патроны, нелегальные брошюры. Три дня полиция никого не трогала, казалось, — пронесет грозу, а в ночь на 13 июля начались обыски. Первым привели в участок Сафронова: запомнил его исправник.

Утром в инструментальную мастерскую зашел Ноговицын, принес Николаю проверить штангенциркуль, но это был предлог.

— Многих товарищей за эту ночь недосчитались. Собираемся вечером, — сказал он. — Третий съезд РСДРП наметил путь к вооруженному восстанию народа. События показали: пора нам действовать решительнее. Из наших рук выходят винтовки...

Вечером на заседании штаба разбили дружину на десятки, наметили места для военных занятий — на Ггарке, в карьере под Зеленой горкой и за Гнилым ручьем.

18

Лиза к обеду опоздала, пробираясь на свое место в красном углу рядом с отцом, шепнула что-то на ухо брату. Василий отложил ложку, вылез из-за стола.

— Все торопишься, похлебать шей некогда. Хоть лоб бы перекрестил, — разворчалась Поликсенья Ивановна и сердито глянула на дочь. — Сама с девчонками обед пробежала и брату не дала поесть.

Василий надел косоворотку, праздничный пиджак, бриллиантом наpomадил волосы.

— К питерке. — Поликсенья Ивановна локтем сдвинула занавеску. — Вон у горбатого тополя крутится. Одета, как наша Параскева, а не из простых.

Она вышла в сени за сыном, будто ненароком сказала:

— Платок барышня не умеет завязывать, пусть приглядится к нашим девкам.

Заждалась Наташа, а может, и спугнул городской: обходя свой участок, он сделал остановку возле дома Емельяновых. Уселся на скамью, устало вытянул ноги, закурил.

Василия бесили полицейские «посиделки». На прошлой неделе он взялся за топор, собрался порушить скамью, да отец воспротивился: «Поставишь свой дом, хоть колья три ряда набей, хоть репейник и крапиву разводи под окнами, не пикну, сам хозяин. А я живу, как мой дед и прадед, душа нараспашку. Из десяти — один нежеланный посидит на скамье».

Закурив «императорскую», городской окинул взглядом Василия, сказал назидательно:

— В трактир путь держишь? Шел бы к Михайлову в сад, там показывают представление, играет оркестр Кронштадтского полка. Степенности время набираться, а то пропадешь.

— Дэ мортуйс аут бэнэ, аут нихиль,— сказал с широкой улыбкой Василий и кинулся напрямик к тополям, где по дорожке прогуливалась Наташа.

— Что ты фараону сказал? — спросила она. — Сидит ошарашенный, в себя прийти не может.

— Дэ мортуйс аут бэнэ, аут нихиль,— бойко повторил Василий.

— А что это по-русски, знаешь? — спросила Наташа, пряча смеющиеся глаза.

— Нет,— признался Василий,— утром рыбу носил на Чухонскую провизору, тот был вдребезги пьян и напевал, как куплеты из песенки, а память у меня хорошая, с лёта схватывает, может, ругательство какое?

Наташа улыбнулась, у Василия прошел испуг: питерка смеется, значит, не брань.

Наташа перевела:

— О мертвых следует говорить хорошее или ничего не говорить. К счастью, городской и в русском языке знает только девяносто шесть слов.

— Про покойников. А я-то думал! Шибко весело провизор напевал и ногой притопывал, как в курзале певица.

На крыльце бакалейной лавки старуха торговала жареными семечками. Василий купил на пятак, угостил Наташу. Лузгая, они переулками выбрались на Пески. Наташе идти было тяжело, песок набирался в туфли.

— У речки людей меньше,— Василий скосил глаза на туфли,— да обувь у вас не та, городская, испортим. Может, в Дубки?..

Он решительно свернул к узким деревянным мосткам.

— Порвутся — и хорошо, новые туфли в глаза бросаются. — Наташа взяла Василия под руку.

На берегу Сестры Василий подкатил к сосне сухой кряж,— скамейка Наташе, а сам сел у ее ног на сплетение оголенных корней.

— Совсем как влюбленные,— с удовольствием подметила Наташа, разглаживая на коленях платье. Заговорила серьезно: — Пополнение прибыло в ваш гарнизон, два месяца не прошло, в третий раз меняют солдат. Из провинции, кажется, из-под Новгорода прислали. Сейчас важно солдатам открыть глаза: кто враг и кто друг, не то провалов на границе не оберешься.

Наташа выхватила из ридикюля горсть конфет в ярких бумажках.

— В каждой листовка,— пояснила она,— велено не просто рассовать в казарме, а раздать солдатам, чтобы ни одна не попала офицеру, а то опять сменят солдат в гарнизоне.

Проводив Наташу до озера, Василий зашел на Чугунную за приятелем. Тот только что купил по случаю гармошку. По дороге в казарму они встретили Ивана, взяли и его с собой. Через кладбище и дюны выбрались к артиллеристам. Развалились на полянке недалеко от казармы, на траву бросили пустую сороковку, к березе прислонили начатую бутылку, а на холстинке закуска — требуха, хлеб, соль.

Приятель Василия с душой играл на гармошке, потянулись солдаты из казармы, но вели они себя робко, жались к соснам.

— Загни коленце поозорнее,— попросил приятеля Василий и вместе с Иваном задорно запел частушку:

Люблю я Марусю,
Но только не вас.
На ней я женюсь,
А вас под матрас...

Когда они кончили петь частушки, коренастый, круглолицый солдат в ладно пригнанной гимнастерке, видимо старослужащий, попросил:

— Погрустнее бы, зубоскалами своими в роте не обойдены.

Василий кивнул приятелю и зашел:

Степь да степь кругом.

Подтягивали и солдаты. Спели песню, и пошло — откуда, чьи... завязывались новые знакомства.

С Наташей Василий встретился на вокзале.

— Солдаты просили заходить, — рассказывал он, — скучают, строго их держат, не разрешают дальше чем на полверсты удаляться от казармы, с мастеровыми запрещено якшаться. Кого заметят — наряд вне очереди, а при повторении — на гауптвахту.

— А на кого из них можно рассчитывать? — спросила Наташа.

— За одного ручаюсь, — сказал Василий. — Он из-под Осташкова, до действительной батрачил, а старший брат с мальчишек в Питере, на Обуховском работал.

— Ну, что ж, знакомство нужное, — одобрила Наташа и остановилась у вагона. — Послезавтра приеду, хорошо бы тому солдату добыть увольнительную.

— С братом Николаем посоветуюсь, — нерешительно сказал Василий. — В гарнизоне у него есть знакомый унтер-офицер.

— Встречаемся у лодочной станции, — сказала Наташа. Она вошла в вагон, помахала с площадки.

Не пришлось Василию идти в Новые места, — Николай был у отца. На дворе они чинили сети.

— Нагулялся с питеркой? — пошутил Николай.

— Эх, мать, до всего-то ей дело, — обиделся Василий.

— Секрет, — усмехнулся Николай. — Ахропотков на Песках засек, говорит, красивая.

— Не зазноба то была, приезжает она по заданию Петербургской боевой технической группы, — оправдался Василий.

— Наташа? — посерьезнел Николай. — Знаю ее.

Василий показал брату конфету.

— Ловко листовка спрятана. Три штуки Иван на батарею снес.

— Покажись Клопову. Кстати, он на днях про тебя спрашивал, — сказал Николай. — Коль встретишься с Наташей, то передай обиду: напрасно прождали дружинники за Гладким болотом, так и не приехал инструктор. Постреляли кто во что горазд. Не учение, а баловство, напрасно извели патроны.

Соснув часок в сарае на сеновале, Николай выбрался к протоке и замер от удивления. Старший сын переносил с берега мережи в лодку. И как шельма пронюхал, что он собирается выходить в Разлив?

— Надя,— крикнул Николай жене,— уведи малого.

«Сын — помеха, рыбалка затеяна для отвода глаз»,— догадалась Надежда Кондратьевна. Вчера под вечер к Николаю заходил дядя. О чем-то долго шушукались у поленницы, верно, ложевых болванок припас: в мешке-то много не унесешь, а на лодке долго ли переправить. Может, и в Финляндию уйдет, запасные весла положил в лодку. Недели три назад с отцом и Василием ходил в Териоки, привезли динамит.

Выждав, пока за сыном закрылась дверь в доме, Надежда Кондратьевна сказала:

— Еды возьми, много ли места в лодке займет кошелка.

— К ночи вернемся, только не жди, ложись,— успокоил Николай и мягко оттолкнул лодку от берега.

Недавние дожди заболотили сход к протоке у дома Шатриных. От нижней ступеньки крыльца до воды лежали на кирпичах широкие доски. У самого края мостков стоял в ожидании Шатрин.

— Заждался, комарье до полусмерти заело,— буркнул он, прыгнув в лодку.

— Долго не смеркалось. Да еще, как назло, приехал к соседям дачник,— оправдывался Николай.

— Паскудный человек этот новый дачник, в воскресенье около моего забора шнырял и вынюхивал,— заговорил почему-то весело Шатрин. — Я мимо погребца — и через лаз на улицу, подкрался сзади, по заливку дал и тряхнул — соломенная шляпа отлетела в протоку. Забудет, где и дом мой стоит.

— Экий болван болванч, остеречься бы, а он сам на рожон лезет.

Отошли саженой на сто от берега. Николай положил весла на воду. Пора свернуть к ложевым сараям, но на косе в двухэтажном доме светились все окна.

— Давай вернемся, предчувствие у меня плохое,— предложил Шатрин: теперь он сообразил, что его дом взят под наблюдение,— с десятков прикладов есть на складе.

Сердится Николай сейчас на Шатрина: глупость сотворил, выдал себя шпику, теперь переживает. Кто из

оружейников не на подозрении у полиции? Страх, что ли, ему в голову ударил? Надя — женщина, за подол ребята трясут, а когда требовалось штаб боевой дружины на квартиру поставить, сама предложила: «У нас безопаснее, в новом доме есть тайник».

— Дойдем до Тарховки — развернемся, — уклончиво ответил Николай.

Когда на берегу показались темные силуэты тарховских дач, Николай бесшумно развернул лодку и поднял весла.

— Умаялся за день в мастерской, твой черед!

Шатрин делал несильные гребки, а лодка шла ходко. Мрачные мысли окончательно покинули Николая. Володьку он знает, как себя помнит, — не неволили, в своем доме устроил склад боевой дружины. Оружие и литературу у него прятали.

Не заметили, как оказались у Сестрорецка. Коса слилась с темнотой воды и неба, только справа, недалеко от Белоострова, буравил ночь костер.

— Дополнительный пост стражники выставили. Ожидают перехода с той стороны, — сказал Николай.

— Умники, костер до неба, — посмеивался Шатрин.

— Костер неглупый человек разложил, — возразил Николай, — унтер-офицер Смирнов, сочувствует большевикам. А может, и не он. Мои братаны Василий и Иван свели знакомство с одним солдатом: брат его родной, обуховец, на каторге. Кто бы там ни был у костра, но он предупреждает: опасно в эту ночь переходить границу.

— Хитро задумано. Огонь на маяке зажигают, чтобы люди не погибали, находили дорогу, — согласился Шатрин. — Пора начинать, первый сон у людей крепкий.

Бесшумно теперь он вел лодку, без всплесков стекала вода с весел.

— Не вижу огонька сигарки, — сказал Шатрин. — Прощлый раз твой дядя так сигналил.

— Условились без огня, — сказал Николай. — С темноты и до света дополнительный пост выставили у ложевых сараев.

— Городового поставили, — Шатрин заколебался, — влопаемся в историю.

— Оставался бы под боком у жены, — буркнул Николай.

Шатрин подвел лодку к ложевым сараям, держась за стену, подтянул ее к среднему отсеку. Николай бесшумно оторвал подгнившую доску, но дыра была ма-

ла — не пролезть. Перепутали отсек, — видимо, в следующем сбиты доски.

— Рви и нижнюю, на ладан она дышит, — торопил Шатрин, придерживая лодку у берега. — Прибьет дядька, все будет шито-крыто.

Николай оторвал нижнюю доску. Шатрин первым проник в сарай, скоро вернулся, неся охапку ложей.

— Штук тридцать там, — шептал он, — заберем все, а вдруг они мастером отобраны, хватятся?

— Кучка в проходе? — спросил Николай и уточнил: — У столба.

— Дьявольски темно, по памяти пробирался, по-моему, у столба, мешковиной ложи прикрыты.

— Нам припасены, карауль, моя очередь, я ходы изучил в этом сарае, дядьку навешал.

Шатрин расстелил на дне лодки брезент. Перетаскав все отложенные болванки, они закрыли их мешковиной, сверху бросили мережи, ведра и мокрые поленья.

Разлив спал, ни один огонек не встречал возвращающуюся лодку. Хотя было темно, Николай заметил человека, прятавшегося за сосной у схода к усадьбе Шатрина, шепнул:

— Попали под слезку, завезить к тебе груз опасно, придется искать новый тайник.

— Мой дом еще послужит, — расхрабрился Шатрин, а разглядев человека у сосны, сник. — Веди лодку к своему причалу. — И, не дождавшись, когда она подойдет к берегу, положив на плечо мережу, взял в руку ведро, будто с рыбой, сошел прямо в воду.

Причалив к мосткам, Николай мучительно думал, что делать. Слежка за домом Шатрина, а там тайный склад. Оттуда переправляют в столицу оружие, литературу. Где-то до рассвета нужно припрятать ложевые болванки.

Тяжелые мысли Николая перебил собачий лай, кто-то, запыхавшись, бранясь, мчался к озеру. Затем в темноте послышались грузные шаги, к причалу вышел Шатрин. Он был возбужден и, казалось, доволен тем, что сейчас происходило на озере.

— Купанье ночное устроил, натравил соседского Лиходея, задаст он перцу, — говорил весело Шатрин.

Шатрин предложил ложевые болванки перенести к Поваляеву.

— Неудобно врываться без предупреждения, — засомневался Николай. — Ночь на дворе.

— Стыдись, Тимофей свой, поймет: не от хорошей

жизни врывается,— уговаривал Шатрин. — Инна нам сочувствует, давно ли с твоей Надеждой переносила из Тарховки финский динамит.

Сложив болванки в мешки, они задами выбрались к линии Приморской железной дороги. Дом Повалевых стоял у самого леса.

На условный стук в окно вышла на крыльцо Инна, сестра Повалева. Оказалось, Тимофей заночевал у приятеля.

— Обыска ждатель? — Инна решила, что мастеровые явились предупредить ее брата.

— Сюда вряд ли нагрянут, а у нас, возможно потрясут матрасы,— сказал Николай.

— В сарай ложевые наведались, а на обратном пути шпик подстерегал,— объяснил Шатрин. — Укрыть мешки до завтра негде.

— Обождите,— попросила Инна,— за ключами схожу, тайник пустой, вчера с Невской заставы у брата связные были.

Спрятав болванки, Николай и Шатрин вернулись к протоке. На озере было тихо.

— Не утоп бы с перепугу шпик. Лиходей — отъявленный озорник, не дай бог, сыск пойдет,— встревожился Николай и послал Шатрина на озеро.

Выбросив мокрые дрова на берег, мережи повесив на колья, Николай разбросал горсти мелкой рыбешки по дну лодки. Шатрин тем временем по берегу протоки вышел к озеру. Спрятавшись за перевернутую лодку, он, тихонько посвистав Лиходея, отвел его на двор к соседу и посадил на цепь.

С той ночи этот шпик больше не появлялся в Разливе.

20

Военного инструктора Николай ожидал поездом из Петербурга, а тот прикатил на извозчике из Сестрорецка... с барашком.

Оказывается, он приехал утренним поездом, хотел осмотреться. Время у него было, зашел в бильярдную «Семирамиды».

Проиграв партию, купец Грошиков нехотя лез под бильярд. Кучумов, самодовольно улыбаясь, постукивал кием об пол.

— Сыграем в пирамидку,— неожиданно предложил он инструктору.

— Условия?

— Проиграешь — лезешь под бильярд и кукарекаешь.

— А выиграю?

— Твой приз. — Кучумов ткнул кнем в корзину, где лежал связанный барашек...

Когда они вышли к лесистому оврагу, там собралось больше десятка оружейников. Кое-кто, увидев в корзине барашка, аппетитно зачмокал.

— Начнем с шашлыка или с наганом ознакомимся, постреляем? — спросил инструктор, хитро посматривая на дружинников.

— У мастеровых золотая привычка начинать день с дела, — сказал за всех Анисимов.

— Костер минута-две разложить, — буркнул Поваляев. Он пешком пробирался на озеро, проголодался. Разожгли костер и расселись вокруг огня.

— Пока нажжем углей, пройдет час, не меньше, — сказал инструктор и предложил: — Займемся главным. Он разрядил наган и начал занятие.

— Револьвер — удобное оружие для дружинников, — говорил инструктор. — Держать его можно в кармане, за голенищем, но хорошо спрятать оружие — это полдела. Наган, браунинг, смит-вессон — это не трехкопеечные пугачи, из револьвера нужно стрелять метко, а не палить в божий свет. Стрелять требуется с умом, разборчиво! Против нашей дружины, к примеру, выступит Омский пехотный, а там в первой роте действительную отбывают парни из вашей образцовой, так что же — и своих убивать?

— За-ко-вы-ка с пер-цем, — протянул Анисимов, — стрелять в своих. Как это раньше в голову не приходило?

Инструктор пронизательным взглядом обвел дружинников.

— Коли действовать с умом — в своих не попадешь.

— Пуля — дура, Суворов так ее окрестил, — бросил Иван.

Николай нахмурился: попадет брат впросак, много тараторит, ему пока молчать бы и ума набираться.

— У настоящего стрелка пуля умная, она найдет офицера и жандарма, — наводил инструктор.

— Таких стрелков на ярмарке в балагане показывают, — сказал Анисимов.

— Ваш Соцкий не из цирка, а в муху на дуге попадет, когда телега катится, — сказал инструктор и заря-

дил револьвер. — Я в детстве пугача не держал, а потребовалось — из пулемета, винтовки, револьвера стреляю; бомбы бросаю. Научиться метко стрелять — хитрость небольшая, надо чувствовать револьвер и знать — промахнуться нельзя. В момент восстания рядом с офицером и жандармом может оказаться свой человек. А случится, что и он вскинет винтовку, — опереди, стреляй в правую руку, из строя его выведешь. Таким я представляю себе дружинника на баррикадах, в будущих уличных сражениях.

Шашлык ели в охотку, отстреляв, разъехались. Иван уехал с Паншиным. У Николая в лодке был инструктор. Незаметно разговор перешел на то, чем жила петербургская боевая техническая группа.

— Не спускайте глаз с лавочников и босяков, — говорил инструктор. — Никакая узда их не удержит, а полиция — если не зачинщица погромов, то открыто покровительствует расправе с социал-демократами.

— Наши лавочники и босяки от казенки не осмелятся выйти на улицу с ломом, кистенем, револьвером, — сказал убежденно Николай. — Оружейники им быстро намнут бока.

— Не зарекайся, — предупредил инструктор. — В стране сложная обстановка. В типографии — закон о булыгинской думе. Три курии, и все — для имущих. Недовольна куцыми правами думы и буржуазия, но помещики, купцы, заводчики сторгуются с царем.

— Сторгуются, — поддакнул Николай и спросил: — А с какого боку нам наваливаться на ряженую думу?

Инструктор вынул из-за голенища газету «Вперед».

— «Ряженая», метко сказано. Ленин называет булыгинскую думу совещательной палатой без всяких прав. Царь дарует ее народу вместо конституции.

Николай опустил весла.

— «Конституционный базар», — прочитал он вслух название статьи. — Хлестко. Почитаю — и по кругу.

Спрятав газету за подкладку фуражки, Николай взялся за весла.

— А меньшевики в Петербурге вместо дела все раздор вносят, умничают? — спросил он.

Инструктор развел руками: зачем, мол, разговор вести, ясно, — но все же ответил:

— На запятках чужой кареты разъезжают; своей-то они не имели и не имеют. Играют по-прежнему в революцию, карточные домики строят. В коленках у них по-

является дрожь, когда слышат о неизбежности народного восстания и вооруженного захвата власти.

21

Зима установилась за одну ночь. Вечером ветер гонял по улицам Разлива опавшие листья, а утром дома, сады, дороги были в рождественском снегу.

Николай накануне взял отгульный день. Через Рябова передали, что в полдень ему надо непременно быть в Питере на Приморском вокзале. Что за поручение? Кто передаст? Рябов не знал.

У буфета первого класса прохаживался Андрей, тот самый, что увел когда-то Николая из кружка народников. Он был сейчас похож на купца — в шубе, каракулевой шапке, важно переставлял дубовую трость.

— Едем к моим цыганам, — похохатывая, говорил он громко. — Жена никуда не сбежит, а цыганки — прелесть.

Состав на Озерки еще не подали. Пассажиров было немного, и они держались ближе к вокзалу. Прогуливаясь по платформе, можно было побеседовать, не навлекая подозрения.

— Слышал про милость царскую? — спросил уже серьезно Андрей, когда последний из пассажиров отстал от них шагов на десять. — Прибавка жалованья на сто двадцать рубликов старшему городовому. Привесок хороший — корову купить можно, сапоги справить и на черный день отложить.

— Казна — бездонная! — вяло отозвался Николай. — Прислужников во все времена задабривали.

Андрей опять о том же:

— И погуще станет в России полицейских, теперь на четыреста душ обоего пола в городе положен собственный городской.

Подали к платформе поезд. Николай подумал: «Наконец-то Андрей скажет про то важное дело, ради которого он приехал».

— И младший городской милостью царской не обойден, — продолжал Андрей все с той же непонятной Николаю заинтересованностью. И что ему далась прибавка жалованья полицейским?

— Поздравлять городских охоты не имею, — огрызнулся Николай.

— И зря, — Андрей остановился возле последнего вагона, — про царскую прибавку следует в соборный ко-

локол бить. Затем и вызвал, и это, поверь, не только мое мнение. Прибавка городovým — тоже взрывчатка, рванет похлеще динамита.

— Рвануть — рванет, только не очень,— сказал Николай разочарованно. — Всем известно, что испокон веку полиция состоит у казны на обильном кормлении.

Помолчав, Андрей спросил:

— До Петербурга докатилось — в образцовой опять произвели сбавку расценок. Правда?

— И в ложевой скостили. — Николай незаметно для себя оживился. — В замочной начальник и мастер жмут на рабочих, выслуживают наградные к рождеству.

Николай хоть и случайно, но сам развил замысел партийного поручения.

— Листовку бы на заводе сочинить,— заговорил Андрей. — Факты хлесткие, царская милость: полиции — прибавки, а рабочим — опять сбавка расценок. Поденщики несемейные одну койку на двоих снимают, на завод ходят в разные смены.

— Толковая листовка встряхнет, растормошит и тех, кто ни во что не вмешивается,— согласился Николай.

Прав Андрей, давно ли зачислили на завод городových, положили хороший кошт: жалованье, квартирные, казенные дрова и освещение. И вот новое царское повеление о благах полиции.

Самому Андрею не пришло в голову использовать в листовке о царском повелении и прежний указ о создании заводской полиции, а рабочий связал, и удачно.

— Только за квартиру, дрова, керосин и свечи нашим дармоедам положено: надзирателю — шестьсот рублей в год, городovým — полторы сотни на рыло,— разошелся Николай.

— Раз самому тошно, действуй, но запомни: факт в листовке это тебе не притча в евангелии. Все досконально разузнай про сбавку расценок, затем садись и сочиняй.

— Уволь, отыскал сочинителя, письмо в кои веки вымучу,— отказался Николай. — Мне сподручнее в глухую ночь лодку с динамитом провести мимо пограничной стражи, чем листовку написать.

— Листовка — тот же динамит,— уже строже заговорил Андрей,— справишься, высокого слога не требуем, пиши как умеешь.

Дома весь вечер Николай молчал, сопел и хмурился. На вокзале Андрей вроде и убедил: просто написать листовку, а в поезде Николай уже раскаивался — взял

ся не за свое дело. Не с кем и посоветоваться. Поваляев с месяц в Ижевске, Анисимов в больнице. Надя во всем ему помощница, но какая из нее сочинительница? Требуется не письмо, где все просто: сперва поклоны родне, а затем суть. Выждав, когда в доме все уюмились, он прикрыл холстиной лампу, начал писать.

«Слово к товарищу оружейнику.

Вышла царская милость! Старшему городовому прибавлено жалованья 120 рублей и младшему 90.

Вышла царская милость! На оружейном сбавлены расценки в приборной, образцовой, магазинной, ложевой, замочной... По рублю-два недоберет в неделю рабочих. Сколько в год вынут из кошелька труженика. Считайте...

Вышла царская милость! К рождеству начальники и мастера получат наградные по 200—300 рублей на нос. Отменно они насобачились сбавлять расценки.

Городовые теперь гадают: а не подкинет ли государь император им на бедность земли и собственность, пенсии с мундиром и званием?

Царь не оставит в своих заботах ревностных слуг! За девятое января он еще не расплатился с полицией».

Листовку Николай подписал: «Сестрорецкая организация РСДРП», а подумав, зачеркнул: еще навлечет беду на дружину, почему он сам от себя не может обратиться к товарищам! Взял и поставил подпись: «Ваш брат оружейник».

Переписав начисто печатными буквами листовку, Николай устроил себе постель на диване. Поздно лег, а проснулся в начале шестого. Как раз Надежда Кондратьевна и внесла в комнату самовар. Озабоченное лицо выдало ее.

— Читала,— не таилась она. — С городовыми складно, а со сбавкой расценок — хуже нельзя. Нужно, чтобы проняло, чтобы каждый узнал, насколько его обирают. Припомни, как штабс-капитан Герлах рабочих рассчитывал.

Как же мог Николай такое забыть? В образцовой на отделке спусковой пружины и скобы рабочие поднажали, заработали по 42 рубля. Герлах вызвал их к себе похвалил и говорит: «Тебе, Ванька, двадцать рублей приходится, Ваське двадцать, Акимке двадцать два и от меня 2 рубля за старание». Одним махом ужулил шестьдесят два рубля.

— Цену поставь,— наставляла Надежда Кондратьевна,— сколько платили рабочему до сбавки и сколько —

после. На детонаторной втулке мастер форменный грабеж устроил, брат на днях жаловался. На щи без мяса, инструмент и квартиру только и заработает человек, а на что купить штаны, рубаху, обувьку? И на черный день что-то надо отложить.

Жаль Николаю портить листовку,— справно, без помарок переписал, но жена дельно советовала, невольно повторил вслух: «На детонаторной втулке мастер форменный грабеж устроил».

— Чай завари покрепче, а я тем временем добавлю и перепишу,— сказал Николай. — Герлаху по гроб не забудут оружейники обсчета. Нет в штабе дружины гектографа, а то размножил бы и по мастерским рассказывал.

— И одна листовка кого нужно не обойдет,— успокоила Надежда Кондратьевна.

К вечеру правитель канцелярии бомбой вылетел из кабинета Залюбовского, а вдогонку ему: «Найти листовку, сочинителя, доложить».

Отдышавшись у открытой форточки, правитель канцелярии послал рассыльного за Леонтьевым.

Несколько месяцев ждал этого вызова Леонтьев, наконец-то, наверное, вспомнили в Зимнем. Нетерпение так велико, что он, ополоснув руки, как был в промасленных штанах и куртке, явился в контору.

— Полковник обеспокоен, очень просил,— занскиваяще заговорил правитель канцелярии, приглаживая ершистые волосы. — Крамольная листовка ходит в мастерских, царя мерзко хулит, мастеровых подстрекает. Разузнайте, в долгу не останемся.

— К сыскному делу Соцкий приставлен,— возразил Леонтьев,— ему и поручите листовку искать. Осведомителем не был и не буду.

После смены Рябов догнал Николая на дворе, шепнул:

— Шуму твоя листовка наделала, из Петербурга исправник примчался, собирал городских в караульне, топал ногами, орал, что через строй их нужно прогнать.

— Забавно,— рассмеялся Николай,— городских — сквозь строй.

Он не чувствовал ног под собой. Одна страничка, а переполох в мастерских наделала. В замочной начальник испугался — велел мастеру платить по старым расценкам.

Сгоряча Николай в душе даже посмеялся над стра-

хами Рябова. «Поостерегись сам, братьям скажи, чтобы действовали поосторожнее, исправник припомнит дружинникам эту листовку»,— предупредил он.

22

Надежда Кондратьевна притушила лампу, закутавшись в шерстяной платок, прилегла: днем на ветру она по-лоскала белье. Сам больно хмурый вернулся с работы, без интереса похлебал кислых щей, а сковороду салаки отставил. Вышел из-за стола, снял с гвоздя старый тулуп.

— Недалече, к Шатрину,— бросил он на ходу,— потолковать надо, спи, может, и задержусь.

Надежда Кондратьевна обиделась на мужа, а подумав, успокоилась. Тревожно в Сестрорецке, понаехало тайных агентов из Петербурга. По лавкам, трактирам, на рынке они шныряют, ищут пути, по которым в московские дружины поступают винтовки.

Сквозь тяжелый сон она слышала, как за стеной муж будил старшего сына, затем оба ушли.

«Обыска ждет, литературу решил перепрятать,— думала Надежда Кондратьевна. — Непонятно только, зачем ему понадобился Санька? Брошюры почти все разосланы, а те, что остались в тайнике, уместятся в школьном ранце».

Надежда Кондратьевна сердилась на мужа: «Тап-ся, а ведь в любом деле она ему помощница!» Однако скоро поняла: бережет. Когда подогревала ужин, ее сильно знобило, а он наблюдательный — заметил.

Не спалось. Накинув на плечи шаль, Надежда Кондратьевна выбралась на крыльцо. Пригляделась: новый дом заперт, двери сарая приоткрыты, муж и сын там, огня не зажигают, видимо, близка опасность. Сейчас ее пугала неизвестность: откуда грозит опасность мужу, семье, дружине? Надежда Кондратьевна терялась в догадках: неужели Николай настолько растерян, что собирается ночью перетаскивать винтовки к Шатрину? У того полон склад, вчера жаловался Рябову, что связанные из Питера неделю не приезжают за оружием.

Без скрипа открылась дверь. Сперва из сарая протиснулся на улицу Санька, огляделся, тихо покашлял — это был его сигнал, сразу в дверях показался Николай. Он был в тулупе, ступал тяжело. «Обвешался винтовками»,— догадалась Надежда Кондратьевна. Она немало удивилась, когда они сзернули на тропинку к протоке.

Провалился склад у Шатрина? Плохи дела в дружине, коли муж решился побросать винтовки в прорубь — сколько риска было при выносе частей с завода, сколько труда положено на сборку. Николай и Санька сошли с тропинки. Надежда Кондратьевна спустилась с крыльца. Теперь ей был виден берег протоки. Сын полез на сосну, облюбывал сук, отец подал ему винтовку. На сосне они повесили три винтовки, затем перебрались к елке. Здесь вешал винтовки Николай, а сын прикрывал их фальшивыми ветками.

«Как рождественскую елку наряжают», — одобряла Надежда Кондратьевна, а от сердца не отлегло. Муж горазд на выдумки, но ведь живут они не на хуторе. Утром прохожие заметят развешанные винтовки, кто-нибудь и донесет...

Надежда Кондратьевна была легко одета, озябла. Боясь совсем расхвораться, ушла в дом, сделала согревающий компресс, забралась под ватное одеяло, но дверь неплотно закрыла на кухню.

Муж и сын вернулись нескоро, оба запорошенные снегом.

Как камень с ее сердца сняли. Сейчас она хотела одного: чтобы снегопад продолжался подольше.

В начале пятого разбудил жену Николай.

— Накинь, Надя, платье, обыск, только не волнуйся, ничего не найдут, — успокоил он ее.

Теперь и Надежда Кондратьевна слышала негромкий стук. Николай открыл дверь. Всю кухню заняли городовые. Застучали еще чьи-то шаги на крыльце. Городовые молча расступились, пропустив исправника, Соцкого и шпика в штатском.

— Имеем ордер на обыск, — буркнул Колобнев.

Соцкий, городской и понятой отправились в малый дом и в сарай. Двух городских Колобнев послал на чердак, в ребячью, на кухню. Сам вместе со шпиком производил обыск в большой комнате. Они прощупали матрас, затем Колобнев выбросил белье из комода. Шпик озабоченно стеком простукивал пол, стены, с табуретки проверил потолок, ничего не нашел подозрительного.

— Пошарь там, — приказал Колобнев, показывая на портреты Николая и Надежды Кондратьевны, висевшие рядом на стене.

Шпик резко дернул за портрет Надежды Кондратьевны, сорвал гвоздь, по обоям скользнул и упал на пол газетный сверток. Развернув его, шпик ахнул:

— Списки!..

Колобнев взял находку. «Наконец-то. Партийные взносы. Вся Сестрорецкая социал-демократическая организация,— радовался он про себя.— Долго полиции не везло, подсылали на оружейный занесенных в черный список с Патронного, Лесснера — и толку никакого, как клеймо было у них на лбу, дальше кооперативной лавки и похоронной кассы их не пускали».

Подпирая плечом шкаф, Николай с застывшей в глазах усмешкой наблюдал за полицейскими. Те разгладивали захватанные, в масляных пятнах листки, складывали на стол, придавливали чугунной подставкой.

— Батка твой обучался грамоте у солдат инвалидной команды, а что выделяет. Слышали — сборища происходят в его доме на Никольской, догадываемся, чья лодка ходила в Финляндию, а с крючка все срывается, лис он настоящий, ты же — сущий карась — угодил прямо на горячую сковородку,— Колобнев, повелительно постучав по спискам, продолжал: — Донгрался с огнем, на себя пеняй.

— С подобным рвением, господин исправник, настоятеля и причт Петра и Павла в социал-демократы внесете,— сказал Николай и шагнул к столу.

Колобнев, выпятив живот, загородил ему проход.

— Жертвователей чохом в социал-демократы определили,— продолжал Николай. — Присовокупите и Александру Федоровну, императрицу! Следуя примеру величайшей отзывчивости и доброты августейшей попечительницы, принимали и мы, старосты, пожертвования. Деньги по спискам собраны на бедность и лекарство чахоточным мастеровым, инвалидам русско-японской войны. От подписей никто не откажется. За человеколюбие в России пока еще не сажают.

Колобнев растерянно уставился на листы: подписи и кресты неграмотных,— а если эти гривенники, двугривенные и верно — пожертвования на бедность?

— Пушкаришь.— Колобнев повысил голос: — Крепость на долгие годы выхлопочу.

— В Евангелии сказано: делись чем можешь с ближним,— потешался уже открыто Николай над исправником.

Городовой вынес из маленькой комнаты связку книг:

— Под матрасом схоронено.

— «Настольная книга для народа», «Спасение души в трезвости», «Русское богатство»,— называл Колобнев,

перебирая книжки, погрозил кулаком: — В батьку и деда пошел.

— В свою фамилию,— дерзко уточнил Николай,— в оружейников Емельяновых.

— Будь моя воля, без деликатности упрятал бы в Сибирь по двенадцатое колено Емельяновых, дома сжег, пепелище отвел бы под чертополох,— разгорячился Колобнев.

— Дома Емельяновых не одну бурю и грозу выстояли.

«Этот Емельянов куда опаснее батьки: умен, хитер и дерзок,— злился про себя Колобнев.— Обыск ничего не дал. Кто-то, видимо, предупредил...»

Ушли полицейские, Надежда Кондратьевна уложила спать малых сыновей. Санька сложил белье, расставил на комод безделушки. Николай молча прибил гвоздь, повесил портрет жены и поправил свою собственную фотографию.

— Можно, Надя, и спать...

Надежда Кондратьевна внезапно пробудилась — Николая не было рядом. Надвинулся страх: увели. Такое бывало, сколько людей втихомолку забрали. Она вскочила с постели и замерла: в щель под дверь пробивался свет из кухни. Открыла дверь,— муж хозяйничал, готовил пойло корове, сыпал муку.

Делал он это нескладно. Надежда Кондратьевна взяла у него кулек, ловко размешала подсыпку, сняла с гвоздя полушубок, Николай отобрал, повесил на место.

— Поваляйся в постели, скорей выгонишь хворь,— сказал он,— сено корове я задал.

В следующую ночь Николай снял с деревьев винтовки, перенес в сарай, вычистил, смазал. Завтракали, когда пришел связной с Выборгской стороны. Николай крепким узлом связал две винтовки, предупредил:

— Сидеть с ними неудобно, почаще курить выходи в тамбур.

В тот же вечер остальные винтовки были отправлены в Москву.

Недели через полторы Соцкий с младшим городским навестили Емельяновых.

— Квартира, Емельянов, тебе приготовлена казенная с отоплением, освещением,— объявил Соцкий.— Можно взять смену белья, расческу, деньгами три рубля, а сухари баба принесет.

В участке было шумно, как в рекрутский день у воинского начальника. Кругом свои, среди них — и приятели Николая: Поваляев и Анисимов. Николай считал — двадцать девять оружейников, с ним — тридцать. Из каждой мастерской по два-три человека арестовали. Улик нет, в полиции состряпают. Самое малое, что их ждет, — высылка.

23

В полицейском участке Новгорода пристав долго читал сопроводительную, хотя там не было и десяти строк.

— Ссылный Анисимов. Кто? Сюда! — Он поднял наконец голову.

Окинув недовольным взглядом широкого в плечах Анисимова, пристав снова опустил глаза на казенную бумагу.

— Емельянов! К перегородке.

Он искал, к чему бы придраться, нагонял страху на ссылных.

— Поваляев! Как стоншь? Веселая подобралась компания. У нас не Санкт-Петербург. Являться в участок на отметку день в день, в указанный час. Никаких подстрекательских книг и прокламаций не распространять, не то покажем кузькину мать.

Из участка Николай и Анисимов вышли подавленные. Поваляев же давился от смеха.

— «Ссылный Анисимов. Кто? Емельянов, к перегородке», — передразнивал Поваляев пристава. — Дай такому волю, он Евангелие и описания жития святых на костер побросает.

В трактире, куда они зашли поесть, половой дал несколько адресов, где можно найти работу и по божеской цене снять комнату. Николай отправился в Заречье искать крышу, а Поваляев и Анисимов — заработков.

После полудня они встретились у Софийской звонницы.

— На постные щи в этом губернском еще заработаешь, а домой и трояк в получку не пошлешь, — уныло говорил Поваляев.

Анисимов был навеселе — на спиртоводочном угостили. Он нашел всем поденку. Наем рабочих на заводе вела сама хозяйка. Она клала семь гривен в день и сулила рубль, коли заметит старание.

— Хитрая лиса, — подметил Поваляев. — На ее поденгине сатана и то целковый не получит.

На тюремных харчах Поваляев заметно сдал. Верст пятнадцать прошагал он в это утро,— рубашка мокрая от пота, ноги ватные, скорее бы добраться до постели. Он и спросил про крышу.

— Не палаты каменные,— ответил Николай.

В старом барском доме снял он комнату. Подслеповатое окно смотрело на покосившийся сарай с зеленой крышей и выгребную яму. Пол крашенный, но половицы скрипели и плясали под ногами, в левом углу вспухли мокрые обои.

Поваляев у двери поставил сундучок, стащил с головы солдатскую папаху, переглянулся с Анисимовым: экая конюшня.

— За сей хлев разве что спьяна и впотьмах можно отвалить рублей семь, а тут трезвый и при свете божьем швырнул десятку,— рассердился Поваляев. Пропало у него желание забраться в постель, покрытую стареньким лоскутным одеялом.

— За будущий наш ревматизм он приплатил хозяйке,— сказал насмешливо Анисимов, показывая на плесень под окном.

— Втридорога дал за комнату,— неожиданно легко согласился Николай и понизил голос,— поймите, дурни, домовладелка суший клад для нас. Господин Рогачевский, ее сын,— председатель Союза русского народа в Новгороде.

— Чудненко, политические ссылыные на квартире у матери черносотенца.— Анисимов расхохотался и, как был в пальто, брякнулся на кровать.

Поваляев с опаской покосился на дверь: есть кому за ними в этом доме шпионить.

— Благонадежнее дома в Новгороде не найти,— убеждал Николай,— начальник полиции сюда наезжает в день ангела хозяйки, в рождество и пасху. Все это я вызнал у соседей.

Анисимов перестал смеяться, смекнул: казначей артели, так они в шутку прозвали Емельянова еще в пересыльной тюрьме, что-то затевает.

В коридоре послышались шаркающие шаги. Анисимов вскочил с кровати, сбросил с себя пальто, кинулся разбирать дорожную корзину. В комнату важно вошла хозяйка, высокая, худощавая, в длинном капоте. Бросив с порога взгляд на правый угол, она заулыбалась. Полотенце с праздничной малиновой каймой, только что положенное Николаем на божницу, придавало тор-

жественность потрескавшемуся закоптелому лику чудотворца.

— Зашла все обусловить. Кипяток даю три раза. Утром самовар кухарка ставит в семь, коли раньше будете уходить на работу, займитесь сами, пока умоетесь, он и закипит. Дрова хоть и подорожали, но как и прежним квартирантам, позволю брать из поленицы вязанку, а на воскресенье полторы.

Николай снял с табуретки свою котомку.

— Постояю,— отказалась хозяйка,— весь день до темна вяжу варежки и чулки,— с достоинством сказала она и подчеркнула: — в попечительстве я состою, признание сирот и падших женщин.

Новые жильцы слушали почтительно. Хозяйка душой отдыхала. Тихих людей бог послал ей на квартиру!

— Пока не подрядимся, вставать будем, когда забрезжит за окном, чего керосин-то зря жечь,— денег он стоит, все еще в цене по десять — двенадцать копеек за фунт дерут, а платили четыре. В одни руки по два фунта отпускают, а было... залейся,— говорил кротко Николай. — Печь стопить, огонь вздуть в самоваре сызмальства приучены.

-- Хозяйствуйте с богом. В необусловленное время кипятку пожелаете, пейте. Угли непокупные, сама тушу, покупать-то цены больно разорительные. Дрова березовые, жара в печке достаточно, выгребайте угли в жаровницу.

Придержав дверь в коридор, хозяйка вдвинула ногой в комнату прокоптелый чугунок на ножках.

Особо оговорила, что лампадное масло жильцы должны покупать только в лавке Исидора Савельевича. Живет он в каменном доме, неподалеку от церкви Федора Стратилата. Затем, брезгливо поджав губы, хозяйка предупредила:

— Женщин с улицы не водить, замечу — сразу откажу в квартире и деньги назад не верну. У меня правило: плату беру за месяц вперед.

-- Семейные мы, до женщин ли нам? Гадаем, как лишнюю полтину домой послать, капиталов родители не оставили,— поспешил успокоить ее Николай, опасаясь, не взорвался бы Поваляев. Тот и так уж чуть все не испортил, непочтительно хмыкнув. Ладно, хозяйка не слышала.

-- Вот и ладненько, обо всем потолковали, живите себе с Христом-богом,— проговорила она и важно удалилась.

Поваляев погрозил кулаком вслед и зашипел на Николая:

— Знай, долго мытарить себя не буду, съеду.

— Сущий болван,— незлобно ответил Николай,— по-твоему, хозяйка — ханжа, а по-моему — наша мать-спасительница. Ордын не велел долго задерживаться в ссылке. Бежать с Новгородчины — наука простая, не из-под Минусинска. А искать-то все равно будут, объявят по России. — И, подражая полицейскому, он неторопливо стал выговаривать: — Разыскивается сельский обыватель, родом из Сестрорецка, фамилия Поваляев, звать Тимофей, по батюшке Иванович.

— У-у-у, дьявол, как заправский писарчук трубишь,— выругался Поваляев, но уступил: — Берусь тушить угли, топить печи, не пялить глаза на новгородских красавиц. Одна просьба за подвижничество: избавь раба божьего Тимофея от душеспасительных бесед с хозяйкой. Соври, скажи: застенчивый, нелюдим, тюкнутый — нисколько не обижусь.

— Освободим нашего спутника Тимофея от общества хозяйки,— согласился Николай и, строго посмотрев на Анисимова, продолжал: — Сиречь и от чая с пирогами у хозяйки.

— От пирогов с капустой и сагой с яйцами не отказываюсь,— шутливо запротестовал Поваляев,— честно долю выделяйте.

— Дудки! Пироги и варенье прилагаются к святости,— сдерживая смех, говорил Николай.

— И долго нам ломать шапку перед святошей? — поинтересовался Анисимов.

— Завтра уговорим хозяйку отмечать нас в полиции, послезавтра откланяемся и пассажирским двинемся в Питер.

— С постромков сорвался,— Поваляев подскочил к Николаю. — Посвящать святошу в наши дела — все равно что самим на себя донести в полицию.

Увидев в прищуренных глазах емельяновскую хитрую усмешку, он отступил.

— Втянешь в историю,— сказал он. — Чую, вместо Питера очутимся в Сибири.

Николай, понизив голос, сказал:

— В ссылке мы, а не на побывке у тещи, а потому требуется снискать расположение хозяйки. Узнал я от человека одного, что наша спасительница зарок дала: спит и видит кого-нибудь подбить на богомолье в Соловецкий монастырь или в Новый Афон. Смекаете?

— А при чем тут мы? — возмутился Анисимов. — Не подрядишь ли нас в калики перехожие?

— Топайте тогда раз в неделю в участок отмечаться, — сказал резко Николай. — Коли не хотите прослыть глубоко верующими. У хозяйки связи. Влиятельная она в Новгороде, но с пунктиком в башке.

За каких-нибудь полчаса ссыльные устроились по-домашнему.

Напившись кипятку с черными сухарями, Николай и Повалев отправились на лесную биржу. Анисимов пошел в пекарню — хозяйка дала записку. Но всех их постигла неудача. Хозяйкина приятельница гостила в Петербурге и оттуда собиралась на кислые воды. Лесопильщик страдал белой горячкой. В огромной полутемной комнате с узкими церковными окнами на широкой кровати в исподнем валялся еще не старый человек с всклокоченной головой. Он принял Повалева и Николая за леших, запустил в них подушкой. Подрядились они у трактирщика дрова сложить. Управились до темноты, хозяин остался доволен, дал по рублю и велел кислых щей налить, поварила тайком положила в миску каждому по куску мяса.

Дома едва отмылись, как кухарка позвала Николая пить чай к хозяйке.

— Из кухни сдобой тянет. Пекли пироги с капустой вроде, — позавидовал Повалев.

— По куску пирога на нос схлопочу авось, — пообещал Николай.

Он начистил ваксой сапоги, надел чистую рубашку, праздничный пояс.

Столовая напоминала молельню: весь правый угол занимали иконы. В тусклом отсвете чадивших лампад облупившиеся лики святых были мрачные, злые.

— Присаживайтесь, Николай, — хозяйка засмушалась, — как по батюшке, запоматовала.

— Александрович.

— В честь, значит, святого Невского имя у родителя, — уточнила она и, понижее опустив пузатую керосиновую лампу над столом и разливая чай, продолжала:

— Собралась с сыночком вас познакомить, да он не заехал, все хлопоты и хлопоты. Времечко, Россию нужно спасать, просветители объявились, требуют отдать церкви под балаганы и кабаки. Мой-то воюет смертно с окаянным вражьем племенем. Вот и сейчас где бы мать повидать, а он извозчика пригнал с запиской. В Петербург телеграммой вызвал Пуришкевич. За глаза и в

глаза скажу, милейший это человек. На маслёной гостил он у сына, познакомилась и я с Владимиром Митрофановичем, приглашал в Молдавию, в свое имение.

— Край солнечный,— в тон поддакивал Николай. — В землю там палку воткнешь — вымахает вишня, не вишня, так яблоня. У нас в Сестрорецке не то, земля — песок и чахоточный суглинок, и погода не балует, подсолнух редко до семечек созревает.

— Без молитвы сажаешь,— нравоучительно заговорила хозяйка. — Я в своем огороде каждую ямку перекашу, покроплю святой водой, бог и радуется. Забыла, когда на рынке покупала огурчики, картофель, лук. С троицына дня, почитай, своя редиска и укроп на столе.

— Молимся, да знать молитва не доходит,— степенно вел благочестивую беседу Николай. — Прошлой весной приснилось: хожу между грядками земляники, и три ангела со мной. Отгадать, к чему бы сон, да чело века у нас такого не нашлось.

— Плохо святых чтить, тебе всевышний благодать ниспослал. В образе ангелов знаешь кто явился? — щуря хитровато глаза, спросила хозяйка.

Николай отставил блюдо, задумался, как бы поскладнее ответить. Затруднение постояльца доставляло хозяйке удовольствие: приятно ей сознавать свое превосходство в религиозном толковании.

— Троицу в честь кого празднуем? — подсказала она.

Николай, нацелившийся было на кусок пирога с капустой, неловко отдернул руку.

— Бога...

— Троица, трединое божество — бог-отец, бог-сын, бог — дух святой,— поправила хозяйка и, подперев кулаком щеку, спросила: — А каких всеобщих удостоился святой Василий?

До глубокой ночи грозила затянуться тягучая беседа. Николай, потирая подбородок, скрывал зевоту. К счастью, заглянула к хозяйке соседка со сплетнями и новостями. Хозяйка послала с Николаем по куску пирога постояльцам и затем взяла с комода тонкую книжку.

— Душу от ереси очищает,— сказала она и, открыв страницу на закладке, нараспев прочитала: — «Вражье племя добирается до царя и до церкви божией». Почитай своим вслух и растолкуй.

Анисимов спал, укрывшись с головой, Повалев в постели читал газету, на табуретке стояла лампа с притушенным огнем.

— Долгонько гостил у хозяйки, телеграмму Надежде отобью,— пальцем погрозил он.

— Ешь, вкусно печет пироги хозяйкина кухарка.

— Мать-ханжа могла бы и по два куска прислать на брата,— съев пирог, сказал Повалев. — Раздразнила.

— Пирог на первое, а на второе... — Николай кинул ему на одеяло книжонку.

— Черносотенная брехня,— полистал Повалев и швырнул ее к печке,— ох, и попали мы в ханженское логово.

— С полицией желаешь вести знакомство,— рассердился Николай. — Меня тошнит, а я веду святые беседы.

— Так-то бы так,— Повалев откинул одеяло, сел на кровати. — Соскучился я по Сестрорецку. Но крепко ли связана ханжа с полицией? Вдруг это старушечья блажь и враки.

Опешил Николай: не приходило ему в голову, что хозяйка обманывает.

— Скоро отметка в участке, старушенция наша не велела ходить, обещала с приставом все уладить,— только и нашелся он что ответить.

В пятницу пристав обедал у хозяйки. Проводив его до извозчика, она зашла к постояльцам.

— На шесть недель вперед отметку сделал,— сказала она,— только предупредил, чтобы смирно вели себя и церковь посещали, постные дни соблюдали.

Хозяйка нахваливала постояльцев своим знакомым, и теперь им чаще перепадала поденная работа: дрова распилить и расколоть, повалившийся забор поставить, снег с крыши поскидать, вырыть помойную яму.

Попытались они устроиться по специальности. Владелец кузнечно-механической мастерской спросил: «За политику из-под Петербурга выдворили?» Он не указал им на порог, вроде был рад, что нанимает рабочих «с подмоченной репутацией».

— Книжонки не те почитываете — это меня не касается,— предупредил он,— на то царь сыщиков и городских на жалованье держит. Интересуюсь, на что годны, стоит ли нанимать.

В швейной машинке «Зингер» Николай исправил ножной привод, отладил челночный узел. Повалев и Анисимов за половину смены полный ящик зубил и молотков наковали.

— Беру, пробу выдержали,— сказал хозяин. — Уговор такой: харчи ваши, спать разрешу в мастерской и деньгами положу по шесть гривен в день.

Кабалу каторжную он предлагал. Отказались. На поденщине все-таки выходило на круг по рублю. Уставали смертельно, больше всех страдал от непривычной работы Повалаяев. Дома, скинув ватную куртку, он едва добирался до кровати. Николай был выносливее товарищей, ставил самовар, топил печку, успевал кое-что и по дому сделать, в воскресенье плиту переложил.

Очередная поденка — погрузка в перевалочном амбаре привела Повалаяева в ярость:

— Сбегу, оружейника подряжают кули таскать.

— Отыщут, прибавят срок,— заметил будто равнодушно Николай, а ему и самому стала невыносима ссылка. Но он верил — недолго осталось им здесь маяться. Хозяйка все чаще заводит разговор про оскудение веры, недавно костила монахов, что нет среди них подвижников подобно Серафиму Саровскому. Николай тут ей и открыл, что давно не выходит из головы дума о далеком богомолье в Новом Афоне. Можно и товарищей на богоугодное дело подбить.

Месяц уже в ссылке. Через верного человека Андрей прислал записку: «...коли божья старушка согласится и дальше отмечать в полиции, действуйте. Новгород не Якутск, можно в случае чего на день-два приехать показаться. Дружина в Сестрорецке поредела, много оружейников в Тобольской ссылке, а дела невпроворот...»

— Согласен идти ко гробу господню и даже в Мекку,— заявил Повалаяев. Ему смертельно опротивел щемящий душу скулеж хозяйки и унижительная поденщина.

Вчера утром очередь ставить самовар была Николая. Выйдя на кухню, он застал там кухарку. Она весело раздувала угли в самоваре. От нее он узнал, что в Новгород приехала богомольная княгиня.

Неделю извозчик часам к восьми подкатывал к крыльцу коляску. Возвращалась хозяйка затемно, еле волоча ноги от хождений с княгиней по церквам.

После ее отъезда хозяйка трое суток отсыпалась, еду ей носили в постель. Каждое утро кухарка передавала, чтобы Николай не отлучался из дома, томительно проходил день в ожидании, а вызова все не было.

— Пошлем ко всем чертям набожную ведьму,— сердился Повалаяев, когда кухарка в очередной раз передала Николаю приказание не отлучаться из дома.

— Поденки все равно нет,— равнодушно сказал Николай и добавил: — С хозяйкой невыгодно нам ссориться, столько терпели, потрафляли и лезть сейчас на рожон нет смысла.

В этот день хозяйка позвала наконец Николая. В столовой у икон немилосердно чадил лампады. Она сидела у окна в жестком кресле, укутав ноги пледом.

— Княгиня благословляет вас на далекое богомолье, словечко я замолвила, в деньгах не откажет, адрес петербургский оставила,— медленно выговаривала хозяйка.

— Не забавляться отправляемся. Где по слову христову накормят, где какую копейку заработаем, инструмент с собой берем,— говорил Николай, робко теребя полу рубахи. — С полицией у нас затруднение, а то бы за час собрались.

— Отправляйтесь на богомолье, в полиции я сама буду вас отмечать, не посмеют худо сделать. — В голосе хозяйки звучали повелительные нотки. — Не грабить идете — в Новый Афон. Я, слава богу, не подотчетна приставу. В случае чего и цыкну.

Накануне ухода из Новгорода, ночью, в комнату жильцов постучали. Первым проснулся Повалаев, но голоса не подал. Может, с обыском, пускай шум разбудит хозяйку. Прислушался: нет, не полиция, так тихо, но повелительно стучит только ханжа. Сейчас ночь, что за нужда тревожить постояльцев?

Николай торопливо натянул штаны, выскочил из комнаты. В коридоре к стене жалась хозяйка в длинном теплом халате, держа перед собой ночник.

— Сама испекла. — Хозяйка подняла к свету холщовый мешочек. — Обет дала: в каждом монастыре, куда зайдете помолиться, первому встречному нищему дадите просвиру, второму — копеечку, третьему — грош.

Запах свежей печеной булки шел из мешка. У Николая слюнки потекли — на ужин были пустые щи без хлеба.

— Христову молитву в каждую просвиру запекла,— говорила хозяйка,— умаялась.

На рассвете ее постояльцы, выпив по кружке чаю и поев просvirки, выбрались из дома. Едва они перешли Волхов, как их окликнул городской. Он заскучал в ночном обходе и был настроен миролюбиво, приняв ссыльных за крестьян-отходников,— много их шло через Новгород.

— Подряд выгодный отхватили?

— Кто знает,— бурчал Николай,— контора фарфорового завода Кузнецова наняла лес валить.

— Сулят золотые горы, сытые харчи,— отозвался Поваляев,— а возьмут и обманут.

— Приказчики люди дошлые,— сказал городской. Он ни на шаг не отставал от ссыльных.

«Не хитрит ли страж, могла выболтать хозяйка про богомолье,— забеспокоился Николай. — Как отвязаться от неприятного попутчика? Придется зайти в трактир».

Миновали звонницу Софии, городской юркнул в низкую дверь в стене, помахал с порога.

Поваляев поправил пилу, соскользнувшую с плеча, весело острил:

— Из ссылки бежим, хозяйка просвинок с молитвами напекла, городской ручкой машет.

— И кандалы он при случае наденет, не опечалится,— хмуро бросил Николай.

За полтинник и пачку махорки проводник довез ссыльных в товарной теплушке до Чудова, а там они пересели на почтово-пассажирский поезд, следовавший в столицу.

Ордын не пустил их в Сестрорецк.

— Жить будете в Финляндии. Домой наведывайтесь по одному,— сказал он. — Приехали в горячее время, литературу и кое-какое оружие требуется переправить через границу.

Прямо с явочной квартиры Николай, Анисимов и Поваляев проехали на Финляндский вокзал.

24

Над весенним Разливом плыла мелодия басистого колокола. Александр Николаевич прислушался.

— Наш Петр и Павел,— сказал он с гордостью.

В густой бас степенно вpleли мелодии средние колокола, зашпешили, затараторили малые.

— И Николай Чудотворец...

— Пасхальное представление,— отозвался Николай, правя бритву на солдатском ремне.

— Перезвон благодный, согревает душу,— убеждал Александр Николаевич.

В церковь он ходил редко, обряды же соблюдал строго, в великий пост не ел скоромного, говел, а детей не приневоливал.

— В Новгороде музыка так музыка, заслушаешься,— заспорил Николай. — Из Парижа, Лондона приез-

жают слушать. На граммофонную пластинку звон записали.

— Чего же сбежал с новгородских харчей?

— По сведениям уездного исправника, сестрорецкие обыватели Емельянов, Анисимов и Поваляев до сих пор отбывают ссылку и ни в чем предосудительном не замечены.

— Артисты, — похвалил сына и его товарищей Александр Николаевич, но предупредил: — Смотри, городовым на глаза не показывайся. В суровской лавке Андрея встретил, просил быть поосторожнее.

Побрившись, Николай вышел на кухню, мать полила ему из ковша над бадьей. Причесавшись, он надел темно-синюю отцовскую рубашку.

— Обождал бы дотемна, нарвешься, праздник, а Соцкий чего-то крутится у задней проходной, с нашей Параскевой полез христосоваться. И в дом приплетется за угощением, ни стыда у этого полицейского, ни совести.

— Встретимся на узкой тропинке, ребер не досчитает, — погрозил Николай. — Скольких наших переселил в тюрьму, отправил на каторгу и в ссылку.

— В масленую и твоего батьку в участке держал, люди блины со сметаной ели, а я хлебал баланду, — сердито заметил Александр Николаевич.

— А полицейскую ищейку в дом пускаешь. — Николай в сердцах ударил кулаком по столу. — Шкодит он, а ему даровое угощение ставят. Эх, люди! Царской водки его милости Соцкому бы поднести в ковше.

— Не заходишь. Угощение подношу с хитростью. Ноговицын за это хвалил. Хмельной дурашлеп Соцкий кое-что и выболтает. К Матвеевым собралась полиция нагрянуть с обыском, я их опередил, винтовки, казну партийную припрятали. А кто разузнал, что черносотенцы собираются спалить Лафера у перепада и на Задней улице Чертиса? Наши едва подоспели, оба дома уже были облиты керосином, оставалось спичку бросить. Вам-то, дружинникам, худо, что я полицейского прохвоста в доме привечаю? — повысил голос Александр Николаевич. — Я спрашиваю, худо?

Из кухни выглянула испуганная Поликсенья Ивановна.

— В светлый христов день перебранку затеяли, — сказала она, — будня не дождетесь.

— Иди, мама, к себе, черт попутал, брякнул батька про Соцкого, я и сорвался, — успокоил мать Николай.

— И как земля носит такого Искариота.— Поликсенья Ивановна поднесла к глазам край передника. — Тебя упек, Наденьку с ребятами обездолил, и все сатане нейметя. Ваську под глазом держит, к старому подбирает ключи, а он с ним тары-бары-растабары. Специально на рябине водку настаивает.

Александр Николаевич сощурил глаза и сделал из пальцев озорную фигу.

— Не той пробы ум у Соцкого, чтобы сермягу с бубновым тузом на меня напялить.

Николаю предостеречь бы отца — хитер Соцкий, да побоялся — опять заспорит, мать расстроится. Перевязав пояс, он взял из лукошка крашеное яйцо.

— Бери на всю ораву, с Наденькой за меня похристосуйся: чую, не выбраться мне на пасхе в Новые места, — сказала Поликсенья Ивановна.

— Все лукошко забрать не могу, день только начинается, сколько гостей еще к вам нагрянет, считай одних Быков семеро, — отказывался Николай.

— Брось ломаться, поболее сотни крашено, выбирай самые красивые, — уговаривал Александр Николаевич. Придвинув к себе лукошко, он случайно выглянул в окно, выругался: — Несет нелегкая Артема-лавочника.

Артемий Григорьевич, пятясь в раскрытую калитку, тащил за собой Лизу. Во дворе он трижды поцеловал девочку, подарил шоколадное яйцо и вдобавок бросил ей в подол горсть пестрой карамели.

Лавочник вырядился в новую тройку, неразношенные сапоги скрипели на весь двор.

— В полиции Артемий не служит, а от греха схоронись, — Александр Николаевич вытолкал сына в маленькую комнату.

Похристосовался Артемий Григорьевич с хозяином в сенях, шумно ввалился в комнату, под восемью пудами тяжело скрипели половицы.

— С праздником, — глыбой он надвинулся на хозяйку, — христос воскрес.

Поликсенья молча выставила из буфета графин и закуску.

— Уговор, одну рюмку выпью по случаю воскресения христового, хотя в Невско-Александровское общество трезвости и не скоро подписку отнесу. Гости любезные не выдерживают еще со мной компании, а сегодня, признаюсь, страшусь, начну прикладываться — не обойду родных и знакомых, а ведь в обиде никого не должен оставить.

От угощения быстро захмелел Артемий Григорьевич, заговорил строже:

— Как другу сердешному говорю — дом твой, Николаич, крамольным называют.

— На чужой роток не накинешь платок. Но я никого не убил, не ограбил, — рассудительно защищался Александр Николаевич. — Живу на виду, люднее Никольской площади у нас и места не сыскать. А злых людей поразвелось, болтают всякое и про вас, — будто безразлично заговорил Александр Николаевич, — барышня, мол, Наташа, что живет у жены статского советника, никакая-де не племянница... Банщик Слободской плетет несурязицу: умыкнул, мол, Артемий Григорьевич из женского монастыря сию девицу.

— Ах, люди-люди, — бабьим голосом запричитал Артемий Григорьевич, но быстро опомнился, заговорил вызывающе: — Метрическую Натальи напоказ Слободским не вынесу. К чистому грязь не пристанет. Язык паршивый у банщика, дай срок, прижму его, — погрозил Артемий Григорьевич. — За молоденькую монашку кто грехи замаливал и куш отвалил на приютских детей?

— Напраслину возвели. Эх, люди! — сочувствовал Александр Николаевич. — Банщик, выходит, сам фигли-мигли девице строил?

Артемий Григорьевич радостно закивал головой.

— Вот ты молодец, не веришь рассказям про меня, потому я и хочу как брата родного тебя предостеречь. — Артемий Григорьевич отстегнул пуговицу на рубашке, вытащил большой серебряный крест на цепочке. — Христом заклинаю, порви с царевыми супротивниками, прислушайся, люди состоятельные дом твой красным зовут, срам.

— Святая церковь красный цвет славит. Какого цвета яйцо Мария Магдалина поднесла царю Тиверию? — спросил Александр Николаевич, и сам ответил: — Красное — символ гроба господня и пролитой Христом крови. Так в священном писании сказано.

Начитанность собеседника привела в замешательство Артемия Григорьевича, но купеческая спесь не позволила ему признаться, что он впервые слышит про этого Тиверия.

— На Руси свои цари, твой Тиверий мне не указ, — заспорил он. — Красный цвет бывает от бога и нечистого.

— Нескладно получается, — возразил Александр Николаевич. — Нечистый что, другого цвета не мог выбрать?

— Твой красный цвет от нечистого,— настаивал Артемий Григорьевич. — Не себя, так девок хоть бы пожалел. Завидные парни избегают емельяновских невест, зажиточные родители не хотят родниться,— на примете ты у полиции. Хорохориться тебе не пристало, в сундуках любезной Поликсеньюшки вместо приданого лоскут и трехкопеечное тряпье. Известно, с какими мучениями спихнули старшую. Не якшались бы с отступниками этими, демократами, бога бы почитали, и все бы было, как у людей. Скоро Лизанька заневестится, в богатый дом бы взяли, всем девка хороша. Время-то, Николаич, не дрыхнет баринном, оглянуться не успеешь — младшая на выданье.

— Выйдут дочки и без приданого. Купоны с капитала не стригу, мережи и сети кормят. Сам забыл, когда и рассчитали с казенного.

— Позаросло то былем, бог простит.— Артемий Григорьевич взглянул на горевшую лампаду, перекрестился. — Можно и похлопотать, чтобы взяли обратно на ружейный, аттестацию дадим от общества. Кучумов, Ферапонт, я...

— Избавь,— твердо сказал Александр Николаевич. Артемий Григорьевич понял: не убедить Емельянова с рекомендацией купцов вернуться на завод.

— Желанья не имеешь, неволить не люблю, человек сам себе хозяин. А относительно девок не пренебреги душевным советом.

Проводив лавочника за ворота, Александр Николаевич снял веревочку со шеколды.

Николай уже находился в большой комнате, задумчиво вертел на столе крашенные яйца.

— Спесивый гусак, а туда же, в спасители. Надумал Емельяновых в свою веру обратить, на путь истинный направить,— посмеиваясь, говорил Александр Николаевич. — Живем не так, ходим не так, девок замуж порядочные не возьмут,— из красного дома они и старший брат ссыльный.

— Дом Емельяновых давно полиции глаза мозолит,— задумчиво сказал Николай. — Что ж, отец, кому-то нужно начинать. А то, что красным зовут,— даже хорошо. Это цвет жизни.

Поликсенье Ивановне не сиделось на кухне, принесла Николаю узелок.

— Поугощаетесь дома, пасха не из покупного творога, студень — за уши не оттащишь,— нахваливала она.

Дома своя пасха, а мать нельзя обидеть. Николай положил руку на узелок, сказал отцу:

— Лодка рассохлась, в моем положении не постоярничает.

— И не отдохнешь? Опять в Финляндию пойдешь? — спросил Александр Николаевич. — Соскучилась Надя, ребяташки.

— Боевики торопили нас бежать из ссылки. Не все ведь на себе через границу пронесешь, — сказал Николай.

— Когда надо, бери лодку, не спрашивай, челн просмолил, на нем похожу, — сказал Александр Николаевич. — В случае чего меня позовешь, залив и берега лучше тебя знаю. Можно и Василия прихватить, без тебя зимой ездил он с Иваном в Финляндию, вывезли тук литературы.

25

За неделю до троицы Александр Николаевич купил никелированный самовар, велел жене вымыть и поставить на комод, сам отправился за озеро нажечь отменного угля.

В воскресенье Поликсенья Ивановна проснулась раньше всех в доме, напекла сдобных пирожков с рыбой, саго, яйцами и зеленым луком. Александр Николаевич уложил еду и посуду в прутьянные корзины, затем разбудил девчонок, сыновей и строго предупредил:

— В Дубках не разбегаться, по-семейному празднуем троицу, а после чая — кто куда горазд.

Он заранее облюбовал лужок за часовенкой. С Никольской в Дубки можно добраться по тропинке, обогнув завод, но Александр Николаевич повел семью по центральным улицам.

Собрались на гулянье и местные богачи. Издали Александр Николаевич заметил коляску у подъезда ресторана «Семирамида». Кухонный работник вынес ведерный самовар. Следом с широкого крыльца важно сошел Кучумов.

Александр Николаевич подозвал Ивана, который плелся сзади, велел взять скатерть у матери и — бегом в Дубки, а то Кучумов займет лужок за часовенкой. По соседству с Емельяновыми раскинули скатерти родственники — Абрамов, Атамановы и Надежда Кондратьевна. Она привела в Дубки сыновей.

Почаевничали, Александр Николаевич поднялся с травы поразмяться. Тут он заметил, что Матвеев обходит стороной емельяновское застолье.

— Зазнаешься, никак в гильдию записался,— окликнул его Александр Николаевич.

— Моя очередь после Емельяновых,— шутливо отозвался Матвеев. Он был в темно-синей сатиновой рубашке, пояс броский — белый с пышными кистями. — А ты, смотрю, уже не зеваешь, отхватил самую завидную в Дубках землю.

Пригласил Александр Николаевич Матвеева пирогами полакомиться. Не ускользнуло, что веселье у заводского казначея партийной кассы напускное, чем-то он озабочен.

— Филипповская сдоба и то в горло не полезет,— отказывался Матвеев. — Необязательный человек Петька из образцовой: поручили с листом обойти, а он подвел. Нельзя это гулянье нам упустить, денег нужно подсобрать, у ссыльных оружейников в Архангельской губернии не всегда бывает гривенник на хлеб и соль. Твоему старшему помогать не надо, слышал, в Новгороде след простыл. Свиделись?

— В пасхальную ночь приснилось,— заговорил Александр Николаевич,— будто зашел Николай в родительский дом, разговелся. Бывают приятные сны.

Понял намек Матвеев: на пасху Николай был у отца, жаль, не дал о себе знать, давно не виделись. Но не показал огорчения, сказал в тон старшему Емельянову:

— Наши под Архангельском и во сне не разговелись, а тут еще Петька-прохвост подвел.

— Не горюй, раз дело благородное,— сказал Александр Николаевич,— двух своих парней дам, ребята исполнительные.

— Были и сплыли,— сказал Матвеев, взглянув на правый угол скатерти, где рядом стояли две недопитые чашки. — Ищи ветра в поле.

— Найду,— похвалился Александр Николаевич, одернул рубашку и сделал знак Матвееву, чтобы следовал за ним.

К аттракциону «Рыжий бык» было не подступиться, оставался лишь узкий проход к билетеру.

Василий собирался помериться силой, достал из кошелька пятак, но увидел отца.

— Пройди с листом, ссыльные оружейники голода-

ют,— сказал Александр Николаевич и спросил:— А куда Ивана занесло?

— На качели.

— Второго потом подошлешь,— сказал Матвеев.

Василий знал, к кому можно подойти с листом, а к кому нельзя. Меньше двугривенного не жертвовали. Рублей пять серебром собрал он быстро. Как очутился возле Кучумов, Василий проглядел. Купец, наверно, заметил, что Васька Емельянов занимается поборами: к кому бы ни подошел — не отказывают. Странно, что богатеет он обходит, будто они не православные люди.

— На какую беду, парень, собираешь?— спросил Кучумов.

Василий замялся, но тут Ноговицын выручил, сказал равнодушно:

— Известно, на погорельцев.

Кучумов вытащил красненькую, потряс ею в воздухе, чтобы все видели его щедрость, но неожиданно потребовал от Василия пятак сдачи.

— Примета есть, на Балааме мне один монах поведal. Мало, много ли жертвуешь, а сдачу, хоть грош, а непременно требуй.

Подкинув и поймав на лету пятак, Кучумов вперевалку направился к своей скатерти-самобранке.

— Неудобно,— Василий смущенно мял десятку,— купец на ссыльных оружейников жертвует.

— Спрячь деньги,— сказал Ноговицын,— сам напросился, наши ссыльные хуже погорельцев живут.

Пятнадцать рублей с гривенником сдал Василий Матвееву, заводскому казначею социал-демократов.

26

...Третий переход границы после побега из ссылки едва не закончился арестом. В ту ночь на заливе шныряли лодки морской стражи. На дамбе сновали объездчики. Николай и его товарищи попробовали проскочить — не вышло, вернулись в финские воды. Они спрятали лодку в заброшенном сенном сарае, часть груза сложили в глухом овраге верстах в двух от Оллилы и двинулись пешком, захватив все, что могли на себе унести.

Но беспокойно было и на сухопутной границе. От Финского залива до Белоострова службу несли незнакомые стражники. Эти сведения принес из разведки Николай.

— В Новгороде хватились?— сказал Поваляев.— Донесли небось?

— Мерещатся тебе розыск и Владимирка,— поддел Николай.— Беда приключилась ближе, на вокзале в Новой Деревне. Связной взял на складе Шатрина две винтовки, подвязал их старой веревкой. В дороге она перетерлась, на платформе Приморского вокзала винтовки выпали из-под пальто.

— Осатанеют, теперь держись,— заговорил Анисимов.— Жаль парня, виселицы не миновать.

С минуту помолчали, затем Николай рассказал, что взвод унтер-офицера Смирнова раньше срока отвели на отдых. Рискованно было пробираться с грузом по тайной тропе.

— Напролом идти — все сгубить,— согласился и Поваляев.— Переждем — успокоится граница, поклажу зароем.

— Просто рассудил, как на первый-второй рассчитайся,— возмутился Анисимов.— Андрей о чем предупреждал? Нас ждут, из глубины России приехали дружинники за динамитом.

— Уймитесь, чего спорите?— перебил Николай.— Оба правы, но обстоятельства требуют найти третье решение.

— На голодный желудок путного не придумаешь,— сказал примиряюще Поваляев.

Перекусив, снова стали думать, что же дальше предпринять.

Николай изложил свой план переброски опасного груза: динамит и патроны они спрячут в овраге, попросят Смирнова переправить груз через границу. А сами перейдут налегке, возьмут только каравай, в котором запечен револьвер.

Поправку внес Поваляев: распить «говорунчика», если задержат — с хмельных меньше спроса. Под вечер они перешли границу. Только возле кирки их остановил конный стражник.

— Откуда и куда?— спросил он.

— За хлебом к обеду послала супруга, кума с приятелем встретил, потолковали о том о сем,— притворяясь совсем пьяным, длинно объяснял Николай.— По дороге зашли в трактир, затем к куму, в Ермоловке у полковника он дворником служит.

— Довстречались, люди добрые, отечеряли,— перебил стражник,— скалка погуляет по твоей спине.

Незлобливое брюзжание не предвещало неприятно-

стей,— казалось, конный пострадает и отпустит, а он засвистел. Из-за сарая бойни выскочили трое конных.

— Документы,— приказал старший, хотя несколько не сомневался, что задержаны мастеровые. На казенном выдали получку. Сколько непутевых с полудня шагаются по улицам.

У Поваляева был выправлен пропуск на чужую фамилию для проезда в Райволу, Анисимов предъявил заводской жетон, Николай — квитанцию рабочего лесопильной биржи Севастьянова об уплате поземельного налога. Помятый хлеб не вызвал подозрения у стражников.

Дома Николая ожидал Андрей. Он обрадовался, что дружинники не попали в ловушку.

— Прискакал выручать, в Петербургском комитете беспокоятся,— объяснял он.— Провал в Новой Деревне переполошил жандармерию.

На рассвете Николая разбудил Василий.

— Динамит и патроны Смирнов с верным солдатом перенес через границу,— сказал Василий.— Теперь наш черед, но он не советует никому из тройки показываться в пограничной полосе.

Но динамит и патроны надолго не оставишь в лесу, местность дачная.

— Пойти разве на безрассудство,— говорил сам с собой Николай,— послать к заставе подводу?

— Аннушку?— спросил Василий.— Это было бы здорово, примелькалась она там.

С весны Надежда Кондратьевна покупала молоко у чухонки Аннушки. Своя корова мало давала молока. У чухонки были клиенты в Дюнах. Петербургскому адвокату, дача которого находилась в версте от заставы, она возила молоко и картошку.

— А кого с Аннушкой послать?— Николай задумался. Братья на заметке у полиции.

— Попроси Васильева,— предложила Надежда Кондратьевна,— зимой с лошадьёю на санях он пристал в Оллиде к финскому обозу и дошел с ними до Петербурга. Финны так и не догадались, что с ними идет русский.

Аннушка охотно согласилась заработать рубль.

У железнодорожного переезда отдохали спешившиеся конные стражники. Васильев нарочно громко обругал Аннушку, вожжи отобрал, сам стал править.

Оставив чухонку на даче адвоката, он погнал лошадь к станции. На лесной дороге подводу остановил

Смирнов, велел свернуть на просеку. В куче хвороста были спрятаны динамит и патроны.

Миновав переезд, Васильев кинул вожжи Аннушке, соскочил с подводы и от огонька стражника раскурил трубку.

27

Отдернув занавеску, Надежда Кондратьевна позвала мужа. Шатрин шел посередине улицы, качаясь маятником, трудно переставляя ноги.

— Без праздника набрался,— осудил Николай.— Никак в казенку?

Поравнявшись с домом Емельяновых, Шатрин свернул. Грузно навалившись на калитку, он долго шарил, ища щеколду. В комнате, плюхнувшись на табуретку, Шатрин кивал своим думам.

— Чайку заварить?— предложил Николай.— Целый фунт купил Высоцкого, в железных коробках.

— Водка — и та дурманит только ноги, а он чаем потчует,— сказал совершенно трезвым голосом Шатрин.

— С какой печали распечатал бутылку в одиночестве, чай, не пропойца?— сказал Николай.

— С ней чокнулся.— Шатрин взглянул исподлобья, и тут Николай заметил в его голове россыпь седины.— С виселицей...

— Выспись.— Николай старался говорить спокойно.— Занимай диван. Потом потолкуем.

— Прав, нужно потолковать, чтобы ночью под головой не вертелась подушка.— Шатрин хмыкнул и, помолчав, заговорил неожиданно резко:— Забирай винтовки! Забирай... до последней. И книжки...

— Ждешь обыска?— встревожился Николай.

— Накатят, как того связного... привезут на барже в Лисий Нос... Перекладину... В яму с известью...

Сдали нервы у Шатрина, главного хранителя тайного склада дружины.

— Забирай, не то стемнеет — выведу на лодке весь склад в Разлив и утоплю,— погрозил Шатрин.

— Рехнулся, топить винтовки,— Николай пытался его разговорить.— Комик ты, Володька, из заезжего балагана.

Надежда Кондратьевна принесла самовар, расставила чашки. Беспокойство мужа ей передалось: что-то случилось в дружине. Шатрин не с радости набрался,

сыч сычом, может, и ее совет пригодится, выручала, не раз отводила угрозу от подполья, но Николай сделал знак — оставь нас одних.

Не верилось Николаю, что из дружины дезертирует Шатрин. Конспиратор, каких в петербургском подполье раз-два и обчелся. В его доме арсенал, перевалочная база нелегальной литературы из Финляндии и Швеции. Но Николай знал характер приятеля. Шатрин и в детские годы не принимал скорых решений.

— Клятву служить революции, значит, побоку?

— Из монахов, когда немоготу, и то отпускают в мир,— сказал Шатрин. Голос у него усталый, надломленный.— Веришь, сплю час-полтора, просыпаюсь от стука топора, потный — мою виселицу возводят.

— Чую, угодишь на Пряжку,— рассердился Николай,— выкинь мусор из башки. Провала у нас ни с одним тайником не было. Живая стена товарищей тебя оберегает. Задержанный в Новой Деревне себя не назвал, никого не выдал.

— Хочу жить без веревки на шее.

— В приятели к соседу Ромке ладишь, он праведно живет: мастеру угодит, обедню в воскресенье не пропустит.

Шатрин весь затрясся.

— Каждый бы сотую часть моего сделал, давно была бы в России революция.

— На простых весах твои заслуги перед революцией, вижу, не взвесить, затребуем из лабаза десятичные,— с иронией заговорил Николай. Больно было терять близкого товарища, а к тому шло.— Нашел чем хвастаться. Ты-то дрыхнешь в постели, а сколько большевиков и сочувствующих нашему делу на каторге! Арсентия в кандалы заковали. Письмо недавно получил: об одном жалеет, что мало сделал для революции. У тебя другой счет — революция в долгу, с нее еще приходится Володьке Шатрину.

Тоскливым взглядом обвел Шатрин комнату. Николаю не по себе: прощается человек с его домом.

— Раз на одну половицу с Ромкой поставил, здесь мне больше не бывать,— сказал Шатрин.

Вся жизнь бок о бок у них шла. И вот трещина. Жалко Николаю приятеля, а язык больше не поворачивается ни возразить, ни успокоить. Уход из дружины — дезертирство. Знал ведь Шатрин, на что шел, на канате не тянули. Предупреждали: трудная жизнь в России у того, кто за свободу борется.

Молчание было для обоих тяжело. Шатрин одернул рубашку, перевязал шелковый пояс.

— Мне пора, не суди строго, спать ложусь, спички на табуретку кладу.— Шатрин подбоченился, потом вдруг обмяк и, кивнув, вышел из комнаты. Николай спохватился, когда он уже был за калиткой. Разошлись, толком не решили, что делать со складом: «С перепугу, верно, утопит винтовки, литературу». Николай догнал Шатрина у протоки.

— Боишься — сдавай склад, еще один тайник у себя устрою, только не рви с товарищами.— Николай делал последнюю попытку удержать Шатрина от страшного шага.— Обещаю скрыть твою слабость. Наде — и то слова не пророню.

— Помочь перенести винтовки?— отрешенно спросил Шатрин.

— Сколько винтовок на складе?— спросил Николай.

— Шесть.

— Обожди, жену кликну, в один заход унесем.

— И книжонки забирай,— напомнил Шатрин,— ночью едва не сжег, в печку сунул, спичку уже было чиркнул, одумался.

Четыре винтовки навесил на себя Николай, громоздкий брезентовый дождевик удачно скрывал. Две спрятали под пальто Надежда Кондратьевна. Брошюры рассовали по карманам.

В боевой технической группе были серьезно обеспокоены происшествием в сестрорецкой дружине. Хотя часто меняли пароль и явочные квартиры, но Шатрин знал слишком много. Трусость и предательство разделены весьма тонкой перегородкой.

На вызов в Петербург поехал Николай. В штабе дружины ожидали его до девяти вечера, разошлись подавленные. Не сиделось дома Анисимову, пришел на станцию.

На последнем поезде вернулся Николай. Спрыгнув с подножки вагона, он незаметно огляделся. На платформе были двое: выпивоха-приказчик из суровской лавки, дремавший на скамейке, и Анисимов.

— Притащился тебя встретить,— сказал Анисимов и понизил голос:— Тоска гложет, как там, не строго?

— Без лиха возвратился — и тому радуйся,— заговорил Николай.— Опасаются провалов, боятся лишиться перевалочного пункта. Сестрорецк — арсенал партии, и с Финляндией стенка в стенку живем. Эх, Володька, наделал переполоха, кто бы мог предполагать...

— Заступился, надеюсь? В голове винтик у Шатрина какой-то важный ослаб. Судить строго товарища нельзя... Больной, и очень, душой болен...

— Поручился, что Шатрин не предаст, всю ответственность на себя принял.

— В Питере как к этому отнеслись?

— Велели у себя в дружине решать.

— Коль твоего поручительства мало, считай и мое. Володька поработал на революцию. Добивать больного согласия не дам. Я и в большевики вступил потому, что это самая человечная партия.

У протоки Николай и Анисимов распрощались, еще не зная, что защищать Шатрина придется им из новгородской тюрьмы.

Ночью постучали в окно большой комнаты. Николай, не зажигая лампы, приоткрыл край занавески. Под окном стоял Андрей.

Впустив его в дом, Николай засуетился возле самовара.

— Чаю в Петербурге напьемся,— отказался Андрей.— В Новгороде шум: сбежали ссыльные оружейники.

— Растрезвонила старушенция, крепкого я дал маху, прав был Поваляев — предостерегал,— с досадой сказал Николай.

В лампе вспыхнуло пламя, закоптило узкий верх пузатого стекла. Андрей оказался проворнее хозяина, убавил фитиль.

— И как она догадалась, что не в монастыри мы спешили?— сетовал Николай.

— Кто-то из ваших богатеев накатал в жандармское. Анисимова засекали на кладбище.

— Вот сволочи,— обозлился Николай.

— Сволочи,— поддакнул Андрей.— Полицейское колесо раскручено, розыск объявлен, возвращайтесь в Новгород.

На вокзале перед самым отходом поезда появился Андрей с узелком, передал в окно вагона.

— Посылка не обременит, фунта три всего-то. Вещички тут святые из Тихоновой пустыни, Соловецкого и Новоафонского монастырей. Хозяйку одарите, от ее показаний много зависит.

В Новгороде из участка ссыльных не выпустили. Знакомый пристав, потирая руки, говорил:

— У нас, господа, не Санкт-Петербург, предупреждал, допрыгались,

На суде хозяйка показала, что жильцы держали за собой комнату, исправно платили, отлучались только на заработки и богомолье. Бегство из ссылки Емельянова, Анисимова и Поваляева полиция не доказала, посадили их на шесть недель в тюрьму за бродяжничество.

Спустя два месяца они снова бежали в Петербург, встретились на явочной квартире.

28

После успеха своей листовки Николай все чаще задумывался, что неплохо бы дружине иметь свою типографию, на первое время можно обойтись и гектографом.

В штабе сочувственно к этому отнеслись. Прикопили денег, осталось подыскать человека, который бы приобрел гектограф, чтобы следы не вели в дружину. И тут Василий рассказал брату, что у штаба есть возможность заполучить в свое ведение подпольную типографию в Петербурге.

Житель Сестрорецка Федоров происходил из семьи священнослужителя, но сочувствовал социал-демократам. В келье монастыря Иоанна Кронштадтского на Карповке у него был ручной тискальный станок, в касе шрифта было достаточно для набора двух-трех прокламаций. Хорошо отзывались дружинники о Федорове — те, кто близко его знал. Николай же встречу с ним откладывал: предложение было заманчиво, но подозрительно.

— Сперва ваш Федоров пусть покажет, на что способна типография,— передал Николай через Василия.

Материалы для первого номера заводского подпольного журнала собрали Емельяновы, Василий и Иван, Паншин, Ноговицын.

Вскоре Паншин принес из типографии четырехстраничный журнал «Муха». В нем были сатирические заметки про дела на оружейном заводе. Федоров поместил в журнале список начальников мастерских — сколько кому причитается получить наградных за ревностную службу, а рядом — список оштрафованных рабочих. Хотя официально штрафы на заводе отменены, поборы из кошелька рабочего продолжают.

— В следующем номере напишите похлеще про богадельню. На жалкие подаяния она существует, а там живут престарелые одинокие оружейники,— попросил Паншина Николай.

В субботу Паншин и Василий отправились за следующим номером «Мухи». Из предосторожности — два молодых рабочих очень заметны в монастыре — решили по очереди зайти в типографию. Василий остался наблюдать за набережной, Паншин вошел во двор.

В келье, где находилась подпольная типография, он был дважды, первый раз его провел Федоров. Главное — не прозевать кладовую восковых свечей, затем подняться по узкой лестнице и шмыгнуть в полутемный коридор.

Паншин благополучно миновал кладовую. Невесть откуда навстречу вышла женщина, вся в черном, платок повязан так, что только хрящеватый нос торчит. Прижался Паншин к стене, женщина сунула ему плоский сверток, шепнула:

— Уходи, в келье полиция, предупреди товарища.

Паншин сунул сверток под рубашку, потуже затянул пояс и ходко — назад, во дворе перевел дух и превратился в богомольца. Выбравшись из монастыря, он сделал знак Василию: не признавайся.

Не сговариваясь, они решили дожидаться конца обыска, может, и выкрутится Федоров, главную улику — обличительные номера «Мухи» — унесли, в типографии Федоров для отвода глаз печатал проповеди.

Долгое было ожидание, наконец на набережную будто вывалился тучный пристав, за ним шагах в пяти шел Федоров, понутив голову, дальше городской, двое штатских и дворник с коричневым чемоданом. Федоров не подымал головы: боялся неосторожным взглядом выдать товарищей.

К монастырским воротам подкатили два извозчика. На одну коляску сели пристав и Федоров, другую заняли штатские, поставив себе в ноги чемодан. Дворник и городской проводили коляски, постояли и ушли обратно в монастырь.

— Типографии лишились, — пожалел Василий. — Только начали — и провал. Федоров был убежден, что полиция в голову не придет искать типографию в монастырской келье.

— Судя по эскорту, Федорову не миновать крепости, — мрачно сказал Паншин.

Первым поездом Василий и Паншин уехали в Сестрорецк. В свертке оказалось три экземпляра «Мухи». Паншин отдал по экземпляру Николаю и Ноговицыну, один оставил себе на вечер.

Недолго просуществовал подпольный сатирический

журнал, но успел поднять на ноги заводскую полицию и администрацию.

Со страниц «Мухи» пошла в мастерские и песня про беспросветную долю оружейников:

Ложевая — горевая,
Да приборная такая,
Нашу силушку взяла,
Хлеба вволю не дала...

Утром Косачев доносил исправнику, что в трактирах и чайных Сестрорецка распевают крамольную песню, сочинил ее некий Муха, к розыску коего полицией принимаются надлежащие меры.

29

Соцкий забрался в красный угол под образа, важно раскрыл поеденную молью голубую плюшевую папку с бронзовыми застежками.

— Постановление велено довести до домовладельца,— приподнято заговорил Соцкий.

— Царское?

— Санкт-Петербургского губернатора.— Соцкий выпятил грудь.

— А я-то подумал, коль через полицию извещают, то высочайшее повеление, не иначе,— сказал Александр Николаевич.

Соцкий не понял скрытую иронию, разгладил помятые уголки постановления, напечатанного на желтой шероховатой бумаге, и, водя толстым пальцем по строкам, бубнил:

— «Домовладельцам предписывается оказать личным участием или нарядом людей содействие в прекращении уличных беспорядков и по поимке и задержанию всякого рода злоумышленников, подозрительных личностей».

— На лбу клейма-то нет, угадай, государев преступник аль порядочный,— перебил Александр Николаевич, отлично понимая, куда клонит Соцкий.

— Государевых преступников должен распознавать,— навязчиво требовал Соцкий,— это те, что оружие и винтовки в тайниках прячут, это те, что распространяют прокламации и прочие подстрекательские сочинения.

— Дошло.— Александр Николаевич постучал пальцем по голове Соцкого.

— До моей-то дошло,— огрызнулся Соцкий, не отрывая от бумаги пальца, и продолжал:— «Винные в неисполнении сего обязательного постановления подвергаются в административном порядке штрафу до трех тысяч рублей или заключению в тюрьму до трех месяцев».

— По тысяче в месяц,— Александр Николаевич радостно потирает руки,— прямой расчет отсидеть. Тысяча — это же капитал!

— Бестолочь!— прикрикнул Соцкий, а сам покосился на пузатый графин в буфете.

— И не пяль буркалы, держу настой кишки полоскать. Водка-водочка милая в доме не водится. Отца Дмитрия ругай, взял подписку на трезвость до покровы,— соврал Александр Николаевич. Да и выпивал он редко: в праздник и когда на заливе продрогнет.

Недовольный ушел от Емельяновых Соцкий, в сенях дверь хлопнул.

Поликсенья Ивановна погрозила вслед ухватом и накинулась на своего старика:

— Поднес бы супостату стакан зелья, хоть малую поблажку когда даст.

— Иди, мать, иди по хозяйству,— сказал Александр Николаевич. В голове одна дума: что-то затевает полиция. Может, прознал Соцкий, что Василий и Иван уехали на своей лошади в Финляндию к старшему брату?

Тревожную ночь провел Александр Николаевич. На рассвете явился домой Василий — без лошади.

— Где Ваня?— встревожился Александр Николаевич.

— Недалеко,— ответил Василий.— Стоплю баньку, к пару и брат подоспеет. Ужасно глупый случай приключился...

Пристав за Оллилой к финскому обозу, везущему салаку в Петербург, Василий и Иван благополучно миновали заставу, а у бойни подсел на соседние сани городской. При въезде в город Василий незаметно сошел с саней, а Ивану, чтобы не вызвать подозрений у городского, пришлось ехать с обозом на постоянный двор.

— А я было перепугался,— признался Александр Николаевич,— без вас ввалился к нам Соцкий.

30

Месяц, как самовольно Николай вернулся домой из Финляндии. Много дыр в хозяйстве: дров запasti, отоп-

лить рамы, мальчишкам починить валенки. Полиция его не трогала, думала — разрешили семью навестить, есть на то бумага, хотя никто ее не видел.

Вчера в сумерках мальчишка принес от Андрея записку.

«В понедельник,— писал тот,— приедет Григорий Иванович. Имеет намерение снять дачу на лето в Новых местах...»

В прошлом году Григорий Иванович не раз посылал своих связанных в сестрорецкую дружину за оружием. Много было вывезено винтовок в Москву в ноябре и декабре — в канун Московского вооруженного восстания.

В назначенный день часов в одиннадцать у калитки осадил горячую лошадь извозчик. Откинув медвежью полость, вылез из саней барин в шубе. Потеребив русую бородку и разминая затекшие ноги, он оценивающе окинул дом Емельяновых.

Жена мастера Куркова, женщина весьма любопытная, увидев, что к соседу подкатили на рысаке, накинула на плечи меховой жакет, выскочила на крыльцо. Барин из столицы приехал снимать дачу, а курковский дом наряднее емельяновского и стоит на горке, прогретой солнцем. Заговорить с баринном ей не удалось: из калитки показался Емельянов. Будний день, а он в праздничной тройке, в штиблетах. Похоже, ждал гостя.

Показав извозчику, где привязать лошадь, Николай провел гостя в дом. Григорий Иванович держался просто. Мальчишкам подарил конфет, шубу не снял, только отстегнул крючок.

Надежда Кондратьевна достала из комода скатерть.

— Тороплюсь, да и нельзя рассиживаться,— предупредил Григорий Иванович.— Извозчика угостите.

Извозчик выпил стопку водки, ушел кормить лошадь. Николай вернулся в комнату. Григорий Иванович стоял, склонившись над грифельной доской, рисовал. Заглянув через его плечо, Николай увидел на доске будку путевого обходчика, штабель бревен и дорогу, уходящую в лес.

— Поручение,— тихо говорил Григорий Иванович, постукивая грифелем,— весьма важное: предстоит переправить литературу и револьверы в Петербург. На явке намечается встреча.

— С кем?— живо заинтересовался Николай. Он слышал от Андрея, что в Финляндии, недалеко от границы, скрывается Ленин.

Григорий Иванович будто не услышал вопроса.

— В Куоккалу отправляются десять человек, оружейный посылает пять. Отбор строгий, задание куда сложнее, чем пройти на лодке мимо морской стражи.

Осторожность конспиратора не позволила гостю подробнее рассказать о предстоящей встрече в Финляндии, но ему нужно было, чтобы Емельянов осознал меру ответственности.

— В Куоккале явка Центрального Комитета партии. Берите с собой тех, на кого можно вполне положиться,— предупредил он.

— Возьму Емельяновых — Василия, Константина, Михаила, Ивана,— перечислял своих родных братьев Николай.— За них ручаюсь.

— Емельяновы — пятерка надежная, возражение чисто человеческое,— заговорил полушутливо и полустрого Григорий Иванович.— Что же, другим оружейникам в доверии отказываем?

— Поваляев, Ансимов на заводе с мальчишек, вместе из ссылки бежали.— Николай назвал еще кандидата:— Васильев полезен, знает в Финляндии дороги, тропинки.

— Васильев?— Григорий Иванович заинтересовался.— Это у него лошадь Плетень?

— Корзина,— поправил Николай и невольно рассмеялся,— одна на всем белом свете с такой кличкой.

— Берем Васильева, трех Емельяновых, с оружейниками и я пойду,— быстро составил пятерку Григорий Иванович.— Кто из братьев — хоть жребий бросайте.

— У Ивана и Василия есть знакомые на заставе и батарее, листовки и брошюры носят солдатам,— сказал Николай,— и я третий.

— Первый, ответственный за пятерку,— поправил Григорий Иванович и быстро нарисовал на грифельной доске дом в лесу.— Это дача «Ваза». Добираемся сюда поездом, билеты выправлять до Райволы. У путников свой маршрут. Запомните, в Куоккале сходите с поезда, идете к Териокам, ориентир: будка путевого обходчика, сворачиваете на лесную дорогу.

Григорий Иванович вытер кулаком грифельную доску.

— Собираемся в сумерки,— напомнил он.

Извозчик тронул вожжи, застоявшаяся лошадь взяла порывисто, сани круто отбросило к забору.

— Не балуй, вывалишь барина!— прикрикнул Николай.

Утром, до первого гудка, он зашел на Никольскую. Братья и отец завтракали. Молча таскали из чугуна картошку, макали в блюде с постным маслом и, густо посолив, ели с хлебом.

— Раненько заглянул. Как Наденька? Все здоровы?— выспрашивала Поликсенья Ивановна. Обмахнув полотенцем табуретку, она усадила Николая за стол.— Картошка рассыпчатая, из Каменки чухонка привезла мешок.

Николай достал из чугуна картофелину, обжигая пальцы, очистил, макнул в блюде.

— Вкусная, давно не ел такой,— признался он,— земля в Каменке добрая.

Поликсенья Ивановна подлила в блюде масла.

Вместе с братьями вышел Николай из дому, сказал про партийное поручение, предупредив, чтобы отпросились у мастера и пробирались в Куоккалу каждый по отдельности.

В Белоострове Николай купил билет до Райвола, а сошел в Куоккале. Недалеко от путевой будки его окликнул Григорий Иванович. В обветшалой меховой куртке, надетой поверх казенной фуфайки, и в финской шапке, надвинутой на лоб, он несколько не был похож на того важного барина, что приезжал в Разлив.

— Все в сборе, путиловцы поворот было спутали, Васильев их вывел,— сказал Григорий Иванович.

Шел он уверенно, чувствовалось, что все ему здесь знакомо. Скоро тропинка в глубоком снегу вывела их к высоким соснам, среди которых стояла вытянутая прямоугольником коричневая дача с неправдоподобно белыми рамами и наличниками.

Григорий Иванович проскочил дорожку, посыпанную песком, и по свежей лыжне направился к сараю. Николай шел за ним следом, проваливался и чертыхался. Спрятавшись за поленницей, их поджидали Васильев и два незнакомых человека.

— С Нарвской заставы товарищи,— сказал Григорий Иванович, а знакомить не стал, объяснил:— Мы пройдем на дачу, остальные несут охрану.

В дом Григорий Иванович вошел последним, а разделся раньше всех. Причесываясь, он посмеивался над замешкавшимися спутниками: те никак не ожидали, что их пригласят в дом, отправились на явку в рабочих блузах.

— Здравствуйте, товарищи!— В прихожую стремительно вышел Ленин.— Раздевайтесь, проходите,

Николай замешкался. Владимир Ильич взял у него шапку и, приоткрыв дверь на кухню, сказал:

— Встречай, Надя, гостей.

В прихожую вышла женщина средних лет, скромно одетая. Это была Надежда Константиновна, жена Ленина.

— Где же, Григорий, остальные?— спросила она.

— Боялись наследить,— ответил Григорий Иванович. Заметив, что Надежда Константиновна нахмурилась, поправился:— Службу несут.

— На холоде, с дороги, голодные,— забеспокоилась Надежда Константиновна.

— Пожалуй, наш Григорий прав,— сказал Владимир Ильич,— службу нужно нести. Приглашай, Надя, товарищей по очереди в дом, угощай чаем. А мы займемся.

В небольшой продолговатой комнате у стен стояли две узкие кровати, покрытые старенькими одеялами, небольшой стол, два стула с необычно высокими спинками. Много было книг — на столе, табуретке, подоконнике,— чувствовалось, что они положены в строгом порядке, как нужно для работы.

Из другой комнаты принесли табуретки. Рассадив гостей, Владимир Ильич сказал Николаю:

— Кажется, Емельянов с Сестрорецкого оружейного, в Териоках встречались.

— В Доме финских профсоюзов,— напомнил Николай.

В Териоках он был с Поваляевым и Анисимовым. Владимира Ильича ни на минуту не оставляли товарищи из Петербурга, провинции, но он беседовал тогда и с оружейниками.

Там, на межрайонной конференции Петербургской организации РСДРП, Николай прослушал доклады Владимира Ильича «О тактике партии по отношению к Государственной думе» и «О единстве партии».

Николая обрадовало, что Ленин его не забыл,— сколько людей было на конференции. Новой встречи с Владимиром Ильичем он давно ждал, о многом хотелось расспросить, особенно о причинах поражения московского вооруженного восстания, а нужные слова словно кто-то вспугнул,— вылетели из головы.

Ленин помог Николаю побороть смущение, спросил:

— В дозоре Емельянов Василий — ваш брат, тоже оружейник?

— И Иван, младший,— ответил Николай.— У нас в семье все оружейники.

— В дружине состоят и Константин и Михаил,— дополнил Григорий Иванович.

— Пятеро Емельяновых в дружине — это хорошо,— сказал Владимир Ильич.— Рабочая династия.

— Шестеро,— поправил Николай,— отца присчитайте, подпольная оружейная мастерская была в его доме.

— Побольше бы Емельяновых участвовало в революции,— сказал Владимир Ильич и спросил у Николая, как ему удалось бежать из новгородской ссылки.

— Вызвали возить оружие, динамит и литературу из Финляндии,— оживился Николай,— а новгородская полиция считает, что мы отбываем ссылку.

Владимир Ильич похвалил Николая за умелую организацию побега, а у Васильева спросил:

— Тоже с оружейного?

— У нас в Сестрорецке один завод, все начинаем там с мальчиков, а уходим дедами и прадедами,— ответил Васильев.

— С традициями завод, арсенал партии,— сказал Владимир Ильич.— Винтовки с Сестрорецкого были у восставших в Москве.

— Помогали вооружать дружины и в провинции,— напомнил Николай.— Потребуется Центральный Комитет — вновь откроем тайные сборочные мастерские.

— Винтовки нужны народной армии. Недостаточно их еще у рабочих, а у крестьян и того меньше,— говорил Владимир Ильич.— Но важно не только иметь оружие, но и уметь им пользоваться: метко стрелять из винтовки, револьвера, метко бросать бомбы. На подавление народного восстания царь пошлет жандармерию, полицию, воинские части.

Владимир Ильич интересовался настроениями рабочих на «Путиловце», Сестрорецком. Спросил, как восприняли поражение вооруженного восстания в Москве.

Николай сказал: жалеют, что не довелось им быть на баррикадах Пресни. В дружине не хотят верить, что революция идет на убыль.

— Винтовка и патроны у каждого дружинника наготове.

— Придет время, ждите,— сказал Владимир Ильич.

Рабочий с «Путиловца» искренне признался, что ему трудно ответить и сейчас на вопросы своих товарищей о причинах разгрома вооруженного восстания в Москве.

Ленин обстоятельно рассказал, почему восстание в Москве потерпело поражение.

Отвечая на вопросы, Владимир Ильич оживился, жесты стали резче. Он убедил своих слушателей, что революция в России продолжается. Непокойно в армии, на флоте, поступают телеграммы о вооруженных выступлениях рабочих и крестьян в провинции. Революция победит...

Надежда Константиновна принесла пачку брошюр и корзину, накрытую холстиной.

— Необходимо срочно переправить литературу и браунинги в Петербург, — сказал Владимир Ильич и предупредил: — Ни одна книжка, ни один револьвер не должны попасть в чужие руки.

Спустя недели две Андрей послал Николая в Выborg.

— Пальто наденьте новое. Шапку боярскую, тросточку и саквояж я привез, человек при деньгах.

Поезд из Гельсингфорса придет через три часа, есть время съездить на Сайменский канал, в парк «Монрепо». Николай же боялся пропустить поезд, позволил себе отлучиться лишь в крепость.

В первом купе третьего вагона поезда Гельсингфорс — Петербург ехали две молодые дамы. Едва переступив порог, Николай почувствовал горьковатый запах миндаля. Крепкие духи не могли его сбить.

«Динамит перевозят», — с уважением подумал Николай о своих смелых спутницах. Как только поезд миновал пригород, он открыл окно, проветрил купе.

В Териоках женщины сошли, Николай видел из окна вагона, что их встретил Григорий Иванович.

Это было последнее поручение Николаю в Финляндии.

Революция шла на убыль. Боевая техническая группа приступила к роспуску дружин в Петербурге, Москве, в провинции. Важно было избежать напрасных жертв и сохранить тайные склады оружия.

31

В ночь на 3 июня 1907 года правительство арестовало депутатов социал-демократов, а утром царь разогнал Вторую Государственную думу.

Оживились темные силы. За каждый десяток завербованных в черную сотню давали деньги, награждали значком Георгия Победоносца.

Неведомо откуда в буфетах и трактирах Сестрорецка опять появились приезжие босяки. Местные черносотенцы спаивали их, натравливали на рабочих. На кладбище одного мастерового избили до полусмерти.

Опасно стало Николаю появляться в Разливе. Но разве мог он безвыездно жить в Финляндии? Пришел он домой на денек и застрял.

Днем Николай перекладывал плиту в сарае, а вечером, отужинав, выдвигал из чулана сапожничий ящик. Сегодня он только поставил сапог Кондратия на железную ногу, как в дверь постучали. «Началось», — подумал Николай. Дверь пошла открывать Надежда Кондратьевна. Если полиция — надо будет дать возможность мужу уйти. Спросила, кто стучит. Ожидала в ответ знакомое — «телеграмма», а услышала голос Фирфарова.

— Капиталы большие, знать, завели, отпирайте.

— Заходи, давненько не виделась, — сказал Николай, приглашая Фирфарова в комнату.

Тот, опираясь на палку, отказался.

— Наследу, да я и ненадолго. Пришел предупредить. За лекарством ходил. Слышу — стрельба, городского у трактира «Ростов» застрелили. Поунял бы молодых, не тем они занимаются, — Фирфаров закашлял в большой пестрый платок.

Никакой власти теперь нет у Николая: штаб дружины распушен, сам на нелегальном положении, а люди всё к нему обращаются. Дядя Костя, слесарь из инструментальной, вчера увел его к себе посидеть у самовара, тоже просил приструнить анархистов.

— В пятом и шестом такого безрассудства дружина бы не допустила, — жаловался дядя Костя, — тогда оружейники против царя шли, за правое дело революции. Мне под шестьдесят, а тоже в десятке Ноговицына состоял. Нельзя допустить, чтобы анархисты, эта мразь, выдавали себя за революционеров.

Из-за чухотки Фирфаров не входил в дружину, но стоял за ее интересы. Вот и теперь он волнуется, предупреждает о серьезной опасности.

Как отвести беду? Действуй сейчас штаб дружины, все было бы проще. Одним мозги вправили бы, других приструнили, а третьим сказали бы, что им вреден воздух на реке Сестре.

С кем посоветоваться? Андрей не пришел на явку.

Ближе и доступнее был сейчас Григорий Иванович. Николай, долго не раздумывая, поехал в Финляндию.

В Райволе с подводой ему не повезло. Он пешком добрался до Ахи-Ярви. На усадьбе была только домоправительница Марья. По заведенному здесь порядку, она ни о чем не расспрашивала, сказала, что барин в лесу. Она отвела Николая на старую дачу, принесла кринку холодного молока, картофельных котлет и, чтобы не скучал,— жареных семечек.

Из леса Григорий Иванович привез телегу хворосту. Едва мимо окна старой дачи Микко, сын Марьи, провел лошадь на озеро, на крыльце послышались тяжелые шаги Григория Ивановича.

— Пожалуйте, отшельник, на свет божий,— сказал он, а узнав Емельянова, присел на крыльце, заговорил душевней.— С новостями?

— За советом приехал,— начал сразу с дела Николай.— Бесшабашного бунтарства много у наших ребят, пришлые и доморощенные анархисты террор проповедуют. Из-за этой нечисти пострадают рабочие. Полиции только бы повод.

— Да-а, и к оружейникам проникла анархистская зараза. Индивидуальный террор — акт безрассудства и отчаяния. За ним следуют аресты, разгром подпольных организаций социал-демократов.

— Положение у нас на казенном весьма осложнилось. Больше двухсот человек выбыло — одни в тобольской ссылке, другие на каторге, кого уволили с завода, кто сам ушел.— Николай говорил о том, что происходит в его родном городе.— Леваки палят в городских и воображают себя героями.

Еще недавно Григорий Иванович считал дружину на Сестре крепостью. Какие бесстрашные люди, настоящие солдаты партии! Выходит, крепость ослабела, потеряв лучших бойцов.

— Главное — отмежеваться,— советовал Григорий Иванович.— Не исподтишка, а открыто. Эсеры, меньшевики и анархисты — не революционеры, это отребье. Надо отбить от них заблудившихся.

С этим и вернулся Николай обратно в Сестрорецк.

На просьбу старшего брата пригласить молодежь на разговор Василий сначала невразумительно отнекивался, а потом признался:

— Не любят молодые вас, старых дружинников, чересчур осторожничают, притихли, попрятались по углам.

— Пригласи, потолкуем,— настаивал Николай,— а там уж кто кому дорожку закажет.

— Попробуем с Иваном,— нетвердо пообещал Василий.— Приходи послезавтра на Никольскую.

Время было выбрано удачно: отец уехал рыбачить, мать отправилась ко всеобщей, девчонкам Василий купил билеты — в Ермоловке показывали туманные картины.

В большую комнату набились молодые мастера-вые — не пошевелиться. Стульев и табуреток в доме не хватило, сидели на полу. Николай немного опоздал, на пешеходном мосту кого-то подкарауливал Соцкий, пришлось перебираться по железнодорожному.

Не попадись по дороге полицейский, Николай с каждым молодым оружейником познакомился бы, а теперь только сказал «здравствуйте».

— Слышал я,— Николай надумал сразу вызвать мастеровых на откровенность,— недовольны нами, старыми дружинниками. Это, конечно, горько, но ведь и мы недовольны вами. Дурную удаль показываете.

— Не хотим, чтобы виселицу с Лисьего Носа перенесли на дубковский берег,— крикнул чернявый парень. Он был одет франтовато: тройка небесного цвета, лакированные сапоги, фуражка с козырьком.

«Кто чернявенький — заводила или подпевала?» — гадал Николай и довольно громко спросил у Василия:

— Откуда соловей?

— С покрова на заводе, поступил дворником в замочную, с месяц поработал, поставили кладовщиком,— тихо ответил Василий.

— Сворачиваете шею революции, пятитесь,— продолжал чернявенький,— пролежни нажили.

— И еще называют себя революционерами! — подержал кто-то в углу у печки.

Неуютно сейчас было Николаю в отцовском доме. В этих стенах часто собирались оружейники. По-разному они относились к народникам, по-разному приняли Манифест Российской социал-демократической рабочей партии. Много здесь было крутых разговоров о завоевании пролетариатом политической власти, его союзниках в борьбе с самодержавием и буржуазией. Были и ошибающиеся, их убеждали. Спорили жарко, но уважительно, все были союзниками, все ненавидели самодержавие. Не пугала виселица в Лисьем Носу. Выносили с завода винтовки. Переправляли из Финляндии через границу динамит. И никому в голову не приходило баблаться. Об этом и сказал Николай.

Чернявенький явно дирижировал, подал кому-то

знак. Из-за печи выдвинулся худощавый парень. Николай узнал младшего Мокрова. Он с вызовом крикнул:

— Ждать, когда старые дружинники залечат пролежни, мы не будем, соберемся и разнесем участок.

— Погром и дурак устроит,— насмешливо сказал Николай, а закончил строго:— Запомните, за арест анархиста, стрелявшего в городского на вокзале, Косачев получил наградных сто рублей. Исправник Колобнев тоже использовал этот выстрел, хлопочет, чтобы Сестрорецк посчитали пятьдесят восьмым городом, где политическим запрещено проживать. Так-то вы помогаете революции! Уяснили, что к чему? Теперь валяйте, громите полицейский участок.

Щупленький парнишка с поповской гривой, сидевший рядом с Николаем, крикнул:

— И разгромим!

Это был новый возчик в приемной комиссии.

— Погромов, убийств под марку дружинников рабочие не потерпят, выгонят с завода,— погрозил Николай.

Чернявенький вскочил с табуретки, презрительно скривил губы.

— Убедились?— спросил он и ухмыльнулся.— Человек, в доме которого штаб дружины находился, подает нам команду — руки по швам, забивайтесь в углы и помалкивайте. Нам с отступниками не по дороге.

За чернявеньким ушло человек двенадцать, осталось девять, из них свои — Иван, Василий и Паншин, друживший с младшими Емельяновыми.

— Присаживайтесь ближе, есть о чем потолковать,— сказал Николай и открыл форточку. Под потолком сизый табачный дым водил хоровод.

32

Ночью Никольскую площадь и кладбище оцепили. Городовые и сыщики ворвались в дом Емельяновых.

— Ищите, бог даст — брильянт найдете, разбогатеете,— посмеивался Александр Николаевич. На ордер он даже не взглянул, но предупредил Соцкого:— Без понятия обыск производишь, а закон...

— Требуй генерала,— издевался Соцкий.

— Мне генерал аль дворник, но чтобы непременно беспристрастный свидетель был,— настаивал Александр Николаевич,— закон...

Соцкий послал городского на улицу за понятыми. Тот привел двух запоздавших прохожих.

— Вот понятые,— буркнул Соцкий и дал знак продолжать обыск.

Привыкла к обыскам в доме Поликсенья Ивановна, обычно отругивалась, а тут навалилось на нее тяжелое предчувствие — больно дерзко ведет себя Соцкий.

Все перерыли в доме городовые: на чердаке, в сарае. В предбаннике они пол разобрали. Не нашли ни оружия, ни литературы запретной. И все же Соцкий велел одеваться Ивану, Василию и Александру Николаевичу.

— Манирлих с цирлихом мне не устраивайте,— прикрикнул Соцкий. Он злился: ничего запретного не обнаружили, хотя по доносу за Емельяновыми числились и прокламации Петербургского комитета, и два револьвера системы «наган», и пять трехлинейных винтовок.

Арестованных увели. Замыкал шествие Соцкий.

Через три недели Александра Николаевича вызвали в канцелярию тюрьмы, объявили, что свободен.

— А сыновья?— спросил он.— При обыске ничего не изъяли запретного.

В ответ писарь пробурчал:

— С воли наведешь справки.

Едва открыв калитку, Александр Николаевич почувствовал — дома неладно. Бойка радостно визжит, рвется с цепи, но никто не вышел на крыльцо.

Дверь в большую комнату была открыта, Поликсенья Ивановна сидела на кровати в подушках, без крошки в лице.

— Один явился — парни разве не с тобой сидели?— первое, что спросила она, уронив исхудалые руки на подушку.

— Скоро и ребят выпустят,— успокаивал жену Александр Николаевич.— Отмоюсь в бане и начну хлопотать. Плохонький, а все-таки есть закон в России.

— Лихо, ой и лихо у нас! Позавчера возле постоялого двора еще городского прикончили,— шептала Поликсенья Ивановна сухими губами.

— Самосудничают анархисты проклятые.— Александр Николаевич сел на постель, погладил ее руку.— Убийство — дело уголовное, наши ребята взяты по статье политической.

— Параскева слышала, что наш пристав говорил трактирщику Ферапонтычу — позволит губернатор, так он наведет на реке Сестре порядок, каждого третьего мастерового упрячет в тюрьму.

Отмыв тюремную грязь, Александр Николаевич на-

пился крепкого чаю и, как ни просила Поликсенья Ивановна повременить, поехал в уездное полицейское управление. День был присутственный, но исправник его не принял.

— Велено восвосяи отпрапляться,— сказал писарь.

— Напраслину на моих парней возвели. Младший еще и вида на жительство не выправил,— жаловался Александр Николаевич.

Очки у писаря чудом держались на кончике бульдожьего носа.

— Виновных не сажают,— сказал он серьезно и поверх стекол посмотрел на Емельянова.

Александр Николаевич оторопел, а писарь деловито сменил перо «уточку» на «рондо», продолжая философствовать:

— В тюрьмах сидят одни праведники. И твои сыновья тоже ни за что угодили за решетку. Недолго ждать осталось, скоро суд определит: в крепость или по Владимирке им шагать.

— Наказывают, а за что?— возмутился Александр Николаевич.— С чем пришли сыщики и городовые, с тем и убрались. На то и бумага в присутствии понятых составлена. Горшок сметаны опоганили, девкам моим на день уборки оставили.

Писарь, макнув перо, красивым почерком вывел на чистом листе: «Милостивый государь».

— К исправнику надобно попасть,— уже мягче заговорил Александр Николаевич.— Крест есть? Подсоби.

Писарь несколькими штрихами под строкой «Милостивый государь» нарисовал вход в ресторан и выпуклыми буквами вывел название: «Медведь». Это была божеская цена за протекцию.

В следующее присутствие Александра Николаевича первым пропустили к исправнику. Колобнев знал в лицо Емельянова, но руки не подал и сесть не предложил, сказал холодно:

— Предупреждал: живите, как все православные,— нет, к бунтовщикам потянуло.

Александр Николаевич промолчал, боялся повредить сыновьям. Писарь тогда у «Медведя» выболтал: самое малое, что получают Василий и Иван — высылку в северную губернию, не подфартит — отправят на каторжные работы, статьи суровые: привлекаются за подстрекательные действия против государя императора.

— Сыновья мои, ваше высокоблагородие, сызмальства приучены к ремеслу,— защищал детей своих с досто-

инством Александр Николаевич.— Ваши люди все перерыли, все перешупали, дом и усадебные постройки чуть по бревнышку не раскатали — ничего противозаконного не нашли. Да и откуда, мастерские мы.

Колобнев был недоволен результатами обыска, подвел тайный агент. Прохвост чуть не на Евангелии клялся, что в доме Емельяновых — подпольная мастерская. Если почему-либо нельзя выехать в лес на пристрелку, то бой винтовки проверяют в колодце. Может, и правда, но с личным не поймали.

— Плохо искали, нам известно.— Колобнев долго перекадывал бумаги, пока нашел нужную, а по тому, как он ее торопливо накрыл рукой, Александр Николаевич догадался: исправник берет на пушку.

— Сами, ваше высокоблагородие, приходите с обыском, Соцкого прихватите, он в моем доме не заблудится.

— Коль потребуется, разрешения испрашивать не стану.— Колобнев провел рукой по напояженным волосам.— Прощение накатал... Губернатор про Емельяновых и слышать не хочет, уши затыкает,— продолжал он, но уже покровительственно.— Дешево отделался твой старший.

Помолчав, Колобнев спросил:

— Желаете помочь сыновьям? Подайте прошение. Государь милостив.

Колобнев взял со стула запечатанный конверт.

— Дома своей рукой переписешь, ничего, что коряво. Где пробелы — вставишь фамилии.— Колобнев замылся и заговорил участливо:— Завтра неприсутственный день, приходи, приму.

Писарь у дверей встретил Александра Николаевича, увел на лестницу.

— Судьба парней в твоих руках. От ведения дел сестрорецких мастерских полиция отставлена.— Писарь понизил голос до шепота.— Исправник берется похлопотать, радуйся. Тошно ему сейчас, другие в его хозяйстве копошатся. Как губернатору преподнесут? Обстановка в столице — не дай боже: Шпалерка забита, Дерябинские казармы превращены во временную тюрьму, там поместили и восемнадцать оружейников.

— И на том спасибо,— Александр Николаевич сказал искренне: наконец-то узнал, где томятся сыновья.

Дома была только жена, она крепко спала. На плите в кастрюле лениво булькала мыльная вода. Лиза, наверно, затевает постирушку, выскочила за чем-нибудь в

лавку. Александр Николаевич был рад, что никто не помешает ему переписать прошение. Постелив чистую скатерть, вычистив тряпкой перо, он достал из конверта прошение.

«Ваше Величество, Великий и милостивый самодержец.

Припадает к ногам Вашим убитый горем сестрорецкий обыватель Емельянов.

Веря в Ваше великодушие, осмеливаюсь просить вернуть в родительский дом моих сыновей Василия и Ивана, которых подозревают в том, что в подпольных мастерских производили сборку винтовок из частей, вынесенных из завода, что вели разлагающую пропаганду среди стражников, объездчиков и на батарее, расквартированной недалеко от Сестрорецка.

Коли потребуется, без принуждения, по доброй воле принесу клятву на Евангелии, что мои чада непричастны к тайной преступной организации социал-демократов. Ни в чем предосудительном не были замечены, брали дни на говение, каждое воскресенье выстаивали обедню. Не враги они августейшей фамилии и отечества.

Враги на оружейном есть, они сами прячутся, подбивают неразумных мастеровых. Мне известно, что в образцовой этим делом занимается некий социал-демократ, в замочной, штыковой, приборной, приемной комиссии»

— Гаденькую цену запросил господин исправник,— вслух сказал Александр Николаевич, дочитав до конца бумагу.— На что, ироды, толкают. За бесчестье купить сыновьям свободу. Лучше уж крепость.

Перегретый щелок выплескивался на плиту. Александр Николаевич сдвинул кастрюлю, из конфорки выбилось пламя. Он швырнул в огонь полицейскую шпательку.

Братьям Емельяновым грозили каторжные работы или заключение в крепость. Андрей нашел умного, недорогого присяжного поверенного. Ивана и Василия выслали на пять лет в город Яринск Вологодской губернии.

33

Минули годы ссылки. Наконец-то Николай дома. Он приехал дневным поездом, не прячась, сошел в Разливе.

Отмылся, отоспался, надел воскресный костюм, сходил на завод, но вернулся мрачный. Надежда Кон-

дятьевна ни о чем не расспрашивала, догадалась — плохо приняли. И к друзьям Николай не пошел — какой уж гость без улыбки.

Вторую неделю не выходит из дома Николай. На душе камень. Таким застал его Ноговицын.

— Засел в берлоге и носа не кажешь на казенный.

— Овраг не перешагнуть, в тот список занесли, где дед и отец.

И с чистыми документами Николая с порога конторы отправили восвояси. Об этом, к сожалению, не знал Ноговицын.

— Напрасно с нами совет не держал, — выговаривал нестрого он. — Спектакль мог подпортить. Дорожку тебе мостим в инструментальную мастерскую. Протекцию хитрую сообща тебе составляем.

Оказывается, еще месяц назад Андрей предупредил, что у старшего Емельянова кончается срок ссылки, на завод назад его не возьмут, а нужно, чтобы господа офицеры сами попросили.

Из неторопливого рассказа Ноговицына Николай узнал все о «протекции». Из главного артиллерийского управления должен поступить заказ: изготовить кружала для Путиловского завода. Ставить на эту работу без опаски можно двух мастеровых. Один из них, дядя Костя, на расчет подал — с глазами плохо, а Нефедову уже намекали — на кружалах не братья за старшего.

— Как волки, генерала обкладываете. Только вряд ли он за мной пошлет, — засомневался Николай. — Фамилии боятся.

— Пошлет, — убеждал Ноговицын. — Кружала Osborne для проверки артиллерийских снарядов. Генералу напомнили, что ты морской прибор без чертежа по рисунку сделал.

— Когда было... — Николаю и самому приятно вспомнить про ту свою удачу. — Изобретатель человек широкий, при офицерах отсчитал триста рублей и сказал, что работа дороже стоит, но большими средствами он не располагает.

— Не у нас этот изобретатель служит, и в Питере его нет, а то бы лучшей протекции и не надо, — сказал с сожалением Ноговицын.

Ноговицыну не составило труда склонить Нефедова поступиться честью классного мастерового. К тому же были и счета с начальником мастерской. Год назад для

разметки капризных отверстий в пулеметной машинке Нефедов придумал кондуктор. За одиннадцать часов стал обрабатывать не два, а четыре узла. Начальник выругал его за излишнюю самостоятельность, оштрафовал на три рубля. Позже офицеры разобрались, что к чему, признали кондуктор, но стали называть его захаровским, будто мастер идею подал.

Узнав, что он может помочь Николаю вернуться на завод, Нефедов сказал:

— Озолотят — откажусь, канатом привяжут — расчет возьму. Не стану поперек дороги человеку. Знаю, за справедливость он пострадал.

Начальник мастерской струхнул, вызвал дядю Костю. Тот мужик тертый, сказал: «Вам снаряженные кружала нужны или справка от пристава о благонадежности Емельянова? Нанимайте, а то он в столице устроится».

Спустя несколько дней Ноговицын прислал Николаю записку: «Приходи наниматься, не откажут. На ссору в конторе не иди. Мало в организации осталось крепких людей».

Правитель канцелярии, выдавая Николаю пропуск, не удержался, пригрозил:

— Не образумишься, — пеняй на себя, будешь и шестигривенной поденке рад.

Промолчал Николай — не напрасно, выходит, предупредил Ноговицын. Обстановка на казенном заводе такова, что ему надо вернуться на прежнее место. Это мнение партийной организации. Надеются на него товарищи.

Замешательство произошло в этот день в участке. Без справки о благонадежности приняли на казенный самого главного смутьяна из семейки Емельяновых. Косачев примчался в контору. Только-только поразогнали большевиков на заводе...

— Не ходи к генералу, — уговаривал полицейского правитель канцелярии, — нарвешься на неприятности, выгонит. Он без тебя знает, что Емельянов бунтарь левейший, а кого ему поставить на кружала?

Попетушился в канцелярии Косачев, а зайти к генералу не посмел, оставил крутой разговор до следующего раза. И этот случай скоро представился. Бывшего ссыльного Емельянова выбрали старостой старост. Косачева было не удержать.

Дмитриеву-Байцурову недолго осталось до пенсии. Он хотел дослужить без забастовки и был страшно не-

доволен, что полиция вмешивается в его дела. Не дослушав до конца помощника пристава, он раздраженно сказал:

— Емельянов — образной староста старост. Он ведет сбором лампадных денег. Это богоугодное дело.

Косачев осмелел:

— По статуту к Емельянову могут обращаться рабочие с жалобами.

— Статут старост, сударь, не только мной утвержден.

От генерала Косачев ушел злой. В этот день он завел новую папку на неблагонадежного Николая Емельянова, вновь принятого на оружейный завод.

34

Дверь не заперта, Соцкий вошел без стука. В большой комнате было сумрачно — завешено окно, пахло лекарствами. Александр Николаевич лежал на кровати под двумя ватными одеялами.

— Никак всерьез помирать собрался? — спросил незлобно Соцкий.

— Пора, — заговорил ослабевшим голосом Александр Николаевич. — И тебе, Сенька, пора на покой, погрешил много на земле, пообижал людей.

Соцкого передернуло как на морозе. Он панически боялся смерти, избегал похорон, хоть и любил даровые угощения, а на поминки смолоду не ходил.

— Задержался ты на земле. Одногодок ведь холодному сапожнику Бугаю, а тот лет семь назад преставился.

— Покаркай, не посмотрю на хворь, из постели выну, — погрозил Соцкий, а собирался обрадовать Емельяновых. В участок доставили бумагу, что из ссылки возвращаются Иван и Василий Емельяновы. Над обоими надлежит установить негласный надзор.

Первую часть бумаги — про возвращение сыновей и решил запродать Соцкий. За принесенную радость поднесут стаканчик, спасибо скажут.

Напрасно пыжился Соцкий. Из канцелярии уездного полицейского управления на днях Александру Николаевичу ответили: «Ссылным Ивану и Василию Емельяновым разрешено вернуться на постоянное жительство...»

— Скоро, Сенька, со своими крестниками увидишься. Дело прошлое, ты упек моих ребят в ссылку. Неде-

ли не пройдет, прикатят, деньги на дорогу выслал,— говорил неторопливо Александр Николаевич.

— Бумагу получил?— спросил Соцкий.

— Под сургучом, в собственные руки.

Соцкий ушел разобитый. Водки не поднесли и настроение испортили.

Вернулись из ссылки Василий и Иван. Это было чудодейственное лекарство для старого Емельянова. С радостью пришли в дом заботы и печали. Василию отказали на оружейном. «Черт с вами, не пропаду. Лодка есть, прокормлюсь»,— сказал он. Иван обивал пороги конторы, наконец велели выходить.

С первым гудком — в половине седьмого — выбрался он из дома, шел веселый, прижимая к ноге ящик с инструментами.

Казалось, все черное позади — тюрьма, допросы. Жандармский полковник навязчиво допытывался, как попали сестрорецкие винтовки в московские дружины...

— Не велено,— услышал Иван грубый окрик.

— В механическую поступил,— растерянно бормотал Иван,— подполковник велел выходить.

— Полковник чином выше,— вахтер вытолкнул Ивана из проходной.— Велено не пускать на порог.

Отец несколько не удивился, когда с третьим гудком Иван ввалился в дом.

— Быстро отстоял смену, утомился, сосни,— встретил сына горькой иронией Александр Николаевич, хлопнув по плечу, заговорил серьезно.— Отдышишься, приходи в сарай, лодка ходкая и знает рыбные места в заливе.

Без охоты ходил Иван с отцом и братом в Финский залив ловить салаку, ставить мережи на реке Сестре. Случалось, привозили по бельевой корзине судаков.

В субботу была получка на заводе. Поликсенья Ивановна собрала долги за рыбу, Александр Николаевич съездил в Петербург на Александровский рынок, купил костюмы сыновьям — пооборвались в ссылке. Василий вырядился — и ходу из дома, Иван примерил обнову — и в шкаф. Не ускользало от отца его настроение. Последние дни Иван особенно подавлен, молчаливый, в глазах пустота.

— На заводе душа?— завел разговор Александр Николаевич.

— Тянет, тоскливо рыбачить,— признался Иван,— в своем Сестрорецке — и оторвыш, в пересыльной и то было с кем душу отвести.

«Ишь, в тюрьме ему поваднее», — подумал Александр Николаевич, но не прикрикнул на сына. Спустил два дня, сдал улов жене, велел собрать белье. Помылся, попарился, затем заглянул в парикмахерскую, постригся, подправил бородку. Дома надел тройку, хромовые сапоги и отправился в «Ростов».

Вернулся он поздно, усталый и навеселе. Иван спал. Разбудил, сел на кровать.

— В штыковую берут. Депутация ходила к Храброву. Велел утром тебе заступать, жалованье положат не ахти — семь гривен в день, в списке неблагонадежных значисься.

Снова с первым гудком Иван выбрался из дома. Шагал не так ходко и радостно: могут турнуть. В проходной дежурил тот же сторож, но он не задержал. У Храброва, начальника мастерской, твердый характер.

Поставили Ивана к прессу давить надульники, грязнее не было работы. После смены дома в керосине и мыльной щелочи едва отмыл руки от въевшейся окалины. Александр Николаевич нагляделся, как сын мается над деревянной шайкой, пожалел:

— Эх, Иван, Иван, на что променял лодку и чистый воздух? Взяли бы мастеровым, полслова не сказал бы против, а то к пришлому поденщику оружейника приравняли. Возвращайся, за веслами так не устанешь и сам себе хозяин.

— От пресса ближе до токарного станка, чем от межи, — возразил Иван.

В этот вечер нежданно пришел Николай. Поликсенья Ивановна засуетилась.

— Забежал на минутку, Ивана повидать, — отговаривался Николай, — не хозяйничай.

Николай и Иван вышли на крыльцо.

— Поручение принес? — спросил Иван. — Андрей говорил, что через тебя будет связь держать.

— Остынуть Василию и тебе от высылки велено, чуть что — и на каторгу упрячут, — Храброва ждут крутые неприятности, пошел поперек. В контору скоро тебя вызовут, подписку встребуют, иначе — расчет. Так вот — дай кабалу: порвал под корень с политикой.

— Совесть загнать под каблук, — оскорбился Иван.

— Болван, сейчас не пятый год, — обрезал Николай. — Винтовки для чего держат в арсенале? У партии большевиков и оружие, и люди до определенного часа должны быть в потайном арсенале. Вот и соображай: подписку кому даешь? Жандармам — разве это люди?

Враги! Не кричим же мы на каждом перекрестке «долой монархию!» Ждем обыска, перепрытываем винтовки, револьверы, брошюры. И учти — это не мое решение.

— Велят хорониться, послушаюсь, — неохотно согласился Иван.

Весь следующий день Иван напрасно ждал вызова в контору. Прошла неделя. Он уже подумывал — забыли, но в понедельник, сразу после гудка, пришел посылный.

За столом правителя канцелярии сидел Соцкий. Щуря глаза, покручивая ус, он выложил из папки лист, исписанный высоким, разборчивым почерком.

— Вымой руки с мылом и перепиши сие собственноручно.

Когда Иван вернулся из умывальной, Соцкий уступил ему стул, предупредил:

— Семь потов сгоню и еще столько, а бумагу получу без клякс и помарок.

Взглянув на подsunутую бумагу, Иван украдкой усмехнулся:

«Подписка.

Я, Иван Александрович Емельянов, без принуждения, по собственной воле, даю подписку в том, что обязуюсь не состоять в тайных революционных обществах, не читать и не распространять преступные прокламации, не выступать против государя императора и членов царской фамилии...»

Медлительность, с которой выбирал Иван в бокальчике вставочку, обозлила Соцкого.

— Пиши, уговаривать с земными поклонами не собираемся, — торопил он, — подписки не дашь — отправляйся прямо из конторы за ворота, на маткины пироги с молитвой.

Правитель канцелярии раскатисто захохотал. Соцкий же, наоборот, подтянулся и заговорил строго официально:

— Мотай, Иван Емельянов, на ус. Жандармский полковник все допытывается, каким путем винтовки из Сестрорецка попали к бунтовщикам в Москву. Не замешаны ли в этом преступном деянии Николай и Василий Емельяновы? Свидетелься с полковником желаешь?

«Винтовки для чего лежат в арсенале?» — послышался Ивану тихий голос старшего брата.

Иван вздохнул, макнул перо и на чистом листе вывел:

«Подписка.

Я, Иван Александрович Емельянов, без принуждения, по собственной воле, даю подписку, что обязуюсь быть сознательным рабочим и никогда не давать спуска врагам отечества...»

Взглянув на подписку, правитель канцелярии поморщика: «Ох, уж эти Емельяновы». Зная степень грамотности полицейского, прочитал вслух.

— Не по форме,— сказал Соцкий.

— Моя подписка, все сказано,— возразил Иван,— спуска не давать...

— Насчет врагов сказано верно,— заговорил Соцкий и спохватился:— А кто, по-твоему, враги отечества?

— Известно, кто враги отечества,— уклончиво ответил Иван.— Малого дитятю спроси.

Вечером на горушке за проходной Ивана встретил Андрей.

— Отобрали подписку?

— По-своему написал,— ответил Иван и усмехнулся.— Обещал не давать потачки врагам отечества.

— Ловко провел,— похвалил Андрей.— У золотопогонников и прислужников свои враги, а у рабочих — свои.

И полгода не прошло — взяли Ивана у проходной. Вскоре арестовали и Василия. Следователь быстро составил обвинение: подстрекали рабочих и солдат к неповиновению законным властям, государю императору, занимались экспроприацией оружия... Ивана заключили в Шлиссельбургскую крепость. Василия — на каторжные работы в Нижнюю Туру. Глухой край, далеко от железной дороги.

35

Неожиданно в проходной вахтеров заменили дворники. С девятьсот шестого этого не было. Плохой признак. «Опять собираются ввести обыски», — только подумал Николай, как сзади послышался шум, оглянулся: дворник, притиснув Ноговицына к стене, запустил руку в узелок с едой.

На дворе Ноговицын догнал Николая, сказал:

— Дожили, норовил в котелок со щами лапу запустить.

— Бомба почудилась? — съязвил Николай.

— Есть и пострашнее бомбы, — ответил Ногови-

дын.— Из типографии пропало несколько номеров «Звезды».

По дороге на завод Николай видел, как у фурштата стражников приезжий газетчик открыто продавал «Звезду». Об этом Николай и сказал Ноговицыну.

— Не ту «Звезду»,— поправил Ноговицын,— ищут двадцать седьмой и двадцать восьмой номера газеты,— полиция конфисковала. Ищут — с богом. В тех газетах сказано про Сибирь, как на Ленских приисках солдаты стреляли в рабочих.

Страшно было поверить в то, о чем дня два поговаривали в Сестрорецке,— на далекой Лене расстреляли золотоискателей.

— В этих газетах все описано честно.— Ноговицын хлопнул себя по голенищу:— Заходи, дам почитать. Андрей прислал.

Не пришлось Николаю идти в механическую, Ноговицын сам принес оба номера «Звезды».

— Понабежало в мастерскую начальство, читайте.

Заперся Николай в чуланчике, где дворники хранили тряпки, метлы, снял с незастекленного окошечка фанерку. Света было достаточно, прочитал телеграммы. На краю русской земли — на берегах Лены, ее притоков Витима и Олекмы, существует особое государство, царские законы и те меркнут в сравнении с местными порядками, читал Николай. За вывеской «Лензолото» скрывается английская фирма «Лена — Голдфилдс», русский банкир Вышнеградский, небезызвестные Путилов, Ратьков-Рожнов. Крупные пакеты акций у членов императорской фамилии. За два года здесь удваивался каждый вложенный рубль...

— И тут Романовы хапают,— возмущился Николай, смял газету и сразу опомнился: сам не дочитал и товарищам нужно передать.

«В государстве золота 13—14-часовой рабочий день,— читал про себя Николай.— Здесь все — местное управление, полиция, солдаты и то в подчинении директории. На приисках в обращении лензолотовские деньги — боны».

Номера «Звезды» передавали из мастерской в мастерскую. Газеты читали в кладовках, за поленищами.

В мастерских вхолостую крутилась трансмиссия. Обстановка накалялась, все ждали — что-то должно произойти.

Неурочный гудок — кончай работу, выходи на улицу — снял нервное напряжение и нерешительность. Со-

циал-демократы оповестили, что митинг протеста состоится после шествия на Гагарке. Теперь все знали, что делать, как помочь пострадавшим золотоискателям.

Сбили замок на воротах. На ходу строились в колонну, на рейке подняли красную косынку. Слышались гневные призывы: «Судить палачей!», «Повесить на фонарном столбе ротмистра Трещенкова!»

В рядах образцовой затянули песню 1905 года:

Нагайка ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной!

Революционная песня катилась по Выборгской — центральной улице.

...Царит нагайка всюду,
Сильна в стране родной,
Но ей царя-иуду
Спасти не суждено.

Попрятались городовые, закрылись лавки. В богатых домах опустили шторы на окнах.

Казалось, что мирно закончится демонстрация. Вдруг мальчишка, сидевший на дереве, закричал:

— Стражники! Спасайтесь! Стражники!

На конях с шашками наголо неслись по Выборгской стражники.

Сопrotивление бесполезно, напрасно прольется кровь. Отход прикрывали молодые рабочие — прячась за заборами, они осыпали камнями стражников.

Через кладбище Николай пробрался на усадьбу родителей. Закрыв за сыном дверь на засов, Александр Николаевич сказал, чтобы он вымылся и переоделся.

— Пошевеливайся: нагрянут искать зачинщиков — полиция хорошо знает дом Емельяновых на Никольской.

— Пронесет, твой дом в стороне, — возразил Николай, но сменил перепачканные брюки и куртку. Он собрался на митинг. Отец не отпускал.

— Пережди, нарвешься на стражников: раз на рысях с шашками наголо, — получили, значит, приказ рубить головы.

Только Николай привел себя в порядок, как на крыльце послышались шаги.

— Вот и не пронесло, — сказал Александр Николаевич.

А к ним, спасаясь от нагайки стражника, заскочил Ноговицын.

— Не выгоните, у вас пережду,— переводя дух, сказал он.

— Выгоню,— серьезно сказал Александр Николаевич и провел Ноговицына в маленькую комнатку к Николаю.

— Судьба свела,— обрадовался Ноговицын,— собирался в Новые места к тебе зайти, потолковать. Печальное событие... Столько людей палачи уложили. Не можем же мы собраться и ни с чем разойтись. Что-то надо серьезное сказать, потребовать кончить с произволом и беззаконием.

— От царя или Государственной думы?— спросил Николай и пересел на кровать, уступив табуретку Ноговицыну.

— Лучше к думе обратиться,— сказал Ноговицын,— там все-таки депутаты от рабочей курии.

Николай предложил потребовать от правительства срочно провести следствие, виновных расстрелять на приисках арестовать и судить, обеспечить пенсиями семьи погибших и увечных.

— И все?— спросил Ноговицын.

— По-моему, хватит,— смутился Николай.

— А главного виновника обходишь?— спросил Ноговицын.— Царю что — заздравную?

— Лучше... «Со святыми упокой»,— зло пропел Николай.

Уговаривал Александр Николаевич сына и Ноговицына переждать, не спешить на Гагарку,— не послушались. Ноговицын через кладбище выбрался на станцию Курорт и поездом доехал до Разлива. Николай надумал идти прямо: меньше вызовет подозрений — навещал родителей.

Выборгская вымерла, у входа в ресторан прохаживался Соцкий. Напротив церкви Петра и Павла спешили стражники. Полицейские посты были выставлены у мостов — пешеходного, железнодорожного и плотины. Подходы к Гагарке были перекрыты.

Возле пешеходного моста городской окликнул Николая:

— Эй ты, нашел время разгуливать.

— Кто разгуливает, а кто со смены,— созрел Николай: нужно спешить на Гагарку.

Городской узнал Емельянова, пропустил. Мастеровой в Новых местах живет, идет домой.

С весны Соцкий стороной обходил дом Емельяновых на Никольской, побаивался старого оружейника...

В то злополучное воскресенье он, как и обычно, был на службе в церкви, стоял коленопреклоненно возле иконы великомученицы Варвары. Вдруг слышит сзади приглушенные голоса:

— Много панихид заказано?

— Первым у попа Соцкого поминовение: наша панихида — третья.

Соцкому стало дурно: несут вздор. И вдруг слышит — отец Сергей, новый поп, как грянет на всю церковь за упокоевание души раба грешного Семена и о даровании ему милости божьей и царства небесного.

«...И царства небесного...», — возвышенно, как на литургии в честь августейшей фамилии, пел хор.

Соцкий похолодел: поминовение по нем служили. То-то ухмылялась на паперти Лизка емельяновская, а ее батька поставил рублевую свечу. Не пожалел, значит, целкового.

Тяжело передвигая одеревеневшие ноги, Соцкий выbralся на паперть. Солнце заливало площадь, тополя сбросили на землю свои кружева, но его теперь ничего не радовало. Он высыпал из кошелька на ладонь припрятанные медные монеты, роздал нищим. Взялся было за монетницу с серебром, откуда ни возмись — Петруха Слободской.

— Наследство неслыханное отхватил, в благотворительную лотерею выиграл? — басил он. — Серебром мы, Слободские, и то нищую шатию не одеваем. Отец по грошу давал в субботу.

— Отпели, живого отпели, — бормотал Соцкий.

— Занятно отчебучили, Соцкого живого в рай отправили. — Слободскому в душе понравилась проделка с панихидой, известный озорник Кучумов и то до такого не додумался.

Не до шуток было Соцкому, панихида его напугала, он живо представлял, что стоит у собственного гроба, в нос ударяет дым ладана.

Прямо с паперти Слободской увел к себе загоревавшего полицейского. С черного хода, отомкнув секретные затворы, впустил его в лавку.

— Плюнь и разотри, — уговаривал он, выставя на прилавке водку и соленые огурцы. — Живым зарыли, то была бы печаль.

Соцкий, тяжело вздыхая, молчал.

— Не ты в прогаде,— продолжал Слободской, силком усаживая Соцкого на табуретку.— В церкви — не в лавке, заборную книжку не откроют, за требы берут наличными.

— Кто подстроил, знаю: Емельянов за своих каторжников платит,— сорвался голос у Соцкого. Перекрестив стакан, попросил:— Корочку заваливающую.

За отцом Сергием Слободской послал дворника. Поп, не в пример настоятелю, был покладистый, веселый. Он без ханжества выпил, выслушал про Сенькино поминовение, до слез хохотал, несколько успокоившись, всхлипывая, говорил:

— Жив-живехонек, коленопреклоненно стоит, а мы его...

Поп взмахнул воображаемым кадиллом, запел густым баритоном:

— «И царства небесного...».

На Соцкого не подействовала водка, только глаза стали отрешенными, будто нарисованные блеклой краской.

— И впрямь в собственную могилу смотришь,— благодушно говорил Слободской.— Изволь сию секунду выбросить из башки заумь. Эко диво, отпели. Пожелай, закажу с хором молебн. Помнишь, как молились за здоровье царевича Алексея.

Обещанного молебна Слободской не заказал, покупился, в следующее воскресенье отец Сергей, таратора по списку, упомянул за здравие и раба божьего Семена.

Соцкий оскорбился, отправился к лавочнику посчитаться. Кто его спасал от штрафа, когда тот сбывал порченую краску?

С месяц прошло — Соцкий осунулся, лицо землистое, глубоко западали остекленевшие глаза. На вокзале в Курорте встретил его Артемий Григорьевич, горестно покачал головой:

— Краше, Сенька, в гроб кладут. С лица судить — чахотка. С чего бы так согнуло? Не голодал, опять же казенная квартира сухая, без плесени.

Оттолкнув лавочника, Соцкий, передвигая негнущиеся ноги, прошел в каморку дежурного городского и закрылся на крючок.

Последний раз Соцкого видели в Белоострове. В зале ожидания лавки были свободны, а он сидел на кованом сундуке, держа на коленях бочкообразный чемодан из некрашеной фанеры.

Об этом в трактире услышал Александр Николаевич. — То-то на Сестре стал чище воздух, — сказал он и перекрестился.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

В первый день масленицы Александр Николаевич провалился в полынью на заливе. Думал — конец; до берега с версту. Последнее время он рыбачил один: Иван — в Шлиссельбургской государственной тюрьме, Василий — на каторжном принске в тайге, а Николай дома, и то появляется к ночи: порастаскала охранка партийную организацию оружейников.

Полынья оказалась на неглубоком месте, вода Александру Николаевичу по грудь. Выбравшись на скалистый берег, он разжег костер, обсушился. От домашних скрыл ледяное купанье, но с того дня стало чаще поясницу ломить, судорога сводила левую руку, одолевал сухой кашель, особенно по ночам.

— Повидать бы горемычных — и на покой, — сказал как-то старшему сыну Александр Николаевич, когда тот привез из петербургской лечебницы редкое натирание.

— Походишь с ними не один год на залив, — сказал ободряюще Николай, а самому страшно: болезнь не обманешь, отец угасал.

— Умру, — как о решенном деле, продолжал Александр Николаевич, — мое место займешь. За правду и справедливость и дальше стой твердо.

— В твои годы — и на тот свет. У Фирфарова перенял, тому еще простительно, чахотка замучила. — Николай расстроился, ушел на кухню к матери.

Хорошо отблагодарив земского врача, Александр Николаевич получил нужную справку под сургучной печатью. Заводской бухгалтер составил прошение о свидании с сыновьями, но предупредил: «Неразумное затеял, посмеются в душе».

Недель через пять из департамента полиции ответили: «...Иван и Василий Емельяновы осуждены за государственные преступления, лишены всех прав и состояния...»

Прошел ледоход, а открытие пароходного сообщения откладывалось. Александр Николаевич загоревал, всем, кто ехал в Петербург, наказывал: глянуть — не пошли ли пароходы вверх по Неве.

День собирался Александр Николаевич в дорогу, сам отпарил и отгладил костюм: родные и знакомые отговаривали, никого он не послушался, в сердцах сказал Поликсенье:

— Перед смертью хоть с берега посмотрю на тюрьму, где страдает Ваня.

Печальный вернулся из Шлиссельбурга Александр Николаевич. Родные сбежались узнать: повидался ли с Ваней, а он прошел в маленькую комнату, закрылся на крючок, чтобы не досаждали, только сутки спустя сказал жене:

— Строгости каторжные в этой тюрьме. На волю оттуда редко выходят, широкая дорога на погост.

Умер Александр Николаевич тихо, попросил жену заварить чайку покрепче и меду сотового достать, а когда Поликсенья Ивановна принесла все это...

Будто выразить соболезнование, явился Косачев, а сам, скосив глаза на гроб, выпытывал у вдовы:

— Как хоронить-то собираетесь? Был кто с оружейного?

— По-православному,— прошептала сквозь рыдания Поликсенья Ивановна.

— Тихо, без мастеровщины-то оно спокойнее, бог милостив.— Косачев взглянул на покойного, перекрестился и вышел.

За час до выноса на Никольской появился старший городовой. Он прохаживался по противоположной стороне, но глаз не сводил с распахнутых ворот усадьбы Емельяновых. И покойного Александра Николаевича бо- ялась полиция.

На поминках Николай сказал матери, чтобы переби- ралась в Новые места, с Надеждой и внуками не так будет ей тоскливо.

Поликсенья Ивановна отказалась: многое ее удержи- вает в старом доме на Никольской.

2

По чьему-то недосмотру в департаменте полиции в спи- сок городов Российской империи, в которых политиче- ским запрещено жительство, не был внесен Сестрорецк, находящийся всего в 28 верстах от столицы. Этот про-

мах полиции использовал Петербургский комитет партии.

В 1912 году в Сестрорецке поселился отбывший ссылку брянский рабочий Николай Афанасьевич Кубяк. По завидной протекции поступил он на оружейный. За него хлопотали благонадежные мастеровые, в числе поручителей был и токарь, только что награжденный малой золотой медалью.

На казенном к пришлым долго присматривались, а Кубяка признали своим чуть ли не с первого дня. Он и в самом деле был похож на местного оружейника с достатком, в мастерскую являлся в темно-синей блузе, брюки из чертовой кожи носил на подтяжках. В тройке видели его в курзале на представлении, в народной читальне. Он следил за собой, всегда были подравнены пышные усы, у него хорошо, без брильянтина, лежали густые волосы, открывая высокий лоб.

Никто в местной организации не слышал от Кубяка, что на завод его направил Петербургский комитет партии, но все догадывались, что именно он и есть тот таинственный уполномоченный из центра, которого ищут осведомители и заезжие шпики.

В субботу на заводе была получка. Около ста рублей собрали для отправки ссыльным оружейникам. Но и под боком, в самом Сестрорецке, живут пострадавшие от полицейского произвола семьи, в которых завтрак — тюря, обед — тюря на посоленном кипятке, а на ужин — молитва. Из собранных же денег и рубля нельзя взять.

Казалось, что не миновать нового захода по мастерским с подписным листом. Так предлагал Ноговицын.

— Не богачи наши,— возразил Кубяк,— двугривенный сюда, туда пятиалтынный — глядишь, и сгорел целковый в получку. Что-нибудь другое надо придумать.

На оружейном с давних времен существовал обычай: каждая мастерская чтит своего святого, в его день — иконный праздник — накрывали столы. Перед иконой горела неугасимая лампада, пятаки на масло вносили рабочие. Лампадную кубышку и надумал потрясти Кубяк. Он попросил Ноговицына завтра после первого гудка подослать Николая в часовню, а утром они неожиданно встретились на дороге.

— Обойдемся и без бога-свидетеля,— шутливо заметил Кубяк и заговорил серьезно:— Слышал, поди, от Ноговицына: почти сто рублей собрали ссыльным, а для

тех, кто под боком мается, гроша не выкроили. Нужно подкинуть хотя бы на хлеб, крупу и сахар.

— На лампадные зарисься,— строго сказал Николай, а у самого смеются глаза.

— Зарюсь,— признался Кубяк,— покупайте сортом хуже деревянное масло, святым-то идолам все равно, а наши люди хоть каши досыта поедят и чаю вприкуску попьют.

— Опоздали с советом, сам удивляюсь, что бог и святые еще не разгневались, лампы-то старосты заправляют машинным маслом.

— То-то чадит лампада и у нашего покровителя,— сказал Кубяк и, довольный, улыбнулся. Старший церковных старост опередил его.

Лампадные деньги были розданы бедствующим семьям мастеровых.

Спустя неделю Кубяк утром подкараулил Николая на сходе с пешеходного моста.

— Понравились лампадные,— пошутил Николай.— Обожди хоть до полочки.

— Совесть еще не потерял,— сказал Кубяк,— прикопишь, вот тогда и найшу казначея. А сейчас в другом помощи...

Петербургский комитет партии направил в Сестрорецк рабочего Василия Творогова, которому также запрещалось проживание в крупных городах. Без весомой протекции ему не поступить на оружейный, а еще нужно поставить на квартиру.

— Протекцию устроим, похлопочем,— обещал Николай,— посоветуюсь с Ноговицыным и Матвеевым.

Поиски весомой протекции временно пришлось отложить,— забастовала магазинная мастерская. В полочку вычли за металл. Брак на втулках произошел из-за неисправности станков и инструмента. Кто работал на детонаторной втулке, пострадал от двух рублей сорока копеек до восьми рублей, а на доневой — от восьмидесяти копеек до пяти рублей, на резьбе — до семи рублей двадцати копеек.

Мастер Мориц отказался от встречи с выборными, сманивая высоким заработком рабочих из других мастерских. Тогда большевики призвали оружейников бойкотировать магазинную мастерскую.

Штрейкбрехеры струсили, не помогли Морицу и щедрые посулы — платить поденку два-три рубля.

Кислые щи в чугуне были еще горячие,— Кондратий подгадал к гудку. Постелив на верстак холстину, в которую были завернуты хлеб, ложка и соль, Николай ел с аппетитом. Мягкий душистый ржаной хлеб таял во рту. Отобедав, он собрал в ладонь крошки, выбрался на двор, покормил воробьев.

До гудка еще оставалось полчаса, можно было отдохнуть. Николай, положив руку под голову, улегся на траву под пышной ветлой на берегу речки. Заснуть помешала букашка: ползает за правым ухом, неприятно щекочет. Кажется, смахнул, а она опять за свое, на редкость назойливая. Открыв глаза, Николай увидел, что на корточках возле него сидит Андреев с травинкой в руке.

День жаркий, все распаренные, еле ноги переставляют, а он тщательно выбрит, волосы гладко зачесаны, одет опрятно, брюки отглажены, под темно-коричневой курткой — белая рубашка с отложным воротником, черный галстук.

— Потревожил, Николай Александрович, прости,— заговорил неожиданно серьезно Андреев. Невозможно было представить, что секунду назад он по-мальчишески подшучивал.— Важное кое-что разузнал.

Илья Андреев связан с петербургским подпольем. «На ходулях спешит наш самодержец к войне с Германией,— сказал на той неделе он Николаю,— кряхтит, охает, что подводных лодок и самолетов у него мало-вато».

3 июля Николай купил на вокзале «Биржевку», развернул; первое, что бросилось в глаза,— заметка о закладке в Ревеле подводных лодок «Тигр», «Львица», «Леопард», «Пантера».

Николай поднялся с травы, смахнул со штанов соринки.

— Президент Франции Раймон Пуанкаре везет в Россию войну. В конторе затевают не то телеграмму, не то депутацию послать приветствовать царского гостя. Рабочим же ни к чему славить торговца смертью. Твой авторитет ой как нужен сейчас организации. Есть и у нас в мастерской задобренные, заласканные верноподданнические кликуши. Затевается страшная война за передел мира, захват колоний и рынков. Большевики срывают парадную маску с Пуанкаре. В Петербурге уже бастуют сто шестьдесят тысяч рабочих, остановился

трамвай на Новодеревенской и Финляндской линиях, на Выборгской стороне — баррикады. На фабрике «Жорж Борман» городские стреляли из револьверов в рабочих...

Конца не видно насилию, Николай остро ощущает, что четырнадцатый год — это еще не пятый и шестой, в ту пору рабочие были гораздо сильнее, но и не восьмой — десятый.

— С булыжника опять начинать, а были винтовки, бомбы, — от обиды вырвалось у Николая.

— Стрельба на конфетной фабрике, — Андреев презрительно скривил губы, — с отчаяния и страха перед неминуемыми революционными выступлениями.

— Так что же, стиснуть зубы и молчать? — спросил Николай.

— Молчать? — Андреев откинул чуть назад голову. — Молчат трусы. Оружейники должны знать, что происходит в Петербурге.

— Понял, — хмуро бросил Николай, — беру на себя инструментальную, по неурочному гудку все наши выйдут на улицу.

Андреев не скрывал, что решение Емельянова его обрадовало, сказал весело:

— Расклад хороший получается: ложевую Кубяк взял, замочную — Творогов, Ноговицын — механическую... Начнем!

10 июля жандармский полковник сообщил в департамент полиции:

«Имею честь уведомить, что по донесению помощника моего в С.-Петербургском уезде подполковника Палькевича рабочие Сестрорецкого оружейного завода сего числа пришли на завод, но, не приступая к работе, около 7 часов утра вышли из завода, причем толпа рабочих запела революционную песню, выбросила красный флаг. Подоспевшей полицией толпа была немедленно рассеяна, и рабочие мирно разошлись. При этом никто из рабочих задержан полицией не был. Причиной означенной забастовки является выражение солидарности с забастовкой петербургских рабочих.

Меры к выяснению зачинщиков забастовки приняты».

Еще не отбыл Пуанкаре во Францию, как те, кто громче всех ликовал — сыновья деревенских богатеев, лавочники, — повалили на оружейный, заранее спрятались от надвигающейся мобилизации. Проходимцы и нестойкие людишки могли проникнуть в заводскую со-

циал-демократическую организацию. Оружейники-большевики приходили домой только спать.

Николай запустил хозяйство. Надежда Кондратьевна долго крепилась, а остался в кошельке целковый до получки, упрекнула:

— Прикажешь еще одну заборную книжку в лавке у Колесникова открывать?

Без денег ораву не оставишь. В тот же вечер поехал Николай в город к морскому капитану получить деньги за проданную лодку, думал быстро обернуться, а его усадили за стол, еле-еле успел на «веселый» поезд. Вскочил он на ходу в вагон первого класса, огляделся — напротив на диване купец Грошиков. Сухо поздоровался и отвернулся к окну.

Грошиков покряхтывал, постукивал измятой газетой по коленке, чувствовалось, что ему не терпится заговорить.

Проехали Лахту, Ольгино, купец сильнее заерзал на лавке.

— С ума сойти,— проговорил он, ни к кому не обращаясь,— австрияки грозят двинуть на маленькую Сербию два с половиной миллиона солдат, две тысячи двести шестьдесят пушек.

За окнами вагона бежали по низинке к лесу огоньки, горело пересохшее в жару торфяное болото.

— И никто не вызовет пожарников,— возмутился Николай.

— До гнилушек ли сейчас людям,— сказал и горестно вздохнул Грошиков,— бедняжка Сербия выставит только триста тысяч солдат, только триста орудий.

Навязывал он разговор, а промолчать Николаю нельзя. Люди, еще недавно осуждавшие царствующий дом, теперь в патриотическом угаре теряют рассудок, заказывают в церквах и соборах молебны за здравие царя. Вчера в курзале толпа запретила симфоническому оркестру исполнять увертюру к опере «Парсифаль» — музыку написал немец Рихард Вагнер.

— Людей жалко,— уклончиво ответил Николай.

Грошиков был доволен: Емельянов, и то за войну, жалеет бедных сербов.

— Мокренко от австрияков и германцев останется.— Грошиков от избытка чувств сжал кулаки, повторил:— Мокренко.

— Как объявят мобилизацию, так на фронт?— спросил Николай.

— Отечество всюду можно защищать,— сказал нерешительно Грошиков и слохватился:— Годы... староват, но я готов надеть шинель.— И он с упоением принялся пережевывать подробности убийства престолонаследника Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги в Сараеве.

Николаю было тошно его слушать, и он вышел на площадку...

По высочайшему повелению в пятницу, 18 июля, русская армия и флот переведены на военное положение.

Спустя несколько часов в Петербурге и пригородах были расклеены царские повеления о мобилизации ратников.

А следом на заборах появилось объявление... Мобилизации подлежали лошади верхового сорта, первого разряда, годные в оружейную упряжку и обоз.

Лиза принесла брату сорванное ветром с забора объявление.

— Лошадь у царя дороже человека, по три сотни положил на голову, а за верховую еще накинул тридцатку,— сказал горько Николай.

У Николая был отгульный день, он спрятал в фуражку объявление и поспешил на завод.

В Сестрорецкую районную исполнительную комиссию РСДРП вошли шесть оружейников, среди них был и Николай. Нужно быть начеку. Царское правительство уже жестоко расправилось с революционно настроенными рабочими — противниками войны. Запрещен выход газеты «Правда». Брошены в тюрьмы видные большевики.

Буржуазия, черносотенцы в день объявления войны стояли на коленях у Зимнего дворца, пели «Боже, царя храни!».

4

На карте Сестрорецк в тылу, но здесь тоже был фронт — продолжительность смены одиннадцать-двенадцать часов, на сто винтовок больше стали выпускать в день.

В артиллерийском ведомстве считали, что на оружии скрыты резервы, обвиняли в этом местную социал-демократическую организацию: большевики, мол, открыто объявили, что они против войны.

Вчера возле заводской часовни Николая остановил Зоф. Как всегда, на нем была темная, хорошо отгла-

женная блуза, светлая рубашка, со вкусом повязан голубоватый галстук.

Никто, кроме Кубяка, Николая и Андреева, не знал, что новый слесарь-инструментальщик сотрудничал в «Звезде», «Правде». Начальник мастерской в нем души не чаял, не подозревал, что молодой жизнерадостный рабочий и неуловимый секретарь нелегальной заводской организации большевиков — одно и то же лицо...

Вячеслав Иванович был хмур и озабочен: на завод проник ловкий осведомитель. Полиция не прибегает к арестам. Неблагонадежного вызывают к воинскому начальнику, а оттуда — в маршевую роту.

Узнав, что Зоф подозревает Севалина, Николай заступился.

— От фронта, верно, он спасается, парень не промах, не хочет без башки остаться.

— Приглядишься сам и товарищам накажи, — сказал Зоф, — у этого человека змеиное жало.

...Осенью 1915 года в инструментальную поступил парень из Олонецкой губернии. Евграф Севалин — так он себя назвал — простодушный добряк, в кисете не переводилась махорка. Он с улыбкой давал займы, не сердился, если долг задерживали. Получив из деревни самогон, копченый окорок, он угощал мастеровых.

Набивался Севалин на знакомство к Емельянову, а у того не лежала к нему душа, хотя ничего предосудительного за ним и не замечал.

Незадолго до рождества у Емельяновых приключилась беда. Сережка, катаясь на санках в дюнах, заблудился, попал под мокрый снег, вымок, простудился. Севалин принес на завод стакан отборной сухой малины и с фунт меду.

— Даром не возьму, — предупредил Николай.

— На Олонецщине не принято за снадобье деньги брать, — отрезал Севалин. — Не поможет, примета есть такая.

Надежда Кондратьевна напоила Сережку чаем, закутала в шерстяной платок, ночью без счета меняла ему белье. Мальчишка пошел на поправку.

— Легкая рука у человека, — обрадованно говорила Надежда Кондратьевна, — передай спасибо и приглашай на пироги.

Поблагодарил Николай Севалина, а на пироги не пошел. Почему — и себе не мог объяснить.

Стал Николай присматриваться к Севалину, ничего подозрительного не заметил: заходят к нему рабочие из

замочной, ложевой. С папиросами плохо, а у Севалина махорки всегда полный кисет.

Вскоре Зоф подгадал, чтобы вместе с Николаем выйти с завода.

— Просьбу не забыл?— спросил он.

— Врать не буду, в плохом паренё не замечен. Черносотенцы подбивали в свою шатию, отказался. Значок «Геоργия Победоносца», что погромщик доктор ему оставил, нацепил на белую ленту и коту Фантику повязал. Потеха была в мастерской, понадрывали животы.

— Осторожная лиса, ловко подлаживается.— Зоф достал из кармана помятый конверт.— Взгляни.

«Вследствие сокращения работ в инструментальной мастерской,— читал Николай,— нижепоименованным предлагается прискивать себе место. С 1 января 1916 года они будут рассчитаны...»

— Со старосты список обычно открывают,— заговорил Николай.— Ворота — излюбленная плетка администрации. Не вижу вины Севалина.

Зоф спокойно возразил:

— По-приятельски кто-то ему выболтал, что собираются писать жалобу на каторжные условия в мастерской. На антресолях, сам знаешь, к концу смены люди находятся в полуобморочном состоянии.

Припомнил Николай: баловался табаком у Севалина староста. Может, и обмолвился о жалобе. Дорого обойдется ему самокрутка. А вдруг напраслину на человека возвели?

— Почерк Севалина знаешь?— не дал долго раздумывать Николаю Зоф.— Сверх. Из папки помощника начальника вынули эту записку.

Совпадение настораживало: в записке и в предупреждении об увольнении одни и те же фамилии рабочих: социал-демократы и сочувствующие им.

Нелегкое поручение дал Зоф — Севалин не в канцелярии служит. А все решилось просто — давно не собирали на подарки раненым.

Взяв в конторе лист бумаги, Николай попросил Севалина обойти рабочих на антресолях, собрать пожертвования раненым на папиросы, мыло и конверты. Когда Севалин принес деньги и список жертвователей, Николай сравнил почерк — самое худшее подтвердилось. Но как выгнать доносчика с оружейного?

Навел Николая на хитроумную затею приказ коменданта крепостного района.

— Заманчиво... подлец сам себя наказывает,— одобрил Зоф,— а уж о том, чтобы военный патруль оказался на Крещенской улице, я позабочусь.

В первую же получку староста мастерской Кондрашов позвал Севалина выпить: прислали и ему из деревни первача. По дороге «встретили» Николая, схватили его под руки. Особенно усердствовал Севалин,— так хотелось быть накоротке с Емельяновым.

В трактире втихомолку распили бутылку, начали новую, Севалин потерял контроль над собой, а ему все подливали. Когда Севалина развезло, Николай и Кондрашов, бережно его поддерживая, вывели на улицу.

— Споем,— предложил Николай и сам запел:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг».
Пошады никто не желает!

Севалин подхватил пьяным голосом:

Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают...

Собралась толпа. У трактира Николая и Кондрашова оттеснили трезвые Никитин и Ахропотков.

Севалин повалился, Ахропотков успел подхватить и поставить его на ноги.

Приближался конный патруль... Больше Севалина не видели в Сестрорецке.

В конце января Зоф показал Николаю отпечатанное на курительной бумаге постановление от 17 января 1916 года.

«...Я, вр. и. д. коменданта Кронштадтской крепости Генерального штаба генерал-майор Данилов, рассмотрел представленную мне начальником Сестрорецкого гарнизона при надписи от 10 января сего года переписку и, усматривая, что означенный в ней крестьянин Олонецкой губернии, Вытегорского уезда, Ухорской волости, хутор Козулино, Севалин Евграф Иванович позволил себе появиться в пьяном виде в общественном месте, а именно Сестрорецке на Крещенской улице, чем нарушил приказ по крепости и крепостному району от 19 сентября 1914 года за № 76, постановил: на основании п. 2 ст. 19 прилож. к ст. 23 тома II свод. зак. Рос. империи подвергнуть упомянутого Севалина заключению в тюрьме сроком на три месяца».

— Хитро сработано,— сказал Зоф и похвалил Николая.— Хороша твоя затея, без хлопот упрятали осведомителя за решетку.

— Догадался, поди, Севалин, что нарочно напоили.

— Это не такая уж существенная деталь,— засмеялся Зоф,— сам напился. Крепостной комендант строг, не милует пьяных.

5

Все хуже и хуже с продуктами. Цены на рынке меняются несколько раз в день.

С начала войны на заводе одиннадцатичасовой рабочий день, а фактически он больше. На десять — пятнадцать минут укорачивается обеденный перерыв. Редкий месяц проходит без конфликта, забастовки.

Рядом с экономическими требованиями рабочие выставляют и политические. На собраниях оружейники заговорили, что пора кончать войну, называли ее открыто грабительской, империалистической.

Начальники мастерской не идут на уступки, применяют власть, подавляя недовольство рабочих. У генерала для наведения порядка на заводе есть свое «войско». В роте охраны двести солдатских штыков, дворникам розданы револьверы и патроны. В одну из «заварушек» на оружейном из Петрограда прибыло три вагона солдат.

Собственное «войско» позволяет генералу чинить скорый суд. Девять руководителей забастовки рабочих взрывательной, замочной и коробочной мастерских были арестованы, сто десять отправлены к воинскому начальнику: после причастия погрузили в теплушки — на фронт.

Неспокойно и в столице. Первым утренним поездом Зоф уехал за листовками. Накануне он обошел товарищей, предупредил, чтобы были начеку, из дома не отлучались. Петербургский комитет выпустил листовку, призывающую к вооруженному восстанию.

С Николаем Зоф был еще откровеннее.

— Доцарствовался последний Романов.

— Панихиду по первому разряду заказывать? — спросил Николай. — Скорее бы вбить осиновый!

— Требы окупятся с лихвой, — ответил тоже шуткой Зоф.

Николая оставляли на сверхурочные, — отговорился, что мучает прострел, боль в пояснице такая — хоть благим матом кричи.

Дома он застал мать. Давно она не выбиралась в Новые места. Поликсенья Ивановна сидела в большой комнате за столом, подперев кулаком подбородок.

— «...Описывать про свое житье душа не лежит,— негромко читала Надежда Кондратьевна, водя пальцем по письму,— хуже некуда. Пишу не слезу у вас выбить, а чтобы на казенном знали.

Нахожусь сейчас в каторжной таежной тюрьме Нижняя Тура. От нее до железной дороги верст двести. Несчастных здесь видимо-невидимо. Убийц, грабителей с большой дороги в нашем бараке на пальцах перечесть, разуваться не нужно. Больше всего царевых «преступников»: наш брат рабочий, крестьянин, солдаты и матросы.

Мои соседи по нарам: слева — мужик из-под Костромы, помещика в поlyingю бросил,— поделом, тот его дочь в прислуги взял и обесчестил; справа — матрос, мухи не обидит, за справедливость страдает, не давал в обиду товарищей. Избавились от него мерзко: подбросили в тумбочку нелегальных брошюр. Десять лет каторги дали матросу за злоумышление против императорской фамилии.

Фотографии своей не могу прислать, а выгляжу так — одет во все арестантское, шаровары с разрезом для кандалов, халат с тузом на спине, вместо сапог «коты» — попросту драные опорки.

На прииске всяк тюремный чин — начальник. Покажется иному, что лениво махаешь киркой,— и огребешь зуботычину. Здесь бьют молча, зло, а за что... сам разбирайся.

Случается, поем песни, только больше грустные. У одного студента из Казани хороший голос, как за поет:

Скрывается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль...»

У Надежды Кондратьевны голос дрогнул. Поликсенья Ивановна зажала платком рот. Письмо от брата, только от какого? Ивана или Василия? Николай на цыпочках вошел в комнату и подсел к столу. По морщинистым щекам матери катились крупные слезы.

— «Счет дням потерял,— продолжала Надежда Кондратьевна,— человеком чувствую себя лишь во сне... Тужу, что не довелось попрощаться с батюшкой. Письмо и справку земского доктора надзиратель в мусорную яму кинул и рывкнул: «У каторжника не должно быть никаких просьб».

Передайте кому следует на казенном: я ни в чем не

раскаиваюсь, товарищи могут на меня рассчитывать. О себе еще дам знать.

Переживаю сильно за брата Ивана, не знаю, как сложилась его судьба. Слышал от одного политического, что в Шлиссельбурге в соседней камере сидел Иван Емельянов, осужденный петербургской судебной палатой за участие в революционном движении на каторжные работы. Не наш ли это Иван?

Кланяюсь низко братьям Константину, Михаилу, Александру, Николаю, супруге его Надежде Кондратьевне, сестрам Параскеве, Елизавете, Варваре.

Остаюсь любящий вас сын Василий».

Николай взял у жены письмо — оно было измято, на сгибах карандаш вытерся: не по почте, по рукам шло, — спросил у матери:

— Принесли на Никольскую?

Поликсенья Ивановна кивнула.

— Вечерело, вышла ворота запереть, — рассказывала она, — выглянула на Никольскую, только перекрестилась на Николая Чудотворца, тут ко мне и подходит барышня из господ, спрашивает: «Это дом Емельяновых?» Кивнула я головой. «Мне Поликсенью Ивановну повидать», — спрашивает она. Оторопь меня взяла: знамо, беда, подумала — с тобой что случилось, черносотенцы убить и «петуха» напустить грозилась, а барышня ласково: «Не волнуйтесь, привезла письмо от вашего сына Василия». Мне бы в ноги ей, а я стою — и пальцем шевельнуть не могу. Помахала она на прощанье — и будто ее и не было.

— Из каторжан кто-то на волю выбрался, — сказал Николай, — а письмо Васино я с собой возьму, еще помнят его у нас в мастерской.

Надежда Кондратьевна унесла на кухню подогреть самовар, — чувствовала, до ночи затянется разговор.

Садилась за стол, когда на дорожке к дому послышались быстрые шаги. Вошел Зоф.

— К чаю угодил, садись, — пригласил Николай.

— Можно к чаю, — сказал Зоф, — можно сегодня и рюмку. Прямо с поезда. Царя отставили от престола. Запасай, Поликсенья Ивановна, крупчатки на пироги. Скоро сыновья вернутся с каторги домой.

У Надежды Кондратьевны была припрятана сороковка спирта — на случай простуды. Разбавила водой, подала на стол. Выпила рюмку Поликсенья Ивановна и заплакала, — дождется она сыновей, а старик преставился не попрощавшись.

Зоф и Николай сразу ушли. По дороге на завод кое-кого оповестили. В эту ночь красногвардейцы взяли под свою охрану мастерские, арсенал, почту, телеграф, вокзал, железнодорожные мосты, разоружили солдат Вологодской дружины и местную команду. Из арсенала вывезли пятнадцать тысяч винтовок, сто девяносто тысяч патронов. Бóльшую часть отправили в Петроград.

К вечеру на Выборгской улице появились первые рабочие милиционеры, в штатском, с нарукавными повязками.

Арестовав жандармов на станции Белоостров, оружейники выставили своих людей на пропускном пункте финляндско-русской границы. Одновременно были заняты посты Редуголь и Дюны, чтобы помешать богачам вывезти золото, драгоценности, картины в Финляндию.

В штабе Петроградского военного округа действия оружейников называли возмутительным беззаконием. Генерал Алексеев потребовал, чтобы рабочие ушли из таможни. Зоф на это только посмеивался: гневается генерал, значит, хорошо закрыли границу.

6

Из церковных празднеств Николай недолюбливал пасху. На улицу не выходит — лезут христосоваться. Но жене перечить не стал, когда она опустила четыре десятка яиц в коричневый настой луковых перьев. Зайдет же мать христосоваться с Надеждой, ребятами. Творогу и крупчатки прислала старая на пасху и куличи. Голодное время, а где-то выменяла; как не побаловать внучат в праздник.

По улице прошла к Разливу веселая компания. Стройно подтягивали в такт гармошке звонкие голоса:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.

— Учительница пуще всех заливаётся,— сказала Надежда Кондратьевна. Николая потянуло к окну. За штакетником он увидел Зофа.

— Вячеслав пришел, Надя,— сказал неуверенно Николай. Как в гости звать — хозяйка еще не управилась.

— Зоф?— переспросила Надежда Кондратьевна, взглянула в окно.— Верно, Вячеслав Иванович. Зови, найду и без пирогов чем угостить.

Вышел Николай на крыльцо, приглашает в дом, а Зоф к себе манит.

— Надевай праздничную тройку, — сказал он. — В депутацию тебя и твоего брата Василия выделили.

Зоф рассказал, что поздно вечером из Финляндии через Белоостров в Петроград проследует поезд, на котором возвращается из эмиграции Ленин.

— Поможешь нам, — просил Зоф, — ты же встречался с Владимиром Ильичем.

Первый день пасхи, завод не работал, а люди стекались к главной проходной. Приходили справляться — по расписанию ли идет поезд, как долго стоянка в Белоострове.

Первоначально партийный комитет думал послать делегацию человек в пятьдесят — семьдесят, а составили список — получилось много больше, на том и остановились. Ленину будет приятно на первой русской станции встретить столько единомышленников.

Николай договорился с чиновником из дирекции Финляндской железной дороги. На заводскую ветку было подано несколько платформ. Разместились просторно, все в праздничном, у многих в петлицах красные банты. У Василия и Ивана Степанова, молодого токаря, подснежники.

Машинист дал свисток — и застучали колеса. На первой платформе запели:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...

Николай, казалось, ничего не видел и не слышал. Он, задумавшись, стоял у борта платформы. Одиннадцать лет минуло после встречи с Владимиром Ильичем на даче «Ваза». И вот сбылись его пророческие слова. В России пало ненавистное самодержавие.

— Подпевай, — задорно крикнул Ноговицын, тронул Николая за плечо. Он громко подхватил:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нае еще судьбы безвестные ждут...

В Белоострове было необычно оживленно. Особняком на платформе держались местные жители и небольшая группа крестьян, — четверо были в пальто, а один в полушубке, в валенках, подшитых красной резиной, — ходоки крестьянские из Петроградского уезда, вконец потерявшие надежду обзавестись собственным наделом земли.

Приехали встречать Ленина делегация рабочих Петрограда, представители Центрального и Петербургского комитетов РСДРП Сталин, Коллонтай. Была здесь и Людмила Сталь, давний друг семьи Ульяновых. Среди встречающих Зоф узнал Марию Ильиничну, сестру Ленина. Она волновалась, теребила перчатку, нетерпеливо вглядываясь в нескончаемую железнодорожную просеку на финской стороне.

До прихода скорого поезда из Торнео оставалось около часа. Оружейники не разбрелись, держались вместе, только Василий нет-нет и выбежит на рельсы посмотреть, не идет ли поезд.

Украдкой поглядывал на часы Николай, хотя и скрывал волнение. Из всей делегации оружейников только он и брат Василий знакомы с Лениным. Может быть, Владимир Ильич забыл их? Жаль, что среди встречающих нет Григория Ивановича. Где-то под Луцком командует он батареей.

Наступили сумерки, заморосил дождь. Оружейники остались на месте, боясь упустить минуту, когда через мост пограничной реки Сестры проскочит паровоз.

Наконец вдаль показались огни паровоза. Вот поезд миновал последнюю финскую станцию...

Торжественно звучали слова «Марсельезы». Их не заглушал шум подходившего из Финляндии поезда. Владимир Ильич стоял в тамбуре. Он был в новом демисезонном пальто, с непокрытой головой.

Встречающие всколыхнулись, потеряли строгие очертания и шеренги оружейников, все сбились в празднично ликующую толпу. Под разноголосое «ура!» в воздух взлетели кепки, шапки, фуражки, солдатские папахи.

Владимир Ильич был обрадован, чуточку смущен и растерян. Он, видимо, ждал на границе только родных и товарищей из «Правды».

Поезд из Финляндии — обычный, по расписанию стоит он здесь минут сорок, ровно столько, чтобы паровозной бригаде набрать воды, а таможенникам произвести досмотр и проверить у пассажиров документы.

Несколько человек с Сестрорецкого завода раньше других оказались у вагона. Владимир Ильич узнал старшего Емельянова, поздоровался.

Николай растерянно смотрел и молчал, Ноговицын незаметно подтолкнул его.

— Владимир Ильич, сестрорецкие оружейники приглашают перекусить с дороги, — нашелся Николай.

Хороший русский обычай — хлеб-соль. Владимир

Ильич улыбнулся, рабочие это приняли за согласие. Николай, Василий, Ахропотков, Ноговицын и еще кто-то двинулись вместе с Лениным к вокзалу.

Многих рабочих интересовало, как за границей встретили весть о Февральской революции. Ноговицын спросил об этом у Ленина. Владимир Ильич рассказал о значении революции в России для международного пролетариата.

От ужина Владимир Ильич отказался, но с удовольствием выпил стакан чаю, затем он прошел в комнату, где проверяли паспорта.

Быстротечны минуты встречи в Белоострове. После первого удара станционного колокола Владимир Ильич направился к платформе.

В вагоне, в котором ехал Ленин, запели «Интернационал». Провожающие, скинув шапки, шляпы, кепки, папахи, подхватили гимн.

Поезд уходил в Петроград. Владимир Ильич стоял на площадке, приветствовал тех, кто первым радостно встретил его на русской земле.

Борьба пролетариата в России за свои права еще не окончена: продолжается мировая империалистическая война, земля по-прежнему у помещиков, заводы, фабрики и банки — у капиталистов.

7

На первомайской демонстрации Кубяк простудился. Утро было весеннее, теплое, он надел летнее пальто. Едва начался митинг, солнце спряталось за тучкой и больше не показалось. Стало ветрено, небо потемнело, повалил густой мокрый снег.

Зоф звал к себе обедать, Кубяк отказался, тянуло домой — отлежаться. Последние дни он провел среди солдат гарнизона, вчера допоздна был в читальне, где разучивали «Интернационал».

Ночью поднялся жар, на рассвете Кубяк кое-как оделся, а выйти из дома не смог: болело все тело, кружилась голова.

Зоф ждал Кубяка у фурштата. Прошли приехавшие на поезде из Петрограда. Проковылял на деревянной ноге однорукий инвалид в солдатской шинели. В пятнадцатом году мастер образцовой отправил его в маршевую роту. Полчаса он воевал, а калеккой остался на всю жизнь, теперь ездит в столицу побираться. А Кубяка все нет; человек он обязательный. Что-то случилось?

Обрадовался Зоф, заметив, что с вокзальной стороны показался Николай.

— Из град-столицы?— спросил Зоф.

— Ближе,— отозвался Николай,— в Курорте у кондитера на даче замок менял.

— Кубяка, случаем, не встретил? Условились, уже четверть часа лишних прождал. Не хочу каркать, наверно, приболел. Вчера легко был одет.

У Зофа было неотложное дело в Белоострове, Николай вызвался проведать больного. Кубяк недавно сменил квартиру, теперь жил в Лисьем Носу. Комната там стоила дешевле, да и удобнее было ему держать связь с Петербургским и Центральным комитетами партии.

Адреса точного Николай не знал, но первый же встретившийся рыбак показал ему дом Кубяка.

В небольшой комнатке, оклеенной дешевыми обоями, стояла узкая железная кровать, громоздкий комод и табуретка. Кубяк лежал, накрывшись ватным одеялом.

— Зоф прислал? Подвел я его,— заговорил хрипло Кубяк.— Не повезло, время жаркое, а я слег.

Зоф просил Николая узнать у Кубяка, как проходит закупка картошки под Ямбургом, а он недослушал, горячо заговорил:

— У Временного правительства оружейники вот тут сидят.— Кубяк откинул одеяло, шлепнул себя по затылку.— Попали мы в категорию неугодных заводов.

— Тюрем у них хватает, по наследству получили,— сказал Николай.

— Напрасно ты так, во Временном правительстве не дураки собрались, коварства им не занимать. Используя перебой с продовольствием и углем, решили разгрузить Петроград — эвакуировать наиболее революционные воинские части и заводы. Намечен к высылке и наш оружейный.

Ошеломила новость Николая. При Романовых — и то, разряжая революционную обстановку, высылали из Сестрорецка партиями по двадцать — пятьдесят человек. А тут сразу весь завод — свыше четырех тысяч рабочих, да еще и семьи...

— Одним ударом,— продолжал Кубяк,— «временные» хотят развалить революционный коллектив, закрыть арсенал. Им хорошо известно, откуда поступают винтовки в отряды Красной гвардии. Вот, дорогой Николай Александрович, какова ситуация, а я некстати заболел.

Квартирная хозяйка принесла в стеклянной банке

клюквенный морс. Кубяк жадно выпил и заговорил энергичнее:

— Нельзя позволить правительству закрыть завод. В Сестрорецке не только винтовки, но и преданные люди. Такие делают революцию.

— Не позволить закрыть завод, но как?— недоумевал Николай.— Завод казенный: рассчитают, станки погрузят на платформы — и вся песня.

— Сколько штыков могут выставить оружейники?— спросил Кубяк.

— Семьсот, не меньше,— Николай задумался,— коли сочувствующих присчитать, то еще сотня наберется.

— Это сила,— Кубяк ободрился,— и слесарями не обижены, стоит в нескольких местах разобрать рельсы на Финляндской дороге — и вагонам не пройти на заводскую ветку.

— Хитро придумано!— воскликнул Николай.

С час пробыл он у больного. Старался ничего не упустить, все запомнить.

...Вечером в Сестрорецке от дома к дому шли Зоф, Андреев, Ноговицын. Разлив и Тарховку взялся обойти Николай. Здесь лучше него никто не знал, в какой дом можно войти, в какой — нельзя.

Начальник завода был взбешен. Откуда рабочим стало известно секретное распоряжение Временного правительства об эвакуации завода?

— Хозяин завода — казна! Прикажет — и рассчитаем,— ответил делегации рабочих генерал,— прикажет — и съедем с квартиры. Правительство больше нас знает.

Спорить с генералом было бесполезно: он не замечал перемен на заводе. Раболепно служил царю, теперь так же служит Временному правительству.

Спустя несколько дней оружейники на собрании заявили генералу, что не позволят закрыть завод, что попытка разгрузить Петроград от значительной части петроградского революционного пролетариата носит контрреволюционный характер. Предложили разгрузить столицу за счет людей, не занятых в промышленности: выслать биржевых дельцов, фабрикантов, заводчиков, спекулянтов.

8

Еще с вечера на заводских улочках была чистота, как в первый день пасхи. На оружейном готовились к

встрече высокого гостя: социалиста — министра по делам снабжения французской армии Альбера Тома. С утра на кухне в генеральском ссобняке хозяйничал повар из ресторана «Семирамида». В оранжерее садовник наметил к срезке лучшие розы: возможно, что гостя привезет посол Морис Палеолог.

Генерал явился на завод в парадном мундире, при регалиях. Его ждали офицеры.

— Господа,— начал он торжественно,— не посралим традиций, примем гостя из дружественной Франции с присущим русским хлебосольством.

Офицеры, мрачно насупившись, покидали контору. Не утихло в мастерских возмущение от ноты Миллюкова о верности союзникам и тайным договорам царского правительства.

В тот час, когда генерал инструктировал офицеров, как принимать высоких гостей, в кладовой инструментальной мастерской тесным кружком на перевернутых ящиках сидели рабочие социал-демократы: Кубяк, Зоф, Андреев, Ноговицын, Творогов и Николай Емельянов.

— Можно, конечно, бойкотировать встречу француза, большего генерал и не желает. Начальник охраны стонит на двор служащих конторы, сами подойдут мастерские оборонцы, эсеры и меньшевики. Этой шушеры наберется сотни четыре-пять,— знакомил товарищей с обстановкой Зоф.— Местные проповедники войны лоб расшибут в усердии. По команде газеты забьют во все колокола: мятежный Сестрорецкий оружейный — и то высказался за войну до полной победы. Это аукнется не только в России, но и в Париже, в Лондоне.

— Котелок у нашего генерала варит,— заметил Николай.

— Провокация задумана повыше, Керенским,— поправил Зоф.— Невероятно, но мы заинтересованы, чтобы больше собралось рабочих на патриотический митинг. Там-то и поднесем французскому «другу» пиллюлю.

Остроумный ход наметил Зоф. Сразу же Ноговицын, Андреев и Творогов ушли в мастерские. Зоф задержал Кубяка и Николая.

— В пику георгиям победоносцам неплохо бы свою резолюцию сочинить.

— Не скромничай, уже набросал?— спросил Кубяк.— Читай, что не так — поправим.

У Зофа проекта резолюции не было. Он знал про приезд Альбера Тома, знал, как в ночной час трогательно его лобызали в парадных комнатах Финляндского

вокзала первые министры Милюков, Коновалов и Терещенко, но желание француза встретиться с сестрорецкими оружейниками и для Зофа было неожиданным.

— Давай, пиши. Начни с оценки войны: грабительская, империалистическая. Во имя чьих интересов умирают на фронте русские, англичане, французы, немцы...

Зоф молча записывал.

— В резолюции непременно надавать оплеух проповедникам трогательного единения рабочих с буржуазией,— продолжал Кубяк.

Записав предложения Кубяка, Зоф устался на Емельянова.

— Гадаю, к месту ли.— Николай запнулся.

— Все к месту, лишь бы хребет свернуть войне и министрам-капиталистам,— ободрил Кубяк.

— Потребовать немедленно опубликовать тайные царские договоры,— добавил Николай.

...Альбера Тома сопровождали генерал, полковник и офицеры в форме французской армии, были в свите и штатские из посольства.

Площадь у конторы не вместила мастеровых, чуть не до часовни запрудили главный проход. Начальник завода и французский министр, человек средних лет, неброский, похожий на чиновника из попечительства, вышли на балкон.

— Имею честь,— заговорил генерал,— представить вам министра дружественной Франции, верного союзника России Альбера Тома.

Учтиво поклонившись на три стороны, Тома, призывно вскинув руку, заговорил. И сразу он преобразился — живой, энергичный. Французского языка никто из рабочих не знал, но слушали молча и напряженно.

— Позвольте мне высказать свою радость: с падением монархии сметены преграды на пути к еще более тесному объединению России и Франции. Но наша общая радость омрачена. Почти три года сильный и злобный враг топчет русскую и французскую землю. Замыслы кайзера известны: он намерен подмять Францию, отторгнуть ее богатейшие владения, в России он намерен восстановить монархию, строй мертвый, отживший.

Не сбудется коварство кайзера. Многострадальная Россия постоит за свою землю и свободу. В этом ей поможет Франция.

Сейчас все мы — солдаты. Нужно, чтобы каждый русский и француз чувствовали свою ответственность за нашу победу над жестокой Германией. Весь мир знает,

что вы изготавливаете замечательные, безотказные трехлинейные винтовки,— делайте их больше, армия, народ, потомки скажут спасибо...

Но переводчика мастеровые слушали плохо.

Генерал, сладенько улыбаясь, что-то доверительно сказал Альберу Тома, видимо выдав гнев и шум за патриотические чувства.

Альбер Тома, широко вскинув руки, воскликнул:

— Будем верны тройственному согласию — России, Франции и Англии, будем воевать с Германией до полного ее разгрома.

Теперь оружейники и без переводчика поняли — министр-социалист за продолжение войны. В огне страшной войны сгорят еще миллионы французов, русских, англичан, немцев.

— В окопы всю министерскую шатию! — крикнул Николай.

— На передний край всю шайку-лейку тройственно-го согласия!

Кто это крикнул, Николай не заметил, но он увидел, что генерал позвал к балкону начальника охраны.

Три резолюции. Одну, желательную военным союзникам, зачитал офицер. Оборонческую, с уговорами поддерживать Временное правительство и всеми силами защищать отечество, прочитал с надрывом эсер из замочной мастерской.

Больше всего голосов собрала резолюция социал-демократической организации завода. Она потребовала поставить на обсуждение Петроградского Совета вопрос о немедленном окончании мировой войны.

Огорченный Альбер Тома поспешил во французское посольство, куда вот-вот должен приехать на свидание с ним Вандервельде, лидер II Интернационала.

9

В минувшее воскресенье Николай навестил в лазарете на Крестовском острове приятеля, еще недавно работавшего в аэропланых мастерских. Тот лежал, осунувшийся и похудевший, в палате у раскрытого окна, выходящего в старинный сад. Всего три шага сделал по «ничейной земле» — и остался без ног.

Калека... Сколько их в России — безногих, безруких, слепых? Миллионы!.. Когда же конец? В России раздавлена монархия, а бойня продолжается.

Выйдя из лазарета, Николай не спешил на конку.

Побродив в сосняке, выбрался на остановку. Он был так задумчив, что не заметил, как подошла конка.

— Оттуда, браток?— окликнул его кучер и кнутовищем показал на проглядывающее среди зелени кирпичное казарменное здание.— Как с кладбища люди возвращаются.

Вчера мать отмечала третью годовщину смерти мужа. Надежда Кондратьевна проканителлась с ребятами, едва-едва успели к началу службы. На паперти и в церкви было много военных. Отпевали подпоручика, погибшего на Молодечно-Виленском направлении. Девятнадцатилетнюю вдову вынесли без памяти из церкви.

До конца службы не выстояла Надежда Кондратьевна. Жара, запах ладана, приглушенные рыдания — ей стало дурно. Следом выбрался на паперть Николай.

— Пройдемся к заливу,— предложил он,— там по свежее.

В Дубках, на тенистой аллее, они встретили пышнотелую девицу, затянутую в корсет, в компании Грошикова. Они весело собирали пожертвования раненым Кронштадтского лазарета. Девушка, одаривая дежурной улыбкой, прикалывала трехцветные флажки прохожим, а купец с поклоном подставлял кружку.

— Кто воюет, а кто представляется патриотом,— разозлился Николай. Он вспомнил разговор в вагоне в канун мобилизации.

И вот снова эта девушка, вырядившаяся под гимназистку: на ней была соломенная шляпа с вычурно выгнутыми полями, а в тощие косы вплетены белые банты. Распахнула калитку, взбежала на крыльцо. Под мышкой держала папку, в вытянутой руке — непроливайку и вставочку.

Надежда Кондратьевна не пустила девушку дальше кухни. Та безглаголиво оглядела обеденный стол, дотронулась кончиками пальцев до клеенки.

— Фуляровым платком, барышня, проведите по столу, не запачкаетесь,— с вызовом сказала Надежда Кондратьевна.

— Это прошение, а не счет прачки,— девушка вспыхнула.— Надеюсь, мадам, вам дорогá Россия?

Девушка обмакнула вставочку в чернильницу, ткнула пальцем в низ прошения, где уже было десятка полтора подписей.

— Здесь распишитесь.

Медлительность Надежды Кондратьевны девушка приняла по-своему.

— Неграмотная — поставьте три креста, — снисходительно разрешила она.

— В гимназию не бегала, а грамоте, насколько нужно, обучена, — сказала Надежда Кондратьевна и положила вставочку на угол стола. — Позвольте уж прочитывать прошение, своей головой живу, сама решу, стоит ли прикладывать руку.

Перепудренное лицо девицы вспыхнуло.

— Прощение подписали госпожа Смолкина, племянница командира крепостного района, балерина Мариинского театра, — перечисляла она раздраженно.

— Барыни свои и чужие мне не указ. — Надежда Кондратьевна положила перед собой прошение, отдернула занавеску — на кухне посветлело.

— «Девицы и женщины, проживающие в Сестрорецке и поселках, — читала медленно вслух Надежда Кондратьевна, — спрашивают вас, военный министр Керенский, по какому праву противитесь составлению закона о привлечении к воинской повинности женщин и девиц. Разве мы не свободные гражданки, разве мы не патриотки, разве мы не способны на отважные подвиги?»

— Мокрохвостки бесстыжие, ума нет, чтобы вытребовать с фронта солдат, — сами просятся на войну. Мало германцы мужиков поубивали и покалечили, — заругалась Надежда Кондратьевна. — Кофточки, лифчики прачкам отдают стирать, а туда же... В Козьмы Крючковы. Моду взяли по домам шляться: то на заем свободы, то еще с каким побором, а теперь совсем свихнулись...

— Бойтесь поставить подпись? — проскрипела девица. — Уверяю, вам не грозит мобилизация. Просим брать на войну женщин и девиц от восемнадцати лет до двадцати одного года.

Надежда Кондратьевна кинула взгляд на девицу.

— И ты, голубушка, давно не невеста. Себя тешишь, а парней не поведешь.

— Грубиянка, пожалуюсь!

— Беги, жалуйся самому Керенскому! — Надежда Кондратьевна распахнула дверь.

Девица опрометью кинулась из кухни, Надежда Кондратьевна — за ней на крыльцо, крикнула вдогонку:

— Побеспокоишь еще — крапивы нарву и под подол запишаю.

На улице в тот час не было прохожих, но кто-то, видимо, наблюдал со двора за бегством девицы. Нико-

лай узнал об этом от Анисимова, когда встретился на заводском дворе.

— Знатно твоя супружница турнула девку, посулила крапивы напихать,— говорил Анисимов.— У Смолкиных отплавляли дуру валерьянкой.

— С крапивой хорошо,— похвалил Николай.

— Следовало эту погаскуху поучить, чтобы не шастала по чужим дворам, но беда — доктор Соловьев ей благоволит,— сказал Анисимов,— натравит свою черную сотню, счета сведут, как с оружейником Хлебсвичем. Помнишь ведь, черносотенцы подстерегли его на кладбищенской тропинке, били смертно, затем бросили в яму, завалили хворостом и осиновый кол воткнули.

— Не из пугливых,— сказал Николай.

С гудком вышел из проходной Николай, а Зоф уже его поджидал на горушке.

— Попутчик, в твой края,— сказал он.

Николай догадался: о чем-то серьезном потолковать Зофу нужно. Неожиданно три брата Федоровы-Быки вынырнули из толпы — и к ним. Братья подрядились откидать горбыли у пилорамы на лесной бирже.

Зоф не знал, как от них избавиться, насупившись, молчал. Быки этого не заметили, наперебой рассказывали, как Кучумов нанял тапера из курзала и разучивал «Марсельезу». Забавно, но у Зофа были дела поважнее.

У пешеходного моста Быки свернули в проулок, Зоф заговорил сразу и откровенно:

— Та погаскуха, которую твоя Надя турнула, не из простых, отец у нее в генеральном штабе служит. Случай в Разливе представим как ссору — схлестнулись две бабенки. Супругу предупреди, организации нужно, чтобы Емельяновы поменьше внимания к себе привлекали. В 1905 году у тебя в доме был штаб дружины, и ни один шпик не догадался. Сейчас события грозные надвигаются, в запасе нужно иметь надежную явку. И еще Кубяк просил передать: Кондратий твой чудит, связался с анархистом из Кронштадта. Странная у этого матроса фамилия — Веник. Похоже, что это прозвище. Прохвост собьет парня с пути.

— Втолковывал, Кондратию кажется, что справедливость в России просто установить, царя-то нет. Дурень, мал еще, а душа хорошая, весь в деда, свободолюбивый. Выберу времечко, возьмусь за него.

— Не откладывай, Веник опасный прохвост,— предупредил Зоф и, распрощавшись, направился к лодоч-

ному причалу — там его поджидал связной Петербургского комитета партии.

10

Под утро Надежду Кондратьевну разбудили приглушенные стоны за стеной. Она потолкала мужа, он перевернулся на бок и засопел. Николай припелся домой ночью, голенища сапог до верха заляпаны глиной, рубашка засолонела от пота. Винтовки и патроны перепрятывали. В Ермоловке у лавочника сын поступил в Михайловское юнкерское, в субботу наезжает с приятелями. Из окна его комнаты виден погреб — тайный арсенал.

Стон за стеной затих, — кто-то из ребят во сне кричал. Надежда Кондратьевна задремала, разбудил ее возглас: «Мама!» Чей это голос — спросонья она не разобрала, вскочила с постели, трясущимися руками зажгла лампу. В постели метался Гоша, подушка и простыни валялись на полу.

— Захворал, малыш?— Надежда Кондратьевна поправила постель — жара нет, а ребенок корчится.— Где болит?

— Еж в животе.— Гоша всхлипнул.

Надежда Кондратьевна давно уже ничему не удивлялась, в доме росла орава мальчишек.

— Вкусный еж?— спросила она.

— Не е-е-л, сам заполз.— Гоша еще громче всхлипнул.

— И нисколечко не попробовал?— массируя ребенку живот, Надежда Кондратьевна допытывалась:— Волчьими ягодами угощался?

— Крепость на косе строили, там нет волчьих ягод.

Массаж подействовал, боль несколько утихла. Гоша положил голову на колени матери.

— Пил грибной квас.— Надежда Кондратьевна видела, как кухарка Смолкиных вынесла мальчишкам огромный медный ковш.

— Анисимовские пили, а мы с Колюхой по воблине смолотили,— пробормотал Гоша.

Напоив теплым молоком сына, Надежда Кондратьевна перенесла его в большую комнату на диван, прилегла рядом.

Проснулась она поздно. Николай сам разогрел еду, ушел на завод. Приходила чухонка, оставила кринку молока на крыльце.

Собрав завтрак, Надежда Кондратьевна заметила неладное с ребятами: Сергей очень угрюм, глаза воспалены. Коля скрюченный и за стол не сел. Кондратий, вечно куда-то спешивший, ел вяло жареную картошку. Лишь Толя съел свою порцию и попросил добавку. Всяко бывало в большой семье. Коля зимой на ногах перенес инфлуэнцу,— но чтобы сразу заболели четверо...

Кондратий хмурый — понятно: была крепкая взбучка от отца за приятельство с анархистом.

— Соскучился по Венику окаянному? — прикрикнула она на Кондратия, ожидая, что тот вспылит. Тогда будет ясно, болен сын или хмур — с отцом нелады.

Кондратий с отцом жарко схватывался, а матери не перечил, хотя она нередко грозила обломать грязную швабру о бесстыжую голову анархиста, только бы попался ей под горячую руку.

— Животом маюсь,— признался Кондратий.— И Сережке было муторно, подушку грыз. Когда Гошу уносила, мы не спали, притихли, боялись напугать, думали, до ветру побегаем — пройдет.

«Животы у четверых разболелись, с чего бы?» — недоумевала Надежда Кондратьевна. Обед готовила не на особицу. Все ели грибной суп и жареного окуня. Грибы чистые, рыба ночного улова. Строила она дальше догадки: наелись мальчишки вредных ягод в лесу. Набегавшись, пили воду на болоте. Разве сознаются? Причина словно и найдена, но сомнение ее не покидало — Гоша не товарищ старшим братьям.

Она напоила ребят молоком и больше не докучала им расспросами: придет отец со смены — дознается.

У плиты Надежда Кондратьевна перегрелась, захотела пить, кипяченой воды в доме не было. После завтрака Кондратий выбил угли из самовара, празднично начистил и положил на траву проветриться. Зачерпнув ковшом из ведра, она жадно глотнула и отпрянула: горьковата, затошнило, едва добежала до лохани.

Кондратий божился, что ведро ополоснул и воду брал не с протоки, а из колодца. Не связана ли внезапная болезнь сыновей... Предположение страшно, Надежду Кондратьевну схватил озноб. За неделю до пасхи черносотенцы отравили у них корову.

Выплеснув воду из ведра, Надежда Кондратьевна подняла из колодца свежей, попробовала и выплюнула: что-то подмешано. Отравлен колодец?

Мальчишки таинственно исчезли из усадьбы. Дома был только Санька. Он отсыпался после ночной смены.

Надежда Кондратьевна растолкала его, наказала разыскать братьев и вычистить колодец.

Коля, Сергей, Толя и Лева были на озере. Сынишка смолкинской кухарки видел Кондратия и матроса, они пробирались задами к вокзалу.

— Паскуда, больного — и то выманил из дома, — ругалась Надежда Кондратьевна, — не я буду, если не выльют ушат помоев на отпетую голову анархиста.

Сергей и Коля косились на старшего брата, были недовольны, что он их позвал домой: они камнями подбивали к берегу шальное бревно.

— Вычерпайте затхлую воду, очистите колодец и отправляйтесь на все четыре стороны, — прикрикнула Надежда Кондратьевна на бунтовавших сыновей.

Ведей тридцать ребят подняли из колодца, прежде чем вода потемнела.

— Скоро и дно покажется, вода с песком пошла, — определил Санька; он был за старшего — устанавливал очередь, разбирал на ходу возникающие конфликты.

Опустив ведро во взбаламученную воду, пошарив по дну колодца, Коля радостно крикнул:

— Нашел!

Ребята облепили колодец, мутная вода то прятала, то показывала бок жестяной банки. Как Коля ни принаравливался, а не удалось ее зацепить ведром.

Санька разулся, закатывал штанину, Коля с досады, что отберут находку, изловчился, и банка очутилась в ведре.

Вытащив ведро, он не донес до желоба, вылил у колодца. В грязной луже, как большая рыбина, блеснула острыми прорезями прямоугольная банка, Сергей схватил, понюхал.

— В сортире на станции так воняет!

Через прорези банки проглядывался смыленный желтоватый брусок.

На шум выскочила из дома Надежда Кондратьевна. В глазах у нее потемнело, прислонилась к забору. Изверги — отравили колодец. Придя в себя, она отобрала у сыновей банку, заперла в чулан и велела молчать: отец решит, как дальше поступить.

Как назло, Николая оставили на сверхурочные, дома появился близко к ночи. Неярко на кухне светила лампа, но от него не ускользнуло, что жена сама не своя, самовар разжигала будто впервые в жизни.

— Набездобразничали? — Николай кивнул на комнату, где спали старшие сыновья. — Забрезжит — подыму,

заставлю чертей сажень дров порезать, расколоть и сложить в поленницу.

— Чудится, весь день при доме были,— заступилась Надежда Кондратьевна.— Подогреть рыбу? В плите дрова, лучинки положены.

Мальчишки, выходит, не провинились. А что-то в доме случилось. Неужели наведался каретник? Так он прозвал богатого свояка, хотевшего увести Емельяновых от социал-демократов.

Коротким ухватом Николай достал из духовки скороду, взял рукой рыбину.

Надежда Кондратьевна ушла в комнату, разобрала постель, но знала — не уснет; днем она не успела пришить кружева к новым наволочкам, выложила на стол шитье.

Наскоро отужинав, подсел и Николай, выкрутил фитиль в лампе, развернул газету; было не до чтения.

— Давай, Надя, начистоту, а то проворочаешься до утра и мне ночь испортишь.

Надежда Кондратьевна принесла из чулана банку.

— Гостинец подбросили в колодец, вода порченая, Помучились мальчишки, животы расстроились.

Николай понюхал обмылок.

— Дешево отделались. Руку, видимо, приложили те, кто весной корову прикончил. Вкусная вода в колодце, а придется засыпать, близко он стоит от забора. Есть ведь яды — ни на вкус, ни на цвет не распознаешь. Покажу Зофу,— сказал Николай.— Колодец замкну, воду берите у соседей.

Он открыл банку клещами, вытащил остро, тошно-торно пахнущий обмылок.

11

Накануне Свердлов был на явке за Невской заставой, искал надежную квартиру Ленину. Нашел было у старого обуховца, но придется отказаться. Неприятная парочка — кукольная блондинка и юнкер — вязались за ним от самой церкви «Кулич и Пасха». У фарфорового завода Свердлов сел в паровую конку — как только она тронулась, успели прыгнуть юнкер и девица.

Широко раскрыв свежий номер «Биржевки», Свердлов украдкой изучал «ряженных»: топорная маскировка. На девице — платье из темно-вишневого шелка, отделанное дорогими брюссельскими кружевами. Оно долго

лежало в сундуке, острые духи не убили, а только приглушили запах нафталина. У юнкеров считалось особым шиком за стенами казармы лихо заломить фуражку, а у этого сидит, как на манекене в полковой швальне.

Где они его засекли? На явочной квартире? Со старым обуховцем? Свердлов тщательно анализировал каждый шаг, как только вышел из дома.

У самого Свердлова была легальная квартира, но зачем тащить за собой шпиков, открываться? Пока он был в выигрыше, но один неверный шаг — и можно очутиться в худшем положении. Как ему провести ряженных? Надумал он поехать до Знаменской площади и скрыться в толпе Николаевского вокзала. Там-то он хорошо знал переходы и выходы.

Конка подъезжала к Семянниковскому заводу. Неожиданно небо потемнело, в открытые окна вагона хлестнул косой дождь. Вода попала девице за воротник, она вскрикнула, юнкер вскочил и закрыл окно. Свердлов, волоча газету, пересел ближе к выходу. И тут родился план: спрыгнуть с конки за мельницей. В случае погони можно спрятаться в каком-нибудь склепе Александроневской лавры.

Проехали мельницу. За окнами конки надвигались приземистые хлебные амбары, ломовые подводы вытянулись до набережной Обводного канала. Свердлов быстро выбрался на площадку, спрыгнул и шмыгнул за телегу. Когда конка свернула к Старо-Невскому, он нанял мальчишку, рыболова на лодке, перевезти его через Неву на Малую Охту. От ряженных Свердлов скрылся, но вымок до нитки. На ночь принял двойную дозу аспирина, в ноги положил горячую грелку, а проснулся разбитый, охрипший, с тупой головной болью.

В постели перелистал газеты, внимательно прочитывал заметки, в которых писали про ушедшего после июльских событий в подполье Ленина. Репортер «Копейки» взахлеб расписывал похождения ищейки Треф. Знаменитую розыскную собаку водили в дом на Широкой улице, где снимала квартиру семья сестры Владимира Ильича. Обыск проводили оголтелые юнкера. Они прокалывали штыком матрасы, подушки. Писаки восхваляли старшего дворника дома, тот сожалел — не знал-де раньше, что у Елизаровой жил ее брат, Ленин, а то бы сам, своим судом расправился.

— Травля, травля, травля,— повторял удрученно Свердлов, проглядывая «Живое слово». Ленина и большевистскую партию обвиняют в организации вооружен-

ного восстания в Петрограде. Сфабриковано обвинение в измене России.

В Центральный Комитет поступили достоверные сведения, что генерал Половцев, командующий Петроградским военным округом, приказал командиру карательного отряда арестовать Ленина, расстрелять и объявить, что был убит при попытке к бегству.

Объявлена крупная награда за поимку Ленина. В охранке Керенского служат и ловкие сыщики. Неосторожный шаг, полшага... Свердлов так реально представил себе опасность, подстерегающую Ильича!

Сложив газеты, он принял порошок и запил чаем. Головная боль немного поутихла. Свердлов оделся, а на улице опять почувствовал слабость. До Знаменской, где извозчичья биржа, далековато. Он вспомнил — в переулке возле лютеранской церкви частенько караулили седоков петербургские «ваньки».

Под дряхлой липой на козлах дремал извозчик в поношенном кафтане, цилиндре с помятыми полями. Голос у Свердлова громкий и густой, «ванька» встрепенулся, махнул кнутом и подкатил.

Свердлов велел везти на Петроградскую сторону, сказал адрес и больше не замечал ни свежей заплаты на кафтане извозчика, ни улиц, по которым проезжали. Откинувшись на сиденье, он думал о предстоящей встрече. Простлый раз в Таврическом дворце понравился ему приятный, ладно сложенный парень с Сестрорецкого оружейного. Удивительные у него глаза — серо-голубые, лучистые. Хотя Зоф молод, но уже сидел в тюрьме, знает законы конспирации. Кубяка на мякине не проведешь, обстрелянный подпольщик, а завидную дал рекомендацию: «Вячеславу Ивановичу Зофу можно доверить большую и малую тайну. На каторгу и виселицу пойдет во имя революции».

— Приехали, барин-гражданин-товарищ, прикажете ждать? — Извозчик приспособлялся к сложной обстановке в столице. Позавчера он назвал седока товарищем — тот вместо платы за проезд дал оплеуху.

Свердлов отпустил извозчика. Бросив хозяйский взгляд на зеркальные окна второго этажа, он энергично, как к себе домой, вошел в парадную. Убедившись, что за ним нет слежки, выбрался через проходной двор на соседнюю улицу и юркнул на лестницу низкого трехэтажного дома.

Зоф на явку пришел точно. На нем была желтая нанковая блуза, черные брюки, заправленные в пропы-

ленные сапоги. Кепку он не оставил в прихожей,— она бы очень выделялась на вешалке. Он не знал, что парадную фуражку старшего морского офицера, котелок и мягкую шляпу с широкими полями и пучком страховых перьев купила квартирная хозяйка на Александровском рынке. Важно было любопытным соседям, домовладельцу показать, что здесь проживает семья с достатком и положением.

Взяв Зофа за локоть, Свердлов провел его к окну, усадил в жесткое кресло, себе придвинул венский стул и спросил:

— Нашли?

— На квартиру к мастеровому Емельянову Николаю Александровичу предлагаю поставить. Живет он в Разливе, в Новых местах, вроде и на отшибе, а до станции рукой подать. К усадьбе выходит протока, на лодке можно перемахнуть через озеро, а там безлюдные места.

— Знакомая фамилия, припоминаю. Игнатьев когда-то рассказывал. Это тот Емельянов, что оружие переправлял из Финляндии? Кажется, у него брат Иван сидел в Шлиссельбурге?

— У Емельяновых два брата были на каторге. Василий недавно возвратился из Нижней Туры. Сидел в тюрьме и находился в ссылке и сам Николай. На Шпалерную забирали их отца. Дом старого Емельянова на Никольской красным прозвали.

— Значит, подполье у Емельяновых надежное.

— Убежища надежнее сейчас не знаю,— сказал Зоф.— Это мнение партийной организации завода. В доме Николая в девятьсот пятом был штаб боевой дружины, в сарае — подпольная мастерская, где собирали винтовки. Надежда Кондратьевна, его жена, динамит переносила с берега Финского залива домой. Виселицы не боялась, а у нее в ту пору были сыновья мал мала меньше.

— Детей у Емельяновых много?— насторожился Свердлов.

— Бог не обидел, семеро, и все парни.

— Семеро!— воскликнул Свердлов.— У каждого по закадычному приятелю, а то и по два... Это же не дом, Вячеслав Иванович, простите, проходной двор.

— Несовершеннолетних шесть,— уточнил Зоф.— Александр, старший сын, в Красную гвардию записался. Остальные тоже в емельяновскую породу — в родителей, деда и прадеда.

Большая семья Емельяновых пугала Свердлова. «Нашли подполье»,— скажут в Центральном Комитете. И обижаться нельзя, правы товарищи. В то же время он сознавал, что надежнее убежища, чем Разлив, сейчас у партии нет. Сестрорецк — это то же, что и Выборгская сторона.

— Доложу, что товарищ Зоф ручается за надежность подполья,— сказал Свердлов.

— И не только я,— поправил Зоф.— Поручительство дает партийная организация оружейного.

Подполье требуется найти поблизости от Питера и границы. Ленину надо не только скрываться от преследования Временного правительства, но и много работать, руководить партией, готовить вооруженное восстание.

— Не скидывайте со счетов соседство подполья, кругом живут оружейники,— отстаивал свое предложение Зоф.— Чуть ли не в каждом доме красногвардеец, а если подсчитать сочувствующих большевикам...

Последний довод — окружение подполья — подействовал на Свердлова.

— У Емельяновых что за хозяйство? Как расположено?— поинтересовался он.— Нарисуйте дом, подходы с озера, от протоки, железной дороги.

— Рисую — хуже нельзя,— отказывался Зоф.

— В передвижки не прочу, не упускайте мелочи, они важны,— требовал Свердлов.— В подполье все нужно предусмотреть. В случае опасности — как незаметно скрыться.

— Надел у Емельяновых от казны — сто восемь саженей. На участке два дома, сарай с удобным чердаком — он может служить и жилой комнатой. На чердак вход — по внутренней лестнице. С улицы усадьбу прикрывают березы, со стороны протоки — ели. На участке много сирени. Можно скрытно пробраться к воде и на лодке выйти в озеро. Ближе и приморская дорога, недалеко от станции — дом командира сотни Красной гвардии Паншина, а у самого леса живут Повалевы, у них можно укрыться.

— Убедили,— сказал Свердлов,— жизнь торопит, Ленину в Петрограде дольше оставаться нельзя. Подполье в Разливе пока лучшее из того, чем располагаем. Но очень велика ответственность, учтите!

Свердлов постучал кулаком по острой коленке, помолчал, проверил, какое впечатление произвели его слова на собеседника, а тот был спокоен.

— Понимаете, Ленину нужно безопасное и близкое к столице подполье,— опять заговорил Свердлов.— Страна накануне важных событий.

— От Сестрорецка до Петрограда и до Центрального Комитета двадцать восемь верст,— заговорил Зоф,— по-моему, это близко. От охраны до подполья в Новых местах — тысяч тридцать верст, пожалуй, с гаком наберется. Я бы вот так считал версты.

— Буду голосовать за подполье в Разливе,— надеюсь, в Центральном Комитете одобрят арифметику товарища Зофа.

Свердлов тут же набросал план связи Петрограда с подпольем у Емельяновых и спросил Зофа:

— Где тонко? Опасно? Ругайте, не обижусь, лучше сейчас поправить.

— Есть одно обязательное условие,— сказал Зоф и замялся.— Тайна остается тайной, когда меньше людей ее знают.

— Разумно,— похвалил Свердлов,— требуется еще и невидимая охрана.

— Посторожим,— заверил Зоф.

Провожая Зофа в прихожую, Свердлов сказал, что, возможно, в подполье уйдет вместе с Лениным еще кто-нибудь из Центрального Комитета, скорее всего Зиновьев.

12

На дворе емельяновской усадьбы Зоф построил мальчишек в шеренгу, велел рассчитаться на первый, второй. Первые номера получили жестяную коробку с леденцами, вторые — картуз пряников.

— Чужих балуешь, своими пора обзаводиться,— встретил Зофа на крыльце Николай.— В твои годы у нас с Надей была семья, один пешком под стол ходил, другой за подол держался, третий в люльке качался.

— Не мешает и мне занять мальчишку, похожего на Кондратия,— сказал задумчиво Зоф.

— Сразу в штанах навывпуск, минуя пеленки,— поддел Николай, но его поразила грусть в глазах Зофа, и он заговорил сердечнее:— За чем дело стало? Королеву сосватаем.

— Ни свата, ни свахи мне не потребуется, нашел бы, что сказать суженой, а жениться повременю,— сказал Зоф,— в моем положении долго ли угодить в тюрьму,

— Примеряйся я на Шпалерную и Александровский централ, остался бы бобылем,— возразил Николай.— Моя Надя тоже не подвержена страхам тюремным, у нас наследников целое отделение. Растут, поверь, не царевы слуги.

Тепло взглянув на сыновей, шумно деливших монпансье и пряники, Николай увел Зофа в дом.

Надежда Кондратьевна догадалась, что Зоф зашел не у самовара посидеть. Чтобы соседи не шмыгали туда и сюда, она налила ведро горячей воды, подоткнула подола юбки и принялась скрести и мыть крыльцо.

— Выставлен караул,— похвалил жену Николай.— Надя умеет без затей отваживать любопытных, полюбуйся, как отгородилась,— он кивнул на подоконник, заставленный цветами.

— На том и я строил у Свердлова защиту подполья в Разливе,— сразу заговорил о деле Зоф.

— Спрячем Ленина надежно. Как Яков Михайлович отнесся?

— Что скрывать, колебался.

— Не доверяет?— насупился Николай.

— Вот уж чего не было в нашей беседе, так это недоверия,— перебил Зоф.— Свердлову известно, что Емельяновы были на плохом счету у полиции. В доверии тебе не отказывают, но в Центральном Комитете думают, прикидывают, более конспиративного подполья еще не требовалось партии. Свердлов за Разлив, тревожит его: мальчишек в доме многовато, а коли присчитать их приятелей...

— Не бобыли с Надей и живем не на острове,— обидчиво сказал Николай.— Неужели в Центральном Комитете не поймут такой житейской истины — большая семья не помеха для подполья. Ребята мои не болтливые, на дню раз-другой на дворе в казаки-разбойники сыграют, «чижика» погоняют, так это снимет малейшее подозрение. Кто же в здравом уме станет устраивать тайную квартиру в таком содоме?

— Те же доводы и я выставял.

— Колеблются...

— Торопишься, все правильно решат в Центральном Комитете, но не доведись беды, а то твоя и моя голова...— предупредил Зоф.

— И третью присчитай.

— Третью?— удивился Зоф.— Чью?

— Надину,— сказал Николай и с хитринкой посмотрел на Зофа.— Не волнуйся, будут целы наши головы.

В моей семье умеют хранить партийные тайны. Два большевика. Надя еще при Клопове вступила.

— А Санька не в счет?— Зоф прищурил глаза, поправился:— Александр Николаевич.

— Вступил?— спросил Николай.

— Будто и не знал,— сказал Зоф и перевел разговор.— Коли с нами согласятся в Петрограде, прикинь, где поместить квартирантов. Рассчитывай, двоих к тебе поставят. И что это ты ремонт затеял не ко времени?

Николай подошел к окну и подозвал Зофа.

— Ремонт с весны затеял, не отменишь, а подполье есть где устроить,— он показал на сарай.— Два этажа.

Зоф взглянул через его плечо. Сарай стоял у самой калитки. Сыщикам и карателям вряд ли придет в голову искать здесь Ленина.

— Подполье на чердаке?— Зоф улыбнулся.— Ну, жди команды!

Прошло два дня, Зоф подстерег Николая в тихом проходе мастерской.

— Встретишь квартирантов в Новой Деревне и на «веселом» поезде привезешь к себе,— сказал Зоф.

— Поздно, ночь,— возразил Николай.

— Так решил Свердлов,— перебил Зоф,— он делает все обдуманно.

На «веселом» поезде возвращались в часть солдаты, офицеры, кутилы-дачники, загулявшие в столице приказчики и мелкие чиновники.

Надежда Кондратьевна подготовила брюки, куртки: придется переодеть Ленина. Она надеялась, что муж сможет ей по росту отобрать одежду: в апреле в Белоострове он встречал Ленина.

— Прикинь, не надо ли укоротить брюки?— спросила Надежда Кондратьевна.

Николай махнул рукой: успеется.

На Приморский вокзал Николай приехал заранее, купил билеты, присмотрелся. В зале ожидания слонялись и спали на лавках солдаты, похоже — без увольнительных, здесь ожидать поезда Ленину опасно — можно угодить в облаву. Выбрался Николай на улицу, побродил по товарному двору. Нашел, как, минуя вокзал, провести Ленина прямо к платформе.

Подозрительных из охранки не заметил Николай на сонном вокзале, а волнение нарастало; только здесь, на привокзальном дворе, он почувствовал ответственность, о которой так настойчиво напоминал Зоф.

К платформе подали «веселый» поезд, началась посадка. Ленина все не было. Николай заволновался — не опоздали бы. Наконец на Новодеревенской набережной, неподалеку от Строгановского моста, он увидел несколько человек.

Хотя Владимир Ильич очень изменился — без усов и бороды, и одежда необычная: недорогое рыжеватое пальто, какие носили финские крестьяне, и темно-серая кепка, — Николай узнал его издали.

Ленин шел с человеком повыше ростом, одетым тоже скромно. Несколько поодаль — двое штатских и матрос. Их обогнала запыхавшаяся женщина, она спешила к ночному поезду.

Кто же из четверых — второй квартирант? Недалеко от вокзала от второй группы отделился человек, прибавил шаг. Николай догадался, что это был Зиновьев. Сопровождающие и матрос пошли несколько медленнее, издали наблюдая за Лениным. Пока ему не угрожала опасность.

Через товарные ворота Николай вывел своих квартирантов прямо к последнему вагону, поезд тронулся. Ленин сел на подножку — так поступали мастеровые, когда хотелось выкурить папиросу.

Поезд набирал скорость, вагон покачивало, пугливо билось о стекло фонаря робкое пламя свечи. Николай выбрал скамью у входа, сел так, что загородил проход. Он видел, как Ленин, надвинув кепку на уши, поеживался от встречного ветра, но позвать не решился: на площадке безопаснее, если появится юнкерский патруль, можно незаметно спрыгнуть. В вагоне на соседней скамье дремал калека-солдат, чуть дальше сидели два пожилых офицера, трезвые, негромко беседовали. У одного на коленях лежала газета.

Миновали Лахту. Никто не сел в последний вагон и на Раздельной. Вряд ли будет посадка в Горской. Когда «веселый» вышел из Тарховки, Николай ободрился: теперь, считай, уже дома.

Осмотрев большой дом, баньку, сарай, навес, кусты сирени, пройдя по дорожке к протоке, Владимир Ильич попросил устроить жилье ему и Зиновьеву в чердачной комнате, заметив при этом, что он любит спать на свежем сене.

Николай перенес наверх стол, стулья. Надежда Кондратьевна накрыла простыней сено, положила одеяла легкие и потеплее — ночи в июле бывают холодные.

Владимир Ильич остался доволен:

— Убедился, схорониться у вас можно. Уживемся и с ребятами. Умеют молчать?

— Надя постаралась, сорванцы ее слушаются, меня — меньше, — сказал Николай.

— Управляемая ватага — плюс, — Владимир Ильич поклонился Надежде Кондратьевне, — остается договориться, как людей ко мне пропускать; будут наведываться товарищи из Петрограда.

— По паролю, — сказал Николай. — Надежные слова придумает Яков Михайлович.

— Так, так, — повторил Владимир Ильич, в чем-то он сомневался. — Пропуском служит пароль, а надежно ли?

— Впросак не попадем, кое-чему научились в пятом и шестом у Григория Ивановича из Ахи-Ярви и Андрея.

Владимир Ильич снова пронизательным взглядом окинул двор, молодые березы, кусты сирени, сарай, сказал твердо:

— Обстановка не позволит пользоваться только паролем: Свердлов не всегда успеет оперативно его менять, а, возможно, события потребуют неотложных решений. «Правде» срочно потребуется статья.

— В подполье собираетесь работать? — удивился Николай.

— И много, — не задумываясь ответил Владимир Ильич, — революция, Николай Александрович, продолжается, важно не упустить...

Он не договорил, но Николай догадался, что Ленин имеет в виду. Таким неутомимым, нацеленным на вооруженное восстание он был и одиннадцать лет назад на даче «Ваза» и в Териоках. Жизнь у человека на волоске, а он готовится, выбирает месяц и день, когда лучше восставшему народу свергнуть Временное правительство и захватить власть в стране.

— Пройдите к тому кусту, — услышал Николай будто издали голос Ленина.

Куст сирени, на который он показывал, навис над дорожкой, ведущей к протоке.

— Поговорите с женой, — попросил Владимир Ильич и скрылся в сарае.

— Надя, — начал негромко Николай, — гусеница лист пожирает.

Он перевернул чистый, в каплях росы лист.

— Ах, господи, увядает, — воскликнула Надежда Кондратьевна, сокрушенно покачивая головой. — У Смолкина попроси порошка, он из Швеции выписывает,

— В хозяйственной лавке найдется отравка, а нет — так на Пески схожу, там запасливые мужики живут, — ответил Николай.

В проеме чердака показался улыбающийся Владимир Ильич. Сбежав вниз, он позвал в сарай обоих супругов.

— Чудесно придумали, это надежнее пароля, — оживленно заговорил Владимир Ильич, — кто бы ни приехал из Петрограда, приглашайте во двор, подводите к этому кусту сирени и начинайте расспросы про погоду, дороговизну. А я тем временем скрытно разгляжу — щелей в сарае предостаточно, — свой ли человек приехал. Дам знак — пропустите.

— Голос мой слышен? Может, нужно погромче? — спросила Надежда Кондратьевна. — К дому-то я представлена.

— Слышно. Есть просьба, старайтесь, чтобы приезжий стоял лицом к сараю.

Ленин попросил покупать ему каждое утро газеты. Семь названий записала Надежда Кондратьевна, а он добавил еще «Копейку» и «Маленькую газету».

— Я затворник, а знать должен, что происходит в столице и на фронте, какая ситуация в деревне, на заводах и фабриках, чем заняты министерства Керенского. Что происходит у эсеров, меньшевиков, октябристов, кадетов. Что происходит и по ту сторону границы.

И часа Владимир Ильич не потратил на устройство в сарае. Позавтракав, сел за стол. В первый же день он написал статью «Политическое положение», в которой поставил вопрос о всемерной подготовке к вооруженному восстанию в России.

Чтобы не бросалось в глаза, Николай велел сыновьям газеты покупать в Разливе, Тарховке, Сестрорецке, Курорте, а иногда ездить и на Раздельную. Все было учтено — так казалось Надежде Кондратьевне. Но первая же вылазка за газетами не обошлась без происшествия.

В Сестрорецке на станции Сергей купил «Биржевку», стоявший неподалеку рабочий схватил его за шиворот, отвел за товарные вагоны, — оружейники бойкотировали буржуазные газеты, — учинил допрос, кто у Емельяновых читает продажный листок. Сергей соврал, что гость Смолкиных подрядил за «Биржевкой».

Отругав Сергея, рабочий проследил, чтобы он выбросил газету в уборную, пообещал: если еще раз поймают у газетчика, надерет уши и стащит к отцу. С пустыми

руками вернулся Сергей домой. Надежда Кондратьевна сама на поезде съездила в Раздельную и там купила «Биржевку».

Вечером она составила новый маршрут. Сергей в Курорте купит «Новое время». Там живут богатые дачники. Коля сбегает в Сестрорецк за «Речью». «Биржевку» и «Маленькую газету» взялся доставить старший сын. Кондратию поручили в Ермоловке купить «День»...

13

Пожилой солдат выбрался последним из вагона. Скатка была надета через плечо, к ремню прицеплена фляга в шинельном сукне. Видимо, он возвращался из лазарета.

Сойдя с платформы, солдат постоял, в задумчивости достал кисет, скрутил сигарку, выкурил и не спеша направился к центру. Пройдя церковь Петра и Павла, свернул к рынку. На Никольской он постучался в дом Емельяновых, попросил напиток.

Варя подняла из колодца ведро. Прильнув к ковшу, солдат косил глаза на девушку; чувствовалось, что ему надо о чем-то спросить — и колеблется.

— Кого благодарить?— решил он наконец, не выпуская ковша.

— В колодце воды не ubyло.

— Чья будешь-то?— спросил солдат.— Батка на оружейном?

— Помер отец, брат там старший Николай, а недавно и Ваню назад взяли.

— Рассчитан был. За что?

— С каторги вернулся.

— По какой статье судили?

— И не знаю,— смутилась Варя.— И Вася был забран. В Нижней Туре на каторжном приiske.

— За какую провинность братья каторгу отбывали?— солдат наводящими вопросами помогал Варя.— За грабеж — то уголовные, литературу запрещенную распространяли, бастовали — то политические.

— Про книги ничего не скажу, а винтовки тайно с отцом они собирали. Соцкий про наш дом и брата Николая, что в Новых местах, приставу доносил. При царе обыски были, со счета сбились,— разговорилась Варя.

— Политические твои братья,— сказал одобрительно солдат и спросил:— Фамилию-то какую носишь?

— Емельяновы мы.

— Справедливая фамилия. Емельяном самого Пугачева звали.

Солдат вытащил из-за голенища воблину, протянул Варю.

— Бери, красавица, гостинец, не обижай. В деревне у самого две невесты растут.

Варя взяла воблину, солдат помолчал, спросил:

— Новые места далече отсюда?

— В Разливе, через пеший мост перейти, влево взять.

— Временем таким не располагаю, Ивана и Василия вызови на двор.

Солдат повесил ковш на ведро и сел на траву. Василия не было дома, Ивана еле растормошила Варя. Накинув на плечи парусиновую куртку, босой, выбрался он на двор. Солдат кивнул: садись. Иван пригласил его на скамью под рябиной. Затем Иван переоделся и ушел с солдатом.

Задами Иван привел солдата к дому, где жил Восков.

— Тут, как на духу,— предупредил он солдата.— Восков недавно у нас, но кремень. Зофу, партийному секретарю, первый помощник.

Восков был дома, разжигал плиту. Глянув в тайный глазок, он увидел Ивана, провел его и солдата в небольшую, скромно меблированную комнату. Две трети обеденного стола занимали книги и газеты.

— Откуда товарищ?— спросил Восков у Ивана.

Солдат снял скатку, приставил к стене, сам представился:

— Рядовой запасного батальона Финляндского полка, фамилия секретная, к их благородиям в полевой суд не имею никакого желания угодить.

— Моя фамилия не секретная,— засмеялся Восков и назвал себя.— Должность моя всегда на людях.

— Слышал от Емельянова, председателем завкома на ружейном?— Солдат в чем-то сомневался. Помолчав, спросил:— Властью от мира наделен?

— Мандат представить?— пошутил Восков.

— Не первому же встречному передать, что здесь храню,— солдат постучал большим покалеченным пальцем по голове.

— Обществом избран товарищ Восков,— подтвердил Иван, крайне удивленный: солдат просил проводить к кому-нибудь из ответственных Красной гвардии. Чем же вызвано недоверие?

— Проверочки достаточно устроил, теперь слушайте. Пришел я не от социал-демократов, и к большевикам не причастен, сам по себе,— заговорил солдат вдруг мягко, душевно:— С брусиловского прорыва воюю... Как и крестьянствовать — позабыл, кобылу не запрягу.

Ивану не терпелось поправить солдата: путаница у него в голове,— заметив же в глазах Воскова не удивление, а улыбку, промолчал.

— Ненароком узнать довелось: из нашего батальона карателей назначают,— продолжал солдат.— Велено разоружить вашу Красную гвардию. Велено не церемониться.

— Патронов не жалеть, так?— спросил Иван.

— Приказ не читал, врать не буду, а слышал: коль забунтуете — велено не щадить ни правых, ни виновных,— говорил солдат.

— Кого у нас усмирять?— прошупывал солдата Восков, хотя и верил ему.— Живем мирно, буржуям в курзале немножко нервы пощекотали — сами виноваты. На даче, где кондитерская, граммофон завели, пластинку поставили: «Боже, царя храни», а Грошиков, купец, додумался: когда погибшего артиллериста хоронили, вывел на террасу шансонетку и цыгана с гитарой.— Восков женским жестом оттянул штанину, насмешливо пропел:— «Смотрите здесь, смотрите там...» Парень из замочной надавал по роже купчишке, смазал и птичке певчей, а цыгана в лягушачий пруд загнал.

— Эка вина,— вставил Иван,— припугнули буржуев, и вот уже карателей шлют. Не при царе живем.

— У Сашки четвертого тоже есть подневольные,— сказал с горечью солдат.— Прикажут — и пошли, слушаешься — под свою или германскую пулю поставят. Вот и погонят у вас винтовки отбирать.

— Винтовок много в арсенале,— хитрил Восков.

— Про те, что под замком, Керенский не печется, велит изъять те... на чердаках, в сараях, что под полом спрятаны.

— И много припрятано?— Восков не спускал глаз с солдата: не подослан ли? Нет, свой, обстрелянный, обмундирование поистерлось, руки мужицкие, натруженные.

— Около тысячи винтовок насчитали, коль не будете дураками, фигу на постном масле увезет штабс-капитан Гвоздев.

Солдат принес важные сведения. Петербургский комитет партии большевиков своевременно предупредил

Кубяка, Зофа и Воскова, что июльские события сорвали маску с Временного правительства. Керенский ни перед чем не остановится, чтобы разоружить Красную гвардию Сестрорецка.

— Ждите, в ночь на одиннадцатое нагрянем. Дорога автомобильная облюбована, идем на Белоостров. Приданы бронемашинны. Больше ни о чем не спрашивайте, не знаю, а выдумками не страдаю,— солдат вытащил из-за голенища кисет, сделал самокрутку в палец толщиной, прикурил от зажигалки и попросил Ивана задержаться у Воскова.— Доберусь до станции. Патруль задержит — отбредусь.

Выпустив из квартиры солдата, Восков вернулся.

— Взаправду потянуло порохом,— сказал он и озбоченно повторил слова солдата:— Около тысячи винтовок...

— Накостыляем,— сказал Иван и погрозил кулаком. Восков тоже поднял кулак и сразу опустил.

— Драку не резон затевать. Кровь прольют — слышал от солдата, броневики приданы, как на германца идут.

— Людей жаль терять,— согласился Иван и тут же возразил:— Сложна руки сидеть оружейникам?

— Керенский на коне, верят ему еще, он ведь призывает русскую землю и отечество защищать. Чтобы выиграть у карателей,— тихо говорил Восков,— придется нам чем-то поступиться.

— Сдать винтовки?— перебил Иван.— Это же предательство!

— Кутузов, сдавая Москву Наполеону, сохранил армию и Россию,— назидательно начал Восков и расхохотался, самому смешным и глупым показалось сравнение: Наполеон и Керенский. Полководец и брехун-адвокатиска. Успокоившись, он заговорил серьезно:— Кутузовская мудрость нужна и в малом деле...

— В штабе карателей известно, сколько у нас винтовок,— разволновался Иван.— Кто-то донес.

— Возможно, и списки завели,— задумчиво сказал Восков.— Не сдадим винтовки — возьмут заложников, с обыском пойдут. Надо перехитрить карателей.

Восков вынул из буфета чай в железной коробке, похвастал:

— Настоящий китайский, составишь компанию?

— Да нет. В половине шестого вставать. Понадобимся с братом Василием — мальчишку соседского пришлите.

— Глупо бежать, человек, от чая с деревенскими колобками, из Райволы посылочку привезли.

— Тороплюсь, мамаша переполошится, ей все мерещится, что сыновья опять в ссылку и на кааторгу угодят.

— На то Поликсенья Ивановна и мать, много горя хлебнула, но она не трусиха,— заступился Восков и продолжал:— Спать сегодня придется на тычке. Посоветуюсь с Зофом, зайдем вместе к Грядинскому. Он у нас главный в Красной гвардии. Пока суд да дело, винтовки емельяновского десятка спрячьте в Тарховском лесу, подальше от дома, порченые и берданки оставьте, сдадим карателям.

— Нашего Николая предупредить?

— Зоф просил в тени его оставить.

Ушел Иван, Восков наскоро выпил стакан чаю и задворками пробрался к Киршанским. На квартире у них стоял Зоф.

...В эту ночь в оврагах близ Финского залива, под Тарховкой, на Гагарке, Угольном острове были спрятаны сотни винтовок, ящики патронов спустили в склепы на старом кладбище, зарыли в дюнах.

14

Одиннадцатого июля ночью к станции Белоостров подошли броневики и военные грузовики. Без шума и шуток слезли солдаты с машин. Курили молча, словно в зале ожидания лежал покойник. Коменданту станции, человеку трусливому, померещилось, что Сестрорецк опоясан окопами. И Гвоздев не наделен был храбростью. Он отложил вступление в город оружейников до утра и связался со штабом Петроградского военного округа, попросил прислать подкрепление — роту броневиков.

В пять десять к Белоострову подошли еще четыре броневика. Гвоздев вызвал по телефону командира батальона Финляндского полка и доложил:

— Выступаем на мятежный город. Внезапность, к сожалению, утеряна, у бойни и кирки баррикады. Иду в головной машине.

Каратели держали винтовки наготове. Заросшие дюны таинственно молчали, только лось испуганно метнулся с болотной низины через дорогу и пропал в кустарнике.

Сонной была Выборгская — главная улица. Где же

засады? Гвоздеву было муторно: прознают в штабе, сраму не оберешься — выпросил подкрепление.

В эту теплую белую ночь Сестрорецк не спал, он только притаился. Чуть приоткрыв занавески, жители наблюдали за карателями.

Гвоздев тишину в городе приписывал страху. В до-несениях он усложнял обстановку. «Захватили телеграф и почту», «Штаб Красной гвардии в наших руках», «Большевики подавлены и растеряны», — докладывал он по телефону в Петроград.

Ровно в шесть утра броневики взяли под прицелы пулеметов главную проходную завода. Гвоздев предъявил ультиматум: немедленно сдать спрятанные винтовки, револьверы, гранаты и патроны. Он пригрозил: «За укрывательство оружия виновные будут осуждены по закону военного времени».

Завком принял ультиматум с условием, чтобы каратели не проводили обыски в домах. Было оговорено, что никто из оружейников не будет арестован.

Гвоздев скрепил эти условия словом офицера. В семь утра он вызвал к телефону командира батальона, похвастал:

— Среди здешних головорезов началось брожение. В конторе обыватель, пожелавший остаться неизвестным, передал мне списки зачинщиков. На листе из бухгалтерской книги выписаны десятка три фамилий мастеров, которые, по мнению заявителя, припрятали винтовки. В списке Грядинский, Андреев, Зоф, Восков, Афанасьев, Никитин, Киршанский, братья Емельяновы...

По команде завкома рабочие приносили на площадку к проходной винтовки, но мало было годных, больше неисправных — то без магазинной коробки, то со сбитой прицельной рамкой, то с треснутым прикладом. Несли берданки и ржавые дедовы ружья, заваливавшиеся на чердаках. Не обошлось и без курьеза. Богатая домовладелица с Третьей Тарховской привезла на извозчике новенькую винтовку и уйму патронов. Зоф от досады кулаки сжимал:

— Эка шляпа-растяпа.

Киршанский шепнул:

— Не пори горячку, это офицерша, мадам перестаралась.

Оказалось, что она сдала винтовку и патроны, припрятанные мужем, офицером Преображенского полка.

В два часа дня был получен приказ из штаба военного округа: доставить отобранное оружие и главных

большевиков в Петроград. Гвоздев даже не заикнулся о принятом им условии.

Зофа предупредил Киршанский, а сам не успел скрыться. Два солдата схватили его за руки и бросили в грузовик, там уже были Восков и Никитин, потиравший ушибленное плечо. Рабочие окружили машину с арестованными. Послышались гневные крики: «К позорному столбу Керенского!», «Вон, каратели!» Гвоздев дал знак водителю броневика оттеснить толпу. Долго ли последовать команде: «Огонь!» Восков оттолкнул от борта конвоира, быстро заговорил:

— Товарищи, сейчас важно спокойствие и благоразумие. Нас скоро отпустят, штабс-капитан поручился словом офицера.

В просьбе Воскова был приказ — не поддаваться на провокацию, главное сделано: винтовки и патроны отряда Красной гвардии надежно перепрятаны.

В штабе округа разглядели хитрость оружейников, Гвоздева выругали, приказали продолжать поиски.

Официально не было объявлено, но в Сестрорецке ввели осадное положение. Ночью и днем патрули карателей не покидали улицы, вокзал. У почты, телеграфа, арсенала и заводской проходной дежурили броневики. Патрули прочесывали близлежащие леса.

15

Громоздкий мужчина в табачного цвета тройке, постукивая тростью, прошел в старый дом Емельяновых. Вскоре он оказался на крыльце, постоял в раздумье, затем направился к протоке. Приподняв тростью веревку с мокрыми простынями, он, однако, не отважился пролезть: просвет между бельем и землей был мал для его тучной фигуры. Встав на носки, он негромко крикнул:

— Ау! Кондратьевна, ау! Зятя желанного принимай!

С протоки доносились шумные всплески воды, мужчина, вложив пальцы в рот, посвистел. Белье на веревке чуть колыхнулось, придерживая край простыни, показалась Надежда Кондратьевна — руки по локоть в мыльной пене.

— Девчонку б родила — помощница была бы в доме, а то натаскала одних сорванцов и маешься, — сказал он.

Надежда Кондратьевна недолюбливала мужа своей сестры Полины, владельца каретного двора в Петрогра-

де. Константин Павлович по взглядам и делам — монархист, хотя и не состоял в партии октябристов. После трагедии у Зимнего дворца он вроде полевел, почтывал листовки, прокламации, брошюры, в которых поносили царя и двор, в своих же «реформах» переустройства России он не шел дальше конституционной монархии. Случалось, придя в гости к Емельяновым, он навязывал спор и уходил рассерженный, хлопнув дверью.

— Мальчишки баклуши не бьют, — заступилась за сыновей Надежда Кондратьевна, — отцу помощники, камня понавели из Лахты, лавочник купил на фундамент. Зиму без покупных дров прожили, — в заливе ребята наловили. По весне Кондрат и Толя протоку от дома до озера вычистили.

— Небалованные они у вас, не то что городские, — уступил Константин Павлович. — А где твой-то горюн?

— Мережи на Сестру поехал проверять. В лавке и лабазе нынче не больно-то глаза разбегутся, пустые полки. У мародеров к пайку прикупить — не по нашим капиталам.

Константин Павлович согласно кивнул, а думал совсем о другом.

— Повлияй, пока не поздно, на муженька, — не удержался, сказал он, — обольшевичился от головы до пят. Без тебя тут заезжал к Поленьке и ко мне пить чай, тихо беседуем, я толкую, что германца нужно вышвырнуть с русской земли, гнать до окаянного Берлина и дальше, а твой затвердил: кончать войну — и баста, словно у Вильгельма на жалованье. Я возьми это и скажи, а он взял за грудки. Поля из ведра на нас плеснула.

— И не подумаю отговаривать: год-два протянется проклятая война, у нас старшего заберут в солдаты, а там постригут Кондратия. Спрашиваю: нам-то, Емельяновым, чего с германцами делить?

— В погибель затягиваешь семью. — Константин Павлович вскинул руку, перекрестил Надежду Кондратьевну. — Хочу по-родственному предостеречь. Разброд у них и шатанье. С меньшевиками раньше цапались, а теперь между собой схватились.

— Никудышная, Константин Павлович, из тебя гадалка.

— Ума и капиталов ни у кого не занимал, от Поли знаешь — мой каретный двор преуспевает. — Константин Павлович огладил наметившееся брюшко. — И твоему.

хозяину пора собственное заведение открыть, начать, может, с мастерской ремонта механической утвари. Дальше, бог даст, скопит денегат, при займет, по-родственному и я ссужу без процента, помогу открыть фирму — охотничьи ружья Емельяновых. На рубль вложенный — верных пятнадцать прибыли возьмет. Приказчиков и мастеровых вам не надо брать и мучиться с ними, своей семьей управитесь. Вот чем ему надобно заняться, а он в политику лезет. И чего твой нашел в Ленине? Не пойму! Конторщиком этот большевик придет наниматься в каретный — не возьму.

— Ленин... кон-тор-щиком,— возмущенно протянула Надежда Кондратьевна. Она сейчас боялась, как бы не бросить невольный взгляд на сарай. Ей неприятно: Владимир Ильич, конечно, слышит разговор, поскорее бы выпроводить с усадьбы ошалевшего дуралея.

— На коленях пусть просится, за половину жалованья не возьму.— Константин Павлович самодовольно качнулся на каблуках.— Знаком, видел Ленина,— неожиданно он показал тростью на сарай.

Надежда Кондратьевна побледнела, но зять не заметил, он пыжился, важничал, теперь его было не остановить.

— Ближе видел, чем тот куст сирени. Вчера в трактире на Песках засиделся мой кучер. Захожу поторопить, а за столом Ленин с толку служивых сбивает: штык, мол, в землю и расходись по домам. Разглагольствует так и сяк, наделяет солдат деньгами. Не из своего, знамо, кармана. На двадцать кайзеровских миллионов можно пошиковать.

— Сбавили до двадцати тысяч,— перебила Надежда Кондратьевна.— Мой читал белиберду в каком-то грязном листке, ох и повеселился, соврать-то складно не умеют.

У Надежды Кондратьевны отлегло от сердца. Незваный гость не знает, что Ленин от него в нескольких шагах.

— Не считал, пусть и не двадцать миллионов, но деньги-то явно немецкого происхождения, а твой правдолюбец в петлю лезет за Ленина. У истинно русского человека от его разглагольствований уши вянут.

— Заяви в охранку Керенского, хорошие наградные получишь,— серьезно предложила Надежда Кондратьевна,— вложишь сребреники в свое заведение, затмишь каретный двор Грачева.

Сквозь загар проступила краска на щеках Констан-

тина Павловича. Закнаясь, чего раньше за ним не замечалось, он обиженно выговаривал:

— Доно-о-осчиком, суда-рыня, не бы-ыл, не... буду... Я челове-ек порядочный.

Гостеприимная Надежда Кондратьевна и чаю не предложила. Выпроводив зятя с усадьбы, она опустила щеколду на калитке. И только тут почувствовала, что у нее стучит сердце. Чем бы ей заняться, чтобы прийти в себя? Она оглядела двор: веревка с бельем провисла, простыни касались земли. Шагнула раз-два, и навалилась страшная усталость.

Надежда Кондратьевна присела на ступеньку крыльца, уронила голову на руки, забылась на несколько секунд, успокоилась, обругала себя: ей из-за паршивого каретника сердце рвать. Она открыла глаза и обомлела. На чердаке, приоткрыв дверь, стоит Владимир Ильич, улыбается и машет рукой, к себе зовет.

— Откуда сей ископаемый?— поинтересовался он.

— Вроде свой, сестры муж. Каретный двор в Петрограде держит, слышали, наверно, про Кузнецова. Это крест наш...— Надежда Кондратьевна тяжело вздохнула.— Сущий идиот, как маятник качается, октябристов лобызает и эсерам руки жмет, живет человек без собственного царя в голове.

— Родственник ваш —ходячая копилка сплетен,— сказал Владимир Ильич.— Он на библии присягнет, что видел меня на Песках в трактире.

— В газетах почище отмачивают,— неволью заступилась Надежда Кондратьевна за своего зятя.— Иной раз хочется всю мерзопакость сунуть в плиту.

— Только этого, пожалуйста, не делайте, запрещаю,— живо заговорил Владимир Ильич.— Разномастные газетенки иногда выбалтывают секреты. И еще просьба: не заступайтесь за меня. Зачем навлекать подозрение?

Послышался плеск весел: по протоке подымалась лодка. Владимир Ильич отступил в глубь чердака, оставив в дверях шелку. Надежда Кондратьевна нахмурилась, сошлись брови, но ненадолго: разгладились, лицо посветлело.

— Мой: знаю шаги, стук в окно, взмах весел.

К берегу пристала лодка, как из-под земли появились мальчишки, выгрузили дрова, мережи надели на колья, весла отнесли в сарай.

Незаметно ответив на приветствие Ленина, Николай поспешил за женой в дом. Странно она себя вела: мок-

рые простыни касались земли — не в ее характере пройти мимо и не поправить.

— Выследили?

— Нет, а страху натерпелась, — заговорила Надежда Кондратьевна. — Заявился этаким фертом муж Полины, надумал спасти тебя от большевиков. Всякое брехал про Ленина.

— Послал бог сродственничка, — протянул Николай. — Попить бы холодненького, ух и жарко.

— Сулил тебе деньги на обустройство, — продолжала Надежда Кондратьевна, наливая из глиняного кувшина в кружку хлебного кваса. — К Лизавете, ирод, отправился, еще нелегкая принесет.

«Извозчик» — так Николай обозвал содержателя каретного двора — мог выкинуть коленце: зайится на усадьбу и какого-нибудь дачника притащит в гости.

Николай надел праздничный костюм.

— Накормишь постояльцев, — наказал он, — заходи к Лизавете, спровадим «извозчика» в Питер.

16

Пошатываясь, грузно опираясь на суковатую палку, по Граничной улице брел незнакомый человек. Чужие редко заходят сюда. Не соглядатай ли? Николай прибавил шаг, обогнав прохожего, оторопел: Фирфаров.

— Егорыч, ты ли это?

— Извиняю, жена родная не узнает, — без горечи, обреченно ответил Фирфаров.

— Хвораешь, а я от земского слышал, на поправку пошел.

— Чухотку можно горным воздухом, лекарствами и сытными харчами малость угомонить, а новую болезнь... — Фирфаров не договорил, повернулся к обочине и долго не мог остановить отрывистый кашель.

Вытерев мокрые губы, он торопливо убрал платок. Николай и вида не подал, что заметил свежую кровь на платке.

— Новая болезнь доконает... сужусь! Еду к присяжному, — голос у Фирфарова хриплый, больной. — Пенсии от казны, положенной добровольно, на лекарства и докторов не хватает, дороговизна еще мучает, а пить и есть... Сколько уж лет хвор, а хожу в кормильцах. Дочки немощные, свою болезнь передал, липучая она.

— Так и не прибавляли? — возмутился Николай.

— Те же восемнадцать целковых с пятакон, — Фир-

фаров усмехнулся,— надворный советник представлял казну, обманул суд; болезнь-де моя наследственная, ну и объявили приговор: иск не заслуживает уважения. Так-то, наследственная! Отец кочергу вязал, я, когда в красилку — на детскую каторгу — попал, каким крепышом был...

— Помню, всех ребят с Ермоловки и Угольного острова клал на обе лопатки,— сказал Николай.

— Самому не верится, что было время — песни пел и смеялся.

На развилке они распрощались. Фирфаров свернул к станции, а Николай — к протоке. Только у калитки он пришел в себя: посочувствовал — и все, а он ведь может помочь товарищу выиграть в суде. Как-никак — староста. Фирфарова помнит едва не с пеленок, в бабки играли, по очереди катались на одном коньке «снегурочке». Скажет на суде и про адскую температуру в красилке.

До прихода поезда оставалось полчаса. Николай так спешил застать Фирфарова на станции, что рубашка намочла.

— И у тебя дело в Питере,— нисколько не удивился Фирфаров, хотя они только что расстались,— купить мальчишкам одежонку?

— Покупки справляет моя хозяйка,— сказал Николай. Отдышавшись, продолжал:— Коли от казны на повторном выступает надворный советник, выставляй и сам свидетеля.

— В судебном присутствии — не в трактире языком мять,— сказал вяло Фирфаров, а пораздумав, встрепетнулся:— Не убыток — попытать, с присяжным поголку. За науку спасибо.

Фирфаров снял фуражку и низко поклонился.

— Не дури,— смутился Николай.— Присяжному скажи, пускай меня выставляет свидетелем. Язык не так подвешен, как у титулованных, но и не занка, сумею за правду постоять. Я-то докажу, где ты чахотку подцепил.

Держа обеими руками фуражку, Фирфаров снова поклонился:

— Прислушаются, бог даст, судьи. На дороговизну бы несколько рублей прибавили, было время — керосин четыре копейки фунт стоил, а теперь... хоть с лучиной сиди.

В составе поезда из Курорта почему-то не было вагона третьего класса. Фирфаров замешкался.

— Денег едва наскреб на пролетарский, от Новой Деревни на Кировскую пешком хожу,— виновато оправдывался он.

— А чем, Егорыч, ты хуже именитых, в классе первом просторнее и воздух чище.— Николай подсадил Фирфарова на ступеньку, сунул ему в руку деньги.

Поезд тронулся, Фирфаров остался на площадке, по щекам катились слезы.

— Присяжный пусть вышлет повестку,— крикнул Николай.— Прибавят пенсию, люди же они — судьи.

17

Зоф утром не застал Крупскую на службе, наведаясь в Выборгскую управу в конце дня. На этот раз ему повезло, без помех передал записку Ленина. Надежда Константиновна обрадовалась оказии, тут же написала ответ и собрала посылочку.

В Разлив Зоф приехал на вечернем поезде. Ни один человек не сошел на станции. От радости, что не привез за собой «хвост», он весело стал насвистывать марш.

А было так. Зоф возвращался из Таврического дворца от Свердлова. На Шпалерной его остановила молодая женщина в черном платье с кружевным воротником. Она держала за резинку соломенную шляпу, как провизонную сумку, подмигнув, спросила, где поблизости сдаются меблированные комнаты. Женщина не производила впечатления уличной потаскухи. Зофу показалось, что она заинтересованно его разглядывала, словно запоминала черты лица и одежду. Возвращаясь домой, он заметил ее у Приморского вокзала, на частной пролетке. На этой загадочной женщине было то же платье, только плечи прикрывал белый платок. Она сидела со скучающим видом, держа под наблюдением вход на вокзал. Зоф вернулся к вилле Роде и через сад выбрался на Черную речку. Посетив место дуэли Пушкина, он вернулся на вокзал — пролетки уже не было.

...К станции Разлив приближалась компания гуляк. Под гитару сильный баритон выводил:

Все мы любим кабачок —
Сладко в нем живется.
Тот, наверно, дурачок,
Кто в нем не напьется.

Подгулявшая компания скрылась в лесу. Зоф огляделся: широкая улица, ведущая от станции к озеру, по-

грузилась в сон, только старуха в шерстяной кофте, ночном чепце прогуливала четырех лохматых шотландских терьеров. Собаки шли на длинном поводке, цугом, как ходят ученые лошади на манеже.

Свернув на 5-ю Тарховскую улицу, Зоф услышал, что кто-то на берегу протоки отбивал косу.

«У Емельяновых»,— определил Зоф; теперь можно и не спешить — сам дома и не спит.

Раздвинув в изгороди жерди, Зоф пробрался к протоке. На крыже, широко расставив ноги, сидел Николай, постукивая молотком. Отодвинувшись на край, он освободил место, но Зоф переступал с ноги на ногу.

— Не набегался, стой,— сказал Николай и опустил молоток.

— Из Петрограда Свердлов вызывал в Таврический, дал новую явку. В столице полно слухов, в желтых газетах все настойчивее пишут: Ленин скрывается возле финской границы. Имеются сведения, репортеришко из бульварного листка «Новое время» шнырял возле дачи Смолкина. До емельяновского сарая и ста шагов не считаешь.

Николай медленно повел головой к даче Смолкина, затем к своему сараю, будто вымерял глазами расстояние.

— Сколько шагов насчитал?— спросил Зоф.

— Шагов, верно, немного,— согласился Николай,— но, кто ко мне пойдет, заблудится.

— Не петушишься, у тебя подполье Центрального Комитета партии,— оборвал Зоф.— Репортеришки — это еще полбеды, кружат в Тарховке и Сестрорецке монархисты, юнкера. У них скорый суд и приговор — пуля в револьвере. Половцев к награде представит и в чине повысит.

— Головой отвечаю, мои ни при чем,— встревожился Николай.— У малых слова не вырвешь, а старшие ребята, обрати внимание, игры затевают на улице и за протокой.

— В пузырь зря лезешь. В Центральном Комитете партии — никаких претензий к Емельяновым. Для тревоги есть серьезные основания. Реакция требует объявить Ленина вне закона. Прокурор Петроградской судебной палаты собирается привлечь его по самым тяжелым статьям уголовного уложения: пятьдесят первой, сотой и сто восьмой — государственная измена, приговор — смертная казнь. Вот как складывается обстановка, малейший неверный шаг...

Помолчав, чтобы Николай прочувствовал, Зоф продолжал:

— Велено сменить подполье. За поиски нового места на тебя вся ответственность возложена. Помни, ты не одинок, наша партийная организация и я всегда с тобой локоть в локоть.

По мнению Николая, безопаснее подполья, чем сарай в Разливе, трудно найти. Семья живет — двери настежь, а посторонний и шага лишнего на усадьбе не сделает. С весны генеральный ремонт затеял. Сам, Надя и ребята ютятся на кухне. Впоялку спать уложить — и то кто-нибудь на крыльце окажется. Где уж тут постороннего прятать.

Свои соображения Николай не навязывал Зофу. Смена подполья — решение Центрального Комитета партии. Раз так, большевику надлежит выполнять. Но он думал, что это дело не горит. Утром в инструментальной кладовой встретились, Зоф не спросил о поисках, а вечером пришел с запеленутой пилой, прислонил ее к крыльцу.

Николай звал Зофа на кухню; больше некуда пригласить: в комнатах разобраны полы. Надежда Кондратьевна сдвинула котелок с конфорки, вышла.

— Читай,— Зоф передал газету, захватанную, в масляных пятнах.— В штыковой по рукам ходила.

Николай читал про себя: «Вчера в три часа дня арестован вождь большевиков Ленин.

Видя, что затеянная им авантюра потерпела полный крах, и опасаясь народной мести, Ленин вместе с большевиками, своими соучастниками, решил скрыться.

В то время как из Петропавловской крепости выходили большевики вместе с преданными им пулеметчиками, Ленин с семьей своими соучастниками сел на пришедший из Кронштадта крейсер. Но уехать в Кронштадт им не удалось — они были арестованы».

Николай захохотал.

— Хорошо, у них Ленин за решеткой, нашего не будут искать.

— Ложь тоже стреляет,— возразил Зоф,— те, кому надо, не верят подобным измышлениям. Полезно тебе знать о том, что произошло в Разливе на Малой Петроградской.

Вот что рассказал Зоф.

В начале лета Паншин подрядился сторожить дачу художника Майкова, который уехал на кислые воды.

Позавчера два господина средних лет, военной выправки явились на дачу. Бледнолицый, рыжеватый, с короткими усиками, назвался племянником Майкова и потребовал у Паншина ключи. Его компаньон, брюнет в полосатых брюках и светлом пиджаке, посмеивался над растерявшимся сторожем.

— Похожи на грабителей?— спросил рыжеватый.— Утащим в саквояже двуспальную кровать моей бабушки.

Господа, конечно, не воры. Они остроумно подтрунивают: у владельца дачи, и верно, была причуда. Он навязчиво показывал гостям кровать работы крепостных мастеров. Но Паншина смущало: господа собираются пожить в Разливе, а приехали без вещей, на двоих — пляжный саквояжик. По виду они при деньгах — чего же маяться им без кухарки? Могли снять комнаты в Курорте у вдовы крымского помещика. Повар у нее — из английского клуба. Она сумела сохранить погреб. К обеду ставит мужчинам шустровский коньяк, дамам — легкое вино.

Пустил Паншин господ на дачу с опаской, а понаблюдал — не чужие они Майкову, знали расположение комнат, без труда рыжеватый открыл в кабинете потайной шкаф, нашел там вино.

Когда Паншин вошел с кипящим самоваром, то стол был накрыт: бутылки вина, на тарелках — ситный, ветчина, сыр. Бросив взгляд в кабинет, он увидел через раскрытую настежь дверь, что брюнет целится из браунинга в горящую свечу на камине. Заметив Паншина, он нисколько не смутился, опустил револьвер, спросил:

— Знаешь, у кого здесь под видом большевика скрывается немецкий шпион?

Паншину неприятно: где глаза были, кого пускал? В штабе предупреждали, что охранка засылает шпииков. С такими «гостями» надо держаться настороже.

— Дачники живут по многу лет у одних и тех же хозяев. Новых словно в этом году и нет, голодно. Что касается шпиона, только от вас слышу,— ответил Паншин, начиная понимать, зачем господа приехали в Разлив. Ленина ищут. В газетах пишут и слухов полно, что он скрывается возле финляндской границы.

— Не проболтайся, что мы здесь, а то...— брюнет многозначительно помахал револьвером.

— Он у нас шутник,— рыжеватый старался расположить к себе Паншина.

— Не из пугливых.— Паншин прикинулся простачком себе на умё.— Если бы в нашей округе Ленин прятался! Про награду в двести тысяч рублей всяк знает. Кто на свой карман сердит?

— К ворожее не обращались, а знаем: у Ленина две дороги — Сестрорецк и Финляндия. Поразунай — получишь награду и от нас: дюжину бутылок смирновской водки.

Весь вечер Паншин мучительно обдумывал, как предупредить товарищей в штабе Красной гвардии. Кто-то из видных большевиков скрывается в Разливе, не зря переодетые офицеры приехали.

Ночью Паншин выскользнул из дома, будто до ветра, и — бегом в штаб. Попросил дежурного дать револьвер и двух-трех красногвардейцев. Одному не разоружить офицеров, брюнет выстрелом тушит свечу.

Дежурный — человек нерасторопный; прошло не меньше часа, пока он разыскал Грядинского и послал патруль на дачу Майкова. Переодетые офицеры сбежали.

В кабинете на камине стояла оплывшая свеча, за ней пулями пощипанный кирпич. В столовой пепельница была до краев полна окурков, на полу валялись бутылки. Красногвардеец, чертежник, прочитал этикетку на бутылке.

— Итальянское вино распивали, лакрима кристи,— заметил он.

...Рассказав Николаю о происшествии на Малой Петроградской, Зоф постучал кулаком по заметке об аресте Ленина.

— Пишут, а сами с револьверами рыскают у финской границы,— сказал он.— Ох, как надо смотреть и смотреть.

— Нам повезло, на Паншина нарвались. Это наш человек...

После этого случая Николай понял, насколько дальновидны товарищи в Центральном Комитете партии, приказавшие срочно сменить подполье.

За озером Разлив у рабочих и оружейников были покосы. Под видом батраков-финнов решили поселить на покосе Ленина и Зиновьева. Это надежное и безопасное убежище.

Но дело осложнялось — у Емельяновых не было покоса за озером. Николай сказал Зофу, что возьмет надел в аренду. Был у него на примете покос рабочего Игнатьева, расположенный среди молодого густого ле-

са. С этого покоса удобны пути отхода к Белоострову и Дибунам, по скрытым тропинкам можно выбраться к Тарховке. Там легко затеряться среди дачников, сойти за приезжих грибников. Соломенная шляпа, корзина, суковатая палка — вот и весь маскарад.

У Игнатьева было три дня отгула. Николай отпросился на работе. Дома его не застал. С весны на Литейной улице состязались городошники. Туда и направился Николай. Игнатьев был завязтым игроком.

— С утра ищу.— Николай отвел Игнатьева к старому огороженному колодцу,— покос твой гибнет, еще неделя — и перестанет трава, на подстилку негожа.

— Все недосуг,— виновато оправдывался Игнатьев.— Косят по росе, а я с первым гудком глаза протираю. Натяну портки, воды плесну на лицо, схвачу лужу, ломать посолою — и за ворота.

— Хозяйствуй с умом, твой батька, когда оставался на зиму без коровы, сдавал покос.

— Упустил время,— пожалел Игнатьев.— До тройцы по рукам бьют и спрыскивают. Закрутился, а охотники были. Покос обихоженный, камни и сучья выбраны.

— И обихоженный под снег уйдет, уступи, заплачу по-божески,— предложил Николай.— Корову в Нижних Никулясах сторговал, в покров привожу.

Игнатьеву участок за озером был обузой, сбыть бы его с рук.

— Насовсем, в крайнем — на долгую аренду, а на сезон сдашь, выгода в кармане затеряется,— начал неожиданный торг Игнатьев.

— Не в отца, жилкой хозяйской обделен,— упрекнул Николай.— Ассигнации и процентные бумаги тощат, хоть квартиру ими оклеивай, а земля при любом правительстве тех же денег стоит.

— Навечно забирай,— навязывал покос Игнатьев,— с твоей оравой без коровы не прожить.

Денег на покупку покоса и за полцены у Николая не было, на ремонт дома занимал, в ломбарде ценные вещи заложены.

— Оговорим, беру покос на сезон,— сказал Николай,— собью деньжат к рождеству, вот и потолкуем серьезно.

— Пригоняй лодку, покажу надел,— уступил Игнатьев, ему явно не хотелось прерывать игру,— и без моей указки разберешься, на меже заметные камни положены.

— Не заблужусь, с твоим батюшкой не раз на меже косы отбивали,— согласился Николай,— деньги обождешь до полочки.

18

В коммерческое училище, где учился Кондратий, часто наезжал из Кронштадта некто Веник, матрос-анархист. Вид он имел театрально воинственный — грудь перекрещена пулеметными лентами, по ноге бил маузер в деревянной кобуре, слева на ремне покачивались гранаты-лимонки.

Матрос не верил ни в бога, ни в черта. Он поносил Советы и большевиков. Меньшевиков и эсеров обзывал паралитиками, либералов — слюнтями и мелкими недобитками и прихвостнями Керенского, министров грозился вздернуть на фонарях Троицкого моста.

Николай пытался образумить Кондратия, но парень многого не знал о своем отце — ну большевик, ну был дружинником, ну записался в Красную гвардию — сколько таких на оружейном, а Веник — личность, настоящий революционер. Побольше было бы их в России, Керенский давно полетел бы в тартарары.

Очень занят Владимир Ильич, а придется попросить поговорить с Кондратием, иначе пропадет парень, не без колебаний решил Николай, но все откладывал...

Вечерело. Владимир Ильич устал, пора передохнуть. Он зазвал к себе Николая, разговорились, Надежда Кондратьевна принесла со двора самовар.

— Угощайтесь, чай хорош, свежей заварки,— предложила она.

— Хозяйка, надеюсь, составит компанию,— сказал Владимир Ильич,— а то от скуки закинем.

Надежда Кондратьевна улыбнулась. С утра и до обеда Ленин писал, со связной Токаревой отправил пакеты в «Правду» и к Аллилуеву, затем принял приездего, тот был в блузе, ситцевой косоворотке, брюки из чертовой кожи, из-за голенища торчал деревянный складной метр. Надежда Кондратьевна как глянула на его походку, выправку — догадалась: военный, видимо, с фронта. Больше часа беседовали. Когда он ушел, Владимир Ильич спустился вниз, сжег бумаги в плите.

Плотно занавесив окно, Николай зажег лампу. Надежда Кондратьевна разлила чай, выставила постный сахар, солдатские галеты. Владимир Ильич был ожив-

лен, макая галету в чай, расспрашивал, что за люди сейчас нанимаются на оружейный.

— Берут с разбором, патриотически настроенных и равнодушных,— рассказывал Николай,— без протекции кума, свата лучше и не суйся.

Спасаящиеся от мобилизации, пришлые могли проникнуть в местную партийную организацию, надеть бед, об этом Владимир Ильич и сказал Николаю.

— Без малого два столетия назад осели оружейники на реке Сестре, притерлись, щель и хитрому чужому не найти к нам в организацию,— сказал Николай.— Арсенал у партии был, есть и будет. Потребуется — мастерские в домах откроем, потребуется — замки с арсенала собьем. Восставших против орд Керенского без винтовок не оставим.

Незаметно разговор перешел на житейские дела, Владимир Ильич поинтересовался, как Надежда Кондратьевна управляется с хозяйством и такой оравой мальчишек.

— Иной день и на минуту не присядешь, а на судьбу не жалуюсь. В дедов внуки идут,— Надежда Кондратьевна стрельнула глазами,— и чуточку в отца. Помогают, дров наколют, воды натаскают и в главном успевают, грамота всем дается. И Кондратий хорошо учится, а с весны нас печалит.

— Выбью дурь,— Николай сердито покосился на жену.

Из сыновей Емельяновых Кондратий показался Владимиру Ильичу самым серьезным. Странно, что он-то больше всего беспокойства вызывает у родителей.

— Характер ломать нельзя,— заступился Владимир Ильич.— Покладистость порою — та же ржавчина.

— Ровного-то ничего в жизни нет, вот сирень в одночасье сажали, а растут кусты по-разному,— возразила мужу и Надежда Кондратьевна. Она очень переживала за Кондратия, боялась, что Николай круто возьмет.

— Оберегаешь, слепая, не по той дороге идет Кондратий,— заговорил Николай.— Мои братья — Василий и Иван — много ли были его старше, когда первый разочугились в тюрьме? Твой брат Александр от политики за версту держится, а винтовки в этом сарае помогал собирать. Кондратий умом не обижен, а по пятам ходит за Венником, во всем анархисту подражает, клинья вшил в штаны. Ветер подует — смех, парень в юбке.

Владимир Ильич слушал сосредоточенно, подперев кулаком подбородок.

Разошелся Николай, вскочил со стула, Надежда Кондратьевна поправила занавеску.

— В коммерческом кое-кто из учителей насаждает дух эсеров и анархизма, наслушался Кондратий, а башка еще не в состоянии разобраться что к чему. У анархистов речи медовые, яд-то взрывной глубоко запрятан. Прямо хоть забирай парня из училища.

— Неудивительно, что молодой человек заблуждается.— Владимир Ильич старался разрядить обстановку.— Сложная сейчас жизнь в России. В голове у шестнадцатилетнего от дум, вопросов карусель. Была революция в России или не была? Царь подписал отречение или не подписал? «Марсельезу» на улицах распевали или не распевали? Изменений-то почти нет в стране. Люди верят в Учредительное собрание. Патриотические чувства еще властвуют над умами людей. Немцы топчут русскую землю, а большевики предлагают кончать войну. На митингах много трескотни: зыбкая земля под ногами Керенского, Рябушинского, Церетели. Это верно, и не совсем. У Временного правительства — власть, армия и полиция. Да и мало захватить власть, надо ее удержать, нужно сломать прогнившую государственную машину и создать новую. Будущее народное правительство ожидают невероятные трудности. Сельское хозяйство и промышленность в России на грани катастрофы. Анархизирующим Веникам, отпетым головорезам, терять нечего, у них нет совести, ни малейшего чувства ответственности за судьбу революции. Они подбивают на бунт ради бунта людей с непробудившимся сознанием и молодых, вроде Кондратия, которым трудно во всем самим разобраться, трудно без колебаний принять верное решение. Но на то мы и партия революционного пролетариата, чтобы все трезво оценить и сказать людям правду, суровую, но правду. Никто большевиком не родится, им можно стать.

Николай только теперь понял, в чем беда сына. Кондратий мало повинен в своих заблуждениях — время сложное, вот если бы Владимир Ильич поговорил с парнем, наставил на ум...

И то, о чем Николай так и не осмелился просить, случилось буквально на другой день. Солнце перекалило крышу, в сарае — дух парильни. Владимир Ильич едва дождался прогулки. Он очень устал. Приезжал товарищ из Центрального Комитета посоветоваться. На VI съезде партии могут возникнуть разногласия относительно лозунга «Вся власть Советам!». Ленин предла-

гал его временно снять. После июльских событий обстановка в стране изменилась. Меньшевики и эсеры, имевшие большинство в Советах, предали революцию. Кончилось двоевластие. Власть, всю полноту власти захватила буржуазия и начала открыто расправу с рабочими, крестьянами, с революционно настроенными солдатами и матросами.

После отъезда товарища Владимир Ильич немножко отдохнул на свежем сене, приоткрыв дверь на чердаке, затем написал статью в «Правду». Просмотрел газеты. Обрастает все «новыми подробностями» клевета провокатора Алексинского. Прокуратура заканчивает «следствие» об измене Ленина и его ответственности за июльские события, которые теперь подаются уже как заговор большевиков...

Было на редкость тихо в усадьбах, что выходили к озеру. Владимир Ильич с удовольствием размялся на дорожке. Неожиданно скрипнула калитка. Вернулся Кондратий.

— Издалека, Кондратий?— тихо окликнул Владимир Ильич.— Как Веник поживает?

Кондратий замер. Мать успела пожаловаться.

— Веника в Кронштадте хорошо знают. Только известность известности рознь,— заговорил Владимир Ильич.— Плохо кончит ваш знакомый. Этот анархист мастер громить, грабить, избивать инакомыслящих.

— Веник — честный человек, храбрый, отчаянный в своей правде,— заступился Кондратий.

— Посидим,— предложил Владимир Ильич и первый опустился на ступеньку крыльца.

Кондратий не решился сесть, Владимир Ильич встал, усадил его рядом и спросил:

— В чем же проявляется храбрость Веника? Это он кинулся на монархиста, который из окна квартиры на Владимирском проспекте стрелял из пулемета в рабочих и матросов?

Кондратий от Зофа слышал, что произошло третьего июля в Петрограде. Люди вышли на улицу, требуя передать всю власть Советам, кончить с войной, кончить с дороговизной...

— На Владимирском не был Веник, но он не трус,— обронил Кондратий.— Веник в этот день в Тарховке реквизировал яхту у сына статского советника.

— Мандат Венику заменили гранаты и револьвер, а у владельца яхты не было при себе и пугача. До чего же храбр Веник.— Владимир Ильич тихо засмеялся.

— Яхта не нажита советником, это был подкуп, взятка,— защищался Кондратий.

— Реквизировать яхту и пойти на пулемет — не одно и то же, согласитесь?

Кондратий, низко опустив голову, выбивал каблуком землю.

— Хорошо, я за вас отвечу,— заговорил Владимир Ильич.— Большевики и в Кронштадте знали, что Временное правительство замышляет преступление против мирной демонстрации, но рабочих было не удержать, велика ненависть к министрам-капиталистам. Матросы-большевики и сочувствующие не встали в казармах. Вот это храбрость и благородство. Веник знал, что ждет тех, кто отправится в Петроград.

Снова промолчал Кондратий.

— Обвешаться пулеметными лентами, пристегнуть к ремню лимонки,— продолжал Владимир Ильич,— храбрости не требуется. Кронштадтский матрос, который ради спасения людей шел на пулемет, так и остался неизвестным. Вот это скромность и храбрость.

— Реквизировал Веник яхту не для себя,— неуверенно обронил Кондратий.

— Придет час — яхту, и не только ее, отберут у советника, но сделает это законная власть, а не анархист Веник, которого нужно судить, и строго: анархисты страшные люди.

На кухне затеплился огонек, видимо, Надежда Кондратьевна поджидала сына.

— Покойной ночи, Кондратий, заходите чай пить. Не стесняйтесь, побеседуем, поспорим,— предложил Владимир Ильич. Он поднялся со ступеньки и бесшумно, будто не касаясь земли, направился в сарай.

У самовара им не удалось посидеть. Ночным поездом к Зофу приехал связной от Свердлова.

Утром Зоф подкараулил Николая у пешеходного моста.

— Приезжал нарочный...

— Привез синюю тетрадь? Владимир Ильич опять спрашивал, беспокоится.

— Никакого пакета нарочный не привез, велено закрыть подполье в сарае.

— Шалаш за Разливом поставлен, найден родник; одежда финских батраков подобрана. Косы, грабли и кухонная утварь — в лодке. В узлах — подушки, одеяла,— перебил Николай, догадавшись, зачем приезжал нарочный в ночной час.— Стемнеет, уснет поселок, и

двинемся на озеро, возьму Саньку, Кондратия и тещу — серьезный, ту сторону хорошо знает, и Владимир Ильич привязался к мальчишке.

19

От жены Николай узнал, что Слободской прячет в дровянике крупу, муку, сахар, бочку постного масла закопал во дворе. Привез окорока и не пустил в продажу. Отец Слободского разбогател на заборных книжках. Лежалую муку и крупу за первый сорт ставил, отпуская льняное масло, а цену брал за подсолнечное, вчерашний хлеб считал за свежий.

— Шкура, выждет — цену взвинтит. Дайте красногвардейца и мандат от завкома, потрясу лавочника, — предложил свои услуги Зофу Николай, как только пришел на завод.

— Лавочник — мародер, — согласился Зоф и, что-то взвесив, продолжал: — Найдется у нас кому вытрясти из него душу. Злы хозяйки, с пустыми провизионными сумками с базара возвращаются.

Отповедь Зофа отрезвила Николая. С мародерами и без него посчитаются. Зоф прав, нужно ему больше думать о своем партийном поручении, надежнее укрыть шалаш за Разливом.

Зоф не застал врасплох Кубяка.

— Прячут, знаю, — бурчал Кубяк, — подписку дали, а мародерничают всюю. Людей разослал поразузнать.

— Распустил лавочников, третью неделю нет в магазинах сахара, попрятали, — возмутился Зоф.

Уполномоченный и две бойкие хозяйки отправились сперва на Дубковское шоссе в магазин Кучумова. Там торговали подсолнечной дурандой и сушеным картофелем. В кладовых и под прилавком пусто.

В лавке Слободского — запустение, на двери замок, с витрины убраны сыр и колбаса. Хозяин прикинулся больным, выслал жену с ключами. На требование показать окорока она ответила смехом.

— Мандат имеете, — певуче высмеивала контролеров Слободская, — а прислушиваетесь к наговорам. С неба, что ли, свалились колчености. На бойне — шаром покати, свиных ножек себе на студень не привезли.

Слободская повела уполномоченного с хозяйками в кладовую, а они свернули в дровяник. Нашли там не-

сколько мешков крупы и муки, заваленных пустыми ящиками.

Пока уполномоченный внушал Слободской, что торговать нужно честно, жены мастеровых привели во двор милиционера, за сараями откопали бочку подсолнечного масла, в маленькой кладовой, за мешками с дурандой нашли окорока, уже попорченные червями.

Из соседних домов сбежались женщины, выволокли перепуганную Слободскую на улицу, повесили на шею два протухших окорока, прикрепили обрывок картонки: «Это я их сгноила». Напрасно милиционер и уполномоченный пытались отбить ее у женщин. Они провели лавочницу со срамом по центральному улицам. Никто пальцем ее не тронул, но всюду встречали презрением.

Отпустили Слободскую у ее дома. Открыв калитку, она рухнула на землю — не было уже силы ни подняться, ни сбросить с шеи окорока, ни сорвать обличительную картонку. Приказчик и дворник отнесли хозяйку в квартиру.

20

До закрытия оставалось еще часа два, а рынок был пустой, притихший. В мясном ряду чухонец продавал метлы. Дряхлая барыня, зябнувшая и в зимней жакетке, разложила на прилавке бусы, пряжки, позолоченные броши, табакерки.

У лавки Артемия Григорьевича на вынесенном столе полно мяса — тут и на щи, на суп, на жаркое, и никого покупателей. «Конина, — догадалась Надежда Кондратьевна. — Навезли, а татар в поселке наизусть перечесть».

С утра ей не везло. Выстояла большую очередь за творогом. Он кончился, когда перед ней оставалось три человека. Возвращаться домой с пустой кошелкой нельзя. Своих едоков орава и два за озером. Вся надежда была на свекровь, та не живет без запасов.

Открывая калитку, Надежда Кондратьевна почувствовала, что кто-то свой положил ей руку на плечо, оглянулась — Василий. Осунулся. Как выбрали председателем, днюет и ночует в рыбацкой артели.

— У церкви приметил, скучная, с чего бы? — он взглянул в провизсионную сумку. — Понятно, кукиш купила на рынке.

— В мясном ряду барахлом торгуют, — пожаловалась Надежда Кондратьевна.

— На рынке и часа не торгуют зеленью, свежей картошкой, дуранду — и то расхватывают, — посочувствовал Василий. — Чем ноги сбивать — к матери бы зашла, вяленой рыбы даст, крупы перловой, хоть у самой половина лукошка, но поделится. Николая твоего не пойму, позавчера заходил — и ни гу-гу, что животы подтянули. Могу я подкинуть конопляного масла, пшена, картошки. Рыбаки из-под Осташкова всей артелью укатили на родину хлеб косить, их пайки я про запас держу.

Усадив Надежду Кондратьевну на скамью, Василий раскрыл офицерскую полевую сумку. Куда-то запропастились отложенные карточки. Перебирая бумаги, он говорил:

— Живем, как не родственники. Зоф за брата хлопочет, вчера заглянул в артель, просил рыбацкий паек выделить.

Поликсенья Ивановна заметила в окно сына и невестку на скамье, вышла на крыльцо, пристыдила:

— И не совестно: как сироты, приютились на тычке.

— Секреты у нас с Надей, — отшутился Василий.

— Жизнь, у всех секреты, — вздохнула Поликсенья Ивановна. — Заканчивайте тары-бары-растобары, медком угощу.

Продуктовые карточки отыскались в записной книжке.

— Два пайка — маловато, думал, больше припрятал, — потужил Василий. — В понедельник буду в управе, к вечеру подошли мальчишку.

Мать полезла в погреб, Василий ушел. Поликсенья Ивановна на сына не обиделась, пожаловалась больше по привычке:

— Чистые супостаты сыновья. Твой тоже хорош, сторной обходит родительский дом, а приведется — снимет кепку с башки, про здоровье спрашивает, а сам на дверь смотрит. Тебе, сердешная, не завидую, не дом — казарма, одни мужики, ума не приложу, как ты с ними управляешься.

— На самых раскрасавиц не променяю, — радостно сказала Надежда Кондратьевна.

— Мальчишки в отца, — сказала польщенная Поликсенья Ивановна и заулыбалась своим мыслям, — сердись, Наденька, обижайся, а от правды, как и от себя, не уйдешь: все они в емельяновскую породу.

Надежда Кондратьевна опустила смеющиеся глаза: на той неделе у нее гостила сестра, нашла, что Кондра-

тий, Сергей и Гоша — вылитые Леоновы; остальные ребята в это время были на озере.

Без чая и угощения Поликсенья Ивановна не отпустила невестку.

— И задержишься — обождут, скажешь, где была.

— Муж и не пикнет, опоздаю с обедом — твои внуки голодный концерт устроят. Базар отошал, а у них волчий аппетит. Верись, мама, утром большой чугун картошки варю; усядутся за стол — начисто срубят.

— Уж и объели, — заступилась Поликсенья Ивановна, — растут, все мужики. Помучаешься, зато скоро барыней заживешь. Саньку хвалят на ружейном, глядишь, отец определит к делу и Кондратия, а там Сергей. В получку, доченька, успевай только деньги считать и прятать в сундук.

Варя увела Надежду Кондратьевну в маленькую комнату посекретничать. Поликсенья Ивановна тем временем сунула в невесткину кошелку связку вяленой рыбы, нитку сушеных грибов, картуз перловой крупы и ковригу льняной дуранды...

Сготовив обед, Надежда Кондратьевна распахнула окно. Ворвался ветер, некстати расшумелся Разлив. Она разобрала упакованную провизионную сумку, суп перелила из чугуна в молочный бидон, кисель из кастрюли — в бутылки. Картошку с рыбой оставила в латке, плотно завязав платком. Поставив обед в корзину, прошла на берег взглянуть на озеро — там решит, с кем переправить еду на тот берег.

Солнце щедро заливало озеро, а волны шумно набегали, сталкивались, закипали. Коля храбрится, но ему не совладать с лодкой, мужские руки едва удержат ее на беспокойной волне. Муж не скоро вернется, приятная у него встреча: приехал с фронта ненадолго Григорий Иванович, теперь у него настоящее имя, отчество и фамилия — Александр Михайлович Игнатьев, а Николай называет его, как и одиннадцать лет назад. Какой-то важный прицел для стрельбы по вражеским аэропланам изобрел Игнатьев. Он приехал в Сестрорецк узнать, нельзя ли на заводе сделать опытные образцы. Санька обещал прийти к ужину, не раньше, Кондратий сбежал в коммерческое — Веник пригнал из Кронштадта катер. Придется, видимо, самой переправлять обед через озеро.

Она только собралась просить кухарку Смолкиных присмотреть за домом и Гошей, как появился Санька.

Занятия красногвардейцев отменили, каратели прочесывали лес и берег Финского залива.

Узнав, чем расстроена мать, он вызвался свезти в шалаш обед. Все будто устроилось у Надежды Кондратьевны: перевозчика нашла, а оказалось не совсем ладно — Коля обидится, он хоть младший, но держится самостоятельно, ревниво встречает и старших братьев, приезжающих за озеро, считая себя там комендантом. И виноват в том Владимир Ильич, ему нравится живой, преданный мальчик. Он всерьез нахваливал Колю, называя его связным, дозорным, а то и комендантом. Дозорный он, и верно, старательный, все тропинки и подходы к шалашу не один раз обойдет за день. Никто незамеченным не вышел еще к шалашу. В прошлую среду, предупрежденный свистом синицы — Колины позывные, — отец встретил у канавы владельца сенокосного надела, разговорились о том, о сем. Николай отдал деньги за покос и увел от шалаша подальше, на грибные места, затем проводил до лодки.

Недавно Владимир Ильич дал Коле поручение встретить Дзержинского, помочь ему перебраться через топь гнилого ручья и провести в шалаш...

— Мужчина с мужчиной поладят, — успокоил мать Санька, посмеиваясь про себя над ее нерешительностью.

Взяв корзину с едой, сверток с бельем, газеты, он отправился на протоку. Коля готовил лодку в обратную дорогу, консервной банкой вычерпывал воду.

— Капитан, — уважительно обратился Санька, — возьмешь матросом?

— Без жалованья, за похлебку, — сказал Коля.

Хотя он выполнял серьезное поручение, но остался, как и был, мальчишкой.

Раздвинув кусты, Надежда Кондратьевна тайком провожала лодку. За веслами сидел старший сын. Коля стоял на носу и держал наготове багор; мало ли — мелькнет в волнах полено, доска.

21

Чехарда министерская продолжалась. Прочитав в газете о составе коалиционного Временного правительства, Владимир Ильич зазвал Николая в шалаш.

— Керенского все круче заносит вправо, теперь у него опора — наихудшая военщина: юнкера, казаки, ударники-добровольцы. Это, Николай Александрович,

начало бонапартизма в России. Контрреволюционная крупная буржуазия стремится установить свою диктатуру. «Новое» правительство Керенского — Авксентьева жалкая ширма для контрреволюционеров. Это правительство за войну до победы, оно не даст крестьянам землю.

Владимир Ильич попросил Емельянова узнать, как на оружейном и в местном гарнизоне восприняли коалиционный министерский кабинет...

...Кондратий накидал в лодку хворосту, позвал отца. За старшего караульного остался Коля. Обходя участок, он заметил, что от Сестрорецка, держа курс на лесистый берег Разлива, шла незнакомая лодка. Коля забрался на ветлу, чтобы получше разглядеть, что за люди в лодке. На корме была корзина с провизией, жбан, гитара, мандолина — едут на пикник. Коля заподозрил неладное: больно рано собрались гулять, солнце не прогрело землю, не высохла роса. Он пожалел, что с отцом уехал Кондратий. С братом вспугнули бы господ гимназистов и девушку в солдатской форме.

Оставалось сажень восемь до берега, когда лодка неожиданно развернулась и направилась к Тарховке.

— Три фута под килем, — прошептал Коля.

Он строго соблюдал инструкцию Зофа. Тот уверял, что в секрете и дышать следует осторожно, шепотом.

Скрылась подозрительная лодка, Коля спрыгнул на землю. Выбравшись на лесной пригорок, он глазам не поверил: темно-коричневые шляпки выступали из невысокой травы.

И полчаса Коля не походил по лесу, а набрал десяток белых, три подберезовика; вместо ржавой селедки будет грибной суп.

...Еще накануне Зоф предупредил Надежду Кондратьевну, что приедет товарищ из Центрального Комитета повидаться с Лениным. К ночи, как свой, без стука вошел в дом Орджоникидзе. Все будто сошлось, а она держит его на кухне, расспрашивает про питерские новости.

Зофу дома не сиделось, зашел к Емельяновым узнать, нет ли поручения от Ленина. Орджоникидзе обрадовался; кинулся к Зофу.

— Свой это — Орджоникидзе. Смело отправляй через озеро, — сказал Зоф. — Чей черед?

— Коль свой, переправим, грести у нас только Лева и Гоша не научились, — сказала Надежда Кондратьевна.

После полудня в Разлив всяких подозрительных понаехало. За протокой, на лужке, китаец продавал ска-терти и широкое полотно на простыни. К Анисимовым на усадьбу проник монах, на ночлег просился. Вот и разберись: случайно зашли или подосланы?

Зоф приподнял занавеску, за окном густая темень.

— Снаряжай гребца, удобное время для переправы.

— Распорядилась, Кондратия черед,—спокойно отве-тила Надежда Кондратьевна.

Сергей провел гостя между кустами сирени к прото-ке. В лодке ожидал Кондратий. В темноте не видно бы-ло его лица, только по голосу Орджоникидзе догадался: гребец — тот застенчивый парнишка, которому была на-хлобучка от матери. Он явился следом за ним, Надеж-да Кондратьевна сердито заметила: «С Веником опять якшался, когда придет этому конец?..»

Кондратий умело вывел лодку по узкой протоке. На озеро надвинулась густая темнота, не было даже видно лопасти весла.

— Не заблудимся? Далеко до дачи?—спросил Орджоникидзе; он неуютно чувствовал себя в лодке с молчаливым гребцом.

— До дачи?—удивился Кондратий и уклончиво от-ветил:— Три четверти часа пути — и будем на месте.

Кондратий еще не пришел в себя, сердился на мать — при чужом человеке устроила проборку за Ве-ника, а он и не встречался с ним. Что у него — своей головы нет? Раскусил: Веник — трус и звонарь. Один болван — дачник в Ермоловке — принес на вечеринку неразорвавшийся снаряд с залива. Из военных на тан-цах был только Веник. Он первым с перепуга махнул в окно. Трус! Не рискнул бы Веник провести лодку с динамитом и оружием мимо катера пограничной стра-жи, как это делал отец с товарищами Анисимовым и Поваляевым. Тайно перевозил из Финляндии винтовки дедушка с дядей Васей.

На вопросы Орджоникидзе Кондратий отвечал скупо.

— Благодатные места здесь: вода, лес, грибы, яго-ды, поди, и судаки в озере водятся,—сказал Орджони-кидзе.

— Курорт — комарье живьем поедает,—ответил Кондратий и больше слова не проронил, пока лодка не зашаркала по дну.

Кондратий сошел в воду, подтянул лодку к бе-регу.

Добрались до полянки. У затухающего костра коренастый человек в накинутом на плечи пальто наливал кипяток в кружку из жестяного чайника. Орджоникидзе принял его за хозяина покоса, направился прямо к шалашу. Кондратий позвал отца. Емельянов что-то медлил, видимо, переодевался.

Владимир Ильич — а это он был у костра, — крайне довольный, что Орджоникидзе его не узнал, незаметно подошел к нему и дружески хлопнул по плечу.

— В гости, Серго, приехали и хозяина обходите.

Орджоникидзе растерялся, как в землю врос. Без бороды и усов было не узнать Ленина, только знакомый голос.

— Обознались, я сему рад, у чужих вполне сойду за финского батрака, — говорил улыбаясь Владимир Ильич, спохватившись, сказал: — С дороги, поди, проголодались?

Николай кинул скатерку на сено. На ужин был кипяток без сахара, черный хлеб и селедка.

Затем устроились в шалаше. Зиновьев был в плохом настроении, забравшись в угол, уснул. Владимир Ильич живо расспрашивал Орджоникидзе. Интересовало его все: что происходит на фронтах, настроение рабочих столицы, Москвы и провинции. Где крестьяне выступают с оружием против помещиков и Временного правительства. Как завозят продовольствие в Петроград. Что за шаги предпринимают послы Англии и Франции, чтобы удержать в упряжке Антанты Россию.

Орджоникидзе подготовился к встрече с Лениным, он хорошо знал обстановку в стране, был в курсе дел Центрального и Петербургского комитетов партии, знал, что делается в контрреволюционных партиях.

Беседа затянулась. И у Орджоникидзе были вопросы к Ленину. Вот-вот должен собраться Шестой съезд партии большевиков. Владимир Ильич снова подтвердил, что лозунг партии «Вся власть Советам!» нужно временно снять.

— Еще недавно, — говорил Владимир Ильич, — Советы могли взять власть. Теперь они дискредитировали себя, предали рабочих и крестьян, предали фронтовиков. Власть нераздельная у Керенского и Корнилова. Отобрать у них власть может только вооруженное восстание, оно не замедлит, не позже сентября — октября вверх тормахками полетят русские бонапартки.

Орджоникидзе был приятно ошеломлен, порадовала сила убежденности. В глубоком подполье, в условиях неслыханной клеветы и травли, Ленин неутомимо рабо-

тал, определял сроки народного вооруженного восстания.

Забрезжило, проснулся Николай. Владимир Ильич и Орджоникидзе еще продолжали беседу.

— Полуночники,— с укором сказал Николай,— на свежую голову лучше думается.

— Давно с Серго не виделись,— оправдывался Владимир Ильич,— накопились неотложные дела.

Под утро они прилегли. Орджоникидзе проснулся около одиннадцати.

— Разрешите Серго и мне выкупаться,— шутливо попросил разрешения у Николая Владимир Ильич.

— На озеро пойдете только с провожатым.— Николай кликнул Колю.

Вскипятив чай, нарезав черный хлеб крупными ломтями, Николай позвал завтракать.

Завтракали на полянке, скрытой молодыми кустами.

Орджоникидзе ушел с Колей погулять по лесу. Владимир Ильич уединился, закончил статью в «Правду», написал письма Свердлову, Сталину и записку Надежде Константиновне.

Гостя перевез на другой берег озера Кондратий.

22

Утром крепче сон, не так уж злодействуют комары. Но как бы поздно ни ложился Николай, в шесть он на ногах. Сегодня он выбирался из шалаша особенно осторожно, стараясь не потревожить Владимира Ильича. Вечером он долго проглядывал газеты, делал пометки в тетради, чем-то был недоволен.

Под пушистой молодой березкой Николай с удовольствием потянулся, затем глянул на небо — какую ждать погоду. Вчера он со старшими сыновьями накопил воза полтора сена: подсушить — и можно копнить.

Небо обнадежило — чистое, синее. С озера задувал ленивый ветерок, шевелил листья на деревьях.

Сложив костер из сушняка, чтобы дым был посветлее, Николай подвесил над огнем чайник и принялся чистить рыбу. Вчера ребята поймали судака и окуней на уху.

Разостлали сено, до обеда успели два раза перевернуть. Оно лежало на поляне ковром шероховатым, посеребренным. Николай не удержался, захватил в пригоршню сено, пропуская его между пальцами, похваливал.

— Доброе, в покров приведу корову, к весне отелится, приезжайте пить парное молоко,— пригласил он Лена.

— Черкните, повод такой, что и на телеграмму можно потратиться,— ответил шутливо Владимир Ильич.

Колю отправили на родник мыть посуду, Владимир Ильич ушел к себе в «кабинет». Николай, бросив охапку сена под густой куст ивы, прилег отдохнуть.

Около полудня воровски налетел ветер, хлестнул по зеленой стене на берегу озера, закачались березы и осины, натужно заскрипела уродливая сосна на подмытом островке. А солнце светило по-весеннему.

— На дождь потянуло, солнцу недолго осталось радоваться, ветер скорый, часу не пройдет — нагонит тучи,— проговорил Владимир Ильич, показавшись между кустами.

— Тянет на затяжной дождь, поясницу ночью ломило,— заговорил Николай, подставляя ветру ладонь,— вымочит сено, потом суши — вкус не тот, плохо ест корова и молока даст мало.

Небольшое облачко спрятало солнце. На Финский залив надвигались темные тучи. Над лесом они круто разворачивались и грозно шли к Сестрорецку. Первый дождь пролился за болотом.

Коля и Владимир Ильич ходко сгребали сено, Николай копнил. Но до дождя не управились. Мокрые, озябшие, забрались они в шалаш, долго не могли согреться. Владимир Ильич лежал на животе, прислушивался, как за стенами крепчал дождь.

Непогода вызывала у Николая беспокойство — кончились припасы, что привезла из Петрограда связная Токарева. На ужин осталась лишь краюха хлеба, в этакый дождь вымокнешь насквозь и чай не согреешь. Надя не раздобыла у чухонки картошки, иначе бы прислала.

За ужином ели черствый хлеб, запивали холодной водой, как вдруг в дверную щель просунулась прутьяная корзина с едой, а за ней вполз и Кондратий в пальтишке, пробитом дождем насквозь.

Посветлело, с трудом разожгли костер, кое-как обсушились. Опять заволокло небо. Как тяжело груженный поезд, зашумел ливень. Быстро намок купол шалаша, падали капли. В мокрой одежде долго ли Владимиру Ильичу простуду схватить, но переодеться было уже не во что. Николаю казалось, что беда поправима — ветер сдвинул сучья. Он вывернул фитиль в фонаре, полых-

нуло пламя — на стенах шалаша слезились, все разрастаясь, темные пятна.

Уже было много за полночь, а дождь лил и лил.

Лодка спрятана в зарослях. И часа не займет переправа через озеро. После дождливого шалаша тесная кухня покажется дворцом. Хорошо бы и на полке в баньке погреться. Но эти думы Николай прогнал. Кто знает, что ждет их на том берегу. Жизнь Владимира Ильича подвергается смертельной опасности. Шестой съезд партии одобрил его неявку в суд. Реакция не скрывает, что готова на самосуд и жестокую расправу. Помимо агентов полиции в розысках Ленина участвуют сотни добровольных сыщиков. Офицеры «ударного батальона» поклялись найти Ленина или умереть. Временное правительство в преследовании своих политических противников переняло худшие методы и приемы царской охранки, а кое в чем и превзошло их.

Владимир Ильич догадался, о чем думает Емельянов.

— Переночуем, шалаш ни в какое сравнение не идет с камерой на Шпалерной, — сказал Владимир Ильич и предложил: — Подлатаем шалаш, никакой ливень его не пробьет.

Дождь подгонял, быстро нарубили веток, разорили стог сена, придавили сверху жердями, Владимир Ильич залез в шалаш, осмотрел купол, стены, — течь прекратилась.

Скинув мокрую одежду, все улеглись вповалку, накрывшись теплым одеялом. Владимир Ильич быстро уснул. Бросив ему на ноги солдатский ватник, Николай до утра не сомкнул глаз, положив рядом ружье.

В эту ночь он думал о том, что скоро придется расстаться с Владимиром Ильичем. Сбылось предсказание стариков: август выдался ненастный, холодный, не всегда разведешь костер, чтобы обогреться, высушить одежду. Жить в лесу в таких условиях — опасно для здоровья. Со стороны Тарховки все чаще перебираются незнакомые грибки. Зоф, разделяя беспокойство Николая, сказал, что Центральный Комитет поручил Шотману найти новое подполье. Самое надежное убежище было, конечно, в Финляндии. Но как переправить через тревожную границу Ленина?

К поискам безопасной переправы Шотман привлек Рахью, хорошо знающего Карельский перешеек и приграничную полосу. Начали они с того, что выправили документы на право свободного проезда в Финляндию.

Это сделать было несложно: в Главном штабе служили хорошие знакомые.

Они дотошно проверили ближние пропускные пункты в Дюнах и Белоострове. Прошли пешком по русской и финской стороне границы. Натыкались не раз на финские и русские патрули.

«Граница финляндская опасна,— доложил в Центральный Комитет Шотман,— на любом пропускном пункте Ленина опознают. Тропы контрабандистов перекрыты. Самое надежное — пересечь Ленину границу на паровозе». Надо было найти надежного машиниста, который взял бы его на паровоз кочегаром.

Возникла еще одна серьезная проблема: на станциях близ границы — посты юнкеров, карателей, шныряют агенты охраны. Безопаснее было провезти Ленина в Петроград и там на малолюдной станции посадить его на поезд, следующий в Финляндию.

В конце концов в Центральном Комитете остановились на варианте: от шалаша Ленин и сопровождающие пройдут пешком до Дибунов или Левашова, на вечернем поезде доедут до Удельной. В версте от нее была найдена конспиративная квартира.

23

Расстроенный вернулся из Петрограда Зоф. Прошло несколько часов после встречи на явке, а в ушах спокойный, требовательный голос Свердлова:

«Поймите, власть у воинского начальника — отправит мастеровых призывного возраста в окопы. Размагнитились, не революции служите, а бонапарту Керенскому».

Зоф захорохорился, Свердлов вынул из телефонной книги закладку, оказавшуюся копией записки начальника завода.

— «Желательно отправить на фронт нижеследующих мастеровых», — прочитал вполголоса Зоф и усмехнулся: — Честь-то, честь, моей фамилией список открывают, хотя и напялить шинель.

— Лучше бы избежать подобной чести, — сухо перебил Свердлов, — избавляются от революционно настроенных рабочих. Это же равносильно крупному провалу.

Нагоняй подействовал, Зоф иными глазами взглянул на список: занесены только большевики и сочувствующие. Начальники мастерских жертвуют даже хорошими специалистами.

Прощаясь, Свердлов успокоил, ободрил приунывшего было Зофа.

— Наш комитет называют Центральным,— говорил Свердлов,— нам положено знать больше. Предупредили вас о коварной ловушке, теперь действуйте, провалите отправку на фронт.

Список у военного начальника подменили, но Свердлов опять недоволен, вызвал Зофа.

— Топорная работа,— говорил он,— допустим, отправят на фронт сынков деревенских богатеев и лавочников. Завтра или послезавтра генерал или полковник хватятся: Зофу положено в теплушке трястись, а он...

— Иного ничего не придумали,— признался Зоф,— советовался с Кубяком.

— Белые билеты сложно достать?— спросил Свердлов. Вынув из стола десятка полтора бланков белобилетников, сказал:— Заполните. Помните, терять преданных партии людей в такое время — преступление. Юнкера и солдаты занимают главные станции Приморской дороги и белоостровского направления. В газетах все настойчивее преддверие Финляндии называют местом, где скрывается Ленин.

Откровенный разговор заставил Зофа задуматься. Шалаш за озером стал опасен и для здоровья Владимира Ильича. Нужно, чтобы в Центральном Комитете поторопили Шотмана.

— Сосчитайте, сколько раз за минувшую неделю шел дождь?— спросил Зоф.

— Не знаю,— смутился Свердлов и поежился.— Да, в лесу чертовски промозгло, в городской квартире — и то протапливали, как-то там Владимиру Ильичу...

Вскоре в Разлив к Емельянову приехал Шотман. Зоф на встречу опаздывал. Николай не знал, что и думать.

А случилось вот что с Зофом. У лодочной станции прицепился «хвост». Зоф завел его в Александровскую и сбежал.

Шотман нервничал: в самом Центральном Комитете мало кто знает про поиски нового подполья Ленину. У Рахьи клещами опрометчивого слова не вырвешь. Свердлов и близкого друга не посвятит в строжайшую партийную тайну. Но сыщик-то прицепился к Зофу? Что за причина? Шотман прямо об этом и спросил.

— За слежку мастера придется благодарить,— ответил Зоф,— косится, спит и видит подставить мою милость под немецкую пулю.

— Возможно, это ваши внутренние дела,— успокоил себя Шотман. Он верил в конспираторский талант Свердлова. Версия Зофа близка к истине, случай спас его от маршевой роты. Шотман потребовал рассказать подробности, как Зоф перехитрил шпика.

— Увалень, а не детектив,— весело заговорил Зоф.— Поводил я его по Тарховке и Александровской, в пот вогнал, а минуты за три до прихода поезда из Петрограда зашел в отхожее место. И соглядатай — замной. Выждал — сбросил он с плеч подтяжки, я выскочил и поленом подпер дверь.

— Удачно отделался,— похвалил Шотман и обратился к Емельянову, продолжая прерванный разговор.— Так как же с документами?

— Сделал набег на канцелярию,— сказал Николай.— Бланки пропусков там испорченные.

— С помаркой — не документ,— сказал Шотман.

— Достану пропуск непорченный,— обещал Николай,— хранятся они у помощника начальника завода, а он, дьявол, не вылезит из кабинета. Обедать уходит — дверь на замок... Не выкуришь, был закадычный приятель на стрельбище, да схлопотал тюрьму за нарушение сухого закона.

— Берусь выволочь из норы генерала,— предложил Зоф.

— Решайте, бланк требуется настоящий, с печатью. Ни малейшего подозрения не должен вызывать документ,— требовательно наставлял Шотман.

Время идти на поезд. Шотман надел шляпу, преобразившись в петербургского барина, подкинул и поймал тросточку. Зоф встал в дверях.

— Десятка три надежных красногвардейцев можем выставить,— сказал он,— мало ли что случится, на приграничных станциях — патрули юнкеров, рыскают гимназисты.

— Лучше заранее все предусмотреть, чтобы начисто отрезать все эти «мало ли что»,— резко возразил Шотман.— Каждый лишний и свой человек опасен. Итак, напоминаю, пропуск надо добыть без помарочек. Парик я достану, карточку наклеим настоящую, фотографа редакция «Правды» пришлет. С Лениным он знаком. И последнее: не мешает хорошенько разведать местность от шалаша до станции.

Николай фыркнул: кому Шотман предлагает разведать местность? Дорогу на Дибуну и Левашово он знает не хуже собственной ладони.

В Финляндии Ленину будет спокойнее жить, имея при себе удостоверение Сестрорецкого оружейного завода. Но как раздобыть добротный бланк? Буквально на другой день после отъезда Шотмана Николай, проходя по коридору конторы, заметил, что дверь кабинета помощника неплотно прикрыта, прислушался: никого нет. Не раздумывая, он вошел — и прямо к столу; глазам не поверил: возле чернильного прибора лежала пачка новеньких заводских пропусков. Вытащил из середины бланк и опустил в карман.

Снимок у фотографа получился удачный, в гриме и знакомые не узнают Ленина. Пропуск положили в папку на подпись. Генерал удостоверил: «Предъявителю сего Константину Петровичу Иванову разрешается вход в магазинную мастерскую завода до 1 января 1918 г.».

Кончился сенокос, портилась погода, ночью промозгло и холодно. Стали все чаще на лодках перебираться за озеро грибники. Николай кинулся к Зофу.

— Жди команды, в Петрограде не меньше нас беспокоятся,— сказал Зоф.— Свердлов что-то проверяет.

В тот же вечер в Разливе появился Шотман. С ним был среднего роста человек, с густыми усами, в наглухо застегнутом пальто. Он и в комнате не снял фуражку, низко надвинутую на лоб.

— Рахья,— представил его Шотман.— Приехали закрывать шалаш.

— Лодка у причала,— сказала Надежда Кондратьевна.— Выясню, чья очередь на веслах. Мои ребята любят бывать в шалаше.

С грустью Владимир Ильич прощался со своим «зеленым кабинетом». Сколько здесь написано: «К лозунгам», «О конституционных иллюзиях», «Благодарность князю Г. Е. Львову», «Начало бонапартизма», «Уроки революции». Здесь он продолжал работать над задуманной еще в эмиграции книгой «Государство и революция»...

В темноте покинули шалаш, шли строго гуськом за Емельяновым. За поворотом дорогу преградила глубокая канава, полная воды, еще неделю назад в ней было сухо. Николай, чертыхаясь, притащил жерди, срезал молодую березку. Перебрались через канаву по одному.

Идти в кромешной тьме было тяжело, подстерегали кочки, коварные ямки, прикрытые опавшими листьями.

— Немного осталось — и выберемся на «Невский», — ободрял спутников Николай.

Прошли версты полторы, пока почувствовали под ногами утопанный проселок. Неожиданно тропинка обвалилась у ручейка, пришлось разуться.

Еще с версту оставили позади, пора бы выбраться на дорогу, а под ногами все те же кочки, ямы, валежник. Николай и думать не смел, что сбился с пути. Столько хаживал сюда за грибами, ягодами — и никогда не блуждал.

Скоро Шотман почувствовал запах дыма.

— Горит, — предупредил он, — не дай бог, торфяник.

— Шалопутные грибники костер оставили, вот дымком и пахнуло, — успокоил Николай.

Выбрались из соснового подростка на узкую прогалину; дым щипал глаза, с каждым шагом дышать становилось труднее.

— От костра столько дыма не будет. Это же торф горит, черт знает куда завел, — прикрикнул на Емельянова Шотман, но сразу смягчился: в такой тьме немудрено сбиться с дороги. — Учти, Сусанин, мы не шляхтичи.

Николай с ужасом подумал, что потерял способность ориентироваться, — и это в лесу, исхоженном вдоль и поперек.

— Сбился, — сказал он, раскаиваясь, что не послушался Шотмана. В темноте-то, выходит, просто заблудиться и в знакомой местности.

Спутники Емельянова встретили неприятность по-разному. Шотман старался сориентироваться. Он прислушивался, вглядывался в темноту, надеясь, что по шуму и свету паровоза удастся определить, где они находятся. Владимир Ильич был спокоен, шутил.

— Сделайте, Николай Александрович, любезность, уведите нас с горячей сковородки, — попросил он, когда нестерпимо запахло гарью.

— С таким провожатым опоздаем к самому последнему поезду, — бурчал Рахья. Про себя он еще хуже ругал Емельянова: местный старожил — и ухитрился в трех соснах заблудиться.

Попросив своих спутников передохнуть, Николай отправился на разведку. Он скоро выяснил, что торф горит на высохшей за жаркое лето низине. Здесь он не однажды собирал клюкву, отдыхал под одинокой сосной на дюне, похожей на древний могильный курган. Теперь-то он не ошибется: нужно взять вправо.

Обратно он шел напрямик, быстро, но ни одна ветка не выстрелила, не хрустнула.

— Походка кошачья — на медведя ходить, — похвалил Владимир Ильич. — Выводите нас быстрее, а то Рахья подыскивает, где ночлег устроить.

— Выведу, самому стыдно: так безбожно заплутаться! Хочешь не хочешь, а поверишь в лешего, — сказал Николай, довольный, что наконец нашел дорогу к станции.

Спустя минут сорок темноту просверлили робкие огоньки.

— Никак к Левашову вышли? — удивился Николай. — Неужели уже столько верст отмахали?

Из густого кустарника выбрались на заезженный проселок. Шотман, взглядевшись в огоньки, сказал:

— Это, братцы, не Левашово, там у станции дом каменный, трехэтажный.

Николай пригляделся: огни тусклые и почти у самой земли стелются.

— Дибуну, — узнал он станцию.

На платформе робко светили фонари. Сновали военные, подтянутые штатские, где-то гулко хлопала дверь.

— Станцию юнкера давно оседлали, — сердито проговорил Рахья. — А вот что за штатские снуют — не пойму, не пассажиры — ночь на дворе.

Безопаснее пробраться на станцию, конечно, Емельянову. Мастеровой с оружейного, не чужой в здешних местах, засиделся у приятелей. Но вызвался в разведку Рахья. Документы у него настоящие, финн, в случае чего, отговорится: навещал родных. Близ границы расположены финские деревни.

По платформе бродили сонные солдаты, воинственно вышагивали юнцы, у одного была за плечом винтовка. Рахья, выяснив обстановку, никем не замеченный, шмыгнул в кустарник, пробрался к своим.

Владимир Ильич предложил уйти под откос железнодорожного пути и притаиться в кустарнике. Так и сделали. Теперь нужно было узнать: будет ли еще поезд на Петроград, а заодно купить билеты. Отправился Николай. В это время на крыльцо вышел щеголеватый юнкер, поскрипывали новые, не притершиеся на нем ремни портупей. Он что-то крикнул, из темноты под свет фонаря выступили два солдата. По команде они зарядили винтовки и за юнкером направились к Белоострову по тропинке вдоль полотна.

«Прочесывают подходы к станции», — Николаю стало страшно: могло ведь юнкеру прийти в голову начать

проверку местности по ту сторону пути, где в кустах прячутся Ленин и сопровождающие.

Через окно Николай увидел: в комнате дежурного полно солдат. Столько их пригнали на маленькую станцию — видимо, плотно перекрыта дорога в Финляндию. Пораздумав, он обрадовался: это даже к лучшему, — менее строгий досмотр за поездом в Петроград.

Вот-вот должен подойти из Белоострова поезд. Что-то нужно придумать, чтобы Владимир Ильич мог незаметно проскользнуть в вагон. Самое простое — привязаться к юнкеру, фанаберии у них — хоть отбавляй, возникнет скандал, это отвлечет внимание патрульных от прибывающего поезда.

Николай поднялся на крыльцо, никто его не остановил. Вот незадача! Помешкав, он приоткрыл дверь в комнату дежурного.

— Подглядываешь? — Кто-то грубо дернул его за плечо.

Сзади стоял тот самый щеголеватый юнкер. Николай этому был рад — значит, вернулся патруль.

— Пересолился за ужином, пришел напиться, а в баке ни капли, — сказал Николай и насмешливо спросил: — Простому смертному и воды нельзя выпить?

— Напьешься, захмелеешь от шомполов.

— Эх ты, без пяти минут офицеришка!

Юнкер втолкнул Николая в дежурную комнату.

— Сейчас иначе запоешь.

— Да ну! — Николай выскочил из дежурки. Он твердо рассчитал, что за ним увяжется юнкер.

— Хам, прикусишь язык, — крикнул юнкер и догнал Емельянова на платформе, как раз против крыльца.

— Здесь не казарма, — вызывал на скандал юнкера Николай.

— Совсем распоясалась мастеровщина. — Юнкер, со злостью повернув Николая за плечи, истерически крикнул ему в лицо: — Ты кто такой? Большевик?

— Человек, — ответил Николай.

Юнкер уловил в его голосе насмешку.

— Документы! — Юнкер не говорил, рычал. — С Выборгской стороны?

— Вида на жительство не ношу, работа грязная, запачкаю. — Николай нарочно говорил громко и медленно.

Собралось вокруг них человек восемь. Были здесь солдаты из патруля, гимназисты, потасканная женщина в военной гимнастерке.

— Стучу не в Петрограде, ближе, на Сестрорецком оружейном,— продолжал Николай, едва скрывая радость: затевается скандал, юнкер уже в амбиции.

— Врешь, по морде вижу — не сестрорецкий,— заорал юнкер.— Кто там начальник?

— Живем сейчас при временном начальнике, а был генерал Гибер.

— Помощник.

— Смотря какой. По технической части генерал-майор Дмитревский,— отчеканил Николай.

— Доктор?

— Гречин пишется, а прозвище — Греч, подлее скотины не сыскать на белом свете,— сказал Николай.

— Как ты смеешь, это мой дядя.— Юнкер затолкал ногами.— Можешь не скрывать, кто ты! По роже вижу — большевик!

— Нет, православный.— Николай прикинулся недалеким мастеровым.

— Спрашиваю про партию.

— Что ж, можно потолковать и про партию, много их поразвелось, а стоящая одна — демократическая, к рабочим она близка. В мастерской у нас говорят, что большевики — люди хорошие.

— Вот кто ты.— Юнкер замахнулся, а ударить не посмел: остановили глаза Николая, умные, злые.

— Большевиков расстреливаем на месте,— угрожающе крикнул юнкер.

— Без суда, свобода вам, юнкерам, такая вышла?— спросил Николай.— Керенский стрелять приказал? Есть на то мандат?

Юнкер хоть и хорохорился, а соображал: мастеровой не из серой скотины, такого не запугаешь, по морде надаешь — забастовкой как бы не аукнулось. От дяди он слышал, что на оружейном теперь каждый второй — большевик, а не то — сочувствующий.

Николай же больше всего сейчас боялся, что юнкер прикажет солдатам увести его в дежурную комнату. Он решил сопротивляться, драку затеять.

Приближался из Белоострова поезд, паровоз высветлил макушки деревьев. Показался франтоватый дежурный на крыльце.

— И кадетов с октябристами, господин хороший, приказано стрелять?— спросил нагло Николай.

Патрули — солдаты и старший их — не спешили к поезду, с интересом наблюдали за возникшим скандалом и гимназисты.

— Арестую!— Юнкер побагровел.

— А бумагу на то имеешь?— спросил Николай, думая об одном — скорей бы отошел поезд.— Это при царе городские хватали, не то времечко. Свобода всем в России дана!

На станции ударили в колокол. В окне дежурной комнаты замелькали вагоны. Бросив взгляд на безлюдный конец платформы, Николай первый раз за долгий вечер улыбнулся — Ленин и сопровождающие уехали.

— Отправить арестованного к военному коменданту в Белоостров,— приказал солдатам одуревший юнкер.

Подошел поезд из Петрограда. По знаку юнкера солдаты схватили Николая, завели руки назад, втокнули в пустой вагон сонного поезда.

— В военно-полевой суд дорога прямая,— с усмешкой крикнул юнкер. Записав номер вагона, он кинулся в дежурную комнату.

«Осел»,— обругал юнкера Николай и подошел к двери, дернул, налег — не поддается. Кинулся в другой тамбур, тоже заперто. Через несколько минут Белоостров. На ходу выброситься из окна — калеккой бы не остаться. Оставалась надежда: второй час ночи, комендант в Белоострове дрыхнет, юнкер не успеет созвониться, а патруль досмотра он обманет, «наугощался»...

В Белоострове вагон открыл старший унтер-офицер Смирнов, давний знакомый Емельяновых.

— Вот те на, в государственные преступники угодил,— сказал он, направляя на Николая свет электрического фонаря.— Чего не поделил с молокососом?

— Разные у нас взгляды. Я большевиков хвалю, говорю, что люди хорошие, а он грозит их всех перестрелять. Второе наше существенное разногласие по части Греча, доктора. По-моему, это подлец из подлецов. А тому юнкеру он родным дядей приходится.

— За свою родословную стоит юнкер,— сказал Смирнов.— А кашу, Николай Александрович, зря заварил. Еще счастливо отделался. У юнкеров руки не связаны, для них большевик — человек вне закона; хлопнут — и аминь. Тебе еще повезло, на самовлюбленного кретина нарвался,— Смирнов потушил фонарь, выглянул из вагона:— Беги.

Николай скрылся в темноте ночи. На берегу Сестры он оглянулся. На станции, у сонного поезда, метались огоньки. Солдаты искали арестованного. На душе Николая было спокойно — самое главное поручение партии выполнено.



ОН ЖЕ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

ПОВЕСТЬ

Первые дни осени 1901 года.

В университетской канцелярии Шура Игнатьев узнал, что принят на естественное отделение физико-математического факультета. Теперь в С.-Петербургском университете он не чужой, можно не спеша прогуляться по знаменитому коридору.

— Почтение преобразователю природы,— услышал Шура за спиной знакомый голос.

Белоцерковец! Долговязый, угловатый, светловолосый.

— И ты... в университет?— воскликнул Шура.

Они не виделись после выпускного бала в гимназии. Белоцерковец уехал к родственникам в деревню, а Игнатьев все лето провел в Финляндии, в родительском имени Ахи-Ярви.

— Нездешние мы,— весело заговорил Белоцерковец.— Мы из института путей сообщения. Слышали про такой? Так что, Шура-Александр, наши дороги разошлись. Пока ты выведешь свою игнатьевскую пшеницу, я изобрету такую сигнализацию, что на железных дорогах не будет больше крушений.

— А в университете ты что делаешь?— спросил Шура.

— Тебя разыскиваю. Был у твоих на Забалканском, сказали, что ты здесь. Едем в Петергоф. Володька Наумов рвется в Сибирь, отец просил повлиять. Загубит Володька молодость в ненужных скитаниях. Наука и карьера его не интересуют.

Последнее время с Володей Наумовым происходило неладное. Еще недавно был дельным, жизнерадостным гарнем. Вместе с Игнатьевым и Белоцерковцем печатал на мимеографе листовки с критикой гимназических порядков. А теперь замкнулся в себе. Как-то сказал: «Жестокый мир невозможно перестроить. Спрашивается: зачем жить?»

— Володя глубоко убежден,— тараторил Белоцерковец,— что спасти Россию может лишь бомба, убийство

царя. Ему объясняют, что вместо ходынского царя трон займет следующий. А он — только свое.

— Что же, едем,— согласился Шура.— А что предложим бомбометателю вместо Сибири?

— Я ему до умопомрачения нахваливаю путейский. Но думаю, Володьке неплохо бы и сюда. Из Петербургского университета вышло немало бунтарей. А у Володьки дух самый что ни на есть бунтарский.

— Каждый честный и думающий человек в России сейчас непременно бунтарь,— задумчиво ответил Шура.— Жаль лишь, что Володьке по духу ближе анархисты. Вряд ли нужно взваливать всю вину за происходящее в России на одного царя. Наш самодержец — пешка, вставленная в позолоченную императорскую рамку, не больше. Самодержавие — вот кто враг России.

— О-о-о! — протянул Белоцерковец.— Прогулялся разок по университетскому коридору и уже вон какими масштабами мыслишь.

Они спустились по лестнице, миновали вестибюль и вышли на набережную. Нева сверкала под сентябрьским солнцем. Деревья на противоположном берегу казались золочеными.

— Баста,— сказал Шура, когда приятели свернули к наплавному мосту через Неву.— Хватит про это. Как дела-то твои, нашел ли ту фею с маскарада?

Подшучивая, вспоминая веселые проделки в гимназии, вышли на кольцо конки у Александровского сада. На имперiale проезд дешевле, дышится хорошо и всего насмотришься, но Белоцерковец направился в салон. И покатился, звеня и поскрипывая, старый вагон.

Отец Володи Наумова увидел приятелей сына из окна; выскочив на улицу без фуражки, провел их в дом. Выставил на стол вазу с грушами и сельтерскую воду, заговорил тихим, больным голосом:

— Не в своем уме Володя, лишился рассудка, стихи ужасные сочиняет. На виселицу его отправят или в крепости сгноят. Пробовал его усостыдить, умолял: пожалеть хоть нас, родителей. Ведь выгонят меня со службы и пенсии не положат.

Володин отец налил сельтерской, отхлебнул, прокручивая в ладонях бокал, продолжал:

— Бога молим, чтобы влюбился. Я ведь при дворце служу, столько красоток у нас. Сегодня вот утром племянница главного садовника позвала его играть в лун-теннис — отказался. А спустя полчаса сорвался,

ушел на лодке в залив. Помогите, век не забуду, отвлеките вы дурня. Далась ему эта революция. Мир так устроен: одни богатые, другие бедные. Одни счастливы, другие несчастливы. У бога и то нет сил переделать мир.

До темноты Шура и Белоцерковец просидели на причале, но так и не дождались Володю. После узнали, что он заночевал у знакомых в Мартышкине.

А спустя две недели Шура получил письмо из Сибири. «Плыву по Тоболу,— писал Володя Наумов.— Мне повезло — дешево устроился на хлебную баржу. Шкипер — политический, выслан из Петербурга за участие в забастовке на Невской бумагопрядильной фабрике».

2

После завтрака Михаил Александрович Игнатьев не спешил на службу. Хотел разузнать, какие снова у Шуры, у старшего сына, затруднения. Молчалив стал последнее время, замкнут. Карманные деньги взял на неделю раньше, и тех не хватило. Вчера Миша натаскал ему из своей глиняной копилки рубль серебром и медью.

Считай, совсем взрослый человек Саша! Университет кончает, и все несет его куда-то не туда. И куда же его вынесет, сына, что с ним станет?

Английские старинные часы в высоком футляре хрипло прожужжали, затем пробили три четверти десятого. Все домашние разошлись. Постучавшись, Михаил Александрович открыл дверь в комнату сына. Шура стоял у окна.

— Чем младшего брата грабить,— посмеиваясь, начал Михаил Александрович,— взял бы лучше у меня, у денежного туза.

— Спасибо, папа,— ответил Шура.— Мне пока не нужно, скоро за уроки получу. А у Миши я в долг взял.

— Опять репетитором устроился?— встревожился Михаил Александрович.— Это ведь будет мешать твоим занятиям в университете — вновь пропуски, отсрочки. Смотри-ка, вон твой Белоцерковец уже без пяти минут инженер-путеец.

Шура понимал тревоги отца. Да, редко студент Игнатьев стал появляться на лекциях. К экзаменам готовился по ночам, часто и внезапно куда-то уезжал, возвращался домой без сил. Михаил Александрович догадывался о причине частых отлучек сына. В Петербурге прошли аресты, оставшиеся на свободе социал-демокра-

ты и сочувствующие революции работали за троих — пятерых.

— Ничего, выкарабкаемся,— пообещал Шура.— Университет я все равно закончу. Это я тебе обещаю, отец.

— Обносился ты, как я погляжу,— сказал Михаил Александрович, вынимая из бумажника тридцать пять рублей.

Шура заколебался.

— Обойдусь до репетиторских.

— Умоляю, не позорь мои седины,— пошутил Михаил Александрович и деловито посоветовал:— Купи готовый на каждый день. У портного-немца на Загородном, недалеко от Пяти углов, выставлен в витрине шевиотовый костюм твоего размера, очень даже приличный...

Вечером, возвращаясь из Городской думы, Михаил Александрович велел кучеру проехать по Загородному. В витрине по-прежнему стоял манекен в шевиотовом костюме с табличкой на животе «Продается».

Да что же это? И деньги взял, и снова, видимо, пустил их куда-то не туда.

В начале двенадцатого ночи в квартире все угомонились. Михаил Александрович сел за стол, решил написать письмо прасолу. Да и сына хотелось дождаться.

Шура явился около часу ночи, на цыпочках пробрался на кухню. Михаил Александрович слышал, как скрипел под осторожными шагами паркет.

Письмо не получалось. Михаил Александрович разорвал черновик и неожиданно решил отложить разговор с сыном до утра. Утро вечера мудренее, тем более — ночи. Отправился в спальню, но спохватился, что бутылку сельтерской воды оставил на буфете. В столовой кто-то спал чужой, укрывшись с головой старой шинелью Михаила Александровича. У дивана стояли забрызганные грязью юфтевые сапоги с загнутыми голенищами.

Проснулся Михаил Александрович рано, заглянул в столовую. Там никого уже не было. Диван прибран, шинель висела на положенном месте в передней.

Михаил Александрович увел Шуру в кабинет, без обиняков спросил:

— Кто ночевал у нас?

— Парень с Выборгской стороны, его разыскивает полиция,— Шура не запирался, но говорил нервно.— Он

не преступник. По приговору товарищества избил на Флюговом переулке до полусмерти провокатора. Из-за этого прохвоста многосемейный рабочий с «Айваза» угодил на бессрочную каторгу.

— Зачем же ты так рано выпроводил его? Объяснил бы кухарке, что нанял плотника на поделки в имении или еще что,— понизив голос, заговорил Михаил Александрович.— Есть ли у человека деньги? В меблированных комнатах на Лиговке можно ненадолго остановиться и без прописки.

— К семи утра ему надо было на Николаевский вокзал,— сказал Шура.— Да я и не хотел, чтобы его видели у нас в доме. Зачем лишние толки. Человека затравили, трое суток он бродил по улицам. Когда мне его передали, он чуть не стоя спал.

— Что же ты мне не сказал,— покачал головой Михаил Александрович,— я устроил бы его и без паспорта к себе на бойню, фамилию он мог бы назвать любую.

— В Мытищи он поедет. Чистый вид на жительство Ладоха достал, он и денег дал на жилье, и угол... Помнишь Ладоху? В гимназии у нас преподавал. Настоящий товарищ, верный. Мы до сих пор дружим. А костюм я куплю недели через две,— сказал Шура,— на репетиторские. Твои деньги отдал жене осужденного на каторгу. В крайней бедности осталась семья.

— Немец еще не продал костюм.— Михаил Александрович открыл стол, достал четвертной билет.— Надеюсь, что за ужином увижу тебя в обновке.

Почти весь день Михаил Александрович провел на колесах, ездил к ученому химику на консультацию. Болеют, покрываются зеленой сыпью бронзовые скульптуры быков у главного входа городской бойни. Затем побывал в министерстве, оставил прошение: мало средств отпускали на содержание первой в России станции микроскопического исследования мяса и на Городской мясной патологический музей. Это ведь научный центр ветеринарии в России! А из головы не выходило: купил ли Шура костюм? Смотритель городской бойни Максимов, и тот одевает сына у Клода Фуше, отменного, пожалуй, лучшего сейчас петербургского портного. А Игнатьевы богаче. Да еще после смерти Аделаиды Федоровны к Шуру отошло имение Казимирских...

Возвращался Михаил Александрович домой нарочно по Загородному. В витрине стоял тот же манекен, но в костюме драгуна.

Михаил Александрович велел кучеру развернуть коляску.

— К Елисееву, забыл купить шампанского.

3

«Счастливая» улица! Злой человек дал ей такое название...

Скопище прокоптевших, сторбленных деревянных домишек, покосившихся сараев, курятников. От дома к дому лежат дощатые мостки, хлюпающие под ногами. Здесь с ранней весны до жарких июльских дней деревенская распутица.

В приземистый дом с окнами, наполовину заваленными сеном, чтобы не выстуживало, Шура приходил раз в месяц. В большой комнате, поделенной ситцевыми перегородками, в одном из закутков собиралось до десяти человек. Шуру сажали под мрачную икону богородицы, молча, напряженно слушали. Прошлый раз он рассказывал о русско-японской войне, падении Порт-Артура.

— Бессчетно полегло там мастеровых и мужиков за эту проклятую крепость. Царь, нужно отдать ему должное, никого не забыл, всем им отвалил по деревянному Георгию, — сказал клепальщик с верфи.

Когда у Шуры было хорошее настроение, он добирался к себе на Забалканский проспект пешком. Но сегодня ушел из этого дома на Счастливой около полуночи подавленный. Мастеровые и ткачихи слепо верят попу Гапону, верят в справедливого царя. Люди забыли Ходынское поле. Клепальщик, тот самый, что недавно осуждал Николая II за русско-японскую войну, сказал:

— Царя обманывают министры и придворные. Он не знает, как мы живем. Отец Гапон прав: собраться всем миром, с иконами и хоругвями пойти к Зимнему, там рассказать царю о своей тяжелой доле и обидах. Узнает царь-батюшка правду — строго накажет виновных, вздохнут люди.

За осенние и зимние месяцы было столько переговорено в доме на Счастливой. И ведь понимали Шуру, соглашались с ним. И про восьмичасовой рабочий день, и про отмену штрафов, и про полную оплату за дни, пропущенные по болезни. А теперь вдруг все сломалось. Поп сумел каким-то образом перевернуть людские души.

На явку — в столовую Технологического института — Шура пришёл сникший, расстроенный, шапку снял, а перчатки забыл. Ладоха понял его настроение, спросил:

— Идут за Гапоном?

Шура не ответил, только ниже опустил голову.

— И с Выборгской стороны собираются, — сказал Ладоха. — Как бы царь не встретил манифестантов на гайками да свинцом...

В воскресенье Шура встал рано. Проверил ящики стола. Сжег все, что могло кинуть малейшую тень подозрения на кого-нибудь из знакомых. Покончив с бумагами, оделся. В это время из кабинета показался отец.

— Не ходи, Шура, — попросил Михаил Александрович. — В городе беспокойно. В полках отменены увольнения в город, офицеры на казарменном положении. Ночью по Забалканскому к центру проехали казаки. С вечера околоточный обходил дворников. Нашему Силантьевичу тоже велел поглядывать и о непозволительных сборищах доносить в участок.

— Да, я знаю, в городе беспокойно, — согласился Шура. — И все-таки, папа, я пойду. Мне нужно быть на Дворцовой площади, так договорились.

Михаил Александрович больше не пытался отговаривать сына, лишь, положив руку ему на плечо, сказал:

— Береги себя.

На Забалканском проспекте было тише, чем в обычное воскресное утро. Но тишина эта оказалась обманчивой. На бирже стояли скучавшие извозчики. В доме напротив городской бойни наглухо запахнулись ворота. Угрюмые дворники топтались на панели. Редкие прохожие пугливо поглядывали по сторонам.

За Технологическим институтом городских стало больше, зачастили околоточные, казачий патруль осматривал дворы вокруг Сенной площади.

По Невскому к Зимнему не пробраться. Но Шуре удалось перебежать за конными городскими через проспект на Большую Конюшенную, а дальше проходным двором на Мойку, к Певческому мосту.

У Капеллы собралась толпа — мастеровые, лавочники, мелкие чиновники, студенты. Спешили на Дворцовую площадь, да застряли у моста. Боясь прозевать выход Николая II из Зимнего дворца, обыватели ругали спешившихся кавалергардов.

Со стороны Александровского сада к площади приближалось нестройное пение. Когда раздался ружейный залп, толпа не сразу даже поняла, что это. Но люди, стоявшие за цепью кавалергардов, с ужасом кричали:

— Солдаты стреляют! Стреляют!

— Боже, убивают!

Оттесняя лошадью людей от кавалергардов, офицер насмешливо бросил в толпу:

— Идиоты, холостыми стреляют.

— Холостыми! А люди замертво валяются в снег...

Кавалергарды едва сдерживали разгневанную толпу.

— Смотрите, хоругвь святую затоптали!

Первый залп на площади у Зимнего напомнил Шуру опасения Ладохи. К несчастью, сбылось самое страшное. Люди поверили Гапону, поверили в справедливого царя. И вот она, расплата.

Шура поставил ногу на чугунную решетку моста, приподнялся, обратился к кавалергардам:

— На ваших глазах расстреливают людей! В чем их вина?! Они хотят иметь работу, мало-мальски сносный заработок и крышу над головой. С минуты на минуту и вам прикажут открыть огонь. Покажите себя людьми достойными, поверните винтовки...

Он не договорил, шашка офицера опустилась ему на голову. Спасла меховая шапка да помешал расправе стоявший поблизости студент. Он успел резко дернуть узду, конь вздыбился, это и сбило замах офицера. Второй удар шашки пришелся ниже плеча, прорубил пальто.

— Взять бунтовщика!— приказал офицер.

Студенты, курсистки и мастеровые помешали кавалергардам приблизиться к Игнатьеву. Он помнил, как чуть не силой затолкали его во двор. Миловидная курсистка, которую подруги называли Олей, вывела его через проходные дворы на Большую Конюшенную. Курсистка уговаривала Шуру подальше уйти от Дворцовой площади. Опознают — не миновать ему Шлиссельбургской крепости.

— Спешить в ту крепость, действительно, не стоит,— сказал в тон девушке Шура.— Но прежде чем исчезнуть, хочу знать, кому обязан?

— Университетским.

— Санкт-Петербургскому, своему родному?

— И бестужевкам!

— А персонально?

— Так ли важна моя фамилия,— сказала девушка.— Если официально — Ольга Канина.

Спроси в тот момент Ольгу, почему она разоткровенничалась с этим молодым человеком, она бы ответила, не задумываясь, что видит его впервые, а знает давно — смелого и гневного. Как он решительно поднялся на решетку Певческого моста!

Лишь в сумерки Шура добрался домой. В передней сестра Варя шепнула:

— Папа вне себя, он тоже был в городе.

Шура прошел в гостиную. Отец в шинели, папахе, подперев кулаками подбородок, повторял:

— Ужас, ужас!

— Расстрела, папа, следовало ждать.— Шура сел напротив отца.— Выстрелы и кровь, я думаю, откроют людям глаза на многое в России.

— Все стоит перед глазами: жандармы избивали нагайками женщин, детей, стариков. Палачи!— Михаил Александрович сорвал с себя папаху, швырнул на стол.

Варя сняла с отца шинель и увела его в спальню.

А у Шуры усилилась в плече боль. Как быть? Самому перевязку не сделать. Вся надежда на сестру...

Нежданно-негаданно к Игнатьевым заглянул Белоцерковец. Начал спокойно:

— На Васильевском острове баррикады — ломовые телеги, снеготаялки, поваленные фонари.— И вдруг озлился:— А все-таки зря мы осуждали Володьку Наумова. Чтобы выяснить отношения с царем, требуется одна хорошо отлаженная бомба.

— И что изменится?— возразил Шура.— Не бомба террориста-одиночки, а революция выяснит отношения народа с царем и самодержавием.

— Революция... Французская родилась, долго ли пожила... А наша и совсем заблудилась!— выкрикнул Белоцерковец.

— Чем философствовать, перевязал бы.— Шура снял пиджак, на рубашке темнело пятно.

— Ранен?— спросил Белоцерковец.— У Зимнего?

4

Сулимовы жили у Пяти углов. Шура легко нашел дом, лестницу, но поднимался медленно. Зачем дают ему помощника? Не доверяют? Неужели он один не сумеет купить пару револьверов? Если уж даже у городского приобрел сто штук патронов для нагана...

Двери открыла Мария Леонтьевна.

— Не спрашиваете, мало ли, воры или полиция,— удивился Шура.— Теперь в петербургских квартирах чаще дверь держат на цепочке.

— Милый человек, вора́м нечего у нас взять, а у полиции свой почерк. Городовые пользуются не звонком, а кулаками и каблуками.

Мария Леонтьевна пригласила Шуру в комнату. Он робко отнекивался: забыл надеть галоши, боялся наследить.

— Снег чистый,— уговаривала Мария Леонтьевна,— и пол мыть пора.

Шура прошел за ней. Обстановка скромная — две простые кровати, комод, этажерка, небольшой стол.

В створках раздвинутых портьер стояла молодая женщина. Она смотрела на улицу и даже не повела головой, когда вошли Шура и Мария Леонтьевна.

— Это, Оленька, твой попутчик,— сказала Мария Леонтьевна.— Знакомьтесь.

— А мы знакомы,— повернулась женщина, и тут Игнатьев узнал ее.

— Как знакомы?— удивилась Мария Леонтьевна.— Где успели?

— У Певческого моста,— сказала Ольга.

— Так это тот самый молодой человек, что полез под офицерскую шашку?

И как-то сразу, будто уже знакомы сто лет, молодые люди разговорились.

— Вижу, что если вас не унять,— сказала Мария Леонтьевна,— до темноты не останетесь. А в Александровский рынок?

— Да, пора,— сказал Шура,— покупатель-то главный я.

— Не шибко-то бахвалься,— пошутила Мария Леонтьевна,— не покажешь Ольгу, лавочник не продаст револьверы.

Худая молва ходила об Александровском рынке. Вид и снаружи у него мрачный, средневековый. Теснятся флигеля-казематы с крепостными стенами. Купцы побогаче, поразмашистее арендовали лавки на Садовой линии, Вознесенском проспекте.

Торговое заведение «Копченов и сыновья» помещалось в бывшей конюшне с двумя тюремными оконцами.

Спертый, парной, гнилостный запах ударил в лицо Ольге. Она зажала нос и не смогла переступить порог.

— Обождите на дворе, справлюсь один, не пароход покупаем,— остановил ее Шура.

Ольга благодарно улыбнулась.

Владелец лавки, несмотря на пароль, встретил Игнатьева подозрительно.

— За игрушками должна зайти дама с сопровождающим,— сказал он.

— Тяжелый запах в лавке,— сказал Шура.— Даму я во дворе оставил.

Шура открыл дверь. Лавочник увидел Ольгу, успокоился.

— Деньги-то с собой? Товар отпускаю только за наличные. Пожалуйста четвертную.

— Вот еще.— Шура криво усмехнулся.— Кота в мешке не куплю. С какой стати четвертную? Уславливались по червонцу.

— Третьего дня это было, а сегодня нашел покупателя, дороже дает.

Побрызжав на дороговизну, лавочник скинул было два рубля. Но заметив, с каким интересом Шура рассматривает револьверы, еще набавил по полтора рубля на штуку.

— Не залежатся, анархисты в цене не постоят,— заверил лавочник и унес револьверы в темный закуток.

Хмурый вышел из лавки Шура. Ольга не могла отвязаться от «пиковой дамы» — усатой старухи, которая навязывала ей кружевной лифчик и пучок мятых перьев.

Шуганув старуху, Шура взял Ольгу под руку.

— Негодные?— спросила Ольга. По озабоченному выражению лица Шуры она догадалась, что покупка сорвалась. Игнатьев объяснил, в чем дело.

— Сколько не хватает денег?— спросила Ольга.

— Но я договорюсь с лавочником...

— Сколько не хватает на покупку? Не то сейчас сама пойду в лавку.

— Восемь рублей,— признался Шура.

— И из-за восьми рублей разговор? Берите, пока лавочник не надбавил еще.

* * *

Нелегко хлеб репетитора. На первых порах Шура помучился. Ученик, купеческий сыночек, попался ему туповатый и с ленцой. Но к Игнатьеву он привязался. Отец Митряя, Евмений Иванович, снимал на Гороховой флигель с двумя жилыми крыльями. В центральной ча-

сти помещалась контора. В комнату Митряя можно было подняться из вестибюля по винтовой деревянной лестнице. Это избавляло Шуру от неприятных встреч с купцом.

Вчера горничная подкараулила Шуру на нижней площадке.

— Сам к себе требует,— заговорила она,— он у нас малость с придурью, большими тыщами ворочает, а так добрый. Указывать начнет — соглашайтесь, страсть не терпит, кто супротив, не жалует своевольников.

Освещая путь свечой, она повела Шуру по темному коридору, заставленному сундуками.

Евмений Иванович занимал под кабинет проходную комнату, чтобы иметь присмотр за конторщиками. Шуру он встретил словами:

— Скудент? Жду, как же, давно жду, возьми табуретку, подсядь поближе.

— Студент,— поправил Шура.

— Горшок тоже называют разно, а все равно горшок.

Помусолив чернильный карандаш, купец записал какие-то цифры в маленькую ученическую тетрадь, повернулся вместе со стулом к Шуре.

— Всем ты был бы для меня хорош. Всяких учителей нанимал натаскивать Митряя. Но никто так не мог вдолбить моему мальцу в башку арифметику, как ты. Одно жаль, не туда, куда надобно, скудент, сворачиваешь.

— Не понимаю вас.

— Сядь, скудент. Беседу, как на духу, хочу иметь.

Шура считал, что деньги получает не зря. Много ли он дал уроков, а уже Митряй самостоятельно решает задачки с вычитанием и умножением. Хуже давалось мальчишке деление и совсем плохо — простые дроби. Никак не втолковать, что одна шестнадцатая меньше одной пятой.

— Промашка есть, и серьезная, скудент. Не тому учишь Митряя, не туда гнешь, не в купецкую линию. К делу Митряя надобно приучать, к торговому. А ты на что его толкаешь?— Евмений Иванович, вытащив из-под грузных чугунных счетов тетрадь сына, продолжал:— Зачем мальцу башку ломать, узнавать, сколько верст до луны? И шут с ее диаметром! Нам с ней не торговать. Лучше спроси, потребуй — из чего у купца прибыль складывается? Вот, скажем, я весной купил пять тысяч пудов первосортной крупчатки, выторговал

по пятиалтынному на пуд. В Питере эту муку высшим сортом пустил. Смекай, разница гривенник и за комиссию семь копеек. Сколько барыша я взял?

— Вы наняли меня, чтобы я учил вашего сына арифметике,— сказал Шура,— а как обманывать и барыш получать, это забота не репетитора.

Не обиделся Евмений Иванович, пропустил через пальцы бороду, прищурил зеленоватые глаза, на отеком от водянки лице казавшиеся смотровыми щелочками.

— Ай да студент! Евмения самого ущучил.— И сменил тон:— По-хорошему прошу, учи парня, как велю, а к луне еще раз потянешь Митряя, знай наперед, выгодно и расчет не дам, удержу деньги. Жалуйся! До самого царя дойдешь, а прав буду я, не тому учишь и все!

— Что ж, дело ваше,— сказал Шура.— Ищите более покладистого репетитора.

В коридоре его поджидала со свечой горничная. Из-за ее спины выскочил Митряй, долговязый мальчишка.

— Ей-богу, Александр Михайлович, я не жаловался,— шептал Митряй.— Батя сам выгреб из ранца тетради, проверил и осерчал. И что вам стоит уважить старого? Несколько целковых прибавит за натаскивание. Страсть любит он задачки, в которых купцы покупают, продают и хорошие барыши получают.

— Не горюй, отец у тебя богатый, наймет нового, сговорчивого репетитора,— сказал Шура.

— Не уходите, я упрошу его,— Митряй скрылся за дверью конторы.

Шура быстро направился к выходу.

Упросил Митряй отца или тот сам опомнился, но на следующий день прислал с прислугой конверт.

— Здесь деньги за уроки,— сказала она,— Евмений Иванович велел не обижаться, приходите заниматься с Митряем.

У Шуры в это время сидел Белоцерковец. Посоветовал:

— Плюнь ты на толстосума. Возьми у меня денег, я разбогател, на переписке мемуаров отставного генерала сто целковых отхватил, половина твоя.— И Белоцерковец раскрыл новенький бумажник.

5

Ветер с Невы со свистом врывался в широкую полосу между Десятой и Одиннадцатой линиями, мчался на остров Голодай.

Шура продрог, клял себя, что не надел заячий жилет. Ольга архиобязательный человек, а так безбожно опаздывает. Договорились встретиться в три часа, а уже около пяти, начинает темнеть.

Наконец из парадного Бестужевских курсов вышла Ольга и с ней молоденькая женщина, наверно курсистка. А где же Иван Сергеевич?

— Замерз?— участливо заговорила Ольга.— Прости, не от меня зависело. А это Познер Софья Марковна.

Ольга замаялась. Шура посмотрел на молодую женщину в беличьей шубке, которая по-свойски взяла его под левую руку.

— Называйте меня Таня,— попросила Софья Марковна,— а можно и Татьяной Николаевной. Ивану Сергеевичу я больше нравлюсь с отчеством.

«Ивану Сергеевичу,— подумал Шура.— Почему же не пришел Иван Сергеевич? Ведь обещал прийти. Что случилось?»

— Пирожное бы и чашечку кофе,— мечтательно сказала Ольга.— Да и тебе не мешает согреться.

Торговый зал кондитерской находился в просторном полуподвале. Семь широких мраморных ступеней соединяли его с бельэтажем, где можно выпить кофе с пирожными, съесть яичницу и заказать легкого вина.

Шура направился напрямиком к столику у камина.

Официант принес пирожные, кофе. Шура попросил чайник кипятку и заварку. Пояснил своим спутницам:

— Буду согреваться, как в трактире на перепутье.

Разговор за столом больше поддерживала Ольга. Шура уловил, что с Софьей она, кажется, знакома недавно, однако делала вид, что это ее закадычная подруга.

Большеглазая, миловидная Софья произвела на Шуру приятное впечатление. Он сразу проникся к ней доверием, что с ним в последнее время случалось редко. Подполье приучило к осторожности.

— Софью прислала Сулимова,— шепнула Ольга.— Иван Сергеевич занят.

В прошлом году Шуру познакомили с Сулимовой в Стрельне, у Ладохи на даче. Сулимова — человек серьезный. Если ее рекомендация, значит можно не беспокоиться.

— Мне надо встретиться с Иваном Сергеевичем или с кем-нибудь еще из центра,— сказал Шура.— У меня есть в Финляндии небольшое имение. Могу его предоставить в распоряжение Петербургского и Центрального

комитетов социал-демократической партии. Там можно хранить оружие, нелегальную литературу, организовать типографию.

Софья подозвала официанта, заказала восточных сладостей. Она делала вид, что увлечена едой, но на самом деле внимательно слушала.

— В имении две дачи,— продолжал Шура,— новая построена в прошлом году, с ее балкона хорошо видна кирка в Кивинапе. Это в трех верстах от Ахи-Ярви. В случае необходимости можно выставить посты. Пока нежелательные гости доберутся до имения, будет время скрыться. За Пескаркой начинается мой лес...

Расспросив про соседей, Софья обещала передать все Ивану Сергеевичу.

— Ждите. Моя роль — роль почтальона,— сказала она.— Засиделись, пора кончать пир. И еще просьба Сулимовой. В бедственном положении оказалась Афанасия Шмидт. Требуется спрятать ее от полиции.

— Сделаю, что могу,— заверил Шура.

— Встреча завтра в десять утра. У бронзовых быков к вам подойдет молодая светло-русая дама. Она назовется Фаней Беленькой.

На Девятой линии Софья села в трамвай, ей нужно было попасть к Мариинке. Ольга снимала комнату на Петербургской стороне, подошел и ее трамвай. Но Шура не хотел отпускать ее.

— Пройдемся,— предложил он.

— Мороза не боишься?

Ей тоже не хотелось расставаться с Шурой. Как он не похож на ее знакомых. У тех одна цель в жизни — выбиться в люди. Игнатьев принят в известных домах Петербурга, дворянин, владелец имения. Но он все это ненавидит и бескорыстно служит революции.

* * *

Запечатав заказное письмо, Михаил Александрович решил послать на почту кого-либо из конторщиков. Выйдя из кабинета, в приемной, среди прасолов и торговцев мясом, заметил необычного посетителя — светло-русую женщину, скромно одетую, и рядом с ней своего старшего сына.

— На прием?— спросил Михаил Александрович шутливо.

Но Шура ответил без улыбки:

— Есть просьба.

— Пригласи свою знакомую обедать,— предложил Михаил Александрович,— ведь уславливались, и не раз: личные дела решаем дома.

— Служебное у нас дело,— начал было Шура, но отец, извинившись, скрылся в канцелярии.

— Ну что ж,— сказал Шура Афанасии Шмидт.— Положение просителей обязывает нас потрафить директору. Думаю, скучать не придется, да и покормят нас вкусно: нашей кухарке шеф-поваром у самого «Медведя» служить бы.

— От обеда я не откажусь,— охотно согласилась Афанасия.— Какой уже день бегаю в кондитерскую пить кофе. Чертовски любопытная поселилась у нас в квартире соседка, шпионит за мной. Нужно срочно менять комнату. А как решиться при моем положении? Без прописки не всякий хозяин пустит... Сама-то хозяйка квартиры душевная, не болтливая.

— Все уладится,— успокаивал Афанасию Шура.— Отец вам не откажет, он сочувствует нашему брату. Пока накрывают на стол, познакомлю с сестрой. Варя у нас до сих пор не знает, какому заведению отдать предпочтение: медицинскому или музыкальному.

Обедали у Игнатьевых в двенадцать часов. «По Петропавловской пушке садимся за стол»,— любил говорить хозяин дома. Но сегодня он безбожно опаздывал. Была половина первого, когда Михаил Александрович закончил прием посетителей. На дворе он услышал, что в его квартире веселятся. Хоть кол на голове теши сыновьям и дочери, сколько ругал и твердил: «Для забавы отводится вечер». Пела незнакомая женщина:

Женишься на золоте —
Сам продашь себя;
Женишься на почестях —
Пропадай жена!

Михаил Александрович заглянул через дверь в гостиную. Играла на пианино Варя, а пела Шурина светлорусая знакомая.

— Откуда эта дама? Что у тебя за просьба?— спросил Михаил Александрович, когда Шура вышел в коридор.

— Устрой ее на работу,— ответил Шура.

— В контору?— удивился Михаил Александрович.— С прасолами и мясниками не дай бог и мужику-то дело иметь. Ты ведь знаешь, грубияны, хамы. На трех прасолов один непременно мошенник.

— Но у тебя в музее есть вакантная должность.

— Лучше меня знаешь!

— Возьми в музей Беленькую.

— Фамилия у нее такая?— спросил Михаил Александрович.— Беленькая?

— Кличка,— сказал Шура.— Беленькую разыскивает вся российская полиция. У нее нет богатого отца и родственников, ей нужно скрыться и быть в Петербурге.

— По-твоему, в полиции служат олухи и болваны?

— Отнюдь нет,— спокойно возразил Шура.— Но ни один сыщик не станет искать Беленькую в твоём музее.

Не ответив сыну, Михаил Александрович ушел мыть руки. За столом он вел себя сдержанно. Шура пожалел, что без подготовки выложил просьбу. Если отец откажет, как быть? Что подумает Сулимова? Похвастался?

После обеда Варя увела Афанасию в гостиную, а Михаил Александрович сына — к себе в кабинет.

— Подопечная твоя умеет что-нибудь делать?— спросил он.

— Как же! Она художница.

— В моем ведении, насколько тебе известно, Городской мясной патологический музей, а не музей изящных искусств.

— В штате музея есть художник.

— Сумеет ли она и еще захочет ли делать муляжи печени, сердца, коровьего языка, пораженного ящуром?

— Не отличишь от настоящих,— ликуя, заверил Шура.

6

Спустя месяц после встречи в кондитерской на Среднем проспекте Софья Марковна пригласила Шуру в Лицей на благотворительный вечер, где познакомила с крайне стеснительным человеком. Дешевенькое пенсне, добродушная улыбка на землистом лице, несколько назидательная интонация. Шура принял собеседника за преподавателя Лицея, одного из устроителей благотворительного вечера. А это оказался сам Гусев, с которым Шура так стремился встретиться. Хорошо, Софья вовремя шепнула: «Иван Сергеевич».

Юркий юнкер пригласил Софью на мазурку.

Шура с Иваном Сергеевичем отошли к окну.

— Мы принимаем ваше предложение,— первым заговорил Гусев.— Ознакомились, в Ахи-Ярви есть все

возможности создать базу партии в Финляндии. Она должна быть убежищем для революционеров, перевалочной базой нелегальной литературы, оружия и взрывчатки. Наша партия готовит народ к вооруженному восстанию. Придется заняться переброской винтовок, револьверов, динамита и патронов. В случае провала базы вас ждет смертная казнь. Не спешите с ответом. Все взвесьте, Александр Михайлович, все. Революции не нужны революционеры на час.

— Я взвесил все еще в гимназии.

— Итак, Александр Михайлович,— Гусев подчеркнул уважительно произнес имя и отчество,— с богом, приступайте, завтра-послезавтра получите явки и связных. Теперь же самое время придумать вам и партийную кличку.

— Называйте Григорием Ивановичем,— попросил Шура,— так недавно меня представила Мария Леонтьевна сестрорецким оружейникам...

* * *

Однако после благотворительного вечера прошло больше недели, а так и не были даны явки, связные, еще не состоялось знакомство Игнатьева с Бурениным, у которого все связи по закупке оружия в Бельгии и Англии.

Александр Михайлович не знал домашнего адреса Гусева и Софьи, после занятий в университете он собирался навестить Сулимову, но на улице к нему кинулась Софья. Она была оживлена, будто явилась на свидание.

— Поехали в «Аквариум». Поет Орехов,— весело таторила Софья.— Мы приглашены.

С масленой в Петербурге много говорили об актере из провинции, затмившем многих именитых певцов Маринки. А Варя сравнивала Орехова чуть ли не с Шаляпиным.

Если бы не таинственное «приглашены», брошенное Софьей, Александр Михайлович, может, и отказался бы. Преступление тратить вечер, когда у тебя уйма академических «хвостов».

В конце первого отделения, когда певец и пианист, высокий, стройный, с ухоженной бородкой и усами, раскланивались перед зрителями, Софья шепнула:

— Аккомпанировал Буренин. Пошли за кулисы, он нас ждет.

С канатной фабрики на Петровском острове поступили сведения: бродячий точильщик хочет продать пять револьверов — по недорогой цене. Купить оружие поручили Игнатьеву.

Точильщик назначил встречу возле ночлежного дома, недалеко от церкви Спаса Колтовского. Днем на улочке тихо, лишь изредка приходят жители соседних домов в ночлежку за кипятком да точильщику приносят ножи.

Не без колебания послал Гусев Александра Михайловича к ночлежке. Как ни говори, дело рискованное.

— Нашу группу интересует не пяток и не десяток револьверов, — напутствовал он Игнатьева. — Предполагаем, что точильщик вхож в арсенал. Если это подтвердится, то такой человек — настоящая находка для боевой технической группы.

У фабрики Керстена Александр Михайлович расплатился с извозчиком. Пробыв минут десять в конторе фабрики, не спеша направился к церкви. У рынка свернул в улочку, где его подстерегал неприятный сюрприз. У входа в ночлежку прохаживался городской.

Улочка была настолько коротка, что если повернуть назад — мгновенно вызовешь у полицейского подозрение.

Из кипяточной, к счастью, выбрался дворник с большим чайником. Александр Михайлович окликнул его:

— Не поможешь ли, любезный, где-то здесь продается особняк.

— Случаем, не Евдокии ли Анисимовны? — отозвался дворник. — Коли к ней, то рано свернули, на следующей улице следовало. Сюда, правда, тоже стороной ее сад выходит, а калитка и ворота на Гдовскую. Да я провожу, по пути.

Дворник показал на большой мрачный дом.

— Собираетесь всерьез поселиться в наших местах? — спрашивал дворник, приспособляясь к крупному шагу Игнатьева. — Здесь у нас чем не дача: Невка, в каждом дворе сирень или акация, у Сосниных — черемуха, напротив Крестовский остров. Только вот покой в последнее время потеряли, как скобарь открыл ночлежку. В неделю раз, а то и два полицейская облава. Ночлежники — всякие беспаспортные, нелегалы, мелкие ворье, через забор сигают. Прошедшей ночью в саду Евдокии Анисимовны изловили пятерых.

У четверых не было вида на жительство, в двадцать четыре часа велено убираться из столицы. А пятому — точильщику — не миновать тюрьмы. В точиле нашли спрятанный браунинг и наган.

На углу Гдовской улицы дворник показал на калитку, скрытую в зарослях акации.

— Серьезное имеете намерение приобрести особняк? Ночлежку-то, может, и прикроют.

— Думал здесь поселиться, не предполагал, что столь неприятное соседство.— Александр Михайлович с сожалением развел руками.— Цену-то запрашивают божескую.

— Коль хорошо поторговаться, еще сбросит,— сказал дворник,— домовладелица страху натерпелась, ночью фельдшера из казармы вызывали, каплями отпавляли.

— Поищу поспокойнее место, дом покупаю не на сезон,— ответил Александр Михайлович.

На Большой Спасской, направляясь к извозчицье́й бирже, он глянул в улочку. Возле городского стоял тип в темном костюме и котелке.

«Расколослся точильщик, меня поджидают,— подумал Александр Михайлович.— Хорошо, что счастливый случай свел со словоохотливым дворником».

Без четверти восемь Александр Михайлович вышел к недорогим меблированным комнатам на Пушкинской улице. На третьем этаже, в первом окне от водосточной трубы, на столе горела высокая лампа без абажура. Знак, запрещающий встречу.

Александр Михайлович тихо побрел к Невскому, а когда через час вернулся на то же место, на лампе был абажур.

Гусев встретил Игнатьева в свитере, валенках с высокими голенищами. Полупальто брошено на спинку стула.

— Съезжаю. Еще полчаса, и не застали бы. Хозяйка выдает дочь за чиновника с Тверской. Лишились еще одной хорошей явочной квартиры.

В лампе вспыхнуло пламя, мгновенно закоптело стекло. Гусев убавил огонь.

— Купили? Всю партию? Хватило денег?

— Партию...

Александр Михайлович рассказал Гусеву про облаву в ночлежке.

— Чересчур рискуем, был бы толк, а то самообман. Да, дорого обходится нам покупка оружия у случайных

людей,— вздохнул Гусев.— Сейчас полсотни, сотня и даже полтысячи револьверов для дружин — это жалкие крохи. Нужны винтовки, не пять — десять, а тысячи. Время действовать смелее, устанавливать связи с оружейниками, иметь своих людей на пороховом заводе, в арсеналах, нужно научиться изготавливать бомбы. К созданию лабораторий, мастерских и к изготовлению бомб должны быть привлечены химики, физики, ведь дело придется иметь со взрывоопасными смесями...

Гусев разволновался, говорил, словно читал лекцию.

8

После оттепели подморозило, выпал хороший снег. Микко, сын домоправительницы, на розвальнях съездил в Райволу на станцию за багажом из Швеции. Вскрыв ящик, Александр Михайлович загоревал: прислали патроны, а должны были — винтовки и револьверы. Положение осложнилось, накануне Софья передала распоряжение Гусева: «Из-под земли хоть добывайте, а чтобы к среде были пятнадцать винтовок». В четверг должны их увезти в глубь России. Одна надежда была на сестрорецких оружейников Емельянова и Поваляева.

Ранним поездом Александр Михайлович приехал в Разлив. Пройдя по шпалам от станции полверсты по направлению к Сестрорецку, сошел на тропинку и постучал в калитку крайнего дома. На крыльце показался Поваляев, в полушубке, накинутом на плечи. В это время из соседнего дома вывалилась разгоряченная компания: местный поп, дьякон и Соцкий — городской в штатском.

— Слышал, продаете лыжи,— громко заговорил Александр Михайлович.

— Подойдут ли, не новые. Приглянутся, дорого не возьму,— ответил Поваляев и показал на приставленные к перилам крыльца лыжи.

Разглядывая лыжи, Александр Михайлович попросил Поваляева передать в штаб дружины, что в среду из Петербурга приедут связные за винтовками.

— Нужно пятнадцать винтовок, не меньше,— предупредил он.

— Трудновато в один присест столько собрать. В мастерских кабала, не дают спину разогнуть.

Соцкий шел за попом по тропинке и оглядывался. Александр Михайлович встал на лыжи, обойдя пустырь,

приставил к крыльцу, не подошли, мол, и направился тоже не спеша в Сестрорецк.

Послав сестру к Николаю Емельянову, Повалев вынес на улицу сани, прикрепил железный бочонок и отправился за керосином. К лавке скоро подошел и Емельянов, на финских санях самодельная банка, фунтов на тридцать.

Лавка была заперта, со двора доносилась перебранка, лавочник ругал извозчика, тот отказывался скатывать с саней бочки, требуя чаевые.

Оставив в очереди санки, Повалев и Емельянов отошли в сторону.

— Кто приезжал?— спросил Николай.

— Старый знакомый,— ответил Повалев,— барин с Ахи-Ярви. Видать, позарез винтовки нужны, раз сам прискакал. Пятнадцать вынь да положи.

— Две-три, куда ни шло,— качнул головой Емельянов.— А то пятнадцать, и к среде. Нет, не успеем собрать. В мастерской редкий день не оставляют на вечер. За платой мастер не стоит. Валюсь от усталости.

— Так-то так, а больше не у кого нынче собирать винтовки. Анисимов на подозрении. Сволочуга Соцкий в крепость грозил упрятать Матвеева. Как ни кинь, а все в твой сарай упирается. А то, что продыху не дают на оружейном, Григорий Иванович знает, обещал кое-что предпринять.

Не заходя домой, Емельянов проверил тайные склады дружины: деталей и узлов хватит на четыре винтовки. Повалев взялся вынести с завода стволы. Надеялся Емельянов и на Матвеева. У того, конечно, в тайнике припрятаны винтовочные узлы. Встретиться с Матвеевым Емельянову не удалось. Начальник мастерской через посыльного велел ему выходить в ночную смену. Только на следующий день к ужину вернулся Емельянов. Дома гость. На кухне жена угощала чаем Повалева.

— Запрягли,— посочувствовал Повалев.— Григорий Иванович в курсе, сюда подойдет. Умирай, а чтоб к среде... Да вот, кажется, и он сам.

Проскрипели ступеньки крыльца. На кухне появился Александр Михайлович, пальто и шапка в снегу.

Емельянов в большой комнате опустил шторы, зажег лампу, опустил ее пониже над столом. Александр Михайлович приступил к плану переброски винтовок в Петербург.

— Связные прибудут в три адреса: утром — Николь-

ская площадь, днем — 5-я Тарховская улица, вечером — Петербургская.

— Было бы что посылать. Не управиться к среде. В мастерских гонка, царь тоже винтовки требует. По четырнадцать часов трубим,— пожаловался Емельянов,— от обеда и то время крадут.

— Хныкать мужикам не пристало. На что человеку голова дана,— сказал Александр Михайлович. Он достал из бумажника справку:— Все по закону — фамилия, болезнь, освобождение, подпись и печать на месте.

С недоверием Емельянов взял справку, повертел в руках, остался доволен; если она и фальшивая, то тому человеку — ассигнации печатать.

«Подписью своею и приложением печати удостоверяю, что сестрорецкий обыватель тридцати пяти лет Николай Емельянов лечился у меня от инфлуэнцы, вследствие чего не мог ходить на работу с 27 ноября по 4 декабря 1905 года». На сургучной печати разборчиво — «земский врач» и подпись.

Сложив вчетверо справку, Емельянов сказал:

— С оправдательной бумажкой полегче, но одному все равно не успеть собрать столько винтовок. Вот бы Матвееву освобождение схлопотать!

— Чего не могу, того не могу,— сказал Александр Михайлович,— от земского Матвееву освобождение не возьмешь! Подозрительно, сразу двое. А к заводскому врачу лучше и не показываться. У Матвеева с ним нелады, пригрозил коновала утопить в Разливе. В начале осени было, пожаловался Матвеев на боли в животе. Доктор не с той ноги встал, да у него и мнение, что все рабочие симулянты, потому напоил Матвеева касторкой и освобождение не дал. Бедняга в воскресенье даже на пироги смотреть не мог.

— Хитер приятель, сколько застолиц было, и ни гу-гу про касторовое угощение,— развеселился Емельянов, а вспомнил про приближающуюся среду — помрачнел, попросил Александра Михайловича раздобыть справку Леонову, брату жены, золотые руки у человека.

— Далек он от нас, в дружину не записался,— возразил Поваляев.— Не семейный, а в сторонке держится.

— Чахотка у Леонова, потому и не записался в дружину,— заступился Емельянов.— Арестуют, на тюремных харчах и месяц не протянет, а так он с нами всей душой.

— Поручительство надежное,— сказал Александр Михайлович.— В следующий раз учту, а пока справку

на освобождение от вашего доктора выправил на Анисимова.

— И эта настоящая?— не удержался Емельянов.— На кривой не обойти нашего самодура!..

«Предъявитель сего мастеровой Иван Анисимов,— вполголоса читал Александр Михайлович,— болел испанкой.

Освобождение дано с 26 ноября по 3 декабря».

— И верно, подписал сам старший коновал,— взглянув на справку, удивился Поваляев.

— Он же надворный советник,— добавил Александр Михайлович.— Обе справки подлинные.

— Земский доктор — человек рассеянный и душевный, но как удалось провести на воде нашего?— недоумевал Емельянов.— У него больные — только с рваной раной, остальные притворяются.

— Знай зрители, как делаются фокусы, они перестали бы ходить в цирк,— ответил Александр Михайлович и предупредил: — Не теряйте время, Анисимову заступать в ночную.

Старшего сына Емельянов отрядил за Анисимовым. Время собираться в дорогу и Александру Михайловичу. Поваляев вызвался проводить до станции.

— Местные черносотенцы побаиваются делать набег на Разлив, а приезжие...

— В долгу не останусь,— сказал Александр Михайлович.— Лучше пораскиньте умом, кого еще привлечь, до среды считанные часы.

У Александра Михайловича была причина спешить в Петербург. Дошли отрывочные сведения, что лишь чудом избежал ареста связной Четвериков. Значит, нужно срочно искать более надежные пути через границу.

9

После лекции Александр Михайлович вышел поразмяться в коридор и сразу увидел Ольгу. Она бодро шла ему навстречу.

— Приглашаю на Шаляпина, есть лишний билет. Только не в партер, даже не на ярус, а на студенческие места.

— На галерке самые искренние зрители и почитатели таланта,— отозвался Александр Михайлович.

На оперу с участием Шаляпина билеты было достать дьявольски трудно, а дешевые и тем более. Студенты с вечера занимали очередь у театральной кассы.

Из театра они вышли едва ли не последними. Александр Михайлович озирался, ища извозчика.

— Не спешишь?— Ольга придержала его за локоть.— Я люблю после оперы пройтись пешком. Не хочется так легко расставаться с театром.

Ольга музыкальна, у нее хороший слух и голос. Буренин приглашал ее выступать в концертах Общества любителей музыки. Но пошла она, однако, не в консерваторию, а на Бестужевские курсы.

А Буренин, новый знакомый Игнатьева? Из богатой семьи, известный пианист, а вот рискует всем, служит революции.

Короток путь от Мариинки до Съезжинской, что у зоологического сада. Александр Михайлович пожалел, что Ольга не живет в Лесном или в Новой Деревне.

Поначалу Ольга всячески отнекивалась от приглашения погостить в Ахи-Ярви. Наконец согласилась:

— Через воскресенье встречайте.

А встреча состоялась в Ахи-Ярви много раньше, чем договорились.

Перевезти через границу запалы гремучей ртути было поручено Лизе, молодой женщине, на редкость бесстрашной и находчивой. Однажды Александр Михайлович пережил из-за нее страшно тревожные минуты, держа браунинг наготове.

Это произошло в Выборге, на вокзале. Он ожидал Лизу, чтобы охранять ее в дороге до Петербурга. Она должна была приехать с явки прямо на вокзал. И вдруг Лиза появляется на перроне в сопровождении жандармского офицера. Шли они непринужденно. Знал бы жандарм, что в тайнике саквояжа, который он нес, находились бунтарские листовки с призывом поддержать забастовку на «Фениксе»!

Тронулся поезд. Александр Михайлович вошел в купе. Лиза сидела, откинувшись на спинку дивана, тяжело дышала.

— Ловелас в погонах принял меня за приму оперетты,— объяснила она странные проводы.

И вот неожиданная телеграмма: «У Лизы испанка. Приедет снимать дачу Леля. Хлопоты возьми на себя. Обнимаю. Кузина».

Леля не числилась среди связных. Всегда уравновешенный Александр Михайлович занервничал. С ума, что ли, походили в боевой технической группе? Не пяток, десяток листовок или брошюр требуется перевезти через границу, а французские запалы,

У Александра Михайловича была неотложная встреча с контрабандистом; химики просили доставить через границу бикфордов шнур в кругах. Он послал с Микко записку контрабандисту, назначил встречу на другой день, а сам поехал на станцию. Как он удивился, когда из вагона вышла Ольга.

— Ты?— только и мог выговорить Александр Михайлович.

— По телеграмме я — Леля,— тихо ответила Ольга.

Александр Михайлович встревожился. До сих пор Ольга перевозила в городе нелегальную литературу, листовки, от нее требовалось обмануть городских, а теперь ей поручают переправить запалы гремучей ртути. Один резкий толчок...

Александр Михайлович по дороге в Ахи-Ярви ни разу не произнес: «гремучая ртуть», а мысль о запалах, об опасности, которой подвергается Ольга, не выходила из головы. Если бы не прямое указание, не дисциплина, то он сам переправил бы запалы через границу.

После обеда Ольга неожиданно собралась на лыжную прогулку.

Александр Михайлович понимал ее состояние: хочется побыть одной. Первое в ее жизни опасное поручение. За провоз гремучей ртути — виселица.

— В сосновой впадине бродит волчья стая,— пошутил было он.

— Мышей боюсь, а волков нет,— сказала с легкой грустью Ольга.

Волки разбойничали за старой гатью, верстах в тридцати от Ахи-Ярви. На всякий случай Александр Михайлович разыскал среди елочных игрушек коробку бенгальского огня.

— Волки боятся шума и фейерверка,— сказал он.

Ольга добродушно посмеивалась над его страхами, но взяла бенгальский огонь и спички.

Зимой рано темнеет. Ольга обещала вернуться за светом. А ее все нет. Александр Михайлович забеспокоился, вынес лыжи на улицу, решил по лыжне искать Ольгу. Могла ведь и заблудиться.

В эту минуту за ручьем вспыхнул и рассыпался в искрах огонь. Это подавала сигнал о своем возвращении Ольга.

Отослав домоправительницу Марью к себе, Александр Михайлович поставил самовар, собрал ужин.

Утром, сделав пробежку по озеру, Ольга вернулась раскрасневшаяся, бодрая. Она заулыбалась, когда

Марья внесла в столовую блюдо ржаных лепешек, ватрушек и пирожков.

В это утро Ольга с удовольствием завтракала. Выпила кофе со сливками, съела лепешку, ватрушку, парочку пирожков.

Близилось время отъезда. Ольга села за пианино, спела арию Виолетты, шуточные саратовские частушки. Затем, выпросив у Марьи пирожков — придет встречать на вокзал Софья, надо угостить,— взяла лифчик-паторонташ с вложенными запалами гремучей ртути, ушла на мансарду переодеваться.

Сани готовил Микко, Александр Михайлович добавил охапку сена. Он сам свез Ольгу в Райволу, посадил на поезд, прощаясь, сказал жестко:

— Вы представляете собой сверхзаряженную бомбу. Запомните, в вагоне нельзя прислоняться к спинке дивана. Нельзя делать резких движений. Непременно смотрите под ноги — нельзя спотыкаться...

Ольга задержалась на площадке, кондуктор попросил ее пройти в вагон. Она махнула перчаткой, и поезд тронулся.

10

Кухарка Игнатьевых кормила раннего гостя: поджарила сковороду картошки с мясом, хлеб нарезала крупными ломтями. Микко потыкал вилкой в сковороду, отодвинулся вместе с табуреткой к стене.

— Никак поститься собираешься?— обиженно сказала кухарка. Она-то знала, что сын домоправительницы Ахи-Ярви любит поесть. Бывало, съест миску супу с мясом, горшок каши и кислого молока попросит.

— До еды ли,— вздохнул Микко.— Экая вышла напасть, не знаю, кому и в ноги падать: барыне, барину? Проще бы, конечно, перед молодым барином ответ держать. Кобылу с конюшни увели.

— Найдется лошадь,— утешала кухарка,— у вас в Финляндии насчет краж строго; слышала, руку вору рубят. Хороший закон, потому и держат все открыто. Лавочник Пильц жаловался весной, замки за полцены не покупают.

Еще часа два пришлось бы Микко ожидать, когда проснутся Игнатьевы. На его счастье, Александр Михайлович услышал на кухне голос Микко.

Кухарка в доме свой человек, но незачем и ей знать лишнее про Ахи-Ярви. Там сейчас находится химиче-

ская лаборатория. Действует перевалочная база. В месяц раз-два из Швеции или Гельсингфорса приходит багаж. Раз Микко приехал без вызова и предупреждения, что-то случилось. Ни о чем не расспрашивая на кухне, Александр Михайлович увел его к себе.

Из сбивчивого, с повторениями, рассказа Микко Александр Михайлович наконец понял, что произошло в имени во время короткого его отсутствия.

Три дня назад, скормив кобыле посоленный ломоть хлеба, Микко отвел ее на конюшню и отправился к знакомому в Кивинапу. Там засиделся, остался ночевать. Наутро пришел в конюшню напоить, задать корм...

На лошади лавочника Микко объездил хутора, селения верст на сорок в округе — кобыла сгинула. Вконец отчаявшись, Микко приехал с повинной.

Пропажа лошади все спутала. Александр Михайлович получил извещение, что из Стокгольма на станцию Райвола и в Териоки поступит багаж: два ящика револьверов. На чужой подводе опасно перевозить оружие.

Александр Михайлович разбудил отца, привел к нему Микко. Тот со всеми подробностями повторил, как он, скормив ломоть хлеба, отвел кобылу на конюшню.

— Не тратьте время на поиски, — сказал Михаил Александрович. — Недавно я неподалеку от Ахи-Ярви встретил в лесу цыган. У них в дороге околела лошадь.

«С финансами дома плохо, иначе отец предложил бы купить другую лошадь», — думал Александр Михайлович, проводив Микко и уйдя к себе. Можно, конечно, взять деньги из партийной кассы, в этом ему не откажут. Сестрорецкие оружейники сообщая для дружины приобрели кобылу. Забавную дали ей кличку — «Корзина». «Одно тревожит: общественная лошадь, а будет стоять на моей конюшне. Хочешь не хочешь, а придется ее посылать и по своему хозяйству. Лучше занять денег и купить лошадь. У кого занять?»

У Белоцерковца? Он служит теперь на Царскосельской железной дороге, ему положен хороший оклад.

Но денег занимать не пришлось. На другой день, спускаясь с лестницы, Александр Михайлович встретил кучера.

— Записка вам от батюшки.

«Приезжай на Пески, в конный парк, — писал отец. — Присмотрел недорогую лошадь, выбракованную с конки...»

На Конюшенном дворе отец по кругу водил темно-красную кобылу с царственной осанкой. Лошадь крупная, сильная. Одно не понравилось Александру Михайловичу: на передних ногах нарядные белые ботфорты — слишком приметна.

— Покупаем, цены ей нет!— говорил довольный Михаил Александрович, а он-то понимал толк в лошадях.— Варвары, красавице ногу разбили, вовремя не сменили подкову, едва не сгубили. Недели две лечения — и наша Пия верст семьдесят пробежит за день, не устанет.

На Конюшенном дворе прохаживались еще покупатели: крестьянин в залатанном полушубке с завистью поглядывал на Пию и зажиточный извозчик, похлопывающий кнутовищем по голенищу. Важный барин стоял в сторонке, ожидая продолжения распродажи. Из конюшни вывели сразу трех лошадей, ни в какое сравнение они с Пией не шли.

Поместили Пию в конюшне на городской бойне. Лечил ее сам Михаил Александрович, поил микстурой, сам накладывал мазь, менял повязки. Хорошо зажиwała нога. Недели через три телеграммой вызвали Микко в Петербург.

— На кнут пореже поглядывай, из лазарета лошадь, верст пятнадцать отмахашь — и отдых,— наказывал Михаил Александрович.— Пия всем коням конь.

Для старшего Игнатьева давно уже не было секретом, что за багаж поступает сыну из Швеции, Гельсингфорса, Льежа. Без своей лошади Шура никак бы не обошелся.

11

Новая встреча с Красным не заняла у Александра Михайловича и десяти минут. А чтобы выполнить новое поручение боевой технической группы, потребуется несколько месяцев.

Дорого обходились закупки оружия в Швеции, Бельгии, Англии. В партийной кассе мало денег, а случилось — и совсем не было. Новые дружины в столице, в Москве и в провинции требовали оружия, боеприпасов, самодельных метательных снарядов. Тогда-то Красин и вызвал из Финляндии Игнатьева.

— Можете больше изготавливать кислоты в Ахи-Ярви?— спросил Красин.

— Сколько нужно, столько и сварим,— сказал Александр Михайлович.

— Изготовить бомбу — полдела.— Красин замаялся.— Не возьметесь ли вы в глухих оврагах создать полигоны бомбометания?

— Сам собирался это предложить, но бомб еще мало изготовлено,— сказал Александр Михайлович.

— Давайте договоримся: сами не участвуете в бомбометании,— поставил условие Красин.— Пришлем кого-нибудь из военных...

В Ахи-Ярви поздней осенью и зимой живет мало людей. Сосед-хуторянин Куло не любопытен, молчалив. Если придет соли, спичек или керосину занять, то робко постучит в окно, а в дом не зайдет. Домоправительница Марья и ее сын Микко преданы молодому барину.

Самодельная бомба — не такой уж простой снаряд.

Первые бомбы, изготовленные в Ахи-Ярви, едва не стали причиной гибели Лидии.

Накануне этого происшествия Александр Михайлович подарил ей в Летнем саду букет красных гвоздик. На редкость миловидна эта черноглазая молодая женщина, а о смелости ее в петербургском подполье ходили легенды.

Поглядывая на отражение старого клена в пруде, Александр Михайлович задумчиво говорил:

— Склад на Большой Охте в опасности. Красин просит сменить помещение.

— На примете есть новая квартира вне подозрений.— Лидия говорила улыбаясь, играя перчаткой.— В доме, где живет городской.

Проходивший мимо пруда грузный полковник посмотрел на привлекательную пару. Наверно, пожалел, что молодость не возвращается. Если бы он слышал, о чем говорят «влюбленные».

Проводив Лидию до Соляного переулкa, где ее ждал извозчик, Александр Михайлович, не заходя домой, первым же поездом уехал в Финляндию: на всякий случай переправить запасы бомб с дачи в лесной склад.

Четыре бомбы унесли со склада на Большой Охте Ольга и Четвериков. Было начало двенадцатого. Сагредо опаздывал на полтора часа, что на него было непохоже. Лидия, всегда ровная, сдержанная, разволновалась. Оставшуюся бомбу надумала перенести сама. Положила ее в ридикюль, оделась, выбралась на улицу, надеясь у Ириновского вокзала взять извозчика. Она отгоняла черные думы: поручение выполнила, склад успели закрыть, ушла через проходной двор. Убедилась: слеж-

ки нет. Но беспокойство не проходило: почему не явился пунктуальный Сагрето?

Ей осталось пройти три дома, свернуть направо — и покажется вокзал. И тут под тяжестью бомбы сумка оторвалась от ручки и упала на панель. Лидия, видимо, родилась в сорочке — бомба не взорвалась. В ридикюле были томик Блока, платок и перчатки, смягчившие удар.

Поблизости находились прохожие: чухонка с заплечным мешком и молочными бидонами, коротко подстриженная курсистка, калека-солдат с Георгием на груди и худощавый мастеровой. Солдат подозрительно покусился на Лидию и шагнул к ней. Она опомнилась, схватила ридикюль, прислонилась к забору. Первая мысль: бежать! А если погоня?! Скрыться на этой улице почти невозможно — маленькие домики, поблизости ни одного дома с проходным двором. И тут неожиданно ей на помощь пришел мастеровой. Он ловко закрыл Лидию от калеки.

— С японской, браток? Царева награда?— заговорил мастеровой. Подмигнув, похлопал по деревяшке.— Не горюй, дешевле жить, на один сапог меньше заказывать.

Не слышала Лидия, что ответил калека. Она догадалась: нужно быстро уходить, только не к Ириновскому вокзалу. Там всегда у кассы торчит городской. Лидия свернула в первый переулок, проскочила через пустырь, очутилась на зеленой тихой улочке и глазам не поверила: из ворот неторопливо выезжал легковой извозчик.

Дважды сменив извозчика, Лидия добралась до своего дома, сразу же затопила колонку в ванной, сожгла ридикюль, затем по-новому уложила волосы — в высокую корону, — надела бабушкины серьги с подвесками. Платье выбрала броское, оранжевое. Она отвезла бомбу на новый склад, оттуда пешком добралась до Александровского рынка и купила подержанный ридикюль.

12

С Фонтанки, где жил Красин, Александр Михайлович проехал на Петербургскую сторону пригласить Ольгу в кинематограф. Ей нездоровилось. Она была бледна, отчего гладко уложенные волосы казались еще темнее.

— Надышалась отравы за последнюю поездку, — оправдывалась Ольга, — сама удивляюсь, не новичок, пе-

ревозила динамит — и хоть бы что, на этот же раз от пачек исходил такой дурманящий запах, что боялась находиться в купе, как бы не упасть в обморок. Притворилась заядлой курильщицей, от Белоострова простояла у окна с папиросой, но до Финляндского вокзала не доехала. Вышла на Ланской.

Ее бледность и зеленоватые полукружья под глазами напугали Александра Михайловича. Хотя Ольга и не признается, а у нее самое настоящее отравление.

Александр Михайлович собрался в аптеку, Ольга не пустила.

— В шкатулке моей хозяйки найдутся лекарства и травы, пожалуй, от всех болезней, какие есть на свете, — сказала она. — Я приняла уже облатку пирамидона — не помогло, болит голова. На воздухе все как рукой снимет. Пройдем к Неве, там хорошо дышится.

Излюбленное место прогулок Ольги — тихий уголок Мытнинской набережной, от Биржевого моста до Кронверкского канала.

Бывал здесь Александр Михайлович и один, если не заставал Ольгу дома.

Свежий ветерок, тянувший со взморья, деревенская тишина подействовали на Ольгу лучше лекарства и компрессов. И часа они еще не гуляли, а у нее порозовели губы, повеселели глаза.

— В каком ампула у нас встреча? — спохватилась Ольга. — Кого я вижу: строгого «Григория Ивановича», приказывающего перевезти через финско-русскую границу капсулы гремучей ртути и читающего грозное напутствие: не спотыкаться, не падать, не приближаться к огню, иначе...

Она близко нагнулась к Александру Михайловичу и звонким, чистым голосом пропела:

— Вечная память...

— Керосин провозить опасно. А как вы, связные, с динамитом, с гремучей ртутью обращаетесь? — оправдывался он. — Елочный огонь и то с большими предосторожностями транспортируют.

— Кстати, я слышала от Софьи, что ты ищешь «жену» на дачу в Териоки.

— Ищу. Четвериков вполне подходящий «муж», а с «женой» нас неудачи преследуют. Предложения есть — да все не то!

— Есть на примете одна, очень приятной внешности.

— Гоби не предлагай, пятой по счету будешь! Рекомендуют, не соображая, что у Лидии не конспиративная внешность. Она броска, кто хоть раз на нее взглянет, надолго запомнит. Положим, жена, пожалуй, из нее получилась бы, красива, в меру кокетлива, умна. Но кому передать бомбовые склады в столице?

— А Варю Сорокину никто тебе не сватал? Она у Лесгафта учится. С собой хороша, весела, приветлива, певунья.

— Ты думаешь, ей можно довериться?

— За Варю я отвечаю головой,— сказала Ольга.

Это была веская рекомендация.

13

Наумов не застал молодого Игнатьева в Ахи-Ярви. Накануне он уехал в университет, обещал вернуться на следующий день, если не задержат дела.

— Обожду,— флегматично сказал Наумов и попросил домоправительницу Марью определить ему «номер» на мансарде.

Перекусив, выбрал в сарае лопату, привез на тачке удобрение, принялся рыхлить землю вокруг тополей, которые сам посадил в прошлый приезд. За этой работой и застал его Александр Михайлович, пошутил:

— Как твою милость рассчитывать: поденно, помещаю?

— За надгробную память не берут плату,— буркнул Наумов.— Когда меня повесят, тополя будут напоминать тебе, что жил, дескать, на свете прожектер Володька Наумов.

— Съест тебя с потрохами ипохондрия,— сказал Александр Михайлович.— Где бы помочь, ты черт знает чем занимаешься! А так нужны преданные люди.

— Прогуляемся,— предложил Наумов,— хорошо на озере.

Александр Михайлович молча ушел в дом, вскоре вышел с веслами, и, не взглянув на Наумова, направился к озеру. Наумов нагнал, спросил:

— Дуешься?

— Не сержусь, а жалеть — жалею,— признался Александр Михайлович.— Вступил на ложную дорогу, а сойти с нее не хочешь.

Молча сели в лодку. Александр Михайлович оттолкнулся от причала.

— Жестоко ошибаешься, я не на ложной дороге,— заговорил после паузы Наумов,— это предвзятое суждение. Все мы — я и ты с Белоцерковцем, хотя и находимся на разных берегах, а делаем одно и то же: служим революции.

— Нет, Володя,— решительно возразил Александр Михайлович,— наши берега далеки. Ты по-прежнему уповаешь на террор, на бомбы?

Наумов кивнул.

— От убийства Николая Второго трон не зашатается,— сказал Александр Михайлович.— Самодержавие — это не только царь, а и двор, правительство, помещики, капиталисты, купцы, прислуживающая им мразь. У правящего строя, алчного, злобного, есть вымуштрованная армия, флот, жандармерия, полиция.

— Ждать революционной погоды, отсиживаться в кустах — это ты предлагаешь? Что же тогда предательство? — сказал с вызывающей насмешкой Наумов.— Честнее действовать в одиночку... с бомбой.

— В одиночку и с бомбой — вот это и есть предательство, хуже — провокация. Охранка бросит сотни, тысячи социал-демократов в тюрьму, отправит на каторгу, в ссылку,— горячо говорил Александр Михайлович.— Мы не ждем той погоды, мы ее готовим, готовим свою революционную армию.

— Прожектер-то, оказывается, не Володя Наумов и ему подобные. По мановению волшебной палочки, что ли, появится в России революционная армия?

— Палочка волшебная здесь ни при чем. Еще в 1902 году Ленин считал, что близко время вооруженного восстания, и призывал не ждать, а действовать, вооружать, обучать революционную армию. Уже существуют на заводах, фабриках, в деревне дружины!

— В царской армии почти пять лет муштруют солдата.

— А штаб боевой технической группы применит в дружинах метод Швейцарии,— сказал убежденно Александр Михайлович,— там обучают пехотинца за сорок пять дней, артиллериста — за шестьдесят.

— Научите... ать... два... Но из чего ваша революционная армия будет стрелять? На дружину — один браунинг. Полдесятка пик и булыжники.

— Революционная армия не потешная, будут револьверы, не пики. Будут и винтовки и бомбы. Будут и пушки. В царской армии служат те же рабочие и крестьяне.

На дощатых мостках причала появилась Марья. Размахивая платком, она звала лодку.

— Кончаем спор, Марья сердится, когда опаздывают к столу,— сказал Александр Михайлович и повернул лодку к берегу.

14

Поезд из Петербурга пришел с опозданием на четверть часа. Буренин стоял на площадке вагона. На нем был охотничий костюм, через плечо перекинута зачехленное ружье.

«А саквояжа-то у него нет,— подумал Александр Михайлович.— Недолго, значит, погостит».

До коляски Буренина с Игнатьевым проводил начальник станции, поодаль держался подобострастный полицейский.

Когда отъехали с версту, Николай Евгеньевич расхотелся:

— Ветром бы сдуло улыбки с физиономий службистов, если бы они знали цель моего приезда в Финляндию.

— Тупость чиновников — бальзам для моей души,— сказал Александр Михайлович,— легче жить.

— Слышал,— улыбнулся Николай Евгеньевич,— как у вас тут начальника териокской полиции подвезли домой на ящике динамита.

— Присочинил Микко, был ящик патронов и штук пятьсот листовок,— сказал Александр Михайлович.

— На прямой билет в Шлиссельбургскую крепость предостаточно,— вроде и упрекнул Николай Евгеньевич, а в голосе одобрительные нотки:— Риск и находчивость — оружие подпольщика.

Буренин, разумеется, приезжал в Ахи-Ярви не поохотиться да встряхнуться, но и пострелять из ружьишка, коль ты все равно в лесу, тоже не грех, да и куропатку с собой принести.

И пятнадцати верст не прошагали Игнатьев с Бурениным по лесу, а домой еле дотащились. Скинув куртку, тяжелые болотные сапоги, Николай Евгеньевич опустил ся в удобное кресло, вытянул усталые ноги.

— Вздремните, Марья мигом приготовит постель,— сказал Александр Михайлович.

— Опасно, разваляюсь, а мне нужно вечером непременно вернуться в город, утром репетиция. Вот чашечку кофе не отказался бы.

Выпив без сахара две чашки кофе, отодвинув вазу с печеньем, кувшинчик со сливками, Николай Евгеньевич положил перед собой лист бумаги, быстро набросал карту Финляндии, проложил главные магистрали — железнодорожные, шоссейные и морские. В городах Торнео и Або он заштриховал по треугольнику, а имения Ахи-Ярви и Кириасала обозначил прямоугольниками. Затем выделил на карте пограничные пункты, финский и русский, а по ту сторону реки Сестры — почтовые станции в Коркюмяки и Лемболово.

— Никак в топографы поступать собираетесь, — сказал Александр Михайлович, заглядывая через плечо Буренина, который уже «возводил» на схеме границу Швеции.

— Топограф-любитель. Мне легко дается картография, я немного рисую.

В Кириасале Александр Михайлович видел его акварель — заброшенный колодец в Тюрисево. Он не раз задумывался, кто действительно Буренин: профессиональный пианист, помещик? А если приглядеться к его деятельности поближе, то все это побочное. Главное в жизни Николая Евгеньевича — революция.

Заточив сломавшийся карандаш, Николай Евгеньевич пробежал взглядом по схеме... Что же еще не сделал? По другую сторону финляндской границы пометил кружком Петербург, проложил от него строгие магистрали, надписал: на Кавказ, Урал, в Москву. А из кружка Ижевск стрелка повела пунктирную линию в столицу.

«Придут транспорты с ижевскими винтовками, — подумал Александр Михайлович, — надо их будет принять и отправить дальше, в дружины».

Закончив работу над картой, Николай Евгеньевич сказал:

— С этой минуты, — он тупым концом карандаша повел от границы Швеции к Ахи-Ярви и Кириасале, из обоих имений дороги шли в Петербург, — ваши владения в России, Финляндии, а за мной остаются Швеция, Бельгия, Германия. Таково решение Центрального Комитета партии.

Александр Михайлович переправил в Петербург десятки винтовок и револьверов, динамит, тюки нелегальной литературы, — дело вроде и привычное, но всегда где-то поблизости был великий конспиратор — Буренин.

— Невольно в нашем деле не положено, — задумчиво заговорил Николай Евгеньевич, — за каждым нашим

шагом — обвинение по первой или второй части сто второй статьи уголовного уложения. А она, эта статья, суровая: виселица в глухом лесу Лисьего Носа, разве что царь заменит казнь заточением в остроге или отправкой на вечную каторгу.

— В подполье я сам пришел,— тихо обронил Александр Михайлович.

15

Три браунинга, наган и патроны Александр Михайлович должен передать в Удельнинском парке дружиннику из Новгорода, вернее, выбросить в свертке из окна вагона. В Шувалове он вышел из купе «покурить», достав портсигар, открыл окно.

— Пардон,— раздался сзади женский голос.— Петербуржец? Угадала?

Молодящаяся, разодетая старуха тоже заняла место у окна.

— Я проездом в столице.

Вежливый, но холодный ответ, казалось, обрывал всякую попытку завязать разговор. Старуха же беспричинно рассмеялась.

— Пари держу, петербуржец, столичные манеры не спрятать. Не то у нас стало в Москве. В Дворянском собрании — и то не скроешься от Охотного ряда и Хитровки.

Александр Михайлович до отказа открыл окно, надеясь сквозняком спугнуть навязчивую старуху.

— Ездил в Финляндию,— вдруг доверительно затараторила она.— Задумала купить имение, но цены — ужас. Заламывают пятьдесят — шестьдесят тысяч за развалюху в шесть-семь комнат, а земля — камень на камне.

Проехали Озерки. Меньше версты до Удельной... Александр Михайлович возненавидел болтливую старуху. Какая нечистая сила выгнала ее из купе?

— Недвижимость имеете в Финляндии? Прибыльное заведение?

— Угадали, имею заведение,— сказал Игнатъев,— на вложенный рубль три — прибыли. Я держу в Выборге фирму похоронной утвари, гробы, надгробья. Неслыханный выбор газет с золотом и серебром!

Старуха попятилась, скрылась в купе. Александр Михайлович с облегчением вздохнул, но было уже поздно, за окном вагона мелькнула одинокая кудрявая бе-

реза, возле нее молодой человек в светлом костюме и соломенной шляпе. Придется теперь Александру Михайловичу сойти на Ланской и пешком идти в Удельнинский парк.

Поезд подходил к платформе. За насыпью — игрушечный домик, качели, раскрашенные веселыми красками. Машинист здесь всегда подает гудок. Не его ли это жилье? Вот и платформа. Как восковые фигуры, застыли мрачные городовые. «Три... пять...» — считал про себя Александр Михайлович.

Он так и не вышел из вагона.

Скопление полицейских на пригородной станции — неприятный признак. Что же ждет на Финляндском вокзале? Предчувствие не обмануло. Еще издали Александр Михайлович увидел у выхода с платформы городских. Пристав кого-то усердно высматривал в толчее пассажиров. Увел городской курсистку и благообразного старика. Шедший впереди Александра Михайловича человек, по всей вероятности сапожник, оступился, из фанерного чемодана посыпались инструменты. Гимназист, пожилая женщина и еще кто-то бросились ему помогать. На платформе образовалась пробка. Александру Михайловичу не пробиться ни вперед, ни назад. В карманах — револьверы.

По-барски презрительно оглядев разношерстную, шумную толпу, Александр Михайлович громко заругался:

— На столичном вокзале и подобное безобразие! То-го и гляди бидон на голову опрокинут...

В хорошо разыгранном гневе он вскинул коричневый саквояж с никелированными замками. Внешность, манеры молодого богатого барина подействовали на городского, стоявшего у почтового вагона. Городовой сорвался с места, расталкивая людей, пробился к сапожнику.

— Пентюх, грязный опорок.— Городовой встряхнул сапожника за шиворот и подобострастно обратился к Игнатьеву:— Простите, ваше сиятельство. Пожалуйста, за мной.

Бесцеремонно работая локтями, покрякивая на пассажиров, городской продвигался к выходу. Он вывел Игнатьева на привокзальную площадь.

— Молодец, исправно несешь службу,— похвалил Александр Михайлович и сунул городовому серебряный рубль.

Удачно Александр Михайлович проскочил через полицейский заслон, а настроение скверное. В Удельнин-

ском парке приезжий дружинник ждет револьверы, патроны. Все так неудачно сложилось, что не вернуться обратным поездом — городовые, конечно, приметили рассерженного барина.

В тихом переулке, недалеко от Финляндского вокзала, снимал комнату Эйнерлинг, слушатель Медицинской академии, помогавший подполью. Время лекционное, Александр Михайлович заглянул к нему на всякий случай.

Эйнерлинга он застал дома. Тот сидел за столом в халате, шея повязана грубым шерстяным шарфом.

— Хвораете? — посочувствовал Александр Михайлович.

— Простыл в воскресенье, нес дежурство на берегу Финского залива, — сказал весело Эйнерлинг. — Есть поручение — давайте! Болезнь несерьезная. Воспользовался случаем, засел плотно за конспекты.

Колебался Александр Михайлович. Эйнерлинг хоть и не лежачий больной, но неудобно посылать его в Удельнинский парк, а кроме него, некому сейчас выбросить из окна вагона посылку с оружием. К проходу следующего поезда из Финляндии дружинник снова займет условленное место у березы.

Поведал Александр Михайлович о своем невезении...

— Давайте револьверы и патроны, — сказал Эйнерлинг, — за мое здоровье не беспокойтесь, я все-таки почти доктор.

Немало удивился дружинник, когда ему сбросили посылку из окна вагона: поезд-то шел из Петербурга в Финляндию.

16

С лета в подполье Петербурга ходили слухи о таинственном пароходе-арсенале. Были и подробности, говорили, что в его трюмы погружено 35 000 винтовок, 3000 револьверов, 7 500 000 патронов, десятки пудов динамита.

Много загадочного было в этой истории. Неизвестно, кто купил эту партию оружия. Кто фрахтовал пароход и подсобные суда. Чаще называли финского «активиста» Конни Циллиакуса и японца Акаши, военного атташе в Швеции. Деньги, что израсходовали на эту акцию, были не то американского, не то японского происхождения.

«Заказчиками» или получателями оружия называли эсеров, меньшевиков и гапоновцев.

На встрече с Бурениным в Лондоне Гапон вел себя так, словно не было Кровавого воскресенья. Он готовил новую авантюру. По его замыслу пароход, войдя в финляндские воды, должен передать часть опасного груза на малотоннажные суда. Затем вместе с ними тайно проникнуть в один из рукавов Невы. В это время гапоновцы подожгут в окрестностях столицы богатые дачи и дворцы августейшей фамилии. Пожары должны послужить сигналом к восстанию.

В последнее воскресенье июля слухи дополнила существенная подробность: из Англии с грузом оружия выйдет пароход «Джон Графтон». Александр Михайлович заглянул на Рузовскую узнать, правда это или слух.

Николай Евгеньевич находился в гостиной, тихо играл, для себя. Он только что вернулся с концерта молодого венского дирижера и еще находился под свежим впечатлением.

— Талантище, глыба, поверьте, пройдет несколько лет, и этот музыкант станет в ряд величайших дирижеров мира.— Николай Евгеньевич спешил поделиться радостью с Игнатьевым.

— Киснете в городе? Не знал, а то непременно увез бы на концерт. Дачников еще много в Ахи-Ярви?

— По воскресеньям — нашествие.

— В Кириасале тоже!— вздохнул Николай Евгеньевич.— Надеялся, что у вас потише. Но все равно — то, что в ближайшее время, возможно, получим, в наших усадьбах не спрячешь.— Николай Евгеньевич обвел глазами кабинет, как бы примериваясь, сказал:— В глухом лесу требуется отрыть пять-шесть ям, замаскировать,— он опять окинул глазами кабинет,— таких, как эта комната, и чуть больше.

— Пушки прятать?— спросил Александр Михайлович.— На даче батарею не разместишь.

— Трехдюймовками неплохо бы обзавестись,— мечтательно сказал Николай Евгеньевич,— в недалеком будущем каждой дружине по пушке и пулемету, а сейчас у нас главная забота — заполучить побольше винтовок, револьверов и взрывчатки.— И Николай Евгеньевич вдруг сам заговорил о пlyingшем из Англии «арсенале».

— Нам бы заполучить этого «Джона», мы бы честь честью приняли. До последней винтовки и патрона пустили бы в ход.

Александр Михайлович воодушевился:

— Рассчитывайте на меня. Если потребуется, в моем лесу миноносец, а то и крейсер спрячем. А ямы, пожалуйста, выроем. Поставлю Микко, сам возьмусь за лопату, помогут Четвериков и Березин.

— До тайных ям еще нужно довести оружие,— сказал Николай Евгеньевич.— Если нам посчастливится захватить этот пароход, то груз займет не одно и не два места в багаже. О маскировке хорошо подумать нужно.

Но придет ли в финляндские воды «Джон Графтон»? Много нечистоплотной возни вокруг этого парохода.

Следующее утро Александр Михайлович провел на свалке городской мясной бойни. Год назад он отправил в свое имение подводу золы с этой свалки, подобрал опытные полоски, снял стопудовый урожай ржи. Если доставлять золу вагонами, продавать крестьянам, это послужит хорошей маскировкой при перевозке оружия с «Джона Графтона».

В конце недели первый вагон золы прибыл на станцию Райвола. Вывозить золу Александр Михайлович нанял финских крестьян. Соседу Куло он разрешил взять бесплатно воз удобрений, но не успел предупредить Микко. Заметив, что Куло с подводой свернул к своему сараю, Микко догнал его, взял под уздцы лошадь. Хорошо, что перебранку услышал Александр Михайлович и не дал разыграться страстям.

К молодому барину в Ахи-Ярви потянулись за удобрениями крестьяне, приезжали из-под Выборга, Хитолы и с глубинных хуторов.

А что с пароходом? Где сейчас «Джон Графтон»? Договорились ли эсеры, меньшевики и гапоновцы?..

17

Вчера поздно ушел от Буренина Александр Михайлович. Потому немало был удивлен, когда рано утром почтальон вручил ему телеграмму.

«Билеты на концерт общества любителей музыки получите на Рузовской сегодня около 12 часов дня».

Час предобеденный, а Николай Евгеньевич был в халате. В кабинете на столе лежала карта Финляндии, на диване атлас и раскрытый том словаря Брокгауза и Ефрона.

— Не нанесены на карте маленькие острова, а они позарез нужны,— Николай Евгеньевич не договорил, склонился над картой.

— В Ботническом заливе или Финском?— уточнил Александр Михайлович.

— Лучше в Ботническом, и район выбрать поглуше.

Александр Михайлович просмотрел на карте побережье от Якобстада до Локола. В этих местах он однажды бывал, но давно. В памяти на редкость медленно оживали рыбацкие поселки, острова, протоки. Наконец улыбка осветила его лицо — нашел! Он тупым карандашом ткнул в карту.

— Эту часть залива мало посещают суда. Здесь коварные мели и острые скалы под водой. Одна миля разделяет два необитаемых острова, официального названия не помню, а местные жители прозвали тот, что побольше, «Лысый черт», а поменьше — «Сковородка».

Николай Евгеньевич обрадовался.

— Похоже, это то, что нужно команде «Джона Графтона». А сложно ли найти нелюбопытного лоцмана? Вероятно, потребуются также крепкие лодки и рыбаки.

— Если надо,— сказал Александр Михайлович,— будет лоцман, будут лодки, будут и рыбаки.

Буренин рассказал, что продолжается возня вокруг транспорта оружия. Большевики двурушничают: то они готовы встретить «Джона Графтона», то отказываются. Капитан парохода пытался связаться с эсерами, но Азеф таинственно исчез. Гапон и его приверженцы практически ничего не сделали, чтобы принять оружие, укрыть и переправить в Петербург.

— Закончится эта авантюра скандалом,— сказал Николай Евгеньевич.— От многострадального парохода эсеры, меньшевики и гапоновская шатия шарахаются, как от «Летучего голландца». Есть серьезные опасения, что оружие захватит полиция.

Эсеры наконец договорились о приемке оружия. Когда же «Джон Графтон» пришел в шхеры Ларсмо, там не оказалось приемщиков. Сбылось самое мрачное предположение большевиков.

Сутки простоял в финляндских шхерах пароход. Команда увела транспорт с оружием в Швецию. Оттуда капитану удалось связаться с эсеровским центром. Обо всем договорились.

Вторично «Джон Графтон» пришел в финляндские воды. И снова обман. Закрашенное название парохода вызвало подозрение у финских таможенников, пограничников и полиции. Чтобы избежать ареста, нужно было незамедлительно уходить в море — уголь на исходе.

Но все же у команды теплилась надежда, что удастся уйти из опасной зоны. А подстерегала ее непоправимая беда: не имея точной карты, без лоцмана пароход сбился с курса и сел на мель. Чтобы оружие и боеприпасы не достались полиции, команда взорвала пароход.

Про этот печальный конец «Джона Графтона» рассказал Александру Михайловичу знакомый финский таможенник.

А спустя день финка-молочница привезла ему записку. Буренин просил «наскрести» побольше денег и без промедления выехать в Выборг.

Перебрал в памяти знакомых Александр Михайлович — все несостоятельные. Рублей сто — больше не одолжить, беготни же на неделю, а в его распоряжении считанные часы. В записке Буренина все категорично: «...поистратился, залез в долг, предвидятся большие расходы». Не удалось ли ему заполучить оружие с потопленного парохода?

Занять деньги можно у Оскара, но не исключено, что о телеграмме в Гельсингфорс станет известно отцу. Нетвердо пообещал достать денег Красин.

И в который уж раз Александр Михайлович стал перебирать в памяти знакомых... Горький, Андреева. Не очень давно он с ними познакомился, а чем-то пришелся по душе. Они приглашали к себе, просили не стесняться, если подполью нужны будут деньги...

В квартире Горького к телефону никто не подошел.

Александр Михайлович съездил в Стрельну. Ладоха уже знал о трагической судьбе плавучего арсенала.

— Буренин собирает деньги на покупку винтовок, револьверов и динамита, — сказал Ладоха, — придется нам срочно занять, Горький уплатит долг...

В Выборге на вокзале встретил Александра Михайловича Буренин.

— Есть еще время перекусить, — сказал он.

Николаю Евгеньевичу были уже известны подробности трагедии в Ботническом заливе.

Опытного минера в команде не оказалось. Взрыв был проведен неудачно, вода скрыла лишь середину и часть кормы парохода. Взрывом из трюма выбросило несколько ящиков с винтовками и револьверами.

— Рыбаки с ближайших островов какой уж день не забрасывают сети, — рассказывал Николай Евгеньевич, — вылавливают из залива винтовки, револьверы. Нам нельзя упустить возможность пополнить арсенал

боевой технической группы. Если с рыбаками поторговаться, уступят задешево.

На малолюдной станции их ждали. Возница, ни о чем не расспрашивая, доставил на берег залива, где под угрюмой скалой покачивалась на волне весельная лодка.

В заливе перекачивалась крупная волна, лодка то подымалась, то проваливалась. Рыбаки еще у берега заботливо укрыли брезентом своих пассажиров, а то бы они вымокли до нитки. С час добирались до небольшого острова. Николая Евгеньевича укачало, но он держался, украдкой бросая нетерпеливые взгляды на медленно приближающееся небольшое рыбацкое селение.

Вошли в небольшую бухту, крутые волны остались позади. Помог пристать к берегу широкоплечий голубоглазый финн. Он на лету ухватил цепь, закрепил за крюк и подвел лодку к каменной дорожке. Этому рыбаку едва перевалило за тридцать, крашеными казались седые пушистые бакенбарды.

Он молча показал приезжим на небольшой дом, одиноко стоявший среди невысоких сосен, пошел впереди, мягко ступая. За домом, шагах в двадцати, стоял длинный бревенчатый сарай. С крыши, чуть не до земли, свисали сети. Двери сарая были открыты настежь, на расстеленном парусе лежали ружья.

— «Веттерлей»,— определил оружейную фирму Николай Евгеньевич,— хуже нашей трехлинейной.

Винтовки были вычищены, хорошо смазаны.

— Паккала, хозяин винтовок, известный в здешних водах рыбак,— продолжал Николай Евгеньевич.— Шхеры он знает лучше, чем свой дом. Но водится за ним грешок — прижимист.

Александр Михайловичу стало неловко: финн находился в нескольких шагах, слышал, как о нем отзываются.

— По-русски Паккала знает только «здравствуйте» и «до свиданья». А я сердит на него за цену на ружья. Он и рыбаков подбивает не уступать. Возьмите на себя дипломатическую часть переговоров, торгуйтесь, как на Александровском рынке, деньги из партийной кассы и пожертвований, там их не так много. Ружья с неба ему свалились.

А Паккала прссил на три рубля дешевле казенной цены винтовок.

Александр Михайлович был готов согласиться, а Николай Евгеньевич одно твердит: «Торгуйтесь».

— Сбросит еще по полтиннику,— убеждает он Александра Михайловича,— монополию у Паккалы отобрали, несколько ящиков выловил Рантилла, совестливый человек, русским социал-демократам сочувствует. И рыбаки соседнего селения тоже не зевали, почистили трюмы «Джона Графтона».

Паккала сбавил еще полтинник, поставив условие — деньги все сразу. У Рантиллы ружей было немного, зато он недорого продал полсотни револьверов.

Буренин остался на острове продолжать закупки винтовок, револьверов.

От Рантиллы, зять которого служил на телеграфе, он узнал, что русской полиции известно о прибытии в финляндские воды парохода с оружием. О нем доложено царю.

Александр Михайлович вечерним поездом уехал в Ахи-Ярви. Там все готово было к приему оружия: ямы отрыты, выложены бревнами, заготовлен дерн и молоденькие сосны для маскировки.

На станцию прибыл еще вагон золы.

18

Игрушечную мастерскую в Коломягах, где отливали оловянных солдатиков и тайно изготовляли оболочки бомб, полиция взяла на заметку. Агента, устроившегося дворником в соседний дом, опознала Лидия.

Нужно опередить обыск. Самое простое решение — уложить оболочки в картонные коробки и вывезти с оловянными солдатиками, но прежде требовалось найти лавку, где хозяин или приказчик согласился бы принять опасные «игрушки».

А пока Александр Михайлович и Лидия продумывали, как вывезти оболочки. Из боевой технической группы известили об удачной покупке нескольких пудов обрезков труб для изготовления бомб. Из-за Нарвской заставы груз на ломовом извозчике уже отправился в Коломяги.

Захватив подводу, полиция выйдет на след лаборатории, где начиняют оболочки взрывчаткой. Нужно было на ходу переадресовать этот груз. А куда? Лидия отправилась искать сговорчивого лавочника, Александру Михайловичу дала адрес дачи в Лесном, где жил ботаник Гедройц. Он не революционер, но не откажется помочь.

Перехватив ломового на Каменном острове, Александр Михайлович велел ему ехать в Лесное, а сам по-

мчался туда на легковом извозчике. Гедройц произвел на него приятное впечатление. Александр Михайлович попросил разрешения на короткое время оставить в са- рае груз.

— Подумаю, ответ узнаете от Лидии,— уклончиво сказал Гедройц.

— Ломовой в пути. Минут через сорок он будет здесь,— сказал Александр Михайлович.

— В пути?— переспросил Гедройц.— Позвольте, а если бы меня не застали? И потом — я могу и не разрешить у себя на даче устроить склад.

— Не можете,— спокойно возразил Александр Михайлович,— я верю в рекомендацию Лидии, но коли чего-то опасаетесь, самое позднее через сутки заберем груз: каких-то несколько пудов обрезков труб.

Предприимчивость и решительность молодого человека, назвавшегося Григорием Ивановичем, нравились Гедройцу. В ожидании подводы он принялся показывать гостю свой опытный участок.

— Полюбуйтесь, ландыш, кендырь, алоэ.— Маленькие квадраты он с гордостью называл плантациями.— Здесь все для здоровья человека.

— Природа — великий учитель, жаль, что человек мало любознателен,— сказал Александр Михайлович и спросил Гедройца, приходилось ли ему видеть зубы бобра.

Гедройц смутился — он же ботаник.

— Мать-природа наградила бобра острыми зубами, обладающими способностью самозатачиваться,— поспешил снять неловкость Александр Михайлович.— Я все чаще задумываюсь, почему бы человеку не создать самозатачивающиеся резцы.

Пока они беседовали о тайнах природы, которые окружают человека, к воротам подъехала подвода. Ломовой перенес ящики с обрезками под навес, получил деньги и уехал.

19

Осталось посидеть день и ночь, еще день за книгами, записями лекций, и можно идти сдавать экзамены. Все, казалось бы, точно рассчитал Александр Михайлович, одного не учел... Нового срочного поручения.

На «Старом Лесснере» в крупнотокарной мастерской собрались судить черносотенцев. В Петербургском комитете партии было опасение, что мастера могут в

чем-то и перегнуть. Среди членов монархического союза были и обманутые. Задумано было отобрать от них револьверы, кинжалы, стальные кастеты. Оружие сразу нужно было вынести с завода, чтобы не пострадали устроители суда.

Это поручение Александру Михайловичу передала Софья. Она предупредила, что у проходной его встретит товарищ Петр.

В конце Большой Дворянской улицы Александр Михайлович отпустил извозчика, смешавшись с прохожими, перешел через Сампсониевский мост.

Молодой рабочий, опрятно одетый, вынырнул из-за ломовой телеги, пристроился к Александру Михайловичу, шепнув:

— Познакомились, я — Петр.

Заметив, что Александра Михайловича удивил сладковатый запах, не свойственный металлическому заводу, Петр сказал:

— Со сладкой каторги потянуло. В вотчине сахарного короля Кенига тоже водятся погромщики. Позавчера там едва до полусмерти не избили рабочего за прокламацию, ладно — наши сборщики вмешались, перемахнули через забор, отбили товарища, а главного тамошнего черносотенца в «тройке», при часах, с «Георгием Победоносцем», помяв бока, макнули в сироп, выволокли на набережную.

— Сладкую купель... мерзавец запомнит до гробовой доски, — сказал Александр Михайлович, — обязательно ли всем членам погромного союза устраивать подобную купель? Есть среди них и рабочие, оказавшиеся в шайке по своей темноте.

— Самосуда мы не допустим, а проучить — проучим, — сказал Петр. — Исповедь начнем с Архипки Синюхина, десятского, отмеченного за усердие всеми знаками черносотенцев.

В мастерской ничто не предвещало скорого суда над черносотенцами. За большими станками рабочих почти не было видно. Шумела, ухала и всплескивала ремнями трансмиссия, потрескивая, падала полуобгоревшая стружка в поддоны. Необычным в этот час был помост из круглых поковок в большом проходе.

Но вот в дальнем углу мастерской ударили по рельсу, монтер рванул рубильник, устало замедляя бег, обвисали приводные ремни трансмиссии. Рабочие начали стекаться к помосту, и стало вдруг многолюдно и тесно.

И начался необычный суд. Судьями были те, кто окружал помост.

— Шествуй, Синюхин, на «трон».

Александр Михайлович с трудом узнал голос Петра, такой он стал строгий, повелительный.

Мастеровые смотрели не на помост, а в малый проход, где была скамья подсудимых, там на табуретках сидели трое в таких же куртках из чертовой кожи, как и у всех, но подавленные, от всего отрешенные.

— Выезд, Синюхин, тебе, что ли, подать?— сказал уже с иронией Петр.

Мастеровой, что помоложе, трудно поднялся с табуретки, вышел в большой проход, перекрестился и неуклюже забрался на поковки.

Синюхину было лет сорок. Большая голова, подстриженная под скобку, неприятно дергалась. Черные усы с обвислыми концами удлиняли и без того узкое лицо. Он не знал, куда деть большие натруженные руки, то прятал в карманы, то складывал на груди.

Все теснее рабочие охватывали помост, отовсюду раздавались гневные голоса:

— Похвались, Архипка, как выбросил студента из конки.

— Не придуривай, скажи, за что избил скрипача во дворе Нобеля?

— Кто входит в проклятую десятку?

Обвиняли, грозно обвиняли. А кто? Спросить Синюхина, он ни на кого бы не показал. Обвиняли все, кто окружал помост.

Синюхин хоть и был перепуган, а сообразил, что начать каяться лучше, как ему казалось, с безобидного случая с бродячим музыкантом.

— Не бил, разрази гром, не бил золотушного. От замаха свалился. Если бы взаправду дал тычка, то он сразу бы отправился на Богословское. Кто на масляной быка свалил?!

— Про свои кулаки помолчи!— одернул Петр.— Люди требуют, отвечай: в чем провинился музыкант?

— Непотребное играл и пел, а «Боже, царя храни» петь отказался. Посулил двугривенный, заупрямился.

— У-у, мерзавец!

Кто-то из мастеровых не сдержал нервы, бросил гайку. Она пролетела низко над головой черносотенца и звонко ударилась о металлическую балку. Синюхин от страха присел, закрыл голову руками.

Ненависть на лицах мастеровых, ненависть, что порох, прорвется, избыют до смерти Синюхина. Пострадают заводские социал-демократы. Александр Михайлович протиснулся к помосту, но его успел удержать Петр.

— Сами наведем порядок,— шепнул он.

Петр вскочил на табуретку, вскинул руку. Постепенно шум затих. Петру помогали в толпе невидимые помощники.

— Условились,— сказал он негромко,— собратыя по-серьезному и серьезно давайте решать.

В дальнем углу на вагонетках с поковками и литьем сидели молодые рабочие и заводские мальчишки. Увещевания Петра вызвали шум, свист. В этот угол направился старик, крижистый, весь седой. И разом угомонил парней.

— Соловьем не разливайся,— обратился теперь к Синюхину Петр,— люди требуют, давай начистоту. Как ты в шайку попал? На своих с кулаками идешь. Велят — стрелять будешь?..

— Братцы, что я худого сделал?— истерично перебил Петра Синюхин.— Ну, поучил студента, а знаете, за что? В Сибирь его упечь надо, августейшую государыню на всю конку обозвал немецкой шлюхой. Саму императрицу!

— Шлюха! Шлюха! Шлюха!— взорвалась в криках мастерская.

В глазах Синюхина страх — что происходит с людьми? Так поносят императрицу.

— Тачку!— крикнули в дальнем углу.

— Чего с ним чикаться? Тачку!

Как многоголосое эхо, повторили в мастерской:

— Та-ачку-у!

И снова тишина, был даже слышен шум с испытательного стенда.

Мастеровые очистили проход. Теперь никто не смотрел на помост, где трясся в лихорадке Синюхин, теперь все смотрели на большие деревянные ворота, откуда должна показаться тачка.

— Родимые, не губите темного человека!— Синюхин рванул ворот рубашки.— Бога ради, простите неразумного!

Наконец ворота открылись, показалась тачка, ухарского вида парень медленно катил ее по большому проходу.

Синюхин, как подрубленный, упал на колени, он

вздымал руки, что-то говорил, но его голоса не было слышно, настолько нарастал гневный шум.

Шагах в десяти от помоста парень остановил тачку и выжидательно посмотрел на Петра.

— Револьвер при себе?— спросил Петр.

Синюхин молча положил на помост браунинг, патроны и кастет.

— Клади и книжку чертова союза!

Синюхин положил удостоверение рядом с револьвером, затем он решительно сорвал с пиджака значок «Георгия Победоносца», швырнул на помост и раздавил каблуком.

Синюхина простили, а он растерянно озирался и продолжал стоять на помосте. Тогда подошли два парня и сняли его. Синюхин отпрянул от тачки, пошатываясь, скрылся за станками.

Черносотенец из десятки Синюхина держался спокойно. Он не участвовал в погромах. В союз вступил по темноте — в честь святого назван. И у мастера стал на хорошем счету — чаще перепали выгодные наряды. Черносотенец сказал, что по доброй воле вступил в союз и выходит без понукания. Против своих рабочих не пойдет. Он выложил на помост револьвер, кинжал и разорвал членский билет.

Когда вызвали на разговоры третьего черносотенца, то оказалось, что он струсил, сбежал.

Два револьвера, кастет, кинжал и удостоверение члена черносотенного союза вынес с завода Александр Михайлович.

После смены парня, что прикатил тачку, и Петра задержали в проходной штатский и пристав, обыскали их, но ничего не нашли, отпустили.

20

Курьерский поезд Гельсингфорс — Петербург подходил к границе. Четвериков выбрался в тамбур, намереваясь в Белоострове выскочить налегке из вагона и отсидеться в буфете до третьего удара колокола. Саквояж он выставил на диван, предупредив соседку по купе, что коли досмотрщик пожелает ознакомиться с содержимым, то ключ в замке.

«Свидание с рюмкой» — так подпольщики окрестили хитрый уход от досмотра. На этот раз «свидание» не состоялось и едва не закончилось для Четверикова арестом. В Белоострове полиция провела остроумную

акцию. Всех пассажиров, спешивших в буфет, задержали. По-разному вели себя задержанные — одни ругали полицию, другие пытались вернуться в вагон, но их не отпускали. Четвериков же с широкой улыбкой благодушно поглядывал на то, что происходит на платформе, будто его это не касалось.

Выстроив в затылок задержанных, городской повел их к вокзалу. Беззаботно озираясь по сторонам, Четвериков незаметно отставал; когда входили в здание, он оказался замыкающим. Едва сухощавый старик, шедший перед ним, перешагнул порог жандармской комнаты, Четвериков невозмутимо закрыл за ним дверь и пошел дальше к выходу. Выбравшись из вокзала по черной лестнице, он плюхнулся в сани какого-то чухонца.

— В Курорт,— сказал он,— за ездy с ветерком получишь купеческие чаевые.

На улице стоял двадцатиградусный мороз. Возчик посмотрел на странного пассажира в свитере без шапки, но ничего не сказал, тронул вожжи.

Дорога в Курорт накатана, низкорослая лошаденка играючи везла легкие сани. На повороте Четвериков оглянулся, поезд еще стоял у платформы. В саквояже, если он попадет в полицию, не найдут ни адреса, ничего компрометирующего, там старые брюки, поношенная рубашка, переводной роман, захватанный и без обложки. Динамит же был спрятан у Четверикова в широком поясе под свитером.

Невольная прогулка Четверикова без пальто и шапки уложила его в постель. Он не показывался в институте, пропустил обязательную явку. Александр Михайлович забеспокоился. В воскресенье рано утром поехал в Финляндию. Оделся охотником — полупальто, сапоги с высокими голенищами, опущенная на уши финская шапка, на широком ремне патронташ.

У крыльца из сугроба торчала лыжная палка — пароль: на даче все спокойно. Оставив в холодной прихожей ружье и «трофейного» зайца, Александр Михайлович шумно вошел в комнату и замер на пороге: приятный сюрприз — Ольга. Она причесывала незнакомую курсистку, а Варя калила над лампой щипцы. Тут же оказался и Четвериков. Он играл с Федоровым в подкидного.

В прошлый приезд Александр Михайлович познакомился здесь с Федоровым, рабочим Франко-Русского завода, человеком редкой силы. Был случай: Четвериков

отправил с Федоровым ящик с револьверами, пакет динамита и тюк литературы. Едва выехали со станции; сани занесло, угодили в яму. Лошадь выбилась из сил. Привязав за передок запасные вожжи, Федоров, поднатужившись, помог лошади вытащить сани из ямы.

Здороваясь с Федоровым, Александр Михайлович предупредил:

— На одну восьмую жмите, не выше.

И тут же обратил внимание, что у Четверикова забинтована рука.

— От вашего пожатия?— спросил у Федорова Александр Михайлович.

— Не грешен, в обойме револьвера на патрон оказалось больше,— съязвил Федоров.— Поиграл человек.

Отчитать Четверикова за неосторожное обращение с оружием следует, но Александр Михайлович отложил разговор, неудобно при постороннем человеке. И кто привел курсистку на секретную дачу, не поставив его в известность? Ольга, поймав его взгляд, шепнула:

— Рекомендация Софьи и Гусева.

Испуг в глазах Вари при его появлении на даче Александр Михайлович отнес к происшествию с револьвером.

Варя, верно, перепугалась, но повод был иной. В этот день ждала только Ольгу, она же приехала с курсисткой. На обратном пути из Выборга сошел с поезда Федоров. А теперь еще неожиданно-негаданно появился и Александр Михайлович. В кладовке иссякли запасы, продукты покупала жена хозяина дачи, позавчера она уехала в Валк-Ярви и задержалась у знакомых. На ужин у Вари всего три котлеты, подсолнечного масла на доньшке бутылки, хватит поджарить картошку, но накормить трех лишних, неожиданных...

Узнав про тревогу Вари, Федоров вызвался занять продукты. Хозяина он не застал, надумал сбежать в буфет на вокзал купить холодных закусок и неожиданно наткнулся в сенях на охотничий «трофей» Игнатьева — беляка фунтов на семь.

— Пирую,— сказал Федоров, швырнув на кухонный стол белоснежного зайца.

— Купил у хозяина?— спросила Варя.— Вот не подзревала, что он охотник.

— Бефстроганов отличный получится,— уклончиво ответил Федоров.

Скоро приятный запах жаркого проник в комнату.

— Вкусно, по запаху слышу — на сковородке баранина, — потянул носом Александр Михайлович. — Накормите?

— Досыта, досыта, на славу хозяйка накормит, — пообещал Федоров, пряча плутоватые глаза.

За ужином все нахваливали жаркое, дружно протягивали тарелки за добавкой.

После чая с вкусными лимонными корочками начались сборы к отъезду в Петербург. Ольга и курсистка уединились в спальне, чтобы надеть пояса с динамитом. Александр Михайлович уезжал поездом раньше. Капсюли гремучей ртутью он положил в патронташ, оделся и вышел в сени.

Чертыхаясь, Александр Михайлович что-то искал.

Услышав шум, вышла Варя, следом Федоров.

— Пропало что? — спросила Варя.

— Заяц!

— Убежал, — посмеивался Федоров, — зайцы великие притворщики.

— Не морочь голову, зайца утром охотник Линкола подстрелил, — сердился Александр Михайлович, — я на хутор специально заезжал. Заяц — моя охранная грамота. Охотничий трофей вызывает улыбку у пограничных стражей, служит охраняющим талисманом. И куда бедняга делся, хорошо помню — клал на табуретку.

— Съели, — признался Федоров, понимая, как он опрометчиво поступил.

Варя накинулась на Федорова:

— Мальчишка, на зайчатину потянуло, набили бы свои голодные утробы картошкой.

Федоров сник, он не ожидал, что дружеский розыгрыш будет иметь такой печальный конец.

Александр Михайловичу стало жаль человека. Федоров очень уж переживал.

— Не стоит ссориться, бывает, охотники возвращаются без добычи, — примиряюще сказал он, — а заяц был чертовски вкусный.

В дверях показалась Ольга, в меховом жакете она казалась располневшей, но в меру. В ее глазах Александр Михайлович прочитал просьбу: «Поедем в Петербург на одном поезде».

Александр Михайлович готов был сказать: «Едем», но рука невольно ошупала патронташ с гремучей ртутью.

— На барышень меньше обращают внимание на границе, — сказал он. — Со мной ехать опасно.

На дворе Александр Михайлович бросил взгляд на дачу — Ольга стояла у окна, грустная. Приветливо махнув рукой, он поспешил к калитке.

21

От продажи золы Александр Михайлович терпел убытки. Когда зола служила маскировкой — на это можно было пойти. Теперь винтовок и револьверов в Ахи-Ярви поступало меньше, в переброске через границу помогал поправившийся машинист курьерского поезда. Александр Михайлович серьезно задумывался: как избежать убытка, хотя бы в свои укладываться на продаже золы. Можно, конечно, попросить в дирекции казенных финляндских железных дорог льготный тариф. Ведь он ратует за плодородие. Разве это урожай — сам-пять, сам-шесть! Так финский крестьянин никогда свою семью досыта не накормит.

Прошение он подал через Штенберга, родственника по материнской линии. Обстановка же в Петербурге и Ахи-Ярви складывалась так, что поездка к Келломяки, где служил Штенберг, все откладывалась. Когда бы еще состоялась, если бы не случай...

Микко не подал лошадь к поезду. Час был поздний, Александр Михайлович очутился в затруднительном положении. Пешком от Райволы до имения далеко... На соседней платформе стоял последний поезд в Петербург. Раздумывать некогда, он сел без билета, через два перегона сошел. Дом Штенберга, начальника станции Келломяки, был погружен в сон, только в кабинете блеклый свет.

Александр Михайлович тихо постучал в окно. Впустил его в дом сам Штенберг. Несмотря на поздний час, он был в мундире.

— Какому ветру кланяться? — приветливо встретил он Игнатьева. — Из имения?

Поздний гость был налегке, без саквояжа.

Перехватив недоуменный взгляд Штенберга, Александр Михайлович честно признался:

— Я не собирался в Келломяки, загостился у приятеля в Териоках, а Микко не подал лошадь к поезду.

— Разбаловал разбойника, неделю бы я терпел, на вторую выгнал бы твоего слугу, — сердито сказал Штенберг и пошел впереди, освещая коридор. — Мои спят, а я бодрствую; из столицы только что получил важный циркуляр.

Поставив лампу на стол, он открыл бархатную папку и с гордостью прочитал:

— «Дополнение к мерам по пути следования поезда с особами августейшей фамилии...»

Зеленый абажур лампы был низко опущен, полумрак скрыл усмешку на губах Александра Михайловича.

— Смутное время в России,— Штенберг озабоченно вздохнул.

— И в княжестве Финляндском,— в тон ему сказал Александр Михайлович.

— Университетской пыли, Шура, ты здорово поднабрался,— сказал Штенберг и замылся — после прошлогодних январских событий у Зимнего дворца он и сам не испытывал былого благоговения перед царем.

— Пыль-то пыль,— согласился Александр Михайлович и, горько качнув головой, продолжал возмущенно:— Эта пыль не дает мне права закрыть глаза на то, что происходит вокруг. Зачеркивается и то куцее, что было даровано людям в манифесте 17 октября. В Лисьем Носу палач устал выбивать табуретку из-под ног беспокойных, неугодных августейшему и его камарилье.

— Выпей кофе,— предложил Штенберг, прекращая опасный разговор.— Горячий, только сварил. Мне еще долго бодрствовать, неспроста прислали пакет с фельдъегерем.

Кофе на ночь пить вредно, долго не уснешь, Александр Михайлович собрался поблагодарить и отказаться и тут заметил на этажерке тарелку с белым хлебом и ветчиной. Он вдруг почувствовал мучительный голод — сбежал из дома еще до завтрака, днем не было свободной минуты даже заскочить в лавку и купить колбасы.

— От кофе и бутерброда не откажусь!— сказал он.

Привдвинув к дивану низкий столик, Штенберг налил кофе, поставил хлеб, ветчину и, что-то вспомнив, сказал:

— Незадолго до своей смерти на этом же месте сидела Аделаида Федоровна. Как она печалилась, что ты наотрез отказался поступать в Пажеский корпус...

— Мать прочила в свиту его величества, а я выбрал иную дорогу и не раскаиваюсь,— сказал Александр Михайлович и переменял разговор:— Есть просьба, ты в коротких отношениях со своей дирекцией. На бойне у отца завалы отличнейшего удобрения. Решил всерьез заняться коммерцией, но дорог провоз. Тариф высок, прибыли не остается, чаще с убытком заканчивал про-

дажу последних вагонов золы. Не даст ли дирекция Финляндской дороги льготу? Ответ на прошение еще не получил.

Не ожидал подобной просьбы Штенберг. Он искренне обрадовался—наконец-то родственник серьезно берется за хозяйство. Иметь сто десятин леса, землю и получать доход, которого едва хватает на уплату налогов и расчеты с Микко и Марьей...

— С удовольствием похлопочу,— обещал Штенберг.— На будущей неделе собираюсь в Гельсингфорс, буду непременно у Оскара, он человек с положением, влиятельный.

В комнате за кабинетом, где обычно хозяева устраивали гостей, было не убрано. Штенберг предложил Александру Михайловичу переночевать в столовой.

— С моими, надеюсь, повидаешься, будут рады,— попросил он и предупредил:— Знаю твои повадки — исчезать мгновенно, так что не сердись, а до завтрака я тебя запру. Как у Кончака — не пленник, а гость дорогой.

Штенберг нарочно повертел в замке ключ и ушел к себе.

Александр Михайлович превосходно выспался, проснулся от ощущения, что кто-то навязчиво направляет зеркального «зайчика» ему в глаза. Жмурясь, защищаясь рукой, он открыл глаза и обомлел: комната от пола до потолка заполнена солнцем. На стуле лежали газеты и записка: «Шура, сон у тебя богатырский, пожалели будить. Кухарка подаст завтрак. Выкупайся в заливе, погуляй. К обеду все соберемся».

Чудак этот Штенберг — оставил шведские газеты, на русском языке — только «Финляндская газета». К официозу русского губернатора в княжестве Финляндском Александр Михайлович относился презрительно. Он начал с последней страницы. Под обязательными сообщениями была заметка, которая его встревожила:

«На днях из порохового погреба Н-ского полка пропало три пуда динамита. Замок оказался в сохранности. На допросе часовые, караульный начальник показали: никто из посторонних и солдат не переходил запретную черту.

Продолжаются таинственные исчезновения взрывчатых веществ со складов фирм, ведущих дорожные работы. Злоумышленники настолько обнаглели, что крадут динамит из погребов полиции.

Губернатор приказал найти похитителей и судить».

Полиция напала на след, иначе губернатор публично не дал бы такого безоговорочного приказа. В Гельсингфорсе боевая техническая группа имела склад динамита в доме финского рабочего Мякеля. Раз появилось такое сообщение в газете, следует перепрятать динамит или перевезти на дачу в Териоки.

Первым поездом Александр Михайлович выехал в Гельсингфорс. Сменив извозчика, он добрался до домика на тихой улочке в пригороде. Хозяина не было дома, жена Мякеля хоть и знала Игнатьева, но встретила не приветливо, в дом не пустила.

— Обождите в баньке, — отодвинув жерди в изгороди, провела его на маленький двор, — соседи в отъезде. Полиция сюда не полезет, здесь живет надзиратель тюрьмы.

Часа полтора Александр Михайлович просидел на полке, пока за ним не пришла хозяйка. Она была ласкова, но встревожена.

— Осерчал мой, что в баньке прячу, а я не худа желала. Динамит ищут, зря связались с полицейскими, покупали бы у солдат, спокойнее.

Через тот же лаз она провела Игнатьева в дом.

С весны Александр Михайлович не видел хранителя склада. Прошло немного времени, а Мякеля постарел, глаза усталые, больные, сутулится, из-под ворота рубашки белеет бинт.

— Под дубинки белых попал, — сказал он, но в голосе не было жалобы, — чудо, как позвоночник не перешибли.

Он так и не рассказал, почему на него напали, видимо, это было связано с покупкой динамита. Да и заговорил Мякеля о другом: знает ли Игнатьев, что происходит в Свеаборге?

Смутное представление имел Александр Михайлович о недовольстве и волнениях на военно-морской базе Свеаборга.

И вот что рассказал Мякеля.

Поражение в русско-японской войне, задержка с демобилизацией и полукаторжные условия службы на базе вызвали брожение среди нижних чинов крепости.

На островах, где стояли роты — минная, артиллерий, морская, телеграфная, — обстановка накалилась и была на грани стихийного бунта. Социал-демократы старались ввести недовольство в организационные рамки. Они вели на кораблях, в ротах серьезную подготовку

к восстанию. В один день и час должны были выступить солдаты и матросы Свеаборга, Кронштадта, Ревеля и Севастополя.

Используя заурядный конфликт минеров с комендантом крепости, генералом Лаймингом, эсеры самовольно назначили час восстания. Социал-демократы, казалось, убедили штабс-капитана Циона, что подготовка к восстанию не закончена. Не получено согласия Севастополя и Ревеля, нет четкого ответа из Кронштадта. Не было и подтверждения с «Цесаревича» и «Славы». Эти броненосцы имели тяжелые дальнобойные пушки, способные огнем смести все укрепления, все живое на островах Свеаборга.

Восстание было отложено, а в назначенный эсерами час — в ночь на 18 июля — пушка оповестила — к оружию! Эсеры потом оправдывались, что об отмене не знал-де тот артиллерист. Забыли предупредить. Странная «забывчивость».

— Пытаемся спасти положение, — продолжал Мякеля. — Все финские социал-демократы, способные стрелять, мобилизованы, двести пятьдесят штыков насчитывает наш отряд. Можно еще рассчитывать на успех восстания, если броненосцы...

Он не договорил, замер, в палисаднике послышались осторожные шаги. В окно трижды постучали с маленькими паузами.

— Пора в дорогу, — сказал Мякеля. — Этой ночью мне поручено наладить доставку на острова бинтов, ваты и лекарств. У восставших нечем перевязывать раненых. На бинты идут нижние рубашки.

Мякеля ушел проститься с женой, Александр Михайлович оделся и поджидал его у двери.

— Переночуйте, — предложил Мякеля, — а завтра, если динамит не потребуется восставшим, перепрячем.

— Я с вами, — решительно сказал Александр Михайлович. — У вас ведь все социал-демократы мобилизованы.

— Отказать не в моей власти, — ответил Мякеля.

За ближайшим углом ожидала извозчицья коляска. И тут из-за темнеющего кустарника вышел рослый полицейский. Александр Михайлович положил руку на револьвер.

— Свой, — Мякеля придержал его за локоть, — без охраны нас растерзает первый же патруль. Генерала Зальца предупредил финский Красный Крест, что отдал приказ расстреливать на месте каждого, кто попытается

передать мятежникам хотя бы один бинт, один пакет ваты, один пузырек йодного раствора.

Только под утро им удалось доставить медикаменты в крепость. Молоденькая сестра милосердия поблагодарила их, мешая русские и финские слова. Она была несколько озадачена, когда Александр Михайлович ответил ей на родном ее языке:

— Вам спасибо, помогаете русским в борьбе с царем.

— Он же ведь и князь Финляндский,— усмехнулась она.

Сестра милосердия разложила медикаменты в брезентовые сумки. Мякеля вышел из подвала казармы, где помещалась перевязочная, вскоре вернулся с матросами и солдатами, им поручено переправить сумки с медикаментами на острова Александровский, Инженерный и Артиллерийский.

Получив медикаменты, Александр Михайлович ждал связного с Михайловского, чтобы вместе с ним переправиться на остров.

Связной то ли не нашел временного перевязочного пункта, то ли погиб в пути, Александр Михайлович решил действовать самостоятельно. Но подоспел Мякеля, левая рука у него была обмотана носовым платком.

— Плохи наши дела,— сказал Мякеля,— броненосцы «Слава», «Цесаревич» и минный крейсер «Богатырь» получили приказ открыть огонь по мятежным островам. Если до этого дойдет...

— Тогда конец?

Мякеля утвердительно кивнул, прислушался к усилившейся орудийной канонаде, с горечью обронил:

— Вот и началось... «Цесаревич» стреляет...

Броненосцы расстреливали мятежные острова. Казалось, что в Михайловском земля горит, туда теперь невозможно добраться. Что же делать? Мякеля куда-то опять исчез, правда, скоро появился и не один, а со старым финном, который привез полную тачку гражданской одежды.

— Восстание обречено,— сказал осипшим голосом Мякеля,— финны собирают одежду, чтобы помочь мятежным матросам и солдатам...

Угол казармы срезал снаряд.

— Ложись!

Александр Михайлович сперва не понял, что это относится к нему. Матрос столкнул его на подвальную лестницу. Он почувствовал, как под ним дрогнули ступени,— это еще снаряд угодил в казарму.

Оглушенного, контуженного Александра Михайловича нашел на подвальной лестнице Мякеля, вытащил его на воздух.

— Уходите из Свеаборга, уходите немедленно. Подпоручик Коханский арестован. На Михайловском выброшен белый флаг.

Мякеля показал Александру Михайловичу безопасную дорогу на Гельсингфорс.

Ночью опасно выезжать из встревоженного города. Александр Михайлович решил переночевать в доме Мякеля, а утром поехать в мягком. Заснул он сразу, проснулся от частых толчков в бок. С трудом открыл глаза. У дивана — хозяйка.

— Полиция, — шептала она, — коль есть что запретное...

Револьвер Александр Михайлович предусмотрительно спрятал под мостиком в квартале от дома Мякеля. У него нет ничего крамольного. И тут вспомнил: когда из пролома казармы наблюдал за обстрелом Михайловского острова, солдат сунул ему прокламацию. Он спрятал ее в карман, чтобы потом прочитать, и забыл.

Стук в двери становился громче, настойчивее, ругалась хозяйка. У Александра Михайловича есть еще две-три минуты. Что за прокламация? Он не удержался, взглянул.

«...И подняли солдаты и матросы Свеаборга знамя восстания...»

В прихожей послышались шаги. Сейчас ворвутся в комнату. Александр Михайлович разорвал листок и проглотил.

Допрашивал агент полиции в штатском.

— Игнатьев моя фамилия, дворянин. Объясните, чем все это вызвано? В чем меня обвиняют? — потребовал Александр Михайлович.

— Предписано, — объяснял вежливо агент, — произвести обыск у Мякеля, всех обнаруженных в доме лиц задержать как участников и пособников восстанию в Свеаборгской крепости.

Свой арест Александр Михайлович встретил спокойно. Во время обыска у него ничего не нашли. Кроме Мякеля, никто не знает, что он помогал восставшим. А Мякеля, если и арестован, то это железный человек. Совсем просто объяснить, почему он заночевал в его доме. Тот — известный лодочный мастер. Приехал заказать лодку.

Сухо щелкнул замок, Александр Михайлович не оглянулся — опять на допрос. Пытаются обвинить его в подстрекательстве солдат и матросов гарнизона к восстанию. Но надзиратель не крикнул с порога, а подошел и вежливо сказал:

— Забирайте с собой вещи.

Распихав по карманам порошок, зубную щетку и мыло, Александр Михайлович вышел следом за надзирателем из камеры.

В канцелярии тюрьмы Александру Михайловичу объявили, что он задержан по недоразумению, вернули паспорт, бумажник, подтяжки и ремень.

— Вызвать извозчика?— предложил дежурный надзиратель.

— Пройдусь пешком, гостиница не на краю земли,— отказался Александр Михайлович.

Дежурный склонился к бумагам, пряча недобрую усмешку. Никто лишнюю минуту не желает задержаться в тюрьме.

На улице к Александру Михайловичу кинулся кучер Оскара.

— Скорее,— опаздываем к обеду,— сказал он.

Не собирался Александр Михайлович в этот приезд навестить родственников. Но как-то они узнали, что он в Гельсингфорсе, арестован. Видимо, Оскар, очень влиятельный человек в Финляндии, избавил его от тюрьмы, может быть, и от каторжных работ. Не поблагодарить нельзя.

Оскар встретил Александра Михайловича в вестибюле, увел в свою половину.

— Бога ради, в доме ни слова о Свеаборге,— предупредил он и тихо-тихо обронил: — Подпоручики Емельянов, Коханский и шестеро нижних чинов расстреляны.

Помолчав, Оскар продолжал:

— Мятеж подавлен. Еще не раз на берегу крепости под бой барабанов прогремят выстрелы. Напрасные жертвы, в числе их мог и ты оказаться. Я совершенно случайно узнал, что задержан русский дворянин Игнатьев как участник мятежа в Свеаборге. Взвесь все.

— Спасибо, Оскар, я давно все взвесил. Жертвы не напрасны.

И дня не прогостил Александр Михайлович в семье Оскара. Чужие они ему люди. Верно, помогли, вызво-

лили его из тюрьмы, но только ради его покойной матери.

Билет Александр Михайлович взял до Петербурга, а сошел в Райволе. Недельку нужно, чтобы прийти в себя, побродить с ружьем в лесу. Но в Ахи-Ярви уже ждала Ольга. Она приехала со срочным поручением.

На юге страны произошел еще взрыв в подпольной мастерской, новые жертвы. В боевой технической группе обеспокоены тем, что в лаборатории Игнатьева при смешении материалов дозы берутся на глазок. Это может закончиться катастрофой.

Александра Михайловича вызывали на консультацию к специалисту по взрывчатке. Интересный человек этот химик. Встреча была на явочной квартире. Он не назвал своей фамилии.

— Знаю заранее, мои инструкции неприемлемы,— говорил он, хотя Александр Михайлович слушал, не перебивая.— Но обязан предупредить, к чему может привести малейшая оплошность в температурном режиме кислоты...

Прочитав заметки Игнатьева о нововведениях в лаборатории, Березин фыркнул.

— В строгостях можно дойти до тюремного распорядка: прогулка двадцать минут, чахоточным шагом вокруг каменного колодца...

— На юге при взрыве погибли семь человек,— перебил Александр Михайлович.— Партия потеряла людей, лишилась лаборатории.

Березин начал возражать: коли принять советы ученого, то в имени ни в коем случае вообще нельзя изготавливать кислоту. Александр Михайлович больше его не перебивал, но и не слушал. Открыв окно, он позвал Микко с огорода, велел запрягать лошадь.

— Далече?— спросил Микко.

— В Райволу, поедет Березин,— сказал Александр Михайлович.

— У меня нет дел в Райволе,— смутился Березин,— готовлю «закваску» для начинки.

— Вызову Четверикова, доделает, я помогу,— сказал строго Александр Михайлович,— а вы поедете в Петербург, встретитесь с тем ученым химиком.

Возражать бесполезно. Березин поднялся в свою комнату, собрал саквояж.

Не с пустыми руками возвратился он из столицы. Александр Михайлович велел ему побыстрее привести себя в порядок и спуститься в столовую, Березин же,

поставив саквояж на колодец, извлек пухлый том, сказал:

— На правах рукописи. Пособие по садоводству.

Александр Михайлович с интересом открыл книгу, на обложке была изображена ветвь со спелыми антоновскими яблоками, а на титульном листе — «О минной войне».

23

Микко уехал в Парголово на похороны. Этот непредвиденный отъезд поломал расписание молодого барина. Обычно Микко встречал в лесу оружейников из Сестрорецка и незаметно провожал в имение. В этот раз им было нужно переправить через границу несколько пудов динамита.

Александр Михайлович сам решил встречать оружейников, но, случайно выглянув в окно, обомлел. Возле навеса выпрягал лошадь Пекканен, тесть полицейского чиновника на станции Райвола.

Прошлой осенью Пекканен получил под Мустамяками наследство — тридцать десятин пахотной земли. Прослышав, что помещик Игнатьев снимает стопудовые урожаи ржи, он еще в морозы напросился в гости, а приехал летом. От него быстро не избавишься.

А в это время оружейники Емельянов, Поваляев и Анисимов вышли в глубокий лесной овраг.

В условленном месте связного не оказалось.

— Тот ли овраг? — засомневался Поваляев.

— Прошлой осенью здесь меня и Васильева встречал студент, вон и примета — камень под гибнущей сосной, — убеждал Емельянов. Выбрав, где трава погуще, он присел, разулся. Два дня назад Емельянов занозил ступню, на лесной дороге ее намял. На ступне образовался нарыв. Последние версты Емельянов прошагал босиком.

— Черкну, нож у меня острее бритвы, — предложил Анисимов, вынимая из-за голенища финку.

Осмотрев нарыв, Поваляев отсоветовал:

— Не давай резать, заражение схватишь. Потерпи, долетимся до Ахи-Ярви, там спиртом промоем, разрежем, мазь или подорожник положим.

Шли еще с полчаса, утомились, сделали привал, растянувшись на траве, задремали. Из-за кустов показался Александр Михайлович, одет по-домашнему, в туфлях на босу ногу.

— Прощения прошу, — громко сказал он, — врасплох застал незванный гость, скотина пребольшая, а вот угощаю — приходится родственником нужному полицейскому чину. Пока выпровожу — придется схорониться.

Сарай стоял на границе усадьбы, задняя стена выходила к ручью, за ним начинался сосновый лес. Александр Михайлович вынул широкую доску из стены, показал оружейникам, как ставить ее на место.

— Это на случай вынужденного отхода, — предупредил он. — Под сеном у двери корзина с едой. В ларе подушки и одеяла.

Перекусив наскоро, Поваляев и Анисимов ушли искать подорожник. За первым пригорком они срезали десятка полтора белых грибов. Увлечшись, взяли поглубже в лес, на просеке стали попадаться крепкие подберезовики.

Выпроводив Пекканена, Александр Михайлович поспешил в сарай, но там спал только Емельянов. Жаль будить, но на рассвете ему отправляться обратно, с больной ногой далеко не уйдешь. До Оллилы или Дюн проводит на лошади Микко — он вернется в Ахи-Ярви на этой подводе. А дальше дружинникам предстоит пешком добираться до границы. И груз на этот раз тяжелый — динамит.

Через кухню, столовую и гостиную Александр Михайлович провел Емельянова в угловую комнату. Здесь были его спальня, кабинет и мастерская. Отлучившись ненадолго, он принес деревянную шайку, кувшин горячей воды и ведро холодной, посоветовал:

— Сделайте ванну, важно хорошо распарить ногу, а я тем временем узнаю, не вернулись ли гуляки.

Затянувшаяся прогулка связанных в лесу тревожила Александра Михайловича, но он не показывал виду. Разрезая нарыв на ноге Емельянова, пошутил:

— На полновесную тройку сдал экзамен по хирургии. — И сразу предупредил: — Больно будет ступать, не рискуйте — на денек-другой задержитесь, отдохните.

— Доковыляю, — уверил Емельянов.

— Утром перевязку свежую сделаю, а коли что — и власть применю, — пригрозил Александр Михайлович. — Намяли так, что и ногу недолго потерять.

Проводив пациента в сарай, он перелез через изгородь и вскоре повстречал на тропинке Поваляева и Анисимова. Они заблудились в лесу, но физиономии довольные, подолаы рубашек полны грибов.

В эту ночь Александр Михайлович не ложился. Он рассовал поровну в заплечные мешки динамит и патроны, в чулане старой дачи разыскал косы, насадил, затем готовил телегу в дорогу: на дно уложил опасный груз, накидал сена, а сверху пристроил косы, грабли и деревянные вилы. У передка поставил торбу овса, жбан квасу, плетеную корзину с едой.

Перед выездом подводы из усадьбы Александр Михайлович оглядел связных, нахмурился: на Анисимове сапоги с лакированными голенищами. У первого встречного полицейского вызовет подозрение — батрак и в таких сапогах?

— Обносился, праздничные пустил на будний день, — оправдывался Анисимов.

— С косой — и в лакированных, — сердился Александр Михайлович, — в полиции, по-вашему, остолопы служат. — Он ушел в дом, пропадал долго, вернулся, неся опорки и разлохмаченную веревку.

Анисимов послушно переобулся, перевязал опорки веревкой, а сапоги спрятал в телеге под сено.

В Кивинапе полицейский, ожидавший открытия лавки, подозрительно встретил незнакомых косцов, уныло бредущих за телегой, но, узнав Микко, решил, что барин из Ахи-Ярви где-то сторговал покос.

Верстах в пяти от Дюн дружинники, взяв поклажу с телеги, распрощались с Микко. К границе повел их сын лесника, молодой светловолосый финн. По тайным тропинкам выбрались к реке. Только что прошли затяжные дожди, вода в Сестре стояла высокая, проводник предложил использовать бревно для переправы на русский берег. Емельянов не верил в устойчивость бревна. Малейшая оплошность — и динамит окажется в воде.

— Экую дорогу отмахали, и потерять груз не за поных табаку! Где помельче — перейдем, не морозы, обсохнем.

— Бревно в наших условиях вернее лодки, — убеждал проводник.

Он артистически переправил мешки через реку. На бревне, помогая себе багром, перебрались по-одному и связные.

Отдохнув, Повалев и Анисимов направились по тропинке к кирке, Емельянов взял левее — к Белоострову и спустя час выбрался на большак. Старый финн, развозивший древесный уголь по богатым дачам, за двугривенный подвез его до Никольской площади.

Инспектировать бомбометание приехал из Тифлиса Камо. Заметив на столе табличку с торопливо написанными цифрами, Камо принял ее за расписание поездов.

— По сему расписанию можно прибыть напрямком в ад,— посмеялся Александр Михайлович и рассказал Камо о выпрямлении дороги, о том, что решил приурочить к этим взрывам тренировки бомбометателей.

— Царь царей в голове,— восхищался Камо,— хитро придумано.

После обеда Камо и Гриша, молодой рабочий с Путиловского завода, ушли вздремнуть на сеновал. Спустя два часа Александр Михайлович разбудил их. Взяв по суковатой палке, втроем отправились в лес искать полигон. Версты две шли по тропинке, дальше — по каменистому руслу пересохшего лесного ручья. Миновав по гатевой полусгнившей дороге трясины, очутились на дне глубокого оврага. С трех сторон голые скалы подымались саженей на двадцать, наверху в строгом строю высокие сосны, а между ними валун, повисший над оврагом.

— Наблюдательный пункт, лучше и желать нельзя,— сказал Александр Михайлович.

Камо недоверчивым взглядом окинул валун.

— От взрыва сорвется камень,— заключил он.

— Полпуда динамита заложить, и то едва ли стронешь эту крепостную глыбу,— убеждал Александр Михайлович. Блуждая по лесу, он не раз отдыхал на этом камне.

Поднялись к соснам — оказалось, что глыба не застрявший валун, а выточенный непогодой уступ гранитной скалы.

С облюбованного наблюдательного пункта хорошо проглядывался овраг. Осыпавшиеся со скалы камни у стены слева образовали естественный окоп. На противоположной стороне возвышался земляной мысок с одинокой сосной, а по стене — низкорослые, густые елочки, прямо готовые цели для бомбометания.

— Громыхнуть бы на всю Ивановскую! — загорелся Камо. Он жалел, что не захватил с собой бомбы.

— Действуем, как условились,— сказал Александр Михайлович. — Сознательно не взял бомбы. Они самодельные, с ними и по паркету ходить опасно. Теперь, после разведки, доберемся до оврага без приключений. Испытаем, хоть инструкцию составим дружиннику-бом-

бометателю. Многим ли удастся проверить себя на полигоне.

— Мудро,— согласился Камо.

Рано утром они снова были в овраге. Быстрый, подвижный Камо обследовал мишени, каменную насыпь, внес поправку в намеченный накануне план. Не было нужды подыматься на скалу. Укрытие в овраге надежное, из естественного окопа удобно вести наблюдение, по соседству устроили площадку для бомбометателя.

Первым бросил бомбу Камо. Дым медленно расплывался, в овраг слабо проникал ветерок.

На том месте, где росла сосна, зияла яма.

Бросил свою бомбу и Александр Михайлович. Взрыв был еще разрушительнее. Березин перестарался с дозами «начинки». Осколки зацокали по каменной стене укрытия. Случись это в бою,— погиб бы бомбометатель.

Гриша был моложе Камо и Александра Михайловича, а действовал осмотрительно, как бы примериваясь к петербургской улице. Он соорудил себе цель — в осыпавшиеся камни воткнул крестом обломки сосны, бомбу бросил с разбега и успел спрятаться за укрытие.

Осмотрев воронку, Камо сделал замечание:

— Скажи, Александр Михайлович, своим «химикам», напрасно они не жалеют «начинки». Не скалы взрывать собираемся. В будущих баррикадных боях так могут и свои пострадать.

Камо не знал, что Игнатьеву строго-настрого запрещено самому испытывать метательные снаряды. Рассказывая в штабе об удачном бомбометании в лесном овраге, он и не подозревал, что подвел гостеприимного хозяина...

До среды задержался в имени Александр Михайлович. В Перки-Ярви прибыл багаж на предьявителя. Микко нельзя посылать, на прошлой неделе он огрел кнутом чересчур любопытного сторожа на железнодорожном переезде. Пришлось ехать самому Александру Михайловичу. Вернулся он усталый, но с улыбкой: поехал получать литературу, а в багажном отделении ему выдали тяжелый тюк, обшитый парусиной. Упаковано искусно — не прошупать. Похоже, что прибыли долгожданные химикаты. Здорово Александр Михайлович намучился, пока дотащил тюк до телеги, помогал ему грузить кладовщик.

А Микко силач, один снял с телеги тюк, отнес в кладовую, затем распряг лошадь и увел на озеро. Алек-

сандр Михайлович налил воды в глиняный ручнойник, снял рубашку, хотел помыться, как увидел, что к усадьбе мчится почтальон. Не слезая с велосипеда, передал телеграмму.

«У Володи скарлатина, в палату не пускают. Надежды на выздоровление нет, уповаем на чудо», — прочитал Александр Михайлович.

Подписи под телеграммой не было, но Игнатьев догадался: послал ее Белоцерковец.

В тот же день Александр Михайлович выехал в Петербург. На Забалканском уже знали, что Володя арестован за тяжчайшее деяние — покушение на жизнь царя. Семью почтмейстера Наумова в двадцать четыре часа выселили из Царского Села.

Александр Михайлович тяжело переживал, что не сумел вырвать товарища из-под влияния анархистов. Мучительно это признать, но так произошло! Разрыв между ним и Наумовым начался еще в гимназии, а конец наступил, пожалуй, на той, последней встрече...

...Дня через два Александр Михайлович поехал к Ольге. Случайно на Кронверкском проспекте он встретил отца Наумова. Постаревший, плохо одетый, он грузно опирался на самодельную трость.

— Как мы живем? — заговорил он, хотя Александр Михайлович и не спрашивал. — Скверно живем! Продали шубы. Кольца и часы заложили в ломбард, нашли лучшего адвоката. Он ознакомился с делом, вернул аванс. Не надеется вытащить Володю из петли. Приговор царь уже сам вынес, суд — видимость соблюдения законности.

Не осмелился бы Александр Михайлович спросить, как все произошло, но старику самому нужно было высказать душевную боль. Его сын не отступился от давно задуманного и выношенного — убить царя. Он вошел в сговор с одним солдатом из личной охраны его величества, тот согласился, затем струсил и донес.

— Было задумано, но до покушения господь не допустил. Не с бомбой, с тетрадкой стихов взяли Володю, — оправдывал сына старик. — Как же можно за несовершенное, только за намерение казнить!

Посадив измученного, больного старика на извозчика, Александр Михайлович дошел до Съезжинской, но не посмел зайти к Ольге, по настроению догадалась бы, что у него беда, зачем ее расстраивать?

Еще не вынесли приговора Наумову, как новый удар — арестовали Белоцерковца. Причины для ареста

словно не было. Он давно отошел от политики. Техника его увела. Все новинки — приборы, аппараты, конечно, в первую очередь поступали на Царскосельскую дорогу. Александр Михайлович не осуждал товарища. У Белоцерковца уж такая натура — все или ничего.

Взглядов Наумова Белоцерковец не разделял. Почему же и его арестовали?

У Софьи были хорошие отношения с известным присяжным поверенным. Через него она узнала, в чем обвиняли Белоцерковца. Он не был связан с Наумовым, но попал под влияние «летучего отряда» эсеров, которые готовили крушение царского поезда. Сведения о его следовании якобы дал Белоцерковец.

В канцелярии его величества не спешили передавать царю прошение бывшего дворцового почтмейстера о помиловании его сына.

Наумова казнили на рассвете.

Смертный приговор был вынесен и Белоцерковцу. Николай II казнь милостиво заменил вечной каторгой.

25

Открытку отец отдал ему вечером, извинился.

— Сослепу не разглядел, кому, сунул с письмами в карман, день присутственный, ну и протаскал.

Ничего секретного, открытка из университета. Но Александру Михайловичу неприятно, что она попала к отцу. Тот очень переживает, что старший сын «вечный студент».

Давно Александр Михайлович не был в университете, пожалуй, с тех пор, как сдал план и конспект задуманной научной работы о селекции растений в условиях севера. Лучше, конечно, пропустить вторник, пойти в деканат в четверг. Будет время подготовиться, хотя бы вчерне изложить, как он продвинулся в своих изысканиях, а на четверг Гусев назначил встречу в «Вилле Роде».

Александр Михайлович высвободил вторник для университета. Из дома он выбрался рано, неприятный предстоит разговор, не скажешь декану: «Я не оболтус, не бездельник...» Переброска через границу нелегальной литературы, оружия, динамита, изготовление бомб занимали все время без остатка. Третий съезд партии призывает готовиться к свержению самодержавия. А в деканате считают, что он не студент, а только «числится»!

Времени нисколько не остается для себя. На прошлой неделе Александр Михайлович купил билеты в Александринский театр, но проносил их в кармане: некогда было заехать на Съезжинскую, не приглашать же Ольгу на представление через посыльного.

Из канцелярии Александра Михайловича направили к профессору Смирнову, оказывается, это по его просьбе была послана открытка.

Виктор Иванович не носил усов, бороды, выглядел не старше своего студента, что смутило Александра Михайловича.

— Рад, что быстро откликнулись,— приветливо встретил Виктор Иванович,— ваш брат тяжел на подъем.

«Тоже относит к повесам и шалопаям»,— с досадой подумал Александр Михайлович.

А профессор заговорил о другом. Он взял со стола лекцию Тимирязева «Космическая роль растения», под ней Александр Михайлович увидел свой план и конспект.

— Все интересно — замысел, наблюдения, результаты опытов в Финляндии. Жаль, что все застопорилось,— говорил негромко Виктор Иванович.— Случайно обнаружил в архиве. Мое резюме: обкрадываете себя. Ваши наблюдения и рекомендации помогли бы крестьянину, нищенские он снимает урожаи ржи, ячменя, овса, картофеля. Своего хлеба едва до рождества хватает.

Александр Михайлович проникся уважением к профессору. Он не лез с вопросами, не допекал нравоучениями и примечательными примерами из собственной биографии. Советовал, убеждал, настаивал, требовал начатую работу довести до конца.

И было удивительно Александру Михайловичу, что Гусев, узнав о вызове в университет, сказал: «Революции нужны и ученые».

Два месяца — такой срок Александр Михайлович назначил себе на окончание работы. Надо лишь уединиться.

Лидия подыскала ему в Стрельне тихую комнату. Неделя ушла на то, чтобы вжиться в написанные страницы, оживить в памяти наблюдения. С настроением он написал начерно страниц двадцать, денек отдохнет, затем засядет за отделку; а около девяти вечера Лидия принесла записку: «Жду в Петербурге».

Гусев чувствовал себя страшно неловко, изменились обстоятельства — Александру Михайловичу временно

придется опять забыть об университете. Он дважды с ударением сказал: «временно».

Социал-демократы Финляндской железной дороги рекомендовали в связные нескольких кондукторов и машинистов. В штабе боевой технической группы поручили Александру Михайловичу проверить, можно ли на них положиться в переброске оружия и литературы.

Новое поручение требовало срочного выезда в Финляндию. Комнату в Стрельне Александр Михайлович оставил за собой, хотя было предчувствие, что работу по селекции придется снова отложить, и надолго.

В Выборге он остановился в гостинице «Бельвию» под фамилией Коскинена, коммерсанта из Якобстада. За неделю ему удалось собрать нужные сведения и познакомиться с кандидатами в связные. Трое безупречны, а четвертый, кондуктор курьерского поезда Гельсингфорс — Петербург Усатенко, вызывал недоверие. Александр Михайлович никак не мог отделаться от чувства, что Усатенко состоит на жалованье в полиции. Интуиции мало, требуются доказательства. Пришлось выехать в Гельсингфорс. В дирекции казенных железных дорог встретился с приятелем Белоцерковца по путейскому институту. Тот почти не соприкасался со службой кондукторов, но дал согласие поразузнать об Усатенко.

В субботу Александр Михайлович вернулся в Выборг. В гостиницу на Коскинена пришла телеграмма: «Садсвика рекомендовать пока не могу». Усатенко не вызывает доверия и у товарищей Белоцерковца. А как быть с рекомендацией финской организации социал-демократов? Придется самому перепроверить.

К приходу курьерского поезда Александр Михайлович приехал на вокзал. В служебном купе мягкого вагона худенький кондуктор заваривал чай. Чтобы привлечь его внимание, Александр Михайлович, нетерпеливо постучав рюмочкой об пол, спросил:

— Милый человек, в Гельсингфорсе не вам ли дама поручила доставить белого пуделя?

Это был пароль.

— Пуделя везут в третьем вагоне, — ответил Усатенко и поднял нижнюю полку.

Александр Михайлович распахнул пальто, снял с себя винтовку.

— В Териоках зайдет за ней путеец, — шепнул Александр Михайлович и не спеша вышел из вагона.

Софья прислала условленное письмо — «винчестер» благополучно переправлен. Но Александр Михайлович не находил себе места, неприятное впечатление произвел на него Усатенко: мрачный, без улыбки. А как он вздрогнул, услышав пароль. Вскоре встретив Александра Михайловича на Съезжинской у Ольги, Софья посмеялась над его недоверием.

— Излишняя мнительность и подозрительность, — сказала Софья, — может оскорбить человека, можем потерять ценного связного.

Постепенно Александр Михайлович забыл о кондукторе мягкого вагона. Неожиданно он сам напомнил о себе.

Вскоре Александр Михайлович навестил Лидию в Пикируках. На даче долго нельзя было задерживаться. Передав посылку, он вернулся на вокзал, решил обождать в ресторане прихода курьерского поезда. После объявления о начале посадки Александр Михайлович выбрался на платформу. Навстречу ему — Усатенко.

— Не узнаете? — бесцеремонно остановил его Усатенко.

Пожав плечами, Александр Михайлович хотел пройти мимо. Усатенко загородил дорогу:

— Коротка, господин хороший, память. По части белого пуделя ко мне навевывались. Ловко тогда мы обтяпали с «винчестером».

На платформе безлюдно, но кондуктор чересчур развязал язык:

— Издох белый пудель. Покойный не терпел болтунов, — одернул Усатенко Александр Михайлович и повернул к вокзалу.

Этим поездом небезопасно было возвращаться в Петербург.

Усатенко не понял, что «Григорий Иванович» (так ему представили Игнатьева) хочет от него отделаться, тоже прибавил шаг.

— Потребуется, пожалуйста, — теперь уже заискивающе бормотал Усатенко, — под вагоном тайник, арсенал перевезу. В Белоострове на досмотре стоят олухи цари небесного. — Помолчав, он спросил: — Надеюсь, мягким едете?

Чтобы избавиться от опасного человека, Александр Михайлович на площади кликнул извозчика, велел везти в гостиницу:

— Где тихо и недорого.

Интуиция, значит, не подвела, связной оказался трусом и хвастуном. Хорошо, что Усатенко ничего не знает про Ахи-Ярви, Кириасала и дачу в Териоках.

Спустя недели полторы потребовалось укрыть в Финляндии рабочего патронного завода. Софья назначила Александру Михайловичу встречу на Петровском острове, где в воскресенье было большое гулянье.

— Все еще не доверяете Усатенко, а он нужен подполью,— сказала Софья,— кондуктор для досмотрщиков — свой человек.

— Душа по-прежнему не лежит к этому Усатенко,— признался Александр Михайлович и рассказал про встречу в Выборге.

— А мы надумали при его участии переправить одного товарища в Финляндию,— сказала Софья.— Побаваюсь после услышанного.

— Перевезем и без Усатенко,— сказал Александр Михайлович,— есть чистые бланки Сестрорецкого оружейного на право проезда в Райволу. В этом селении рабочие завода имеют свои дома.

— Великолепно придумано,— воскликнула Софья и неожиданно призналась:— Голова устала от бомб, от явок. Покатаемся на карусели.

Она потянула Александра Михайловича к нарядной карусели. Невидимый гармонист на ливенке выводил: «Чудный месяц плывет над рекою...»

26

Приятное и до крайности трудное было поручение. Лидии из-за слезки пришлось бросить службу и квартиру. В боевой технической группе мучились, как ей деликатнее помочь. Она чересчур щепетильна, хотя с месяц живет на хлебе и воде.

Красин посмеялся над охами и вздохами своих товарищей. Вручая Софье деньги для Лидии, сказал:

— Поручите Игнатьеву.

— Это же не переброска оружия,— заколебалась Софья.

— Сложность та же,— коротко ответил Красин.

Послав с мальчишкой записку на квартиру Игнатьеву, Софья перешла на другую сторону Забалканского. Хорошо, если бы Александр Михайлович был дома. Она обрадовалась, когда он появился у открытого окна и показал, что сейчас выйдет.

Просьба Красина поразила и Александра Михайло-

вичка. Деликатнее это могла сделать Софья или Сулимова, можно было возложить эту миссию на Ольгу.

— Страшно нуждается Лидия, на хлебе и воде живет. С ее внешностью в трактир не пойдешь, где за пятак можно похлебать щей и съесть кашу.

— Нуждается?— удивился Александр Михайлович.— У нее же отец весьма богатый человек.

— Она с отцом в ссоре. Он потребовал, чтобы она порвала с «разбойниками с большой дороги».

Узнав, каким поездом Лидия возвращается из Выборга, Александр Михайлович поехал на Финляндский вокзал. Увидев через окно Лидию, встретил ее у вагона.

— Выследили?— тихо спросила Лидия, думая, что Александр Михайлович пришел ее предупредить. Неужели полицейские устроили засаду? Как в тот раз, схватят в подъезде, втолкнут в мрачную тюремную карету. Она уже сидела в Литовском замке. Следователь на первом допросе ей выговаривал: «Из хорошей семьи, с такой внешностью вышли бы замуж за графа или князя. Жили бы в свое удовольствие, в свете блистали». Тогда же жандармский подполковник Тунцельман, известный своей хитростью и жестокостью, сказал: «Не оставите злоумышления против государя, угодите не в Литовский замок, а в Шлиссельбург, откуда две дорожки: на виселицу и каторгу».

— Не пугайтесь,— сказал Александр Михайлович,— я принес деньги от Красина.

— И бессребренник с ними заодно,— сказала Лидия.— Я не служу, то, что делаю, мой долг. А за это не платят.

Торчать у вагона неудобно, пассажиры уже все вышли. Лидия взяла Александра Михайловича под руку.

— Поймите, у меня есть Ахи-Ярви,— убеждал он.

— Натуральное хозяйство,— сказала Лидия.

— Подножный корм— яйца, сметана, творог. Не редкость на столе куренок,— в тон ей ответил Александр Михайлович.— Есть отец, его бумажник для меня не закрыт.

Александр Михайлович предложил пешком добраться до Кирочной, там в тихом переулке всегда стоят «ваньки».

— Если будете развлекать, то я согласна,— поставила условие Лидия.— Как вы к Надсону относитесь? В Пикируках я нашла на полке томик его стихов.

— Тоски и уныния через край,— сказал Александр Михайлович и, подумав, продолжал:— Болезнь виновата, а поэт вне сомнения талантливый.

Александр Михайлович обещал Лидии познакомить ее с Березиным, верным поклонником Надсона, и снова заговорил о деньгах.

— Я служу революции не за жалованье,— уже с обидой отказывалась Лидия,— перебежусь, учительница Януш ищет мне занятие, есть место репетитора на Большой Охте у лавочника, предлагает давать уроки за обед и ужин, с голода, значит, не умру.

— Не казните себя,— уговаривал Александр Михайлович,— деньги из партийной кассы — не подаяние, это материальная поддержка революционера, у вас же нет счета в банке. Наконец, возьмите в долг, устройтесь на службу, разживетесь, вернете в партийную кассу,— ухватился Александр Михайлович за последнюю возможность заставить Лидию взять деньги.

— Месяца на три, пожалуй, взяла бы.— Лидия задумалась, прикинула свои возможности и сказала твердо:— На четыре месяца, не больше.

На Литейном проспекте они зашли в кондитерскую, Александр Михайлович постарался официально обставить передачу денег.

— Пишите расписку.

Не нашлось листка бумаги. Александр Михайлович оторвал полоску от меню.

— Несерьезная расписка,— возразила Лидия.

— У партии пока нет гербовой бумаги, пишите, документ и на клочке законный.— Он сам открыл ридикюль и положил туда деньги.

27

Красин сумел незаметно выйти к новой даче. После обеда все собрались в гостиной. Березин и Микко играли в шашки, Александр Михайлович наблюдал за ходом игры.

В хорошо отглаженном светлом костюме, с тростью, Красин выглядел богатым баринном. Вел он себя странно: поздоровался и сразу прошел в угловую комнату, которую занимал Александр Михайлович, засунул саквояж под кровать, вернулся в гостиную, дверь же оставил открытой.

Интересный и остроумный собеседник, сегодня Красин был крайне неразговорчив, мрачен. Березин быстро

разгадал причину его скованности, шепнул Микко: «Мешаем». Взяв весла в сарае, они отправились на озеро. Марья наказала им купить в лавке Пильца несколько кусков простого мыла. Она долго с берега просвещала сына, какие прожилки у настоящего жуковского.

Как только они ушли, Леонид Борисович запер входную дверь, вытащил из-под кровати саквояж, положил к себе на колени.

— Требуется художник,— сказал он.— Дело тонкое, объявление в газете не дашь. Нужен талант и чтобы был свой человек.

В саквояже доверху аккуратно сложены пачки денег.

— Фальшивые?— спросил Александр Михайлович, подумав, что Красину требуется художник для доводки поддельных кредитных билетов.

— Из тифлисского казначейства поступили,— сказал Красин и сорвал бандероль с одной пачки.— Настоящие, а не разменять, номера известны в банках и меняльных конторах.

Александр Михайлович восхищался смелостью Камо, в минувшем июне совершившего дерзкую экспроприацию в Тифлисе. И вот перед ним те деньги, что захвачены в царском казначействе. Эти кредитные билеты добыты с риском для жизни, а цена им пока не больше, чем цветным картинкам.

— В саквояже двести тысяч рублей,— сказал Леонид Борисович.— Это для партии большой капитал. Деньги позарез нужны на типографское дело, нужно поддерживать политических ссыльных. Сколько хороших товарищей гибнет от чахотки.

На вокзал Красина повез Микко. Собрался проводить Александр Михайлович.

— Оставайтесь дома,— мягко попросил Красин.— Я не люблю проводов, так спокойнее. И времени мало. Хорошенько все обдумайте и взвесьте. Искусно заменить номера в кредитках, уверяю, это не бомбу провезти через границу, куда труднее.

Где найти художника, обладающего навыками гравера, который согласился бы выполнить эту адскую работу? В Финляндии не было на примете такого человека. Нужно ехать в Петербург.

Александр Михайлович вытащил из пачки несколько пятисотенных билетов, чтобы не помять, положил их в учебник естествознания. В поездке, как пасьянс, раскладывал он в памяти своих знакомых. В экспедиции изго-

товления государственных бумаг — никого. И искать не стоит — хлопоты большие, а успех сомнительный — в экспедиции служат обласканные работники, дорожат своим местом. У Ольги знакомый учится в Академии художеств. Он одаренный человек, настроен критически к царствующему дому, но не проверен на опасном поручении. Оставалась Афанасия Шмидт, та самая Фаня Беленькая, которую Александр Михайлович устроил в музей. Это же свой человек, проверенный. В музее подпольщики хранили оружие.

Произошел даже забавный казус. Фаня была вынуждена спрятать револьвер в муляж окорока. А это был экспонат, намеченный на международную выставку. Муляж увезли в Дрезден. Сколько людей прикасались к окороку, и никто не обнаружил тайника.

Александр Михайлович не застал Фаню дома, к дверям комнаты была приколоты записка: «Уехала в Петровский парк, буду дома к вечеру». Выйдя на улицу, он подозвал извозчика, велел ехать на Петербургскую сторону.

Художницу Александр Михайлович нашел у пруда. Она рисовала отслужившую свое полузатопленную лодку в камышах.

— Душой отдыхаете, а я... — начал смущенно Александр Михайлович, — покушение готовлю.

— Понадобилась? — спросила Фаня и сощурила до щелочек смеющиеся глаза. — Между прочим, записку я оставляла Ольге. Но, право, сердиться не буду, что разыскали, пора свертываться, покинуло настроение, не рисую, малярничаю.

Фаня ткнула кисточкой в холст и радостно воскликнула:

— Нашла! Жалела, что холст испортила, не получались заплатка и вмятина на лодке. Мазок — и все заиграло! — Неожиданно найденное решение подняло настроение, Фаня сказала: — Услуга за услугу, приказывайте, нужно — звезду с неба достану.

— Прекрасно! За вдохновение потребую плату, — в тон ей ответил Александр Михайлович и заметил: — Звезды — ведомство поэтов. Моя просьба проще, и по вашей прямой специальности.

— В муляже печени коровы спрятать пушку? — спросила Фаня и одним мазком состарила вмятину на лодке.

— Тоньше. Поколдовать кисточкой над пятисотенными билетами, чтобы в самом казначействе не вызвали малейшего подозрения.

— Познакомившись с вами, и не тому научишься,— засмеялась Фаня.— Когда открываем собственный филиал третьего отделения экспедиции?— Она посерьезнела, заколебалась:— Получится ли? Не пробовала кредитные билеты подделывать.

— Вся надежда...— Александр Михайлович сложил на груди руки и низко поклонился.— Прощу, очень прошу.

Фаня бросила на траву чехол от подрамника, сама села и усадила рядом Александра Михайловича.

— Не горюйте. Раз надо для дела, буду фальшивомонетчицей,— и задорно стрельнула глазами.— Статья за мошенничество гуманнее 102-й, не повесят. Поймают — определяют в крепость.

— Кредитные билеты настоящие, из Тифлиса,— объяснил Александр Михайлович.— Требуется заменить цифры. Таблицу я составил.

У Фани в кошельке была лишь мелочь, она попросила показать ассигнацию.

— Пятисотрублевые дома оставил, а красненькую — пожалуйста.

Бросив быстрый взгляд на десятирублевку, Фаня вернула ее, затем сняла подрамник с мольберта.

— Постараюсь. Отвечу «да» или «нет», когдаведу эксперимент.

Александр Михайлович взял мольберт. Фаня шагала крупно, по-мужски. На набережной Ждановки она ожилилась, спросила:

— И много пятисотенных мне нужно переделать?

— Не пугайтесь,— хотел было ее успокоить Александр Михайлович, но, вспомнив про саквояж, набитый кредитными билетами, признался:— Много, чересчур много.

— Нисколько не пугаюсь. Знаю, эти деньги нужны революции. Но дома у меня — стеклянный колпак, в музее тоже не убережешься от любопытных, а глаза бьют и недобрые.

— Чем мучиться, снимем дачу,— предложил Александр Михайлович.— Краску достану из экспедиции.

— И еще потребуется хороший микроскоп,— сказала Фаня.

— Купим новейший.

— И это еще не все,— продолжала Фаня,— я не вольный художник, служу!

— А зачем нам дана голова? Что-нибудь придумаем,— обещал Александр Михайлович.

Проводив Фаню, он на этом же извозчике поспешил домой. Спокойно выслушал отец его просьбу отпустить художницу недели на две по семейным обстоятельствам.

— Не на пикник увозишь Беленькую?— сказал в ответ Михаил Александрович и посоветовал:— Безопаснее числить ее на работе, мало ли что... находилась на службе.

С художником устроилось, лучше нельзя. Где снять тихую мастерскую? Ахи-Ярви — перекресток дорог, перевалочная база, химическая лаборатория. Красин строго предупредил: «Три человека — я, вы, художник и больше ни одна душа не должна знать про нашу финансовую операцию».

Недалеко от Териок Александр Михайлович снял недорогую дачку. С хозяевами повезло — престарелые, одинокие, молчаливые. На всякий случай он им сказал, что его жена получила предложение занять прилично оплачиваемую должность в русском посольстве, но она позабыла шведский язык, ей требуется недели на три-четыре уединиться, чтобы наверстать, придется иногда и ночи прихватить. Потому и никаких компаний, навещать ее будет только он.

В тот день Фаня еще дома переделала цифры на трех пятисотенных. Александр Михайлович повез их к Красину. На Невском проспекте он зашел в банк и легко разменял один кредитный билет, затем в ювелирном магазине на Садовой линии Гостиного двора купил серебряную цепочку к часам.

Тысячу рублей наличными Александр Михайлович внес в партийную кассу. Третью пятисотку передал Красину. Тот был доволен таким началом, художницу похвалил.

— А вас, Александр Михайлович, прошу, требую — больше пятисотенные самому не менять,— сказал мягко и строго Красин.

23

Петербург в преддверии масленой недели. На окнах трактиров, ресторанов появились сковородки с пышущими блинами. Скоро, скоро проспекты и улицы столицы огласят веселым звоном бубенцов и колокольчиков вейки.

Готовился к масленице и Микко. Он украсил дугу разноцветными лентами, повесил колокольчики и бубенцы. В канун масленицы, едва забрезжило, Микко за-

пряг лошадь, ушел в дом переодеться. Вернувшись, застал в санях молодого барина. Дней десять он еще должен был пробыть в Гельсингфорсе.

— Никак на масленую собрался?— Александра Михайловича забавляла растерянность работника.

Микко любил бесшабашное веселье на масленой, праздничные базары, катание на карусели, представления в балаганах, вспыхивающие россыпи бенгальских огней.

— Вейка, деньги сами в карман сыплются.— Микко не стал заператься.— И погонять кобылу нужно, застоялась, за жиреет, кнутом не заставишь сани возить.

Поворчав, Микко начал распрягать лошадь, Александр Михайлович остановил.

— Надумал: поезжай в Питер, отпускаю на всю масленицу,— сказал он, решив отправить с ним десяток бомб.

Микко, отчаянный выпивоха и озорник, был трогательно предан молодому барину. Он мог послушаться, когда приказывала Аделаида Федоровна. Незадолго до своей смерти она однажды так рассердилась на Микко, что пожаловалась: «Шура, он служит только тебе».

Спрятав под сено два плоских ящика, Александр Михайлович строго предупредил Микко.

— Трактиры объезжать. Пристанешь к обозу финских рыбаков. Когда везут салаку в столицу, стражники и таможенники редко проверяют.

Березин, наблюдавший из окна за сборами, не усидел в доме, отозвал Александра Михайловича в сторонку, встревоженно сказал:

— Соображаете? С кем отправляете бомбы? Уж лучше закинуть их в вагон Усатенко.

— Отказались окончательно от услуг этого кондуктора,— возразил Александр Михайлович,— а наш машинист опять в больнице лежит, на курьерском поезде больше никого своих нет.

— Сам перевезу,— отговаривал Березин.— Микко известный забулдыга, напьется до чертиков, если не в первом трактире, то во втором непременно.

— Не напьется,— защищал Микко Александр Михайлович.— Нужно знать его душу. Он не выдаст. Полицейские его знают, надо — прикинется пройдохой, угнал у барина тайком лошадь, вздумал поднажиться на вейке.

— В полицию, допустим, не попадет, ну а если подорвется? По пять бомб в ящике.— Березин старался убе-

дить Александра Михайловича отказаться от безрассудного решения.

— Микко исправнее фельдъегеря доставит «конфетки» Лидии, — сказал уже резче Александр Михайлович.

В первый день масленицы после полудня у ворот усадьбы остановились легкие сани. Привязав лошадь к изгороди, Пильц направился к новой даче. Березин шмыгнул в угловую комнату, Александр Михайлович надел полушубок, схватил ведро — и на улицу, будто вышел за водой. Пильц тоже свернул к колодезю.

— Рад гостю, сижу медведем, — располагающе заговорил Александр Михайлович, опуская ведро в колодезь, гадая, зачем заглянул на усадьбу Пильц.

— С почты! Телеграмма прибыла, по-соседски захватил, — сказал Пильц. — С удовольствием посижу в другой раз, сейчас некогда, со станции подводы идут, возчики балуют с вином.

Пильц попрощался, уехал, Александр Михайлович вскрыл телеграмму.

«Гостинцы получила, подгадал к масленой, приезжай, не бери с собой дядю, старику полезен лесной воздух, целую Ирина».

Березин встретил Игнатьева на кухне, взял ведро, накрыл кисеей, спросил:

— Телеграмма?! От кого?

— Про Микко знать дают, прибыл, — сказал Александр Михайлович, а сам думал, чем вызвана вторая часть телеграммы, не велено привозить бомбы, почему нужно перенести их в лес? И его самого ждут в городе.

Место явки — небольшой, но известный ресторан Соловьева — выбрала Лидия.

Ровно в семь вечера Александр Михайлович появился на углу Гороховой и Малой Морской. Лидия еще не пришла. Не останавливаясь, он направился к Исаакиевскому собору.

Пройдя несколько шагов, Александр Михайлович почувствовал острый запах духов, и тут же его подхватили молодые женщины. Слева — Лидия, справа — Софья. Это от нее пахло дорогими французскими духами.

— Отсчитывал законные минуты, положенные даме на опоздание. Не учел, что приятное общество вдвое увеличится, — начал было шутливо оправдываться Александр Михайлович.

— Часы ваши спешат, — перебила Лидия и кокетливо наклонилась к нему.

Метрдотель провел Александра Михайловича и дам в небольшой зал, где в левом углу оказался свободный столик.

— Замечательно, лучше и желать нельзя,— сказала Софья.

— Для панихиды с шампанским подходящее место,— загадочно усмехнулась Лидия.

Александр Михайлович подумал, что ослышался, переспросить помешал официант.

Взяв заказ, поставив сельтерскую воду, он ушел.

— По ком панихида с шампанским?— спросил Александр Михайлович.

Лидия переглянулась с Софьей. Что-то ей нужно сказать важное, но она не решалась.

— Трусиха,— проговорила Софья,— так и быть, приму твой крест...

И всегда решительная, находчивая, Софья смутилась, значит, действительно тяжелый крест.

Неловкую паузу сняла Лидия. Она попросила Александра Михайловича налить ей сельтерской воды.

— У нас с Лидией,— наконец сказала Софья,— дьявольски трудное поручение. Вы мужчина. Надеюсь, что вы стойко примете решение о роспуске боевой технической группы и рабочих дружин.

Сколько отдано душевных сил, сколько они, их товарищи-связные, рисковали, перевоза капсулы гремучей ртути, динамит, винтовки. Вооружены дружины революционной армии, созданы тайные арсеналы — и все разом перечеркивается.

— Революция в стране идет на спад, самодержавие, преодолев страх, наступает,— продолжала Софья.— Центральный Комитет партии решил, что в сложившейся обстановке вооруженные выступления обречены на провал и приведут к напрасным жертвам.

— Так вот чем вызвана панихида с шампанским. Поднять фужер, выпить и разойтись по домам,— грустно сказал Александр Михайлович.

— Надо.— Лидия прижала к столу его руку и тоже грустным голосом повторила:— Надо. Отставка дана и мне, хранительнице бомбовых складов...

— Временная отставка,— поправила Софья,— разойтись по домам вряд ли удастся.— Она посмотрела на Александра Михайловича, затем на Лидию, вместе столько пережито. Но она не позволила себе расслабиться, сказала:— Что нам дальше делать — это решат в Центральном и Петербургском комитетах. А нам пока

нужно подумать о том, где спрятать бомбы, динамит, винтовки, патроны.

29

Присяжный поверенный Шестернин получил лаконичную телеграмму: «Приезжайте Петербург. Никитич».

У Шестернина завтра защита в московском окружном суде, неинтересное дело — затянувшаяся тяжба по разделу имущества. Сославшись на коварную простуду, он попросил перенести процесс, а сам вечерним поездом выехал в столицу. Причина экстренного отъезда — подпись под телеграммой. Вызывает Красин, по-пустому он не стал бы беспокоить.

Выбравшись из вагона, Шестернин поначалу завяз в толпе пассажиров, спешивших к главному выходу, а затем резко взял влево и, миновав вокзальный двор, оказался на Лиговке.

Красин жил недалеко от вокзала, у Чернышева моста.

Дверь он открыл сам. Несмотря на ранний час, Красин был в вечернем костюме, при галстукe, в лакированных ботинках.

— Приехал по телеграмме, — сказал Шестернин.

— Часы отсчитывал, — оживленно поздоровался Красин, — завидно легки на подъем. Таратута клятвенно заверял: Шестернин примчится на первом курьерском поезде.

Красин предложил Шестернину позавтракать.

— Сосед по купе угостил, пили кофе мокко, приятный ароматный, не то, что подают в кондитерских, — отказался Шестернин; ему не терпелось узнать, что за поручение его ждет, хотя смутно он догадывался — важнее финансового дела, чем шмитовское наследство, сейчас у Красина нет.

С трагичной историей наследства, завещанного партии социал-демократов, Шестернин хорошо знаком. Владелец мебельной фабрики Николай Шмит много делал для улучшения жизни рабочих. Еще в 1904 году он установил девятичасовой рабочий день, бесплатное лечение в амбулатории, открыл библиотеку. На свои средства купил оружие боевой дружине фабрики.

В дни декабрьского восстания 1905 года на Пресне жандармерия фабрику Шмита приравнивала к знаменитой Прохоровской мануфактуре — важному очагу вос-

станции. Артиллерийским огнем была сожжена фабрика. Шмит арестован, заключен в Бутырскую тюрьму, после жестоких пыток убит...

В кабинете, усадив Шестернина за письменный стол, Красин сразу начал деловой разговор:

— Просим взять на себя хлопоты по шмитовскому наследству. Имеем капитал, а рубля не можем получить.

Полмиллиона рублей пожертвовал Шмит на покупку оружия, оборудование типографии и материальную поддержку нуждающихся профессиональных революционеров. Завещание было устное. Незадолго до ареста о своем решении Шмит говорил Максиму Горькому, а во время последнего свидания в тюрьме — своей сестре Елизавете.

Получение наследства осложняло отсутствие письменного завещания и то, что деньги пожертвованы запрещенной партии. Шестернин предвидел серьезные осложнения, но, не раздумывая, взялся отхлопотать наследство.

— Гору сняли с моих плеч, — обрадовался Красин. — Действуйте, наделяем вас большими полномочиями. Но должен предупредить, рвут себе из наследства куш меньшевики и эсеры. По их требованию состоится встреча заинтересованных сторон. Деритесь, деньги завещаны нашей партии.

В Выборге Шестернин остановился в гостинице «Белью». Только он помылся, сел просматривать для памяти запись беседы с Красиным, как раздался стук в дверь и на пороге появился Таратута, усталый, небритый, в помятом костюме.

— Манны небесной так не ждут, — признался он. — Без вас пропали бы. На закрытую встречу незваных понаехало. Откуда? Диву даемся! Пожаловал Линк, попечитель Алексея, младшего брата Шмита. И не один, притащил помощников — присяжного поверенного Сухаревского и Гинзберга, Ашпиза, вертлявого студента судебного.

В среде московских присяжных поверенных открыто поговаривали, что Линк, живший последнее время открыто не по средствам, склоняет Алексея придержать капитал брата, в крайнем случае отдать на издание легальной газеты. В условиях царской цензуры это будет жалкий, бесхребетный листок. Линк настолько обнаглел, что свои помыслы приписывает покойному.

— Прискакали на дележ наследства.— Шестернин поморщился.— Прожженный Линк — в этой своре первая скрипка.

В сумерки они вышли из гостиницы, Шестернин зычным голосом кликнул извозчика.

— До Пикирук совестно нанимать экипаж,— отговаривал Таратута.— Вечер хороший, и время есть в запасе.

— Извозчик — лишний свидетель,— посмеялся Шестернин.— Пожалуй, вы правы.

Меньше часа заняла дорога до небольшой деревянной дачи, стоявшей в сосновом лесу. Таратута провел Шестернина наверх, зажег лампу. Комната оказалась нежилой. Были здесь старенький диван, конторский стол и принесенные, видимо сверху, стулья и табуретки.

С точностью до минуты явился Линк со своей свитой. С ними был Алексей Шмит. Молодой человек был удручен и не скрывал, что ему неприятна эта крикливая компания. Он весь дергался от навязчивых наставлений Сухаревского. Выслушав их, он вдруг сел на диван к Шестернину и Таратуте, напрасно Линк держал около себя для него стул.

Наконец все расселись. Линк спешил взять председательство. Оглаживая папку, он едва успел произнести традиционное «господа», как встал и заговорил Таратута:

— Мы собрались, чтобы исполнить волю Николая Павловича, завещавшего свой капитал социал-демократической партии... Увы, нашлись люди, которые лишены чести, не знают, что такое стыд и порядочность...

— На кого намекаете?— крикнул Линк.— Маниакальная подозрительность Шестернина, представителя социал-демократов, могла бы всех собравшихся крупно поссорить.— Линк теперь говорил слащаво, с фальшивой улыбкой.— Известна и болезненная запальчивость уважаемого Таратуты, известно и то, что он здесь не случайный человек, а является выразителем воли Елизаветы Павловны, сестры покойного.

Линк бросил быстрый взгляд влево, затем вправо. Не нравился ему Алексей — с интересом шепчется с Таратутой.

— Позвольте, господа, просить отбросить мелкие препирательства.— Линк вдруг заговорил усыпляющим тоном проповедника.— Итак, вернемся к самой сути. Воля трагически погибшего Николая Павловича священна. Но в России сейчас не 1905 год, свирепствует реак-

ция. Большевики распустили боевую техническую группу и рабочие дружины, закрыли подпольные оружейные и бомбовые мастерские. Надеюсь, эту аксиому не станет оспаривать Таратута. Обстановка изменилась, она диктует иначе распорядиться завещанным капиталом.

И тут, чего никак не ожидал Линк, вмешался не Таратута, а Алексей. Он заговорил тихо, повелительно.

— Не будем заниматься домыслами: что сейчас сказал бы и сделал бы покойный. Нашей семье известно завещание, мы, близкие, передадим наследство, кому оно назначено.

Линк и Сухаревский растерянно переглянулись, затеянная ими хитрая игра провалилась.

— Никто не посягает на волю покойного,— забормотал деревянным голосом Линк,— подскажите, как передать деньги партии запрещенной, находящейся в подполье.

Линк патетически вскинул руки, убежденный, что душеприказчики Шмита все же очутились в подстроеной ловушке.

— Можем подсказать, можем и предложить, как передать,— сказал Шестернин.

— Интересно, право, господа, интересно,— бубнил Линк,— узнать фамилию того банкира, который оформит эту безрассудную сделку.

— Есть два канала передачи капитала законному наследнику.— Шестернин умело использовал замешательство Линка.— Если деньги перейдут к младшему брату, чего страстно желает опекун,— он учтиво поклонился Линку,— то без разрешения сиротского суда Алексей не может передать такую большую сумму партии социал-демократов. А ждать три года, когда он достигнет совершеннолетия, мы не можем. Лучше остановиться на втором, нашем варианте: Алексей отказывается от наследства, оно переходит к сестрам— Екатерине и Елизавете, а им будет несложно выполнить волю старшего брата.

Линк добродушно закивал и поспешил согласиться. Он увидел в этом варианте скрытую для себя лазейку: деньги остаются в семье. Екатерина замужем. Как еще посмотрит муж на передачу ее доли наследства партии большевиков. Елизавета не достигла совершеннолетия. У Шестернина и Таратуты было продолжение этого варианта, но они о том, конечно, умолчали в Пикируках.

Перед отъездом в Москву Шестернин навестил Красина.

— Действуйте,— одобрил замысел Красин.— Пока Линк с присяжными потешаются над «простофилями-большевиками», мы найдем «жениха» Елизавете. И долго искать не надо, есть на примете. Знакомы с Бурениным?

— Встречался, Николай Евгеньевич собой приятен, из богатой семьи. В морозовском клане ценят деньги, влиятельные связи и положение в петербургском свете.

30

Женитьба внука известной своей набожностью и ханжеством миллионерши Лесниковой вызвала бы жгучие крикотолки. Елизавета Шмит происходила из старообрядческой семьи. Нездоровый интерес мог привлечь внимание полиции, погубить задуманную акцию с передачей партии наследства. И Николай Евгеньевич вместо себя предложил в «женихи» Игнатьева.

— Уговорите, возражать не буду,— согласился Красин.— Игнатьев тоже завидный «жених», на него можно положиться. Он передаст наследство Шмита в партийную кассу.

Явка была назначена на Царскосельском вокзале. Буренин предупредил, чтобы Александр Михайлович был прилично одет.

«Вытащил наконец медведя в свет»,— сказал про себя Николай Евгеньевич, потирая от удовольствия руки, когда из толпы вынырнул элегантный, благоухающий Александр Михайлович.

В вагоне Николай Евгеньевич сунул ему программу Павловского курзала.

— Не пожалееете. Может, и не придется больше слышать Войтека Ивановича. Это разносторонний музыкант. В молодости он играл на органе в Мариинке. Сейчас дирижирует, сочиняет музыку.

Концерт закончился рано, Николай Евгеньевич предложил Игнатьеву пройтись по парку и уехать домой без толкотни следующим поездом.

За милую шутку посчитал Александр Михайлович то, что услышал от Буренина, когда они выбрались из парка.

— Представляете, дорогой, у вас на счету в банке полмиллиона рублей?— спросил Николай Евгеньевич.— Знаете, что можно сделать на эти деньги?

— Понаслышке знаю, больше двухсот тысяч не держал... в саквояже, да и те быстренько забрал Красин, — отшутился Александр Михайлович.

— Полмиллиона — это капитал. Можно основать газету, открыть издательство, организовать побег революционеров с каторги и ссылки, — неторопливо перечислял Николай Евгеньевич.

Александр Михайлович слушал молча, не понимая, к чему клонит Буренин.

— Пятьсот тысяч рублей реально существуют в пакетах акций товарищества мануфактур, — подчеркнул Николай Евгеньевич. — Загвоздка — как получить деньги?

И он рассказал о завещании и наследстве Шмита. Александр Михайлович задумался.

— Не видите выхода из лабиринта? — перебил его мысль Николай Евгеньевич. — А вот присяжный поверенный нашел. По закону наследство может быть поделено между братом и сестрами покойного. Не вызывает сомнения, что Алексей выполнит волю старшего брата, но мешает опекун. Согласна передать деньги в партийную кассу Елизавета, но она, к сожалению, несовершеннолетняя. Эту финансовую операцию вправе проделать ее муж. Кому-то из нас, а точнее вам, придется сочетаться браком с Елизаветой Павловной, как положено, в церкви, с певчими.

— Увольте, — возразил серьезно Александр Михайлович. — Что я скажу своей невесте?

— Без венчания не получить наследство, — грустно сказал Николай Евгеньевич, — лишиться пятисот тысяч рублей из-за какого-то обряда!

Александр Михайлович не воспринял всерьез этот разговор и рано утром уехал в Финляндию — из подпольного склада в Териоках должны были перевезти последние двадцать винтовок в лес, надо проверить, хорошо ли Микко заделал яму.

И дня он не прожил в имении, как Красин дал знать телеграммой, что нужно встретиться по интересному коммерческому делу. Свидание состоялось на нелегальной квартире. Красин показался ему постаревшим и усталым. Может, это обманчивое впечатление: было близко к полуночи, одет он по-домашнему, в мягких туфлях, под бархатной толстовкой рубашка без галстука. Жесты вялые, не красинские. Чувствовалась скованность, словно ему было трудно сразу начать деловой разговор, как это бывало не однажды. Взяв со стола квадратный альбом с золотым обрезом, он сказал:

— Интересуюсь Петербургом Пушкина, Чернышевского, Достоевского. Вчера повезло, знакомый букинист на Владимирском удружил.— Задумчиво полистав альбом, Красин продолжал:— Непривычно видеть Неву без Троицкого моста.

Усталый голос выдавал его. Думал он совсем о другом, альбом — просто предлог завязать беседу. Так и произошло.

— Покушение на вашу особу намерены сделать,— сказал Красин и отложил альбом.— Материальное положение партии необходимо срочно поправить. Просим вас жениться — с попом, певчими, шаферами.

— Сватал Буренин, потерпел фиаско,— признался Александр Михайлович,— не подхожу. Какой я жених! И еще как посмотрит на это моя невеста?

Красин окинул Игнатьева медленным взглядом и остался доволен: приятная у человека внешность, хорошие манеры, умен, образован.

— Под венец любая петербургская красавица не откажется пойти,— уже тоном завязтого свата сказал Красин.

— За всех не знаю, а одна серьезно намерена,— пытался на шутку перевести разговор о женитьбе Александр Михайлович.

Не был в настроении шутить Красин. Шмитовское наследство у него расписано до последней копейки. И он заговорил резко:

— Потерять капитал партия не имеет никакого права, вспомните, что говорили, вступая в боевую техническую группу?

— Жизни не пожалею для революции! Так я сказал, так и живу,— спокойно возражал Александр Михайлович.— Но жениться в церкви... с шаферами...

Красин зябко поежился и вдруг, будто пружина его подбросила, сказал:

— Убеждать долго у меня нет времени, считайте женитьбу на Елизавете Шмит сейчас самым главным партийным поручением,— и тут голос его помягчел,— поймите, деньги нужны для будущей революции. Мы не навечно зарыли в землю оружие, у профессиональных революционеров нет, не может быть передышки. Раз нужно жениться — женитесь, брак фиктивный, приданое реальное.

Трудно Александру Михайловичу принять решение. По закону конспирации Ольге нельзя сказать, что брак фальшивый. Походив в строгой задумчивости по каби-

нету, Красин остановился возле Игнатьева, положил руку ему на плечо.

— Поймите, в выборе мы ограничены, должна быть уверенность, что из наследства не потеряем ни одного рубля. Случается, когда неожиданно появляются сотни тысяч рублей, в человеке вдруг просыпается алчность.

Эти слова обожгли Александра Михайловича. Он возмутился: неужели найдется прохвост, способный присвоить наследство, завещанное партии!

— В царстве денег,— возразил Красин,— редко встретите человека с красивой душой. Без колокола на дележ наследства Шмита сбежались меньшевики и эсеры, требуют свою долю. С большой ложкой тянется муж старшей сестры Шмита. В Центральном Комитете больше нет уверенности, что Екатерина отдаст партии долю брата наследства, которое не ей отказано.

— Муж Екатерины, насколько мне известно, человек с революционными взглядами,— сказал Александр Михайлович.

— Андриканис любит деньги больше, чем революцию,— ответил раздраженно Красин.— Чета Андриканис пытается склонить и Елизавету присвоить деньги. В ветви потомков Саввы Морозова, чтобы порядочных людей пересчитать, одной руки хватит: покойный Николай, Елизавета, Алексей. Теперь-то дошло до вас, какой кристальной честности человек требуется сейчас партии?

— За доверие спасибо, но... брак фиктивный, а жена законная... Что я скажу Ольге?

— До утра подумайте,— назначил срок Красин.— Надеюсь, все взвесите.

В девять утра Александр Михайлович дал согласие. Поставил два условия: развести с фиктивной женой и...

— Развод поручим Шестернину как одному из авторов плана «женитьбы», а защиту перед Каниной возьму я на себя,— сказал Красин и оговорил:— Когда получим наследство.

31

Положение со свадьбой осложнилось. Невеста жила в Париже и не могла вернуться в Россию. В 1905 году она была связана с боевой технической группой в Москве. Полиции известно, что Елизавета разделяла политические взгляды старшего брата.

— Поезжайте в Париж, там сыграете свадьбу, — настаивал Красин. — Наш поверенный ловко обошел хитрого Линка и московский окружной суд. Значительная часть наследства уже у Елизаветы.

В грустном настроении выехал из Петербурга Александр Михайлович. Ни слова не позволили сказать Ольге. Из Парижа быстро дойдут до России вести, что внучка Викулы Морозова вышла замуж за дворянина Игнатьева. О таком, конечно, узнает Ольга. Что будет? Об этом он старался не думать.

В Париже все устроилось хорошо. Консул князь Кугушев, скучавший от безделья, был рад случаю встряхнуться, кутнуть на свадьбе. Закончив в консульстве все формальности, Александр Михайлович занялся приготовлениями к свадьбе. Поручителями согласились быть коллежский советник Старосельский и личный почетный гражданин Авдеев.

Десятого октября 1908 года в Париже на улице Дарю, застроенной скучными доходными домами, было оживленно. К ограде русской церкви, как в престольный праздник, подкатывали экипажи: собственные выезды, извозчицы пролетки. Обедневшие русские эмигранты и студенты добирались сюда пешком.

В святцах на десятое октября не падал ни один из главных двенадцатых православных праздников. Что же происходило в этот день на улице Дарю?

Третью неделю в русской колонии только и разговора, что об из ряда вон выходящем случае: сын действительного статского советника, дворянин Игнатьев, приехал из Петербурга во Францию жениться... И кого берет?.. Купчиху! Скандальный интерес у знати, чиновников и обывателей вызывала невеста, внучка Викулы Морозова, старообрядка.

Прихожане, осенив себя крестным знаменем, входили в церковь. Находились и такие, что, не дойдя до паперти, вливались в группки знакомых и незнакомых людей, которых сейчас объединяло жадное любопытство к сплетням вокруг этой свадьбы. Было известно, что венчать молодых будет сам протоиерей.

С паперти сошла пышнотелая вдова, средних лет блондинка, ее не допускали на рауты в посольстве. покойный муж, офицер, был замешан в неблагоприятных поступках. Вдова аккуратно посещала церковные службы, чтобы как-то быть связанной с русской колонией.

Справа от паперти, шагах в семи, заговорщицки шептались жена посольского швейцара и старуха с постным

лицом Софьи-великомученицы. В эту компанию втиснулась и вдова.

— Не по любви сочетаются,— воскликнула она, чтобы заинтересовать женщин, понизила голос до шепота:— У Морозовых все в прадеда Савву, а он из раскола. Мильонщик, попортил кровушки синоду. Архиепископы с митрополитами наезжали, а он стоял на своем — сыновьям, внукам, правнукам завещал держаться веры. Морозовы признают двуперстное знамение, как же Лизка в нашу церковь войдет?

— Дворянкой захочешь стать, и турецкую веру прирмешь,— сказала сердито жена швейцара,— купцы на потомственные звания и графские титулы падки, денег то у них в сундуках тыщи несметные.

„Занятые пересудами женщины прозевали приезд жениха и невесты. Только вдова успела заметить в дверях церкви метель фаты.

Главную часть церкви — против алтаря — занимали чиновники посольства, офицеры, нарядные дамы. Крепкий запах духов глушил благоухание ладана. Прихожане попроще теснились по бокам и сзади, вдова офицера ухитрилась пробраться к клиросу. Бросив придирчивый взгляд на невесту, она нашла ее чересчур располневшей и устала взгляда на жениха.

— Отхватила купчиха за свои миллионы красавца,— зашептала с завистью вдова соседке, богомольной старухе. — Боже, что делают деньги...

Зажгли люстры. Из алтаря вышел протоиерей, тихо откашливались певчие. Заняли свои места шаферы. Поп спросил у жениха и невесты, добровольно ли и по согласию они вступают в законный брак.

— Да,— тихо обронила Елизавета.

— Да,— уверенно сказал Александр Михайлович.

И начался обряд венчания...

Таратута не усидел в карете, пробрался в церковь, прячась за чужие спины, он взглянул на Елизавету, свою тайную жену: под золоченым венцом, в нарядном свадебном платье, а глаза усталые и грустные. Он понял, как ей сейчас тяжело, вышел из церкви, вдогонку неслось:

— Господи боже наш, славою и честию...

Получив в окружном суде определение об утверждении Елизаветы Павловны в правах наследства, Шестернин сразу же отправился на Варварку в контору товарищества мануфактур Викулы Морозова с сыновьями.

Прием ему неожиданно был оказан любезный, на что он и не надеялся. Видимо, Иван Викулович посчитал, что младшая племянница сделала выгодную партию. Будет принята в лучших домах Петербурга. У мужа имение в Финляндии, сто десятин леса. В умелых руках это капитал. Он не скрывал желанья познакомиться с супругом Лизаньки и кое-что посоветовать, на большую ногу требуется поставить задуманное дело. Не проживать, а наживать деньги. У Морозовых эта заповедь крепостного крестьянина Саввы Васильевича передается из поколения в поколение.

Радость за устроенную судьбу племянницы не помешала Ивану Викуловичу мгновенно преобразиться в главного директора товарищества, хитрого коммерсанта, едва Шестернин завел разговор о продаже доли Елизаветы Павловны. «Товарищество не прочь купить ее пай,— сказал Иван Викулович,— но дела сейчас идут не так, как бы хотелось».

Расставленные прожженным коммерсантом сети Шестернин хитро обошел. Он сделал вид, что не торопится с продажей пая, его доверительнице нет смысла терять большие деньги, она повременит до лучшей поры. Серьезное ведение дела понравилось Ивану Викуловичу.

Далекая от коммерции Лизанька удачно нашла поверенного, во всем, чувствуется, супруг его племянницу направляет. Он просил Шестернина бывать в конторе, надеется, что на поправку пойдут дела в товариществе мануфактур.

«Неделю после этого я не показывался на Варварке,— писал Таратуте Шестернин,— испытывал характер Ивана Викуловича. Толковый он коммерсант, понял, что на кривой меня не объедешь, по тридцать рублей накинул на акцию. „Лизанька своя кровь, Верина дочка, а то бы я ни рубля не прибавил”,— располагающе говорил он. Хорошо мы с ним поторговались и разошлись ни с чем».

— Продавал бы скорее,— вырвалось у Елизаветы Павловны,— дядя вряд ли дороже заплатит за пай.

— Деньги не наши, Николай Павлович на революционные дела их отказал, в партийную кассу должно сполна поступить наследство,— возразил Таратута.— Шестернин дальше пишет, что опять навестил Ивана Викуловича, пожестче поторговались, на десятку акции стали дороже. По-моему, поверенный разумно поступает, в партии каждый рубль расписан. Еще сообщает

Шестернин, что Екатерина твоя не торопится передавать свою долю, жадность ее обуяла.

— Отдаст, не ее же эти деньги,— говорила Елизавета Павловна.— При мне Андриканис был в восторге, что так остроумно обошли жандармерию и непрошенных наследников: меньшевиков, эсеров.

— Тогда деньги еще не поступили на счет супруги Андриканиса,— буркнул Таратута.— Хотя они и чужие, а отдавать жалко.

Александр Михайлович спешил получить документ о бракосочетании. В департамент полиции в Петербурге поступили агентурные сведения, что Елизавета Павловна Шмит фиктивно вышла замуж за дворянина Игнатьева, подосланного небезызвестным Красиным.

Узнал об этом и Красин. Он поторопил Шестернина с продажей акций, тем более что в торге он довел цену до тысячи девяноста девяти рублей за акцию. На последнем свидании Иван Викулович, осеняя себя двуперстным крестным знамением, клялся, что хоть поверенный Лизаньки мужик хитрый, прижимистый, но больше он у него ни копейки не выторгует. Цену за пай взял наивысшую.

Продав долю младшей сестры Шмита товариществу мануфактур, Шестернин нанял на Варварке извозчика и минут через пятнадцать был на Кузнецком мосту в отделении Лионского кредита и сразу перевел в Париж 190 000 рублей золотом.

Со второй половиной наследства Шмита произошло то, чего опасались. Андриканис оказался человеком корыстным. Он настраивал Екатерину Павловну, чтобы она присвоила половину наследства старшего брата и около ста тысяч, вырученных от продажи магазина на Неглинной улице и ликвидации дел мебельной фабрики.

Жадность и корысть настолько ослепили Андриканиса, что он вышел из социал-демократической партии, лишь бы удержать обманом захваченное золото. Состоялось решение подпольного третейского суда о наследстве Николая Шмита, после чего Екатерина Павловна передала в партийную кассу лишь незначительную сумму.

Для Шестернина на этом дело о наследстве Шмита не закончилось. По приезде в Париж он узнал от Таратуты, что Ленин его очень благодарит за хлопоты и хотел бы повидать.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна снимали маленькую недорогую квартиру, в комнате была про-

стога и чистота русской деревни — столы, скамьи и некрашенные табуретки. Много книг. Шестернина и Таратуту усадили пить чай с баранками и вареньем. Владимир Ильич был в хорошем настроении, добродушно подтрунивал, как поверенного большевиков провел авантюрист Андриканис.

— Не провел, на подлость пошел, — возразил Шестернин. — Будь наша партия не в подполье, я до копеечки бы взыскал всю долю наследства, судебные издержки и те отнес бы на счет прохвоста.

У Ленина была личная просьба к Шестернину: взять на себя хлопоты по разводу Игнатъева.

— И я о том же с земным поклоном к Шестернину, — невесело пошутил Таратута. — Дочка у меня родилась, а окрестили ее Игнатъевой и отчество у нее не Викторовна, а Александровна.

— С вами, Виктор, ваша семья, — говорил Владимир Ильич. — Сочувствовать нужно Александру Михайловичу. Развод в России получить необычайно сложно. Не миновать ему ответа за свои «грехи» перед петербургской духовной консисторией.

Из всех судебных дел самые хлопотные, тягучие — разводные, и просьба Ленина для Шестернина была партийным поручением. Из полушутливых сетований Таратуты он понял, как тяжело сейчас и Игнатъеву. Не объяснишь Ольге Каниной, почему в Париже было затеяно венчание с протоиереем, причтом и певчими.

Зачастил Шестернин из Москвы в Петербург по разводному делу Игнатъева. Неудача за неудачей преследовали его. Оставался только один ход — построить обвинение в измене. После долгих мытарств Шестернин нашел сговорчивых «свидетелей». Дело о разводе Александра Михайловича и Елизаветы Павловны Игнатъевых поступило в канцелярию петербургской духовной консистории. Но конца не было видно, секретарь потребовал немислимую взятку. Тогда Шестернин сделал представление, что свидетели по делу его подзащитной переехали в Иваново-Вознесенск. За «благодарность» наличными тамошний пристав под диктовку Шестернина записал показания свидетелей.

Петербургская духовная консистория брак Елизаветы Павловны и Александра Михайловича Игнатъевых расторгнула. На виновника нарушения «святости брака прелюбодеянием», на Игнатъева, была наложена епитимья и семилетнее безбрачие.

Телеграмма Шестернина о решении петербургской духовной консистории поставила последнюю точку в деле о наследстве Шмита. Можно было собираться в Россию. Соскучился Александр Михайлович по родным и Ольге. Он уже видел себя на прогулке в лесу под Ахи-Ярви, когда пришло письмо из Швейцарии от старого знакомого Сагрето, бежавшего от царской охранки. Он писал, что собирается на Капри. «...Алексей Максимович и Мария Федоровна будут рады встрече с легендарным „Григорием Ивановичем“».

— «Легендарным», — проворчал Александр Михайлович, — придумает же.

Но хотелось повидать Горького и обаятельную Марию Федоровну. В 1905—1906 годах сколько они помогали Игнатьеву и товарищам из боевой технической группы. Приятно, что Горький его не забыл, ждет, приглашает в гости...

В первый день возвращения Александра Михайловича из Италии домой состоялся откровенный разговор.

— Чем ты, Шура, занимаешься, я давно догадался, но, пойми, до седых волос и в императорском петербургском университете не держат, — говорил с упреком отец. — Разве революции не нужны высокообразованные люди? Используй затишье, возвращайся в университет.

Третий месяц посещает лекции Александр Михайлович. Но чувство одиночества его давит: лет на восемь — десять он старше сокурсников, потому и задумывается все чаще об экстерне. Знаний у него достаточно. Затем можно всерьез взяться за свое опытное поле...

Казалось, что теперь уже ничто не помешает закончить университет...

Недавно Александр Михайлович задержался в библиотеке. Когда он вышел на пустынную улицу, то заметил у фонаря человека в поношенном пальто и котелке. Незнакомец отправился за ним следом. На Вознесенском проспекте в зеркале парикмахерской Александр Михайлович разглядел его испитое лицо, выпуклые, как у деревянной куклы, недобрые глаза. На следующий день этот тип толкался напротив городской бойни. Следил за окнами квартиры. Шпик о чем-то шушукался с дворником.

Что навело полицию на след? Склады оружия хорошо замаскированы. На той неделе Александр Михайлович был в Ахи-Ярви, сам едва отыскал в лесу тайные

склады. Дерн и посаженные для маскировки елочки прижились...

Ночью в квартиру постучали, хотя есть звонок.

Пристав вошел в комнату Александра Михайловича. Городовой и дворник остались в коридоре.

— Игнатьев?

— Он самый. — Александр Михайлович, прикрываясь одеялом, опустил с кровати ноги.

— Александр Михайлов? — продолжал пристав уточнять и, придвинув к себе венский стул, сел посреди комнаты.

— Михайлович, — поправил Александр Михайлович. — В провинции теперь и то уважительней человека величают.

Пристав недовольно засопел; по уху арестованному не дашь — политический, отец действительный статский советник. Шуму не оберешься.

— В России так истари принято. Чей сын, по тому и пишется, в данном случае Михайла, вот и есть Михайлов сын, — пробурчал наставительно пристав.

Пререкаться с приставом — бесполезное занятие, скорей бы выяснить, чем вызван ночной визит. Кажется, отец не проснулся, с месяц он принимает снотворное.

— Чему обязан ночным вторжением? — спросил насмешливо Александр Михайлович. — Не пришли ли нанимать меня репетитором?

— У начальства узнаете, а мне велено взять с постели и доставить на... — Пристав запнулся и, помолчав, велел Игнатьеву одеваться.

Пристав торопил, значит, обыска не будет, а то бы весь дом перетряхнули. Городовые усердно ищут крамолу, вспарывают матрасы, подушки, учиняют погром на книжных полках.

Александр Михайлович покорно оделся, взял первую попавшуюся на столе книгу и журнал.

— Родных можно предупредить? — спросил он. — Чтобы не беспокоились, к завтраку вряд ли вернусь.

— В моем присутствии, — неохотно разрешил пристав.

Отец проснулся, в плохо запахнутом халате он рвался в комнату сына. Городовой, почтительно вытянувшись, загораживал дверь и заученно бубнил:

— Простите, ваше превосходительство, к арестованному нельзя. Ваше превосходительство...

Из спальни выглядывала Варя, обнимая перепуганного, плачущего Мишу. Кухарка сердито выговаривала

дворнику, воинственно размахивая тряпкой перед его усатой физиономией.

Александр Михайлович оттолкнул городского, подошел к отцу.

— Не беспокойся, папа, произошло недоразумение, ищут какого-то другого Игнатьева.

— Дай-то бог!

У подъезда ожидала мрачная тюремная карета. Кучер, как угрюмый ястреб, сидел на облучке. Он даже не посмотрел, кого сажают в карету. Привык — за ночь один-два выезда.

Забившись в угол кареты, Александр Михайлович старался определить, куда его везут. На Шпалерную, в дом предварительного заключения, проста дорога: по Забалканскому, Загородному и Литейному — всего один поворот. Кучер столько раз круто разворачивал карету, что арестованный запутался и потерял ориентировку. Наконец привезли его в какой-то полицейский участок, заперли в комнату без окна, с решеткой на двери. Утром посадили в карету с опущенными шторами, под охраной двух полицейских доставили на Тверскую. В жандармском управлении продержали чуть ли не до вечера и в той же карете доставили в тюрьму на Шпалерную. Нигде не допрашивали Александра Михайловича, не называли его фамилию, передавали и принимали молча, как знакомую вещь.

В тюрьме флегматичный дежурный надзиратель записал Игнатьева в книгу, велел раздеться догола. Он перетряс, перещупал одежду. Отобрал у Александра Михайловича перочинный нож, ремень, учебник Бекетова «География России» и свежий номер журнала «Ботанические записки», которые разрешил ему взять пристав.

Оконце камеры, куда препроводили Александра Михайловича, выходило в глухую стену. Только если лечь на пол, можно было увидеть кусок серого осеннего петербургского неба. Арест для него не был неожиданным, он сам удивлялся, что до сих пор на свободе. Охранка могла же наконец докопаться, что таинственный «Григорий Иванович» — организатор переброски оружия, боеприпасов, нелегальной литературы — и владелец имения в Финляндии Александр Михайлович Игнатьев одно и то же лицо. Полиции известно и про его участие в получении наследства Шмита. А за что арестовали? Пока лишь догадки и предположения. Хотя он и старался держаться, но неизвестность угнетала. Как вести себя на допросе?

Более вероятно, что его арестовали за последнее «преступление». В артиллерийской гвардейской бригаде, где он проходил двухнедельный военный сбор, давал читать солдатам листовки Петербургского комитета партии. Восстанавливая в памяти, кто бы мог его выдать полиции, Александр Михайлович почему-то подумал на Усатенко. Подозрительно, что кондуктора с Финляндской дороги прислали проходить военный сбор в ту же бригаду, в ту же батарею. Но он держался от Усатенко подальше. Мало ли в жизни бывает совпадений. «Мир тесен», — отогнал подозрение Александр Михайлович, лег на жесткую койку и неожиданно крепко уснул.

Выспаться не дали, растолкал надзиратель. В камеру принесли кипяток и кусок черствого хлеба. На требование Александра Михайловича, чтобы ему немедленно предъявили обвинение или освободили, надзиратель буркнул: «Раз к нам попал, то торопиться теперь тебе некуда. В свое время узнаешь, за какие преступные деяния будут судить». Только на четвертый день вызвали на допрос. Жандармский подполковник, не назвав себя, с открытой неприязнью сказал, что дворяне, подобные Игнатьеву, лишь вводят казну в расход: на виселицу, рытье ямы, доставку извести и плату палачу.

— Я не лишен прав состояния. Прошу вести себя подобающим образом, — предупредил Александр Михайлович.

— Вежливости требуете? Хорошо, — с угрозой в голосе сказал подполковник. — Все про вас, все знаем! Доказано ваше участие в уфимской экспроприации.

Александр Михайлович никогда не был в Уфе, никого не знает в этом городе, но радость сдержал, только сказал язвительно:

— С одинаковым успехом можете обвинить меня в том, что я из своей квартиры на Забалканском не только участвовал в противоправительственном деянии в Уфе, но и прорыл подземные ходы в брильянтовую кладовую Зимнего дворца и в подвалы казначейства.

У следователя не было обличительных материалов: заключенный не из пугливых, «на бога» признания не выбьешь. Пригрозив доказать причастность Игнатьева к неудавшейся экспроприации, он вызвал конвойного.

Неделю Александра Михайловича не вызывали на допрос. Следователи всерьез запутались. Видимо, запрашивали дополнительные материалы из Уфы.

Настроение день ото дня у Александра Михайловича портилось. Полиция арестовала его, не имея веских улик, теперь срочно «стряпает дело» — в крепость посадить или на каторгу отправить.

Всю ночь он проворочался на койке. Кажется, только сомкнул глаза, как разбудили. Сначала он не понял, почему стучат не в дверь, а в окошко. Поднял голову, улыбнулся — на перекладине решетки сидел нахохлившийся воробей.

— Завтракать прилетел, — обрадовался Александр Михайлович. — Крупы нет, а хлебом угощу.

Привстав на носки, он забросил на подоконник горсть крошек. Воробей весело клевал. Заскрипел ключ в дверях, Александр Михайлович и головой не повел, хотя чувствовал, что в камере находится надзиратель.

— Заключенный, — зычно окликнул он, — почему нарушаете инструкцию?

Ничего предосудительного Александр Михайлович не сделал, потому он недоуменно посмотрел на тюремщика, спросил:

— Покормить воробышка...

— Всякую птицу кормить запрещено категорически и к окошку приближаться тоже, — охотно перечислял строгие параграфы тюремной инструкции надзиратель.

— Умный человек составлял инструкцию, — сказал кротко Александр Михайлович.

— Лишаю на день права чтения книг, — буркнул надзиратель.

— Многовато за кормление воробышка.

— Наказание дано за оскорбление чиновника департамента.

— Когда? — Александр Михайлович сделал вид, что искренне удивлен. — Наоборот, слышали, я его назвал умным!

— А про себя что в башке держали? Дурак чиновник! — выкрикнул надзиратель.

Мышление тюремщика забавляло Александра Михайловича, но тот быстро прекратил дискуссию, вышел из камеры и захлопнул дверь.

За ослушание лишат чтения! Александр Михайлович и на эту жертву решился, накрошил хлеба, но с крыши тюрьмы сбросили ржавый лист, воробей испугался и улетел.

Допрашивали Игнатьева перекрестно двое: знакомый уже жандармский подполковник и штатский.

— Можете охарактеризовать нам Александра Федоровича Васильева? — спросил подполковник.

— Не могу.

— Не желаете помочь следствию, — вставил штатский. — Учтем.

— На то царь содержит агентов, следователей и городских, — сказал Александр Михайлович. — Среди моих знакомых нет ни одного Васильева.

Полистав записную книжку, штатский поправился:

— Александра Васильевича Федорова.

— Василия Александровича Крылова, — перебил штатского подполковник.

Следователи сами точно не знали фамилии человека, видимо, политического, которого разыскивали по уфимскому делу. Александр Михайлович не упустил случая загнать их в угол.

— Фантазировать не умею, — заговорил он серьезно, — а то бы оказал услугу правосудию, придумал бы не то Васильева, не то Федорова, не то Александрова.

Сбитые с толку, запутавшиеся, следователи прервали допрос.

Версия об участии Игнатьева в уфимском деле проваливается, но после первых двух допросов и длительного перерыва Александр Михайлович и сам не верил в свое скорое освобождение. Предчувствие его не обмануло. Утром его свезли в закрытой тюремной карете в жандармское управление, там фотографировали в пальто, в костюме, в профиль и фас. Затем сняли отпечатки пальцев. Вернувшись в камеру, он обнаружил, что дневник просматривали, с удовольствием подметил еще одну оплошность следователей.

Странно вел себя работник тюремной библиотеки. Дал читать Александру Михайловичу роман «Огнем и мечом» Сенкевича, а выписал он «Потоп» — отказал. В каталоге этот роман был. Без отказа выдавали произведения Ибсена, Мопассана.

За один присест Александр Михайлович прочитывал сто пятьдесят — триста страниц. Однако он скоро понял, что от таких «порций» чтения в голове путаница. Но ему необходимо было мысленно уйти из камеры, он всерьез занялся переустройством своего имения. Сделал проект дачи, моста на проселочной дороге, наметил перенести амбар, построить оригинальный навес. Набрал план землеустройства пашни, лугов...

Дня четыре Александр Михайлович затратил на свое имение, затем сделал проект и чертежи доступного среднему крестьянину ледника, составил рекомендации по компостам.

Глухая изоляция угнетала. Когда надзиратель объявил, что будет заутреня, он даже обрадовался. В церкви, мрачной, как и сама тюрьма, его поместили в ящик, похожий на те, в которых держат гусей для откорма к рождеству, только повыше.

Наконец возобновились допросы. Новый следователь, жандармский подполковник Тунцельман, чтобы расположить Игнатьева, самодовольно посмеялся над своими незадачливыми коллегами.

— Отвечать надо за то, что совершил, тут я с вами согласен, Игнатьев. За вами и без Уфы числится немало деяний, предусмотренных первой и второй частями сто второй статьи уголовного уложения.

Как ни напрягал Александр Михайлович память, но так и не вспомнил, от кого еще в боевой группе слышал фамилию Тунцельмана. Этот вечно улыбающийся «добряк» много политических отправил на каторгу.

— Пальчики отпечатали, хорошо, — восторгался Тунцельман, листая дело Игнатьева. — Фотографии превосходные, особенно в пальто.

— Послушайте, подполковник, — перебил Александр Михайлович, — не кажется ли вам, что опереточные остроты не к лицу и не к месту.

Тунцельман опешил, глубже ушел в кресло.

— Юридический вроде не кончали, — с трудом вывернулся он, — как присяжный себя ведете. Начнем с деяний по первой части сто второй статьи.

Посчитав, что хорошо осадил заключенного, Тунцельман все же не сумел себя настроить на продолжение допроса, внутренне он сознавал, что не готов к серьезному поединку. Задав для приличия два вопроса биографического характера, он вызвал конвойного.

К следующей встрече готовились оба. Александр Михайлович решил быть резковатым, все отметить, ошибки следователя мгновенно высмеивать. Тунцельман же спрятал в кабинете за ширмой две винтовки «ветерлей» и «манлихер». Начиная допрос, он торжественно объявил, что обвинение по уфимскому делу с Игнатьева снято окончательно, и тут же проделал неуклюжий трюк с винтовками. Снова просчет — ни радости, ни испуга, ни смущения не проявил Игнатьев. Он без лю-

бопытства взглянул на винтовки, когда Тунцельман резко свалил ширму и с деланным сочувствием заговорил:

— Не повезло, Игнатъев, не подвернись эти винтовки, — сейчас, искупавшись в ванне, потягивали бы черное пиво. А теперь все начинается с первой строки. Такой конспиратор — и оконфузиться... Кто же так прячет винтовки?

— Эти? — живо спросил Александр Михайлович, взял «ветерлей», затем «манлихер», осмотрел, усмехнулся. — Они только что доставлены из арсенала. Хорошо поставлено хранение оружия.

Трюк с винтовками грубый. Это понял и Тунцельман. Нужно тоньше ставить ловушки. На следующий вопрос он приехал из парикмахерской, благоухающий, в новом мундире, заговорил развязно и нагло.

— Чистосердечное признание, Игнатъев, суд учитывает. В той же сто второй статье есть параграфы по жестче и помягче.

— В чем признаваться? Взяли человека по глупому подозрению, не хватает мужества освободить, извиниться.

— Я должен извиниться! — Тунцельман достал из кармана щеточку, пригладил и без того хорошо лежавшие волосы. — О, да вы не лишены юмора!

Он вызвал своего помощника и велел привести свидетеля на очную ставку. Александр Михайлович внешне не проявил никакого интереса, но был насторожен. Кто же там за дверями? Струхнувший подпольщик или провокатор?

Жандарм привел Усатенко. Он пугливо озирался, как деревянный, переставлял ноги.

— Не узнаете? Первый раз видите? — торжествующе говорил Тунцельман.

— Почему не узнаю? Он мне известен. Это Усатенко, канонир из 2-й артиллерийской бригады, — спокойно ответил Александр Михайлович.

— Вспомните лучше кондуктора курьерского поезда Петербург — Гельсингфорс. — Тунцельман не сводил глаз с Игнатъева. — Ваш порученец провозил через границу винтовки и револьверы.

— Пора бы знать следствию, подполковник, у меня в Финляндии имение, а не оружейный завод.

С Тунцельмана сошел лоск, он громыхнул кулаком по столу:

— Свидетель! Говорите!

Усатенко бессвязно забормотал:

— Возил, ей-богу, возил, в девятьсот шестом.

— В девятьсот шестом, — повторил Александр Михайлович, — а познакомились недавно на военном сборе. Редкий случай сдвига маниакальной памяти.

— Еще про белого пуделя спрашивали.

— Чушь, канонир, несете, — перебил Александр Михайлович, — известно ли, что за клевету сажают в тюрьму?

— Пуделя белого...

Александр Михайлович громко рассмеялся. Тунцельман чувствовал, что свидетель — трус и боится Игнатьева.

На второй очной ставке Александр Михайлович сделал неожиданное заявление, что, хотя он и не психиатр, но в поведении свидетеля Усатенко наблюдаются явные признаки тяжелой степени шизофрении.

— Не заразный я, — торопливо заговорил Усатенко, — на Пряжке лежал недель семь.

— Заключенный Игнатьев, — Тунцельман старался замять признание свидетеля, — у нас есть сведения, что Усатенко был связным боевой технической группы. Подтверждаете?

— Обратитесь за справками в Петербургский комитет социал-демократической партии, — перебил Александр Михайлович. — Приходилось слышать, что революционеры подобных слюнтяев не допускают к себе, а когда они проникают в организацию — их уничтожают за предательство.

Испуганно вздрогнул, сжался Усатенко:

— Убьют.

— Пожалеют патрон, — бросил с иронией Александр Михайлович.

Тунцельман сделал вид, что его не касается перепалка заключенного со свидетелем, сказал:

— Пишем: «Признаю, что состоял в боевой технической группе Петербургского комитета социал-демократической партии».

— Кто состоял? — спросил Александр Михайлович и повел головой в сторону свидетеля.

Усатенко вдруг сник, всхлипнул:

— Так меня убьют...

Презрительная усмешка скользнула по барственной физиономии Тунцельмана: где выкопали такого идиота? Допрос снова пришлось прервать.

Продолжение очной ставки не состоялось. Усатенко

сошел с ума. Тунцельман был вынужден вынуть из следственного дела его показания. Так провалилось обвинение Игнатьева в переброске оружия через финляндско-русскую границу.

Полгода просидел Александр Михайлович в тюрьме.

За неделю до его освобождения в московскую часть поступило секретное предписание: «...В ближайшее время прибудет на постоянное местожительство: Забалканский пр., д. 67, кв. 3, дворянин Александр Михайлович Игнатьев 1879 г. рождения, православный. Подозревается в преступной связи с социал-демократами.

Установите негласное наблюдение...»

34

Негласный надзор...

У Александра Михайловича появились домашние «сторожа». Особенно топорно вел слежку плюгавый, с узким лицом, ястребиным носом. Он появлялся на рассвете, воровским взглядом окидывал окна квартиры Игнатьевых в служебном флигеле городской бойни. Пошушукавшись с дворником или чухонкой-молочницей, плюгавый семенил через Обводный канал, через какое-то время возвращался с газетой, занимал выжидательную позицию у фонаря.

Проследив за Игнатьевым до университета, шпик исчезал до конца занятий...

О слежке за Игнатьевым узнали в Петербургском комитете партии. Было решено поддержать его в резерве, пока поостынет полиция. И пора Александру Михайловичу закончить университет. В конце 1913 года он получил свидетельство об окончании естественного отделения физико-математического факультета. Первым поздравил его отец:

— Сбылось! Станешь, Шура, ученым-естественником. Сколько еще не открыто тайн в природе, — радостно говорил он.

— Искать, буду искать, мало человеку дает земля, — вроде и согласился Александр Михайлович, тут же показал отцу отзыв профессора о главе своего реферата «Самозатачивание в природе». Ученый настоятельно советовал развернуть главу в диссертацию.

— В технику уйдешь, — сказал огорченно Михаил Александрович, — вижу, уйдешь.

— Давно, отец, задумано, еще в гимназии. А пока поживу отшельником в имении.

Расчистив с Микко лес в Ахи-Ярви от валежника и сухостоя, Александр Михайлович выгодно продал дрова. Вырученных денег и прикопленных хватит, чтобы оборудовать домашнюю лабораторию — мастерскую.

Был канун войны...

Вскоре в столице на заборах, театральных тумбах запестрели тревожные объявления. «Государь император высочайше повелеть соизволил перевести армию и флот на военное положение...»

В ночь первого дня мобилизации дворник принес повестку. Подпоручику запаса Игнатьеву предлагалось с получением сего явиться во вторую гвардейскую артиллерийскую бригаду. Пять коротких часов дали Александру Михайловичу на все: подогнать обмундирование у портного, сбрить бороду, проститься с родными.

Отец ненадолго уехал на биржу и задержался. Александр Михайлович метался по квартире. Тяжело, не прощавшись, отправиться на фронт. Неизвестно, свидятся ли еще...

Отчаявшись, он присел черкнуть записку отцу.

Записка не понадобилась. В окно донесся знакомый стук копыт и зычное кучерское: «Тпррру! Милай, приехали!» Несмотря на жару, отец был в мундире.

— Выжил! Боялся, расплавлюсь на солнце, — пожаловался отец с порога. — Кваску холодненького!

Отъезд старшего сына в действующую армию не был неожиданностью. У Шуры год призывной, он офицер запаса. И все-таки Михаилу Александровичу расставаться с сыном тяжело, легче самому уйти на фронт.

Кухарка принесла квас. Михаил Александрович, разливая в глиняные кружки, говорил:

— Шампанское, Шура, раскупорим позже, когда вернешься из пекла. — Выпив квас, он налил себе еще, отдышался и продолжал: — А произойдет та встреча не скоро. Миллионы в шинелях, всем в России хватит горя. Только началась война, а толстосумы уже грабят среди бела дня. По два рубля накинули на пуд черкасского мяса. Есть ли у них крест и совесть!

Александр Михайлович далек от городской бойни и рынка, но безразличием можно обидеть отца.

— Надели узду на толстосумов? Хорошо.

— Установили твердую цену: первый сорт — двадцать семь копеек за фунт.

— Задержат гурты в дороге, выждут, на бирже правят те же прасолы, только побогаче, — вырвалось у Александра Михайловича.

Твердые цены — самообман, это не секрет и для старого Игнатьева, хотя временно, как вожжи, они несколько сдержат спекулянтов.

— Трезвону много, а воевать начинаем чуть ли не с протянутой рукой, — заговорил вдруг раздраженно Александр Михайлович. — В газетах потоп ханжества, величайшее благодеяние: императрица повелела открыть склад и портняжные мастерские в Новом Эрмитаже. Умиляйтесь — баронесса Штакельберг шьет солдатские кальсоны. Графиня Нирод нарезает бинты, сестра министра Кривошеина...

— Шура, — перебил Михаил Александрович, — война — народное бедствие. Долг порядочного человека облегчить, чем может, участь солдата на фронте.

— Не сердись, отец, сорвался. На то есть причина, — оправдывался Александр Михайлович. — По долгу службы побывал утром в присутствии воинского начальника. Как высочайший рескрипт писарь читал мобилизованным о том, сколько солдат получит наличными, если явится на сборный пункт в собственных подштанниках и нижней рубашке. Полтинник серебром казна платит за портянки. Разутые, раздетые, собираемся побеждать.

— Россия наша, Шура, наша, — уговаривал Михаил Александрович. — Мой возраст и хвори одолевают, а то бы велел подать коня.

Александр Михайлович представил отца гарцующим на коне, подумал: «Свое ты отвоевал в корпусе Гурко, настала моя очередь. А я отправляюсь на фронт не царским слугой. Дано партийное поручение открывать солдатам глаза, говорить им правду: кто затеял войну, за чьи интересы погибнут миллионы людей».

— Не подведу фамилию. — Александр Михайлович обнял отца: — Иду служить отечеству, но не царю.

На лестнице Александр Михайлович встретил запыхавшуюся сестру. Варя спрятала заплаканное лицо у него на груди.

— Оплакиваешь, Варя-Варенька. — Александр Михайлович старался быть веселым. — Не хнычь, я не покойник и по секрету тебе скажу, не собираюсь им быть.

— Можно проводить? — Варя хотелось побыть с братом лишние минуты.

— Разрешаю, — сказал повелительно Александр Михайлович и рассмеялся. — Ну, елзы оставляем дома!

Утром дверь почтальону открывал сам Михаил Александрович. Если было письмо из действующей армии, он тащил почтальона на кухню, поил чаем с вишневым вареньем, угощал пирожками. Прочитав письмо, Михаил Александрович проходил в кабинет, подолгу стоял у карты, на которой флажками отмечал линию фронта.

«Братскими могилами, — писал Александр Михайлович, — платим за взятие безымянной высоты, деревеньки». Досадовал он, нет прикрытия с неба, беззащитна пехота. Немецкие летчики безнаказанно сбрасывают бомбы, стрелы и чугунные обрезки.

В голове Михаила Александровича не укладывалось: Россия, создавшая могучие воздушные корабли «Русский витязь» и «Илья Муромец», летающие морские лодки, осталась без зенитных орудий.

«Приспосабливаем полевую пушку, устанавливаем на деревянный поворотный круг, — писал в другом письме Александр Михайлович. — Пока солдаты его разворачивают — немецкого аэроплана и след затерялся. С 80 верст в час скорость у них возросла до 200 и выше».

До великого князя Сергея Михайловича дошли сведения, что подпоручик Игнатьев изобрел зенитный оптический прицел. В письме, отправленном оказией с сестрой милосердия, Александр Михайлович писал: «Может, теперь дадут возможность поработать над конструкцией так нужного прибора, пока же только издевки фанфаронешек...»

В октябре 1916 года в Особой армии была сформирована отдельная противозенитная батарея. Игнатьеву присвоили звание поручика и назначили ее командиром. Новая должность позволит ему всерьез заняться созданием прибора — дать зенитчикам глаза.

Но сразу начались беды.

Батарее положены зенитные пушки, а выделены были полевые. Прямо из артиллерийского парка Александр Михайлович поскакал на лошади в дивизион, надеялся: произошло недоразумение. В штабе он застал только писаря.

— Легки на помине, ваше благородие, — встретил Игнатьева писарь Гнусавя, он зачитал приказ: — «Завтра в шесть утра поручику Игнатьеву вывести один взвод на позицию для стрельбы по аэропланам».

— Из полевых орудий стрелять по аэропланам?! — с досадой воскликнул Александр Михайлович и смутился: писарь ни при чем. Чины повыше, если заходил разговор о неудачной стрельбе, опускали глаза.

Еще в артиллерийской бригаде Александр Михайлович доложил инспектору — генералу о беззащитности пехоты от ударов с неба.

«Из наших пушек невозможно сбить аэроплан, — равнодушно ответил инспектор. — Немца пугаете? Пугайте. Большого от вас командование и не требует...»

Без малого в версте от переднего края находилась заброшенная усадьба. Место высокое, на подобных просторных холмах в селах стоят церкви. Здесь-то Александр Михайлович и разбил огневую позицию.

Погода в тот день, оставшийся в памяти, была летная: солнце, безветрие, а немцы не появлялись над позициями русских, вроде дали передышку. После полудня немец все же вылетел на разведку. Как всегда, он безнаказанно следил за передвижением на дорогах. Аэроплан низко опускался над садами, рощами, искал командные пункты полков, дивизий и армии.

На этот раз немца встретили шрапнелью. Стреляли из полевых пушек наугад, пугали.

Летчик озорно помахал крыльями, рассыпал над окопами металлические обрезки. Затем, развернувшись, он пошел на огневую позицию артиллеристов. Александр Михайлович стал за наводчика, выстрелил с опережением. Снаряд близко разорвался от аэроплана. Немец со страху сбросил бомбу в болото, поспешил уйти за линию фронта.

Командир пехотного полка поблагодарил Игнатьева. Не было еще случая, чтобы немецкий летчик так постыдно бежал. Александр Михайлович возмущился. Благодарят. За что? Зенитчик — не чучело на огороде! Зенитчикам положено ставить заградительный огонь, положено сбивать аэропланы противника.

Зенитчики кто как умел приспособляли полевые пушки, но надо было быстро рассчитать точку встречи в небе снаряда и аэроплана. Это станет возможно, если человек будет иметь прибор, в считанные доли секунды устанавливающий скорость, высоту полета аэроплана, учитывающий метеорологические условия.

Теоретически такой прибор существовал. Александру Михайловичу требовались помощники. Знающий орудийный мастер был на примете. Заполучить бы из пополнения механика.

Из Кронштадта передали по телеграфу в жандармское управление: «В новогоднюю ночь с плавучей казармы № 1 сбежал матрос Верещагин Николай, находившийся под следствием. Матрос был списан с миноносца «Сибирский стрелок» за агитацию и распространение среди команды миноносца и линкора «Петропавловск» преступных прокламаций социал-демократической партии. Приметы Верещагина: рост средний, в плечах широк, лицо круглое, усов не носит, брови густые, волосы русые, походка вразвалку...»

В те минуты, когда адъютант докладывал коменданту крепости о побеге с плавучей казармы, окоченевший матрос пробрался в Петроград. Он вскочил в парадную богатого дома на Рузовской, поднялся по лестнице. Пальцы у него одеревенели на морозе: локтем нажал на кнопку звонка, горничной, открывшей дверь, простуженно прохрипел:

— Надобно повидать Николая Евгеньевича... просил заходить.

По лестнице кто-то грузно поднимался. Горничная молча втянула окоченевшего матроса в квартиру, захлопнула дверь.

Темнело. У этого же дома остановились сани. Поручик в поношенной шинели откинул меховую полость, рассчитался с извозчиком. Судя по обшарпанному саквою и заплечному мешку, он только что вернулся с фронта. Торчавший у ворот городской отдал честь.

«Везет Буренину, положен сторож на полном казенном коште», — с иронией посмеялся про себя Александр Михайлович.

Вечер только начинался, а Николай Евгеньевич был в теплом халате и домашних туфлях.

— Маскировка под больного. Встретили, наверно, сторожа? Обнаглели, следят и не скрывают. Недавно моей родственнице городской подносил вещи к извозчику, — говорил Николай Евгеньевич, помогая гостю снять шинель. — Провидение привело вас в нужный час в Петроград. Матроса надо спасать! Объявлен розыск по стране.

В кабинете был мягкий полумрак. В кресле, ближе к окну, сидел молодой человек в бархатной толстовке, она была узка ему в плечах, зато длинна, закрывала колени.

— Вырядили матроса, как еще не напялили сарафан? — сказал Александр Михайлович.

— Познакомьтесь, а то сразу и браниться, — шутиливо взмолился Николай Евгеньевич. — Посмотрели бы, в каком виде кронштадтец ко мне ввалился! Лишь «бубнового туза» не хватало на спине.

— Верно, прежде нужно познакомиться, не день и не два нам вместе быть, — обратился Александр Михайлович к матросу и назвал себя: — Поручик Игнатьев.

— Зачем так официально, оба подпольщика, — сказал с укором Николай Евгеньевич.

— Матросу лучше быть под началом офицера, чем боцмана на плавучей тюрьме, — ответил Александр Михайлович. — Не перепутал я название?

— Официально казарма, а житуха там по арестантскому расписанию и хуже, — сказал матрос и тоже назвал себя.

В саквояже и заплечном мешке, что привез Игнатьев, было солдатское обмундирование: шинель, брюки, гимнастерка, сапоги.

— Второй размер, третий рост, — перечислял Александр Михайлович, — каптенармус лучше не подберет.

— Переодеваете солдатом. — Николай Евгеньевич это не одобрял. — Проще спрятать матроса на Балканском, там сейчас безопасно, военному документы добывать надо, а паспорт чистый есть в запасе.

— К паспорту положено выправить белый билет, это не так просто, — возразил Александр Михайлович. — Верещагин призывного возраста!

Николай Евгеньевич считал себя обязанным позаботиться о беглом матросе, по его поручению он распространял прокламации, газету «Правда».

Понятны Александру Михайловичу колебания Буренина. Он и сам поломал голову, узнав о его просьбе.

— В Петрограде нет безопасного убежища. Непременно матрос угодит в облаву. Молодой, здоровье завидное. В действующей же армии не будут искать человека, бежавшего с плавучей тюрьмы, — раскрывал и отстаивал свой замысел Александр Михайлович. — При офицере в дороге денщику документы не обязательны, а на батарее запишу под чужой фамилией.

Николай Евгеньевич и сам продолжал оставаться загадкой для знакомых — мягкий, обаятельный и до крайности смелый, но и его поражала необычная находчивость Игнатьева. Одиннадцать лет знакомы, а так

он и не привык к его неожиданным, всегда остроумным решениям.

— В армии, пожалуй, безопаснее, — рассеянно сказал Николай Евгеньевич. — Устроит ли это нашего беглеца? Подставлять голову под немецкие пули во здравие русского императора?

— Не на печке дрыхнуть, — покончил с колебаниями своих попечителей Верещагин. — В армии пригожусь подполью. На провокатора нюх имею.

По старинному обычаю Александр Михайлович и Верещагин посидели перед дальней дорогой: с Рузовской прямо на вокзал.

— Обычаи русские знаете, а как должен вести себя денщик? — спросил в передней Николай Евгеньевич и отобрал у Игнатьева саквояж.

— Спасибо за науку, — сказал Верещагин. Он поправил заплечный мешок и взял саквояж.

В долгой дороге Верещагин узнал о неудачной поездке своего нового командира в Петроград. В главном артиллерийском управлении одобрили разработку зенитного оптического прицела, чертежи передали на оружейный завод, а когда изготовят опытный образец — неизвестно: через полгода, год, два. Немецкие аэропланы по-прежнему безнаказанно бомбят наши части и ведут разведку.

— Пес с ними, с их величеством великим князем и благородиями, был бы чертеж, мы и сами господа бога изобразим в натуре, — сказал Верещагин.

До призыва на флот он работал токарем, слесарем и механиком.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как же дальше сложилась судьба Игнатьева?

Александр Михайлович сконструировал зенитный оптический прицел, который позволял в считанные секунды устанавливать скорость, высоту полета аэроплана, учитывая и метеорологические условия.

На своей батарее Александр Михайлович создал группу сочувствующих большевикам. В нее вошли фейерверкер Горянин (в будущем генерал-лейтенант), матрос Верещагин.

Февральскую революцию Александр Михайлович встретил в Петрограде, куда был вызван для сообщения о своем приборе. Он увез на фронт несколько тюков большевистской литературы.

Вернувшись из командировки, Александр Михайлович узнал, что Преображенский полк покинул позиции, собирается в Петроград усмирять бунтовщиков — рабочих, революционных солдат.

Связавшись с армейскими большевиками, Александр Михайлович вывел свою батарею на подступы к станции и послал с Горяниным ультиматум командиру полка фон Трендельну, пригрозив, что батарея расстреляет эшелон, если он покинет станцию. Тем временем большевики — солдаты и офицеры — провели в ротах митинги, рассказали правду о событиях в Петрограде, о свершившейся революции. Преображенский полк так и не выехал в Петроград.

Октябрьскую социалистическую революцию Александр Михайлович встретил на фронте. Чудом избежав плена, он поспешил в Петроград узнать о судьбе своего изобретения, которое так ждут в зенитных батареях Красной Армии.

Оказалось, что оборудование эвакуировано из Петрограда, но к месту назначения баржи не прибыли. По распоряжению Ленина, баржи были разысканы.

Вскоре Игнатьева вызвали в Кремль, к Михаилу Ивановичу Калинин. Александра Михайловича назначили торгпредом в Финляндии.

В составе первой торговой миссии в Финляндию поехали товарищи Игнатьева по подполью: Буренин, Березин, Верещагин.

В Финляндии, а затем в Германии Александр Михайлович создал самозатачивающиеся режущие инструменты. Он получил предложения от фирм Сименса и Круппа продать патент и право на монопольное использование его изобретения, но ответил им: «Я русский, мое изобретение принадлежит моему государству».

По совету Горького, Андреевой и Красина Александр Михайлович вывез свою лабораторию в Москву. Первое время она помещалась в Лучниковом переулке, получила наименование «Государственная лаборатория режущего инструмента и электросварки».

Первые резцы этой лаборатории получили высокую оценку за стойкость. На изготовление их требовалось, по сравнению с обычными, почти в двадцать раз меньше инструментальной стали, которую покупали в Австрии за золото. Московский завод получил первый заказ — изготовить один миллион многослойных резцов. А в Златоусте выпустили первые «игнатьевские» топоры.

Получив из Златоуста миллионный топор, Александр Михайлович отвез «именинника» в Наркомат тяжелой промышленности. «Трудолюбивый топор, — похвалил Орджоникидзе. — Много нам стали сэкономит».

В конце беседы Орджоникидзе спросил: не тесно ли лаборатории в Лучниковом переулке. «Не жалуюсь», — ответил Александр Михайлович. «Скверно, что не жалуетесь, — сказал нарком, — правительству приходится думать за Игнатьева». Орджоникидзе сообщил, что лаборатории передается инструментальный завод на Большой Семеновской улице. Ныне здесь помещается Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный институт.

По просьбе Академии наук Александр Михайлович создал коронки для скоростного и глубокого бурения на новых месторождениях угля, руды, нефти. Он помог молодому инженеру Койфману разработать технологию отечественных дефибрерных камней.

Сейчас на Большой Семеновской, 49, нет никого, кто бы лично знал Александра Михайловича, но живут рассказы про знаменитые игнатьевские резцы и топоры. В технической библиотеке хранят папку с патентами изобретений Игнатьева, которые признали Америка, Германия, Бельгия, Франция.

Многие интересные замыслы, к сожалению, Александр Михайлович не успел осуществить. Испытывая на Москве-реке модель буксира, он простудился, тяжело заболел и умер 27 марта 1936 года.

Но технические идеи Александра Михайловича живут и поныне, они положили начало многим открытиям и изобретениям.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Геннадий Муриков. На бой кровавый...</i>	5
ПИТЕРСКАЯ ОКРАИНА. <i>Повесть</i>	11
ЕМЕЛЬЯНОВЫ. <i>Повесть</i>	205
ОН ЖЕ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ. <i>Повесть</i>	429

Василий Николаевич
КУКУШКИН

ИЗБРАННОЕ

Заведующий редакцией А. И. Белинский
Редактор В. М. Шевелева
Художник Д. К. Титов
Художественный редактор В. А. Баканов
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор Т. В. Мельникова

ИБ № 4381

Сдано в набор 25.09.86. Подписано к печати 20.02.87. М-35545. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л. 31,61. Тираж 100 000 экз. Заказ № 577. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.